

Г. Х. Шенерен

Г. Х. Шенерен



J. H. Audubon

Ганс-Христиан
Андерсен

Собрание сочинений
в четырех томах

Ганс-Христиан Андерсен

Собрание сочинений
в четырех томах



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Ганс-Христиан Андерсен

Собрание сочинений том 1

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СКАЗОК,
РАССКАЗОВ И ПОВЕСТЕЙ



МОСКВА
«ТЕРРА» — «TERRA»
1995

Иллюстрации художника
М. ПЕТРОВА

Оформление художника
Ю. БАЖАНОВА

Андерсен Ганс-Христиан

А65 Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1: Сказки / Пер. с дат. — М.: ТЕРРА, 1995. — 480 с.: ил.

ISBN 5-85255-751-X (т. 1)

ISBN 5-85255-750-1

Творчество датского писателя XIX века (1805—1875), который вошел в историю литературы как гениальный сказочник, представлено в издании в полном объеме и в максимально приближенном к подлиннику переводе. Хронологический порядок расположения произведений дает возможность проследить развитие таланта писателя, почувствовать прелесть удивительного сочетания романтики и реализма, фантазии и юмора, веры в торжество идеалов добра и красоты.

В том I вошли сказки Андерсена, большинство из которых по праву считаются классикой мировой литературы.

А 4703010000-054- Подписное
А30(03)-95

ББК 84.4Д

ISBN 5-85255-751-X (т. 1)

ISBN 5-85255-750-1

© Издательский центр «ТЕРРА», 1995

К читателям

Всемирно известные сказки и рассказы Андерсена давно уже стали популярными и в России, благодаря многочисленным переводам их с немецкого и с др. переводов¹, остальные же произведения его мало или вовсе незнакомы русской публике. Между тем европейскою славой своею Андерсен первоначально обязан был не сказкам и рассказам, а именно своим романам, путевым очеркам и другим произведениям, скоро нашедшим себе переводчиков на иностранные (преимущественно шведский, немецкий и английский) языки, почему и нельзя не удивляться, что названным произведениям до сих пор не отдано должного внимания и у нас. Достоинства их те же, что и всем известных сказок и рассказов датского писателя, — все они дышат необычайною жизненностью, непоколебимою верой в торжество идеалов истины, добра и красоты и неувядаемым юмором, возвышающим человека над мелочами и дрязгами житейскими; в них ярко отразилась в высшей степени оригинальная и богато одаренная натура их творца, душевных сил и жизнедеятельности которой не могли сломить никакие жизненные и литературные неудачи. На этом-то основании серьезный и поучительный интерес представляет и автобиография Андерсена в связи с его перепиской и воспоминаниями о нем его ближайшего друга Э. Коллина, которые также мало известны русской публике.

Настоящее издание имеет целью, хотя отчасти, пополнить упомянутые пробелы в русской переводной литературе, а также дать все сказки, рассказы и повести в новом, полном и возможно близком к подлиннику переводе, в котором бы сохранились по возможности удивительная образность, свежесть и наивная простота изложения Андерсена, т. е. все те достоинства оригинала, которые не могли, до известной степени, не утратиться в переводах с переводов. Кроме того, хронологический порядок сказок, рассказов и повестей, в котором они появятся в настоящем издании, даст читателям возможность проследить развитие таланта «все-

¹ Исключением являются несколько сказок, переведенных с подлинника Г. Щербачевым и помещенных в «Русском вестнике».

мирно известного сказочника», что представляет бесспорный литературный интерес.

Итак, в предлагаемое издание войдут:

I — II тома — все сказки, рассказы и повести (в хронологическом порядке), с примечаниями самого автора относительно их происхождения;

III том — лучший его роман — «Импровизатор», избранные путевые очерки, драматические произведения и стихотворения — последние в новых переводах русских поэтов, любезно обещавших нам свое содействие;

IV том — «Сказка моей жизни» — автобиография Андерсена, извлечения из его переписки с друзьями и выдающимися современниками, и воспоминания о нем.

П. ГАНЗЕН

С.-Петербург.

1 декабря 1893 г.



ОГНИВО



ел солдат по дороге: раз-два! раз-два! Ранец за спиной, сабля сбоку; он шел домой с войны. На дороге встретила ему старая ведьма; нижняя губа висела у нее до самой груди.

— Здорово, служивый! — сказала она. — Какая у тебя славная сабля и большой ранец — вот бравый солдат! Сейчас ты получишь денег, сколько твоей душе угодно.

— Спасибо, старая ведьма! — сказал солдат.

— Видишь вон это старое дерево? — сказала ведьма, показывая на дерево, которое стояло возле. — Оно пустое внутри! Влезь наверх, там будет дупло, ты и спустишься в него, в самый низ! Я обяжу тебя веревкой вокруг пояса и вытащу назад, когда ты крикнешь мне.

— А зачем мне лезть туда, в дерево? — спросил солдат.

— За деньгами! — сказала ведьма. — Надо тебе сказать, что, когда ты доберешься до самого низа, ты увидишь большой подземный ход; там совсем светло, потому что горит добрая сотня ламп. Потом ты увидишь три двери; можешь отворить их, ключи торчат снаружи. Войди в первую комнату и увидишь посреди пола большой сундук, а на нем собаку; глаза у нее, словно чайные чашки! Но ты не бойся! Я дам тебе свой синий клетчатый передник, расстели его на полу, живо подойди и схвати собаку, посади ее на передник, открой сундук и бери из него вволю. Тут одни медные деньги; захочешь серебра — ступай в другую комнату; там сидит собака с глазами, что твои мельничные колеса, да ты не пугайся, сажай ее на передник и бери себе денежки. А хочешь, можешь достать и золота сколько угодно — пойдешь только в третью комнату. Но у собаки, что сидит там, глаза — каждый с Круглую башню¹. Вот это так собака! Только нечего бояться и ее. Посади ее на мой передник, и она тебя не тронет, а ты бери себе золота сколько хочешь!

— Оно бы недурно! — сказал солдат. — Но что же ты с меня возьмешь за это, старая ведьма? Ведь уж что-нибудь да тебе от меня нужно?

¹ «Круглая башня» — «Rundetaarn» — одно из самых высоких зданий Копенгагена и играет у датчан, в смысле сравнения, такую же роль, как у нас, например, «Иван Великий». — *Примеч. перев.*

— Я не возьму с тебя ни полушки! — сказала ведьма. — Только принеси мне старое огниво, которое позабыла там в последний раз моя бабушка!

— Ну, обвязывай меня веревкой! — сказал солдат.

— Готово! — сказала ведьма. — А вот и мой синий клетчатый передник!

Солдат влез на дерево, спустился в дупло и очутился, как сказала ведьма, в большом проходе, где горели сотни сотен ламп.

Вот он открыл первую дверь. У! Там сидел пес с глазами, точно чайные чашки, и так и глазел на него.

— Малый недурен! — сказал солдат, посадил его на ведьмин передник и набрал себе полный карман медных денег, потом закрыл сундук, опять посадил на него собаку и отправился в другую комнату. Ай-ай! Там сидела собака с глазами, как мельничные колеса.

— Нечего тебе таращиться на меня, глаза заболят! — сказал солдат и посадил собаку на ведьмин передник. Увидев в сундуке такую кучу серебра, он выбросил из кармана всю медь и набил оба кармана и ранец одним серебром. Затем солдат пошел в третью комнату. Фу ты, пропасть! У этой собаки глаза были ни дать ни взять две Круглые башни и вертелись, точно колеса.

— Мое почтение! — сказал солдат и взял под козырек.

Такой собаки он еще не видывал.

Долго смотреть на нее он, впрочем, не стал, а взял да посадил ее на передник и открыл сундук. Батюшки! Сколько тут было золота. Он мог бы купить на него весь Копенгаген, всех сахарных поросят у торговки сластями, всех оловянных солдатиков, деревянных лошадок и все кнутики в свете! На все хватило бы! Солдат повыбросил из карманов и ранца серебряные деньги и так набил все карманы, ранец, шапку и сапоги золотом, что еле-еле мог двигаться. Теперь-то он был с деньгами! Собаку он опять посадил на сундук, захлопнул дверь и закричал наверх:

— Тащи меня, старая ведьма!

— Взял ты огниво? — спросила ведьма.

— Ах, правда, совсем было забыл про него! — сказал солдат, пошел и взял огниво. Ведьма вытащила его наверх, и он опять очутился на дороге, с набитыми золотом карманами, сапогами, ранцем и фуражкой.

— Зачем тебе это огниво? — спросил солдат.

— Не твое дело! — сказала ведьма. — Ты ведь получил деньги! Отдай же мне огниво!

— Как бы не так! — сказал солдат. — Сейчас говори, зачем тебе оно, не то я вытащу саблю да срублю тебе голову.

— Не скажу! — отвечала ведьма.

Солдат взял и срубил ей голову. Так ведьма и свалилась! А он завязал все свои деньги в ее передник, взвалил узел на спину, сунул огниво в карман и отправился прямо в город. Город был чудесный; солдат остановился в самой лучшей гостинице и потребовал себе самые



лучшие комнаты и все свои любимые блюда — теперь ведь он был богачом!

Слуга, который должен был чистить его сапоги, удивился было, что у такого богатого господина такие плохие сапоги, но солдат еще не успел обзавестись новыми, зато на другой день он купил себе и сапоги, и богатое платье.

Теперь солдат сделался настоящим барином, и ему рассказали обо всех чудесах, какие были тут в городе, и о короле, и о его прелестной дочери, принцессе.

— Как бы увидеть ее? — спросил солдат.

— Этого никак нельзя! — сказали ему. — Она живет в огромном медном замке, за высокими стенами с башнями. Никто, кроме самого короля, не смеет ни войти туда, ни выйти оттуда, потому что королю предсказали, будто она выйдет замуж за простого солдата, а это не может быть королю по сердцу!

«Посмотрел бы я на нее!» — подумал солдат.

Да кто бы ему позволил?!

Теперь-то он зажил весело: ходил в театры, гулял в Королевском саду и много помогал бедным. И хорошо делал: он ведь по себе знал, как плохо сидеть без гроша в кармане! Теперь он был богат, прекрасно одевался и приобрел очень много друзей; все они называли его славным малым, настоящим барином, а ему это очень нравилось. Так он все тратил да тратил деньги, а вновь-то взять было неоткуда, и осталось у него в конце концов всего-навсего две денежки! Пришлось перебраться из хороших комнат в крошечную каморку, под самую крышей, самому чистить себе сапоги и зашивать на них дыры; никто из друзей не навещал его — уж очень высоко было подниматься к нему!

Раз как-то, вечером, сидел солдат в своей каморке; совсем уже стемнело, а у него не было даже денег на свечку; он и вспомнил про маленький огарочек в огниве, которое достал в подземелье, куда спускала его ведьма. Солдат достал огниво и огарок, но как только, высекая огонь, ударил по кремню, дверь распахнулась, и перед ним очутилась собака с глазами, точно чайные чашки, та самая, которую он видел в подземелье.

— Что угодно, господин?

— Вот так штука! — сказал солдат. — Огниво-то, выходит, презабавное: я могу получить все, что захочу! Добудь-ка мне деньжонок! — сказал он собаке, и раз — ее и след простыл, два — она опять тут как тут, а в зубах у нее большой мешок, набитый медными деньгами! Тут солдат и узнал, что за чудное было у него огниво. Стоило ударить по кремню раз — являлась собака, которая сидела на сундуке с медными деньгами, два раза — являлась та, у которой было серебро, а три — являлась собака с золотом.

И вот солдат опять перебрался в хорошие комнаты, стал ходить в щегольском платье, и все его друзья сейчас же опять узнали его и ужасно полюбили.

Раз ему и приди в голову: «Почему бы это нельзя видеть принцессы? Она такая красавица, говорят все, а что толку, если она век свой сидит в медном замке, за высокими стенами с башнями? Неужели мне так и не удастся взглянуть на нее? Ну-ка, где мое огниво?» — И он ударил по кремню раз — в тот же миг перед ним стояла собака с глазами, точно чайные чашки.

— Теперь, правда, уже ночь, — сказал солдат, — но мне так захотелось увидеть принцессу, хоть на одну минуточку!

Собака сейчас же за дверь, и не успел солдат опомниться, она явилась снова со спящею принцессой на спине. Принцесса была чудо как хороша; сразу было видно, что она принцесса, и солдат никак не мог удержаться, чтобы не поцеловать ее: он был ведь бравый воин, настоящий кавалер.

Собака отнесла принцессу назад, и за утренним чаем принцесса рассказала королю с королевой, какой она видела сегодня ночью удивительный сон про собаку и солдата: будто она ехала верхом на собаке, а солдат поцеловал ее.

— Вот так история! — сказала королева.

И на следующую ночь к постели принцессы приставили старуху фрейлину: она должна была разузнать, был ли то в самом деле сон или что другое.

А солдату опять ужасно захотелось увидеть прелестную принцессу, и вот ночью опять явилась собака, схватила принцессу и помчалась с ней во всю прыть, но старуха фрейлина надела непромокаемые сапоги и пустилась вдогонку. Увидав, что собака скрылась с принцессой в одном большом доме, фрейлина подумала: «Теперь я знаю, где надо начать розыски!» — поставила мелом на воротах дома крест и отправилась домой спать. Но собака, когда понесла принцессу назад, увидала этот крест, взяла сейчас же кусок мела и наставила крестов на всех воротах в городе. Это было ловко придумано: теперь фрейлина не могла больше отыскать настоящих ворот — повсюду стояли кресты.

Рано утром король с королевой, старуха фрейлина и все офицеры пошли посмотреть, куда это ездила принцесса ночью.

— Вот куда! — сказал король, увидев первые ворота с крестом.

— Нет, вот куда, муженек! — сказала королева, увидев крест на других воротах.

— Да и здесь крест, и здесь! — сказали другие, видя кресты на всех воротах. Тут все и увидали, что не добиться им толку.

Но королева была женщина умная, мастерица на все, а не только в каретах разъезжать. Взяла она свои золотые ножницы, изрезала большой кусок шелковой материи в кусочки и сшила крошечный хорошенький мешочек, насыпала в него мелкой гречневой крупы, привязала его на спину принцессе и потом прорезала в мешочке дырочку, чтобы крупа могла сыпаться на дорогу, по которой ездила принцесса.

Ночью собака явилась опять, посадила принцессу на спину и понесла к солдату; солдат так полюбил принцессу, что от души желал бы стать принцем и жениться на ней.

Собака совсем и не заметила, что крупа сыпалась за нею по всей дороге — от самого дворца до окна солдата, куда она вспрыгнула с принцессой. Поутру король и королева сразу узнали, куда ездила принцесса, и солдата посадили в тюрьму.

Как там было темно и скучно! Засадили его туда и сказали: «Завтра утром тебя повесят!» Очень было невесело слушать это, а огниво свое он позабыл дома в гостинице.

Утром солдат подошел к маленькому окошечку и стал смотреть сквозь железную решетку на улицу; народ толпами валил за город посмотреть, как его будут вешать; били барабаны, проходили полки солдат. Тут же бежал какой-то мальчишка-сапожник в кожаном переднике и туфлях; он мчался вприпрыжку, и одна из его туфель слетела с ноги и ударилась прямо в стену тюрьмы, чуть не в окошко, где стоял солдат.

— Эй, ты, куда торопишься! — сказал ему солдат. — Без меня ведь дело не обойдется! А вот если сбегашь туда, где я жил, за моим огнивом, получишь четыре монетки. Только живо!

Мальчишка был не прочь получить четыре монетки и стрелой пустился за огнивом, отдал его солдату, и... а вот теперь послушаем!

За городом была устроена виселица, вокруг стояли солдаты и много сотен тысяч народу. Король и королева сидели на чудесном троне прямо против судей и всего Совета.

Солдат уже стоял на лестнице, но, когда хотели накинуть ему на шею веревку, он сказал, что прежде, нежели наказать грешника, всегда исполняют какое-нибудь невинное желание его. А ему бы очень хотелось выкурить трубочку табаку: это ведь будет последняя его трубочка на белом свете!

Королю не захотелось отказать, и солдат вытащил свое огниво, ударил по кремню раз, два, три — и перед ним стояли все три собаки.

— Ну-ка, помогите мне избавиться от петли! — сказал солдат.

И собаки бросились на судей и на весь совет: того за ноги, того за нос да кверху на несколько сажений, и все разбивались вдребезги!

— Не хочу! — сказал король, но самая большая собака схватила его вместе с королевой и подбросила их кверху вслед за другими. Тогда солдаты испугались, а весь народ закричал:

— Милый солдат, будь нашим королем и возьми за себя прекрасную принцессу!

Солдата посадили в королевскую карету, а все три собаки танцевали перед ней и кричали: «Ура!» Мальчишки свистели, и солдаты отдавали честь. Принцесса вышла из своего медного замка и сделалась королевой, чем была очень довольна. Свадебный пир продолжался целую неделю; собаки тоже сидели за столом и таращили глаза.

НИКОЛАЙ И НИКОЛКА

Жили-были два человека; обоих звали Николаями, но у одного было четыре лошади, а у другого только одна. Так вот, чтобы различать их, и стали звать того, у которого было четыре лошади, Николаем, а того, у которого одна, — Николкой. Послушаем-ка теперь, что с ними было — целая история!

Всю неделю как есть должен был Николка пахать на своей лошадке поле Николая. Зато Николай давал ему всех своих четырех, но только раз в неделю, по воскресеньям. Эх ты ну! Как помахивал Николка кнутом по всему пятерику: сегодня ведь все лошадки были как будто его собственными. Солнце так и сияло, колокола звонили к обедне, люди все были такие нарядные и шли с молитвенниками в руках в церковь послушать проповедь священника. Все они видели, что Николка пашет на пяти лошадях, и он был очень доволен, пощелкивал кнутом и покрикивал:

— Эх, вы, мои лошадушки!

— Не смей так говорить! — сказал Николай. — У тебя ведь всего одна лошадь!

Но вот опять кто-нибудь проходил мимо, и Николка забывал, что не смел говорить так, и опять покрикивал:

— Ну, вы, мои лошадушки!

— Послушай, я прошу тебя перестать! — сказал Николай. — Если ты скажешь это еще хоть раз, я возьму да хвачу твою лошадь по лбу, вот ей и конец будет!

— Право, я не буду больше! — сказал Николка, да вдруг опять кто-то прошел мимо и поздоровался с ним, а он от радости, что пашет так важно на целых пяти лошадях, опять щелкнул кнутом и закричал:

— Ну, вы, мои лошадушки!

— Вот я тебе понукаю твоих лошадушек! — сказал Николай, взял обух, которым вколачивают в поле колья для привязи лошадей, и так хватил Николкину лошадь по лбу, что убил ее наповал.

— Ах, нет у меня теперь ни единой лошадки! — сказал Николка и принялся плакать.

Потом он снял с лошади шкуру, высушил ее хорошенько, положил в мешок, взвалил мешок на спину и пошел в город продавать шкуру.

Идти приходилось очень далеко, через большой темный лес, а, как на грех, разыгралась непогода, и Николка заблудился. Не успел он снова выбраться на дорогу, как уже совсем стемнело, а до города было еще далеко, да и домой назад неблизко: до ночи ни за что было не добраться ни туда, ни сюда.

На дороге как раз был большой крестьянский двор; ставни дома были уже закрыты, но сквозь них светился огонь.

«Вот тут я, верно, найду себе приют на ночь», — подумал Николка и пошел стучаться.

Хозяйка отперла, узнала, что ему надо, и велела идти своей дорогой: мужа ее не было дома, а без него она не могла принимать гостей.

— Ну, придется полежать на дворе! — сказал Николка, а хозяйка заперла перед ним дверь.

Возле дома стоял большой стог сена, а между стогом и домом — маленький сарай с плоскою соломенною крышей.

— Вон там я и полежу! — сказал Николка, увидев крышу. — Чудесная постель; аист ведь не слетит оттуда и не укусит меня за ногу!

Это он сказал потому, что на крыше дома было гнездо и стоял живой аист.

Николка влез на крышу сарая, растянулся на соломе и принялся ворочаться с боку на бок, стараясь улечься поудобнее. Ставни не совсем плотно подходили к окнам, и ему видна была вся горница.

В горнице был накрыт большой стол; чего-чего только на нем не было: и вино, и жаркое, и чудеснейшая рыба; за столом сидели хозяйка и пономарь, больше никого.

Она угощала его, а он уписывал рыбу за обе щеки — он был большой охотник до нее.

«Вот бы мне присоседиться!» — подумал Николка и, вытянув шею, заглянул в самое окно. Ах, какое чудесное пирожное увидал он! Да, вот так пир шел у них!

В то же время он услышал, что кто-то подъезжает к дому верхом; это вернулся домой хозяйкин муж. Он был очень добрый человек, но за ним водилась одна слабость: он видеть не мог пономарей; стоило ему встретить пономаря — и он приходил в бешенство. Поэтому пономарь и пришел в гости к его жене в то время, когда мужа не было дома, а добрая женщина постаралась угостить его на славу. Оба они очень испугались, услышав, что муж вернулся, и жена попросила гостя поскорее влезть в большой пустой сундук, который стоял в углу. Пономарь послушался: он ведь знал, что бедняга муж видеть не может пономарей, а жена проворно убрала все угощение в печку: если бы муж увидал все это, он, конечно, спросил бы, кого она угощала.

— Ах! — вздохнул Николка на крыше, глядя, как она прятала кушанья и вино.

— Кто там? — спросил крестьянин и вскинул глаза на Николку. — Чего ж ты лежишь тут? Пойдем-ка лучше в горницу!

Николка рассказал, как он заблудился, и попросился ночевать.

— Ладно! — сказал крестьянин. — Только сперва нам надо подкрепиться с дороги.

Жена приняла их обоих очень ласково, накрыла стол и вынула им из печки большой горшок каши.

Крестьянин проголодался и ел с большим аппетитом, а у Николки из головы не шли жаркое, рыба и пирожное, которые были спрятаны в печке.

Под столом, у ног Николки, лежал мешок с лошадиною шкурой, с тою самою, которую он нес продавать. Каша была ему совсем не по вкусу, и он наступил на свой мешок ногою; сухая шкура громко закрипела.

— Т-сс! — сказал Николка мешку, а сам опять наступил на него, и шкура закрипела еще громче.

— Что там у тебя? — спросил хозяин.

— А это колдун мой! — сказал Николка. — Он говорит, что не стоит есть каши: он наколдовал нам полную печку жаркого, рыбы и пирожного!

— Вот так штука! — сказал крестьянин, мигом открыл печку и увидел там чудесные кушанья; их спрятала туда его жена, а он-то думал, что это все колдун наколдовал!

Жена не посмела сказать ни слова и живо поставила все на стол, а муж с гостем принялись есть. Вдруг Николка опять наступил на мешок, и шкура закрипела.

— Что он опять? — спросил крестьянин.

— Да вот, говорит, что наколдовал нам еще три бутылки винца, там же, в печке! — сказал Николка.

Жене пришлось вытащить и вино; крестьянин выпил стаканчик, другой, и ему стало так весело! Да, такого колдуна, как у Николки, он не прочь был бы заполучить!

— А может он вызвать черта? — спросил крестьянин. — Его бы я посмотрел; теперь я в духе!

— Да! — сказал Николка. — Мой колдун может сделать все, чего я захочу. Правда? — спросил он у мешка, а сам наступил на него, и шкура закрипела.

— Слышишь, он отвечает: «Да». Только черт такой безобразный, что не стоит и смотреть его!

— О, я ни капельки не боюсь; а каков он на взгляд?

— Да он точь-в-точь пономарь!

— Фу ты! — сказал крестьянин. — Вот безобразие! Надо вам знать, что я видеть не могу пономарей! Но все равно я ведь буду знать,

что это черт, и мне не будет так противно! Теперь я, кстати, набрался храбрости! Только пусть он не подходит слишком близко!

— А вот я сейчас скажу колдуну! — сказал Николка, наступил на мешок и прислушался.

— Он велит нам пойти и открыть вон тот сундук в углу — там притаился черт. Но надо придерживать крышку, а то он выскочит.

— Так помогите мне придерживать! — сказал крестьянин и пошел к сундуку, куда жена спрятала настоящего пономаря.

Пономарь был ни жив ни мертв от страха. Крестьянин приоткрыл крышку и заглянул в сундук.

— Фу! — закричал он и отскочил прочь. — Видел, видел! Точь-в-точь наш пономарь! Вот безобразие!

Такую неприятность надо было запить, и они пили до поздней ночи.

— А колдуна этого ты мне продай! — сказал крестьянин. — Проси, сколько хочешь, хоть целый четверик денег!

— Нет, не могу! — сказал Николка. — Подумай, сколько мне от него пользы!

— Ах, мне страсть хочется! — сказал крестьянин и принялся упрашивать Николку.

— Ну, — сказал, наконец, Николка, — пусть будет по-твоему! Ты ласково обошелся со мной, пустил меня ночевать, так бери ж себе моего колдуна за четверик денег, только полный!

— Хорошо! — сказал крестьянин. — Но ты должен взять и сундук: я и часу не хочу держать его у себя в доме. Почему знать, может быть, он все еще там сидит?

Николка отдал крестьянину свой мешок с высушенной шкурой и получил за него полный четверик денег, да еще большую тачку, чтобы было на чем везти деньги и сундук.

— Прощай! — сказал Николка и покати тачку с деньгами и с сундуком, где все еще сидел пономарь.

По ту сторону леса протекал большой глубокий ручей, такой быстрый, что едва можно было справиться с течением; через ручей был перекинут мост. Николка встал посередине моста и сказал нарочно как можно громче, чтобы пономарь услышал:

— К чему мне этот дурацкий сундук? Он такой тяжелый, точно весь набит камнями! Я совсем измучаюсь с ним! Брошу-ка его в ручей: приплывет он ко мне домой сам — ладно, а не приплывет — и не надо!

Потом он взялся за сундук одною рукой и слегка приподнял его, точно собираясь столкнуть в воду.

— Постой! — закричал из сундука пономарь. — Выпусти сначала меня!

— Ай! — сказал Николка, притворяясь, что испугался. — Он все еще тут! В воду его скорее!

— Нет, нет! — кричал пономарь. — Выпусти меня, я дам тебе целый четверик денег!

— Вот это дело другое! — сказал Николка и открыл сундук.

Пономарь мигом выскочил оттуда и толкнул пустой сундук в воду. Потом они пошли к нему домой, и Николка получил еще целый четверик денег. Теперь вся тачка была полна деньгами.

— А ведь лошадка принесла мне недурной барыш! — сказал сам себе Николка, когда пришел домой и высыпал на пол целую кучу денег. — Вот Николай-то рассердится, когда узнает, как я разбогател от своей единственной лошади! Только пусть не ждет, чтобы я сказал ему всю правду!

И он послал к Николаю мальчика попросить меру, которою меряют зерно.

— Зачем это ему мера? — подумал Николай и слегка смазал дно меры дегтем: авось, мол, к нему пристанет кое-что. Так и вышло: получив меру назад, Николай увидел, что ко дну прилипли три новенькие серебряные монетки.

— Вот так штука! — сказал Николай и сейчас побежал к Николке.

— Откуда у тебя столько денег?

— Я продал вчера вечером шкуру своей лошади.

— С барышом продал! — сказал Николай, побежал домой, взял топор и убил всех своих четырех лошадей, снял с них шкуры и отправился в город продавать.

— Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры! — кричал он по улицам.

Все сапожники и кожевники сбегались к нему и стали спрашивать, сколько он просит за шкуры.

— Четверик денег за штуку! — сказал Николай.

— Да ты в уме? — сказали они ему. — По-твоему, мы отваливаем деньги четвериками?

— Шкуры! Шкуры! Кому надо шкуры! — кричал он опять и всем, кто спрашивал, почему у него шкуры, отвечал: «Четверик денег штука!»

— Он вздумал дурачить нас! — сказали все сапожники и кожевники, и одни схватили свои ремни, другие — свои кожаные передники и принялись хлестать ими Николая.

— Шкуры! Шкуры! — передразнивали они его. — Вот мы зададим тебе шкуры! Вон из города!

И Николай давай Бог ноги! Сроду еще его так не колотили!

— Ну, — сказал он, добравшись до дому, — поплатится же мне за это Николка! Убью его до смерти!

А у Николки умерла старая бабушка; она не очень-то ладила с ним, была злая и сварливая, но он все-таки очень жалел ее и положил на ночь в свою теплую постель: авось отогреется и оживет, — а сам уселся в углу на стуле; ему не впервой было ночевать так.

Ночью дверь отворилась, и вошел Николай с топором в руках: он знал, где стоит постель Николки, прямо подошел к ней и ударил мертвую бабушку по голове, думая, что это Николка.

— Вот тебе! Не будешь больше дурачить меня! — сказал Николай и пошел домой.

— Вот злодей! — сказал Николка. — Это он меня хотел убить! Хорошо, что бабушка-то была мертвая, а то бы ей не поздоровилось!

Потом он одел бабушку в праздничное платье, попросил у соседа лошадь, запряг ее в тележку, хорошенько усадил старуху на заднюю скамейку, чтобы она не свалилась, когда поедут, и покатыл с ней через лес. Когда солнышко встало, они подъехали к большому постоялому двору, тут Николка остановился и пошел спросить себе чего-нибудь закусить.

У хозяина постоялого двора было много-много денег, и сам он был человек очень добрый, но такой горячий, точно весь начинен перцем и табаком.

— Здравствуй! — сказал он Николке. — Что это ты спозаранку расфрантился сегодня?

— Да вот, — сказал Николка, — надо с бабушкой в город съездить; она осталась там, в тележке, — ни за что не хочет вылезать. Пожалуйста, отнесите ей туда стаканчик меду, только говорите с ней погромче, она глуховата!

— Ладно! — сказал хозяин, взял большой стакан меду и понес старухе.

— Вот, внучек прислал вам стаканчик медку! — сказал хозяин, но старуха не ответила ни слова и даже не шевельнулась.

— Слышите! — закричал хозяин во все горло. — Ваш внук посылает вам стакан меду!

Еще раз прокричал он то же самое и еще раз, а она все не шевелилась; тогда он рассердился и пустил ей стакан прямо в лицо, так что мед потек у нее по носу, а сама она опрокинулась навзничь: Николка ведь не привязал ее, а просто посадил.

— Что ты наделал? — завопил Николка, выскочил из дверей и схватил хозяина за ворот. — Ты убил мою бабушку! Погляди, какая у нее дыра во лбу!

— Вот беда-то! — заохал хозяин, всплеснув руками. — И все это из-за моей горячности! Милый Николушка, я дам тебе целый четверик денег и похороню твою бабушку, как свою собственную, только молчи об этом, не то мне отрубят голову, а ведь это ужасно неприятно!

И вот Николка получил целый четверик денег, а хозяин схоронил его старую бабушку, точно свою собственную.

Николка вернулся домой опять с целой кучей денег и сейчас же послал к Николаю мальчика просить меру.

— Как так? — сказал Николай. — Разве я не убил его? Надо посмотреть самому! — И он сам понес меру Николке.

— Откуда это у тебя такая куча денег? — спросил он и просто глаза вытаращил от удивления.

— Ты убил-то не меня, а мою бабушку, — сказал Николка, — и я ее продал за четверик денег!

— С барышом продал! — сказал Николай, побежал домой, взял топор и убил свою старую бабушку, потом положил ее в тележку, приехал с ней в город к аптекарю и предложил ему купить мертвого человека.

— Кто это и где вы его взяли? — спросил аптекарь.

— Это моя бабушка! — сказал Николай. — Я убил ее, чтобы продать за четверик денег!

— Господи помилуй! — сказал аптекарь. — Вы сами не знаете, что говорите! Смотрите, ведь это может стоить вам головы.

И он растолковал Николаю, что он такое наделал, какой он дурной человек и как его за это накажут. Николай перепугался, опрометью выскочил из аптеки, сел в тележку, ударил по лошадям и помчался домой. Аптекарь и весь народ подумали, что он сумасшедший, и потому не задержали его.

— Поплатишься же ты мне за это, поплатишься, Николка! — сказал Николай, выехав на дорогу, и, как только добрался до дому, взял большущий мешок, пошел к Николке и сказал:

— Ты опять одурачил меня? Сперва я убил моих лошадей, а теперь и бабушку! Все это по твоей милости! Но уж больше тебе не дурачить меня!

И он схватил Николку и посадил в мешок, завязал его, вскинул на спину и закричал:

— Пойду да утоплю тебя!

До реки было недалеко, и Николаю становилось тяжеленько тащить Николку. Дорога шла мимо церкви; оттуда слышались звуки органа и чудное пение. Николай поставил мешок с Николкой у самых церковных дверей и подумал, что не худо было бы зайти в церковь, прослушать псалом — другой, а потом уж идти дальше. Николка не мог ведь вылезти из мешка сам, а весь народ был в церкви. И вот Николай зашел в церковь.

— Ох, ох! — вздыхал Николай, ворочаясь в мешке, но, как он ни старался, развязаться ему не удавалось. В это самое время мимо проходил старый, седой как лунь пастух с большой клюкой в руках; он погонял его целое стадо коров и быков. Животные набежали на мешок с Николкой и повалили его.

— О-ох! — вздохнул Николка. — Такой я молодой еще, а уж должен отправляться в царство небесное!

— А я, бедняга, такой старик, и все не могу попасть туда! — сказал пастух.

— Развяжи мешок, — закричал Николка, — влезь на мое место и живо попадешь туда!

— С удовольствием! — сказал пастух и развязал мешок, а Николка мигом выскочил оттуда.

— Теперь тебе смотреть за стадом! — сказал старик и влез в мешок. Николка завязал его и погнал себе стадо.

Немного погодя вышел из церкви Николай, взвалил мешок на спину, и ему сразу показалось, что мешок стал гораздо легче: Николка весил ведь чуть не вдвое больше против старика пастуха.

«Ишь как теперь легко стало! А все оттого, что я побывал в церкви!» — подумал Николай, дошел до широкой глубокой реки, бросил туда мешок с пастухом и закричал:

— Ну вот, вперед не будешь дурачить меня!

После этого он отправился домой, но у самого перекрестка встретил... Николку с целым стадом!

— Вот тебе раз! — сказал Николай. — Разве я не утопил тебя?

— Конечно! — сказал Николка. — Полчаса тому назад бросил меня в реку!

— Так откуда же ты взял такое чудесное стадо? — спросил Николай.

— Это водяное стадо! — сказал Николка. — Я расскажу тебе целую историю. Спасибо тебе, что ты утопил меня, теперь я разбогател, как видишь! А страшно мне было в мешке! Ветер так и засвистел у меня в ушах, когда ты бросил меня в воду! Я сразу пошел ко дну, но не ушибся: там, внизу, растет такая нежная, мягкая травка. На нее я и упал, мешок сейчас же развязался, и прелестнейшая девушка в белом как снег платье, с венком из зелени на мокрых волосах протянула мне руку и сказала: «А, это ты, Николка? Ну, вот, прежде всего бери это стадечко, а с версту отсюда, на дороге, пасется другое, побольше, ступай возьми и его». Тут я увидел, что река была для водяных жителей все равно что дорога: они ездили и ходили по дну самого озера и до того места, где реке конец. Ах, как там было хорошо! Какие цветы, свежая трава! А рыбки шныряли мимо моих ушей точь-в-точь как у нас здесь птички! Что за красивые люди попадались мне навстречу, и какие чудесные стада паслись у изгородей и канав!

— Зачем же ты так скоро вернулся? — спросил Николай. — Уж меня бы не выманили оттуда, если там так хорошо!

— Я ведь это неспроста сделал! — сказал Николка. — Ты слышал, что водяная девушка велела мне отправиться за другим стадом, которое пасется на дороге всего в одной версте оттуда? Дорогой она называет реку — другой дороги они ведь там не знают, а река течет такими извилинами, что мне пришлось бы задать здоровый круг. Вот я и решил выйти на сушу да пойти наискось, прямо к тому месту, где ждет мое стадо; таким путем я выиграю почти полверсты!

— Экий счастливец! — сказал Николай. — А как ты думаешь, получу я стадо, если спущусь на дно?

— Я думаю! — сказал Николка. — Только я не могу тащить тебя в мешке до реки, ты больно тяжел. А вот коли хочешь дойти сам да влезть там в мешок, так я с удовольствием сброшу тебя в воду!

— Спасибо! — сказал Николай. — Но если я не получу там стада, я тебя изобью, так и знай!

— Ну, ну, не сердись! — сказал Николка, и они пошли к реке.

Когда стадо увидело воду, оно так и бросилось к ней: животным очень хотелось пить.

— Погляди, как они торопятся! — сказал Николка. — Ишь, как соскучились по воде: домой, зная, захотелось!

— Да, да, ты вот помоги-ка мне лучше, а не то я изобью тебя! — сказал Николай и влез в большой мешок, который лежал на спине у одного из быков. — Да положи мне в мешок камень, а то я, пожалуй, не пойду ко дну!


— Пойдешь! — сказал Николка, но все-таки положил в мешок большой камень, крепко завязал и толкнул его в воду. Бултых! И Николай пошел прямо ко дну.

— Ох, боюсь, не найдет он там стада! — сказал Николка и погнал домой свое.





ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ

ил-был принц, и хотелось ему взять за себя тоже принцессу, только настоящую. Вот он и объездил весь свет, а такой что-то не находилось. Принцесс-то было вволю, но были ли они настоящие? До нее он никак добраться не мог, так и вернулся домой ни с чем и очень горевал: уж очень ему хотелось достать настоящую принцессу!

Раз, вечером, была ужаснейшая погода: молния так и сверкала, гром гремел, а дождь лил как из ведра — ужас что такое! Вдруг в городские ворота постучали, и старый король пошел отворять.

У ворот стояла принцесса. Боже мой, на что она была похожа! Вода бежала с ее волос и платья прямо в носки башмаков и вытекала из пяток, а она все-таки уверяла, что она настоящая принцесса!

«Ну, это мы узнаем!» — подумала старая королева, но не сказала ни слова, пошла в спальню, сняла с постели все тюфяки и подушки и положила на доски горошину; сверх горошины постлала двадцать тюфяков, а еще сверху двадцать пуховиков.

На эту постель и уложили принцессу на ночь.

Утром ее спросили, как она почивала.

— Ах, очень дурно! — сказала принцесса. — Я почти глаз не сомкнула! Бог знает что у меня была за постель! Я лежала на чем-то таком жестком, что у меня все тело теперь в синяках! Просто ужасно!

Тут-то и увидали, что она была настоящей принцессой! Она почувствовала горошину через сорок тюфяков и пуховиков — такую деликатною особой могла быть только настоящая принцесса.

И принц женился на ней. Теперь он знал, что берет за себя настоящую принцессу! А горошину отправили в кунсткамеру; там она и лежит, если только кто-нибудь не взял ее.

Да, вот такая была история!

ИДОЧКИНЫ ЦВЕТЫ

Бедные мои цветочки, совсем завяли! — сказала Идочка. — Вчера вечером они были такие красивые, а теперь совсем повесили головки! Отчего это? — спросила она студента, сидевшего на диване.

Она очень любила этого студента: он умел рассказывать чудеснейшие истории и вырезать презабавные фигурки: сердечки с крошками-танцовщицами внутри, цветы и великолепные дворцы с дверями и окнами, которые можно было открывать — большой весельчак был этот студент!

— Что же с ними? — спросила она опять и показала ему свой завядший букет.

— Знаешь что? — сказал студент. — Цветы были сегодня ночью на балу, вот и повесили теперь головки!

— Да ведь цветы не танцуют! — сказала Идочка.

— Танцуют! — отвечал студент. — По ночам, когда кругом темно и мы все спим, они так весело пляшут друг с другом, такие балы задают — просто чудо!

— А детям нельзя прийти к ним на бал?

— Отчего же, — сказал студент, — маленькие маргаритки и ландыши тоже танцуют.

— Где танцуют самые красивые цветы? — спросила Идочка.

— Ты ведь бывала за городом, там, где большой дворец, в котором летом живет король, и где такой чудесный сад с цветами? Помнишь, там много лебедей, которые подплывали к тебе за хлебными крошками? Вот там-то и бывают настоящие балы!

— Я еще вчера была там с мамашей, — сказала Ида, — но на деревьях нет больше листьев и во всем саду ни одного цветка! Куда они все девались? Их столько было летом!

— Они все во дворце! — сказал студент. — Надо тебе сказать, что, как только король и все придворные переезжают в город, все цветы сейчас же убегают из сада прямо во дворец, и там у них начинается веселье! Вот бы тебе посмотреть! Две самые красивые розы садятся на трон, это — король с королевой. Красные петушки гребешки становятся

по обеим сторонам и кланяются, это — камер-юнкеры. Потом приходят все остальные прекрасные цветы, и начинается бал. Голубые фиалки — это маленькие морские кадеты и танцуют с барышнями-гиацинтами и крокусами, а тюльпаны и большие желтые лилии — это пожилые дамы и наблюдают за танцами и вообще за порядком.

— А цветочкам не может достаться за то, что они танцуют в королевском дворце? — спросила Идочка.

— Да ведь никто же не знает об этом! — сказал студент. — Правда, ночью заглянет иной раз во дворец старик смотритель с большою связкою ключей в руках, но цветы, как только заслышат звяканье ключей, сейчас присмиреют, спрячутся за длинные занавески, что висят на окнах, и только чуть-чуть выглядывают оттуда одним глазком. «Тут что-то пахнет цветами!» — говорит старик смотритель, а видеть — ничего не видит!

— Вот забавно! — сказала Идочка и даже в ладоши захлопала. — И я тоже не могу увидеть их?

— Можешь, — сказал студент, — стоит только, как опять пойдешь туда, заглянуть в окошки. Вот я сегодня видел там длинную желтую лилию; она лежала и потягивалась на диване, воображая себя придворною дамой.

— А цветы из Ботанического сада тоже могут прийти туда? Ведь это далеко!

— Не бойся, — сказал студент, — они могут летать, если захотят! Ты видела красивых красных, желтых и белых мотыльков, похожих на цветы? Они ведь и были прежде цветочками, только соскочили со своих стебельков, забили в воздухе лепесточками, точно крылышками, и полетели. Они вели себя хорошо, за то и получили позволение летать и днем; другие должны сидеть смирно на своих стебельках, а они летают, и лепестки их стали наконец настоящими крылышками. Ты сама видела их! А впрочем, может быть, цветы из Ботанического сада и не бывают в королевском дворце! Может быть, они даже и не знают, что там идет по ночам такое веселье. Вот что я скажу тебе: то-то удивится потом профессор ботаники, который живет тут рядом! Когда придешь в его сад, расскажи какому-нибудь цветочку про большие балы в королевском дворце; тот расскажет об этом остальным, и они все убегут; профессор придет в сад, а там ни единого цветочка, и он в толк не возьмет, куда они девались!

— Да как же цветок расскажет другим? У цветов нет языка!

— Конечно, нет, — сказал студент, — зато они умеют объясняться пантомимой! Ты сама видела, как они качаются и шевелят своими зелеными листиками, чуть подует ветерок. Это у них так мило выходит, точно они разговаривают!

— А профессор понимает их пантомиму? — спросила Идочка.

— Как же! Раз утром он пришел в свой сад и видит, что большая крапива делает листочками знаки прелестной красной гвоздике; этим она хотела сказать гвоздике: «Ты так мила, и я очень люблю тебя!» Про-

фессору это не понравилось, и он сейчас ударил крапиву по листочкам — листочки у крапивы все равно что пальцы — да обжегся! С тех пор и не смеет трогать ее.

— Вот забавно! — сказала Идочка и засмеялась.

— Ну, можно ли набивать ребенку голову такими бреднями? — сказал скучный советник, который тоже пришел в гости и сидел на диване.

Он терпеть не мог студента и вечно ворчал на него, особенно когда тот вырезывал затейливые и забавные фигурки, вроде человека на виселице и с сердцем в руках: его повесили за то, что он воровал сердца; или старой ведьмы на помеле, с мужем на носу; все это очень не нравилось советнику, и он всегда повторял:

— Ну, можно ли набивать ребенку голову такими бреднями! Глупые выдумки!

Но Идочку очень позабавил рассказ студента о цветах, и она думала об этом целый день.

Так цветочки повесили головки потому, что устали с бала! И Идочка пошла к своему столику, где стояли все ее игрушки; ящик столика тоже битком был набит разным добром. Идочкина кукла Соня лежала в своей кроватке и спала, но Идочка сказала ей:

— Тебе придется встать, Соня, и полежать эту ночь в ящике: бедные цветы больны, их надо положить в твою постельку, может быть, они и выздоровеют!

И она вынула куклу из кровати; Соня посмотрела на Идочку очень недовольно и не сказала ни слова — она рассердилась за то, что у нее отняли постель.

Ида уложила цветы в постельку, укрыла их хорошенько одеяльцем и велела им лежать смирно — за это она обещала им напоить их чаем, и тогда они встали бы завтра утром совсем здоровыми! Потом она задернула полог, чтобы солнышко не светило цветочкам в глаза.

Рассказ студента не шел у нее из головы, и, собираясь идти спать, Идочка не могла удержаться, чтобы не заглянуть за спущенные на ночь оконные занавески; на окошках стояли чудесные мамашины цветы — тюльпаны и гиацинты, и Идочка шепнула им:

— Я знаю, что у вас ночью будет бал!

Но цветы стояли себе как ни в чем не бывало и даже не шелохнулись; ну, да Идочка что знала, то знала.

В постели Ида долго еще думала о том же и все представляла себе, как это должно быть мило, когда цветочки танцуют! «Неужели и мои цветы были на балу во дворце?» Тут она заснула. Но посреди ночи Идочка вдруг проснулась; она видела сейчас во сне цветы, студента и советника, который бранил студента за то, что тот набивает ей голову пустяками. В комнате, где лежала Ида, было тихо, на столе горел ночник, и папа с мамой крепко спали.

— Хотелось бы мне знать: спят ли мои цветы в Сониной постельке? — сказала Идочка про себя и слегка приподнялась с подушки, чтобы посмотреть в полуоткрытую дверь, за которой были ее игрушки и цветы; потом она прислушалась, ей показалось, что в той комнате играют на фортепьяно, да так тихо и нежно, как она никогда еще не слыхала.

— Это, верно, цветы танцуют! — сказала Ида. — Господи, как бы мне хотелось посмотреть!

Но она не смела встать с постели, чтобы не разбудить папы с мамой.

— Хоть бы они вошли сюда! — сказала она.

Но цветы не входили, а музыка все продолжалась, такая тихая, нежная, просто чудо! Тогда Идочка не выдержала, потихоньку вылезла из кровати, прокралась на цыпочках к дверям и заглянула в ту комнату. Что за прелесть была там!

В той комнате не горел ночник, а было все-таки светло, как днем, от месяца, глядевшего из окошка прямо на пол, где в два ряда стояли тюльпаны и гиацинты; на окнах не оставалось ни единого цветка, там стояли одни горшки с землей. Цветы очень мило танцевали друг с другом, взявшись за длинные зеленые листочки, точно за руки. На фортепьяно играла большая желтая лилия — это, наверное, ее Идочка видела летом! Она хорошо помнила, как студент сказал: «Ах, как она похожа на m-elle Лину!» Все засмеялись тогда над ним, но теперь Ида и в самом деле показалось, что длинная желтая лилия была похожа на Лину; она и играла так же, как Лина: то поворачивала свое продолговатое лицо в одну сторону, то в другую и кивала в такт чудесной музыке. Никто не заметил Иды.

Вдруг Идочка увидела, что большой голубой крокус вскочил прямо на середину стола с игрушками, подошел к кукольной кровати и отдернул полог; там лежали больные цветы, но они живо встали и кивнули головками, давая знать, что и они тоже хотят танцевать. Старый Курилка со сломанною нижнею губой встал и поклонился прекрасным цветам; они совсем не были похожи на больных, прыгали и веселились не хуже других. В эту минуту где-то стукнуло, как будто что-то упало на пол. Ида посмотрела в ту сторону — это была верба; она тоже спрыгнула со стола к цветам, считая себя сродни им. Верба была довольно мила; на верхушке ее сидела восковая куколка в большой широкополой черной шляпе — точь-в-точь как у советника. Верба прыгала посреди цветов и громко топала своими тремя деревянными ходульками, она танцевала мазурку, а другие цветы не могли, потому что были слишком легки и не могли так топать.

Но вот восковая куколка на вербе вдруг вытянулась, завертелась над бумажными цветами и громко закричала:

— Ну, можно ли набивать ребенку голову такими бреднями! Глупые выдумки!

Теперь кукла была точь-в-точь сам советник, в его черной широкополой шляпе, такая же желтая и сердитая! Но бумажные цветы ударили ее по тонким ножкам, и она опять съежилась в маленькую восковую куколку. Это было так забавно, что Ида не могла удержаться от смеха. Вербка продолжала плясать, и советнику волей-неволей приходилось плясать вместе с нею, все равно — вытягивался ли он во всю длину или оставался маленькою восковою куколкой в черной широкополой шляпе. Наконец уж цветы, особенно те, что лежали в кукольной кровати, стали просить за него, и вербка оставила его в покое. Вдруг что-то громко застучало в ящике, где лежала кукла Соня и другие игрушки. Курилка побежал по краю стола, прилег на живот и приотворил ящик. Соня встала и удивленно огляделась.

— У вас бал? — сказала она. — Что же это мне не сказали?

— Хочешь танцевать со мной? — спросил Курилка.

— Хорош кавалер! — сказала Соня и повернулась к нему спиной, потом уселась на ящик и стала ждать: авось ее пригласит кто-нибудь из цветов, но никто и не думал. Она громко кашлянула, но и тут никто не подошел к ней. Курилка плясал один, и очень недурно!

Видя, что цветы не глядят на нее, Соня вдруг свалилась с ящика на пол и наделала такого шума, что все сбежались к ней и стали спрашивать, не ушиблась ли она? Все разговаривали с ней очень ласково, особенно те цветы, которые только что спали в ее кровати; Соня несколько не ушиблась, и Идочкины цветы стали благодарить ее за чудесную постельку, потом увели ее с собой в лунный кружок на полу и принялись танцевать с ней, а другие цветы кружились около них. Теперь Соня была очень довольна и сказала цветочкам, что охотно уступает им свою кровать — ей хорошо и в ящике!

Но цветы сказали:

— Спасибо! Но мы не можем жить так долго! Утром мы совсем умрем! Скажи только Идочке, чтобы она схоронила нас в саду, где зарыта канарейка; летом мы опять вырастем и будем еще красивее!

— Нет, вы не должны умирать! — сказала Соня и поцеловала цветы.

В это время дверь отворилась и в комнату вошла целая толпа цветов. Ида никак не могла понять, откуда они взялись: должно быть из королевского дворца. Впереди всех шли две прелестные розы с золотыми коронками на головках; это были король с королевой. За ними, раскланиваясь на все стороны, шли чудесные левкой и гвоздики, а потом музыканты: крупные маки и пионы дули в шелуху от горошка и совсем покраснели от натуги, а маленькие голубые колокольчики и беленькие подснежники звенели, точно на них были надеты бубенчики. Вот была забавная музыка! Затем шла целая толпа других цветов, и все они стали танцевать: и голубые фиалки, и красные ноготки, и маргаритки, и ландыши. Цветы так мило танцевали и целовались между собой, что просто загляденье!

Наконец цветы пожелали друг другу доброй ночи, а Идочка тихонько пробралась в свою кроватку, и ей всю ночь снились цветы и все, что она сейчас видела.

Утром она встала и побежала к своему столику посмотреть, там ли ее цветочки.

Она отдернула полог — да, они лежали в кроватке, но совсем-совсем завяли! Соня тоже лежала на своем месте, в ящике, и смотрела настоящею «сонею».

— А ты помнишь, что тебе надо передать мне? — спросила ее Идочка.

Но Соня глупо смотрела на нее и не раскрывала рта.

— Какая же ты нехорошая! — сказала Ида. — А они еще танцевали с тобой!

Потом она взяла бумажную коробочку с хорошенькою нарисованною птичкой на крышке, раскрыла ее и положила туда мертвые цветы.

— Вот вам и гробик! — сказала она. — А когда придут мои норвежские кузены, мы вас зароем в саду, чтобы вы выросли опять на следующее лето еще красивее!

Ионас и Адольф, норвежские кузены, были бойкие мальчуганы; отец подарил им по новому луку, и они пришли показать их Иде. Она рассказала им про бедные умершие цветы и позволила им помочь ей похоронить их. Мальчики шли впереди с луками на плечах; за ними Идочка с мертвыми цветами в коробочке. Вырыли в саду могилку, Ида поцеловала цветочки и опустила коробочку в ямку, а Ионас с Адольфом выстрелили над могилкой из луков: ни ружей, ни пушек у них ведь не было.



ЛИЗОК С ВЕРШОК



Жила-была женщина; ей страх как хотелось иметь ребеночка, да где его взять? И вот она отправилась к одной старой колдунье и сказала ей:

— Мне так хочется иметь ребеночка; не скажешь ли ты, откуда мне достать его?

— Отчего же! — сказала колдунья. — Вот тебе ячменное зерно; это, не простое зерно, не из тех, что растут у крестьян на полях или что бросают курам; положи-ка его в цветочный горшок, увидишь, что будет!

— Спасибо! — сказала женщина и дала колдунье двенадцать грошей; потом пошла домой, посадила ячменное зерно в цветочный горшок, и вдруг из него вырос большой чудесный цветок вроде тюльпана, но лепестки его были еще плотно сжаты, точно у нераспустившегося бутона.

— Какой славный цветок! — сказала женщина и поцеловала красивые пестрые лепестки.

Вдруг там что-то щелкнуло, и цветок распустился совсем. Это был точь-в-точь тюльпан, но в самой чашечке сидела крошечная девочка. Женщина назвала ее Лизой, а так как она была такая нежная, маленькая, всего с вершок ростом, ее и прозвали Лизок С Вершок.

Блестящая лакированная скорлупка грецкого ореха была ее колыбелькой, голубые фиалки — матрацем, а лепесток розы — одеяльцем; в эту колыбельку ее укладывали на ночь, а днем она играла на столе. На стол женщина поставила тарелку с водою, а на края тарелки положила венок из цветов; длинные стебельки цветов купались в воде, у самого же края плавал большой лепесток тюльпана. На нем Лизок С Вершок могла переправляться с одной стороны тарелки на другую; вместо весел у нее были два белых конских волоса. Все это было прелесть как мило! Лизок С Вершок умела также петь, и такого нежного, красивого голоса никто еще не слыхивал.

Раз ночью, когда она лежала в своей колыбельке, через разбитое оконное стекло пролезла большущая жаба, мокрая, безобразная! Она вспрыгнула прямо на стол, где спала под розовым лепесточком Лизок С Вершок.

— Вот жена моему сынку! — сказала жаба, взяла ореховую скорлупку с девочкой и выпрыгнула через окно в сад.

Там протекала большая широкая река; у самого берега было топко и вязко; здесь-то, в тине, и жила жаба с сыном. У! Какой он был тоже гадкий, противный! Точь-в-точь мамаша.

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог он сказать, когда увидел прелестную крошку в ореховой скорлупке.

— Тише ты! Она еще проснется, пожалуй, да убежит от нас, — сказала старуха жаба, — она ведь легче лебединого пуха! Высадим-ка ее посредине реки, на широкий лист кувшинки — это ведь целый остров для такой крошки, оттуда она не сбежит, а мы пока разуберем там, внизу, наше гнездышко.

В реке росло множество кувшинок; их широкие зеленые листья плавали по поверхности воды. Самый большой лист был всего дальше от берега; к этому-то листу подплыла жаба и поставила туда ореховую скорлупку с девочкой.

Бедная крошка проснулась рано утром, увидала, куда она попала, и горько заплакала: со всех сторон была вода, и ей никак нельзя было перебраться на сушу!

А старая жаба сидела внизу, в тине, и убирала свое жилье тростником и желтыми кувшинками: надо же было приукрасить все для молодой невестки! Потом она поплыла со своим безобразным сынком к листу, где сидела Лизок С Вершок, чтобы взять, прежде всего, ее хорошенькую кроватку и поставить ее в спальне невесты. Старая жаба очень низко присела в воде перед девочкой и сказала:

— Вот мой сынок, твой будущий муж! Вы славно заживете с ним у нас, в тине.

— Коакс, коакс, брекке-ке-кекс! — только и мог сказать сынок.

Они взяли хорошенькую кроватку и уплыли с ней, а девочка осталась одна-одинешенька на зеленом листе и горько-горько плакала: ей вовсе не хотелось жить у гадкой жабы и выйти замуж за ее противного сына. Маленькие рыбки, которые плавали под водой, верно, видели жабу с сынком и слышали, что она говорила, потому что все повысунули из воды головки, чтобы поглядеть на крошку-невесту. А как они увидали ее, им стало ужасно жалко, что такой миленькой девочке приходится идти жить к старой жабе, в тину. Не бывать же этому! Рыбки столпились внизу, у корня стебля, на котором держался лист, и живо перегрызли его своими зубками; листок с девочкой поплыл по течению, дальше, дальше... Теперь уж жабе ни за что было не догнать крошку!

Лизок С Вершок плыла мимо разных местечек, и маленькие птички, которые сидели в кустах, увидав ее, пели:

— Какая хорошенькая девочка!

А листок все плыл да плыл, и вот Лизок С Вершок отправилась за границу.

Красивый белый мотылек все время порхал вокруг нее и наконец уселся на самый листок — уж очень ему понравилась Лизок С Вершок! А она ужасно радовалась: гадкая жаба не могла теперь догнать ее, а вокруг все было так красиво! Солнце так и горело золотом на воде! Лизок С Вершок сняла с себя пояс, одним концом обвязала мотылька, а другой привязала к своему листку, и листок поплыл еще быстрее.

Мимо летел майский жук, увидел девочку, обхватил ее за тонкую талию лапкой и унес на дерево, а зеленый листок поплыл дальше, и с ним мотылек: он ведь был привязан и не мог освободиться.

Ах, как перепугалась бедняжка, когда жук схватил ее и полетел с ней на дерево! Особенно жаль ей было хорошенького мотылька, которого она привязала к листку: ему придется теперь умереть с голоду, если не удастся освободиться. Но майскому жуку и горя было мало.

Он уселся с крошкой на самый большой зеленый листок на дереве, покормил ее сладким цветочным соком и сказал, что она прелесть какая хорошенькая, хоть и совсем не похожа на майского жука.

Потом к ним пришли с визитом другие майские жуки, которые жили на том же дереве. Они оглядывали девочку с головы до ног, и жучки-барышни пожимали щупальцами.

— У нее только две ножки! Жалко смотреть! — говорили одни.

— У нее нет щупальцев! — сказали другие.

— Какая у нее тонкая талия! Фи! Она совсем человек! Как некрасиво! — сказали в один голос все жучки женского пола.

А Лизок С Вершок была премиленькая! Майскому жуку, который принес ее, она тоже очень нравилась сначала, а тут вдруг и он нашел, что она безобразна, и не захотел больше держать ее у себя — пусть идет, куда знает. Он слетел с нею с дерева и посадил ее на ромашку. Тут девочка принялась плакать о том, что она такая безобразная: даже майские жуки не захотели держать ее у себя! А на самом-то деле она была прелестнейшим созданием в свете: нежная, ясная, точно лепесток розы.

Целое лето прожила Лизок С Вершок одна-одинешенька в лесу. Она сплела себе колыбельку и подвесила ее под большой лопушиный лист — там дождик не мог достать ее. Питалась крошка сладким цветочным соком, а пила росу, которую каждое утро находила на листочках. Так прошло лето и осень, но вот дело пошло к зиме, длинной холодной зиме. Все певуны-птички разлетелись, кусты и цветы увяли, большой лопушиный лист, под которым жила Лизок С Вершок, пожелтел, весь засох и свернулся в трубочку. Сама крошка мерзла от холода: платьице ее все разорвалось, а она была такая маленькая, нежная — замерзай, да и все

тут! Пошел снег, и каждая снежинка была для нее то же, что для нас целая лопата снегу: мы ведь большие, а она была всего-то с вершок! Она завернулась было в сухой лист, но он совсем не грел, и бедняжка сама дрожала, как лист.

Возле леса, куда она попала, лежало большое хлебное поле; хлеб давно был убран; одни голые сухие стебельки торчали из мерзлой земли; для девочки-крошки это был целый лес. Ух! Как она дрожала от холода! И вот пришла бедняжка к дверям полевой мыши, дверью была маленькая дырочка, прикрытая сухими стебельками и былинками. Полевая мышь жила в тепле и довольстве: все помещение было битком набито хлебными зернами; кухня и кладовая у нее были великолепные! Лизок С Вершок стала у порога, как нищенка, и попросила подать ей кусочек ячменного зерна: она два дня ничего не ела!

— Ах ты, бедняжка! — сказала полевая мышь: она была, в сущности, добрая старуха. — Ступай сюда, погрейся да поешь со мною!

Девочка очень понравилась мыши, и мышь сказала:

— Ты можешь жить у меня всю зиму, только убирай хорошенько мое помещение да рассказывай мне сказки; я до них большая охотница.

И Лизок С Вершок стала делать все, что приказывала мышь, и зажила отлично.

— Скоро, пожалуй, у нас будут гости, — сказала раз мышь, — мой сосед обыкновенно навещает меня раз в неделю. Он живет еще куда лучше меня: у него огромные залы, а ходит он в чудесной черной бархатной шубке. Вот бы тебе удалось выйти за него замуж! Ты бы зажила на славу! Беда только, что он слеп и не может видеть тебя, но зато ты должна рассказать ему самые лучшие сказки, какие только знаешь.

Но девочке мало было дела до всего этого: ей вовсе не хотелось выйти замуж за соседа — это был ведь крот. Он в самом деле скоро пришел в гости к полевой мыши. Правда, он носил черную бархатную шубку, был очень богат и учен — по словам полевой мыши — помещение у него было в двадцать раз просторнее, чем у нее, но он совсем не любил ни солнца, ни прекрасных цветочков и отзывался о них очень дурно: он ведь никогда не видел их. Девочке пришлось петь, и она спела две хорошенькие песенки, да так мило, что крот пришел в восхищение. Но он не сказал ни слова — он был такой степенный и солидный господин.

Крот недавно прорыл под землею новую длинную галерею от своего жилья к дверям полевой мыши и позволил мыши и девочке гулять по этой галерее сколько угодно. Крот просил только не пугаться мертвой птицы, которая лежала там. Это была настоящая птица, с перьями, с клювом; она, должно быть, умерла недавно, в начале зимы, и была зарыта в землю как раз там, где крот прорыл свою галерею.

Крот взял в рот гнилушку — в темноте это ведь все равно что свечка — и пошел вперед, освещая длинную темную галерею. Когда они дошли до места, где лежала мертвая птица, крот проткнул своим широким носом в земляном потолке дыру, и в галерею пробрался дневной свет. В самой середине галереи лежала мертвая ласточка; хорошенькие крылышки были крепко прижаты к телу, ножки и головка спрятаны в перышки; бедная птичка, верно, умерла от холода. Девочке стало ужасно жаль ее: она очень любила этих милых птичек, которые целое лето так чудесно пели ей песенки, но крот толкнул птичку своими короткими лапами и сказал:

— Небось не свистит больше! Вот горькая участь родиться пичужкой! Слава Богу, что моим детям нечего бояться этого! Этакая птичка только и умеет чирикать — поневоле замерзнешь зимой!

— Да, да, правда ваша, — сказала полевая мышь, — какой прок из этого чириканья? Что оно приносит птице? Холод и голод зимой? Много, нечего сказать!

Лизок С Вершок не сказала ничего, но, когда крот с мышью повернулись к птице спиной, нагнулась к ней, раздвинула перышки и поцеловала ее прямо в закрытые глазки. «Может быть, эта самая так чудесно распевала летом! — подумала девочка. — Сколько радости доставила ты мне, милая, хорошая птичка!»

Крот опять заткнул дыру в потолке и проводил дам обратно. Но девочке не спалось ночью. Она встала с постельки, сплела из сухих былинки большой славный ковер, снесла его в галерею и завернула в него мертвую птичку; потом отыскала у полевой мыши пуху и обложила им всю ласточку, чтобы ей было потеплее лежать на холодной земле.

— Прощай, миленькая птичка, — сказала Лизок С Вершок, — прощай! Спасибо тебе за то, что ты так чудесно пела мне летом, когда все деревья были такие зеленые, а солнышко так славно грело!

И она склонила головку на грудь птички, но вдруг испугалась: внутри что-то застучало. Это забилося сердечко птицы: она была не совсем мертвая, а только окоченела от холода, теперь же согрелась и ожила.

Осенью ласточки улетают в теплые края, а если которая запоздает, то от холода живо окоченеет, упадет замертво на землю, и ее засыплет холодным снегом.

Девочка вся задрожала от испуга: птица ведь была в сравнении с крошкой просто великаном, но все-таки собралась с духом, еще больше закутала ласточку, потом сбегала принесла листок мяты, которым закрывалась вместо одеяла сама, и покрыла им головку птички.

На следующую ночь Лизок С Вершок опять потихоньку пробралась к ласточке. Птичка совсем уж ожила, только была еще очень слаба и еле-еле открыла глазки, чтобы посмотреть на девочку, которая стояла перед нею с кусочком гнилушки в руках: другого фонаря у нее не было.

— Благодарю тебя, милая крошка! — сказала больная ласточка. — Я так славно согрелась. Скоро я совсем поправлюсь и опять вылечу на солнышко.

— Ах, — сказала девочка, — теперь так холодно, идет снег! Останься лучше в своей теплой постельке, я буду ухаживать за тобой.

И Лизок С Вершок принесла птичке воды в цветочном лепестке. Ласточка попила и рассказала девочке, как поранила себе крылышко о терновый куст и потому не могла улететь вместе с другими ласточками в теплые края, как упала на землю и... Да больше она уж ничего не помнила и как попала сюда — не знала.

Всю зиму прожила тут ласточка, и Лизок С Вершок ухаживала за ней. Ни крот, ни полевая мышь ничего не знали об этом — они ведь совсем не любили птичек.

Когда настала весна и пригрело солнышко, ласточка распрощалась с девочкой, и Лизок С Вершок ототкнула дыру, которую проделал крот.

Солнце так славно грело, и ласточка спросила, не хочет ли девочка отправиться вместе с нею; пускай сядет к ней на спину, и они полетят в зеленый лес! Но Лизок С Вершок не хотела так бросить полевую мышь: она ведь знала, что старуха очень огорчится.

— Нет, нельзя! — сказала девочка ласточке.

— Прощай, прощай, милая крошка! — сказала ласточка и вылетела на солнышко.

Лизок С Вершок посмотрела ей вслед, и у нее даже слезы навернулись на глазах: уж очень полюбила ее милая птичка.

— Тви-вить, тви-вить! — прощбетала птичка и скрылась в зеленом лесу.

Девочке было очень грустно. Ей совсем не позволяли выходить на солнышко, а хлебное поле так все заросло высокими толстыми колосьями, что стало для бедной крошки дремучим лесом.

— Летом тебе придется готовить себе приданое! — сказала ей полевая мышь.

Оказалось, что скучный сосед в бархатной шубке посватался за девочку.

— Надо, чтобы у тебя всего было вдоволь, а там выйдешь замуж за крота и подавно ни в чем нуждаться не будешь!

И девочке пришлось прясть по целым дням, а старуха мышь наняла четырех пауков для тканья, и они работали день и ночь. Каждый вечер крот приходил к полевой мыши в гости и все только и болтал о том, что вот скоро лету будет конец, солнце перестанет так палить землю, а то она совсем уж как камень стала, и тогда они сыграют свадьбу. Но девочка была совсем не рада: ей не нравился скучный крот. Каждое утро, на восходе солнышка, и каждый вечер, при закате, Лизок С Вершок выходила на порог мышиной норки: иногда ветер раздвигал верхушки

колосьев, и ей удавалось увидеть кусочек голубого неба. «Как светло, как хорошо тут на воле!» — думала девочка и вспоминала о ласточке; ей очень хотелось бы повидаться с птичкой, но ласточки нигде не было видно, должно быть, она летала там, далеко-далеко, в зеленом лесу!

К осени Лизок С Вершок приготовила все свое приданое.

— Через четыре недели твоя свадьба! — сказала девочке полевая мышь.

Но крошка заплакала и сказала, что не хочет выходить замуж за скучного крота.

— Пустяки! — сказала старуха мышь. — Только не капризничай, а то я сумею укусить тебя моим белым зубом. У тебя будет чудеснейший муж! У самой королевы нет такой черной бархатной шубки, как у него! Да и в кухне, и в погребке у него не пусто! Благодарю Бога за такого мужа!

Наступил и день свадьбы. Крот пришел за девочкой. Теперь ей приходилось идти за ним в его нору, жить там, глубоко-глубоко под землею, и никогда не выходить на солнышко: крот ведь терпеть его не мог! А бедной крошке было так тяжело навсегда распрощаться с красным солнышком! У полевой мыши она все-таки могла хоть изредка любоваться на него из дверей.

И Лизок С Вершок вышла взглянуть на него в последний раз. Хлеб был уже убран с поля, и из земли опять торчали одни голые засохшие стебли. Девочка отошла от дверей подальше и протянула к солнцу руки:

— Прощай, красное солнышко, прощай!

Потом она обняла ручонками маленький красный цветочек, который рос тут, и сказала ему:

— Клянись от меня милой ласточке, если увидишь ее!

— Тви-вить, тви-вить! — вдруг раздалось над ее головой.

Лизок С Вершок подняла глаза и увидела ласточку, которая пролетала мимо. Ласточка тоже увидела девочку и очень обрадовалась, а девочка заплакала и рассказала ласточке, как ей не хочется выходить замуж за гадкого крота и жить с ним глубоко под землей, куда никогда не заглянет солнышко.

— Скоро придет холодная зима, — сказала ласточка, — и я улетаю далеко-далеко в теплые края. Хочешь лететь со мною? Ты можешь сесть ко мне на спину — только привяжи себя покрепче поясом, и мы улетим с тобой далеко от гадкого крота, далеко за синие моря, в теплые края, где солнышко светит ярче, где всегда лето и цветут чудные цветы! Полетим со мной, милая крошка! Ты ведь спасла мне жизнь, когда я замерзала в темной, холодной яме.

— Да, да, я полечу с тобой! — сказала Лизок С Вершок, села птичке на спину, протянула ножки на раздвоенный хвостик и крепко привязала себя поясом к самому большому перышку.

Ласточка взвилась стрелой и полетела над темными лесами, над синими морями и высокими горами, покрытыми снегом. Тут было страсть как холодно; крошка вся зарылась в теплые перья ласточки и только высунула одну головку, чтобы любоваться всеми прелестями, которые встречались на пути.

Но вот и теплые края! Тут солнце сияло уже гораздо ярче, небо стояло выше, а около канав и изгородей вился чудесный зеленый виноград. В лесах росли лимоны и апельсины, пахло миртами и душистой мятой, а по дорожкам бегали прелестные ребятишки и ловили больших пестрых бабочек. Но ласточка летела все дальше и дальше, и чем дальше, тем было все лучше. На берегу чудного голубого озера, посреди зеленых кудрявых деревьев, стоял старинный белый мраморный дворец. Виноградные лозы обвивали его высокие колонны, а наверху, под крышей, лепились ласточкины гнезда. В одном из них и жила ласточка, которая принесла девочку.

— Вот мой дом! — сказала ласточка. — А ты выбери себе один из этих великолепных цветов внизу, я тебя посажу туда, и ты заживешь чудесно!

— Чудесно! — сказала крошка и захлопала ручонками.

Внизу лежали большие куски белого мрамора — это свалилась верхушка одной колонны и разбилась на три куска, а между ними росли чудеснейшие крупные белые цветы. Ласточка спустилась и посадила девочку на один из широких лепестков. Но вот диво! В самой чашечке цветка сидел маленький человечек, беленький и прозрачный, точно хрустальный. На головке у него сияла прелестная золотая корона, за плечами развевались блестящие крылышки, а сам он был не больше нашей девочки-крошки.

Это был эльф. В каждом цветке живет эльф или эльфа, а тот, который сидел рядом с девочкой, был сам король эльфов.

— Ах, как он хорош! — шепнула Лизок С Вершок ласточке.

Маленький король совсем перепугался при виде ласточки. Он был такой крошечный, нежный, и она была для него просто страшилищем-птицей. Зато он очень обрадовался, увидав нашу крошку: он никогда еще не видывал такой хорошенькой девочки! И он сейчас же снял перед ней свою золотую корону и спросил, как ее зовут и хочет ли она быть его женой, королевой эльфов? Вот это так муж! Не то что гадкий сын жабы или крот в бархатной шубке! И девочка согласилась. Тогда из каждого цветка вылетели эльф или эльфа, такие хорошенькие, что просто прелесть! Все они поднесли девочке подарки. Самым лучшим была пара прозрачных бабочкиных крылышек. Их прикрепили к спинке девочки, и она тоже могла теперь летать с цветка на цветок! Вот-то была радость! А ласточка сидела наверху, в своем гнездышке, и пела им, как только умела.

Но самой ей было очень грустно: она ведь крепко полюбила девочку и хотела бы век не расставаться с ней.

— Тебя больше не будут звать Лизок С Вершок! — сказал эльф. — Это гадкое имя, а ты такая хорошенькая! Мы будем звать тебя Майей!

— Прощай, прощай! — прошептала ласточка и опять полетела из теплых краев в Данию. Там у нее было маленькое гнездышко, как раз над окном человека, большого мастера рассказывать сказки. Ему-то она и спела свое «тви-вить, тви-вить», а там и мы узнали всю историю.



НЕХОРОШИЙ МАЛЬЧИК

Жил-был старик поэт, такой славный старик, настоящий поэт. Раз, вечером, он сидел себе дома, а на дворе разыгралась непогода. Дождь лил как из ведра, но старику поэту было так уютно и тепло возле печки, где ярко горел огонек и, весело шипя, пеклись яблоки.

— Плохо беднякам в такую погоду: нитки сухой на теле не останутся! — сказал он.

Он был очень добрый.

— Впустите, впустите меня! Я озяб и весь промок! — закричал за дверями ребенок.

Он плакал и стучал в дверь, а дождь так и лил, ветер так и бился в окошки.

— Бедняжка! — сказал старик поэт и пошел отворять двери.

За дверями стоял маленький мальчик, совсем голенький. С его длинных золотистых волос бежала вода; он дрожал от холода; если бы его не пустили, он бы, наверно, не вынес такой непогоды.

— Бедняжка! — сказал старик поэт и взял его за руку. — Пойдем ко мне, я обогрею тебя, дам тебе винца и яблоко; ты такой хорошенький мальчуган!

Он и в самом деле был прехорошенький. Глазенки у него блестели, как звездочки, а мокрые золотистые волосы вились кудрями — ну совсем ангелочек! Только он весь посинел от холода и дрожал как осиновый лист. В руках у него был чудесный лук; беда только, он весь испортился от дождя; краски на стрелах совсем полиняли.

Старик поэт уселся к печке, взял малютку на колени, выжал его мокрые волосы, согрел ручонки в своих руках и вскипятил ему сладкого вина. Мальчик оправился, щечки у него зарумянились, он спрыгнул на пол и стал плясать вокруг старика поэта.

— Ишь ты, какой веселый мальчуган! — сказал старик поэт. — А как тебя зовут?

— Амур! — отвечал мальчик. — Ты разве не знаешь меня? Вот и лук мой! Я умею стрелять! Посмотри, погода разгулялась, месяц светит!



— А лук-то твой испортился! — сказал старик поэт.

— Вот было бы горе! — сказал мальчуган, взял лук и стал его осматривать. — Он совсем высох, и ему ничего не сделалось! Тетива натянута как следует! Сейчас попробую.

И он натянул лук, положил стрелу, прицелился и выстрелил старику поэту прямо в сердце!

— Вот видишь, мой лук совсем не испорчен! — закричал он, громко засмеялся и убежал.

Нехороший мальчик! Выстрелил в старика поэта, который приласкал его, дал ему чудесного вина и самое лучшее яблоко!

Добрый старик лежал на полу и плакал: он был ранен в самое сердце. Потом он сказал:

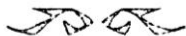
— Фи! Какой нехороший мальчик, этот Амур! Я расскажу о нем всем хорошим детям, чтобы они береглись, не связывались с ним: он и их обидит!

И все добрые дети — и мальчики, и девочки — стали остерегаться злого Амура, но он все-таки умел иногда обмануть их — такой плут!

Идут себе студенты с лекции, и он рядом: книжка под мышкой, в черном сюртуке, и не узнаешь его! Они думают, что он тоже студент, возьмут его под руку, а он и пустит им в грудь стрелу.

Идут тоже девушки от священника или в церковь — он уж тут как тут; вечно гоняется за людьми. А то заберется иногда в большую люстру в театре и горит там ярким пламенем; люди-то думают сначала, что это лампа, и уж потом только разберут, в чем дело. Бегаёт он и по королевскому саду, и по валу. А раз так он ранил в сердце твоего папашу и твою мамашу! Спроси-ка у них, они тебе расскажут.

Да, дурной мальчик этот Амур, ты и не связывайся с ним! Он только и делает, что бегаёт за людьми. Подумай, он пустил раз стрелу даже в твою старушку бабушку! Это давно было, давно прошло и быльем поросло, а все-таки не забылось, да и не забудется! Фи! Злой Амур! Но теперь ты знаешь о нем, знаешь, какой он нехороший мальчик!



ДОРОЖНЫЙ ТОВАРИЦ

Бедняга Иван был в большом горе: отец его лежал при смерти. Они были одни в своей каморке; лампа на столе догорала; дело шло к ночи.

— Ты был мне добрым сыном, Иван! — сказал больной. — Бог не оставит тебя своею милостью!

И он ласково-серьезно взглянул на Ивана, глубоко вздохнул и умер, точно заснул. Иван заплакал. Теперь он остался круглым сиротой: ни отца у него, ни матери, ни сестер, ни братьев! Бедняга Иван! Долго стоял он на коленях перед кроватью и целовал руки умершего, заливаясь горькими слезами, но потом глаза его закрылись, голова склонилась на край постели, и он заснул.

И приснился ему удивительный сон.

Он видел, что солнце и месяц преклонились перед ним, видел своего отца опять свежим и бодрым, слышал его смех, каким он всегда смеялся, бывало, когда был особенно весел; прелестная девушка с золотой короной на чудных длинных волосах протягивала Ивану руку, а отец его говорил: «Видишь, какая у тебя невеста? Первая красавица в свете!»

Тут Иван проснулся, и — прощай все это великолепие! Отец его лежал мертвый, холодный, и никого-никого не было больше у Ивана! Бедняга Иван!

Через неделю умершего хоронили; Иван шел за гробом. Не видать ему больше своего доброго отца, который так любил его! Иван слышал, как ударялась о крышку гроба земля, видел, как гроб засыпали все больше и больше; вот уж виден только один краешек, но еще горсть земли — и гроб скрылся совсем. У Ивана чуть сердце не разорвалось от горя. Над могилой пели псалмы; чудное пение растрогало Ивана до слез, он заплакал, и на душе у него стало полегче. Солнышко так приветливо сияло на зеленые деревья, как будто говорило: «Не тужи, Иван! Посмотри, какое красивое голубое небо — там твой отец молится за тебя!»

— Я буду вести хорошую жизнь! — сказал Иван. — И тогда я тоже пойду на небо к отцу. Вот будет радость, когда мы опять свидимся! Сколько у меня будет рассказов! А он покажет мне все чудеса и красоту

неба и опять будет учить меня, как учил, бывало, здесь, на земле. Вот будет радость!

И он так живо представил себе все это, что даже улыбнулся сквозь слезы. Птички, сидевшие в ветвях каштанов, громко чирикали и пели; им было весело, хотя они только что присутствовали при погребении, но они ведь знали, что умерший теперь на небе, что у него выросли крылья, куда красивее и больше, чем у них, и что он вполне счастлив, так как вел здесь, на земле, добрую жизнь. Иван увидел, как птички вспорхнули с зеленых деревьев и высоко-высоко взвились в воздух, и ему самому захотелось улететь куда-нибудь подальше. Но сначала он должен был поставить на могиле отца деревянный крест. Вечером он принес крест и увидел, что могила вся усыпана песком и убрана цветами: об этом позаботились посторонние люди, очень любившие доброго его отца.

На другой день, рано утром, Иван связал все свое добро в маленький узелок, положил в кошелек весь свой наследственный капитал: 50 талеров и еще две мелкие серебряные монетки, и был готов пуститься в путь-дорогу. Прежде всего он отправился на кладбище, на могилу отца, прочел над ней «Отче наш» и сказал:

— Прощай, милый отец! Я постараюсь вести добрую жизнь, а ты помолись за меня на небе!

Потом Иван свернул в поле. В поле росло много свежих красивых цветов; они грелись на солнышке и качали от ветра головками, точно говорили: «Добро пожаловать! Не правда ли, как у нас тут хорошо?» Иван еще раз обернулся, чтобы взглянуть на старую церковь, где его крестили ребенком и куда он ходил по воскресеньям со своим добрым отцом петь псалмы. Высоко-высоко, на самом верху колокольни, в одном из круглых окошечек Иван увидел крошку домового в красной остроко-нечной шапочке, который стоял, заслонив глаза от солнца правой рукой. Иван поклонился ему, и крошка домовый высоко взмахнул в ответ своею красною шапкой, прижал руку к сердцу и послал Ивану несколько воздушных поцелуев — вот как горячо желал он Ивану счастливого пути и всего хорошего!

Иван стал думать о чудесах Божьего мира, которые ему предстояло теперь увидеть, и бодро шел вперед, вперед, дальше, дальше, где никогда еще не была его нога; вот уже пошли чужие города, незнакомые лица — он забрался далеко-далеко от своей родины.

Первую ночь ему пришлось провести в поле, на стогу сена — другой постели взять было негде. «Да и что ж, — думалось ему, — лучшей спальни не найдется у самого короля!» В самом деле, поле с ручейком, стог сена и голубое небо над головой — чем не спальня? Вместо ковра — зеленая травка с красными и белыми цветочками, вместо букетов цветов в вазах — кусты бузины и шиповника, а вместо умывальника — целый ручей с хрустальною свежою водой в рамке из тростника, который при-

ветливо кланялся Ивану и желал ему и доброй ночи, и доброго утра. Высоко под голубым потолком висел огромный ночник — месяц; уж этот ночник не подожжет занавесок! И Иван мог заснуть совершенно спокойно. Так он и сделал, крепко проспал всю ночь и проснулся только рано утром, когда солнце уже сияло, а птички пели:

— Здравствуй! Здравствуй! Ты еще не встал?

Колокола звали в церковь — было воскресенье; народ шел послушать священника; пошел за ним и Иван, пропел псалом, послушал слова Божьего, и ему показалось, что он был в своей собственной церкви, где его крестили и куда он ходил петь псалмы с отцом.

На церковном кладбище было много могил, совсем заросших сорною травой. Иван вспомнил о могиле отца, которая могла со временем прийти в такой же вид: некому было ведь больше ухаживать за ней! Он присел на землю и стал вырывать сорную траву, поправил покачнувшиеся кресты и положил на место сорванные ветром венки, думая при этом: «Может статься, кто-нибудь сделает то же на могиле моего отца».

У ворот кладбища стоял старый калека-нищий; Иван отдал ему всю свою серебряную мелочь и весело пошел дальше по белу свету.

К вечеру собралась гроза; Иван спешил укрыться куда-нибудь на ночь, но скоро наступила полная темнота, а он успел дойти только до часовенки, одиноко возвышавшейся на придорожном холме; дверь, к счастью, была отперта, и он вошел туда, чтобы переждать непогоду.

— Тут я и посижу в уголке! — сказал Иван. — Я страшно устал, и мне надо отдохнуть.

И он опустил на пол, сложил руки, прочел вечернюю молитву и еще какие знал, потом заснул и спал себе спокойно, пока в поле сверкала молния и грохотал гром.

Когда Иван проснулся, гроза уже прошла и месяц светил прямо в окна. Посреди часовни стоял раскрытый гроб с покойником, которого еще не успели похоронить. Иван нисколько не испугался: совесть у него была чиста, и он хорошо знал, что мертвые никому не делают зла, не то что живые злые люди. Двое таких как раз и стояли возле мертвого, поставленного в часовню в ожидании погребения. Они хотели обидеть бедного умершего — выбросить его из гроба за порог.

— Зачем вы хотите сделать это? — спросил их Иван. — Это очень дурно и грешно! Оставьте его покоиться с миром!

— Вздор! — сказали злые люди. — Он надул нас! Взял у нас деньги, не заплатил и умер! Теперь мы не получим с него ни гроша; так вот хоть отомстим ему: пусть валяется, как собака, за дверями!

— У меня всего 50 талеров, — сказал Иван, — это все мое наследство, но я охотно отдам его вам, если вы дадите мне слово оставить бедного умершего в покое! Я обойдусь и без денег — у меня есть пара здоровых рук, да и Бог не оставит меня!

— Ну, — сказали злые люди, — если ты заплатишь нам за него, мы не сделаем ему ничего дурного, будь спокоен!

И вот они взяли у Ивана деньги, посмеялись над его простотой и пошли своею дорогой, а Иван хорошенько уложил покойника в гробе, скрестил ему руки, простился с ним и с веселым сердцем вновь пустился в дорогу.

Идти пришлось через лес; между деревьями, освещенными лунным сиянием, резвились прелестные малютки эльфы; они ничуть не пугались Ивана; они хорошо знали, что он добрый, невинный человек, а ведь только злые люди не могут видеть эльфов. Некоторые из малюток были не больше мизинца и расчесывали свои длинные белокурые волосы золотыми гребнями, другие качались на больших каплях росы, лежавших на листьях и стебельках травы; иногда капля скатывалась, а с нею и эльфы, прямо в густую траву, и тогда между остальными малютками поднимался такой хохот и возня! Ужасно забавно было! Они пели, и Иван узнал все хорошенькие песенки, которые он певал еще ребенком. Большие пестрые пауки с серебряными коронами на головах должны были перекидывать для эльфов с куста на куст висячие мосты и ткать целые дворцы, которые, если на них попадала капля росы, сверкали при лунном свете чистым хрусталем. Но вот встало солнышко, малютки эльфы вскарабкались в чашечки цветов, а ветер подхватил их мосты и дворцы и понес по воздуху, точно простые паутинки.

Иван уже вышел из леса, как вдруг позади него раздался звучный мужской голос:

— Эй, товарищ, куда путь держишь?

— Куда глаза глядят! — сказал Иван. — У меня нет ни отца, ни матери, я круглый сирота, но Бог не оставит меня!

— Я тоже иду по белу свету куда глаза глядят, — сказал незнакомец, — так будем товарищами!

— Ладно! — сказал Иван, и они пошли вместе.

Скоро они очень полюбились друг другу: оба они были славные люди. Но Иван заметил, что незнакомец был гораздо умнее его, обошел чуть не весь свет и умел порассказать обо всем.

Солнце стояло уже высоко, когда они присели под большим деревом закусить. В то же самое время к ним подошла старая-старая бабушка, вся сгорбленная и с клюкой в руках; за спиной у нее была вязанка хвороста, а из высоко подоткнутого передника торчали три больших пучка папоротника и веток ивы. Когда старуха поравнялась с Иваном и его товарищем, она вдруг поскользнулась, упала и громко вскрикнула: бедняга сломала себе ногу.

Иван сейчас же предложил товарищу отнести старуху домой, но незнакомец открыл свою котомку, вынул оттуда баночку и сказал старухе, что у него есть такая мазь, которая сразу вылечит ее, и она пойдет домой как ни в чем не бывало. Но за это она должна подарить ему те три пучка, которые у нее в переднике!



— Плата хорошая! — сказала старуха и как-то странно покачала головой. Ей не хотелось расстаться со своими вениками, но и лежать со сломанною ногой было тоже неприятно, и вот она отдала ему веники, а он сейчас же помазал ей ногу мазью; раз, два — и старушка вскочила и зашагала живее прежнего. Вот так мазь была! Такой не достанешь в аптеке!

— На что тебе эти веники? — спросил Иван у товарища.

— А чем не букеты? — сказал тот. — Они мне очень понравились: я ведь чудак!

Потом они прошли еще добрый конец дороги.

— Смотри, как заволакивает! — сказал Иван, указывая перед собою пальцем. — Вот так облака!

— Нет, — сказал его товарищ, — это не облака, а горы, чудные, высокие горы, по которым можно добраться до самых облаков. Ах, как там хорошо! Завтра мы будем уже далеко-далеко!

Горы были совсем не так близко, как казалось; Иван с товарищем шли еще целый день, прежде чем добрались до того места, где начинались темные леса, взбиравшиеся чуть не к самому небу, и лежали каменные громады величиной с город, подняться на горы было не шуткой, и потому Иван с товарищем зашли отдохнуть и собраться с силами в гостиницу, приютившуюся внизу.

В нижнем этаже, в пивной, собралось много народа: там давалось кукольное представление; хозяин марионеток поставил свой маленький театр посреди комнаты, а народ уселся перед ним полукругом, чтобы полюбоваться представлением. Впереди всех, на самом лучшем месте, уселся старый толстый мясник с большущим бульдогом. У! Как свирепо глядел бульдог! Он тоже уселся на полу и таращился на представление.

Представление началось и шло прекрасно: на бархатном троне восседали король с королевой, с золотыми коронами на головах и в платьях с длинными-длинными шлейфами: средства их позволяли такую роскошь. У всех входов стояли чудеснейшие деревянные куклы со стеклянными глазами и большими усами и распахивали двери, чтобы проветрить комнаты. Словом, представление было чудесное и совсем не печальное; но вот королева встала и только что прошла несколько шагов, как Бог знает что сделалось с бульдогом: хозяин не держал его, он вскочил прямо на сцену, схватил королеву зубами за тоненькую талию и — крак! — перекусил ее пополам. Вот был ужас!

Бедный хозяин марионеток ужасно перепугался и огорчился за бедную королеву — это была самая красивая из всех его кукол, и вдруг гадкий бульдог откусил ей голову! Но вот народ разошелся, и товарищ Ивана сказал, что починит королеву, вынул баночку с тою же мазью, которою мазал сломанную ногу старухи, и помазал куклу; кукла сейчас же опять

стала целехонька и вдобавок начала сама двигать всеми членами, так что ее больше не нужно было дергать за веревочки; выходило, что кукла была совсем как живая, только говорить не могла. Хозяин марионеток остался этим очень доволен: теперь ему не нужно было управлять королевой, она могла танцевать сама, не то что другие куклы!

Ночью, когда все люди в гостинице легли спать, кто-то вдруг завздыхал так глубоко и протяжно, что все повставали посмотреть, что и с кем случилось, а хозяин марионеток подошел к своему маленькому театру — вздохи слышались оттуда. Все деревянные куклы: и король, и телохранители лежали вперемешку, глубоко вздыхали и тарашили свои стеклянные глаза; им тоже хотелось, чтобы их помазали, как королеву: тогда бы и они могли двигаться сами! Королева же встала на колени и протянула свою золотую корону, как бы говоря: «Возьмите ее, только помажьте моего супруга и моих придворных!» Бедняга хозяин не мог удержаться от слез: так ему жаль стало своих кукол, пошел к товарищу Ивана и пообещал отдать ему все деньги, которые соберет за вечернее представление, если тот помажет четыре-пять лучших из его кукол. Товарищ Ивана сказал, что денег не возьмет, но требует у хозяина большую саблю, которая висела у него сбоку; получив ее, он помазал пять кукол, которые сейчас же заплясали, да так чудесно, что, глядя на них, заплясали и все живые, настоящие, девушки, заплясали и кучер, и кухарка, и лакеи, и горничные, все гости и даже кочерга со щипцами; ну да эти-то двое растянулись с первого же прыжка. Да, веселая выдалась ночка!

На следующее утро Иван и его товарищ ушли из гостиницы, взобрались на высокие горы и вступили в необозримые сосновые леса. Путники поднялись, наконец, так высоко, что колокольни внизу казались им какими-то красненькими¹ ягодками в зелени, и, куда ни оглянись, видно было на несколько миль кругом. Такой красоты Иван еще не видывал: теплое солнышко ярко светило с голубого прозрачного неба, в горах раздавались звуки охотничьих рогов.

Божий мир был так чудно хорош, что у Ивана выступили от радости на глазах слезы, и он не мог не воскликнуть:

— Боже ты мой! Как бы я расцеловал тебя за то, что ты такой добрый и создал для нас весь этот чудесный мир!

Товарищ Ивана тоже стоял со скрещенными на груди руками и смотрел на леса и города, освещенные солнышком. В эту минуту над головами их раздалось чудесное пение: они подняли головы — в воздухе плыл большой прекрасный белый лебедь и пел, как не петь ни одной птице; но голос его звучал все слабее и слабее, он склонил голову и тихо-тихо

¹ В Дании, преимущественно в провинциях, и до сих пор еще в большом ходу красные черепичные крыши. — *Примеч. перев.*

опустился на землю — прекрасная птица лежала у ног Ивана и его товарища мертвой!

— Какие чудные крылья! — сказал товарищ Ивана. — Они могут нам пригодиться! Видишь, хорошо, что я взял с собой саблю!

И он одним ударом отрубил у мертвого лебедя оба крыла.

Потом они прошли еще много-много миль и наконец увидели перед собой большой город с сотнями башен, которые блестели на солнце, как серебряные; в середине города стоял великолепный мраморный дворец с крышей из червонного золота; тут жил король.

Иван с товарищем не хотели сейчас же идти осматривать город, а остановились на одном постоялом дворе, чтобы немножко пообчиститься с дороги и принарядиться, прежде чем показаться на улицах. Хозяин постоялого двора рассказал им, что король — человек очень добрый и никогда не сделает людям ничего худого, но что дочь у него злая-презлая. Конечно, она первая красавица в свете, но что толку, если она при этом злая ведьма, из-за которой погибло столько прекрасных принцев. Дело в том, что всякому — и принцу, и нищему — было позволено свататься за нее; жених должен был только отгадать три вещи, о которых принцесса задумывала; отгадай он — она вышла бы за него замуж, и он стал бы, по смерти ее отца, королем над всею страной; нет — и ему грозила смертная казнь. Вот какая гадкая была красавица принцесса! Старик король, отец ее, очень грустил об этом, но не мог ничего с ней поделать и раз навсегда отказался иметь дело с ее женихами: пусть-де она ведается с ними сама, как знает. И вот являлся жених за женихом, их заставляли отгадывать и за неудачу казнили — пусть не суются, ведь их предупреждали заранее!

Старик король, однако, так грустил об этом, что раз в год по целому дню простаивал в церкви на коленях, да еще со всеми своими солдатами, моля Бога о том, чтобы принцесса стала добрее, но она и знать ничего не хотела. Старухи, любившие выпить, окрашивали водку в черный цвет: чем иначе могли они выразить свою печаль?

— Гадкая принцесса! — сказал Иван. — Ее бы следовало высечь! Уж будь я королем-отцом, я бы задал ей перцу!

В эту самую минуту народ на улице закричал «ура!». Мимо проезжала принцесса; она в самом деле была так хороша, что все забывали, какая она была злая, и кричали ей «ура!».

Принцессу окружали двенадцать красавиц амазонок на вороных конях; все они были в белых шелковых платьях, с золотыми тюльпанами в руках. Сама принцесса ехала на белой как снег лошади; вся сбруя была усыпана бриллиантами и рубинами; платье на принцессе было из чистого золота, а хлыстик в руках сверкал, точно солнечный луч; на голове красавицы сияла корона, вся сделанная будто из настоящих звездочек, а на плечи был наброшен плащ, сшитый из сотни тысяч прозрачных бабоч-

киных крыльев, но сама принцесса была все-таки лучше всех своих нарядов.

Иван взглянул на нее, покраснел как маков цвет и не мог вымолвить ни слова: она как две капли воды была похожа на ту девушку, которую он видел во сне в ночь смерти отца. Ах, она была так хороша, что Иван не мог не полюбить ее. «Не может быть, — сказал он сам себе, — чтобы она в самом деле была такою ведьмой, которая приказывает вешать и казнить людей, если они не могут отгадать того, что она задумала. Всем позволено свататься за нее, даже последнему нищему — пойду же и я во дворец! От судьбы, видно, не уйдешь!»

Все стали отговаривать его от этого, ведь и с ним случилось бы то же, что с другими. Дорожный товарищ Ивана тоже не советовал ему пробовать счастья, но Иван решил, что, Бог даст, все пойдет хорошо, вычистил сапоги и кафтан, умылся, причесал свои красивые белокурые волосы и пошел один-одинешенек в город, а потом во дворец.

— Войдите! — сказал старик король, когда Иван постучал в дверь.

Иван отворил дверь, и старый король встретил его одетым в халат; на ногах у него были вышитые туфли, на голове корона, в одной руке скипетр, в другой — держава.

— Постой! — сказал он и взял державу под мышку, чтобы протянуть Ивану руку.

Но как только он услышал, что перед ним новый жених, он начал плакать, выронил из рук и скипетр, и державу и принялся утирать слезы полами халата. Бедный старичок король!

— И не пробуй лучше! — сказал он. — С тобой будет то же, что со всеми! Вот, погляди-ка!

И он повел Ивана в сад принцессы. Брр... какой ужас! На каждом дереве висело по три, по четыре принца, которые когда-то сватались за принцессу, но не сумели отгадать того, что она задумала. Стоило подуть ветерку — и кости громко стучали одна о другую, пугая птичек, которые не смели даже заглянуть в этот сад. Вместо тычинок для привязи цветов служили человеческие кости, в цветочных горшках торчали черепа с оскаленными зубами — вот так сад был у принцессы.

— Вот видишь! — сказал старик король. — И с тобой будет то же, что с ними! Не пробуй лучше! Ты ужасно огорчаешь меня, я так близко принимаю это к сердцу!

В это время во двор въехала принцесса со своими дамами, и король с Иваном вышли к ней поздороваться. Она была в самом деле прелестна, протянула Ивану руку, и он полюбил ее еще больше прежнего. Нет, конечно, она не могла быть такою злою, гадкою ведьмой, как говорили люди.

Они отправились в зал, и маленькие пажи стали обносить их вареньем и медовыми пряниками, но старик король был так опечален, что не мог ничего есть, да и пряники были ему не по зубам.

Было решено, что Иван опять придет во дворец на другое утро, а судьи и весь Совет соберутся слушать, как он будет отгадывать. Справится он с задачей на первый раз — придет еще два раза; но никому еще не удавалось отгадать и одного раза: всем приходилось платиться головой за первую же попытку.

Ивана ничуть не заботила мысль о том, что будет с ним; он был очень весел, думал только о прелестной принцессе и крепко верил, что Бог не оставит его своею помощью; каким образом поможет он ему — Иван не знал, да и думать об этом не хотел, а шел себе, приплясывая, по дороге, пока, наконец, не пришел обратно на постоянный двор, где ждал его товарищ.

Иван без умолку рассказывал о прелестной принцессе, о том, как ласково она приняла его, и дожидаться не мог завтрашнего дня, когда пойдет, наконец, во дворец попытать счастья.

Но дорожный товарищ Ивана грустно покачал головой и сказал:

— Я так люблю тебя, мы могли бы провести вместе еще много счастливых дней, и вдруг мне придется лишиться тебя! Мой бедный друг, я готов заплакать, но не хочу огорчать тебя: сегодня, может быть, последний день, что мы вместе! Повеселимся же хоть сегодня! Успеем наплакаться и завтра, когда ты уйдешь во дворец!

Весь город сейчас же узнал, что у принцессы новый жених, и все страшно опечалились. Театры закрылись, торговки сладостями обвязали своих сахарных поросят черным крепом, а король и священники собрались в церкви и на коленях молились Богу. Горе было всеобщее, ведь и с Иваном должно было случиться то же, что с прочими женихами.

Вечером товарищ Ивана приготовил пунш и предложил Ивану хорошенько повеселиться и выпить за здоровье принцессы. Иван выпил два стакана, и ему ужасно захотелось спать; глаза у него закрылись сами собой, и он уснул крепким сном. Товарищ поднял его со стула и уложил в постель, а сам, дождавшись ночи, взял два больших крыла, которые отрубил у мертвого лебедя, привязал их к плечам, сунул в карман самый большой пучок розог из тех, что получил от старухи, сломавшей себе ногу, открыл окно и полетел прямо ко дворцу. Там он уселся в уголке под окном принцессиной спальни и стал ждать.

В городе было тихо-тихо; вот пробило три четверти двенадцатого, окно распахнулось, и вылетела принцесса, в длинном белом плаще, с большими черными крыльями за спиной. Она направилась прямо к большой горе, но дорожный товарищ Ивана сделался невидимкой и полетел за ней следом, хлеща ее розгами до крови. Брр... вот так был полет! Ее плащ раздувался от ветра, точно парус, и через него просвечивал месяц.

— Что за град! Что за град! — говорила принцесса при каждом ударе розог — и поделом ей было!

Наконец она добралась до горы и постучала. Раздался точно удар грома, и гора расселась; принцесса вошла, а за нею и товарищ Ивана: никто ведь не видал его. Они прошли длинный-длинный коридор с какими-то странно сверкающими стенами, по ним бежали тысячи огненных пауков, горевших как жар. Затем принцесса и ее невидимый спутник вошли в большой зал из серебра и золота; на стенах сияли большие красные и голубые цветы, вроде подсолнечников, но Боже упаси, кто захотел бы сорвать их! Стебли их были гадкими ядовитыми змеями, а самые цветы — пламенем, выходившим у них из пасти. Потолок был усеян светляками и голубоватыми летучими мышами, которые беспрерывно хлопали своими тонкими крыльями; удивительное было зрелище! Посреди зала стоял трон на четырех лошадиных остовах вместо ножек; сбруя на лошадях была из огненных пауков, самый трон — из молочно-белого стекла, а подушки на нем — из черненьких мышек, вцепившихся друг другу в хвосты зубами. Над троном был балдахин из ярко-красной паутины, усеянной хорошенькими зелеными мухами, блестевшими не хуже драгоценных камней. На троне сидел старый тролль¹, его безобразная голова была увенчана короной, а в руках он держал скипетр. Тролль поцеловал принцессу в лоб и усадил ее рядом с собой на драгоценный трон. Тут заиграла музыка: большие черные кузнечики играли на губных гармониках, а сова била себя крыльями по животу — у нее не было другого барабана. Вот был концерт! Маленькие гномы с блуждающими огоньками на шапках плясали по залу. Никто не видел товарища Ивана, а он стоял позади трона и видел и слышал все!

В зале было много нарядных и важных придворных, но тот, у кого были глаза во лбу, заметил бы, что придворные эти ни больше ни меньше как простые палки с кочными капусты вместо голов: тролль оживил их и нарядил в расшитые золотом платья; впрочем, не все ли равно, если они служили только для парада!

Когда пляска кончилась, принцесса рассказала троллю о новом женихе и спросила, о чем бы ей загадать на следующее утро, когда он придет во дворец.

— Вот что, — сказал тролль, — надо взять что-нибудь самое простое, чего ему и в голову не придет. Задумай, например, о своем башмаке. Ни за что не отгадает! Вели тогда отрубить ему голову, да не забудь принести мне завтра ночью его глаза, я их съем!

Принцесса низко присела и сказала, что не забудет. Затем тролль раскрыл гору, и принцесса полетела домой, а товарищ Ивана опять летел следом и так хлестал ее розгами, что она стонала и жаловалась на сильный град и изо всех сил торопилась добраться до окна своей спальни. До-

¹ «Тролль» — в скандинавской мифологии «безобразное и злое сверхъестественное существо». Различаются тролли лесные и горные. — *Примеч. перев.*

рожный товарищ Ивана полетел обратно на постоялый двор; Иван еще спал; товарищ его отвязал свои крылья и тоже улегся в постель — еще бы, устал порядком!

Чуть занялась заря, Иван был уже на ногах; дорожный товарищ его тоже встал и рассказал ему чудесный сон, который он видел ночью: он видел, что принцесса загадала о своем башмаке, и потому просил Ивана непременно назвать принцессе башмак. Он ведь как раз слышал это в горе у тролля, но не хотел ничего рассказывать Ивану.

— Что ж, для меня все равно, что ни назвать! — сказал Иван. — Может быть, твой сон и в руку: я ведь все время думал, что Бог поможет мне! Но я все-таки прощусь с тобой: если я не угадаю, мы больше не увидимся.

Они поцеловались, и Иван отправился во дворец. Зал был битком набит народом; судьи сидели в креслах, прислонившись головами к подушкам из гагачьего пуха, — им ведь приходилось так много думать! Старик король стоял и вытирал глаза белым носовым платком. Но вот вошла принцесса; она была еще лучше вчерашнего, мило раскланялась со всеми, а Ивану подала руку и сказала:

— Ну, здравствуй!

Теперь надо было отгадывать, о чем она задумала. Господи, как ласково смотрела она на Ивана! Но как только он произнес: «Башмак», она побелела как мел и задрожала всем телом. Делать, однако, было нечего — Иван угадал.

Эх-ма! Старик король даже кувыркнулся на радостях, все рты разинули! А Иван набожно сложил руки и поблагодарил Бога, надеясь, что он поможет ему и в следующий раз.

На другой день надо было приходиться опять. Вечер прошел так же, как и накануне. Когда Иван заснул, товарищ его опять полетел за принцессой и хлестал ее еще сильнее, чем в первый раз, так как взял с собой два пучка розог; никто не видал его, и он опять подслушал совет тролля. Принцесса должна была на этот раз загадать о своей перчатке, что товарищ и передал Ивану, снова сославшись на свой сон. Иван угадал и во второй раз, и во дворце пошло такое веселье, что только держись! Весь двор пошел кувыркаться: сам король ведь подал вчера пример. Зато принцесса лежала на диване и не хотела даже разговаривать. Теперь все дело было в том, отгадает ли Иван в третий раз; если да — то женится на красавице принцессе и наследует по смерти старика короля все королевство; нет — его казнят, и тролль съест его прекрасные голубые глаза.

В этот вечер Иван рано улегся в постель, прочел молитву на сон грядущий и спокойно заснул, а товарищ его привязал себе крылья, пристегнул сбоку саблю, взял все три пучка розог и полетел ко дворцу.

Тьма была, хоть глаз выколи, бушевала такая гроза, что черепицы валялись с крыш, а деревья в саду с мертвецами гнулись от ветра, как тростинки. Молния сверкала ежеминутно, и гром сливался в один сплошной раскат. Но вот открылось окно, и вылетела принцесса, бледная как смерть; но она смеялась над непогодой — ей все еще было мало; белый плащ ее бился по ветру, как огромный парус, а дорожный товарищ Ивана до крови хлестал ее всеми тремя пучками розог, так что под конец она едва могла лететь и еле-еле добралась до горы.

— Град так и сечет! Ужасная гроза! — сказала она. — Сроду не приходилось мне вылетать из дома в такую непогоду.

— Да, видно, что тебе порядком досталось, — сказал тролль.

Принцесса рассказала ему, что Иван угадал и во второй раз; случись то же и в третий — он выиграет дело, и ей нельзя будет больше прилетать в гору и колдовать. Было поэтому о чем печалиться.

— Не угадает он больше! — сказал тролль. — Я найду что-нибудь такое, чего ему и в голову прийти не может, иначе он — тролль почище меня! А теперь будем плясать! И он взял принцессу за руки, и они принялись танцевать вместе с гномами и блуждающими огоньками, а красные пауки весело прыгали вверх и вниз по стенам, точно живые огоньки. Сова била в барабан, сверчки свистели, а черные кузнечики играли на губных гармониках. Развеселый был бал!

Натанцевавшись вдоволь, принцесса стала торопиться домой, иначе ее могли там хватиться; тролль сказал, что проводит ее, и они таким образом подольше пробудут вместе.

Они летели, а товарищ Ивана хлестал их всеми тремя пучками розог; никогда еще троллю не случалось вылетать в такой град.

Перед дворцом он простился с принцессой и шепнул ей на ухо:

— Загадай о моей голове!

Товарищ Ивана, однако, расслышал его слова, и в ту самую минуту, как принцесса скользнула в окно, а тролль хотел повернуть назад, схватил его за длинную черную бороду и срубил ему саблей гадкую голову по самые плечи! Тролль и глазом моргнуть не успел! Тело тролля товарищ Ивана бросил в озеро, а голову окунул в воду, затем завязал в шелковый платок и полетел с этим узелком домой.

Наутро дорожный товарищ отдал Ивану узелок, но не велел ему развязывать его, пока принцесса не спросит, о чем она загадала.

Большой дворцовый зал был битком набит народом; люди жались друг к другу, точно сельди в бочонке. Совет заседал в креслах с мягкими подушками под головами, а старик король разоделся в новое платье; корона и скипетр его были вычищены на славу; зато принцесса была бледна и одета в траур, точно собралась на похороны.

— О чем я загадала? — спросила она Ивана.

Тот сейчас же развязал платок и сам испугался при виде гадкой головы тролля. Все вздрогнули от ужаса, а принцесса сидела как окаменелая, не говоря ни слова. Наконец она встала, подала Ивану руку: он ведь угадал. Не глядя ни на кого, она сказала с глубоким вздохом:

— Теперь ты мой господин! Вечером сыграем свадьбу!

— Вот это я люблю! — сказал старик король. — Вот это дело!

Народ закричал «ура», дворцовая стража заиграла марш, колокола зазвонили, и торговки сластями сняли с сахарных поросят траурный креп — теперь повсюду была радость! На площади были выставлены три жареных быка с начинкой из уток и кур, все могли подходить и отрезать себе по куску; в фонтанах било чудеснейшее вино, а в булочных каждому, кто покупал кренделей на два гроша, давали в прибавку шесть больших пышек с изюмом!

Вечером весь город был иллюминирован, солдаты палили из пушек, мальчишки из хлопушек, а во дворце ели, пили, чокались бокалами и плясали. Знатные кавалеры и красивые девицы танцевали друг с другом и пели так громко, что на улице было слышно:

Много тут девиц прекрасных,
Любо им плясать и петь!
Так играйте ж плясовую,
Полно девицам сидеть!
Эй, девица, веселей,
Башмачков не пожалей!

Но принцесса все еще оставалась ведьмой и совсем не любила Ивана; дорожный товарищ его не забыл об этом, дал ему три лебединых пера и пузырек с какими-то каплями и велел поставить перед кроватью принцессы чан с водой; потом Иван должен был вылить туда эти капли и бросить перья, а когда принцесса станет ложиться в постель, столкнуть ее в чан и погрузить в воду три раза — тогда принцесса освободится от колдовства и крепко его полюбит.

Иван сделал все так, как ему было сказано. Принцесса, упав в воду, громко вскрикнула и забилась у Ивана в руках в виде большого черного как смоль лебедя со сверкающими глазами; во второй раз она вынырнула из воды уже в виде белого лебедя с небольшим черным кольцом вокруг шеи; Иван набожно воззвал к Богу и погрузил птицу в третий раз — в то же мгновение она опять стала красавицей принцессой. Она была еще лучше прежнего и со слезами в чудных глазах благодарила Ивана за то, что он освободил ее от чар.

Утром явился к ним старик король со всею свитой, и пошли поздравления. После всех пришел дорожный товарищ Ивана с палкой в руках и котомкой за плечами. Иван расцеловал его и стал просить остаться: ему ведь был он обязан всем своим счастьем! Но тот отрицательно покачал головой и ласково сказал:

— Нет, настал мой час! Я только заплатил тебе свой долг. Помнишь бедного умершего человека, которого хотели обидеть злые люди? Ты отдал им все, что имел, только бы они не тревожили его в гробу. Этот умерший — я!

В ту же минуту он скрылся.

Свадебные торжества продолжались целый месяц. Иван и принцесса крепко любили друг друга, и старик король прожил еще много счастливых лет, качая на коленях и забавляя своими скипетром и державой внучат, в то время как Иван правил королевством.





РУСАЛОЧКА

В открытом море вода совсем синяя, как лепестки хороших васильков, и прозрачная, как хрусталь, — но зато и глубоко там! Ни один якорь не достанет до дна: на дно моря пришлось бы поставить одну на другую много-много колоколен, чтобы они могли высунуться из воды. На самом дне живут русалки.

Не подумайте, что там, на дне, один голый белый песок; нет, там растут удивительнейшие деревья и цветы с такими гибкими стебельками и листьями, что они шевелятся, как живые, при малейшем движении воды. Между ветвями их шныряют маленькие и большие рыбки, точь-в-точь как у нас здесь птицы. В самом глубоком месте стоит коралловый дворец морского царя с большими остrokонечными окнами из чистейшего янтаря и с крышей из раковин, которые то открываются, то закрываются, смотря по приливу и отливу; выходит очень красиво, так как в середине каждой раковины лежит по жемчужине такой красоты, что и одна из них украсила бы корону любой королевы.

Морской царь давным-давно овдовел, и хозяйством у него заправляла его старуха мать — женщина умная, но очень гордая своим родом; она носила на хвосте целую дюжину устриц, тогда как вельможи имели право носить только по шести. Вообще же она была особа достойная, особенно потому, что очень любила своих маленьких внуков. Все шесть принцесс были прехорошенькими русалочками, но лучше всех была самая младшая, нежная и прозрачная, как лепесток розы, с глубокими, синими, как море, глазами. Но и у нее, как у других русалок, не было ножек, а только рыбий хвост.

День-деньской играли принцессы в огромных дворцовых залах, где по стенам росли живые цветы. В открытые янтарные окна вплывали рыбки, как у нас, бывает, влетают ласточки; рыбки подплывали к маленьким принцессам, ели из их рук и позволяли себя гладить.

Возле дворца был большой сад; там росло много огненно-красных и темно-голубых деревьев с вечно колеблющимися ветвями и листьями; плоды их при этом движении сверкали, как золото, а цветы — как огоньки. Сама земля была усыпана мелким голубоватым, как серное пламя, песком;

на дне морском на всем лежал какой-то удивительный голубоватый отблеск — можно было, скорее, подумать, что витаешь высоко-высоко в воздухе, причем небо у тебя не только над головой, но и под ногами. В безветрие можно было также видеть солнце; оно смотрело пурпуровым цветком, из чашечки которого лился свет.

У каждой принцессы было в саду свое местечко; тут они могли копать и сажать что хотели. Одна сделала себе цветочную грядку в виде кита, другой захотелось, чтобы ее грядка была похожа на русалочку, а самая младшая сделала себе грядку круглую, как солнышко, и посадила ее такими же ярко-красными цветами. Странное дитя была эта русалочка: такая тихая, задумчивая... Другие сестры украшали себя разными разностями, которые доставлялись им с разбитых кораблей, а она любила только свои красные, как солнышко, цветочки да прекрасного белого мраморного мальчика, упавшего на дно моря с какого-то погибшего корабля. Русалочка посадила у статуи красную плакучую иву, которая чудесно разрослась; ветви ее перевешивались через статую и клонились на голубой песок, где колебалась их фиолетовая тень: вершина и корни точно играли и целовались друг с другом!

Больше всего любила русалочка слушать рассказы о людях, живущих наверху, на земле. Старуха бабушка должна была рассказывать ей все, что только знала, о кораблях и городах, о людях и о животных. Особенно занимало и удивляло русалочку, что цветы на земле пахли, — не то что тут, в море! — что леса там были зеленого цвета, а рыбки, которые жили в ветвях, чудесно пели. Бабушка называла рыбками птичек, иначе внучки не поняли бы ее: они ведь сроду не видывали птиц.

— Когда вам исполнится пятнадцать лет, — говорила бабушка, — вам тоже можно будет всплывать на поверхность моря, сидеть, при свете месяца, на скалах и смотреть на плывущие мимо огромные корабли, на леса и города!

В этот год старшей принцессе как раз должно было исполниться пятнадцать лет, но другим сестрам — а они все были погодки — приходилось еще ждать, и дольше всех — целых пять лет — самой младшей. Но каждая обещала рассказать остальным сестрам о том, что ей больше всего понравится в первый день: рассказы бабушки мало удовлетворяли их любопытство, им хотелось знать обо всем поподробнее.

Никого не тянуло так на поверхность моря, как самую младшую, тихую, задумчивую русалочку, которой приходилось ждать дольше всех. Сколько ночей провела она у открытого окна, вглядываясь в синеву моря, где шевелили своими плавниками и хвостами целые стаи рыбок! Она могла разглядеть сквозь воду месяц и звезды; они, конечно, блестели не так ярко, но зато казались гораздо больше, чем кажутся нам. Случалось, что под ними скользило как будто большое облако, и русалочка знала, что это или проплывал над нею кит, или проходил корабль с сотнями

людей; они и не думали о хорошенькой русалочке, что стояла там, в глубине моря, и протягивала к килю корабля свои белые ручки.

Но вот старшей принцессе исполнилось пятнадцать лет, и ей было позволено всплыть на поверхность моря.

Вот было рассказов, когда она вернулась назад! Лучше же всего, по ее словам, было лежать в тихую погоду на песчаной отмели и нежиться, при свете месяца, любуясь раскинувшимся по берегу городом: там, точно сотни звездочек, горели огоньки, слышалась музыка, шум и грохот экипажей, виднелись башни со шпицами, звонили колокола. Да, именно потому, что ей нельзя было попасть туда, ее больше всего и манило это зрелище.

Как жадно слушала ее рассказы самая младшая сестрица. Стоя вечером у открытого окна и вглядываясь в морскую синеву, она только и думала что о большом шумном городе, и ей казалось даже, что она слышит звон колоколов.

Через год и вторая сестра получила позволение подниматься на поверхность моря и плыть куда хочет. Она вынырнула из воды как раз в ту минуту, когда солнце садилось, и нашла, что лучше этого зрелища ничего и быть не может. Небо сияло, как расплавленное золото, рассказывала она, а облака... да тут у нее уж и слов не хватало! Окрашенные в пурпуровые и фиолетовые цвета, они быстро неслись по небу, но еще быстрее них неслась к солнцу, точно длинная белая вуаль, стая лебедей; русалочка тоже поплыла было к солнцу, но оно опустилось в море, и по небу и воде разлилась розовая вечерняя заря.

Еще через год всплыла на поверхность моря третья принцесса; эта была смелее всех и проплыла в широкую реку, которая впадала в море. Тут она увидала зеленые холмы, покрытые виноградниками, дворцы и дома, окруженные чудесными рощами, где пели птицы; солнышко светило и грело так, что ей не раз приходилось нырять в воду, чтобы освежить свое пылающее лицо. В маленькой бухте она увидела целую толпу голеньких человечков, которые плескались в воде; она хотела было поиграть с ними, но они испугались ее и убежали, а вместо них появился какой-то черный зверек и так страшно принялся на нее тяфкать, что русалка перепугалась и уплыла назад в море; зверек этот была собака, но русалка ведь никогда еще не видала собак.

И вот принцесса все вспоминала эти чудные леса, зеленые холмы и прелестных детей, которые умели плавать, хоть у них и не было рыбьего хвоста!

Четвертая сестра не была такою смелой; она держалась больше в открытом море и рассказывала, что это было лучше всего: куда ни оглянешь, на много-много миль вокруг — одна вода да небо, опрокинувшееся над водой, точно огромный стеклянный купол; вдали, как морские чайки, проносились большие корабли, играли и кувыркались забавные дельфины и пускали из ноздрей сотни фонтанов огромные киты.

Потом пришла очередь предпоследней сестры; ее день рождения приходился зимой, и потому она увидала в первый раз то, чего не видели другие: море было зеленоватого цвета, повсюду плавали большие ледяные горы: ни дать ни взять жемчужины, рассказывала она, но такие огромные, выше самых высоких колоколен! Некоторые из них были очень причудливой формы и блестели, как алмазные. Она уселась на самую большую, ветер развеивал ее длинные волосы, а моряки испуганно обходили гору подалеже. К вечеру небо покрылось тучами, засверкала молния, загредел гром и темное море стало бросать ледяные глыбы из стороны в сторону, а они так и сверкали при блеске молнии. На кораблях убирали паруса, люди металась в страхе и ужасе, а она спокойно плыла себе на ледяной горе и смотрела, как огненные зигзаги молнии, прорезав небо, падали в море.

Вообще, каждая из сестер была в восторге от того, что видела в первый раз: все было для них ново и потому нравилось; но, получив, как взрослые девушки, позволение плавать повсюду, они скоро присмотрелись ко всему и через месяц стали уже говорить, что везде хорошо, а дома лучше.

Часто по вечерам все пять сестер сплетались руками и поднимались на поверхность воды; у всех были чудеснейшие голоса, каких не бывает у людей на земле, и вот, когда начиналась буря и они видели, что кораблям грозит опасность, они подплывали к ним, пели о чудесах подводного царства и просили моряков не бояться опуститься на дно; но моряки не могли разобрать слов; им казалось, что это просто шумит буря; да им все равно не удалось бы увидеть на дне никаких чудес: если корабль погибал, люди тонули и приплывали ко дворцу морского царя уже мертвыми.

Младшая же русалочка, в то время как сестры ее всплывали рука об руку на поверхность моря, оставалась одна-одинешенька и смотрела им вслед, готовая заплакать, но русалки не могут плакать, и оттого ей было еще тяжелее.

— Ах, когда же мне будет пятнадцать лет? — говорила она. — Я знаю, что очень люблю и тот свет, и людей, которые там живут!

Наконец и ей исполнилось пятнадцать лет!

— Ну вот, вырастили и тебя! — сказала бабушка, вдовствующая королева. — Поди сюда, надо и тебя принарядить, как других сестер!

И она надела русалочке на голову венец из белых жемчужных лилий — каждый лепесток был половинкой жемчужины, потом, для обозначения высокого сана принцессы, приказала прицепиться к ее хвосту восьмерым устрицам.

— Да это больно! — сказала русалочка.

— Ради красоты приходится и потерпеть немножко! — сказала старуха.

Ах, с каким удовольствием скинула бы с себя русалочка все эти уборы и тяжелый венец: красненькие цветочки из ее садика шли ей куда больше, но делать нечего!

— Прощайте! — сказала она и легко и плавно, точно прозрачный водяной пузырь, поднялась на поверхность.

Солнце только что село, но облака еще сияли пурпуром и золотом, тогда как в красноватом небе уже зажигались чудесные ясные вечерние звездочки; воздух был мягок и свеж, а море лежало, как зеркало. Неподалеку от того места, где вынырнула русалочка, стоял трехмачтовый корабль всего лишь с одним поднятым парусом: не было ведь ни малейшего ветерка; на вантах и мачтах сидели матросы, с палубы неслись звуки музыки и песен; когда же совсем стемнело, корабль осветился сотнями разноцветных фонариков; казалось, что в воздухе замелькали флаги всех наций. Русалочка подплыла к самым окнам каюты и, когда волны слегка приподнимали ее, она могла заглянуть в каюту. Там было множество разодетых людей, но лучше всех был молодой принц с большими черными глазами. Ему, наверное, было не больше шестнадцати лет; в тот день праздновалось его рождение, оттого на корабле и шло такое веселье. Матросы плясали на палубе, а когда вышел туда молодой принц, кверху взвились сотни ракет, и стало светло как днем, так что русалочка совсем перепугалась и нырнула в воду, но скоро опять высунула головку, и ей показалось, что все звездочки небесные попадали к ней в море. Никогда еще не видела она такой огненной потехи: большие солнца вертелись колесом, великолепные огненные рыбы крутили в воздухе хвостами, и все это отражалось в тихой, ясной воде. На самом корабле было так светло, что можно было различить каждую веревку, а людей и подавно. Ах, как хорош был молодой принц! Он пожимал людям руки, улыбался и смеялся, а музыка все гремела и гремела в тишине чудной ночи.

Становилось уже поздно, но русалочка глаз не могла оторвать от корабля и от красавца принца. Разноцветные огоньки потухли, ракеты больше не взлетали в воздух, не слышалось и пушечных выстрелов, зато загудело и застонало самое море. Русалочка качалась на волнах рядом с кораблем и все заглядывала в каюту, а корабль несясь все быстрее и быстрее, паруса развертывались один за другим, ветер крепчал, заходили волны, облака сгустились, и засверкала молния. Начиналась буря! Матросы принялись убирать паруса; огромный корабль страшно качало, а ветер так и мчал его по бушующим волнам; вокруг корабля вставали высокие водяные горы, грозившие сомкнуться над мачтами корабля, но он нырял между водяными стенами, как лебедь, и снова взлетал на гребень волн. Русалочку буря только забавляла, но морякам приходилось плохо: корабль трещал, толстые бревна разлетались в щепки, волны перекашивались через палубу, мачты ломались, как тростинки, корабль перевернулся набок, и вода хлынула в трюм. Тут русалочка поняла опасность — ей и самой приходилось остерегаться бревен и обломков, носившихся по волнам. На минуту сделалось

вдруг так темно, хоть глаз выколи; но вот опять блеснула молния, и русалочка вновь увидела всех бывших на корабле людей; каждый спасался, как умел. Русалочка отыскала глазами принца и увидела, как он погрузился в воду, когда корабль разбился на части. Сначала русалочка очень обрадовалась тому, что он попадет теперь к ним на дно, но потом вспомнила, что люди не могут жить в воде и что он может приплыть во дворец ее отца только мертвым. Нет, нет, он не должен умирать! И она поплыла между бревнами и досками, совсем забывая, что они во всякую минуту могут раздавить ее самое. Приходилось то нырять в самую глубину, то взлетать кверху вместе с волнами; но вот наконец она настигла принца, который уже почти совсем выбился из сил и не мог больше плыть по бурному морю; руки и ноги отказались ему служить, а прелестные глаза закрылись; он умер бы, не явись ему на помощь русалочка. Она приподняла над водой его голову и предоставила волнам нести их обоих куда угодно.

К утру непогода стихла; от корабля не осталось и щепки; солнце опять засияло над водой, и его яркие лучи как будто вернули щекам принца их живую окраску, но глаза его все еще не открывались.

Русалочка откинула со лба принца волосы и поцеловала его в высокий красивый лоб; ей показалось, что он похож на мраморного мальчика, что стоял у нее в саду; она поцеловала его еще раз и от души пожелала, чтобы он остался жив.

Наконец она завидела твердую землю и высокие, уходящие в небо горы, на вершинах которых, точно стаи лебедей, белели снега. У самого берега зеленела чудная роща, а повыше стояло какое-то здание, вроде церкви или монастыря. В роще росли апельсиновые и лимонные деревья, а у ворот здания — высокие пальмы. Море врезывалось в белый песчаный берег небольшим заливом, где вода была очень тиха, но глубока; сюда-то приплыла русалочка и положила принца на песок, позаботившись о том, чтобы голова его лежала повыше и на самом солнышке.

В это время в высоком белом здании зазвонили колокола и в сад высыпала целая толпа молодых девушек. Русалочка отплыла подальше за высокие камни, которые торчали из воды, покрыла себе волосы и грудь морской пеной — теперь никто не различил бы в этой пене ее беленького личика — и стала ждать, не придет ли кто на помощь бедному принцу.

Ждать пришлось недолго: к принцу подошла одна из молодых девушек и сначала очень испугалась, но скоро собралась с духом и позвала на помощь людей. Затем русалочка увидела, что принц ожил и улыбнулся всем, кто был возле него. А ей он не улыбнулся и даже не знал, что она спасла ему жизнь! Грустно стало русалочке, и, когда принца увели в большое белое здание, она печально нырнула в воду и уплыла домой.

И прежде она была тихой и задумчивой, теперь же стала еще тише, еще задумчивее. Сестры спрашивали ее, что она видела в первый раз на поверхности моря, но она не рассказала им ничего.

Часто вечером и утром приплывала она к тому месту, где оставила принца, видела, как созрели и были сорваны в садах плоды, как стоял снег на высоких горах, но принца больше не видала и возвращалась домой с каждым разом все печальнее и печальнее. Единственной отрадой было для нее сидеть в своем садике, обвивая руками красивую мраморную статую, похожую на принца, но за цветами она больше не ухаживала; они росли как хотели, по тропинкам и дорожкам, переплелись своими стебельками и листочками с ветвями дерева, и в садике стало совсем темно.

Наконец она не выдержала, рассказала обо всем одной из своих сестер; за ней узнали и все остальные сестры, но больше никто, кроме разве еще двух-трех русалок да их самых близких подруг. Одна из русалок тоже знала принца, видела праздник на корабле и даже знала, где лежит королевство принца.

— Пойдем с нами сестрица! — сказали русалке сестры, и рука об руку поднялись все на поверхность моря близ того места, где лежал дворец принца.

Дворец был из светло-желтого блестящего камня, с большими мраморными лестницами; одна из них спускалась прямо в море. Великолепные вызолоченные купола высились над крышей, а в нишах, между колоннами, окружавшими все здание, стояли мраморные статуи, совсем как живые. В высокие зеркальные окна виднелись роскошные покои; всюду висели дорогие шелковые занавеси, были разостланы ковры, а стены украшены большими картинами. Заглядење, да и только! Посреди самой большой залы журчал большой фонтан; струи воды били высоко-высоко под самый стеклянный куполообразный потолок, через который на воду и на чудные растения, росшие в широком бассейне, лились лучи солнца.

Теперь русалочка знала, где живет принц, и стала приплывать ко дворцу почти каждый вечер или каждую ночь. Ни одна из сестер не осмеливалась подплывать к земле так близко, как она; она же врывалась и в узенький проток, который бежал как раз под великолепным мраморным балконом, бросавшим на воду длинную тень. Тут она останавливалась и подолгу смотрела на молодого принца, а он-то думал, что гуляет при свете месяца один-одинешенек.

Много раз видела она, как он катался с музыкантами на своей прекрасной лодке, украшенной развевающимися флагами: русалочка выглядывала из зеленого тростника, и если люди иной раз замечали ее длинную серебристо-белую вуаль, развевавшуюся по ветру, то думали, что это лебедь взмахнул крылом.

Много раз также слышала она, как говорили о принце рыбаки, ловившие по ночам рыбу; они рассказывали о нем много хорошего, и русалочка радовалась, что спасла ему жизнь, когда он полумертвый носился по волнам; она вспоминала те минуты, когда его голова поко-

илась на ее груди и когда она так нежно расцеловала его белый красивый лоб. А он-то ничего не знал о ней, она ему даже и во сне не снилась!

Все больше и больше начинала русалочка любить людей, больше и больше тянуло ее к ним; их земной мир казался ей куда больше, нежели ее подводный: они могли ведь переплывать на своих кораблях море, взбираться на высокие горы к самым облакам, а бывшие в их владении пространства земли с лесами и полями тянулись далеко-далеко, и глазом было их не окинуть! Ей так хотелось побольше узнать о людях и их жизни, но сестры не могли ответить на все ее вопросы, и она обращалась к старухе бабушке; эта хорошо знала «высший свет», как она справедливо называла землю, лежавшую над морем.

— Если люди не тонут, — спрашивала русалочка, — тогда они живут вечно, не умирают, как мы?

— Как же! — отвечала старуха. — Они тоже умирают, и их век даже короче нашего. Мы живем триста лет, зато, когда нам приходит конец, от нас остается одна пена морская, у нас нет даже могил, близких нам. Нам не дано бессмертной души, и мы никогда уже не воскреснем для новой жизни; мы, как этот зеленый тростник: вырванный с корнем, он уже не зазеленеет вновь! У людей, напротив, есть бессмертная душа, которая живет вечно, даже и после того, как тело превращается в прах; она улетает тогда в синее небо, туда, к ясным звездочкам! Как мы можем подняться со дна моря и увидеть землю, где живут люди, так они могут подняться после смерти в неведомые блаженные страны, которых нам не видать никогда!

— Отчего у нас нет бессмертной души! — грустно сказала русалочка. — Я бы отдала все свои сотни лет за один день человеческой жизни, с тем чтобы принять потом участие в небесном блаженстве людей.

— Нечего и думать об этом! — сказала старуха. — Нам тут живется куда лучше, чем людям на земле!

— Так и я умру, стану морской пеной, не буду больше слышать музыки волн, не увижу чудесных цветов и красного солнышка! Неужели же я никак не могу приобрести бессмертной души?

— Можешь, — сказала бабушка, — пусть только кто-нибудь из людей полюбит тебя так, что ты станешь ему дорожке отца и матери, пусть отдастся тебе всем своим сердцем и всеми помыслами и велит священнику соединить ваши руки в знак вечной верности друг другу; тогда частица его души сообщится тебе, и ты будешь участвовать в вечном блаженстве человека. Он даст тебе душу и сохранит при себе свою. Но этому не бывать никогда! Ведь то, что у нас здесь считается красивым, — твой рыбий хвост, люди находят безобразным: они мало смыслят в красоте; по их мнению, чтобы быть красивым, надо непременно иметь две неуклюжие подпорки — ноги, как они их называют.

Глубоко вздохнула русалочка и печально посмотрела на свой рыбий хвост.

— Будем жить — не тужить! — сказала старуха. — Повеселимся вволю свои триста лет — это порядочный срок, тем слаще будет отдых по смерти! Сегодня вечером у нас при дворе бал!

Вот было великолепие, какого не увидишь на земле! Стены и потолок танцевальной залы были из толстого, но прозрачного стекла; вдоль стен рядами лежали сотни огромных пурпурных и травянисто-зеленых раковин с голубыми огоньками в середине: огни эти ярко освещали всю залу, а через стеклянные стены — и само море; видно было, как к стенам подплывали стаи больших и малых рыб, сверкавших пурпурно-золотистой и серебристой чешуей.

Посреди залы бежал широкий ручей, и на нем танцевали водяные и русалки под свое чудное пение. Таких чудных голосов не бывает у людей. Русалочка же пела лучше всех, и все хлопали ей в ладоши. На минуту ей было сделалось весело при мысли о том, что ни у кого и нигде — ни в море, ни на земле — нет такого чудесного голоса, как у нее; но потом она опять стала думать о надводном мире, о прекрасном принце и печалиться о том, что у нее нет бессмертной души. Она незаметно ускользнула из дворца и, пока там пели и веселились, грустно сидела в своем садике; через воду доносились к ней звуки валторн, и она думала: «Вот он опять катается в лодке! Как я люблю его! Больше, чем отца и мать! Я принадлежу ему всем сердцем, всеми своими помыслами, ему бы я охотно вручила счастье всей моей жизни! На все бы я пошла ради него и бессмертной души! Пока сестры танцуют в отцовском дворце, я поплыву к морской ведьме; я всегда боялась ее, но, может быть, она что-нибудь посоветует или как-нибудь поможет мне!»

И русалочка поплыла из своего садика к бурным водоворотам, за которыми жила ведьма. Ей еще ни разу не приходилось проплывать этой дорогой; тут не росло ни цветов, ни даже травы — один голый серый песок; вода в водоворотах бурлила и шумела, как под мельничными колесами, и увлекала с собой в глубину все, что только встречала на пути. Русалочке пришлось плыть как раз между такими бурлящими водоворотами; затем на пути к жилищу ведьмы лежало большое пространство, покрытое горячим пузырившимся илом; это местечко ведьма называла своим торфяным болотом. За ним уже показалось и самое жилье ведьмы, окруженное каким-то диковинным лесом: деревья и кусты были полипами, полуживотными, полурастениями, похожими на стоголовых змей, росших прямо из песка; ветви их были длинными осклизлыми руками с пальцами, извивающимися, как черви; полипы ни на минуту не переставали шевелить всеми своими суставами, от корня до самой верхушки, хватали гибкими пальцами все, что только им попадалось, и уже никогда не выпускали обратно. Русалочка испуганно приостановилась, сердечко ее забило от стра-

ха, она готова была вернуться, но вспомнила о принце, о бессмертной душе и собралась с духом: крепко обвязала вокруг головы свои длинные волосы, чтобы их не схватили полипы, скрестила на груди руки, и, как рыба, поплыла между гадкими полипами, протягивавшими к ней свои извивающиеся руки. Она видела, как крепко, точно железными клещами, держали они своими пальцами все, что удавалось им схватить: белые остовы утонувших людей, корабельные рули, ящики, скелеты животных, даже одну русалочку. Полипы поймали и задушили ее. Это было страшнее всего!

Но вот она очутилась на скользкой лесной поляне, где кувыркались и показывали свои гадкие светло-желтые брюшки большие жирные водяные ужи. Посреди поляны был выстроен дом из белых человеческих костей; тут же сидела и сама морская ведьма, кормившая изо рта жабу, как люди кормят сахаром маленьких канареек. Гадких жирных ужей она звала своими цыплятками и позволяла им валяться на своей большой ноздреватой, как губка, груди.

— Знаю, знаю, зачем ты пришла! — сказала русалочке морская ведьма. — Глупости ты затеваешь, ну да я все-таки помогу тебе, тебе же на беду, моя красавица! Ты хочешь получить вместо своего рыбьего хвоста две подпорки, чтобы ходить, как люди; хочешь, чтобы молодой принц полюбил тебя, а ты получила бы бессмертную душу!

И ведьма захохотала так громко и гадко, что и жаба, и ужи попадали с нее и растянулись на земле.

— Ну ладно, ты пришла вовремя! — продолжала ведьма. — Приди ты завтра поутру, было бы поздно, и я не могла бы помочь тебе раньше будущего года. Я изготовлю для тебя питье, ты возьмешь его, поплывешь с ним на берег еще до восхода солнца, сядешь там и выпьешь все до капли; тогда твой хвост раздвоится и превратится в пару чудных, как скажут люди, ножек. Но тебе будет так больно, как будто тебя пронзят насквозь острым мечом. Зато все, кто ни увидит тебя, скажут, что такой прелестной девушки они еще не видали! Ты сохранишь свою воздушную скользкую походку — ни одна танцовщица не сравнится с тобой; но помни, что ты будешь ступать как по острым ножам, так что изранишь свои ножки в кровь. Согласна ты? Хочешь моей помощи?

— Да! — сказала русалочка дрожащим голосом и подумала о принце и о бессмертной душе.

— Помни, — сказала ведьма, — что раз ты примешь человеческий образ, тебе уже не сделаться вновь русалкой! Не видать тебе больше ни морского дна, ни отцовского дома, ни сестер. И если принц не полюбит тебя так, что забудет для тебя и отца и мать, не отдастся тебе всем сердцем и не велит священнику соединить ваши руки, так что вы станете мужем и женой, ты не получишь бессмертной души. С первой же зарей, после его женитьбы на другой, твое сердце разорвется на части, и ты станешь пеной морской!



— Пусть! — сказала русалочка и побледнела, как смерть.

— Ты должна еще заплатить мне за помощь! — сказала ведьма. — А я недешево возьму! У тебя чудный голос, и им ты думаешь обворожить принца, но ты должна отдать свой голос мне. Я возьму за свой драгоценный напиток самое лучшее, что есть у тебя: я ведь должна примешать к напитку свою собственную кровь, для того чтобы он стал остер, как лезвие меча!

— Если ты возьмешь мой голос, что же останется у меня? — спросила русалочка.

— Твое прелестное личико, твоя скользящая походка и твои говорящие глаза — довольно, чтобы покорить человеческое сердце! Ну, полно, не бойся, высунешь язычок, я и отрежу его в уплату за волшебный напиток!

— Хорошо! — сказала русалочка, и ведьма поставила на огонь котел, чтобы сварить питье.

— Чистота — лучшая красота! — сказала она, обтерла котел связкой живых ужей и потом расцарапала себе грудь; в котел закапала черная кровь, от которой скоро стали подниматься клубы пара, принимавшие такие причудливые формы, что просто страх брал, глядя на них. Ведьма поминутно подбавляла в котел новых и новых снадобий, и, когда питье закипело, послышался точно плач крокодила. Наконец напиток был готов и смотрелся прозрачнейшею ключевою водой!

— Вот тебе! — сказала ведьма, отдавая русалочке напиток; потом отрезала ей язычок, и русалочка стала немая, не могла больше ни пить, ни говорить!

— Если полипы захотят схватить тебя, когда ты поплывешь назад, — сказала ведьма, — брызни на них каплю этого питья, и их руки и пальцы разлетятся на тысячи кусков!

Но русалочке не пришлось этого сделать: полипы с ужасом отворачивались при одном виде напитка, сверкавшего в ее руках, как яркая звезда. Быстро проплыла она лес, миновала болото и бурлящие водовороты.

Вот и отцовский дворец; огни в танцевальной зале потушены, все спят; она не смела больше войти туда — она была немая и собиралась покинуть отцовский дом навсегда. Сердце ее готово было разорваться от тоски и печали. Она проскользнула в сад, взяла по цветку с грядки каждой сестры, послала родным тысячи поцелуев рукой и поднялась на темно-голубую поверхность моря.

Солнце еще не вставало, когда она увидела перед собой дворец принца и присела на великолепную мраморную лестницу. Месяц озарял ее своим чудным голубым сиянием. Русалочка выпила сверкающий острый напиток, и ей показалось, что ее пронзили насквозь обоюдоострым мечом; она потеряла сознание и упала как мертвая.

Когда она очнулась, над морем уже сияло солнце; во всем теле она чувствовала жгучую боль, зато перед ней стоял красавец принц и смотрел на нее своими черными, как ночь, глазами; она потупилась и увидела, что вместо рыбьего хвоста у нее были две чудеснейшие беленькие и маленькие, как у ребенка, ножки. Но она была совсем голешенька и потому закуталась в свои длинные густые волосы. Принц спросил, кто она такая и как сюда попала, но она только кротко и грустно смотрела на него своими темно-голубыми глазами: говорить ведь она не могла. Тогда он взял ее за руку повел во дворец. Ведьма сказала правду: с каждым шагом русалочка как будто ступала на острые ножи и иголки, но она терпеливо переносила боль и шла об руку с принцем легкая, воздушная, как водяной пузырь; принц и все окружающие только дивились ее чудной скользкой походке.

Русалочку раздели в шелк и кисею, и она стала первою красавицей при дворе, но оставалась по-прежнему немой — не могла ни петь, ни говорить. Красивые рабыни, все в шелку и золоте, появились пред принцем и его царственными родителями и стали петь. Одна из них пела особенно хорошо, и принц хлопал в ладоши и улыбался ей; русалочке стало очень грустно: когда-то и она могла петь, и несравненно лучше! «Ах, если бы он знал, что я навсегда рассталась со своим голосом, чтобы только быть возле него!»

Потом рабыни стали танцевать под звуки чудеснейшей музыки; тут и русалочка подняла свои белые хорошенькие ручки, встала на цыпочки и понеслась в легком воздушном танце — так не танцевал еще никто! Каждое движение лишь увеличивало ее красоту; одни глаза ее говорили сердцу больше, чем пение всех рабынь.

Все были в восхищении, особенно принц, назвавший русалочку своим маленьким найденышем, и русалочка все танцевала и танцевала, хотя каждый раз, как ножки ее касались земли, ей было так больно, как будто она ступала на острые ножи. Принц сказал, что она всегда должна быть возле него, и ей было позволено спать на бархатной подушке перед дверями его комнаты.

Он велел сшить ей мужской костюм, чтобы она могла сопровождать его на прогулках верхом. Они ездили по благоухающим лесам, где в свежей листве пели птички, а зеленые ветви били ее по плечам; взбирались на высокие горы, и, хотя из ее ног сочилась кровь, так что все видели это, она смеялась и продолжала следовать за принцем на самые вершины; там они любовались на облака, плывшие у их ног, точно стаи птиц, улетающих в чужие страны.

Когда же они оставались дома, русалочка ходила по ночам на берег моря, спускалась по мраморной лестнице, ставила свои пылавшие, как в огне, ноги в холодную воду и думала о родном доме и о дне морском.

Раз ночью всплыли из воды рука об руку ее сестры и запели печальную песню; она кивнула им, они узнали ее и рассказали ей, как огорчила она их всех. С тех пор они навещали ее каждую ночь, а один раз она увидала в отдалении даже свою старую бабушку, которая уже много-много лет не поднималась из воды, и самого морского царя с короной на голове; они простирали к ней руки, но не смели подплывать к земле так близко, как сестры.

День ото дня принц привязывался к русалочке все сильнее и сильнее, но он любил ее только как милое, доброе дитя, сделать же ее своею женой и королевой ему и в голову не приходило, а между тем ей надо было стать его женой, иначе она не могла обрести бессмертной души и должна была, в случае его женитьбы на другой, превратиться в морскую пену.

«Любишь ли ты меня больше всех на свете?» — казалось, спрашивали глаза русалочки в то время, как принц обнимал ее и целовал в лоб.

— Да, я люблю тебя! — говорил принц. — У тебя доброе сердце, ты предана мне больше всех и похожа на молодую девушку, которую я видел раз и, верно, больше не увижу! Я плыл на корабле, корабль разбился, волны выбросили меня на берег вблизи чудного храма, где служат Богу молодые девушки; самая младшая из них нашла меня на берегу и спасла мне жизнь; я видел ее всего два раза, но ее одну в целом мире мог бы я полюбить! Но ты похожа на нее и почти вытеснила из моего сердца ее образ. Она принадлежит святому храму, и вот моя счастливая звезда послала мне тебя; никогда я не расстанусь с тобою!

«Увы, он не знает, что это я спасла ему жизнь! — думала русалочка. — Я вынесла его из волн морских на берег и положила в роще, где был храм, а сама спряталась в морскую пену и смотрела, не придет ли кто-нибудь к нему на помощь. Я видела эту красавицу девушку, которую он любит больше, чем меня! — И русалочка глубоко-глубоко вздыхала, плакать она не могла. — Но та девушка принадлежит храму, никогда не появится в свете, и они никогда не встретятся! Я же нахожусь возле него, вижу его каждый день, могу ухаживать за ним, любить его, отдать за него жизнь!»

Но вот стали поговаривать, что принц женится на прелестной дочери соседнего короля и потому снаряжает свой великолепный корабль в плаванье. Принц поедет к соседнему королю, как будто для того, чтобы ознакомиться с его страной, а на самом-то деле, чтобы увидеть принцессу; с ним едет и большая свита. Русалочка на все эти речи только покачивала головой и смеялась: она ведь лучше всех знала мысли принца.

— Я должен ехать! — говорил он ей. — Мне надо посмотреть прекрасную принцессу: этого требуют мои родители, но они не станут принуждать меня жениться на ней, я же никогда не полюблю ее! Она же не похожа на ту красавицу, на которую похожа ты. Если же мне придется,

наконец, избрать себе невесту, так я выберу, скорее всего, тебя, мой немой найденыш с говорящими глазами!

И он целовал ее розовые губки, играл ее длинными волосами и клал свою голову на ее грудь, где билось сердце, жаждавшее человеческого блаженства и бессмертной человеческой души.

— Ты ведь не боишься моря, моя немая крошка? — говорил он, когда они уже стояли на великолепном корабле, который должен был отвезти их в землю соседнего короля.

И принц рассказывал ей о бурях и о штиле, о разных рыбах, что живут в глубине моря, и о чудесах, которые видели там водолазы, а она только улыбалась, слушая его рассказы: она-то лучше всех знала, что есть на дне морском.

В ясную лунную ночь, когда все, кроме одного рулевого, спали, она села у самого борта и стала смотреть в прозрачные волны; и вот ей показалось, что она видит отцовский дворец; старуха бабушка стояла на вышке и смотрела сквозь волнующиеся струи воды на киль корабля. Затем на поверхность моря всплыли ее сестры; они печально смотрели на нее и ломали свои белые руки, а она кивнула им головой, улыбнулась и хотела рассказать о том, как ей хорошо здесь, но в это время к ней подошел корабельный юнга, и сестры нырнули в воду, юнга же подумал, что это мелькнула в волнах белая морская пена.

Наутро корабль вошел в гавань великолепной столицы соседнего королевства. И вот в городе зазвонили в колокола, с высоких башен стали раздаваться звуки рогов, а на площадях собираться полки солдат с блестящими штыками и развевающимися знаменами. Начались празднества, балы следовали за балами, но принцессы еще не было: она воспитывалась где-то далеко в монастыре, куда ее отдали учиться всем королевским добродетелям. Наконец прибыла и она.

Русалочка жадно смотрела на нее и должна была сознаться, что милее и красивее личика она еще не видала. Кожа на лице принцессы была такая нежная, прозрачная, а из-за длинных темных ресниц улыбалась пара темно-синих кротких глаз.

— Это ты! — сказал принц. — Ты спасла мне жизнь, когда я, полумертвый, лежал на берегу моря!

И он крепко прижал к сердцу свою краснеющую невесту.

— О, я слишком счастлив! — сказал он русалочке. — То, о чем я не смел и мечтать, сбылось! Ты порадуешься моему счастью, ты ведь так любишь меня!

Русалочка поцеловала его руку, и ей показалось, что сердце ее вот-вот разорвется от боли: его свадьба должна убить ее, превратить в морскую пену!

Колокола в церквях зазвонили, по улицам разъезжали герольды, оповещающая народ о помолвке принцессы. Из кадилниц священников струился

благодарный фимиам, жених с невестой подали друг другу руки и получили благословение епископа. Русалочка, разодетая в шелк и золото, держала шлейф невесты, но уши ее не слышали праздничной музыки, глаза не видели блестящей церемонии: она думала о своем смертном часе и о том, что она теряла с жизнью.

В тот же вечер жених с невестой должны были отплыть на родину принца; пушки палили, флаги развевались, а на палубе корабля был раскинут роскошный шатер из золота и пурпура; в шатре возвышалось чудное ложе для новобрачных.

Паруса надулись от ветра, корабль легко и без малейшего сотрясения скользнул по волнам и понесся вперед.

Когда смерклось, на корабле зажглись сотни разноцветных фонариков, а матросы стали весело плясать на палубе. Русалочке вспомнился праздник, который она видела на корабле в тот день, когда впервые всплыла на поверхность моря, и вот она понеслась в быстром воздушном танце, точно ласточка, преследуемая коршуном. Все были в восторге: никогда еще не танцевала она так чудесно! Ее нежные ножки резало как ножами, но она не чувствовала этой боли — сердцу ее было еще больнее. Лишь один вечер оставалось ей пробыть с тем, ради кого она оставила родных и отцовский дом, отдала свой чудный голос и ежедневно терпела бесконечные мучения, тогда как он и не замечал их. Лишь одну ночь еще оставалось ей дышать одним воздухом с ним, видеть синее море и звездное небо, а там наступит для нее вечная ночь, без мыслей, без сновидений. Ей ведь не было дано бессмертной души! Долго за полночь продолжались на корабле танцы и музыка, и русалочка смеялась и танцевала со смертельной мукой в сердце; принц же целовал красавицу невесту, а она играла его черными волосами; наконец, рука об руку удалились они в свой великолепный шатер.

На корабле все стихло, один штурман остался у руля. Русалочка оперлась своими белыми руками о борт и, обернувшись лицом к востоку, стала ждать первого луча солнца, который, как она знала, должен был убить ее. И вдруг она увидела в море своих сестер; они были бледны, как и она, но их длинные роскошные волосы не развевались больше во ветру: они были обрезаны.

— Мы отдали наши волосы ведьме, чтобы она помогла нам избавить тебя от смерти! Она дала нам вот этот нож; видишь, какой острый? Прежде чем взойдет солнце, ты должна вонзить его в сердце принца, и, когда теплая кровь его брызнет тебе на ноги, они опять срастутся в рыбий хвост, ты опять станешь русалкой, спустишься к нам в море и проживешь свои триста лет, прежде чем сделаешься соленой морской пеной. Но спеш! Или он, или ты — один из вас должен умереть до восхода солнца! Наша старая бабушка так печалится, что потеряла от горя все свои седые волосы, а мы отдали свои ведьме! Убей принца и

вернись к нам! Торопись — видишь, на небе показалась красная полоска? Скоро взойдет солнце, и ты умрешь! С этими словами они глубоко-глубоко вздохнули и погрузились в море.

Русалочка приподняла пурпуровую занавесь шатра и увидела, что головка прелестной невесты покоится на груди принца. Русалочка наклонилась и поцеловала его в прекрасный лоб, посмотрела на небо, где разгоралась утренняя заря, потом посмотрела на острый нож и опять устремила взор на принца, который в это время произнес во сне имя своей невесты — она одна была у него в мыслях! — и нож дрогнул в руках русалочки. Но еще минута — и она бросила его в волны, которые покраснели, точно окрасились кровью, в том месте, где он упал. Еще раз посмотрела она на принца полуугасшим взором, бросилась с корабля в море и почувствовала, как тело ее расплывается пеной.

Над морем поднялось солнце; лучи его любовно согревали мертвенно-холодную морскую пену, и русалочка не чувствовала смерти; она видела ясное солнышко и каких-то прозрачных, чудных созданий, сотнями реявших над ней. Она могла видеть сквозь них белые паруса корабля и красные облака на небе; голос их звучал как музыка, но такая воздушная, что ничье человеческое ухо не могло расслышать ее, так же, как ничей человеческий глаз не мог видеть их самих. У них не было крыльев, и они носились по воздуху благодаря своей собственной легкости и воздушности. Русалочка увидала, что и у нее такое же тело, как у них, и что она все больше и больше отделяется от морской пены.

— К кому я иду? — спросила она, поднимаясь на воздух, и ее голос звучал такую же дивною воздушною музыкой, какой не в силах передать никакие земные звуки.

— К дочерям воздуха! — ответили ей воздушные создания. — У русалки нет бессмертной души, и она не может приобрести ее иначе как благодаря любви к ней человека. Ее вечное существование зависит от чужой воли. У дочерей воздуха тоже нет бессмертной души, но они сами могут приобрести ее себе добрыми делами. Мы прилетаем в жаркие страны, где люди гибнут от знойного, зачумленного воздуха, и навеем прохладу. Мы распространяем в воздухе благоухание цветов и приносим с собой людям исцеление и отраду. По прошествии же трехсот лет, во время которых мы творим посильное добро, мы получаем в награду бессмертную душу и можем принять участие в вечном блаженстве человека. Ты, бедная русалочка, всем сердцем стремилась к тому же, что и мы, ты любила и страдала, подымись же вместе с нами в заоблачный мир; теперь ты сама можешь обрести бессмертную душу!

И русалочка протянула свои прозрачные руки к Божьему солнышку и в первый раз почувствовала у себя на глазах слезы.

На корабле за это время все опять пришло в движение, и русалочка увидала, как принц с невестой искали ее. Печально смотрели они на

волнующуюся морскую пену, точно знали, что русалочка бросилась в волны. Невидимая, поцеловала русалочка красавицу невесту в лоб, улыбнулась принцу и поднялась вместе с другими детьми воздуха к розовым облакам, плававшим в небе.

— Через триста лет и мы войдем в Божье царство! Может быть, и раньше! — прошептала одна из дочерей воздуха. — Невидимками влетаем мы в жилища людей, где есть дети, и, если найдем там доброе, послушное дитя, радующее своих родителей и достойное их любви, мы улыбаемся, и срок нашего испытания сокращается на целый год; если же встретим там злого, непослушного ребенка, мы горько плачем, и каждая слеза прибавляет к долгому сроку нашего испытания еще лиш-
ний день!



НОВЫЙ НАРЯД КОРОЛЯ

Давно-давно жил-был на свете король; он так любил наряжаться, что тратил на наряды все свои деньги, и смотры войск, театры, загородные прогулки занимали его только потому, что он мог тогда показаться в новом наряде. На каждый час дня у него был особый наряд, и как про других королей часто говорят: «Король в совете» — так про него говорили: «Король в гардеробной».

В столице короля жилось очень весело, каждый день почти приезжали иностранные гости, и вот раз явились двое обманщиков. Они выдали себя за ткачей, которые умеют изготавливать такую чудесную ткань, лучше которой ничего и представить себе нельзя: кроме необыкновенно красивого рисунка и красок она отличалась еще чудным свойством делаться невидимой для всякого человека, который был «не на своем месте» или непроходимо глуп.

«Да, вот это так платье будет! — подумал король. — Тогда ведь я могу узнать, кто из моих сановников не на своем месте и кто умен, кто глуп. Пусть поскорее изготовят для меня такую ткань».

И он дал обманщикам большой задаток, чтобы они сейчас же принялись за дело.

Те поставили два ткацких станка и стали делать вид, что усердно работают, а у самих на станках ровно ничего не было. Нимало не стесняясь, они требовали для работы тончайшего шелку и самого лучшего золота, все это припрятывали в свои карманы и продолжали сидеть за пустыми станками с утра до поздней ночи.

«Хотелось бы мне посмотреть, как подвигается дело!» — думал король. Но тут он вспоминал о чудесном свойстве ткани, и ему становилось как-то не по себе. Конечно, ему нечего бояться за себя, но... все-таки пусть бы сначала пошел кто-нибудь другой! А молва о диковинной ткани облетела между тем весь город, и всякий горел желанием поскорее убедиться в глупости и негодности ближнего.

«Пошлю-ка я к ним своего честного старика министра, — подумал король, — уж он-то рассмотрит ткань: он умен и с честью занимает свое место».

И вот старик министр вошел в покой, где сидели за пустыми станками обманщики.

«Господи помилуй! — думал министр, тараща глаза. — Я ведь ничего не вижу!»

Только он не сказал этого вслух.

Обманщики почтительно попросили его подойти поближе и сказать, как нравятся ему рисунок и краски. При этом они указывали на пустые станки, а бедный министр, как ни таращил глаза, все-таки ничего не видел. Да и нечего было видеть.

«Ах ты Господи! — думал он. — Неужели же я глуп? Вот уж чего никогда-то не думал! Спаси Боже, если кто-нибудь узнает!.. Или, может быть, я не гожусь для своей должности?.. Нет, нет, никак нельзя признаться, что я не вижу ткани!»

— Что ж вы ничего не скажете нам? — спросил один из ткачей.

— О, это премило! — ответил старик министр, глядя сквозь очки. — Какой рисунок, какие краски! Да, да, я доложу королю, что мне чрезвычайно понравилась ваша работа!

— Рады стараться! — сказали обманщики и принялись расписывать, какой тут узор и сочетание красок. Министр слушал очень внимательно, чтобы потом повторить все это королю. Так он и сделал.

Теперь обманщики стали требовать еще больше шелку и золота, но они только набивали свои карманы, а на работу не пошло ни одной ниточки.

Потом король послал к ткачам другого сановника. С ним было то же, что и с первым. Уж он смотрел-смотрел, а все ничего, кроме пустых станков, не высмотрел.

— Ну, как вам нравится? — спросили его обманщики, показывая ткань и объясняя узоры, которых не было.

«Я не глуп, — думал сановник, — значит, я не на своем месте? Вот тебе раз! Однако нельзя и виду подать!»

И он стал расхваливать ткань, которой не видел, восхищаясь чудесным рисунком и сочетанием красок.

— Премило, премило! — доложил он королю.

Скоро весь город заговорил о восхитительной ткани.

Наконец король сам пожелал полюбоваться диковинкой, пока она еще не снята со станка. С целой свитой избранных царедворцев и сановников, в числе которых находились и первые два, уже видевшие ткань, явился король к обманщикам, ткавшим изо всех сил на пустых станках.

— *Magnifique!*¹ Не правда ли? — заговорили первые два сановника. — Не угодно ли полюбоваться? Какой рисунок... краски!

И они тыкали пальцами в пространство, воображая, что все остальные-то видят ткань.

¹ Чудесно! (фр.)

«Что, что такое?! — подумал король. — Я ничего не вижу! Ведь это ужасно! Глуп, что ли, я? Или не гожусь в короли? Это было бы хуже всего!»

— О, да, очень, очень мило! — сказал наконец король. — Вполне заслуживает моего одобрения!

И он с довольным видом кивал головой, рассматривая пустые станки: он не хотел признаться, что ничего не видит. Свита короля глядела во все глаза, но видела не больше его самого; тем не менее все повторяли в один голос: «Очень, очень мило!» — и советовали королю сделать себе из этой ткани наряд для предстоящей торжественной процессии.

— Magnifique! Чудесно! Excellent!¹ — только и слышалось со всех сторон; все были в таком восторге!

Король наградил каждого обманщика орденом и пожаловал их в придворные ткачи.

Всю ночь накануне торжества просидели обманщики за работой и сожгли больше шестнадцати свечей — так они старались кончить к сроку новый наряд для короля. Они притворялись, что снимают ткань со станков, кроят ее большими ножницами и потом шьют иглами без ниток.

Наконец они объявили:

— Готово!

Король в сопровождении свиты сам пришел к ним одеваться. Обманщики поднимали кверху руки, будто держали что-то, приговаривая:

— Вот панталоны, вот камзол, вот кафтан! Чудесный наряд! Легок, как паутина, и не почувствуешь его на теле! Но в этом-то вся и прелесть!

— Да, да! — говорили придворные, но они ничего не видали: нечего ведь было и видеть.

— Сблаговолите теперь раздеться и стать вот тут, перед большим зеркалом! — сказали королю обманщики. — Мы нарядим вас!

Король разделся, и обманщики принялись «наряжать» его: они делали вид, будто надевают на него одну часть одежды за другой и, наконец, прикрепляют что-то на плечах и на талии: это они «надевали» на него королевскую мантию! А король в это время поворачивался перед зеркалом во все стороны.

— Боже, как идет! Как чудно сидит! — шептали в свите. — Какой рисунок, какие краски! Роскошный наряд!

— Балдахин ждет! — доложил обер-церемониймейстер.

— Я готов! — сказал король. — Хорошо ли сидит платье?

И он еще раз повернулся перед зеркалом: надо ведь было показать, что он внимательно рассматривает свой наряд.

Камергеры, которые должны были нести шлейф королевской мантии, сделали вид, будто приподняли что-то с полу, и пошли за королем, вытягивая перед собой руки — они не смели и виду подать, что ничего не видят.

¹ Превосходно! (фр.)



И вот король шествовал по улицам под роскошным балдахином, а в народе говорили:

— Ах, какой наряд! Какая роскошная мантия! Как чудно сидит!

Ни единый человек не сознался, что ничего не видит: никто не хотел выдать себя за глупца или никуда не годного человека. Да, ни один наряд короля не вызывал еще таких восторгов.

— Да ведь он же совсем голый! — закричал вдруг один маленький мальчик.

— Ах, послушайте-ка, что говорит невинный младенец! — сказал его отец, и все стали шепотом передавать друг другу слова ребенка.

— Да ведь он совсем голый! — закричал наконец, весь народ.

И королю стало жутко: ему казалось, что они правы, но надо же было довести церемонию до конца!

И он выступал под своим балдахином еще величавее, а камергеры шли за ним, поддерживая шлейф, которого не было.



КАЛОШИ СЧАСТЬЯ

I. ДЛЯ НАЧАЛА

Дело было в Копенгагене, на Восточной улице, недалеко от Новой королевской площади. В одном доме собралось большое общество: приходится ведь время от времени принимать у себя гостей — примешь, угостишь и можешь, в свою очередь, ожидать приглашения. Часть общества уже уселась за карточные столы, другие же гости, с самой хозяйкой во главе, ждали, не выйдет ли чего-нибудь из слов хозяйки: «Ну, надо бы и нам придумать, чем заняться!» — а пока что беседовали между собою о том о сем.

Так вот разговор шел себе помаленьку и, между прочим, коснулся средних веков. Некоторые из собеседников считали эту эпоху куда лучше нашего времени; особенно горячо отстаивал это мнение советник Кнап; к нему присоединилась хозяйка дома, и оба принялись опровергать слова Эрстеда, доказывавшего в только что вышедшем новогоднем альманахе, что наше время в общем гораздо выше средних веков. Самою лучшею и счастливейшею эпохой советник признавал времена короля Ганса.

Под шумок этой беседы, прерванной лишь на минуту появлением вечерней газеты, в которой, однако, нечего было читать, мы перейдем в переднюю, где висело верхнее платье, стояли палки, зонтики и калоши. Тут же сидели две женщины: молодая и пожилая, явившиеся сюда, по-видимому, в качестве провожатых каких-нибудь старых барышень или вдовушек. Вглядевшись в них попристальнее, всякий, однако, заметил бы, что они не простые служанки; руки их были слишком нежны, осанка и все движения слишком величественны, да и платье отличалось каким-то особенно смелым, своеобразным покроем. Это были две феи; младшая если и не сама фея Счастья, то горничная одной из ее камер-фрейлин, на обязанности которой лежала доставка людям маленьких даров счастья; пожилая, смотревшая очень серьезно и озабоченно, была фея Печали, всегда исполнявшая все свои поручения собственною высокою персоной: таким образом она по крайней мере знала, что они исполнены как должно.

Они рассказывали друг другу, где побывали в этот день. Горничной одной из камер-фрейлин феи Счастья удалось исполнить сегодня лишь несколько ничтожных поручений: спасти от ливня чью-то новую шляпу, доставить одному почтенному человеку поклон от важного ничтожества и т. п. Зато у нее было в запасе кое-что необыкновенное.

— Дело в том, — сказала она, — что сегодня день моего рождения, и в честь этого мне дали пару калош, которые я должна принести в дар человечеству. Калоши эти обладают свойством переносить каждого, кто наденет их, в то место или в условия того времени, которые ему больше всего нравятся. Все желания человека относительно времени или местопребывания будут, таким образом, исполнены, и человек станет наконец воистину счастливым!

— Как бы не так! — сказала фея Печали. — Твои калоши принесут ему истинное несчастье, и он благословит ту минуту, когда избавится от них!

— Ну, вот еще! — сказала младшая из фей. — Я поставлю их тут у дверей, кто-нибудь по ошибке наденет их вместо своих и станет счастливым.

Вот такой был разговор.

II. ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С СОВЕТНИКОМ

Было уже поздно; советник Кнап, углубленный в размышления о временах короля Ганса, собрался домой, и случилось ему вместо своих калош надеть калоши Счастья. Он вышел в них на улицу, и волшебная сила калош сразу перенесла его во времена короля Ганса, так что ноги его в ту же минуту ступили в невылазную грязь: в то время ведь еще не было тротуаров.

— Вот грязь-то! Ужас что такое! — сказал советник. — Вся панель затоплена, и ни одного фонаря!

Луна взошла еще недостаточно высоко; стоял густой туман, и все вокруг тонуло во мраке. На ближнем углу висел образ Мадонны¹, и перед ним зажженная лампада, дававшая, однако, такой свет, что хоть бы его и не было вовсе; советник заметил его не раньше, чем поравнялся с образом вплотную.

— Ну, вот, — сказал он, — тут, верно, выставка картин, и они забыли убрать на ночь вывеску.

В это время мимо советника прошли несколько человек, одетых в средневековые костюмы.

— Что это они так вырядились? Должно быть, на маскараде были! — сказал советник.

¹ Во времена короля Ганса в Дании господствовало католичество. — *Примеч перевод.*

Вдруг послышался барабанный бой и свист дудок, замелькали факелы, советник остановился и увидал странное шествие: впереди всех шли барабанщики, усердно работавшие палками, за ними — воины, вооруженные луками и самострелами; вся эта свита сопровождала какое-то знатное духовное лицо. Пораженный советник спросил, что означает это шествие и что это за важное лицо?

— Епископ Зеландский! — отвечали ему.

— Господи помилуй! Что такое приключилось с епископом? — вздохнул советник, качая головой. — Нет, не может быть, чтобы это был епископ!

Размышляя о только что виденном и не глядя ни направо, ни налево, советник вышел на площадь Высокого моста. Моста, ведущего к дворцу, на месте, однако, не оказалось, и советник впотьмах едва разглядел какой-то широкий ручей да лодку, в которой сидели двое парней.

— Господину угодно на остров? — спросили они.

— На остров? — сказал советник, не знавший, что блуждает в средних веках. — Мне надо в Христианову гавань, в Малую торговую улицу! Парни только посмотрели на него.

— Скажите мне, по крайней мере, где мост! — продолжал советник. — Ведь это безобразие! Не горит ни единого фонаря, и такая грязь, точно шагаешь по болоту.

Но чем больше он говорил с ними, тем меньше понимал их.

— Не понимаю я вашей борнгольмщины!¹ — рассердился он наконец и повернулся к ним спиной. Но моста ему так и не удалось найти; перил на канале тоже не оказалось.

— Ведь это же просто скандал! — сказал он.

Никогда еще наше время не казалось ему таким жалким, как в данную минуту!

«Право, лучше взять извозчика! — подумал он. — Но куда же девались все извозчики? Хоть бы один! Вернусь на Новую королевскую площадь, там, наверное, стоят экипажи! Иначе мне вовек не добраться до Христиановой гавани!»

Он снова вернулся на Восточную улицу и уже почти прошел ее, когда над головой его всплыл полный месяц.

— Боже милостивый! Что это тут нагородили? — сказал он, увидев перед собой Восточные городские ворота, которыми заканчивалась в те времена Восточная улица.

Наконец он отыскал калитку и вышел на нынешнюю Новую королевскую площадь, бывшую в то время большим лугом. Кое-где торчали кусты, а посередине протекал какой-то ручей или канал; на противополо-

¹ Борнгольмское наречие довольно отличается от господствующего в Дании зеландского наречия. — *Примеч. перев.*

ложном берегу виднелись жалкие деревянные лачуги, в которых ютились лавки для голландских шкиперов, отчего и самое место называлось Голландским мысом.

— Или это обман зрения, фата-моргана, или я пьян! — охал советник. — Что же это такое? Что же это такое?

Он опять повернул назад в полной уверенности, что болен; на этот раз он держался ближе к домам и увидал, что большинство из них было построено наполовину из кирпичей, наполовину из бревен и многие крыты соломой.

— Нет! Я положительно нездоров! — вздыхал он. — А ведь я выпил всего один стакан пунша, но для меня и этого много! Да и что за нелепость — угощать людей пуншем и вареной семгой! Я непременно скажу об этом агентше! Не вернуться ли мне к ним рассказать, что случилось со мной? Нет, неловко! Да и, пожалуй, они улеглись!

Он искал знакомый дом, но и его не было.

— Это ужас что такое! Я не узнаю Восточной улицы! Ни единого магазина! Повсюду какие-то старые, жалкие лачуги, точно я в Роскилле или Рингстеде! Ах, я болен! Нечего тут и стесняться! Вернусь к ним! Но куда же девался дом агента? Или он сам на себя не похож больше?.. А, вот тут еще не спят! Ах, я совсем, совсем болен!

Он натолкнулся на полуотворенную дверь, из которой виднелся свет. Это была одна из харчевен тогдашней эпохи, нечто вроде нашей пивной. В комнате с глиняным полом сидели за кружками пива несколько шкиперов и копенгагенских горожан и два ученых; все были заняты беседой и не обратили на вновь вошедшего никакого внимания.

— Извините! — сказал советник встретившей его хозяйке. — Мне вдруг сделалось дурно! Не наймете ли вы мне извозчика в Христианову гавань?

Женщина посмотрела на него и покачала головой, потом заговорила с ним по-немецки. Советник подумал, что она не понимает по-датски, и повторил свою просьбу по-немецки; это обстоятельство в связи с покроем его платья убедило хозяйку, что он иностранец. Ему не пришлось, впрочем, повторять два раза, что он болен, — хозяйка сейчас же принесла ему кружку солоноватой колодезной воды. Советник оперся головой на руку, глубоко вздохнул и стал размышлять о странном зрелище, которое он видел перед собой.

— Это вечерний «День»? — спросил он, чтобы сказать что-нибудь, увидав в руках хозяйки какой-то большой лист.

Она не поняла его, но протянула ему лист; оказалось, что это был грубый рисунок, изображавший небесное явление, виденное в Кёльне.

— Вот старина! — сказал советник и совсем оживился, увидав такую редкость. — Откуда вы достали этот листок? Это очень интересно, хотя, разумеется, все выдуманно! Как объясняют теперь, это было северное сияние, известное проявление воздушного электричества!

Сидевшие поближе и слышавшие его речь удивленно посмотрели на него, а один из них даже встал, почтительно приподнял шляпу и серьезно сказал:

— Вы, вероятно, большой ученый, monsieur?

— О, нет! — отвечал советник. — Так себе! Хотя, конечно, могу поговорить о том и о сем не хуже других!

— Modestia¹ — прекраснейшая добродетель! — сказал собеседник. — Что же касается вашей речи, то mihi secus videtur², хотя я и охотно погожу высказывать свое iudicium³!

— Смею спросить, с кем я имею удовольствие беседовать? — спросил советник.

— Я бакалавр богословия! — отвечал собеседник.

Этого было для советника вполне довольно: титул соответствовал покроя платья незнакомца. «Должно быть, какой-нибудь сельский учитель, каких еще можно встретить в глуши Ютландии!» — решил он про себя.

— Здесь, конечно, не locus docendi⁴, — начал опять собеседник, — но я все-таки прошу вас продолжать вашу речь! Вы, должно быть, очень начитаны в древней литературе?

— Да, ничего себе! — отвечал советник. — Я почитываю кое-что хорошее и из древней литературы, но люблю и новейшую, только не «Обыкновенные истории»⁵, — их довольно и в жизни!

— «Обыкновенные истории»? — спросил бакалавр.

— Да, я говорю о современных романах.

— О, они очень остроумны и имеют большой успех при дворе! — улыбнулся бакалавр. — Королю особенно нравятся романы о рыцарях Круглого стола, Ифвенте и Гаудиане; он даже изволил шутить по поводу них со своими высокими приближенными⁶.

— Этого я еще не читал! — сказал советник. — Должно быть, Гейберг опять что-нибудь новое выпустил!

— Нет, не Гейберг, а Готфрид Геменский! — отвечал бакалавр.

— Вот кто автор! — сказал советник. — Это очень древнее имя! Так ведь назывался первый датский типограф!

¹ Скромность (лат.).

² Я другого мнения (лат.).

³ Суждение (лат.).

⁴ Место ученых бесед (лат.).

⁵ Здесь намекается на известный, произведший большую сенсацию роман датской писательницы г-жи Гюллембург «Обыкновенная история». — Примеч. перев.

⁶ Знаменитый датский писатель Хольберг рассказывает в своей «Истории Датского государства», что король Ганс, прочитав роман о рыцарях короля Артура, шутливо заметил своему любимцу Отто Руду: «Эти господа Ифвент и Гаудиан были удивительными рыцарями; теперь что-то таких не встречается!» На это Отто Руд ответил: «Если бы встречалось много таких королей, как Артур, встречалось бы много и таких рыцарей, как Ифвент и Гаудиан». — Примеч. автора.

— Да, это наш первый типограф! — отвечал бакалавр.

Таким образом разговор благополучно поддерживался. Потом один из горожан заговорил о чуме, свирепствовавшей несколько лет тому назад, то есть в 1484 году. Советник подумал, что дело шло о недавней холере, и беседа продолжалась.

Мимоходом нельзя было не затронуть столь близкую по времени войну 1490 года, когда английские каперы захватили на рейде датские корабли, и советник, переживший события 1801 года, охотно вторил общим нападкам на англичан. Но дальше беседа как-то перестала клеиться: добряк бакалавр был слишком невежествен, и самые простые выражения и отзывы советника казались ему слишком вольными и фантастическими. Они удивленно смотрели друг на друга, и, когда наконец совсем перестали понимать один другого, бакалавр заговорил по-латыни, думая хоть этим помочь делу, но не тут-то было.

— Ну что, как вы себя чувствуете? — спросила советника хозяйка и дернула его за рукав; тут он опомнился: в пылу разговора он совсем забыл, где он и что с ним.

«Господи, куда я попал?»

И голова у него закружилась при одной мысли об этом.

— Будем пить кларет, мед и бременское пиво! — закричал один из гостей. — И вы с нами!

Вошли две девушки; одна из них была в двухцветном чепчике¹. Они наливали гостям и затем низко приседали; у советника дрожь пробежала по спине.

— Что же это такое? Что же это такое? — говорил он, но должен был пить вместе со всеми; они так приставали к нему, что он пришел в полное отчаяние, и, когда один из собутыльников сказал ему, что он пьян, он ничуть не усомнился в его словах и только просил найти ему извозчика, а те думали, что он говорит по-московитски!

Никогда еще не случалось ему быть в такой простой и грубой компании. «Подумаешь, право, что мы вернулись ко временам язычества. Это ужаснейшая минута в моей жизни!»

Тут ему пришло в голову подлезть под стол, ползком добраться до двери и незаметно ускользнуть на улицу. Он уже был почти у дверей, как вдруг остальные гости заметили его намерение и схватили его за ноги. О, счастье! Калоши снялись с ног, а с ними исчезло и все колдовство!

Советник ясно увидел перед собой зажженный фонарь и большой дом, он узнал и этот дом, и все соседние, узнал Восточную улицу; сам он лежал на панели, упираясь ногами в чьи-то ворота, а возле него сидел и похрапывал ночной сторож.

¹ В описываемую эпоху девушки предосудительного поведения обязаны были носить такие чепчики. — *Примеч. перев.*

— Боже ты мой! Так я заснул на улице! — сказал советник. — Да, да, это Восточная улица! Как тут светло и хорошо! Нет, это просто ужасно, что может наделать один стакан пунша!

Минуты две спустя он уже ехал на извозчике в Христианову гавань и, вспоминая доро́гой только что пережитые им страх и ужас, от всего сердца восхвалял счастливую действительность нашего времени, которая со всеми своими недостатками все-таки куда лучше той, в которой ему довелось сейчас побывать. Да, теперь он сознавал это, и нельзя сказать, что поступал неблагоприятно.

III. ПРИКЛЮЧЕНИЕ НОЧНОГО СТОРОЖА

— Никак пара калош лежит! — сказал ночной сторож. — Должно быть, того офицера, что наверху живет. У самых ворот оставил!

Почтенный сторож охотно позвонил бы и отдал калоши владельцу, тем более что в окне у того еще виднелся огонь, да побоялся разбудить других жильцов в доме и не пошел.

— Удобно, должно быть, в таких штуках! — сказал он. — Кожа-то какая мягкая!

Калоши пришлось ему как раз по ногам, и он остался в них.

— А чудно, право, бывает на белом свете! Вот хоть бы офицер этот, шляется себе взад и вперед по комнате вместо того, чтобы спать в теплой постели! Счастливец! Нет у него ни жены, ни ребят! Каждый вечер в гостях! Будь я на его месте, я был бы куда счастливее!

Он сказал, а калоши сделали свое дело, и ночной сторож стал офицером и телом и душою.

Офицер стоял посреди комнаты с клочком розовой бумажки в руках. На бумажке были написаны стихи, сочинения самого г-на офицера. На кого не находят минуты поэтического настроения? А выльешь в такие минуты свои мысли на бумагу, и выйдут стихи. Вот что было написано на розовой бумажке:

«Будь я богат, я б офицером стал, —
Я мальчуганом часто повторял. —
Надел бы саблю, каску я и шпоры
И привлекал бы все сердца и взоры!»
Теперь ношу желанные уборы,
При них по-прежнему карман пустой,
Но ты со мною, Боже мой!
Веселым юношей сидел я раз
С малюткой-девочкой в вечерний час.
Я сказки говорил, она внимала,
Потом меня, обняв, расцеловала.
Дитя богатства вовсе не желало,
Я ж был богат фантазией одной;

Ты знаешь это, Боже мой!
«Будь я богат», — вздыхаю я опять,
Дитя девицею успело стать.
И как умна, как хороша собою,
Люблю, люблю ее я всей душою!
Но беден я и страсти не открою,
Молчу, вступить не смея в спор с судьбой;
Ты хочешь так, о Боже мой!
Будь я богат — счастливым бы я стал
И жалоб бы в стихах не изливал.
О, если бы сердечком угадала
Она любовь мою иль прочитала,
Что здесь пишу!.. Нет, лучше, чтоб не знала,
Я не хочу смутить ее покой.
Спаси ж ее, о, Боже мой!

Да, такие стихи пишут многие влюбленные, но благоразумные люди их не печатают. Офицер, любовь и бедность — вот треугольник, или, вернее, половинка разбитой игральной кости Счастья. Так оно казалось и самому офицеру, и он, глубоко вздыхая, прислонился головой к окну.

— Бедняк ночной сторож и тот счастливее меня! Он не знает моих мучений! У него есть свой угол, жена и дети, которые делят с ним и горе, и радость. Ах, будь я на его месте, я был бы счастливее!

В ту же минуту ночной сторож стал опять сторожем: он ведь сделался офицером только благодаря калошам, но, как мы видели, почувствовал себя еще несчастнее и захотел лучше быть тем, чем был на самом деле. Итак, ночной сторож стал опять ночным сторожем.

— Фу, какой гадкий сон приснился мне! — сказал он. — Довольно забавный, впрочем! Мне чудилось, что я будто бы и есть тот офицер, который живет там, наверху, и мне было совсем не весело! Мне недовставало жены и моих ребятишек, готовых зацеловать меня до смерти!

И ночной сторож опять заклевал носом, но сон все не выходил у него из головы. Вдруг с неба скатилась звезда.

— Ишь, покатилась! — сказал он. — Ну, да их много еще осталось! А посмотрел бы я эти штучки поближе, особенно месяц; тот уж не проскочит между пальцев! «По смерти, — говорит студент, на которого стирает жена, — мы будем перелетать с одной звезды на другую». Это неправда, а то забавно было бы! Вот если бы мне удалось прыгнуть туда сейчас, а тело пусть бы лежало тут, на ступеньках!

Есть вещи, которые вообще надо высказывать с опаской, особенно если у тебя на ногах калоши Счастья. Вот послушайте-ка, что случилось с ночным сторожем!

Все мы, люди, или почти все имеем понятие о скорости движения посредством пара: кто не ездил по железным дорогам или на корабле по морю? Но эта скорость все равно что скорость ленивца-тихохода или улитки в сравнении со скоростью света. Свет бежит в девятнадцать мил-

лионов раз быстрее самого резвого рысака, а электричество — так и еще быстрее. Смерть — электрический удар в сердце, освобождающий нашу душу, которая и улетает из тела на крыльях электричества. Солнечный луч в 8 минут с секундами пробегает более 20 миллионов миль, но электричество мчит душу еще быстрее, и ей, чтобы облететь то же пространство, нужно еще меньше времени.

Расстояние между различными светилами значат для нашей души не больше, чем для нас расстояние между домами наших друзей, даже если последние живут на одной и той же улице. Но такой электрический удар в сердце стоит нам жизни, если у нас нет, как у ночного сторожа, на ногах калош Счастья.

В несколько секунд ночной сторож пролетел 52 000 миль, отделяющих землю от луны, которая, как известно, состоит из менее плотного вещества, нежели наша земля, и мягка, как только что выпавший снег. Ночной сторож очутился на одной из бесчисленных лунных гор, которые мы знаем по лунным картам доктора Медлера; ты ведь тоже знаешь их? В котловине, лежавшей на целую датскую милю ниже подошвы горы, виднелся город с воздушными, прозрачными башнями, куполами и парусообразными балконами, колыхавшимися в разряженном воздухе; на взгляд все это было похоже на выпущенный в стакан воды яичный белок; над головой ночного сторожа плыла наша земля в виде большого огненно-красного шара.

На луне было много жителей, которых по-нашему следовало бы называть людьми, но у них был совсем другой вид и свой особый язык, и, хотя никто не может требовать, чтобы душа ночного сторожа понимала лунный язык, она все-таки понимала его.

Лунные жители спорили о нашей земле и сомневались в ее обитаемости: воздух на земле был слишком плотен, чтобы на ней могло существовать разумное лунное создание. По их мнению, луна была единственно обитаемою планетой и колыбелью первого поколения планетных обитателей.

Но вернемся на Восточную улицу и посмотрим, что было с телом ночного сторожа.

Безжизненное тело по-прежнему сидело на ступеньках, палка сторожа или, как ее зовут у нас, «утренняя звезда», выпала из рук, а глаза остановились на луне, где путешествовала душа.

— Который час? — спросил ночного сторожа какой-то прохожий и, конечно, не дождался ответа. Тогда прохожий легонько щелкнул сторожа по носу; тело потеряло равновесие и растянулось во всю длину — ночной сторож «был мертв». Прохожий перепугался, но «мертвый» остался «мертвым»; заявили в полицию, и утром тело отвезли в больницу.

Вот была бы штука, если бы душа вернулась и стала искать тело там, где оставила его, то есть на Восточной улице! Она, наверное, бросилась бы в полицию, а потом в контору объявлений искать его в отделе потерянных вещей и потом уже отправилась бы в больницу. Не стоит,

однако, беспокоиться: душа поступает куда умнее, если действует самостоятельно, — только тело делает ее глупой.

Как сказано, тело ночного сторожа привезли в больницу и внесли в приемный покой, где, конечно, первым долгом сняли с него калоши, и душе пришлось вернуться обратно; она сразу нашла дорогу в тело, и раз, два — человек ожил! Он уверял потом, что пережил ужаснейшую ночь в жизни: даже за две серебряные марки не согласился бы он пережить такие страсти во второй раз; но теперь дело было, слава Богу, кончено.

В тот же день его выписали из больницы, а калоши остались там.

IV. «ГОЛОВОЛОМНОЕ» ДЕЛО. В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ НЕОБЫЧАЙНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

Всякий копенгагенец, конечно, знает наружный вид больницы Фредрика, но, может быть, историю эту прочтут и не копенгагенцы, поэтому нужно дать маленькое описание.

Больница отделена от улицы довольно высокою решеткой из толстых железных прутьев, расставленных настолько редко, что, как говорят, многие тощие студенты-медики могли отлично протискиваться между ними, когда им нужно было сделать в неурочный час маленький визит по соседству. Труднее всего в таких случаях было просунуть голову, так что и тут, как вообще часто в жизни, малоголовые оказывались счастливыми.

Ну вот, для вступления и довольно.

В этот вечер в больнице дежурил как раз такой молодой студент, о котором лишь в физическом смысле сказали бы, что он из числа большеголовых. Шел проливной дождь, но, несмотря на это неудобство, студенту все-таки понадобилось уйти с дежурства всего на четверть часа, так что не стоило, по его мнению, и беспокоить привратника, тем более что можно было попросту проскользнуть через решетку. Калоши, забытые сторожем, все еще оставались в больнице; студенту и в голову не приходило, что это калоши Счастья, но они были как раз кстати в такую дурную погоду, и он надел их. Теперь оставалось только пролезть между железными прутьями, чего ему еще ни разу не случалось пробовать.

— Помоги Бог только просунуть голову! — сказал студент, и голова его, несмотря на всю свою величину, сразу проскочила между прутьями — это было дело калош. Теперь очередь была за туловищем, но с ним-то и пришлось повозиться.

— Ух! Я чересчур толст! — сказал студент. — А я думал, что труднее всего будет просунуть голову! Нет, мне не пролезть!

И он хотел было поскорее выдернуть голову обратно, но не тут-то было. Шею он мог поворачивать как угодно, но на этом дело и кончалось.

Сначала студент наш рассердился, но потом расположение его духа быстро упало до нуля. Калоши Счастья поставили его в ужаснейшее положение, и, к несчастью, ему не приходило в голову пожелать освободиться; он только неутомимо вертел шеей и — не двигался с места. Дождь лил как из ведра, на улицах не было ни души, до колокольчика, висевшего у ворот, дотянуться было невозможно — как тут освободиться! Он предвидел, что ему, пожалуй, придется простоять в таком положении до утра и тогда уж послать за кузнецом, чтобы он перепилил прутья. Дело, однако, делается не так-то скоро, и пока успеют подняться на ноги все школьники, все жители Новой слободки¹; все сбегутся и увидят его в этой позорной железной клетке!

— Уф! Кровь так и стучит в виски! Я готов с ума сойти! Да и сойду! Ах, если бы мне только удалось освободиться!

Следовало бы ему сказать это пораньше! В ту же минуту голова его освободилась, и он опрометью кинулся назад, совсем ошалев от страха, который только что испытал благодаря калошам Счастья.

Не думайте, однако, что дело этим и кончилось, — нет, будет еще хуже.

Прошла ночь, прошел еще день, а за калошами никто не являлся.

Вечером давалось представление в маленьком театре на улице Каноников. Театр был полон; между прочими номерами представления было продекламировано стихотворение «Тетушкины очки»²; в нем говорилось о чудесных очках, в которые можно было видеть будущее.

Стихотворение было прочитано превосходно, и чтец имел большой успех. Среди публики находился и наш студент-медик, который, казалось, успел уже позабыть приключение предыдущего вечера. Калоши опять были у него на ногах: за ними никто не пришел, а на улицах было грязно, и они опять сослужили ему службу.

Стихотворение очень ему понравилось.

Он был бы не прочь иметь такие очки: надев их, пожалуй, можно было бы, при известном искусстве, читать в сердцах людей, а это еще интереснее, нежели провидеть будущее: последнее и без того узнается в свое время.

«Вот, например, — думал студент, — тут, на первой скамейке, целый ряд зрителей; что, если бы проникнуть в сердце каждого? В него, вероятно, есть же какой-нибудь вход, вроде как в лавочку, что ли!.. Ну и посмотрелся бы я! Вот у этой барыни я, наверно, нашел бы в сердце целый модный магазин! У этой лавочка оказалась бы пустой; не мешало

¹ Новая слободка — ряд домиков на окраине Копенгагена, построенных первоначально для матросов морского ведомства. — *Примеч. перев.*

² Самое стихотворение пропускается как не представляющее, благодаря своему чисто мистическому характеру, никакого интереса для современных русских читателей. — *Примеч. перев.*

бы только почистить ее хорошенько! Но, конечно, нашлись бы и солидные магазины! Ах! Я даже знаю один такой, но... в нем уже есть приказчик! Вот единственный недостаток этого чудного магазина! А из многих, я думаю, закричали бы: «К нам, к нам пожалуйте!» Да, я бы с удовольствием прогулялся по сердцам, в виде маленькой мысли например».

Калошам только того и надо было. Студент вдруг весь съежился и начал в высшей степени необычайное путешествие по сердцам зрителей первого ряда. Первое сердце, куда он попал, принадлежало даме, но в первую минуту ему почудилось, что он в ортопедическом институте — так называется заведение, где доктора лечат людей с разными физическими недостатками и уродствами — и в той именно комнате, где по стенам развешаны гипсовые слепки с уродливых частей человеческого тела; вся разница была в том, что в институте слепки снимаются, когда пациент приходит туда, а в сердце этой дамы они делались уже по уходе добрых людей: тут хранились слепки физических и духовных недостатков ее подруг.

Скоро студент перебрался в другое женское сердце, но это сердце показалось ему просторным святым храмом; белый голубь невинности парил над алтарем. Он охотно преклонил бы здесь колени, но нужно было продолжать путешествие. Звуки церковного органа еще раздавались у него в ушах, он чувствовал себя точно обновленным, просветленным и достойным войти в следующее святилище. Последнее показалось ему бедною каморкой, где лежала больная мать; через открытое окно сияло теплое солнышко, из маленького ящичка на крыше кивали головками чудесные розы, а две небесно-голубые птички пели о детской радости, в то время как больная мать молилась за дочь.

Вслед за тем он на четвереньках переполз в битком набитую мясную лавку, где всюду натыкался на одно мясо; это было сердце богатого, всеми уважаемого человека, имя которого можно найти в адрес-календаре.

Оттуда студент попал в сердце его супруги; это была старая полуразвалившаяся голубятня; портрет мужа служил флюгером; к нему была привязана входная дверь, которая то отворялась, то запиралась, смотря по тому, в которую сторону повертывался супруг.

Потом студент очутился в зеркальной комнате, вроде той, что находится в Розенбургском дворце, но зеркала увеличивали все в невероятной степени, а посреди комнаты сидело, точно какой-то далай-лама, ничтожное «я» данной особы и благоговейно созерцало свое собственное величие.

Затем ему показалось, что он перешел в узкий игольник, полный острых иголок. Он подумал было, что попал в сердце какой-нибудь старой девы, но ошибся — это было сердце молодого военного, украшенного орденами и слывшего за «человека с умом и сердцем».

Совсем ошеломленный, очутился наконец несчастный студент на своем месте и долго-долго не мог опомниться: нет, положительно фантазия его уж чересчур разыгралась.

«Господи, Боже мой! — вздыхал он про себя. — Я, кажется, в самом деле начинаю сходить с ума. Да и что за непозволительная жара здесь! Кровь так и стучит в висках!» Тут ему вспомнилось вчерашнее его приключение. «Да, да, вот оно, начало всего! — думал он. — Надо вовремя принять меры. Особенно помогает в таких случаях русская баня. Ах, если бы я уже лежал на полке!»

В ту же минуту он и лежал там, но лежал одетый, в сапогах и калошах; на лицо ему капала с потолка горячая вода.

— Уф! — закричал он и побежал принять душ.

Банщик тоже громко закричал, увидав в бане одетого человека.

Студент, однако, не растерялся и шепнул ему:

— Это на пари!

Придя домой, он, однако, закатил себе две шпанские мушки, одну на шею, другую на спину, чтобы выгнать помешательство.

Наутро вся спина у него была в крови — вот и все, что принесли ему калоши Счастья.

V. ПРЕВРАЩЕНИЕ ПИСЬМОВОДИТЕЛЯ

Ночной сторож, которого вы, может быть, еще не забыли, вспомнил между тем о найденных и затем оставленных им в больнице калошах и явился за ними. Ни офицер, ни кто другой из обывателей той улицы не признали, однако, их за свои, и калоши снесли в полицию.

— Точь-в-точь мои! — сказал один из господ полицейских письмоводителей, рассматривая находку и свои собственные калоши, стоявшие рядом, — сам мастер не отличил бы их друг от друга!

— Господин письмоводитель! — сказал вошедший с бумагами полицейский.

Письмоводитель обернулся к нему и поговорил с ним, а когда вновь взглянул на калоши, то уже и сам не знал, которые были его собственными: те ли, что стояли слева, или что справа?

«Должно быть, вот эти мокрые — мои!» — подумал он, да и ошибся: это были как раз калоши Счастья; но почему бы и служителю полиции не ошибиться иногда? Он надел их, сунул некоторые бумаги в карман, другие взял под мышку: ему надо было просмотреть и переписать их дома. День был воскресный, погода стояла хорошая, и он подумал, что недурно будет прогуляться в Фредериксбергский сад.

Пожелаем же этому тихому трудолюбивому молодому человеку приятной прогулки — ему вообще полезно было прогуляться после продолжительного сидения в канцелярии.

Сначала он шел, не думая ни о чем, так что калошам не было еще случая проявить свою волшебную силу.

В аллее писмоводитель встретил молодого поэта, который сообщил ему, что уезжает путешествовать.

— Опять уезжаете! — сказал писмоводитель. — Счастливый вы народ, свободный! Порхаете себе, куда хотите, не то что мы! У нас цепи на ногах!

— Они приковывают вас к хлебному местечку! — отвечал поэт. — Вам не нужно заботиться о завтрашнем дне, а под старость получите пенсию!

— Нет, все-таки вам живется лучше! — сказал писмоводитель. — Писать стихи — это удовольствие! Все вас расхваливают, и к тому же вы сами себе господа! А вот попробовали бы вы посидеть в канцелярии да повозиться с этими пошлыми делами!

Поэт покачал головой, писмоводитель тоже, каждый остался при своем мнении, с тем они и разошлись.

«Совсем особый народ эти поэты! — подумал писмоводитель. — Хотелось бы мне побывать на их месте, самому стать поэтом. Уж я бы не писал таких ноющих стихов, как другие! Сегодня как раз настоящий весенний день для поэта! Воздух как-то необыкновенно прозрачен, и облака удивительно красивы! А что за запах, что за благоухание! Да, никогда еще я не чувствовал себя так, как сегодня».

Замечаете? Он уже стал поэтом, хотя на вид и не изменился ни-сколько: нелепо ведь предполагать, что поэты какая-то особая порода людей; и между обыкновенными смертными могут встречаться натуры куда более поэтические, нежели многие признанные поэты; вся разница в том, что у поэтов более счастливая духовная память, позволяющая им крепко хранить в своей душе идеи и чувства до тех пор, пока они наконец ясно и точно не выльются в словах и образах. Сделаться из простого, обыкновенного человека поэтической натурой, впрочем, все же своего рода превращение, и вот оно-то и произошло с писмоводителем.

«Какой чудный аромат! — думал он. — Мне вспоминаются фиалки тетушки Лоны! Да, я был тогда еще ребенком! Господи, сколько лет я не вспоминал о ней! Добрая старая девушка! Она жила там, за биржей! У нее всегда, даже в самые лютые зимы, стояли в воде какие-нибудь зелененькие веточки или отростки. Фиалки так и благоухали, а я прикладывал к замерзшим оконным стеклам нагретые медные монетки, чтобы оттаять себе маленькие кругленькие отверстия для глаз. Вот была панорама! На канале стояли пустые зазимовавшие корабли со стоями каркавших ворон вместо команды. Но вот наступала весна, и на них закипала работа, раздавались песни и дружные «ура» рабочих, подрубавших вокруг кораблей лед; корабли смолились, конопатились и затем отплывали в чужие страны. А я оставался! Мне было суждено вечно сидеть в канцелярии и только смотреть, как другие выправляли себе заграничные паспорта! Вот моя доля! Увы!» Тут он глубоко вздохнул и затем вдруг приостановился.

«Что это, право, делается со мной сегодня? Никогда еще не задавался я такими мыслями и чувствами! Это, должно быть, действие весеннего воздуха! И жутко, и приятно на душе! — И он схватился за бумаги, бывшие у него в кармане. — Бумаги дадут моим мыслям другое направление». Но, бросив взгляд на первый же лист, он прочел: «Зигбрита, трагедия в 5 действиях». «Что такое?! Почерк, однако, мой... Неужели я написал трагедию? А это что? «Интрижка на балу, водевиль». Нет, откуда же все это? Кто это подсунул мне? А вот еще письмо!»

Письмо было не из вежливых; автором его была театральная дирекция, забравшая обе упомянутые пьесы.

— Гм! Гм! — произнес письмоводитель и присел на скамейку. Мысли у него так и играли, душа была как-то особенно мягко и нежно настроена; машинально сорвал он какой-то росший возле цветочек и засмотрелся на него. Это была простая ромашка, но в одну минуту она успела рассказать ему столько, сколько нам впору узнать на нескольких лекциях ботаники. Она рассказала ему чудесную повесть о своем появлении на свет, о волшебной силе солнечного света, заставившего распуститься и благоухать ее нежные лепесточки. Поэт же в это время думал о жизненной борьбе, пробуждающей дремлющие в груди человека силы. Да, воздух и свет — возлюбленные цветка, но свет является избранником, к которому постоянно тянется цветок; когда же свет погасает, цветок свертывает свои лепестки и засыпает в объятиях воздуха.

— Свету я обязана своею красотой! — говорила ромашка.

— А чем бы ты дышала без воздуха? — шепнул ей поэт.

Неподалеку от него стоял мальчуган и шлепал палкой по канавке; брызги мутной воды так и летели в зеленую траву, и письмоводитель стал думать о миллионах невидимых организмов, взлетающих вместе с каплями воды на заоблачную для них — в сравнении с их собственной величиной — высоту. Думая об этом и о том превращении, которое произошло с ним сегодня, письмоводитель улыбнулся. «Я просто сплю и вижу сон! Удивительно, однако, до чего сон может быть живым! И все-таки я отлично сознаю, что это только сон. Хорошо, если бы я вспомнил завтра поутру все, что теперь чувствую; теперь я удивительно хорошо настроен: смотрю на все как-то особенно здраво и ясно, чувствую какой-то особый подъем духа. Увы! Я уверен, что к утру в воспоминании у меня останется одна чепуха! Это уже не раз бывало! Все эти умные, дивные вещи, которые слышишь и сам говоришь во сне, похожи на золото гномов: при дневном свете оно оказывается кучею камней и сухих листьев. Увы!»

Письмоводитель грустно вздохнул и поглядел на весело распевавших и перепархивавших с ветки на ветку птичек.

«Им живется куда лучше нашего! Умение летать — завидный дар! Счастлив, кто родился с ним! Если бы я мог превратиться во что-нибудь, я пожелал бы быть таким маленьким жаворонком!»

В ту же минуту рукава и фалды его сюртука сложились в крылья, платье стало перышками, а калоши когтями. Он отлично заметил все это и засмеялся про себя: «Ну, теперь я вижу, что сплю! Но таких смешных снов мне еще не случалось видеть!» Затем он взлетел на дерево и запел, но в его пении уже не было поэзии — он перестал быть поэтом: калоши, как и всякий, кто относится к делу серьезно, могли исполнять только одно дело зараз: хотел он стать поэтом и стал, захотел превратиться в птичку и превратился, но зато утратил уже прежний свой дар. «Недурно! — подумал он. — Днем я сижу в полиции, занятый самыми важными делами, а ночью мне снится, что я летаю жаворонком в Фредериксбергском саду! Вот сюжет для народной комедии!»

И он слетел на траву, вертел головкой и пощипывал клювом гибкие стебельки, казавшиеся ему теперь огромными пальмовыми ветвями.

Вдруг кругом него сделалось темно как ночью: на него был наброшен какой-то огромный, как ему показалось, предмет — это мальчуган накрыл его своей фуражкой. Под фуражку подлезла рука и схватила письмоводителя за хвост и за крылья, так что он запищал, а затем громко крикнул:

— Ах, ты, бессовестный мальчишка! Ведь я полицейский письмоводитель!

Но мальчуган расслышал только «пип-пип», щелкнул птицу по клюву и пошел с ней своею дорогой.

В аллее встретились ему два школьника из высшего класса, то есть по положению в обществе, а не в школе. Они купили птицу за 8 скиллингов¹, и вот письмоводитель вновь вернулся в город и попал в одно семейство, жившее на Готской улице.

«Хорошо, что это сон, — думал письмоводитель, — не то бы я, право, рассердился! Сперва я был поэтом, потом стал жаворонком! Моя поэтическая натура и заставила меня пожелать превратиться в это крошечное созданище! Довольно печальная участь, однако! Особенно если попадешь в лапы мальчишек. Но любопытно все-таки узнать, чем все это кончится?»

Мальчишки принесли его в богато убранную гостиную, где их встретила толстая улыбающаяся барыня; она не особенно обрадовалась простой полевой птице, как она назвала жаворонка, хотя и позволила посадить его на время в пустую клетку, стоявшую на окне.

— Может быть, она позабавит попочку! — сказала барыня и улыбнулась большому зеленому попугаю, важно качавшемуся на кольце в своей великолепной металлической клетке. — Сегодня попочкино рождение, — продолжала она глупо-наивным тоном, — и полевая птичка пришла его поздравить!

¹

Скилинг — мелкая медная датская монета, уже вышедшая из употребления. — Примеч. перев.

Попочка не ответил ни слова, продолжая качаться взад и вперед, зато громко запела хорошенькая канарейка, только прошлым летом привезенная со своей теплой, благоухающей родины.

— Крикунья! — сказала барыня и набросила на клетку белый носовой платок.

— Пип, пип! Какая ужасная метель! — вздохнула канарейка и умолкла.

Письмоводитель, или, как назвала его барыня, полевая птица, был посажен в клетку, стоявшую рядом с клеткой канарейки и недалеко от попугая. Единственное, что попугай мог прокартавить человеческим голосом, была фраза, звучавшая иногда очень комично: «Нет, хочу быть человеком!» Все остальное выходило у него так же непонятно, как и щебетанье канарейки; непонятно для людей, а не для письмоводителя, который сам был теперь птицей и отлично понимал своих собратьев.

— Я летала под сенью зеленых пальм и цветущих миндальных деревьев! — пела канарейка. — Я летала со своими братьями и сестрами над роскошными цветами и тихими зеркальными водами озер, откуда нам приветливо кивал зеленый тростник. Я видела там прелестных попугаев, умеющих рассказывать забавные сказки без конца, без счета!

— Дикие птицы! — ответил попугай. — Без всякого образования. Нет, хочу быть человеком!.. Что ж ты не смеешься? Если это смешит госпожу и всех гостей, то и ты, кажется, могла бы засмеяться! Это большой недостаток — не уметь ценить забавных остроумцев. Нет, хочу быть человеком!

— Помнишь ли ты красивых девушек, плясавших под сенью усыпанных цветами деревьев? Помнишь сладкие плоды и прохладный сок диких овощей?

— О да! — сказал попугай. — Но здесь мне гораздо лучше. У меня хороший стол, и я свой человек в доме. Я знаю, что я малый с головой, и этого с меня довольно. Нет, хочу быть человеком! У тебя, что называется, поэтическая натура, я же обладаю основательными познаниями и к тому же остроумен. В тебе есть гений, но тебе не хватает рассудительности, ты берешь всегда чересчур высокие ноты, и тебе за это зажимают рот. Со мной этого не случится — я обошелся им по дорожке! К тому же я внушаю им уважение своим клювом и остер на язык! Нет, хочу быть человеком!

— О, моя теплая, цветущая родина! — пела канарейка. — Я стану воспевать твои темно-зеленые леса, твои тихие заливы, где ветви лобызают прозрачные волны, где растут «водоемы пустыни»¹; стану воспевать радость моих блестящих братьев и сестер!

— Оставь ты свои ахи и охи! — сказал попугай. — Состри-ка лучше да посмеши нас! Смех — признак высшего умственного развития. Ведь

¹ Кактусы. — Примеч. перев.

ни лошадь, ни собака не смеются, они могут только плакать; смех — это высший дар, отличающий человека! Хо, хо, хо! — захохотал попугай и опять сострил: — Нет, хочу быть человеком!

— И ты попалась в плен, серенькая датская птичка! — сказала канарейка жаворонку. — В твоих лесах, конечно, холодно, но все же ты была там свободна! Улетай же! Смотри, они забыли запереть тебя, форточка открыта — улетай, улетай!

Письмоводитель так и сделал, выпорхнул и сел на клетку. В эту минуту в полуоткрытую дверь скользнула из соседней комнаты кошка с зелеными сверкающими глазами и бросилась на него. Канарейка забилась в клетке, попугай захлопал крыльями и закричал:

— Нет, хочу быть человеком!

Письмоводителя охватил смертельный ужас, и он вылетел в форточку на улицу, летел-летел, наконец устал и захотел отдохнуть.

Соседний дом показался ему знакомым; одно окно было открыто, он влетел в комнату — это была его собственная комната — и сел на стол.

— Нет, хочу быть человеком! — сказал он, бессознательно повторяя остроту попугая, и в ту же минуту стал опять письмоводителем, но оказалось, что он сидит на столе!

— Господи помилуй! — сказал он. — Как это я попал сюда, да еще заснул! И какой сон приснился мне! Вот чепуха-то!

VI. ЛУЧШЕЕ, ЧТО СДЕЛАЛИ КАЛОШИ

На другой день, рано утром, когда письмоводитель еще лежал в постели, в дверь постучали и вошел сосед его, студент-богослов.

— Одолжи мне твои калоши! — сказал он. — В саду еще сыро, но солнышко так и сияет, — пойти выкурить на воздухе трубочку!

Надев калоши, он живо сошел в сад, в котором было одно грушевое и одно сливовое дерево, но даже и такой садик считается в Копенгагене¹ большою роскошью.

Богослов ходил взад и вперед по дорожке; было всего шесть часов утра; с улицы донесся звук почтового рога.

— О, путешествовать, путешествовать! Лучше этого нет ничего в мире! — промолвил он. — Это высшая, заветная цель моих стремлений! Удастся мне достигнуть ее, и эта внутренняя тревога моего сердца и помыслов уляжется. Но я так и рвусь вдаль! Дальше, дальше... видеть чудную Швейцарию, Италию...

Да, хорошо, что калоши действовали немедленно, не то он забрался бы, пожалуй, чересчур далеко и для себя, и для нас! И вот он уже

¹ В старой части города. — *Примеч. перев.*

путешествовал по Швейцарии, упрятанный в дилижанс вместе с восьмью другими пассажирами. У него болела голова, ныла спина, ноги затекли и распухли, сапоги жали нестерпимо. Он не то спал, не то бодрствовал. В правом боковом кармане у него лежали переводные векселя на банкирские конторы, в левом — паспорт, а на груди — мешочек с зашитыми в нем золотыми монетами; стоило богослову задремать, и ему чудилось, что та или другая из этих драгоценностей потеряна; дрожь пробегала у него по спине, и рука лихорадочно описывала треугольник — справа налево и на грудь, чтобы удостовериться в целости всех своих сокровищ. В сетке под потолком дилижанса болтались зонтики и шляпы и порядочно мешали ему любоваться дивными окрестностями. Он смотрел-смотрел, а в ушах его так и звучало четверостишие, которое сложил во время путешествия по Швейцарии, не предназначая его, однако, для печати, один неизвестный нам поэт:

Да, хорошо здесь! И Монблан
Я вижу пред собой, друзья!
Когда б к тому тугой карман,
Вполне счастливым был бы я!

Окружающая природа была сурово-величава; сосновые леса на вершинах высоких гор казались каким-то вереском; начал порошить снег, подул резкий холодный ветер.

— Брр! Если бы мы были по ту сторону Альп, у нас было бы уже лето, а я получил бы деньги по моим векселям! Из страха потерять их я и не могу как следует наслаждаться Швейцарией. Ах, если б мы уже были по ту сторону Альп!

И он очутился по ту сторону Альп, в середине Италии, между Флоренцией и Римом. Тразименское озеро было освещено вечерним солнцем; здесь, где некогда Ганнибал разбил Фламиния, цеплялись друг за друга своими зелеными пальчиками виноградные лозы; прелестные полунагие дети пасли на дороге под тенью цветущих лавровых деревьев черных как смоль свиней. Да, если изобразить все это красками на полотне, все заахали бы: «Ах, чудная Италия!» Но ни богослов, ни его дорожные товарищи, сидевшие в почтовой карете, не говорили этого.

В воздухе носились тучи ядовитых мух и комаров; напрасно путешественники обмахивались миртовыми ветками — насекомые кусали и жалили их немилосердно; в карете не оставалось ни одного человека, у которого бы не было искусано и не распухло все лицо. Бедные лошади походили на какую-то пададь — мухи облепили их роями; кучер иной раз слезал с козел и сгонял с несчастных животных их мучителей, но только на минуту. Но вот солнце село, и путников охватил леденящий холод; это было совсем неприятно, зато облака и горы окрасились в чудные блестяще-зеленоватые тона. Да, надо видеть все это самому: никакие описания не могут дать об этом настоящего понятия. Зрелище

было неподобающее, с этим согласились все пассажиры, но... желудок был пуст, тело просило отдыха, все мечты неслись к ночлегу, а каков-то еще он будет? И все больше занимались этими вопросами, нежели красотами природы.

Дорога лежала через оливковую рощу, и богослову казалось, что он едет между родными узловатыми ивами; наконец добрались до одинокой гостиницы. У входа расположились с десяток нищих калек; самый бодрый из них смотрел «достигшим совершеннолетия старшим сыном голода», другие были или слепы, или с высохшими ногами и ползали на руках, или с изуродованными руками без пальцев. Из лохмотьев их так и глядела голая нищета. «Eccellenza, miserabili!» — стонали они и выставляли напоказ изуродованные члены. Сама хозяйка гостиницы встретила путешественников босая, с непричесанною головой и в какой-то грязной блузе. Двери были без задвижек и связывались попросту веревочками, кирпичный пол в комнатах был весь в ямах, на потолках гнездились летучие мыши, а уж воздух!..

— Пусть накроют нам стол в конюшне! — сказал один из путников. — Там все-таки знаешь, чем дышишь!

Открыли окна, чтобы впустить в комнаты свежего воздуха, но его опередили иссохшие руки и непрерывное нытье: «Eccellenza, miserabili!» Все стены были покрыты надписями; половина из них бранила bella Italia!

Подали обед: водянистый суп, приправленный перцем и прогорклым оливковым маслом, салат с таким же маслом, затем, как главные блюда, протухшие яйца и жареные петушьи гребешки; вино — и то отдавало микстурой.

На ночь двери были заставлены чемоданами; один из путешественников стал на караул, другие же заснули. Караульным пришлось быть богослову. Фу, какая духота была в комнатах! Жара томила, комары кусались, miserabili стонали во сне!

— Да, путешествие вещь хорошая! — вздохнул богослов. — Только бы у нас не было тела! Пусть бы оно себе отдыхало, а душа летала повсюду. А то, куда я ни явлюсь, в душе все та же тоска, та же тревога... Я стремлюсь к чему-то лучшему, высшему, нежели все эти земные мгновенные радости. Да, к лучшему, но где оно и в чем?.. Нет, я знаю, в сущности, чего я хочу! Я хочу достигнуть блаженной цели земного странствования!

Слово было сказано, и он был уже на родине, у себя дома; длинные белые занавеси были спущены, и посреди комнаты стоял черный гроб; в нем лежал богослов. Его желание было исполнено: тело отдыхало, душа странствовала. «Никто не может назваться счастливым, пока не сойдет в могилу!» — сказал Солон, и его слова подтвердились еще раз.

¹ ... прекрасную Италию (итал.).

Каждый умерший представляет собой загадку, бросаемую нам в лицо вечностью, и эта человеческая загадка в черном гробу не отвечала нам на вопросы, которые задавал сам человек за каких-нибудь два, три дня до смерти.

О, смерть всеильная, немая,
Твой след — могилы без конца!
Увы, ужели жизнь земная
Моя увянет, как трава?
Ужели мысль, что к небу смело
Стремится, сгинет без следа?
Иль купит дух страданьем тела
Себе бессмертия венец?..

В комнате появились две женские фигуры; мы знаем обеих: то были фея Печали и посланница Счастья; они склонились над умершим.

— Ну, — сказала Печаль, — много счастья принесли твои калоши человечеству?

— Что ж, вот этому человеку, что лежит тут, они доставили прочное счастье! — отвечала Радость.

— Нет! — сказала Печаль. — Он ушел из мира самовольно, не быв отозванным! Его духовные силы не развились и не окрепли еще настолько, чтобы он мог унаследовать те небесные сокровища, которые были ему уготованы. Я окажу ему благодеяние!

И она стащила с ног умершего калоши; смертный сон был прерван, и воскресший встал. Печаль исчезла, а с ней и калоши: она, должно быть, сочла их своей собственностью.



РОМАШКА



от послушайте-ка!

За городом, у самой дороги, стояла дача. Вы, верно, видели ее? Перед ней еще небольшой садик, обнесенный крашеною деревянною решеткой.

Неподалеку от дачи, у самой канавки, росла в мягкой зеленой траве ромашка. Солнечные лучи грели и ласкали ее наравне с роскошными цветами, которые цвели в саду перед дачей, и наша ромашка росла не по дням, а по часам. В одно прекрасное утро она распустилась совсем; желтое, круглое, как солнышко, сердечко ее было окружено сиянием ослепительно белых, мелких лучей-лепестков. Ромашку ничуть не заботило, что она такой бедненький, простенький цветочек, которого никто не видит и не замечает в густой траве; нет, она была довольна всем, жадно тянулась к солнышку, любовалась им и слушала, как поет где-то высоко-высоко в небе жаворонок.

Ромашка была так весела и счастлива, точно сегодня было воскресенье, а на самом-то деле был простой понедельник; все дети смирно сидели на школьных скамейках и учились у своих наставников; наша ромашка тоже смирно сидела на своем стебельке и училась у ясного солнышка и у всей окружающей природы, училась познавать благость Божию. Ромашка слушала пение жаворонка, и ей казалось, что его громкие, звучные песни высказывают как раз то, что таится у нее на сердце; поэтому ромашка смотрела на счастливую порхающую певунью-птичку с каким-то особым почтением, но ничуть не завидовала ей и не печалилась, что сама не может ни летать, ни петь. «Я ведь вижу и слышу все! — думала она. — Солнышко меня ласкает, ветерок целует! Как я счастлива!»

В садике цвело множество пышных, гордых цветов; самыми гордыми между ними были цветы без всякого аромата. Пионы так и раздували щеки: им все хотелось стать побольше роз; да разве в величине дело? Пестрее, наряднее тюльпанов никого не было, они отлично знали это и старались держаться возможно прямее, чтобы больше бросаться в глаза. Никто из гордых цветов не замечал маленькой ромашки, росшей где-то у канавки. Зато ромашка часто заглядывалась на них и думала: «Какие они нарядные, красивые! К ним непременно прилетит в гости прелестная певунья-птичка! Слава

Богу, что я стою так близко: увижу все, налюбуюсь вдоволь!» Вдруг раздалось «квир-квир-вит!», и жаворонок спустился... не в сад к пионам и тюльпанам, а прямехонько в травку к скромной ромашке! Ромашка совсем растерялась от радости и просто не знала, что ей думать, как быть!

Птичка прыгала вокруг ромашки и распевала: «Ах, какая славная, мягкая травка! Какой миленький цветочек в серебряном платъице, с золотым сердечком!»

Желтое сердечко ромашки и в самом деле сияло, как золотое, а ослепительно белые лепесточки отливали серебром.

Ромашка была так счастлива, так рада, что и сказать нельзя. Птичка поцеловала ее, спела ей песенку и опять взвилась к синему небу. Прошла добрая четверть часа, пока ромашка опомнилась от такого счастья. Радостно-застенчиво глянула она на пышные цветы: они ведь видели, какое счастье выпало ей на долю, кому же и оценить его, как не им! Но тюльпаны вытянулись, надулись и покраснели с досады, а пионы прямо готовы были лопнуть! Хорошо, что они не умели говорить: досталось бы от них ромашке! Бедняжка сразу поняла, что они не в духе, и от души пожалела об этом.

В это время в садике показалась девушка с острым блестящим ножом в руках. Она подошла прямо к тюльпанам и пионам и принялась срезать их один за другим. Ромашка так и ахнула. «Какой ужас! Теперь им конец!» Срезав цветы, девушка ушла, а ромашка порадовалась, что росла в густой траве, где ее никто не видел и не замечал. Солнышко село, она свернула лепесточки и заснула, но и во сне все видела милую птичку и красное солнышко.

Утром цветочек опять расправил лепестки и протянул их, как дитя ручонки, к светлому солнышку. В ту же минуту послышался голос жаворонка: птичка пела, но как грустно! Бедняжка попала в западню и сидела теперь в клетке, висевшей у раскрытого окна. Жаворонок пел о воздушном просторе неба, о свежей зелени полей, о том, как хорошо и привольно было летать на свободе! Тяжело-тяжело было у бедной птички на сердце — она была в плену!

Ромашке всей душой хотелось помочь пленнице, но чем? И ромашка забыла и думать о том, как хорошо было вокруг, как славно грело солнышко, как блестели ее серебряные лепесточки, — ее мучила мысль, что она ничем не могла помочь бедной птичке.

Вдруг из садика вышли два мальчугана; у одного из них в руках был такой же большой и острый нож, как тот, которым девушка срезала тюльпаны. Мальчики подошли прямо к ромашке, которая никак не могла понять, что им было тут нужно.

— Вот здесь можно вырезать славный кусочек дерна для нашего жаворонка! — сказал один из мальчиков и, глубоко запустив нож, начал вырезать четырехугольный кусок дерна; ромашка очутилась как раз в середине его.

— Сорвем цветочек! — сказал другой мальчик, и ромашка затрепетала от страха: если ее сорвут, она умрет, а ей так хотелось жить! Теперь она могла ведь попасть к бедному пленнику.

— Нет, пусть лучше останется! — сказал первый из мальчиков. — Так красивее!

И ромашка попала в клетку к жаворонку.

Бедняжка громко жаловался на свою неволю, метался и бился о железные прутья клетки. А бедная ромашка не могла утешить его ни словечком. А уж как ей хотелось! Так прошло все утро.

— Тут нет воды! — жаловался жаворонок. — Они забыли дать мне напиться, ушли и не оставили мне ни глоточка воды! У меня совсем пересохло в горлышке! Я весь горю и меня знобит! Ах, как мне тяжело дышать! Мне приходится умереть, расстаться с красным солнышком, со свежей зеленью, со всем Божиим миром!

Чтобы хоть сколько-нибудь освежиться, жаворонок глубоко вонзил свой клюв в свежий, прохладный дерн, увидел ромашку, кивнул ей головой и сказал:

— И ты завянешь здесь, бедный цветик! Тебя да этот клочок зеленого дерна — вот что они дали мне взамен всего Божьего мира! Каждая травинка должна быть для меня зеленым деревцем, каждый твой лепесточек — благоухающим цветком. Увы! Ты только напоминаешь мне, чего я лишился!

«Ах, чем бы мне утешить его!» — думала ромашка, но не могла шевельнуть ни листочком и только все сильнее и сильнее благоухала. Жаворонок заметил это и не тронул цветка, хотя повыщипал от жажды всю травку.

Вот и вечер пришел, а никто так и не принес бедной птичке воды. Тогда она распустила свои коротенькие крылышки, судорожно затрепетала ими и еще несколько раз жалобно пропищала:

— Пить! Пить!

Потом головка ее склонилась набок и сердечко разорвалось от тоски и муки.

Ромашка также не могла больше свернуть своих лепесточков и заснуть, как бывало: она была совсем больна и стояла, грустно повесив головку.

Только на другое утро пришли мальчики и, увидав мертвого жаворонка, горько-горько заплакали, потом вырыли ему чудесную могилку и всю изукрасили ее цветами, а самого жаворонка положили в красивую красненькую коробочку — его хотели похоронить по-царски! Бедная птичка! Пока она жила и пела, они забывали о ней, оставили ее умирать в клетке от жажды, а теперь устраивали ей пышные похороны и проливали над ее могилкой горькие слезы!

Дерн с ромашкой был выброшен на пыльную дорогу; никто и не подумал о цветочке, который все-таки больше всех любил бедную птичку и всем сердцем желал ее утешить.

СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК

БЫЛО когда-то двадцать пять оловянных солдатиков, родных братьев по матери — старой оловянной ложке; ружье на плече, голова прямо, красный с синим мундир — ну прелесть что за солдаты! Первые слова, которые они слышали, когда открыли их домик-коробку, были: «Ах, оловянные солдатики!» Это закричал, хлопая в ладоши, маленький мальчик, которому подарили оловянных солдатиков в день его рождения. Он сейчас же принялся расставлять их на столе. Все солдатики были совершенно одинаковы, кроме одного, который был на одной ноге. Его отливали последним, и олова немножко не хватило, но он стоял на своей одной ноге так же твердо, как другие на двух; и он-то как раз и оказался самым замечательным из всех.

На столе, где очутились солдатики, было много разных игрушек, но больше всего бросался в глаза чудесный дворец из картона. Сквозь маленькие окна можно было видеть дворцовые покои; перед самым дворцом, вокруг маленького зеркальца, которое изображало озеро, стояли деревья, а по озеру плавали и любовались своим отражением восковые лебеди. Все это было чудо как мило, но милее всего была барышня, стоявшая на самом пороге дворца. Она была вырезана из бумаги и одета в юбочку из тончайшего батиста; через плечо у нее шла узенькая голубая ленточка в виде шарфа, а на груди сверкала розетка величиною с лицо самой барышни.

Барышня стояла на одной ножке, вытянув руки, — она была танцовщицей, — а другую ногу подняла так высоко, что наш солдатик совсем не мог видеть ее, и подумал, что красавица тоже одноногая, как он.

«Вот была бы мне жена! — подумал он. — Только она, как видно, из знатных, живет во дворце, а у меня только и есть что коробка, да и то в ней нас набито двадцать пять штук: ей там не место! Но познакомиться все же не мешает».

И он притаился за табакеркой, которая стояла тут же на столе; отсюда ему отлично было видно прелестную танцовщицу, которая все стояла на одной ноге, не теряя равновесия.



Поздно вечером всех других оловянных солдатиков уложили в коробку, и все люди в доме легли спать. Теперь игрушки сами стали играть «в гости», «в войну» и «в бал». Оловянные солдатикки принялись стучать в стенки коробки — они тоже хотели играть, да не могли приподнять крышки. Щелкунчик кувыркался, грифель плясал по доске; поднялся такой шум и гам, что проснулась канарейка и тоже заговорила, да еще стихами! Не трогались с места только танцовщица и оловянный солдатик: она по-прежнему держалась на вытянутом носке, простирая руки вперед, он бодро стоял под ружьем и не сводил с нее глаз.

Пробило двенадцать. Щелк! — табакерка раскрылась.

Там не было табаку, а маленький черный бука — вот так фокус!

— Оловянный солдатик, — сказал бука, — нечего тебе заглядываться!

Оловянный солдатик будто и не слышал.

— Ну, постой же! — сказал бука.

Утром дети встали, и оловянного солдатика поставили на окно.

Вдруг — по милости ли буки или от сквозняка — окно распахнулось, и наш солдатик полетел головой вниз с третьего этажа — только в ушах засвистело! Минута — и он уже стоял на мостовой кверху ног: голова его в каске и ружье застряли между камнями мостовой.

Мальчик и служанка сейчас же выбежали на поиски, но, сколько ни старались, найти солдатика не могли; они чуть не наступали на него ногами и все-таки не замечали его. Закричи он им: «Я тут!» — они, конечно, сейчас же нашли бы его, но он считал неприличным кричать на улице: он ведь носил мундир!

Начал накрапывать дождик; сильнее, сильнее, наконец пошел настоящий ливень. Когда опять прояснилось, пришли двое уличных мальчишек.

— Эй! — сказал один. — Вон оловянный солдатик! Отправим его в плавание!

И они сделали из газетной бумаги лодочку, посадили туда оловянного солдатика и пустили в канавку. Сами мальчишки бежали рядом и хлопали в ладоши. Эх-ма! Вот так волны ходили по канавке! Течение так и несло — немудрено после такого ливня!

Лодочку бросало и вертело во все стороны, так что оловянный солдатик весь дрожал, но он держался стойко: ружье на плече, голова прямо, грудь вперед!

Лодку понесло под длинные мостки: стало так темно, точно солдатик опять попал в коробку.

«Куда меня несет?» — думал он. — Да, это все штуки гадкого буки! Ах, если бы со мною в лодке сидела та красавица, по мне будь хоть вдвое темнее!»

В эту минуту из-под мостков выскочила большая крыса.

— Паспорт есть? — спросила она. — Давай паспорт!

Но оловянный солдатик молчал и крепко держал ружье. Лодку несло, а крыса бежала за ней вдогонку. У! Как она скрежетала зубами и кричала плывущим навстречу щепкам и соломинкам:

— Держи, держи его! Он не внес пошлины, не показал паспорта!

Но течение несло лодку все быстрее и быстрее, и оловянный солдатик уже видел впереди свет, как вдруг услышал такой страшный шум, что струсил бы любой храбрец. Представьте себе — у конца мостика канавка впадала в большой канал! Это было для солдатика так же страшно, как для нас нестись на лодке к большому водопаду.

Но остановиться уже было нельзя. Лодка с солдатиком скользнула вниз; бедняга держался по-прежнему по струнке и даже глазом не сморгнул. Лодка завертелась... Раз, два — наполнилась водой до краев и стала тонуть. Оловянный солдатик очутился по горло в воде; дальше — больше... вода покрыла его с головой! Тут он подумал о своей красавице: не видать ему ее больше. В ушах у него звучало:

Вперед стремись, о воин,
И смерть спокойно встреть!

Бумага разорвалась, и оловянный солдатик пошел было ко дну, но в ту же минуту его проглотила рыба.

Какая темнота! Хуже, чем под мостками, да еще страх как узко! Но оловянный солдатик держался стойко и лежал во всю длину, крепко прижимая к себе ружье.

Рыба металась туда и сюда, выделявала самые удивительные скачки, но вдруг замерла, точно в нее ударила молния. Блеснул свет, и кто-то закричал: «Оловянный солдатик!» Дело в том, что рыбу поймали, свезли на рынок, потом она попала на кухню, и кухарка распоролa ей брюхо большим ножом. Кухарка взяла оловянного солдатика двумя пальцами за талию и понесла в комнату, куда сбежались посмотреть на замечательного путешественника все домашние. Но оловянный солдатик не загордился. Его поставили на стол, и — чего-чего ни бывает на свете! — он увидел себя в той же самой комнате, увидел тех же детей, те же игрушки и чудесный дворец с красавицей танцовщицей! Она по-прежнему стояла на одной ножке, высоко подняв другую. Вот так стойкость! Оловянный солдатик был тронут и чуть не заплакал оловом, но это было бы неприлично, и он удержался. Он смотрел на нее, она на него, но они не перемолвились ни словом.

Вдруг один из мальчиков схватил оловянного солдатика и ни с того ни с сего швырнул его прямо в печку. Наверное, это все бука подстроил! Оловянный солдатик стоял охваченный пламенем. Ему было ужасно жарко, от огня или от любви — он и сам не знал. Краски с него совсем слезли, он весь полинял; кто знает отчего — от дороги

или от горя? Он смотрел на танцовщицу, она на него, и он чувствовал, что тает, но все еще держался стойко, с ружьем на плече. Вдруг дверь в комнате распахнулась, ветер подхватил танцовщицу, и она, как сильфида, порхнула прямо в печку к оловянному солдатику, вспыхнула разом, и — конец! А оловянный солдатик растаял и сплавился в комочек. На другой день горничная выбирала из печки золу и нашла его в виде маленького оловянного сердечка; от танцовщицы же осталась одна розетка, да и та вся обгорела и почернела, как уголь.



ДИКИЕ ЛЕБЕДИ

Далеко-далеко, в той стране, куда улетают от нас на зиму ласточки, жил король; у него было одиннадцать сыновей и одна дочка Элиза. Одиннадцать братьев-принцев уже ходили в школу; на груди у каждого красовалась звезда, а сбоку гремела сабля; писали они на золотых досках алмазными грифелями и отлично умели читать, хоть по книжке, хоть наизусть — все равно. Сразу было слышно, что читают настоящие принцы! Сестрица их Элиза сидела на скамеечке из зеркального стекла и рассматривала книжку с картинками, за которую было заплачено полкоролевства.

Да, хорошо жилось детям, только недолго!

Отец их, король той страны, женился на злой королеве, которая невзлюбила бедных деток. Им пришлось испытать это в первый же день: во дворце шло такое веселье, и дети затеяли игру в гости, но мачеха, вместо разных пирожных и печеных яблок для угощенья, дала им чайную чашку песку и сказала, что они могут представить себе, будто это угощение.

Через неделю она отдала сестрицу Элизу на воспитание в деревню к каким-то крестьянам, а прошло еще несколько времени, и она успела столько наказать королю о бедных принцах, что он не хотел больше и видеть их.

— Летите-ка подобра-поздорову на все четыре стороны! — сказала злая королева. — Летите большими птицами без голоса и промышляйте о себе сами! Но она не могла сделать им такого зла, как бы ей хотелось: они превратились в одиннадцать прелестных диких лебедей, с криком вылетели из дворцовых окон и понеслись над парками и лесами.

Было раннее утро, когда они пролетали мимо избы, где спала еще крепким сном их сестрица Элиза. Они принялись летать над крышей, вытягивали свои гибкие шеи и хлопали крыльями, но никто не слышал и не видел их; так им и пришлось улететь ни с чем. Высоко-высоко взвились они к самым облакам и полетели в большой, темный лес, что тянулся до самого моря.

Бедняжка Элизочка стояла в крестьянской избе и играла зеленым листочком — других игрушек у нее не было; она проткнула в листке дырочку, смотрела сквозь нее на солнышко, и ей казалось, что она видит ясные глаза своих братьев: когда же теплые лучи солнышка скользили по ее щечке, она вспоминала их нежные поцелуи.

Дни шли за днями, один как другой. Колыхал ли ветер розовые кусты, росшие возле дома, и шептал розам: «Есть ли кто-нибудь красивее вас?» — розы качали головками и говорили: «Элиза красивее». Сидела ли в воскресный день у дверей своего домика какая-нибудь старушка, читавшая псалтырь, а ветер переворачивал листы, говоря книге: «Есть ли кто набожнее тебя?» — книга отвечала: «Элиза набожнее!» И розы, и псалтырь говорили сущую правду.

Но вот Элизе минуло пятнадцать лет, и ее отправили домой. Увидав, какая она хорошенькая, королева разгневалась и возненавидела падчерицу. Она с удовольствием превратила бы и ее в дикую лебедку, да нельзя было сделать этого сейчас же, потому что король хотел видеть свою дочь.

И вот рано утром королева пошла в мраморную, всю изукрашенную чудными коврами и мягкими подушками купальню, взяла трех жаб, поцеловала каждую и сказала первой:

— Сядь Элизе на голову, когда она войдет в купальню; пусть она станет такою же тупой и ленивой, как ты! А ты сядь ей на лоб! — сказала она другой. — Пусть Элиза будет такой же безобразной, как ты, и отец не узнает ее! Ты же ляг ей на сердце! — шепнула королева третьей жабе. — Пусть она станет злонаравной и мучается от этого!

Затем она спустила жаб в прозрачную воду, и вода сейчас же вся позеленела. Позвав Элизу, королева раздела ее и велела ей войти в воду. Элиза погрузилась, и одна жаба села ей на темя, другая на лоб, а третья на грудь, но Элиза даже не заметила этого и, как только вышла из воды, по воде поплыли три красных мака. Если бы жабы не были отравлены поцелуем ведьмы, они превратились бы, полежав у Элизы на голове и на сердце, в красные розы; девушка была так набожна и невинна, что колдовство никак не могло подействовать на нее.

Увидав это, злая королева натерла Элизу соком грецкого ореха, так что она стала совсем коричневой, вымазала ей личико вонючей мазью и спутала ее чудные волосы. Теперь нельзя было и узнать хорошенькую Элизу. Даже отец ее испугался и сказал, что это не его дочь. Никто не признавал ее, кроме цепной собаки да ласточек, но кто бы стал слушать бедных животных!

Заплакала Элиза и подумала о своих выгнанных братьях, тайком ушла из дворца и целый день брела по полям и болотам, пробираясь к лесу. Элиза и сама хорошенько не знала, куда надо ей идти, но так

истосковалась по своим братьям, которые тоже были изгнаны из родного дома, что решила искать их повсюду, пока не найдет.

Недолго пробыла она в лесу, как уже настала ночь, и Элиза совсем сбилась с дороги; тогда она улеглась на мягкий мох, прочла молитву на сон грядущий и склонила головку на пень. В лесу стояла тишина, воздух был такой мягкий, в траве там и сям мелькали, точно зеленые огоньки, сотни ивановых червячков¹, а когда Элиза задела рукой за какой-то кустик, блестящие насекомые посыпались в траву звездным дождем.

Всю ночь снились Элизе братья: все они опять были детьми, играли вместе, писали грифелями на золотых досках и рассматривали чудеснейшую книжку с картинками, которая стояла полкоролевства. Но писали они на досках не черточки и нулики, как бывало прежде: нет, они описывали все, что видели и пережили. Картины же в книжке были живые: птицы распевали, а люди выскакивали из листов и разговаривали с Элизой и ее братьями; но стоило ей захотеть перевернуть лист — они впрыгивали обратно; иначе в картинках вышла бы путаница.

Когда Элиза проснулась, солнышко стояло уже высоко; она даже не могла хорошенько видеть его за густой листвой деревьев, но отдельные лучи его пробирались между ветвями и бегали золотыми зайчиками по траве; от зелени шел чудный запах, а птички чуть не садились Элизе на плечи. Невдалеке слышалось журчание источника; оказалось, что тут бежало несколько больших ручьев, вливавшихся в речку с чудным песчаным дном. Речка была окружена живой изгородью кустов, но в одном месте дикие олени проломали для себя широкий проход, и Элиза могла спуститься к самой воде. Вода в речке была чистая и прозрачная; не шевели ветер ветвей деревьев и кустов, можно было бы подумать, что и деревья и кусты нарисованы на дне — так ясно они отражались в зеркале воды.

Увидав в воде свое лицо, Элиза совсем перепугалась: такое оно было черное и гадкое; но вот она зачерпнула горсть воды, потеряла глаза и лоб, и опять заблестела ее белая нежная кожа. Тогда Элиза разделась совсем и вошла в свежую чистую воду. Такой хорошенькой принцессы поискать было по белу свету!

Одевшись и заплетя свои длинные волосы, она пошла к журчащему источнику, напилась воды прямо из горсточки и пошла дальше по лесу, сама не зная куда. Она думала о своих братьях и надеялась, что Бог не покинет ее; это он ведь повелел расти диким лесным яблокам, чтобы напитать ими голодных; он же указал ей одну из таких яблонь, ветви которой гнулись от тяжести плодов. Утолив голод, Элиза подперла ветви палочками и углубилась в самую чащу леса. Там стояла такая тишина, что Элиза слышала свои собственные шаги, слышала шуршанье каждого

¹ Светлячков.

сухого листка, попадавшего ей под ноги. Ни единой птички не залетало в эту глушь, ни единый солнечный луч не проскальзывал сквозь сплошную чащу ветвей. Высокие стволы стояли плотными рядами, точно бревенчатые стены; никогда еще Элиза не бывала в такой глуши.

Ночью стало еще темнее; во мху не светилось ни единого светлячка. Печально улеглась Элиза на траву, и вдруг ей показалось, что ветви над ней раздвинулись и на нее глянул добрыми очами сам Господь Бог; маленькие ангелочки выглядывали из-за его головы и из-под рук.

Проснувшись утром, она и сама не знала, было ли это во сне или наяву.

Отправившись дальше, Элиза встретила старушку с корзинкой ягод; старушка дала девушке горсточку ягод, а Элиза спросила ее, не проезжали ли тут, по лесу, одиннадцать принцев?

— Нет, сказала старушка, — но вчера я видела здесь на реке одиннадцать лебедей в золотых коронах.

И старушка вывела Элизу к обрыву, под которым протекала река. По обоим берегам росли деревья, простиравшие навстречу друг другу свои длинные, густо покрытые листьями ветви. Те из деревьев, которым в их естественном положении не удавалось сплести своих ветвей с ветвями их братьев на противоположном берегу, так вытягивались над водой, что корни их вылезали из земли, и они-таки добивались своего.

Элиза простилась со старушкой и пошла к устью реки, впадавшей в открытое море.

И вот перед молодой девушкой открылось чудное безбрежное море, но на всем водяном пространстве не виднелось ни одного паруса, не было ни единой лодочки, на которой бы она могла пуститься в дальнейший путь. Элиза посмотрела на бесчисленные валуны, выброшенные на берег морем: вода отшлифовала их так, что они стали совсем гладкими и круглыми. Все остальные выброшенные морем предметы — стекло, железо и камни — тоже носили следы этой шлифовки, а между тем вода была мягче нежных рук Элизы, и девушка подумала: «Волны неустанно катятся одна за другой и, в конце концов, шлифуют самые твердые предметы. Буду же и я трудиться неустанно! Спасибо вам за науку, светлые, быстрые волны! Сердце говорит мне, что когда-нибудь вы отнесете меня к моим милым братьям!»

На выброшенных морем сухих водорослях лежали одиннадцать белых лебединых перьев; Элиза собрала и связала их в пучок; на перьях еще блестели капли росы или слез, кто знает? Пустынно было на берегу, но Элиза не чувствовала этого: море представляло собою вечное разнообразие; в несколько часов тут можно было насмотреться больше, чем в целый год где-нибудь на берегах пресных внутренних озер. Если на небо надвигалась большая черная туча и ветер крепчал, море как будто говорило: «Я тоже могу почернеть!» — начинало бурлить, волноваться и «выворачивать белки». Если же облака были розоватого цвета, а ветер

спал, и море было похоже на лепесток розы; иногда становилось оно зеленым, иногда белым; но, какая бы тишь ни стояла в воздухе и как бы спокойно ни было самое море, у берега постоянно было заметно легкое волнение — вода тихо вздымалась, словно грудь спящего ребенка.

Когда солнце было близко к закату, Элиза увидала вереницу летевших к берегу диких лебедей в золотых коронах; всех лебедей было одиннадцать, и летели они один за другим, вытянувшись длинною белою лентой. Элиза взобралась на верх обрыва и спряталась за кустик. Лебеди спустились недалеко от нее и захлопали своими большими белыми крыльями.

В ту же самую минуту, как солнце скрылось под водой, оперение с лебедей вокруг спало, и на земле очутились одиннадцать красавцев принцев, Элизиных братьев! Элиза громко вскрикнула; она сразу узнала их: несмотря на то что они успели сильно измениться, сердце подсказало ей, что это они! Она бросилась в их объятия, называла их всех по именам, а они-то как обрадовались, увидав и узнав любимую сестрицу, которая так выросла и похорошела. Элиза и ее братья смеялись и плакали, и скоро узнали друг от друга, как дурно поступила с ними мачеха.

— Мы, братья, — сказал самый старший, — летаем в виде диких лебедей весь день — от восхода до самого заката солнечного; когда же солнце заходит, мы опять принимаем человеческий образ. Поэтому ко времени захода солнца мы всегда должны иметь под ногами твердую землю: случись нам превратиться в людей во время нашего полета под облаками, мы тотчас же упали бы с такой страшной высоты. Живем же мы не тут: далеко-далеко за морем лежит такая же чудная страна, как эта, но дорога туда длинна, приходится перелететь через все море, а по пути нет ни единого острова, где бы мы могли провести ночь. Только на самой середине моря торчит небольшой одинокий утес, на котором мы кое-как и можем отдохнуть, тесно прижавшись друг к другу. Если море бушует, брызги воды перелетают даже через наши головы, но мы благодарим Бога и за такое пристанище: не будь его, нам вовсе не удалось бы навестить нашей милой родины — и теперь-то для этого перелета нам приходится выбирать два из самых длинных дней в году. Лишь раз в год позволено нам прилетать на родину; мы можем оставаться здесь одиннадцать дней и летать над этим большим лесом, откуда нам видно дворец, где мы родились и где живет наш отец, и колокольню церкви, где покоится наша мать. Тут даже кусты и деревья кажутся нам родными; тут по равнинам по-прежнему бегают дикие лошади, которых мы видели в дни нашего детства, а угольщики по-прежнему поют те песни, под которые мы плясали детьми. Тут наша родина, сюда тянет нас всем сердцем, и здесь-то мы нашли тебя, милая, дорогая сестричка! Два дня еще можем мы пробыть здесь, а затем должны улететь за море в чудную, но не родную нам страну! Как же нам взять тебя с собою? У нас нет ни корабля, ни лодки!

— Как бы мне освободить вас от чар? — спросила братьев сестра. Так они проговорили почти всю ночь и задремали только на несколько часов.

Элиза проснулась от шума лебединых крыльев. Братья опять стали птицами и летали в воздухе большими кругами, а потом и совсем скрылись из виду. С Элизой остался только самый младший из братьев; лебедь положил свою голову ей на колени, а она гладила и перебирала его перышки. Целый день провели они вдвоем, к вечеру же прилетели и остальные, и, когда солнце село, все вновь приняли человеческий образ.

— Завтра мы должны улететь отсюда и не смеем вернуться раньше будущего года, но тебя мы не покинем здесь! Хватит ли у тебя мужества улететь с нами? Моя рука довольно сильна, чтобы пронести тебя через лес — неужели же все наши крылья не смогут перенести тебя через море?

— Да, возьмите меня с собой! — сказала Элиза.

Всю ночь провели они за плетеньем сетки из гибкой ивовой коры и тростника; сетка вышла большая и прочная; в нее положили Элизу; превратившись на восходе солнца в лебедей, братья схватили сетку клювами и взвились с милой, спавшей еще сладким сном сестрицей к облакам. Лучи солнца светили ей прямо в лицо, поэтому один из лебедей полетел над ее головой, защищая ее от солнца своими широкими крыльями.

Они были уже далеко от земли, когда Элиза проснулась, и ей показалось, что она видит сон наяву — так странно было ей лететь по воздуху. Возле нее лежала ветка с чудесными спелыми ягодами и пучок вкусных кореньев; их набрал и положил к ней самый младший из братьев, и она благодарно улыбнулась ему: она догадалась, что это он летел над нею и защищал ее от солнца своими крыльями.

Высоко-высоко летели они, так что первый корабль, который они увидели в море, показался им плавающим по воде чайкой. В небе позади них стояло большое облако — настоящая гора! — и на нем Элиза увидала движущиеся исполинские тени одиннадцати лебедей и свою собственную. Вот была картина, каких ей еще не приходилось видеть! Но по мере того как солнце поднималось выше и облако оставалось все дальше и дальше позади, воздушные теневые картины мало-помалу исчезли.

Целый день летели лебеди, как пущенная из лука стрела, но все-таки медленнее обыкновенного: теперь ведь они несли сестру. День стал клониться к вечеру, поднялась непогода; Элиза со страхом следила за тем, как опускалось солнце — одинокого морского утеса все еще не было видно. Вот ей показалось, что лебеди как-то усиленно машут крыльями. Ах, это она была виной того, что они не могли лететь быстрее! Зайдет солнце, они станут людьми, упадут в море и утонут! И она от всего

сердца стала молиться Богу, но утес все не показывался. Черная туча приближалась, сильные порывы ветра предвещали бурю, облака собрались в сплошную грозную свинцовую волну, катившуюся по небу; молния сверкала за молнией.

Одним своим краем солнце почти уже касалось воды; сердце Элизы затрепетало; лебеди вдруг полетели вниз с неимоверною быстротой, и девушка подумала уже, что все они падают; но нет, они опять продолжали лететь. Солнце наполовину скрылось под водой, и тогда только Элиза увидела под собой утес величиною не больше тюленя, высунувшего из воды голову. Солнце быстро угасало; теперь оно казалось только небольшою блестящею звездочкой; но вот лебеди ступили ногой на твердую почву, и солнце погасло, как последняя искра догоревшей бумаги. Элиза увидела вокруг себя братьев, стоявших рука об руку; все они едва умещались на крошечном утесе; море бешено билось об него и окатывало их целым дождем брызг; небо пылало от молний, и ежеминутно грохотал гром, но сестра и братья держались за руки и пели псалом, вливавший в их сердца утешение и мужество.

На заре буря улеглась, в воздухе опять стало ясно и тихо; с восходом солнца лебеди с Элизой полетели дальше. Море еще волновалось, и они видели с высоты, как плыла по темно-зеленой воде, точно миллионы лебедей, белая пена.

Когда солнце поднялось выше, Элиза увидела перед собой как бы плавающую в воздухе гористую страну с массами блестящего льда на скалах; между скалами возвышался необозримый замок, обвитый какими-то смелыми воздушными галереями из колонн; внизу под ним качались пальмовые леса и роскошные цветы величиною с мельничные колеса. Элиза спросила, не это ли та страна, куда они летят, но лебеди покачали головами: она видела перед собой чудный, вечно изменяющийся облачный замок Фаты-Морганы¹; туда они не смели принести ни единой человеческой души. Элиза опять устремила свой взор на замок, и вот горы, леса и замок сдвинулись вместе, и из них образовались двадцать одинаковых величественных церквей с колокольнями и остроконечными окнами. Ей показалось даже, что она слышит звуки органа, но это шумело море. Теперь церкви были совсем близко, но вдруг превратились в целую флотилию кораблей; Элиза вгляделась пристальнее и увидела, что это просто морской туман, подымавшийся над водой. Да, перед глазами у нее были вечно сменяющиеся воздушные образы и картины! Но вот наконец показалась и настоящая земля, куда они летели. Там возвышались чудные горы, кедровые леса, города и замки. Задолго до захода солнца Элиза сидела на скале перед большою пещерой, точно обвешанной вышитыми зелеными коврами: так обросла она нежно-зелеными ползучими растениями.

¹ Фата-Моргана — фея, олицетворяющая собою мираж, марево. — *Примеч. перев.*

— Посмотрим, что приснится тебе тут ночью! — сказал младший из братьев и указал сестре ее спальню.

— Ах, если бы мне приснилось, как освободить вас от чар! — сказала она, и эта мысль так и не выходила у нее из головы.

Элиза стала усердно молиться Богу и продолжала свою молитву даже во сне. И вот ей пригрезилось, что она летит высоко-высоко по воздуху к замку Фаты-Морганы и что фея сама выходит к ней навстречу, такая светлая и прекрасная, но в то же время удивительно похожая на ту старушку, которая дала Элизе в лесу ягод и рассказала о лебедях в золотых коронах.

— Твоих братьев можно спасти, — сказала она, — но хватит ли у тебя мужества и стойкости? Вода мягче твоих нежных рук и все-таки шлифует камни, но она не ощущает боли, которую будут ощущать твои пальцы; у воды нет сердца, которое бы стало изнывать от страха и муки, как твое. Видишь, у меня в руках крапива? Такая крапива растет здесь возле пещеры, и только она, да еще та крапива, что растет на кладбищах, может тебе пригодиться; заметь же ее! Ты нарвешь этой крапивы, хотя руки твои покроются волдырями от ожогов; потом разомнешь ее ногами, ссучишь из полученного волокна длинные нити, затем сплетишь из них одиннадцать рубашек-панцирей с длинными рукавами и набросишь их на лебедей; тогда колдовство исчезнет. Но помни, что с той минуты, как ты начнешь свою работу, и до тех пор, пока не окончишь ее, хотя бы она длилась целые годы, ты не должна говорить ни слова. Первое же слово, которое сорвется у тебя с языка, пронзит сердца твоих братьев как кинжалом. Их жизнь и смерть будут в твоих руках! Помни же все это!

И фея коснулась ее руки жгучею крапивой; Элиза почувствовала боль, как от ожога, и проснулась. Был уже светлый день, и рядом с ней лежал пучок крапивы, точь-в-точь как та, которую она видела сейчас во сне. Тогда она упала на колени, поблагодарила Бога и вышла из пещеры, чтобы сейчас же приняться за работу.

Своими нежными руками рвала она злую, жгучую крапиву, и руки ее покрывались крупными волдырями, но она с радостью переносила боль: только бы удалось ей спасти милых братьев! Потом она размяла крапиву голыми ногами и стала сучить зеленое волокно.

С заходом солнца явились братья и очень испугались, видя, что она стала немой. Они думали, что это новое колдовство их злой мачехи, но, взглянув на ее руки, поняли, что она стала немой ради их спасения. Самый младший из братьев заплакал; слезы его падали ей на руки, и там, где упадет слезинка, исчезали и жгучие волдыри, утихала и боль.

Ночь Элиза провела за своей работой: отдых не шел ей на ум — она думала только о том, как бы поскорее освободить своих милых братьев. Весь следующий день, пока лебеди летали, она оставалась одна-оди-

нешенька, но никогда еще время не летело для нее с такой быстротой. Одна рубашка-панцирь была готова, и девушка принялась за следующую.

Вдруг в горах послышались звуки охотничьих рогов; Элиза испугалась; звуки все приближались, затем раздался лай собак. Девушка скрылась в пещеру, связала всю собранную ею крапиву в пучок и села на него.

В ту же минуту из-за кустов выпрыгнула большая собака, за ней другая и третья; они громко лаяли и бегали взад и вперед. Через несколько минут у пещеры собрались все охотники; самый красивый из них был король той страны; он подошел к Элизе — никогда еще не встречал он такой красавицы!

— Как ты попала сюда, прелестное дитя? — спросил он, но Элиза только покачала головой: она не смела говорить — от ее молчания зависели жизнь и спасение ее братьев. Руки свои Элиза спрятала под передник, чтобы король не увидал, как она страдает.

— Пойдем со мной! — сказал он. — Здесь тебе нельзя оставаться! Если ты так же добра, как хороша, я наряжу тебя в шелк и бархат, надену тебе на голову золотую корону, и ты будешь жить в моем великолепном дворце! И он посадил ее на седло перед собой; Элиза плакала и ломала себе руки, но король сказал: «Я хочу только твоего счастья. Когда-нибудь ты сама поблагодаришь меня!»

И повез ее через горы, а охотники скакали следом.

К вечеру перед ними показалась великолепная столица короля, с церквями и куполами, и король привел Элизу в свой дворец, где в высоких мраморных покоях журчали фонтаны, а стены и потолки были разукрашены живописью. Но Элиза не смотрела ни на что, плакала и тосковала; безучастно отдалась она в распоряжение прислужниц, и те надели на нее королевские одежды, вплели ей в волосы жемчужные нити и натянули на обожженные пальцы тонкие перчатки.

Богатые уборы так шли к ней, она была в них так ослепительно хороша, что весь двор преклонился перед ней еще ниже, а король провозгласил ее своей невестой, хотя архиепископ и покачивал головой, нашептывая королю, что лесная красавица, должно быть, ведьма, что она отвела им всем глаза и околдовала сердце короля.

Король, однако, не стал его слушать, подал знак музыкантам, велел вызвать прелестнейших танцовщиц и подавать на стол дорогие блюда, а сам повел Элизу через благоухающие сады в великолепные покои, она же оставалась по-прежнему грустной и печальной. Но вот король открыл дверцу в маленькую комнатку, находившуюся как раз возле ее спальни. Комнатка вся была увешана зелеными коврами и напоминала лесную пещеру, где нашли Элизу; на полу лежала связка крапивного волокна, а на потолке висела сплетенная Элизой рубашка-панцирь — все это, как диковинку, захватил с собой из леса один из охотников.

— Вот тут ты можешь вспоминать свое прежнее жилище! — сказал король. — Тут и работа твоя; может быть, ты пожелаешь иногда поразвлечься среди всей окружающей тебя пышности воспоминаниями о прошлом!

Увидав дорогую ее сердцу работу, Элиза улыбнулась и покраснела: она подумала о спасении братьев и поцеловала у короля руку, а он прижал ее к сердцу и велел звонить в колокола по случаю своей свадьбы. Немая лесная красавица стала королевой.

Архиепископ продолжал нашептывать королю злые речи, но они не доходили до сердца короля, и свадьба состоялась. Архиепископ сам должен был надеть на невесту корону; с досады он так плотно надвинул ей на лоб узкий золотой обруч, что всякому стало бы больно, но она даже не обратила на это внимания: что значила для нее телесная боль, если сердце ее изнывало от тоски и жалости к милым братьям! Губы ее по-прежнему были сжаты, ни единого слова не вылетало из них — она знала, что от ее молчания зависит жизнь братьев, зато в глазах светилась горячая любовь к доброму, красивому королю, который делал все, чтобы только порадовать ее. С каждым днем она привязывалась к нему все больше и больше. О! Если бы она могла довериться ему, высказать ему свои страдания, но — увы! — она должна была молчать, пока не окончит своей работы. По ночам она тихонько уходила из королевской спальни в свою потаенную комнатку, похожую на пещеру, и плела там одну рубашку-панцирь за другой, но, когда принялась уже за седьмую, у нее вышло все волокно.

Она знала, что может найти такую крапиву на кладбище, но она должна была рвать ее сама; как же быть?

«О, что значит телесная боль в сравнении с печалью, терзающею мое сердце! — думала Элиза. — Я должна решиться! Господь не оставит меня!»

Сердце ее сжималось от страха, точно она шла на дурное дело, когда пробиралась лунною ночью в сад, а оттуда по длинным аллеям и пустынным улицам — на кладбище. На широких могильных плитах сидели отвратительные ведьмы; они сбросили с себя лохмотья, точно собирались купаться, разрывали своими костлявыми пальцами свежие могилы, вытаскивали оттуда тела и пожирали их. Элизе пришлось пройти мимо них, и они так и таращили на нее свои злые глаза, но она сотворила молитву, набрала крапивы и вернулась домой.

Лишь один человек не спал в ту ночь и видел ее — архиепископ; теперь он убедился, что был прав, подозревая королеву; итак, она была ведьмой и потому сумела околдовать короля и весь народ.

Когда король пришел к нему в исповедальню, архиепископ рассказал ему о том, что видел и что подозревал; злые слова так и сыпались у него с языка, а резные изображения святых качали головами, точно хотели

сказать: «Неправда, Элиза невинна!» Но архиепископ перетолковал это по-своему, говоря, что и святые свидетельствуют против нее, неодобрительно качая головами. Две крупные слезы покатались по щекам короля, сомнение и отчаяние овладели его сердцем. Ночью он только притворился, что спит, на самом же деле сон бежал от него. И вот он увидел, что Элиза встала и скрылась из спальни; в следующие ночи повторилось то же самое: он следил за нею и видел, как она исчезала в своей потаенной комнатке.

Чело короля становилось все мрачнее и мрачнее; Элиза замечала это, но не понимала причины; сердце ее ныло от страха и от жалости к братьям; на королевский пурпур катились горькие слезы, блестевшие, как алмазы, а люди, видевшие ее богатые уборы, желали быть на месте королевы! Но скоро-скоро конец ее работе: недоставало всего одной рубашки, и тут у Элизы опять не хватило волокна. Еще раз, последний раз, нужно было сходить на кладбище и нарвать несколько горстей крапивы. Она с ужасом подумала о пустынном кладбище и о страшных ведьмах, но решимость ее спасти братьев была непоколебима, как и вера в Бога.

Элиза отправилась, но король с архиепископом следили за ней и увидали, как она скрылась за кладбищенскою оградой; подойдя поближе, они увидели сидевших на могильных плитах ведьм, и король повернул назад: между этими ведьмами находилась ведь и та, чья голова только что покоилась на его груди!

— Пусть судит ее народ! — сказал он.

И народ присудил — сжечь королеву на костре.

Из великолепных королевских покоев Элизу перевели в мрачное сырое подземелье с железными решетками на окнах, в которые со свистом врывался ветер. Вместо бархата и шелка дали бедняжке связку набранной ею на кладбище крапивы; эта жгучая связка должна была служить Элизе изголовьем, а сплетенные ею жесткие рубашки-панцири — постелью и коврами, но дороже всего этого ей ничего и не могли дать, и она с молитвой на устах вновь принялась за свою работу. С улицы доносились до Элизы оскорбительные песни насмехавшихся над нею уличных мальчишек; ни одна живая душа не обратилась к ней со словом утешения и сочувствия.

Вечером у решетки раздался шум лебединых крыльев — это отыскал сестру самый младший из братьев, и она громко зарыдала от радости, хотя и знала, что ей оставалось жить всего одну ночь, зато работа ее подходила к концу и братья были тут!

Архиепископ пришел провести с нею ее последние часы — так обещал он королю, но она покачала головой и взором и знаками попросила его уйти: в эту ночь ей ведь нужно было кончить свою работу, иначе пропали бы задаром все ее страдания, слезы и бессонные ночи! Архиепископ

ушел, понося ее бранными словами, но бедняжка Элиза знала свою невинность и продолжала работать.

Чтобы хоть немножко помочь ей, мышки, шмыгавшие по полу, стали собирать и приносить к ее ногам разбросанные стебли крапивы, а дрозд, сидевший за решетчатым окном, утешал ее своею веселою песенкой.

На заре, незадолго до восхода солнца, у дворцовых ворот появились одиннадцать братьев Элизы и потребовали, чтобы их пустили к королю. Им отвечали, что этого никак нельзя: король еще спал и никто не смел его беспокоить. Они продолжали просить, потом стали угрожать; явилась стража, а затем и сам король — узнать, в чем дело. Но в эту минуту взошло солнце, и никаких братьев больше не было — над дворцом взвились одиннадцать диких лебедей.

Народ валом повалил за город посмотреть, как будут жечь ведьму. Жалкая кляча везла телегу, в которой сидела Элиза; на нее накинули плащ из грубой мешковины; ее чудные длинные волосы были распущены по плечам, в лице не было ни кровинки, губы тихо шевелились, шепча молитвы, а пальцы плели зеленое волокно. Даже по дороге к месту казни не выпускала она из рук начатой работы; десять рубашек-панцирей лежали у ее ног совсем готовые, одиннадцатую она плела. Чернь глумилась над нею.

— Посмотрите на ведьму! Ишь, бормочет! Небось не молитвенник у нее в руках — нет, все возится со своими колдовскими штуками! Вырвем-ка их у нее, да разорвем в клочки!

И они теснились вокруг нее, собираясь вырвать из ее рук работу, как вдруг прилетели одиннадцать белых лебедей, сели вокруг нее по краям телеги и шумно захлопали своими могучими крыльями. Испуганная чернь отступила.

— Это знамение небесное! Она невинна! — шептали многие, но не смели сказать этого вслух.

Палач схватил Элизу за руку, но она поспешно набросила на лебедей одиннадцать рубашек, и — перед ней стояли одиннадцать красавцев принцев, только у самого младшего не хватало одной руки; вместо нее было лебединое крыло: Элиза не успела закончить последней рубашки, и в ней недоставало одного рукава.

— Теперь я могу говорить! — сказала она. — Я невинна!

И народ, видевший все, что произошло, преклонился перед ней, как перед святой, но она без чувств упала в объятия братьев — так действовали на нее неустанное напряжение сил, страх и боль.

— Да, она невинна! — сказал самый старший брат и рассказал все, как было, и, пока он говорил, в воздухе распространилось благоухание, точно от миллионов роз: это каждое полено в костре пустило корни и ростки, и образовался высокий благоухающий куст, покрытый

красными розами. На самой же верхушке куста блестел, как звезда, ослепительно-белый цветок. Король сорвал его, положил на грудь Элизы, и она пришла в себя, на радость и на счастье!

Все церковные колокола зазвонили сами собой, птицы слетелись целыми стаями, и ко дворцу потянулось такое свадебное шествие, какого не видал еще ни один король!



РАЙСКИЙ САД



ил-был принц; ни у кого не было столько хороших книг, как у него; он мог прочесть в них обо всем на свете, обо всех странах и народах, и все было изображено в них на чудесных картинках. Об одном только не было сказано ни слова — о том, где находится Райский сад, а вот это-то как раз больше всего и интересовало принца.

Когда он был еще ребенком и только что принимался за азбуку, бабушка рассказывала ему, что каждый цветок в Райском саду — сладкое пирожное, а тычинки налиты тончайшим вином; в одних цветах лежит история, в других — география или таблица умножения; стоило съесть такой цветок-пирожное — и урок выучивался сам собой. Чем больше, значит, кто-нибудь ел пирожных, тем больше узнавал из истории, географии и арифметики!

В то время принц еще верил всем таким рассказам, но, по мере того как подрастал, учился и делался умнее, стал понимать, что в Райском саду должны быть какие-нибудь другие прелести.

— Ах, зачем Ева послушалась змия! Зачем Адам вкусил запрещенного плода! Будь на их месте я, никогда бы этого не случилось, никогда бы грех не проник в мир!

Так говорил он не раз и повторял то же самое теперь, когда ему было уже семнадцать лет; Райский сад наполнял все его мысли.

Раз пошел он в лес один-одинешенек — он очень любил гулять один; дело было к вечеру; набежали облака, и полил такой дождь, точно небо было одною сплошною плотиною, которую вдруг прорвало и из которой зараз хлынула вся вода. Настала такая тьма, какая бывает разве только ночью на дне самого глубокого колодца. Принц то скользил по мокрой траве, то спотыкался о голые камни, торчавшие из скалистой почвы; вода лила с него ручьями; на нем не оставалось сухой нитки. То и дело приходилось ему перебираться через огромные каменные глыбы, обросшие мхом, из которого сочилась вода. Он уже готов был упасть от усталости, как вдруг услышал какой-то странный свист и увидел перед собой большую освещенную пещеру. Посреди пещеры был разведен огонь, над которым можно было бы изжарить целого оленя; да так оно и было: на

вертеле, укрепленном между двумя срубленными соснами, жарился чудный олень с большими ветвистыми рогами. У костра сидела пожилая женщина, такая сильная и высокая, словно это был переодетый мужчина, и подбрасывала в огонь одно полено за другим.

— Ну, подходи! — сказала она. — Присядь к огню да обсушись!

— Здесь ужасный сквозняк! — сказал принц, подсев к костру.

— Ужо как вернутся мои сыновья, еще хуже будет! — отвечала женщина. — Ты ведь в пещере ветров; мои четверо сыновей — ветры. Понимаешь?

— А где твои сыновья?

— На глупые вопросы нелегко отвечать! — сказала женщина. — Мои сыновья не на помочах ходят! Играют, верно, в лапту облаками, там, в большой зале!

И она указала пальцем на небо.

— Вот как! — сказал принц. — Вы выражаетесь несколько резко, не так, как женщины из нашего круга, к которым я привык.

— Да тем, верно, и делать-то больше нечего! А мне приходится быть резкой и суровой, если хочу держать в повиновении моих сыновей! Да я таки и держу их в руках, даром что они у меня упрямые головы! Видишь вон те четыре мешка, что висят на стене? Сыновья мои боятся их так же, как ты, бывало, боялся пучка розог, заткнутого за зеркало! Я гну их в три погибели и сажаю в мешок без всяких церемоний! Они и сидят там, пока я не смилуюсь! Но вот один уж пожаловал!

Это был Северный ветер. Он внес с собой в пещеру леденящий холод; поднялась метель, и по земле запрыгал град. Одет он был в медвежьи шаровары и куртку; на уши спускалась шапка из тюленьей шкуры; на бороде висели ледяные сосульки, а с воротника куртки скапывались градины.

— Не подходите сразу к огню! — сказал принц. — Вы отморозите себе лицо и руки!

— Отморожу! — сказал Северный ветер и громко захохотал. — Отморожу! Да лучше мороза по мне нет ничего в свете! А ты что за кислятина? Как ты попал в пещеру ветров?

— Он мой гость! — сказала старуха. — А если тебе этого объяснения мало, можешь отправляться в мешок! Понимаешь?

Угроза подействовала, и Северный ветер рассказал, откуда он явился и где пробыл почти целый месяц.

— Я прямо с Ледовитого океана! — сказал он. — Был на Медвежьем острове, охотился на моржей с русскими промышленниками. Я сидел и спал на руле, когда они отплывали с Нордкапа; просыпаясь время от времени, я видел, как под ногами у меня шныряли буревестники. Презабавная птица! Ударит раз крыльями, а потом распластает их, да так и держится на них в воздухе долго-долго!..

— Нельзя ли покороче! — сказала мать. — Ты был на Медвежьем острове?

— Да. Там чудесно! Вот так пол для пляски! Ровный, гладкий, как тарелка! Повсюду рыхлый снег пополам с мхом, острые камни да остовы моржей и белых медведей, покрытые зеленой плесенью, — ну словно кости великанов! Солнце, право, туда никогда, кажется, и не заглядывало. Я слегка подул и разогнал туман, чтобы рассмотреть какой-то сарай; оказалось, что это было жилье, построенное из корабельных обломков и покрытое моржовыми шкурами, вывернутыми наизнанку; на крыше сидел белый медведь и ворчал. Потом я пошел на берег, видел там птичьи гнезда, а в них голых птенцов; они пищали и разевали рты; я взял да и дунул в эти бесчисленные глотки: небось живо отучились смотреть, разинув рот! У самого моря валялись, будто живые кишки или исполинские черви, со свиными головами и аршинными клыками моржи!

— Славно рассказываешь, сынок! — сказала мать. — Просто слюнки текут, как слушаешь!

— Ну а потом началась ловля! Как всадят гарпун моржу в грудь, так кровь и брызнет фонтаном на лед! Тогда и я задумал себя потешить, завел свою музыку и велел моим кораблям — ледяным горам — сдавить лодки промышленников. У! Вот пошел свист и крик, да меня не пере-свистишь! Пришлось им выбрасывать убитых моржей, ящики и снасти на льдины! А я вытряхнул на них целый ворох снежных хлопьев и погнал их стиснутые льдами суда к югу — пусть похлебают соленькой водицы! Не вернуться им на Медвежий остров!

— Так ты порядком набедокурил! — сказала мать.

— О добрых делах моих пусть расскажут другие! — сказал он. — А вот и брат мой с запада! Его я люблю больше всех: он отдает морем и дышит благодатным холодком.

— Так это маленький зефир? — спросил принц.

— Зефир-то зефир, только не из маленьких! — сказала старуха. — В старину и он был красивым мальчуганом, ну а теперь не то!

Западный ветер смотрел дикарем; на нем была мягкая, толстая, предохраняющая голову от ударов и ушибов шапка, а в руках — палица из красного дерева, срубленного в американских лесах, — вон как!

— Где был? — спросила его мать.

— В девственных лесах, где между деревьями повисли целые изгороди из колючих лиан, а во влажной траве лежат огромные ядовитые змеи, и где, кажется, нет никакой надобности в человеке! — отвечал он.

— Что ж ты там делал?

— Смотрел, как низвергается со скалы большая, глубокая река, как поднимается от нее к облакам водяная пыль, служащая опорой радуге. Смотрел, как переплывал реку дикий буйвол; течение увлекало его с собой, и он плыл вниз по реке вместе со стаей диких уток, но те вспор-

хнули в воздух перед самым водопадом, а буйволу пришлось полететь головой вниз; это мне понравилось, и я сыграл такую бурю, что вековые деревья поплыли по воде и превратились в щепки.

— И это все? — спросила старуха.

— Еще я валялся по саваннам, гладил диких лошадей и рвал кокосовые орехи! О, у меня много о чем найдется порассказать, но не все же говорить, что знаешь. Так-то, старая!

И он так поцеловал мать, что та чуть не опрокинулась навзничь: такой уж он был необузданный парень.

Затем явился Южный ветер в чалме и развевающимся плаще бедуинов.

— Экая у вас тут стужа! — сказал он и подбросил в костер дров. — Видно, что Северный первым успел пожаловать!

— Здесь такая жарница, что можно изжарить белого медведя! — возразил тот.

— Сам-то ты белый медведь! — сказал Южный.

— Что, в мешок захотели? — спросила старуха. — Садись-ка вот тут, на камень, да рассказывай, откуда ты.

— Из Африки, матушка, из земли кафров! — отвечал Южный ветер. — Охотился на львов с готтентотами! Какая трава растет там на равнинах! Чудесного оливкового цвета! Сколько там антилоп и страусов! Антилопы плясали, а страусы бегали со мной наперегонки, да я побыстрее их на ногу! Я доходил и до желтых песков пустыни; она похожа на морское дно. Там настиг я караван. Люди зарезали последнего своего верблюда, чтобы из его желудка добыть воды для питья, да немногим пришлось им поживиться! Солнце пекло их сверху, а песок поджаривал снизу. Конца не было безграничной пустыне! А я принялся валяться по мелкому мягкому песку и крутить его огромными столбами; вот так пляска пошла! Посмотрела бы ты, как столпились в кучу дромадеры, а купцы накинули на головы капюшоны и попадали передо мной ниц, точно перед своим Аллахом. Теперь все они погребены под высокой пирамидой из песка. Если мне когда-нибудь вздумается смести ее прочь, солнце выбелит их кости, и другие путники по крайней мере увидят, что тут бывали люди, а то трудно и поверить этому, глядя на голую, немую пустыню!

— Ты, значит, только и делал одно зло! — сказала мать. — Марш в мешок!

И не успел Южный ветер опомниться, как мать схватила его за пояс и упрятала в мешок; он было принялся кататься в мешке по полу, но она уселась на него, и ему пришлось лежать смирно.

— Бойкие же у тебя сыновья! — сказал принц.

— Ничего себе! — отвечала она. — Да я умею управляться с ними! А вот и четвертый!

Это был Восточный ветер, одетый китайцем.

— А, ты оттуда! — сказала мать. — Я думала, что ты был в Райском саду.

— Туда я полечу только завтра! — сказал Восточный ветер. — Завтра будет ровно сто лет, как я не был там! Теперь же я прямо из Китая, плясал там на фарфоровой башне, так что все колокольчики звенели! Внизу, на улице, наказывали чиновников; бамбуковые трости так и гуляли у них по плечам, а это все были мандарины от первой до девятой степени! Они кричали: «Великое спасибо тебе, отец и благодетель!» — про себя же думали совсем другое. А я в это время звонил в колокольчики и припевал: «Тзинг, тзанг, тзу!»

— Шалун! — сказала старуха. — Я рада, что ты завтра отправляешься в Райский сад — это путешествие всегда приносит тебе большую пользу. Напейся там из источника Мудрости, зачерпни из него полную бутылку водицы и для меня!

— Хорошо! — сказал Восточный ветер. — Но за что ты посадила брата Южного в мешок? Выпусти его! Он мне расскажет про птицу Феникс, о которой все спрашивает принцесса Райского сада. Развяжи мешок, милая, дорогая мамаша, и я подарю тебе целых два кармана зеленого, свежего чая, сорванного прямо на месте!

— Ну, разве за чай, да еще за то, что ты мой любимчик, так и быть, развяжу его!

И она развязала мешок; Южный ветер вылез оттуда с видом мокрой курицы — еще бы! — чужой принц видел, как его наказали.

— Вот тебе для твоей принцессы пальмовый лист! — сказал он Восточному. — Я получил его от старой птицы Феникс; она начертила на нем клювом историю своей столетней земной жизни. Теперь принцесса может прочесть обо всем, что ей хотелось знать. Птица Феникс на моих глазах сама подожгла свое гнездо и была охвачена пламенем, как индусская вдова! Как затрещали сухие ветки, какой пошел от них дым и благоухание! Наконец пламя пожрало все, и старая птица Феникс превратилась в пепел, но снесенное ею яйцо, горевшее в пламени, как жар, вдруг лопнуло с сильным треском, и оттуда вылетел молодой Феникс. Он проклюнул на этом пальмовом листе дырочку — это его поклон принцессе!

— Ну, теперь пора нам подкрепиться немножко! — сказала мать ветров.

Все уселись и принялись за олени. Принц сидел рядом с Восточным ветром, и они скоро стали друзьями.

— Скажи-ка ты мне, — спросил принц у соседа, — что это за принцесса, про которую вы столько говорили, и где находится Райский сад?

— Ого! — сказал Восточный ветер. — Коли хочешь побывать там, полетим завтра вместе! Но я должен тебе сказать, что со времен Адама и Евы там не бывало ни единой человеческой души! А что было с ними ты, наверное, уж знаешь?

— Знаю! — сказал принц.

— После того как они были изгнаны, — продолжал Восточный, — Райский сад ушел в землю, но в нем царит прежнее великолепие, по-прежнему светит солнце, и в воздухе разлиты необыкновенные свежесть и аромат! Теперь в нем обитает королева фей. Там же находится прекрасный остров Блаженства, куда никогда не заглядывает смерть! Сядешь мне завтра на спину, я и снесу тебя туда. Я думаю, что это удастся. А теперь не болтай больше — я хочу спать!

И все заснули.

На заре принц проснулся, и ему сразу стало жутко: оказалось, что он уже летит высоко-высоко под облаками! Он сидел на спине у Восточного ветра, и тот добросовестно держал его, но принцу все-таки было боязно: они неслись так высоко над землею, что леса, поля, реки и моря смотрелись будто нарисованные на огромной раскрашенной карте.

— Здравствуй! — сказал принцу Восточный ветер. — Ты мог бы еще поспать, посмотреть-то пока не на что! Разве церкви вздумашь считать! Видишь, сколько их? Стоят, точно меловые точки на зеленой доске!

Зеленою доской он называл поля и луга.

— Как это вышло невежливо, что я не простился с твоею матерью и твоими братьями! — сказал принц.

— Сонному приходится извинить! — сказал Восточный ветер, и они полетели еще быстрее; это было заметно по тому, как шумели под ними верхушки лесных деревьев, как вздымались морские волны и как глубоко ныряли в них грудью, точно плавающие лебеди, корабли.

Под вечер, когда стемнело, было очень забавно смотреть на большие города, в которых то там, то сям вспыхивали огоньки, — так перебегают по зажженной бумаге, словно бегущие домой шаловливые школьники, мелкие искорки. И принц, глядя на это зрелище, захлопал в ладоши, но Восточный ветер попросил его вести себя потише да держаться покрепче: немудрено ведь было и свалиться да повиснуть на каком-нибудь башенном шпиге.

Быстро и легко неся на своих могучих крыльях дикий орел, но Восточный ветер неся еще легче, еще быстрее; по равнине вихрем мчался казак на своей маленькой лошадке, да куда ему было угнаться за принцем!

— Ну вот тебе и Гималаи! — сказал Восточный ветер. — Это высочайшая горная цепь в Азии; скоро мы доберемся и до Райского сада!

Они свернули к югу, и вот в воздухе разлились сильный пряный аромат и благоухание цветов. Финики, гранаты и виноград с синими и красными ягодами росли здесь в диком состоянии. Восточный ветер спустился с принцем на землю, и оба улеглись отдохнуть в мягкую траву, где росла масса цветов, кивавших им головками, как бы говоря: «Милости просим!»

— Мы уже в Райском саду? — спросил принц.

— Какое! — отвечал Восточный ветер. — Но скоро попадем и туда! Видишь эту отвесную, как стена, скалу и в ней большую пещеру, над входом которой свесились, будто зеленые портьеры, виноградные лозы? Мы должны пройти через эту пещеру! Завернись хорошенько в плащ: тут палит солнце, но один шаг — и нас охватит мороз. У птицы, пролетающей мимо пещеры, одно крыло чувствует летнее тепло, а другое — зимний холод!

— Так вот она, дорога в Райский сад! — сказал принц.

И они вошли в пещеру. Брр... как им стало холодно! Но, к счастью, ненадолго.

Восточный ветер распростер свои крылья, и от них разлился свет, точно от яркого пламени. Нет, что это была за пещера! Над головами путников нависали огромные, имевшие самые причудливые формы каменные глыбы, с которых капала вода. Порой проход так суживался, что им приходилось пробираться ползком, иногда же своды пещеры опять поднимались на недостижимую высоту, и путники шли, точно на вольном просторе под открытым небом. Пещера казалась какою-то гигантскою усыпальницей с немymi органными трубами и знаменами, выточенными из камня.

— Мы идем в Райский сад дорогой смерти! — сказал принц, но Восточный ветер не ответил ни слова, указывая перед собой рукою: навстречу им струился чудный голубой свет; каменные глыбы мало-помалу стали редеть, таять и превращаться в какой-то туман. Туман становился все более и более прозрачным, пока, наконец, не стал походить на мягкое, белое облачко, сквозь которое просвечивает месяц. Тут они вышли на вольный воздух — чудный, мягкий воздух, свежий, как на горной вершине, и благоуханный, как в долине роз.

Тут же струилась река; вода в ней спорила прозрачностью с самим воздухом; рыбки отливали серебром и золотом; пурпурно-красные угри сверкали при каждом движении голубоватыми искрами; огромные листья кувшинок пестрели всеми цветами радуги, а чашечки их горели желто-красным пламенем, поддерживаемым чистою водой, как пламя лампы поддерживается маслом. Через реку был переброшен мраморный мост, такой тонкой и искусной работы, что, казалось, был сделан из кружев и бус; мост вел на остров Блаженства, на котором находился сам Райский сад.

Восточный ветер взял принца на руки и перенес его через мост. Цветы и листья пели чудесные песни, которые принц слышал еще в детстве, но теперь они звучали такую дивную полную музыкой, какой не может передать никакой человеческий голос.

А это что? Пальмы или гигантские папоротники? Таких сочных могучих деревьев принц никогда еще ни видывал. Удивительнейшие ползучие растения обвивали их, спускались вниз, переплетались и образовывали самые причудливые, отливавшие по краям золотом и яркими красками гирлянды; такие гирлянды можно встретить разве только в заставках и начальных буквах старинных святцев: тут были и яркие цветы, и птицы, и самые

затейливые завитушки. В траве сидела, блестя распущенными хвостами, целая стая павлинов. Да павлинов ли? Конечно, павлинов! То-то что нет: принц потрогал их, и оказалось, что это вовсе не птицы, а растения, огромные кусты репейника, блестящего самыми яркими красками! Между зелеными благоухающими кустами прыгали, точно гибкие кошки, львы и тигры; кусты пахли оливками, а звери были совсем ручные; дикая лесная голубка с жемчужным отливом на перьях хлопала льва крылышками по гриве, а антилопа, вообще такая робкая и пугливая, стояла возле них и кивала головой, словно давая знать, что и она не прочь поиграть с ними.

Но вот появилась сама фея — одежды ее сверкали, как солнце, а лицо сияло такою лаской и приветливою улыбкой, как лицо матери, радующейся на своего ребенка. Она была молода и чудо как хороша собой; ее окружали красавицы девушки с блестящими звездами в волосах.

Восточный ветер подал ей послание птицы Феникс, и глаза феи заблистали от радости. Она взяла принца за руку и повела его в свой замок; стены замка были похожи на лепестки тюльпана, если их держать против солнца, а потолок был блестящим цветком, опрокинутым вниз чашечкой, углублявшейся тем больше, чем дальше в нее всматривались. Принц подошел к одному из окон, поглядел в стекло, и ему показалось, что он видит дерево познания добра и зла; в ветвях его пряталась змея, а возле стояли Адам и Ева.

— Разве они не изгнаны? — спросил принц.

Фея улыбнулась и объяснила ему, что на каждом стекле время начертало неизгладимую картину, озаренную жизнью: листья дерева шевелились, а люди двигались, как бывает с отражениями в зеркале! Принц подошел к другому окну и увидел на стекле сон Иакова: с неба спускалась лестница, а по ней сходили и восходили ангелы с большими крыльями за плечами. Да, все, что было или совершилось когда-то на свете, по-прежнему жило и двигалось на оконных стеклах замка; такие чудесные картины могло начертать своим волшебным резцом лишь время.

Фея все улыбалась и ввела принца в огромный высокий покой со стенами вроде прозрачных прорезных картин, из них повсюду выглядывали головки одна прелестнее другой. Это были сонмы блаженных духов; они улыбались и пели; голоса их сливались в одну дивную гармонию; самые верхние из них были меньше бутонов розы, если их нарисовать на бумаге в виде крошечных точек. Посреди этого покоя стояло дерево, покрытое зеленью, в которой сверкали большие и маленькие золотистые, как апельсины, яблоки. То было дерево познания добра и зла, плодов которого вкусили когда-то Адам и Ева. С каждого листика капала блестящая красная роса — дерево точно плакало кровавыми слезами.

— Сядем теперь в лодку! — сказала фея. — Нас ждет там такое угощение, что чудо! Представь, лодка только покачивается на волнах, но не двигается, а все страны света сами проходят мимо!

И в самом деле, это было поразительное зрелище: лодка стояла, а берега двигались! Вот показались высокие снежные Альпы, с облаками и темными сосновыми лесами на вершинах: протяжно-жалобно прозвучал рог и раздалась звучная песня горного пастуха. Вот над лодкой свесились длинные гибкие ветви бананов; вот поплыли стаи черных как смоль лебедей; показались удивительнейшие животные и цветы, а вдали встали голубые горы; это была Новая Голландия, пятая часть света. Вот послышалось пение жрецов, и под звуки барабанов и костяных флейт закружились в бешеной пляске толпы дикарей. Вот проплыли мимо вздымавшиеся к облакам египетские пирамиды, низверженные колонны и сфинксы, наполовину погребенные в песке; вот осветились северным сиянием потухшие вулканы севера. Да, кто бы мог пустить подобный фейерверк? Принц был вне себя от восторга — еще бы! Он-то видел ведь в сто раз больше, чем мы тут рассказываем.

— И я могу здесь остаться навсегда? — спросил он.

— Это зависит от тебя самого! — отвечала фея. — Если ты не станешь добиваться запрещенного, как твой прародитель Адам, то можешь остаться здесь навеки!

— Я не дотронусь до плодов познания дерева добра и зла! — сказал принц. — Тут ведь тысячи других прекрасных плодов!

— Испытай себя и, если борьба покажется тебе слишком тяжелой, улетай обратно с Восточным ветром, который вернется сюда опять через сто лет! Сто лет пролетят для тебя, как сто часов, но и это довольно долгий срок, если дело идет о борьбе с греховным соблазном. Каждый вечер, расставаясь с тобой, буду я звать тебя: «Ко мне, ко мне!» Стану манить тебя рукой, но ты не трогайся с места, не иди на мой зов: с каждым шагом тоска желания будет в тебе усиливаться и, наконец, увлечет тебя в тот покой, где дерево познания добра и зла. Я буду спать под его благоухающими пышными ветвями, и ты наклонишься, чтобы рассмотреть меня поближе; я улыбнусь тебе, и ты поцелуешь меня... Тогда Райский сад уйдет в землю еще глубже и будет для тебя потерян. Резкий ветер будет пронизывать тебя до костей, холодный дождь мочить твою голову; горе и бедствия будут твоим уделом!

— Я остаюсь! — сказал принц.

Восточный ветер поцеловал принца в лоб и сказал:

— Будь тверд, и мы свидимся опять через сто лет! Прощай, прощай!

И Восточный ветер взмахнул своими большими крылами, блеснувшими как зарница во тьме осенней ночи или северное сияние во мраке полярной зимы.

— Прощай! Прощай! — запели все цветы и растения. Стаи аистов и пеликанов полетели, точно развевающиеся ленты, проводить Восточного ветра до границ сада.

— Теперь начнутся танцы! — сказала фея. — Но на закате солнца, танцуя с тобой, я начну манить тебя рукой и звать: «Ко мне! Ко мне!» Не слушай же меня! В продолжение ста лет каждый вечер будет повторяться то же самое, но ты с каждым днем будешь становиться все сильнее и сильнее и под конец перестанешь даже обращать на мой зов внимание. Сегодня вечером тебе предстоит выдержать первое испытание! Теперь ты предупрежден!

И фея повела его в обширный покой из белых прозрачных лилий с маленькими, игравшими сами собою золотыми арфами вместо тычинок. Прелестные стройные девушки понеслись в воздушной пляске и запели о радостях и блаженстве бессмертной жизни в вечно цветущем Райском саду.

Но вот солнце село, небо засияло, как расплавленное золото, и лилии окрасились в цвет чудеснейших роз. Принц выпил пенистого вина, поднесенного ему девушками, и почувствовал прилив несказанного блаженства. Вдруг задняя стена покоя раскрылась, и принц увидел дерево познания добра и зла, окруженное ослепительным сиянием; из-за дерева неслась тихая, ласкающая слух песня; ему почудился в ней голос его матери, певшей: «Дитя мое! Мое милое, дорогое дитя!»

И фея стала манить его рукой и звать нежным голосом: «Ко мне, ко мне!» Он двинулся за нею, забыв свое обещание в первый же вечер! А она все манила его и улыбалась... Пряный аромат, разлитый в воздухе, становился все сильнее; арфы звучали все слаще; казалось, что это пели хором сами блаженные духи: «Все нужно знать! Все надо изведать! Человек — царь природы!» С дерева уже не капала больше кровь, а сыпались красные блестящие звездочки. «Ко мне! Ко мне!» — звучала воздушная мелодия, и с каждым шагом щеки принца разгорались, а кровь волновалась все сильнее и сильнее.

— Я должен идти! — говорил он. — В этом ведь нет и не может еще быть греха! Зачем убегать от красоты и наслаждения? Я только полюбуюсь, посмотрю на нее спящую! Я ведь не поцелую ее! Я достаточно тверд и сумею совладать с собой!

Сверкающий плащ упал с плеч феи; она раздвинула ветви дерева и в одно мгновение скрылась за ним.

— Я еще не нарушил обещания! — сказал принц. — И не хочу его нарушать!

С этими словами он раздвинул ветви... Фея спала такая прелестная, какою может быть только фея Райского сада. Улыбка играла на ее устах, но на длинных ресницах дрожали слезинки.

— Ты плачешь из-за меня? — прошептал он. — Не плачь, очаровательная! Теперь только я понял райское блаженство; оно течет огнем в моей крови, воспламеняет мысли, я чувствую неземную силу и мощь во всем своем существе!.. Пусть же настанет для меня потом вечная ночь — одна такая минута дороже всего в мире!

И он поцеловал слезы, дрожавшие на ее ресницах, уста его прикоснулись к ее устам.

Раздался страшный удар грома, какого не слышал еще никогда никто, и все смешалось в глазах принца: фея исчезла, цветущий Райский сад ушел глубоко в землю. Принц видел, как он исчезал во тьме непроглядной ночи, и вот от него осталась только маленькая сверкающая звездочка. Смертный холод сковал его члены, глаза закрылись, и он упал как мертвый.

Холодный дождь мочил ему лицо, острый ветер леденил голову, и он очнулся.

— Что я сделал! — вздохнул он. — Я нарушил свой обет, как Адам, и вот Райский сад ушел глубоко в землю!

Он открыл глаза; вдали еще сверкала звездочка — последний след исчезнувшего рая — это сияла на небе утренняя звезда.

Принц встал; он был опять в том же лесу, у пещеры ветров; возле него сидела мать ветров. Она сердито посмотрела на него и грозно подняла руку.

— В первый же вечер! — сказала она. — Так я и думала! Да будь ты моим сыном, сидел бы ты теперь в мешке!

— Он еще попадет туда! — сказала смерть, крепкий старик с косой в руке и большими черными крыльями за спиной. — И он уляжется в гроб, хоть и не сейчас. Я лишь отмечу его и дам ему время постранствовать по белу свету и искупить свой грех добрыми делами! Потом я приду за ним в тот час, когда он меньше всего будет ожидать меня, упрячу его в черный гроб, поставлю себе на голову и отнесу его вон на ту звезду, где тоже цветет Райский сад; если он окажется добрым и благочестивым, он вступит туда, если же его мысли и сердце будут по-прежнему полны греха, гроб опустится с ним еще глубже, чем опустился Райский сад. Но каждую тысячу лет буду я опять приходить за ним, для того чтобы он мог или погрузиться еще глубже или остаться навеки на сияющей небесной звезде!



СУНДУК-САМОЛЕТ

Жил-был купец, такой богач, что мог вымостить серебряными деньгами целую улицу, да еще переулок в придачу; этого, однако, он не делал: он знал, куда девать деньги, и уж если расходовал скиллинг, то наживал целый далер¹. Так вот какой был купец! Но вот он умер, и все денежки достались его сыну.

Весело зажил сын купца: каждую ночь — в маскараде, пускал змеев из кредитных бумажек, а круги по воде — вместо камешков — червонцами. Не мудрено, что денежки прошли у него между пальцев, и под конец из всего наследства осталось только четыре скиллинга, а из платья — старый халат да пара туфель. Друзья и знать его больше не хотели — им даже неловко было теперь показаться с ним на улице. Но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук с советом: укладываться! Отлично, но вот горе — нечего ему было укладывать. Он взял, да и уселся в сундук сам!

А сундук-то был не простой. Стоило нажать замок — и сундук взвился в воздух. Купеческий сын так и сделал. Фьють! Сундук вылетел с ним в трубу и понесся высоко-высоко, под самыми облаками, — только дно потрескивало! Купеческий сын поэтому крепко побаивался, что вот-вот сундук разлетится вдребезги; славный прыжок пришлось бы тогда совершить ему! Боже упаси! Но вот он прилетел в Турцию, зарыл свой сундук в лесу в кучу сухих листьев, а сам отправился в город: тут ему нечего было стесняться своего наряда, ведь в Турции все ходят в халатах и туфлях. На улице встретила его кормилица с ребенком, и он сказал ей:

— Послушай-ка, турецкая мамка! Что это за большой дворец тут, у самого города, еще окна так высоко от земли?

— Тут живет принцесса! — сказала кормилица. — Ей предсказано, что она будет несчастной по милости своего жениха; вот к ней и не смеет являться никто иначе как в присутствии самих короля с королевой.

— Спасибо! — сказал купеческий сын, пошел обратно в лес, уселся в свой сундук, прилетел прямо на крышу дворца и влез к принцессе в окно.

¹ Далер — серебряная датская монета, равная 96 скиллингам; вышла из употребления, как и скиллинг. — *Примеч. перев.*

Принцесса спала на диване и была так хороша собою, что он не мог не поцеловать ее. Она проснулась и очень испугалась, но купеческий сын сказал, что он — турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху, и ей это очень понравилось.

Они уселись рядышком, и он стал рассказывать ей сказки об ее глазах: это были два чудных темных озера, в которых плавали русалочки-мысли; о ее белом лбе: это была снежная гора, скрывавшая в себе чудные покои и картины; наконец, об аистах, которые приносят людям крошечных, миленьких деток.

Да, чудесные были сказки! А потом он посватался за принцессу, и она согласилась.

— Но вы должны прийти сюда в субботу! — сказала она ему. — Ко мне придут на чашку чая король с королевой! Они будут очень польщены тем, что я выхожу замуж за турецкого бога, но вы уж постарайтесь рассказать им сказку получше: мои родители очень любят сказки. Но мамаша любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное, а папаша — веселое, чтобы можно было посмеяться.

— Я и не принесу никакого свадебного подарка, кроме сказки! — сказал купеческий сын.

С тем они и расстались, зато принцесса подарила ему на прощание саблю, всю выложенную червонцами, а их-то ему и недоставало.

Сейчас же полетел он, купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку; надо ведь сочинить ее к субботе, а это не так-то просто, как кажется.

Но вот сказка была готова, и настала суббота.

Король, королева и весь двор собрались к принцессе на чашку чая. Купеческого сына приняли как нельзя лучше.

— Ну-ка, расскажите нам сказку! — сказала королева. — Только что-нибудь серьезное, поучительное.

— Но чтобы и посмеяться можно было! — прибавил король.

— Хорошо! — отвечал купеческий сын и стал рассказывать.

Слушайте же хорошенько!

«Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением: глава их семьи, то есть сосна, была одним из самых крупных и старейших деревьев в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали соседям о своем детстве.

— Да, хорошо нам жилось, когда мы были еще зелеными веточками! — говорили они. — Каждое утро и каждый вечер у нас был бриллиантовый чай-роса, день-деньской светило на нас, в ясные дни, солнышко, а птички должны были рассказывать нам сказки! Мы отлично понимали, что принадлежим к богатой семье: лиственные деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств и на зимнюю, и на летнюю

одежду. Но вот явились раз дровосеки, и началась великая революция! Погибла и вся наша семья! Глава семьи — ствол — получил после того место грот-мачты на великолепном корабле, который мог бы объехать вокруг всего света, если б только захотел; ветви же разбрелись кто куда, а нам выпало на долю служить свечками для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие важные господа, как мы!

— Ну, со мной не то было! — сказал котелок, рядом с которым лежали спички. — С самого моего появления на свет меня беспрестанно чистят, скребут и ставят на огонь. Я забочусь вообще о существенном и, говоря по правде, занимаю в доме первое место. Единственное мое баловство — это лежать после обеда чистеньким на полке и вести приятную беседу с товарищами. Все мы вообще большие домоседы, если не считать ведра, которое бывает иногда во дворе; новости же нам приносит корзинка для провизии: она часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур резкий язык. Послушать только, как она рассуждает о правительстве и о народе! На днях, слушая ее, свалился от страха с полки и разбился в черепки старый горшок! Да, немножко легкомысленна она, скажу я вам!

— Уж больно ты разболтался! — сказала вдруг огниво, и сталь так ударила по кремню, что посыпались искры. — Не устроить ли нам лучше вечеринку?

— Да, побеседуем о том, кто из нас всех важнее! — сказали спички.

— Нет, я не люблю говорить о самой себе, — сказала глиняная миска. — Будем просто вести беседу! Я начну и расскажу кое-что из жизни, что будет знакомо и понятно всем и каждому, а это ведь приятнее всего. Так вот: на берегу родного моря, под тенью буковых деревьев...

— Чудесное начало! — сказали тарелки. — Вот это будет история, как раз по нашему вкусу!

— Там, в одной мирной семье, провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые две недели.

— Как вы интересно рассказываете! — сказала половая щетка. — В вашем рассказе так и слышна женщина — чувствуется особая чистоплотность!

— Да, да! — сказала ведро и от удовольствия даже подпрыгнуло, плеснув на пол воду.

Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не хуже начала.

Тарелки загремели от восторга, а половая щетка достала из ящика с песком зелень петрушки и увенчала ею миску; она знала, что это раздосадует всех остальных, да к тому же подумала: «Если я увенчаю ее сегодня, она увенчает меня завтра!»

— Теперь мы попляшем! — сказали угольные щипцы и пустились в пляс. Эх ты ну! Как они вскидывали то одну, то другую ногу! Старая

обивка на стуле, что стоял в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула!

— А нас увенчают? — спросили щипцы, и их тоже увенчали.

«Все это одна чернь!» — думали спички.

Теперь была очередь за самоваром — он должен был спеть. Но самовар отговорился тем, что может петь лишь тогда, когда внутри него кипит: он просто важничал и не хотел петь иначе, как стоя на столе у господ.

На окне лежало старое гусиное перо, которым обыкновенно писала служанка; в нем не было ничего замечательного, кроме разве того, что оно слишком глубоко было обмакнуто в чернильницу, но именно этим оно и гордилось!

— Что ж, если самовар не хочет петь, так и не надо! — сказала оно. — За окном сидит в клетке соловей — пусть он споет! Положим, он не из ученых, но об этом мы сегодня говорить не будем.

— По-моему, в высшей степени неприлично слушать какую-то пришлою птицу! — сказал большой медный чайник, кухонный певец и сводный брат самовара. — Разве это патриотично? Пусть посудит корзинка для провизии!

— Я просто из себя выхожу! — сказала корзинка. — Вы не поверите, до чего я выхожу из себя! Разве так следует проводить вечера? Неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? Каждый бы тогда знал свое место, и я руководила бы всем! Тогда дело пошло бы совсем иначе!

— Давайте же шуметь! — закричали все.

Вдруг дверь отворилась, вошла служанка и — все присмирели, никто ни гу-гу, но не было ни единого горшка, который бы не мечтал про себя о своей знатности и о том, что он мог бы сделать. «Уж если бы взялся за дело я, пошло бы веселье!» — думал про себя каждый.

Служанка взяла спички и зажгла ими свечку. Боже ты мой, как они зафыркали и загорелись! «Вот теперь все видят, что мы здесь первые персоны! — думали они. — Какой от нас блеск, свет!»

Тут они и сгорели».

— Чудесная сказка! — сказала королева. — Я точно сама посидела в кухне вместе со спичками! Да, ты достоин руки нашей дочери.

— Конечно! — сказал король. — Свадьба будет в понедельник!

Теперь они уже говорили ему «ты», ведь скоро он должен был сделаться членом их семьи.

Итак, день свадьбы был объявлен, и вечером в городе зажгли иллюминацию, а в народ бросали пышки и крендели. Уличные мальчишки поднимались на дыпочки, чтобы поймать их, кричали «ура» и свистели в пальцы; великолепие было несказанное.

«Надо же и мне устроить что-нибудь!» — подумал купеческий сын, накопил ракет, хлопушек и, положив все это в свой сундук, взвился на воздух.

Пиф, паф! Шш-пшш! Вот так трескотня пошла, вот так шипенье!

Турки подпрыгивали так, что туфли летели им через головы; никогда еще не видывали они такого фейерверка. Теперь-то все поняли, что на принцессе женится сам турецкий бог.

Вернувшись в лес, купеческий сын подумал: «Надо пойти в город послушать, что там говорят обо мне!» И немудрено, что ему захотелось узнать это.

Ну и рассказов же ходило по городу! К кому он ни обращался, всякий, оказывалось, видел и рассказывал о виденном по-своему, но все в один голос говорили, что это было дивное зрелище.

— Я видел самого турецкого бога! — говорил один. — Глаза у него, что твои звезды, а борода, что пена морская!

— Он летел в огненном плаще! — рассказывал другой. — А из складок выглядывали прелестнейшие ангелочки.

Да, много чудес рассказали ему, а на другой день должна была состояться свадьба.

Пошел он назад в лес, чтобы опять сесть в свой сундук, да куда же он девался? Сгорел! Купеческий сын заронил в него искру от фейерверка: сундук тлел, тлел да и вспыхнул; теперь от него оставалась одна зола. Не на чем было купеческому сыну опять прилететь к своей невесте.

А она весь день стояла на крыше, дожидаясь его, да ждет и до сих пор! Он же ходит по белу свету и рассказывает сказки, только уж не такие веселые, как была его первая сказка о серных спичках!



АИСТЫ

На крыше самого крайнего домика, в одном маленьком городке, приютилось гнездо аиста. В нем сидела мамаша с четырьмя птенцами, которые высовывали из гнезда свои маленькие черные клювы — они у них еще не успели покраснеть. Неподалеку от гнезда, на самом коньке крыши, стоял, вытянувшись в струнку и поджав под себя одну ногу, сам папаша; ногу он поджимал, чтобы не стоять на часах без дела. Можно было подумать, что он вырезан из дерева — до того он был неподвижен.

«Вот важно так важно! — думал он. — У гнезда моей жены стоит часовой! Кто же знает, что я ее муж? Могут подумать, что я наряжен сюда на караул. То-то важно!» И он продолжал стоять на одной ноге.

На улице играла толпа ребятишек; увидав аиста, самый храбрый из мальчуганов затынул, как умел и помнил, старинную песенку об аистах; за ним подхватили все остальные:

Аист, аист белый,
Что стоишь день целый,
Словно часовой,
На ноге одной?
Или деток хочешь
Уберечь своих?
Попусту хлопчешь,
Мы изловим их!
Одного повесим,
В пруд швырнем другого,
Третьего заколем,
Младшего ж живого
На костер мы бросим
И тебя не спросим!

— Послушай-ка, что поют мальчишки! — сказали птенцы. — Они говорят, что нас повесят и утопят!

— Не нужно обращать на них внимания! — сказала им мать. — Только не слушайте, ничего и не будет!

Но мальчуганы не унимались, пели и дразнили аистов. Только один из мальчиков, по имени Петер, не захотел пристать к товарищам, говоря, что грешно дразнить животных. А мать утешала птенцов.

— Не обращайтесь внимания! — говорила она. — Смотрите, как спокойно стоит ваш отец, и это на одной-то ноге!

— А нам страшно! — сказали птенцы и глубоко-глубоко запрятали головки в гнездо.

На другой день ребяташки опять высыпали на улицу, увидели аистов и опять запели:

Одного повесим,
В пруд швырнем другого...

— Так нас повесят и утопят? — опять спросили птенцы.

— Да нет же, нет! — отвечала мать. — А вот скоро мы начнем ученье! Вам нужно выучиться летать! Когда же выучитесь, мы отправимся с вами на луг в гости к лягушкам. Они будут приседать перед нами в воде и петь: «Ква-ква-ква!» А мы съедем их — вот будет веселье!

— А потом? — спросили птенцы.

— Потом все мы, аисты, соберемся на осенние маневры. Вот уж тогда надо уметь летать как следует! Это очень важно! Того, кто будет летать плохо, генерал проколет своим острым клювом! Так вот, старайтесь изо всех сил, когда ученье начнется!

— Так нас все-таки заколют, как сказали мальчики! Слушай-ка, они опять поют!

— Слушайте меня, а не их! — сказала мать. — После маневров мы улетим отсюда далеко-далеко, за высокие горы, за темные леса, в теплые края, в Египет! Там есть треугольные каменные дома; верхушки их упираются в самые облака, а зовут их пирамидами. Они построены давным-давно, так давно, что ни один аист и представить себе не может! Там есть еще река, которая разливается по берегам, и тогда весь берег покрывается илом! Ходишь себе по илу и кушаешь лягушек!

— О! — сказали птенцы.

— Да! Вот прелесть! Там день-деньской только и делаешь, что ешь. А вот в то время, как нам там будет так хорошо, здесь на деревьях не останется ни единого листика, наступит такой холод, что облака застынут кусками и будут падать на землю белыми лоскутками!

Она хотела рассказать им про снег, да не умела объяснить хорошенько.

— А эти нехорошие мальчики тоже застынут кусками? — спросили птенцы.

— Нет, прямо кусками они не застынут, но померзнуть им придется. Будут сидеть и скучать в темной комнате и носу не посмеют высунуть на улицу! А вы-то будете себе летать в чужих краях, где цветут цветы и ярко светит теплое солнышко.

Прошло несколько времени, птенцы подросли, могли уже вставать в гнезде и озираться кругом. Папаша-аист каждый день приносил им славных лягушек, маленьких ужей и всякие другие лакомства, какие только мог достать. А как потешал он птенцов разными забавными штуками! Доставал головою свой хвост, щелкал клювом, точно у него в горле сидела трещотка, и рассказывал им разные болотные истории.

— Ну, пора теперь и за ученье приняться! — сказала им в один прекрасный день мать, и всем четверым птенцам пришлось вылезти из гнезда на крышу. Батюшки мои, как они шатались, балансировали крыльями и все-таки чуть-чуть не падали!

— Смотрите на меня! — сказала мать. — Голову вот так, ноги так! Раз-два! Раз-два! Вот что поможет вам пробить себе дорогу в жизни! — И она сделала несколько взмахов крыльями.

Птенцы неуклюже подпрыгнули и — бац! Все так и растянулись! Они были еще тяжелы на подъем.

— Я не хочу учиться! — сказал один птенец и вскарабкался назад в гнездо. — Я вовсе не хочу лететь в теплые края!

— Так ты хочешь замерзнуть тут зимой? Хочешь, чтобы пришли и повесили, утопили или сожгли тебя? Постой, я сейчас позову их!

— Ай, нет, нет! — сказал птенец и опять выпрыгнул на крышу.

На третий день они уже кое-как летали, и вообразили, что могут даже держаться в воздухе на распластанных крыльях, но... сейчас же шлепнулись на крышу. Пришлось опять работать крыльями.

В это время на улице собрались мальчики и запели:

Аист, аист белый!

— А что, слетим да выключем им глаза? — спросили птенцы.

— Нет, не надо! — сказала мать. — Слушайте лучше меня, это куда важнее! Раз-два-три! Теперь полетим направо: раз-два-три! Теперь налево, кругом трубы! Отлично! Последний взмах крыльями удался так чудесно, что я позволяю вам завтра отправиться со мной на болото. Там соберется много других милых семейств с детьми — вот и покажите себя! Я хочу, чтобы вы были самыми миленькими из всех. Держите головы повыше — так гораздо красивее и внушительнее!

— Но неужели мы так и не отомстим этим нехорошим мальчикам? — спросили птенцы.

— Пусть они себе кричат что хотят! Вы-то полетите к облакам, увидите страну пирамид, а они будут мерзнуть здесь зимой, не увидят ни единого зеленого листика, ни сладкого яблочка!

— А мы все-таки отомстим! — шепнули птенцы друг другу и продолжали ученье.

Задорнее всех из ребятишек был самый маленький, тот, что первый затянул песенку об аистах. Ему было не больше шести лет, хотя

птенцы-то думали, что ему лет сто, ведь он был куда больше их отца с матерью, а что же знали птенцы о годах детей и взрослых людей! И вот вся месть птенцов должна была обрушиться на этого мальчика, который был зачинщиком и самым неутомным из насмешников. Птенцы были на него ужасно сердиты и чем больше подрастали, тем меньше хотели сносить от него обиды. В конце концов матери пришлось обещать им как-нибудь отомстить мальчугану, но не раньше как перед самым отлетом их в теплые края.

— Посмотрим сначала, как вы будете вести себя на больших маневрах! Если дело пойдет плохо, и генерал проколет вам грудь своим клювом, мальчики будут правы. Вот увидим!

— Увидишь! — сказали птенцы и усердно принялись за упражнения.

С каждым днем дело шло все лучше, и, наконец, они стали летать так легко и красиво, что просто любо!

Настали осенние маневры; аисты начали готовиться к отлету на зиму в теплые края. Вот так маневры пошли! Аисты летали взад и вперед над лесами и озерами: им надо было испытать себя: предстояло ведь огромное путешествие! Наши птенцы отличились и получили на испытании не по нулю с хвостом, а по двенадцати с лягушкой и ужом! Лучше этого балла для них и быть не могло: лягушек и ужей можно ведь было съесть, что они и сделали.

— Теперь будем мстить! — сказали они.

— Хорошо! — сказала мать. — Вот что я придумала — это будет лучше всего. Я знаю, где лежит тот пруд, в котором сидят маленькие дети до тех пор, пока аист не возьмет их и не отнесет к папе с мамой. Прелестные крошечные детки спят и видят чудные сны, каких никогда уже не будут видеть после. Всем родителям очень хочется иметь такого малютку, а всем детям — крошечного братца или сестрицу. Полетим к пруду, возьмем оттуда малюток и отнесем в дом к тем детям, которые не дразнили аистов; нехорошие же насмешники не получают ничего!

— А тому злому, который первый начал дразнить нас, ему что будет? — спросили молодые аисты.

В пруду лежит один мертвый ребенок — он заспался до смерти. Его-то мы и отнесем злому мальчику. Пусть поплачет, увидав, что мы принесли ему мертвого братца. А вот тому доброму мальчику, — надеюсь, вы не забыли его, — который сказал, что грешно дразнить животных, мы принесем зараз и братца и сестрицу. Его зовут Петером, будем же мы в честь его зваться Петерами!

Как сказано, так и было сделано, и вот всех аистов зовут с тех пор Петерами.



БРОНЗОВЫЙ КАБАН

В городе Флоренции, недалеко от площади дель Грандука, есть небольшой переулок, который зовется, если не ошибаюсь, Пор-та-Росса. Тут, перед овощным и зеленым рынком, стоит бронзовый кабан искусной работы; изо рта его бежит чистая свежая вода. Само животное совсем уже почернело от времени, одна морда блестит, как полированная: ее отполировали сотни рук бедняков, детей и взрослых, обнимавших ее и подставлявших под струю воды свои пересохшие рты. Посмотреть только, как какой-нибудь хорошенький полунагой мальчуган обнимает красивое животное и приближает свой свеженький ротик к его морде — настоящая картина! Всякий, кто попадет во Флоренцию, без труда найдет это место: стоит только спросить любого ничего, и он сейчас скажет, где находится бронзовый кабан.

Был ранний зимний вечер; горы лежали все в снегу, но на небе сиял месяц, а месяц в Италии светит так, что превращает и ночь в день — не хуже наших темных зимних дней. Да что я — не хуже! Даже лучше, потому что тут светится сам воздух, и небо как будто поднимается выше, тогда как у нас, на севере, эта холодная свинцовая крыша — небо — просто гнетет нас к сырой земле, которая рано или поздно придавит крышку нашего гроба.

В герцогском саду, под сенью пихт, где и зимой цветут тысячи роз, целый день сидел маленький оборвыш. Мальчуган мог бы послужить живым изображением Италии: он так и сиял красотой и в то же время был так жалок, так несчастен... Ему страшно хотелось есть и пить, но никто не подал ему сегодня ни единой монетки. Между тем стемнело, сад пора было запираить, и сторож выгнал мальчика вон. Долго стоял бедняжка, задумавшись, на мосту, перекинутом через Арно, и смотрел на блестящие в воде звезды.

Потом он направился к бронзовому кабану, нагнулся, обхватил его ручонкой за шею и, приблизив ротик к его блестящей морде, стал жадно глотать свежую воду. Тут же валялись несколько листочков салата и пара каштанов — они пошли ему на ужин. На улице не было ни души, мальчик был один-одинешенек, и он уселся

на бронзового кабана, склонился курчавою головкой на голову животного и мигом заснул.

В полночь бронзовый кабан шевельнулся, и мальчик явственно услышал: «Держись крепче, малыш, теперь я побегу!» И кабан в самом деле пустился с мальчиком во всю прыть. Вот так езда была!

Прежде всего они направились на площадь дель Грандука; бронзовая лошадь на герцогском монументе громко заржала; пестрые гербы на старой ратуше засветились, точно транспаранты, а Микеланджелов Давид взмахнул пращой; повсюду пробуждалась какая-то странная жизнь. Бронзовые группы «Персей» и «Похищение сабинянок» стояли, точно живые; крик смертельного ужаса раздавался по великолепной безлюдной площади.

Возле Палаццо Уффици, под аркой, где собирается во время карнавала вся флорентийская знать, бронзовый кабан остановился.

— Держись крепче! — сказал он мальчику. — Теперь марш вверх по лестнице!

Мальчуган за все это время не проронил ни словечка, трепеща от страха и от радости. Вот они вступили в длинную галерею; мальчик хорошо знал ее: он бывал здесь и прежде. Стены пестрели картинами, повсюду стояли бюсты и статуи, озаренные чудным светом; казалось, здесь царил светлый день. Но еще лучше стало, когда растворилась дверь в боковые залы! Вся эта роскошь была хорошо памятна мальчику, но на этот раз все являлось ему в каком-то особенном, чудном освещении.

Вот перед ним прелестная нагая женщина — такое совершенство природы могло быть воспроизведено в мраморе только искусством несравненного художника. Ее дивные формы дышали жизнью, у ног ее резвились дельфины, бессмертие сверкало в ее взоре. Люди зовут ее Венерой Медицейской. По обеим сторонам богини разместились мраморные статуи чудных юношей: один точил меч — его зовут «Точильщиком»; на другом же пьедестале боролись гладиаторы. И меч точился, и борцы сражались ради богини красоты.

Весь этот блеск почти ослеплял мальчугана; стены сияли разноцветными красками; все было — сама жизнь, само движение. Тут было еще одно изображение Венеры, земной Венеры, полной жизни и огня, какою грезилась она Тициану. Да, это были два чудных женских образа! Прекрасное, ничем не прикрытое тело Тициановой Венеры покоилось на мягком ложе; грудь ее тихо вздымалась, голова слегка шевелилась, пышные волосы падали на круглые плечи, а темные глаза горели страстью. Ни одна из картин не смела, однако, совсем выступить из рамы. Сама богиня красоты, гладиаторы и точильщик тоже оставались на своих местах: их сковывало сияние, лившееся от изображения Мадонны, Иисуса и Иоанна. Святые перестали быть картинами, это были уже сами святые!

Что за красота, что за блеск царили в этих залах! Бронзовый кабан обошел их шаг за шагом, и мальчик увидел все. Одно зрелище вытеснялось из памяти другим, но одна картина оставила в его душе неизгладимый след, главным образом благодаря изображенным на ней радостным, счастливым детям; мальчик уже раз видел их днем.

Многие прошли бы, пожалуй, мимо этой картины, а между тем это истинное сокровище поэзии. На ней изображен Христос, сходящий в преисподнюю, но вокруг него толпятся не измученные грешники, а язычники. Рисовал картину флорентиец Анджело Бронзино. Лучше всего в ней — выражение на лицах детей твердой уверенности в том, что они взойдут на небо. Двое малюток уже обнимаются друг с другом; один, стоящий повыше, протягивает руки стоящему пониже, указывая при этом пальцем на самого себя, как бы говоря: «Я иду на небо!» На лицах же взрослых написаны робкая, неуверенная надежда и смиренная мольба.

На эту картину мальчик смотрел дольше всего; бронзовый кабан стоял смирно, и вдруг послышался тихий вздох. Откуда он вырвался? Из картины или из груди животного? Мальчик протянул руку к улыбающимся детям, но кабан помчался обратно в аванзалу.

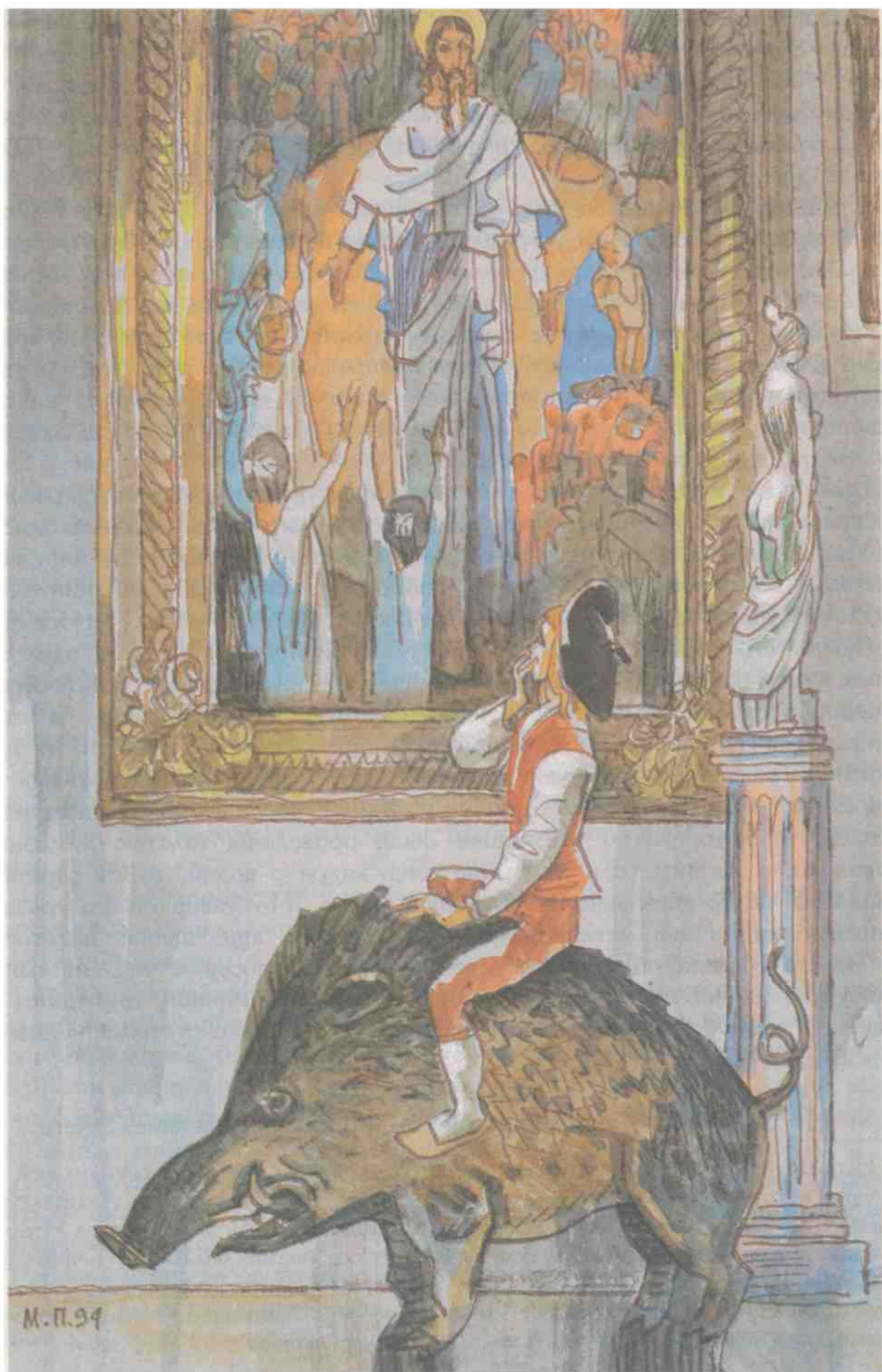
— Спасибо тебе, милый, славный кабанчик! — сказал мальчуган и погладил животное, которое — тук, тук! — сбегало вниз по лестнице.

— Спасибо и тебе! — сказал кабан. — Я помог тебе, а ты помог мне: я могу двигаться, лишь когда на мне сидит невинный ребенок. Тогда я могу даже проходить под лучами лампы, горящей перед образом Мадонны. Всюду могу я входить с тобой, только не в церковь! Но смотреть туда в открытые двери мне не воспрещено! Не слезай же с меня! Если ты слезешь, я стану таким же мертвым, неподвижным, каким ты видел меня днем в переулке Порто-Росса.

— Я не покину тебя, милый кабан! — сказал мальчик, и они вихрем помчались по улицам на площадь, к церкви Санта-Кроче.

Огромные входные двери раскрылись; на алтаре горели свечи, так что в церкви и даже на безлюдной площади было светло.

С надгробного памятника, помещавшегося в левом приделе церкви, струился какой-то удивительный свет, словно вокруг образовалось сияние из сотни тысяч движущихся звезд. На памятнике красовался герб: красная, словно пылающая в огне, лестница на голубом поле. То была гробница Галилея; она очень проста, герб же полон глубокого значения. Он мог бы послужить гербом самого искусства или науки: представителей их ведь тоже ведет к бессмертию пылающая лестница; все пророки искусства и науки, отмеченные дарами Духа, восходят на небо, как пророк Илия.



Изображения, помещавшиеся на мраморных саркофагах в правом приделе церкви, казалось, все ожили. Тут стоял Микеланджело, там — Данте с лавровым венком на челе, здесь — Альфьери, Макиавелли — повсюду великие мужи, гордость Италии¹. Церковь Санта-Кроче великолепна, куда красивее, хоть и не так велика, как мраморный Флорентийский собор.

Складки мраморных одеяний шевелились, а сами изображения великих людей поднимали головы и устремляли взоры на блестящий алтарь, откуда слышалось пение и где кадили золотыми кадилами мальчики в белоснежных одеждах; сильное благоухание струилось из церкви на площадь.

Мальчик протянул руку к светлому сиянию, но в тот же миг бронзовый кабан помчался дальше, и ему пришлось крепко прижаться к шее животного. Ветер так и свистел у него в ушах, двери собора с визгом затворились; тут сознание оставило мальчика, смертельный холод охватил его члены, и — он открыл глаза.

Было уже утро; он полусидел, полулежал, почти совсем соскользнув со спины кабана, который стоял, как и всегда, на своем обычном месте.

Ужас охватил мальчика при одной мысли о той, кого он звал матерью. Она послала его вчера собирать милостыню, но никто не подал ему ничего; голод мучил бедняжку. Еще раз обнял он кабана, поцеловал его в морду, кивнул ему головой и направился в одну из самых узких улиц, где едва-едва мог пройти навьюченный осел. Затем мальчик вошел в полуотворенную, окованную железом дверь и стал подниматься по грязной кирпичной лестнице с веревкой вместо перил. Лестница вела на открытую галерею, всю увешанную лохмотьями; с галереи во двор спускалась другая лестница; посреди двора находился колодезь, от которого во все этажи были проведены толстые железные проволоки, а по ним то и дело двигались ведра с водой; ворот скрипел, а вода из ведер плескала на мостовую двора. По узенькой полуразвалившейся кирпичной лесенке мальчик поднялся еще выше; навстречу ему весело сбегали по ступеням двое русских матросов и чуть не сбили мальчугана с ног. Они возвращались с веселой ночной пирушки; за ними шла немолодая, но крепко сложенная женщина с густыми черными волосами.

— Много принес? — спросила она мальчика.

— Не сердись! — взмолился он. — Никто не дал мне ничего!

¹ Неподалеку от гробницы Галилея находится гробница Микеланджело; на ней — его бюст и три аллегорических изображения: Скульптура, Живопись и Архитектура. Рядом — гробница Данте (тело его покоится в Равенне); на ней видна фигура Италии, указывающая на колоссальную статую Данте; тут же поэзия оплакивает понесенную ею утрату. В двух шагах — надгробный памятник Альфьери, украшенный лаврами, лирой и масками; над гробом плачет Италия. Гробница Макиавелли заканчивает этот ряд памятников великих людей Италии. — *Примеч. автора.*

И он схватился за край платья матери, как бы желая поцеловать его. Они вошли в комнату; описывать ее мы не станем; довольно будет сказать, что тут стоял глиняный горшок с горячими угольями — грелка, или *marito*, как его зовут в Италии. Женщина взяла его и стала греть свои руки.

— Что-нибудь ты принес все-таки? — спросила она, толкнув мальчика локтем.

Ребенок заплакал; она дала ему пинка ногою; он громко завопил.

— Замолчи, не то я разобью твою горластую башку! — сказала она и замахнулась на него грелкой.

Мальчик с криком припал к земле. Дверь отворилась, и вошла соседка, тоже с грелкой в руках.

— Феличита! Что ты делаешь с ребенком?

— Ребенок мой! — отвечала Феличита. — Я могу убить его, если захочу, да и тебя вместе, Джианина!

И она замахнулась грелкой. Соседка подняла на защиту свою, и горшки столкнулись — черепки, уголья и зола разлетелись по всей комнате, а мальчик — за дверь, на двор да на улицу! Бедный ребенок бежал, пока у него не захватило дух, и он поневоле остановился у церкви Санта-Кроче, у той самой, в которой побывал сегодня ночью. Церковь вся сияла в огнях; он вошел, опустился на колени возле первой гробницы направо — это была гробница Микеланджело — и громко зарыдал. Народ приходил и уходил, обедня кончилась, никому не было дела до мальчика; приостановился было и посмотрел на него только какой-то пожилой горожанин, но потом и тот пошел своею дорогою, как другие.

Ребенок совсем обессилел от голода и жажды, заполз в угол между стеной и мраморной гробницей и заснул. Проснулся он только под вечер — кто-то растолкал его; он встал и увидел перед собою того же самого старика.

— Тебе нездоровится? Где ты живешь? Ты целый день здесь? — засыпал он мальчика вопросами.

Мальчик ответил, и старик повел его в маленький домик на одной из боковых улиц неподалеку от церкви. Они вошли в перчаточную мастерскую: пожилая женщина прилежно шила, а по столу перед ней прыгала маленькая беленькая болонка, остриженная так коротко, что сквозь шерстку просвечивало розовое тельце. Болонка кинулась к мальчику.

— Невинные души живо признают друг друга! — сказала женщина и погладила собачку и ребенка.

Добрые люди, накормив и напоив мальчика, позволили ему переночевать у них, а на другой день дядюшка Джузеппе хотел поговорить с матерью мальчугана.

Ребенка уложили на маленькую бедную постель, но она показалась ему княжеской: он привык проводить ночи на жестких камнях мостовой. Спокойно заснул он и видел во сне роскошные картины и бронзового кабана.

Утром дядюшка Джузеппе ушел, а бедный мальчуган пригорюнился: дело кончится тем, что его отведут к матери! И он плакал, целуя беленькую резвую собачку, а добрая женщина ласково кивала им головой.

Ну, с чем-то вернулся дядюшка Джузеппе? Он долго беседовал с женой; та одобрительно покачивала головой и гладила мальчика по головке, говоря:

— Такой милый мальчик! Из него выйдет славный перчаточник, не хуже тебя! У него такие тонкие, гибкие пальцы! Он самую Мадонну назначен в перчаточники!

И мальчик остался у них. Жена перчаточника учила его шить; кормили его хорошо, спал он отлично и сделался веселым, резвым мальчиком, который не прочь был иногда пошалить и подразнить Беллissиму — так звали собачку; но хозяйка грозилась ему пальцем, бранилась и сердилась, что очень огорчало мальчика. Раз как-то он сидел, задумавшись, в своей каморке, в которой сушились и кожи; окна, выходившие на улицу, были огорожены толстыми решетками; мальчик не мог спать: бронзовый кабан не выходил у него из головы, и вдруг он услышал на улице: тук! тук! Это, наверное, кабан! Мальчик бросился к окну, но улица была уже пуста.

— Помоги-ка синьору, возьми ящик с красками! — сказала раз утром хозяйка при виде молодого соседа-художника, тащившего ящик и накатанный на палку холст.

Мальчик взял ящик и пошел за художником. Они отправились в картинную галерею и поднялись по той самой лестнице, которую мальчик так хорошо помнил с той ночи, когда ездил на кабана; он узнал все статуи и картины, чудную мраморную Венеру, Мадонну, Иисуса и Иоанна.

Вот они остановились перед картиной Бронзино, на которой изображен Христос, нисходящий в преисподнюю и окруженный улыбающимися и крепко верящими в свое спасение детьми; бедный мальчик тоже весь просиял улыбкой — он сам чувствовал себя на небе.

— Ну, ступай себе! — сказал ему художник, успевший уже установить свой мольберт.

— Нельзя ли мне посмотреть, как вы перенесете картину сюда, на этот белый холст? — сказал мальчик.

— Теперь я еще не буду писать красками! — отвечал художник и взял угольный карандаш.

Быстро задвигалась его рука, глаза впились в большую картину и, несмотря на то что он делал лишь одни тонкие штрихи, на холсте у него появился тот же воздушный образ Христа, что и на картине, писанной масляными красками.

— Ну, ступай же! — сказал опять художник, и мальчик тихонько побрел домой, сел за стол и стал учиться... шить перчатки.

Но мысли его неслись к картинной галерее, он колот себе иголкой пальцы, работа не спорилась, зато и Беллissиму он больше не дразнил.

Вечером мальчик скользнул в отворенную дверь на улицу; было холодно, но на небе сияли чудные ясные звездочки. Он побежал по безмолвным улицам прямо к бронзовому кабану, наклонился к нему, поцеловал его в блестящую морду, потом уселся ему на спину и сказал:

— Как я соскучился по тебе, милый кабан! Надо нам опять прокатиться сегодня ночью!

Бронзовый кабан не шевельнулся, изо рта его по-прежнему бежала струя чистой, свежей воды. Мальчик сидел на нем, точно всадник на коне, как вдруг кто-то потянул его за край платья. Он взглянул и увидел Беллissиму, маленькую, голенькую Беллissиму! Собачка тоже незаметно шмыгнула в дверь и увязалась за мальчиком. Беллissима тяфкала, словно хотела сказать мальчику: «И я тут! А ты куда это забрался?» Явись перед мальчиком огненный дракон, бедняжка не испугался бы его больше Беллissимы. Беллissима на улице и «не одета!», как сказала бы хозяйка. Что же теперь будет?! Зимою собачку никогда не выпускали из дома без теплой, нарочно для нее сшитой, овчинной попонки. Овчинка была украшена бубенчиками и бантиками, привязывалась же к шейке и под брюшком красными ленточками. Сопровождая в таком наряде свою госпожу на прогулку, собачка была похожа на маленького семенившего ножками барашка. «Беллissима тут, и не одетая! Что теперь будет?» Все мечты разлетелись, мальчик поцеловал бронзового кабана, подхватил Беллissиму — бедняжка дрожала от холода — и побежал домой что было мочи.

— Что это у тебя? Куда бежишь? — закричали два попавшихся ему по дороге жандарма; Беллissима залаяла.

— Где ты стащил такую хорошенькую собачку? — спросили они и отняли ее у мальчика.

— Ах, отдайте мне собачку! — умолял мальчуган.

— Если ты не украл ее, скажи дома, чтобы кто-нибудь пришел за ней на гауптвахту.

И они ушли с Беллissимой.

Вот так горе! Что было ему делать: броситься в Арно или идти домой с повинной? Хозяева, конечно, избьют его до смерти! «Ну и пусть, я сам хочу умереть; я пойду тогда к Иисусу и Мадонне!» И он пошел домой, главным образом, для того, чтобы умереть.

Дверь была заперта; он не мог достать до дверного молотка; на улице не было ни души, но на мостовой валялся булыжник, и мальчик принялся колотить им в дверь.

— Кто там? — слышался оклик.

— Я! — сказал он. — Беллissимы нет! Отворите мне и бейте меня до смерти.

Поднялась суматоха; особенно испугалась за бедную собачку хозяйка; она сейчас же взглянула на стену, где висела собачкина попонка: овчинка была на месте.

— Белиссима на гауптвахте! — завопила она. — Ах ты, негодный мальчишка! Как это ты выманил ее? Она замерзнет! Такое нежное создание в руках грубых солдат!

И дядюшке Джузеппе пришлось отправиться за собачкой. Хозяйка охала, а мальчик плакал; сбежались все соседи, пришел и художник. Он притянул к себе мальчугана, стал расспрашивать, как было дело, и кое-как, клочками и отрывками, узнал всю историю о бронзовом кабане и о картинной галерее. Не сразу можно было понять мальчугана.

Художник утешал мальчика и заступался за него перед старухой, но она успокоилась только тогда, когда дядюшка Джузеппе вернулся с Белиссимой, побывавшей у солдат. То-то была радость! Художник приласкал бедного мальчугана и дал ему целую стопку картинок.

Картинки были чудесные, пресмешные! Особенно хорош был бронзовый кабан — ну совсем как живой! Лучше его и быть ничего не могло! Художник сделал несколько штрихов карандашом, и на бумаге появился бронзовый кабан, да не только он, но и дом, находившийся позади него!

«Вот бы уметь так рисовать и писать красками! Весь мир стал бы моим! Все можно было бы перенести на бумагу!»

На другой день, улучив минуту, когда остался один, мальчик схватил карандаш и попробовал срисовать кабана на оборотной стороне одной из картинок. Удалось! Немножко криво, немножко косо, одна нога толще другой, но все-таки можно было догадаться, что это бронзовый кабан.

Мальчик ликовал! Правда, карандаш еще плохо слушался его — он отлично замечал это. Но на следующий день рядом с первым бронзовым кабаном стоял другой; этот был уже во сто раз лучше, третий же так хорош, что всякий сразу узнал бы, с кого он был срисован.

Зато плохо шло шитье перчаток, плохо и медленно исполнялись разные маленькие поручения хозяев. Благодаря бронзовому кабану мальчик узнал, что на бумагу можно перенести любую картину, а город Флоренция — настоящий альбом, знай себе перелистывай! На площади дела Тринита стоит стройная колонна; на самой вершине ее — богиня правосудия с завязанными глазами и весами в руках; скоро и она попала на бумагу, перенес же ее туда ученик перчаточника. Коллекция рисунков у него все росла, но все это были пока изображения предметов неодушевленных. Раз запрыгала перед ним Белиссима, и он сказал ей:

— Стой смирно! Увидишь, какою ты выйдешь хорошенькою на картинке!

Белиссима, однако, не хотела стоять смирно и пришлось ее привязать. Но и привязанная за хвост и за голову, она все-таки продолжала прыгать и лаять; понадобилось хорошенько затянуть шнурок. Вдруг вошла синьора.

— Безбожный мальчишка! Бедная собачка! — вот все, что она могла вымолвить.

Потом она оттолкнула мальчика, дала ему пинка ногой и выгнала неблагодарного безбожника из дома, покрывая поцелуями и слезами бедную, полузадохшуюся Беллиссиму.

В это время по лестнице поднимался художник, и — тут поворотный пункт нашей истории.

В 1834 году во Флорентийской академии художеств была выставка. Две картины, стоявшие рядом, привлекали толпы зрителей. На картине поменьше был изображен веселый мальчуган, который срисовывал маленькую беленькую коротко остриженную собачку.

Модель, видно, не хотела стоять смирно и потому была прикручена к столу за хвост и за голову шнурком. Жизнь так и била в этой картине ключом, и все были от нее в восторге. Картина принадлежала, как говорили, кисти молодого флорентийца, найденного где-то на улице еще ребенком, воспитанного стариком-перчаточником и самоучкою выучившегося рисовать. Один знаменитый теперь художник случайно открыл его талант, когда мальчугана выгоняли из дома за то, что он, желая срисовать хозяйкину любимицу собачку, связал и чуть-чуть не задушил ее.

Из ученика-перчаточника вышел великий художник — об этом свидетельствовала и упомянутая картина, в особенности же та, большая, что находилась рядом. На ней была всего одна фигура: прелестный оборванный мальчуган крепко спал, сидя на бронзовом кабане из переулка Порта-Росса¹.

Всем зрителям было хорошо знакомо это место. Руки мальчика покоились на голове кабана. Милое бледное детское личико было ярко освещено лучами от лампы, висевшей перед образом Мадонны. Картина была чудная! На угол великолепной золотой рамы был повешен лавровый венок, но между зелеными листьями вислась черная лента и черный флер.

Молодой художник незадолго перед тем умер.



¹ Бронзовый кабан — копия; оригинал же — мраморный и стоит в галерее Палаццо degli Uffizi. — *Примеч. автора.*

ПОБРАТИМЫ

Мы только что сделали маленькое путешествие и опять пустились в новое, еще более далекое. Куда? В Спарту! В Микены! В Дельфы! Там тысячи мест, при одном названии которых сердце вспыхивает желанием путешествовать. Там приходится пробираться верхом, взбираться по горным тропинкам, продираться сквозь кустарники и ездить не иначе как целым караваном. Сам едешь верхом рядом с проводником, затем идет выючная лошадь с чемоданом, палаткой и провизией и, наконец, в виде прикрытия, двое солдат. Там уж нечего надеяться отдохнуть после утомительного дневного переезда в гостинице; кровом путнику должна служить его собственная палатка; проводник готовит к ужину пилав; тысячи комаров жужжат вокруг палатки — какой уж тут сон! А наутро предстоит переезжать вброд широко разлившиеся реки; тогда крепче держись в седле как раз снесет!

Какая же награда за все эти мытарства? Самая огромная, самая богатая! Природа предстает здесь перед человеком во всем своем величии; с каждым местечком связаны бессмертные исторические воспоминания — глазам и мыслям полное раздолье! Поэт может воспеть эти чудные картины природы, художник — перенести их на полотно, но самого букета действительности, который навеки запечатлевается в душе всякого, видевшего все воочию, не в силах передать ни тот, ни другой.

Одинокий пастух, обитатель диких гор, расскажет путешественнику что-нибудь из своей жизни, и его простой бесхитростный рассказ представит, пожалуй, в нескольких живых штрихах страну эллинов куда живее и лучше любого книжного описания ее.

Так пусть же он рассказывает! Пусть расскажет нам о прекрасном обычае — побратимства.

«Нашим жильем была глиняная мазанка; вместо дверных косяков служили рубчатые мраморные колонны, случайно найденные отцом. Покатая крыша спускалась чуть не до земли; я помню ее уже некрасивую, почерневшую, но когда жилье крыли, для нее были взяты цветущие олеандры и свежие лавровые деревья. Мазанка была затиснута между

голыми серыми отвесными, как стена, скалами. На вершинах скал зачастую покоились, словно какие-то живые белые фигуры, облака. Никогда не слышал я здесь ни пения птичек, ни музыкальных звуков волынки, не видал веселых плясок молодежи; зато само место было освящено преданиями старины; имя его само говорит за себя: Дельфы! Темные, угрюмые горы покрыты снегами; самая высокая гора, вершина которой дольше всех блестит под лучами заходящего солнца, зовется Парнасом. Источник, журчавший как раз позади нашей хижины, тоже слыл в старину священным; теперь его мутит своими ногами осел, но быстрая струя мчитя без отдыха и опять становится прозрачной. Как знакомо мне тут каждое местечко, как сжился я с этим глубоким священным уединением. Посреди мазанки разводился огонь, и, когда от костра оставалась только горячая зола, в ней пекли хлеба. Если мазанку нашу заносило снегом, мать моя становилась веселее, брала меня за голову обеими руками, целовала в лоб и пела те песни, которых в другое время петь не смела: их не любили наши властители турки. Она пела: «На вершине Олимпа, в сосновом лесу, старый плакал олень, плакал горько, рыдал неутешно, и зеленые, синие, красные слезы лились на землю ручьями, а мимо тут лань проходила. «Что плачешь, олень, что роняешь зеленые, синие, красные слезы?» — «В наш город нагрянули турки толпой, а с ними собак кровожадные стаи!» — «Я их погоню по лесам, по горам, прямо в синего моря бездонную глубь!» Так лань говорила, но вечер настал — ах, лань уж убита и загнан олень!»

Тут на глаза матери наворачивались слезы и повисали на длинных ресницах, но она смахивала их и повертывала пекшиеся в золе черные хлеба на другую сторону. Тогда я сжимал кулаки и говорил: «Мы убьем турок до смерти!» Но мать повторяла слова песни: «Я их погоню по лесам, по горам, прямо в синего моря бездонную глубь!» Так лань говорила, но вечер настал — ах, лань уж убита и загнан олень!»

Много ночей и дней проводили мы одни-одинешеньки с матерью, но вот приходил отец. Я знал, что он принесет мне раковин из залива Лепанто или, может быть, острый блестящий нож. Но раз он принес нам ребенка, маленькую нагую девочку, которую нес завернутою в козью шкуру под своим овчинным тулупом. Когда ее развернули, оказалось, что на ней не надето ничего, кроме трех серебряных монет, вплетенных в ее черные волосы. Отец рассказал нам, что турки убили родителей девочки, рассказал и еще много другого, так что я целую ночь бредил этим во сне. Мой отец и сам был ранен; мать перевязала ему плечо; рана была глубока, толстая овчина вся пропиталась кровью. Девочка должна была стать моею сестрой. Она была премиленькая, с нежною, прозрачною кожей, и даже глаза моей матери не были кротче и нежнее глаз Анастасии — так звали девочку. Она должна была стать моею

сестрой, потому что отец ее был побратимом моего; они побратались еще в юности согласно древнему, сохраняющемуся у нас обычаю. Мне много раз рассказывали об этом прекрасном обычае; покровительницей такого братского союза избирается всегда самая прекрасная и добродетельная девушка окрестности.

И вот малютка стала моею сестрой; я качал ее на своих коленях, приносил ей цветы и птичьи перышки; мы пили вместе с ней из Парнасского источника, спали рядышком под лавровой крышей нашей мазанки и много зим подряд слушали песню матери об олене, плакавшем зелеными, синими и красными слезами, но тогда я еще не понимал, что в этих слезах отражалась скорбь моего народа.

Раз пришли к нам трое иноземцев, одетых совсем не так, как мы; они привезли с собою на лошадях палатки и постели. Их сопровождали более двадцати турок, вооруженных саблями и ружьями. Иноземцы были друзьями паши и имели от него письма. Они прибыли только для того, чтобы посмотреть на наши горы, потом взобраться к снегам и облакам на вершину Парнаса и, наконец, увидеть причудливые черные отвесные скалы вокруг нашей мазанки. Всем им нельзя было уместиться в ней на ночь, да они и не переносили дыма, поднимавшегося от костра к потолку и медленно пробиравшегося в низенькую дверь. Они раскинули свои палатки на узкой площадке перед мазанкой, стали жарить баранов и птиц и пили сладкое крепкое вино; турки же не смели его пить.

Когда они уезжали, я проводил их недалеко; сестричка Анастасия висела у меня за спиной в мешке из козлиной шкуры. Один из иноземных гостей поставил меня к скале и срисовал меня и сестричку: мы вышли как живые и казались одним существом. Мне это и в голову не приходило, а оно и в самом деле выходило так, что мы с Анастасией были как бы одним существом: вечно лежала она у меня на коленях или висела за спиной, а если я спал, так снилась мне во сне.

Две ночи спустя в нашей хижине появились другие гости. Они были вооружены ножами и ружьями; то были албанцы — храбрый народ, как говорила мать. Недолго они пробыли у нас. Сестрица Анастасия сидела у одного из них на коленях, и, когда он ушел, в волосах у нее остались только две серебряные монетки. Албанцы свертывали из бумаги трубочки, наполняли их табаком и курили; самый старший все толковал о том, по какой дороге им лучше отправиться, и ни на что не мог решиться.

— Плюну туда — ужогу себе в лицо, — говорил он, — плюну сюда — ужогу себе в бороду!

Но как-никак, а надо было выбрать какую-нибудь дорогу!

Они ушли, и мой отец с ними. Немного спустя мы слышали выстрелы, потом еще и еще; в мазанку к нам явились солдаты и забрали нас всех: и мать, и Анастасию, и меня. Разбойники нашли в нашем

доме пристанище, говорили солдаты, мой отец был с ними заодно, поэтому надо было забрать и нас.

Я увидел трупы разбойников, труп моего отца и плакал, пока не уснул. Проснулся я уже в темнице, но тюремное помещение наше было не хуже родной мазанки; мне дали луку и налили отдававшего смолой вина, но и оно было не хуже домашнего, тоже хранившегося в осмоленных мешках.

Как долго пробыли мы в темнице — не знаю, помню только, что прошло много дней и ночей. Когда мы вышли оттуда, был праздник святой Пасхи; я тащил на спине Анастасию, мать была больна и еле-еле двигалась. Не скоро дошли мы до моря; это был залив Лепанто. Мы вошли в церковь, всю сиявшую образами, написанными на золотом фоне. Святые лики были ангельски прекрасны, но мне все-таки казалось, что моя малютка сестрица не хуже их. Посреди церкви стояла гробница, наполненная розами; среди чудесных цветов лежал сам Господь наш Иисус Христос, как сказала мне мать. Священник провозгласил: «Христос воскрес!» — и все стали целоваться друг с другом. У всех были в руках зажженные свечи; дали по свечке и нам с малюткой Анастасией. Потом загудели волынки, люди взялись за руки и, приплясывая, вышли из церкви. Женщины жарили под открытым небом пасхальных агнцев; нас тоже пригласили к огню, и я сел рядом с мальчиком постарше меня, который меня обнял и поцеловал со словами: «Христос воскрес!» Так встретились мы с Афтанидом.

Мать умела плести рыболовные сети; тут, возле моря, это давало хороший заработок, и мы долго жили на берегу чудного моря, которое отзывалось на вкус слезами, а игрою красок напоминало слезы оленя: то оно было красное, то зеленое, то снова синее.

Афтанид умел грести, и мы с Анастасией часто садились к нему в лодку, которая скользила по заливу, как облачко по небу. При закате солнца горы окрашивались в темно-голубой цвет; с залива было видно много горных цепей, выглядывавших одна из-за другой; виден был вдали и Парнас с его снегами. Вершина его горела, как раскаленное железо, и казалось, что весь этот блеск и свет исходит изнутри ее самой, так как она продолжала блестеть в голубом сияющем воздухе еще долго после того, как солнце скрывалось. Белые чайки задевали крыльями за поверхность воды; на воде же обыкновенно стояла такая тишь, какая бывала в Дельфах на площадке между темными скалами. Я лежал в лодке на спине, Анастасия сидела у меня на груди, а звезды над нами блестели ярче церковных лампад. Это были те же звезды, и стояли они над моей головой как раз так же, как тогда, когда я, бывало, сидел под открытым небом возле нашей мазанки в Дельфах. Под конец мне стало грезиться, что я все еще там... Вдруг набежала волна, и лодку сильно качнуло. Я громко вскрикнул — Ана-

стасия упала в воду! Но Афтанид, быстрый, как молния, вытащил ее и передал мне. Мы сняли с нее платье, выжали из него воду и потом опять одели ее. То же сделал Афтанид, и мы оставались на воде до тех пор, пока мокрые платья не высохли. Никто и не узнал, какого страха мы натерпелись. Афтанид же с этих пор тоже получил некоторые права на жизнь Анастасии.

Настало лето! Солнце так и пекло, лиственные деревья поблекли от жары, и я вспоминал о наших прохладных горах, о свежем источнике. Мать тоже томилась, и вот однажды вечером мы пустились в обратный путь. Что за тишина была вокруг! Мы шли по полям, заросшим тмином, который все еще благоухал, хотя солнце почти совсем спалило его. Нам не попадалось навстречу ни пастуха, ни мазанки. Безлюдно, мертвенно-тихо было вокруг, только падучие звезды говорили, что там, в высоте, была жизнь. Не знаю, сам ли светился прозрачный голубой воздух или это сияние шло от звезд, но мы хорошо различали все очертания гор. Мать развела огонь, поджарила лук, которым запаслась в дорогу, и мы с сестрицей Анастасией заснули на тмине, нисколько не боясь ни гадкого Смидраки¹, из пасти которого пышет огонь, ни волков, ни шакалов: мать была с нами, и для меня этого было довольно.

Наконец мы добрались до нашего старого жилья, но от мазанки осталась только куча мусора; пришлось делать новую. Несколько женщин помогли матери, и скоро новые стены были подведены под крышу из ветвей олеандров. Мать стала плести из ремешков и коры плетенки для бутылок, а я взялся пасти маленькое стадо священника²; товарищами моими были Анастасия да маленькие черепахи.

Раз навестил нас милый Афтанид. Он сильно соскучился, сказал он, и пришел повидаться с нами. Целых два дня пробыл он у нас и потом простился.

Через месяц он пришел опять и рассказал нам, что поступает на корабль и уезжает на острова Патрос и Корфу, оттого и пришел проститься с нами. Матери он принес в подарок большую рыбу. Он знал столько разных историй, так много рассказывал нам, и не только о рыбах, что водятся в заливе Лепанто, но и о героях и королях, господствовавших в Греции в былые времена, как турки теперь.

Я не раз видел, как на розовом кусте появляется бутон и как он через несколько дней или недель распускается в чудный цветок; но бутон обыкновенно становился цветком прежде, чем я успевал подумать

¹ Смидраки — по поверию греков, чудовище, образующееся из неразрезанных и брошенных в поле желудков убитых овец. — *Примеч. автора.*

² Священником зачастую становится первый грамотный крестьянин, но простолюдины зовут его «святейшим отцом» и падают при встрече с ним ниц. — *Примеч. автора.*

о том, как хорош, велик и зрел самый бутон. То же самое вышло и с Анастасией. Она стала взрослой девушкой; я давно был сильным парнем. Постели моей матери и Анастасии были покрыты волчьими шкурами, которые я содрал собственными руками с убитых мною зверей. Годы шли за годами.

Раз вечером явился Афтанид, стройный, крепкий и загорелый. Он расцеловал нас и принялся рассказывать о море, об укреплениях Мальты, о диковинных гробницах Египта. Рассказы его были так чудесны, точно легенды, что мы слышали от священника. Я смотрел на Афтанида с каким-то почтением.

— Как много ты всего знаешь, сколько у тебя рассказов! — сказал я ему.

— Ты однажды рассказал мне кое-что получше! — отвечал он. — И рассказ твой не идет у меня из головы. Ты рассказывал мне как-то о прекрасном старом обычае побратимства! Вот этому-то обычаю я хотел бы последовать! Станем же братьями, как твой отец с отцом Анастасии! Пойдем в церковь, и пусть прекраснейшая и добродетельнейшая из девушек — Анастасия — скрепит наш союз и будет сестрой нам обоим! Ни у одного народа нет более прекрасного обычая, чем у нас, греков, — побратимство!

Анастасия покраснела, как свежий розовый лепесток, а мать моя поцеловала Афтанида.

В расстоянии часа от нашего жилья, там, где скалы покрыты черноземом, лежит в тени небольшой группы деревьев маленькая церковь; перед алтарем висит серебряная лампада.

Я надел самое лучшее свое платье: вокруг бедер богатыми складками легла фустанелла; стан плотно охватила красная куртка; на феске красовалась серебряная кисть, а за поясом — нож и пистолеты. На Афтаниде был голубой наряд греческих моряков; на груди у него висел серебряный образок Божьей Матери, стан был опоясан драгоценным шарфом, какие носят знатные господа. Всякий сразу увидел бы, что мы готовились к какому-то торжеству. Мы отправились в маленькую уединенную церковь, всю залитую лучами вечернего солнца, игравшими на лампаде и на золотом фоне образов. Мы преклонили колени на ступенях перед алтарем; Анастасия стала повыше, обернувшись к нам лицом. Длинное белое платье легко и свободно облегло ее стройный стан; на белой шее и груди красовались мониста из древних и новых монет. Черные волосы ее были связаны на затылке в узел и придерживались убором из золотых и серебряных монет, найденных при раскопках старых храмов; богатейшего убора не могло быть ни у одной гречанки. Лицо ее сияло, глаза горели, как звезды.

Все мы сотворили про себя молитву, и Анастасия спросила нас:

— Хотите ли вы быть друзьями на жизнь и на смерть?

— Да! — ответили мы.

— Будет ли каждый из вас помнить всегда и всюду, что бы с ним ни случилось, что «брат мой — часть меня самого; моя святыня — его святыня, мое счастье — его счастье, я должен жертвовать и стоять за него, как за самого себя»?

И мы повторили: «Да!»

Тогда она соединила наши руки, поцеловала каждого из нас в лоб, и все мы опять прошептали молитву. Из алтаря вышел священник и благословил нас, а в самом алтаре раздалось пение других «святейших отцов». Вечный братский союз был заключен. Когда мы вышли из церкви, я увидел мою мать, плакавшую от умиления.

Как стало весело в нашей мазанке у Парнасского источника! Вечером, накануне того дня, как Афтанид должен был оставить нас, мы задумчиво сидели с ним на склоне горы. Его рука обвивала мой стан, моя — его шею. Мы говорили о бедствиях Греции и о людях, на которых она могла бы опереться. Наши мысли и сердца были открыты друг другу. И вот я схватил его за руку.

— Одного еще не знаешь ты — того, что было известно до сих пор лишь Богу да мне! Моя душа горит любовью! И эта любовь сильнее моей любви к матери, сильнее любви к тебе!..

— Кого же любишь ты? — спросил Афтанид, краснея.

— Анастасию! — сказал я.

И рука друга задрожала в моей, а лицо его покрылось смертной бледностью. Я заметил это и понял все! Я думаю, что и моя рука задрожала, когда я нагнулся к нему, поцеловал его в лоб и прошептал:

— Я еще не говорил ей об этом! Может быть, она и не любит меня!.. Брат, вспомни, я видел ее ежедневно, она выросла на моих глазах и вросла в мою душу!

— И она будет твоей! — сказал он. — Твоей! Я не могу и не хочу украсть ее у тебя! Я тоже люблю ее, но... завтра я уйду отсюда! Увидимся через год, когда вы будете уже мужем и женою, не правда ли?.. У меня есть кое-какие деньги — они твои! Ты должен взять, ты возьмешь их!

Тихо поднялись мы на гору; уже вечерело, когда мы остановились у дверей мазанки.

Анастасия посветила нам при входе; матери моей не было дома. Анастасия печально посмотрела на Афтанида и сказала:

— Завтра ты покинешь нас! Как это огорчает меня!

— Огорчает тебя! — сказал он, и мне послышалась в его голосе такая же боль, какая жгла и мое сердце.

Я не мог вымолвить ни слова, но он взял Анастасию за руку и сказал:

— Брат наш любит тебя, а ты его. В его молчании — его любовь!

И Анастасия затрепетала и залилась слезами. Тогда все мои мысли обратились к ней, я видел и помнил одну ее, рука моя обняла ее стан, и я сказал ей:

— Да, я люблю тебя!

И уста ее прижались к моим устам, а руки обвились вокруг моей шеи... Но тут лампа упала на пол, и в хижине воцарилась такая же темнота, как в сердце бедного Афганида.

На заре он крепко поцеловал нас всех и ушел. Матери моей он оставил для меня все свои деньги. Анастасия сделалась моею невестой, а несколько дней спустя — и женой».



РОЗА С МОГИЛЫ ГОМЕРА

Все восточные сказания говорят о любви соловья к розе: в тихие звездные ночи несется к благоухающему цветку серенада крылатого певца.

Недалеко от Смирны, возле дороги, окаймленной высокими платанами, видел я цветущий розовый куст. Мимо него проходят, гордо выпрямляя свои длинные шеи и неуклюже ступая по священной земле тонкими ногами, навьюченные верблюды. В ветвях платанов гнездятся дикие голуби, и крылья их блещут на солнце перламутром.

На этом розовом кусте особенно хороша была одна роза; к ней-то неслась песня соловья, но роза молчала; ни капли росы не блестело на ее лепестках слезою сострадания; она клонилась вместе с ветвями к лежавшему под кустом большому камню.

— Тут покоится величайший из певцов земных! — говорила роза. — Лишь над его могилой буду я благоухать, на нее буду ронять свои лепестки, оборванные ветром! Прах творца Илиады смешался с землею, и из этой земли выросла я! Я — роза с могилы Гомера — слишком священна, чтобы цвести для какого-то бедного соловья!

И соловей пел, пел, пока не умер.

Проходил караван; за начальником каравана шли навьюченные верблюды и черные рабы. Маленький сын его нашел мертвую птицу, и крошечного певца зарыли в могиле великого Гомера, над которою качалась от дуновенья ветра роза.

Настал вечер; роза плотнее свернула лепестки и заснула. И снился ей чудный солнечный день: на поклонение к могиле Гомера пришла толпа чужеземцев-франков; между ними был певец из страны туманов и северного сияния. Он сорвал розу, вложил ее в книгу и увез с собою в другую часть света, на свою далекую родину. И роза увяла от тоски, а певец, вернувшись домой, открыл книгу и сказал:

— Вот роза с могилы Гомера!

Вот что снилось розе; проснувшись, она вся затрепетала от сильного порыва ветра. Капля росы упала с ее лепестков на могилу певца, но вот

встало солнце, и роза расцвела пышнее прежнего — она ведь все еще была в своей теплой Азии.

Послышались шаги, явились чужеземцы-франки, которых видела роза во сне, и между ними был один северный поэт. Он сорвал розу, запечатлел на ее свежем сердечке свой поцелуй и увез ее с собой в страну туманов и северного сияния.

Как мумия, покоится она теперь в его «Илиаде» и, словно сквозь сон, слышит, как он говорит, открывая книгу:

— Вот роза с могилы Гомера!



ОЛЕ ЗАКРОЙ ГЛАЗКИ

Никто в свете не знает столько сказок, сколько знает их Оле Закрой Глазки. Вот мастер-то рассказывать!

Вечером, когда дети преспокойно сидят за столом или на своих скамеечках, является Оле Закрой Глазки. Он обут в одни чулки и тихо-тихо поднимется по лестнице; потом осторожно приотворит дверь, неслышно шагнет в комнату и слегка прыснет детям в глаза молоком. В руках у него маленькая спринцовка, и молоко брызжет из нее тоненькой-тоненькой струйкой. Тогда веки у детей начинают слипаться, и они уж не могут разглядеть Оле, а он подкрадывается к ним сзади и начинает легонько дуть им в затылки. Подует, и головки у них сейчас отяжелеют. Боли при этом никакой: у Оле Закрой Глазки нет злого умысла; он хочет только, чтобы дети уgomонились, а для этого их непременно надо уложить в постель! Вот он и уложит их, а потом уж начнет рассказывать сказки.

Когда дети заснут, Оле Закрой Глазки присаживается к ним на постель; одет он чудесно — на нем шелковый кафтан, только нельзя сказать, какого цвета: он отликает то голубым, то зеленым, то красным, смотря по тому, в какую сторону повернется Оле. Под мышками у него по зонтику: один с картинками, который он раскрывает над хорошими детьми, и тогда им всю ночь снятся чудеснейшие сказки, а другой совсем простой, гладкий, который он развешивает над нехорошими детьми; эти спят всю ночь, как чурбаны, и поутру оказывается, что они ровно ничего не видели во сне!

Послушаем же о том, как Оле Закрой Глазки навещал каждый вечер одного маленького мальчика Яльмара и рассказывал ему сказки! Это будет целых семь сказок: в неделе ведь семь дней.

Понедельник

— Ну вот, — сказал Оле Закрой Глазки, уложив Яльмара в постель, — теперь разуберем комнату!

И в один миг все комнатные цветы и растения выросли в большие деревья, которые протянули свои длинные ветви вдоль стен к самому

потолку; вся комната превратилась в чудеснейшую беседку. Ветки деревьев были усеяны цветами; каждый цветок по красоте и запаху был лучше розы, а вкусом слаще варенья; плоды же блестели, как золотые. Еще на деревьях были пышки, которые чуть не лопались от изюмной начинки. Просто чудо что такое! Вдруг поднялись ужасные стоны в ящике стола, где лежали учебные принадлежности Яльмара.

— Что там такое! — сказал Оле Закрой Глазки, пошел и выдвинул ящик.

Оказалось, что это рвала и метала аспидная доска: в решение написанной на ней задачи вкралась ошибка, и все вычисления готовы были распасться; грифель скакал и прыгал на своей веревочке, точно собачка; он очень желал помочь делу, да не мог. Громко стонала и тетрадь Яльмара; просто ужас брал, слушая ее! На каждой странице, в начале каждой строки, стояли чудесные большие и рядом с ними маленькие буквы — это была пропись; возле же шли другие, воображавшие, что держатся так же твердо. Их писал сам Яльмар, и они, казалось, спотыкались об линейки, на которых должны были бы стоять.

— Вот как надо держаться! — говорила пропись. — Вот так, с легким наклоном направо!

— Ах, мы бы и рады, — отвечали буквы Яльмара, — да не можем! Мы такие плохонькие!

— Так я угощу вас детским порошком! — сказал Оле Закрой Глазки.

— Ай, нет, нет! — закричали они и выпрямились так, что любо!

— Ну, теперь нам не до сказок! — сказал Оле Закрой Глазки. — Будем-ка упражняться! Раз-два! Раз-два!

И он довел буквы Яльмара до того, что они стояли ровно и бодро, как любая пропись. Но когда Оле Закрой Глазки ушел, и Яльмар утром проснулся, они смотрелись такими же жалкими, как прежде.

Вторник

Как только Яльмар улегся, Оле Закрой Глазки дотронулся своею волшебною спринцовкой до комнатной мебели, и все вещи сейчас же начали болтать между собою; все, кроме плевательницы, — эта молчала и сердилась про себя на их суетность говорить только о себе да о себе и даже не подумать о той, что так скромно стоит в углу и позволяет в себя плевать!

Над комодом висела большая картина в золоченой раме; на ней была изображена красивая местность: высокие, старые деревья, трава, цветы и большая река, убегавшая мимо чудных дворцов за лес, в далекое море.

Оле Закрой Глазки дотронулся волшебною спринцовкой до картины, и нарисованные на ней птицы запели, ветви деревьев зашевелились, а облака понеслись по небу; видно было даже, как скользила по картине их тень.

Затем Оле приподнял Яльмара к раме, и мальчик стал ногами прямо в высокую траву. Солнышко светило на него сквозь ветви деревьев, он побежал к воде и уселся в лодочку, которая колыбалась у берега. Лодочка была выкрашена красною и белую краской, паруса блестели, как серебряные, и шесть лебедей в золотых коронах, с сияющими голубыми звездами на головах повлекли лодочку вдоль зеленых лесов, где деревья рассказывали о разбойниках и ведьмах, а цветы — о прелестных маленьких эльфах и о том, что рассказывали им бабочки.

Чудеснейшие рыбы с серебристою и золотистою чешуей плыли за лодкой, ныряли и плескали в воде хвостами; красные, голубые, большие и маленькие птицы летели за Яльмаром двумя длинными вереницами; комары танцевали, а майские жуки гудели — всем хотелось провожать Яльмара, и у каждого была для него наготове сказка.

Да, вот так было плаванье!

Леса то густели и темнели, то становились похожими на чудеснейшие сады, освещенные солнцем и усеянные цветами. По берегам реки лежали большие хрустальные и мраморные дворцы; на балконах их стояли принцессы, и все это были знакомые Яльмару девочки, с которыми он часто играл.

Все они протягивали ему руки, и каждая держала в правой руке славного обсахаренного пряничного поросенка. Яльмар, проплывая мимо, схватывался за один конец пряника, принцесса крепко держалась за другой, и пряник разламывался пополам — каждый получал свою долю, но Яльмар побольше, принцесса поменьше. У всех дворцов стояли на часах маленькие принцы; они отдавали Яльмару честь золотыми саблями и осыпали дождем изюма и оловянных солдатиков — вот что значит настоящие принцы!

Яльмар плыл через леса, через какие-то огромные залы и города... Проплыл он и через тот город, где жила его старая няня, которая нянчила его, когда он был еще малюткой, и очень любила его. И вот он увидел ее: она кланялась, посылая ему рукою воздушные поцелуи и пела хо-рошенькую песенку, которую сама сложила и прислала Яльмару:

Мой Яльмар, тебя вспоминаю
Почти каждый день, каждый час!
Сказать не могу, как желаю
Тебя увидеть вновь хоть раз!
Тебя ведь я в люльке качала,
Учила ходить, говорить,
И в щечки, и в лоб целовала,
Так как мне тебя не любить!
Люблю тебя, ангел ты мой дорогой!
Да будет вовеки Господь Бог с тобой!

И птички подпевали ей, цветы приплясывали, а старые ивы кивали головами, как будто Оле Закрой Глазки и им рассказывал сказку.

Ну и дождь лил! Яльмар слышал этот страшный шум даже во сне; когда же Оле Закрой Глазки открыл окно, оказалось, что вода стояла вровень с окном. Целое озеро! Зато к самому дому причалил велико-лепнейший корабль.

— Хочешь прокатиться, Яльмар? — спросил Оле. — Побываешь ночью в чужих землях, а к утру — опять дома!

И вот Яльмар, разодетый по-праздничному, очутился на корабле. Погода сейчас же прояснилась, и они поплыли по улицам, мимо церкви — кругом было сплошное огромное озеро. Наконец они уплыли так далеко, что земля совсем скрылась из глаз. По поднебесью неслась стая аистов; они тоже собрались в чужие теплые края и летели длинною вереницей, один за другим. Они были в пути уже много-много дней, и один из них так устал, что крылья почти отказывались ему служить. Он летел позади всех, потом отстал и начал опускаться на своих распушенных крыльях все ниже и ниже, вот взмахнул ими еще раза два, но все напрасно! Скоро он задел за мачту корабля, скользнул по снастям и — бух! — стал прямо на палубу.

Юнга подхватил его и посадил в птичник к курам, уткам и индейкам. Бедняга аист стоял и уныло озирался кругом.

— Ишь какой! — сказали куры.

А индюк надулся, как только мог, и спросил у аиста, кто он таков; утки же пятились, подталкивали друг друга и кричали.

И аист рассказал им о жаркой Африке, о пирамидах и страусах, которые носятся по пустыне с быстротой диких лошадей, но утки ничего этого не поняли и опять стали подталкивать одна другую:

— Ну, не глуп ли он?

— Конечно, глуп! — сказал индюк и сердито забормотал.

Аист замолчал и стал думать о своей Африке про себя.

— Какие у вас чудесные тонкие ноги! — сказал индюк. — Почему аршин?

— Кряк! Кряк! Кряк! — закричали смешливые утки, но аист как будто и не слышал.

— Могли бы и вы посмеяться с нами! — сказал аисту индюк. — Очень забавно было сказано! Да куда, это, верно, слишком низменно для него! Вообще нельзя сказать, чтобы он отличался понятливостью! Что ж, будем забавлять самих себя!

И курицы кудахтали, утки кричали, и это их ужасно забавляло.

Но Яльмар подошел к птичнику, открыл дверцу, поманил аиста, и тот выпрыгнул к нему на палубу — теперь он успел отдохнуть. И вот аист как будто поклонился Яльмару в знак благодарности, взмахнул широкими крыльями и полетел в теплые края. А курицы закудахтали, утки закричали, индюк же так надулся, что гребешок у него весь налился кровью.

— Завтра из вас сварят суп! — сказал Яльмар и проснулся опять в своей маленькой кроватке.

Славное путешествие сделали они ночью с Оле Закрой Глазки!

Четверг

— Знаешь что? — сказал Оле Закрой Глазки. — Только не испугайся! Я сейчас покажу тебе мышку! — И правда, в руке у него была прехорошенькая мышка. — Она явилась пригласить тебя на свадьбу! Две мышки собираются сегодня ночью вступить в брак. Живут они под полом мамашиной кладовой. Чудесное помещение, говорят!

— А как же я пройду сквозь маленькую дырочку в полу? — спросил Яльмар.

— Уж положишься на меня! — сказал Оле Закрой Глазки. — Ты у меня сделаешься маленьким.

И он дотронулся до мальчика своею волшебною спринцовкой. Яльмар вдруг стал уменьшаться, уменьшаться и, наконец, сделался величиною всего с пальчик.

— Теперь можно будет одолжиться мундиром у оловянного солдатика. Я думаю, этот наряд будет вполне подходящим: мундир так красит, ты же идешь в гости!

— Ну, хорошо! — согласился Яльмар и был наряжен чудеснейшим оловянным солдатиком.

— Не угодно ли вам сесть в наперсток вашей матушки! — сказала Яльмару мышка. — Я буду иметь честь отвезти вас.

— Ах, неужели вы сами будете беспокоиться, барышня? — сказал Яльмар, и они поехали на мышиную свадьбу.

Проскользнув в дырочку, прогрызенную мышами в полу, они попали сначала в длинный узкий проход-коридор, в котором как раз только и можно было проехать в наперстке. Коридор был иллюминирован гнилушками.

— Ведь чудный запах? — спросила мышка-возница. — Весь коридор смазан салом! Что может быть лучше?

Наконец добрались и до самой залы, где праздновалась свадьба. Направо, перешептываясь и пересмеиваясь между собой, стояли все мышки-дамы, а налево, покручивая лапками усы, — мышки-кавалеры. По самой же середине, на выдолбленной корке сыра, возвышались жених с невестой и целовались на глазах у всех: они были ведь обручены и готовились вступить в брак.

А гости все прибывали да прибывали; мыши чуть не давили друг друга насмерть, и вот счастливая парочка поместилась в самых дверях, так что никому больше нельзя было ни войти, ни выйти. Зала, как и

коридор, вся была смазана салом; другого угощения и не было; в виде же десерта гостей обносили горошиной, на которой одна родственница новобрачных выгрызла их имена, то есть, конечно, всего-навсего две первые буквы. Диво, да и только!

Все мыши объявили, что свадьба была великолепная и что время проведено очень приятно.

Яльмар поехал домой. Довелось и ему побывать в знатной компании, зато пришлось порядком съежиться и облечься в мундир оловянного солдата.

Пятница

— Просто не верится, сколько есть пожилых людей, которым страшно как хочется залучить меня к себе! — сказал Оле Закрой Глазки. — Особенно желают этого те, кто сделал что-нибудь дурное. «Добренький, миленький Оле, — говорят они мне, — мы просто не можем сомкнуть глаз, лежим без сна всю ночь напролет и видим вокруг себя все свои дурные дела. Они, точно гадкие, маленькие тролли, сидят по краям постели и брызжут на нас кипятком. Мы бы с удовольствием заплатили тебе, Оле, — добавляют они с глубоким вздохом. — Спокойной же ночи, Оле! Деньги на окне!» Да что мне деньги! Я ни к кому не прихожу за деньгами!

— За что бы нам взяться сегодня ночью? — спросил Яльмар.

— Не хочешь ли опять побывать на свадьбе? Только не на такой, как вчера. Большая кукла твоей сестры, та, что одета мальчиком и зовется Германом, хочет повенчаться с куклой Бертой; кроме того, сегодня день рождения куклы и потому готовится много подарков!

— Знаю, знаю! — сказал Яльмар. — Как только куклам понадобится новое платье, сестра сейчас празднует их рождение или свадьбу. Это уж было сто раз!

— Да, а сегодня ночью будет сто первый и, значит, последний! Оттого и готовится нечто необыкновенное. Взгляни-ка!

Яльмар взглянул на стол. Там стоял домик из картона; окна были освещены, и все оловянные солдатики держали ружья на караул. Жених с невестой задумчиво сидели на полу, прислонившись к ножке стола; да, им таки было о чем задуматься! Оле Закрой Глазки, наряженный в бабушкину черную юбку, обвенчал их, и вся комнатная мебель запела, на мотив марша, забавную песенку, которую написал карандаш:

Затянем песенку дружной,
Как ветер пусть несется!
Хотя чета наша, ей-ей,
Ничем не отзовется.
Из лайки оба и торчат
На палках без движенья,

Зато роскошен их наряд —
Глазам на загляденье!
Итак, прославим песней их:
Ура! Невеста и жених!

Затем молодые получили подарки, но отказались от всего съедобного: они были сыты своей любовью.

— Что ж, поехать нам теперь на дачу или отправиться за границу? — спросил молодой.

На совет пригласили ласточку и старую курицу, которая уже пять раз была наследкой. Ласточка рассказала о теплых краях, где зреют сочные, тяжелые виноградные кисти, где воздух так мягок, а горы расцвечены такими красками, о каких здесь не имеют и понятия.

— Там нет зато нашей зеленой капусты! — сказала курица. — Раз я со всеми своими цыплятами провела лето в деревне; там была целая куча песка, в котором мы могли рыться и копаться сколько угодно! Кроме того, нам был открыт вход в огород с капустой! Ах, какая она была зеленая! Не знаю, что может быть красивее!

— Да ведь один кочан похож на другой как две капли воды! — сказала ласточка. — К тому же здесь так часто бывает дурная погода.

— Ну, к этому можно привыкнуть! — сказала курица.

— А какой тут холод! Того и гляди замерзнешь! Ужасно холодно!

— То-то и хорошо для капусты! — сказала курица. — Да, наконец, и у нас бывает тепло! Ведь четыре года тому назад лето стояло у нас целых пять недель! Да какая жарница-то была! Все задыхались! Кстати сказать, у нас нет тех ядовитых животных, как у вас там! Нет и разбойников! Надо быть никуда не годным созданием, чтобы не находить нашу страну самую лучшею в мире! Такое создание недостойно и жить в ней! — Тут курица заплакала. — Я ведь тоже путешествовала, как же! Целых двенадцать миль проехала в бочонке! И никакого удовольствия нет в путешествии!

— Да, курица — особа вполне достойная! — сказала кукла Берта. — Мне тоже вовсе не нравится ездить по горам, — то вверх, то вниз, то вверх, то вниз! Нет, мы переедем на дачу, в деревню, где есть песчаная куча, и будем гулять в огороде с капустой.

На том и порешили.

Суббота

— А сегодня будешь рассказывать? — спросил Яльмар, как только Оле Закрой Глазки уложил его в постель.

— Сегодня некогда! — ответил Оле и раскрыл над мальчиком свой красивый зонтик. — Погляди-ка вот на этих китайцев!

Зонтик был похож на большую китайскую чашу, расписанную голубыми деревьями и узенькими мостиками, на которых стояли, кивая головами, маленькие китайцы.

— Сегодня надо будет принарядить к завтрашнему дню весь мир! — продолжал Оле. — Завтра святой день, воскресенье. Мне надо пойти на колокольню посмотреть, вычистили ли церковные карлики все колокола, иначе они плохо будут звонить завтра; потом надо в поле — посмотреть, смел ли ветер пыль с травы и листьев. Самая же трудная работа еще впереди: надо снять с неба и перечистить все звездочки. Я собираю их в свой передник, но приходится нумеровать каждую звездочку и каждую дырочку, где она сидела, чтобы потом разместить их как следует, иначе они плохо будут держаться и посыплются с неба одна за другой!

— Послушайте-ка, господин Оле Закрой Глазки! — сказал вдруг висевший на стене старый портрет. — Я прадедушка Яльмара и очень вам благодарен за то, что вы рассказываете мальчику сказки, но вы не должны извращать его понятий. Звезды нельзя снимать с неба и чистить. Звезды — такие же светила, как наша земля, тем-то они и хороши!

— Спасибо тебе, прадедушка! — отвечал Оле Закрой Глазки. — Спасибо! Ты — глава фамилии, «старая голова», но я все-таки постарше тебя! Я старый язычник; римляне и греки звали меня богом сновидений! Я имел и имею вход в знатнейшие дома и знаю, как обходиться и с большими, и с малыми! Можешь теперь рассказывать сам!

И Оле Закрой Глазки ушел, взяв под мышку свой зонтик.

— Ну, уж нельзя и высказать своего мнения! — сказал старый портрет.

Тут Яльмар проснулся.

Воскресенье

— Добрый вечер! — сказал Оле Закрой Глазки.

Яльмар кивнул ему головкой, вскочил и повернул прадедушкин портрет лицом к стене, чтобы он опять не вмешался в разговор.

— А теперь расскажи мне сказки про пять зеленых горошин, родившихся в одном стручке, про петушиную ногу, которая ухаживала за куриной ногой, и про штопальную иглу, что воображала себя швейной иглой.

— Ну, хорошенького понемножку! — сказал Оле Закрой Глазки. — Я лучше покажу тебе кое-что. Я покажу тебе своего брата, его тоже зовут Оле Закрой Глазки, но он ни к кому не является больше одного раза в жизни. Когда же явится, берет человека, сажает к себе на лошадь и рассказывает ему сказки. Он знает только две: одна так бесподобно

хороша, что никто и представить себе не может, а другая так ужасна, что... да нет, невозможно даже и сказать — как!

Тут Оле Закрой Глазки приподнял Яльмара, поднес его к окну и сказал:

— Сейчас увидишь моего брата, другого Оле Закрой Глазки. Люди зовут его также смертью. Видишь, он вовсе не такой страшный, каким рисуют его на картинках! Кафтан на нем весь вышит серебром, что твой гусарский мундир; за плечами развевается черный бархатный плащ! Гляди, как он скачет в галоп!

И Яльмар увидел, как мчался во весь опор другой Оле Закрой Глазки и сажал к себе на лошадь и старых и малых. Одних он сажал перед собою, других позади, но сначала всегда спрашивал:

— Какие у тебя отметки за поведение?

— Хорошие! — отвечали все.

— Покажите-ка! — говорил он.

Приходилось показать, и вот тех, у кого были отличные или хорошие отметки, он сажал впереди себя и рассказывал им чудную сказку, а тех, у кого были посредственные или плохие, — позади себя, и эти должны были слушать ужасную сказку. Они тряслись от страха, плакали и хотели прыгнуть с лошади, да не могли: они сразу крепко прирастали к седлу.

— Но ведь смерть — чудеснейший Оле Закрой Глазки! — сказал Яльмар. — И я ничуть не боюсь его!

— Да и нечего бояться! — сказал Оле. — Смотри только, чтобы у тебя всегда были хорошие отметки за поведение!

— Да, вот это поучительно! — пробормотал прадедушкин портрет. — Все-таки, значит, не мешает иногда высказать свое мнение!

Он был очень доволен.

Вот тебе и вся история об Оле Закрой Глазки! А вечером пусть он сам расскажет тебе еще что-нибудь.



ЭЛЬФ

Всаду красовался розовый куст, весь усыпанный чудными розами. В одной из них, самой прекрасной из всех, жил эльф, такой крошечный, что человеческим глазом его и не разглядеть было. За каждым лепестком розы у него было по спальне; сам он был удивительно нежен и мил — ну точь-в-точь хорошенький ребенок, только с большими крыльями за плечами. Ах, какой аромат стоял в его комнатах, как красивы и прозрачны были их стены! Ведь это были нежные лепестки розы!

Весь день играл эльф на солнышке, порхал с цветка на цветок, плясал на крыльях у резвых мотыльков и измерял, сколько шагов пришлось бы ему сделать, чтобы обежать все дорожки и тропинки на одном липовом листе. За дорожки и тропинки он принимал жилки листка, да они и были для него бесконечными дорогами! Как-то раз, не успел он обойти и половины их, глядь — солнышко уж закатилось; он и начал-то, впрочем, не рано.

Стало холодно, пала роса, подул ветер, и эльф рассудил, что пора домой, заторопился изо всех сил, но, когда добрался до своей розы, оказалось, что она уже закрылась и ему нельзя было попасть в нее; успели закрыться и все остальные розы. Бедный крошка эльф перепугался: никогда еще не оставался он на ночь без приюта, всегда сладко спал между розовыми лепестками, а теперь!.. Ах, верно, не миновать ему смерти!

Вдруг он вспомнил, что на другом конце сада есть беседка, вся увитая чудеснейшими каприфолиями; в одном из этих больших пестрых цветков, похожих на рога, он и решил проспать до утра.

И вот он полетел туда. Тсс! Тут были люди: красивый молодой человек и премиленькая девушка. Они сидели рядышком и хотели бы век не расставаться: они так горячо любили друг друга, куда горячее, нежели самый добрый ребенок любит своих маму и папу.

— Увы! Мы должны расстаться! — сказал молодой человек. — Твой брат не хочет нашего счастья и потому отсылает меня с поручением далеко-далеко за море! Прощай же, дорогая моя невеста! Я все-таки имею право назвать тебя так!

И они поцеловались. Молодая девушка заплакала и дала ему на память о себе розу, но сначала запечатлела на ней такой крепкий и горячий поцелуй, что цветок раскрылся. Эльф сейчас же влетел в него и приклонился головкой к нежным душистым стенкам.

Вот раздалось последнее «прощай», и эльф почувствовал, что роза заняла место на груди молодого человека. О, как билось его сердце! Крошка эльф просто не мог заснуть от этой стукотни.

Недолго, однако, пришлось розе покоиться на груди. Молодой человек вынул ее и, проходя по большой темной роще, целовал цветок так часто и так крепко, что крошка эльф чуть не задохнулся. Он ощущал сквозь лепестки цветка, как горели губы молодого человека; сама роза раскрылась, словно под лучами полуденного солнца.

Тут появился другой человек, мрачный и злой брат красивой молодой девушки. Он вытащил большой острый нож и убил молодого человека, целовавшего цветок, затем отрезал ему голову и зарыл ее вместе с туловищем в рыхлую землю под липой.

«Теперь о нем не будет и помину! — подумал злой брат. — Небось не вернется больше. Ему предстоял далекий путь за море, а в таком пути нетрудно проститься с жизнью — ну вот, так оно и случилось! Вернуться он больше не вернется, и спрашивать о нем сестра меня не посмеет».

И он нашвырял ногами на то место, где схоронил убитого, сухих листьев и пошел себе домой. Но шел он во тьме ночной не один: с ним был крошка эльф. Эльф сидел в сухом, свернувшемся в трубочку липовом листке, упавшем злодею на голову в то время, как тот зарывал яму. Окончив работу, убийца надел на голову шляпу; под ней было страх как темно, и крошка эльф весь дрожал от ужаса и негодования на злодея.

На заре злой человек пришел домой, снял шляпу и прошел в спальню сестры. Молодая, цветущая красавица спала и видела во сне того, кого она так любила и кто уехал теперь, как она думала, за море. Злой брат наклонился над ней и засмеялся злобным, дьявольским смехом; сухой листок выпал из его волос на одеяло сестры, но он не заметил этого и ушел к себе соснуть до утра. Эльф выкарабкался из сухого листка, приблизился к самому уху молодой девушки и рассказал ей во сне об ужасном убийстве, описал место, где оно произошло, цветущую липу, под которой убийца зарыл тело, и, наконец, добавил: «А чтобы ты не приняла всего этого за простой сон, я оставляю на твоей постели сухой листок». И она нашла этот листок, когда проснулась.

О, как горько она плакала! Но никому не смела бедняжка доверить своего горя. Окно стояло отворенным целый день, крошка эльф легко мог выпорхнуть в сад и лететь к розам и другим цветам, но ему не хотелось оставить бедняжку одну. На окне стояла в цветочном горшке месячная роза; он уселся в один из ее цветов и глаз не сводил с убитой

горем девушки. Брат ее несколько раз входил в комнату и был злобно-весел; она же не смела и заикнуться ему о своем сердечном горе.

Как только настала ночь, девушка потихоньку вышла из дома, отправилась в рощу, прямо к липовому дереву, разбросала сухие листья, разрыла землю и нашла убитого. Ах, как она плакала и молила Бога, чтобы он послал смерть и ей.

Она бы охотно унесла с собой дорогое тело, да нельзя было, и она взяла бледную голову с закрытыми глазами, поцеловала холодные губы и отряхнула землю с прекрасных волос.

— Оставляю же себе хоть это! — сказала она, зарыла тело и опять набросала на то место сухих листьев, а голову унесла с собой вместе с небольшою веточкой жасмина.

Придя домой, она отыскала самый большой цветочный горшок, положила туда голову убитого, засыпала ее землей и посадила в землю жасминовую веточку.

— Прощай! Прощай! — прошептал крошка эльф: он не мог вынести такого печального зрелища и улетел в сад к своей розе, но она уже отцвела, и вокруг зелененького плода держалось всего два-три поблекших лепестка.

— Ах, как скоро приходит конец всему хорошему и прекрасному! — вздохнул эльф.

Наконец он отыскал себе другую розу и уютно зажил между ее благоухающими лепестками. Но каждое утро летал он к окну несчастной девушки и вечно находил ее в слезах, подле цветочного горшка. Горькие слезы ручьями лились на жасминовую веточку, и, по мере того как сама девушка день ото дня бледнела и худела, веточка все росла да зеленела, пуская один отросток за другим. Скоро появились и маленькие бутончики; девушка целовала их, а злой брат сердился и спрашивал, не сошла ли она с ума: иначе он ничем не мог объяснить себе эти вечные слезы, которые она проливала над цветком. Он ведь не знал, чьи закрытые глаза, чьи розовые губы превратились в землю в этом горшке. А бедная сестра его склонила раз головку к цветку да так и задремала; как раз в это время прилетел крошка эльф, прильнул к ее уху и стал рассказывать ей о последнем ее свидании с милым в беседке, о благоухании роз, о любви эльфов... Девушка спала так сладко, и среди этих чудных грез незаметно отлетела от нее жизнь. Она умерла и соединилась на небе с тем, кого так любила.

По всей комнате разлился чудный, нежный запах белых колокольчиков жасмина — это они оплакивали усопшую.

Злой брат посмотрел на красивый цветущий куст, взял его себе в наследство после умершей сестры и поставил его у себя в спальне возле самой кровати. Крошка эльф последовал за ним и стал летать от одного колокольчика к другому: в каждом жил маленький дух, и эльф рассказал им всем об убитом молодом человеке, о злом брате и о бедной сестре.

— Знаем! Знаем! Ведь мы же выросли из глаз и из губ убитого! — ответили духи цветов и при этом как-то странно покачали головками.

Эльф не мог понять, как могут они оставаться такими равнодушными, полетел к пчелам, которые собирали мед, и тоже рассказал им о злом брате. Пчелы пересказали это своей царице, и та решила, что все они на следующее же утро накажут убийцу.

Но ночью, — это была первая ночь после смерти сестры, — когда брат спал близ благоухающего жасминового куста, каждый колокольчик раскрылся, и оттуда вылетел невидимый, но вооруженный ядовитым копьем дух цветка. Все они подлетели к уху спящего и стали нашептывать ему дурные сны, потом сели на его губы и вонзили ему в язык свои ядовитые копы.

— Теперь мы отомстили за убитого! — сказали они и опять спрятались в белые колокольчики жасмина.

Утром окно в спальне вдруг распахнулось, и влетели эльф и царица пчел со своим роем; они явились убить злого брата.

Но он уже умер. Вокруг постели толпились люди и говорили:

— Его убил сильный запах цветов.

Тогда эльф понял, что то была месть цветов, и рассказал об этом царице пчел, а она со всем своим роем принялась летать и жужжать вокруг благоухающего куста. Нельзя было отогнать пчел, и один из присутствовавших хотел унести куст в другую комнату, но одна пчела ужалила его в руку, он уронил цветочный горшок, и тот разбился вдребезги.

Тут все увидели череп убитого и поняли, кто был убийца.

А царица пчел с шумом полетела по воздуху и жужжала о мести цветов, об эльфе и о том, что даже за самым крошечным лепестком скрывается кто-то, кто может рассказать о всяком преступлении и наказать преступника.



СВИНОПАС



ил-был бедный принц. Королевство у него было маленькое-премаленькое, но жениться все-таки было можно, а жениться-то принцу хотелось.

Разумеется, с его стороны было несколько смело заявить дочери императора: «Хочешь за меня?» Впрочем, он носил славное имя и знал, что сотни принцесс с благодарностью ответили бы на его предложение согласием. Да вот, ждите-ка этого от императорской дочки!

Послушаем же, как было дело.

На могиле покойного отца принца вырос розовый куст несказанной красоты; цвел он только раз в пять лет и распускалась на нем всего одна-единственная роза. Зато она разливала такой сладкий аромат, что, впивая его, можно было забыть все свои горести и заботы. Еще был у принца соловей, который пел так дивно, словно у него в горлышке были собраны все чудеснейшие мелодии, какие только есть на свете. И роза, и соловей назначены были в дар принцессе; их положили в большие серебряные ларцы и отослали к ней.

Император велел принести ларцы прямо в большую залу, где принцесса играла со своими фрейлинами «в гости» — других занятий у них не было. Увидев большие ларцы с подарками, принцесса захлопала от радости в ладоши.

— Ах, если бы тут была маленькая киска! — сказала она, но появилась прелестная роза.

— Ах, как это мило сделано! — сказали все фрейлины.

— Больше чем мило! — сказал император. — Это прямо недурно!

Но принцесса потрогала розу и чуть не заплакала.

— Фи, папа! — сказала она. — Она не искусственная, а настоящая!

— Фи! — сказали и все придворные. — Настоящая!

— Погодим сердиться! Посмотрим сначала, что в другом ларце! — возразил император, и вот из ларца появился соловей и запел так чудесно, что нельзя было найти в нем какого-нибудь недостатка.

— Superbe! Charmant! — сказали фрейлины; все они болтали по-французски, одна хуже другой.

— Как эта птичка напоминает мне органчик покойной императрицы! — сказал один старый придворный. — Да, тот же тон, та же манера давать звук!

— Да! — сказал император и заплакал, как ребенок.

— Надеюсь, что птица не настоящая! — сказала принцесса.

— Настоящая! — ответили ей доставившие подарки послы.

— Так пусть себе летит! — сказала принцесса и не позволила принцу явиться к ней самому.

Но принц не унывал, вымазал себе все лицо черной и бурой краской, нахлобучил шапку и постучался.

— Здравствуйте, император! — сказал он. — Не найдется ли у вас для меня во дворце какого-нибудь местечка?

— Много вас тут ходит да ищет! — ответил император. — Впрочем, постой, мне надо свинопаса! У нас пропасть свиней!

И вот принца утвердили придворным свинопасом и отвели ему жалкую крошечную каморку рядом со свинными закутками. Весь день просидел он за работой и к вечеру смастерил чудесный горшочек. Горшочек был весь увешан бубенчиками, и, когда в нем что-нибудь варили, бубенчики называли старую песенку:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

Занимательнее же всего было то, что, держа над поднимавшимся из горшочка паром руку, можно было узнать, какое у кого в городе готовилось кушанье. Да, уж горшочек не чета был какой-нибудь розе!

Вот принцесса отправилась со своими фрейлинами на прогулку и вдруг услышала мелодический звон бубенчиков. Она сразу остановилась и вся просияла: она тоже умела наигрывать на фортепиано «Ах, мой милый Августин». Только одну эту мелодию она и наигрывала, зато одним пальцем.

— Ах, ведь и я это играю! — сказала она. — Так свинопас-то у нас образованный! Слушайте, пусть кто-нибудь из вас пойдет и спросит у него, что стоит этот инструмент.

Одной из фрейлин пришлось надеть деревянные башмаки и пойти на задний двор.

— Что возьмешь за горшочек? — спросила она.

— Десять принцессиных поцелуев! — отвечал свинопас.

— Боже избави! — сказала фрейлина.

— А дешевле нельзя! — отвечал свинопас.

— Ну, что он сказал? — спросила принцесса.

— Право, и передать нельзя! — отвечала фрейлина. — Это ужасно!

— Так шепни мне на ухо!

И фрейлина шепнула принцессе.



— Вот невежа! — сказала принцесса и пошла было, но... бубенчики зазвенели так мило:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!

— Послушай! — сказала принцесса фрейлине. — Пойди спроси, не возьмет ли он десять поцелуев моих фрейлин?

— Нет, спасибо! — ответил свинопас. — Десять поцелуев принцессы — или горшочек останется у меня.

— Как это скучно! — сказала принцесса. — Ну, придется вам стать вокруг меня, чтобы никто не увидал нас!

Фрейлины обступили ее и растопырили свои юбки; свинопас получил десять принцессиных поцелуев, а принцесса — горшочек.

Вот была радость! Целый вечер и весь следующий день горшочек не сходил с очага, и в городе не осталось ни одной кухни, от камергерской до кухни простого сапожника, о которой бы они не знали, что в ней стряпалось. Фрейлины прыгали и хлопали в ладоши.

— Мы знаем, у кого сегодня сладкий суп и блинчики! Мы знаем, у кого каша и свиные котлеты! Как интересно!

— Еще бы! — подтвердила обер-гофмейстерина.

— Да, но держите язык за зубами: я ведь императорская дочка!

— Помилуйте! — сказали все.

А свинопас (то есть принц, но для них-то он был свинопасом) даром времени не терял и смастерил трещотку; когда ею начинали вертеть по воздуху, раздавались звуки всех вальсов и полек, какие только есть на белом свете.

— Но это superbe! — сказала принцесса, проходя мимо. — Вот так попури! Лучше этого я ничего не слыхала! Послушайте, спросите, что он хочет за этот инструмент. Но целоваться я больше не стану!

— Он требует сто принцессиных поцелуев! — доложила фрейлина, побывав у свинопаса.

— Да что он, в уме? — сказала принцесса и пошла своею дорогой, но сделала шага два и остановилась.

— Надо поощрять искусство! — сказала она. — Я ведь императорская дочь! Скажите ему, что я дам ему, по-вчерашнему, десять поцелуев, а остальные пусть дополучит с моих фрейлин!

— Ну, нам это вовсе не по вкусу! — сказали фрейлины.

— Пустяки! — сказала принцесса. — Уж если я могу целовать его, то вы и подавно! Не забывайте, что я кормлю вас и плачу вам жалованье!

И фрейлине пришлось еще раз отправиться к свинопасу.

— Сто принцессиных поцелуев! — повторил он. — А нет — каждый останется при своем.

— Становитесь вокруг! — скомандовала принцесса, и фрейлины обступили ее, а свинопас стал ее целовать.

— Что это за сборище у свинных закутов? — спросил, выйдя на балкон, император, протер глаза и надел очки. — Э, да это фрейлины опять что-то затеяли! Надо пойти посмотреть.

И он расправил задки своих туфель. Туфлями служили ему старые, стоптанные башмаки. Эх ты ну, как он зашлепал в них!

Придя на задний двор, он потихоньку подкрался к фрейлинам, а те все были ужасно заняты счетом поцелуев: надо же было следить за тем, чтобы расплата была честной и свинопас не получил ни больше, ни меньше, чем ему следовало. Никто поэтому не заметил императора, а он привстал на цыпочки.

— Это еще что за штуки! — сказал он, увидев целующихся, и швырнул в них туфель как раз в ту минуту, когда свинопас получал от принцессы восемьдесят шестой поцелуй. — Вон! — закричал рассерженный император и выгнал из своего государства и принцессу, и свинопаса.

Она стояла и плакала, свинопас бранился, а дождик так и поливал.

— Ах я несчастная! — сказала принцесса. — Что бы мне выйти за прекрасного принца! Ах, какая я несчастная!

А свинопас зашел за дерево, стер с лица черную и бурую краску, сбросил грязную одежду и явился перед ней во всем своем королевском величии и красе, так что принцесса невольно сделала реверанс.

— Теперь я только презираю тебя! — сказал он. — Ты не захотела выйти за честного принца! Ты не поняла толку в соловье и розе, а свинопаса целовала за игрушки! Поделом же тебе!

И он ушел к себе в королевство, крепко захлопнув за собой дверь. А ей оставалось стоять да петь:

Ах, мой милый Августин,
Все прошло, прошло, прошло!



ГРЕЧИХА

Часто после грозы видишь, что гречиха в поле спалена дочерна, будто по ней пробежал огонь; крестьяне в таких случаях говорят: «Это ее опалило молнией!» Но почему?

А вот что я слышал от воробья, которому рассказывала об этом старая ива, растущая возле гречишного поля, — дерево такое большое, почтенное и старое-престарое, все корявое, с трещиною посередине. Из трещины растет трава и ежевика; ветви дерева, словно длинные зеленые кудри, свешиваются до самой земли.

Другие поля вокруг ивы были засеяны рожью, ячменем и овсом — чудесным овсом, похожим, когда созреет, на веточки, усеянные маленькими желтенькими канарейками. Хлеба стояли прекрасные, и чем полнее были колосья, тем ниже склоняли они в благочестивом смирении свои головы к земле.

Тут же, возле самой ивы, было поле с гречихой; гречиха не склоняла головы, как другие хлеба, а держалась гордо и прямо.

— Я не беднее хлебных колосьев! — говорила она. — Да к тому же еще красивее. Мои цветы не уступят цветам яблони. Любо-дорого посмотреть! Знаешь ты, старая ива, кого-нибудь красивее меня?

Но ива только качала головой, как бы желая сказать: «Конечно, знаю!» А гречиха надменно говорила:

— Глупое дерево, у него от старости из желудка трава растет!

Вдруг поднялась страшная непогода; все полевые цветы свернули лепесточки и склонили головки долу; одна гречиха красовалась по-прежнему.

— Склони голову! — сказали ей цветы.

— Незачем! — отвечала гречиха.

— Склони голову, как мы! — закричали ей колосья. — Сейчас промчится под облаками ангел бури! Крылья его доходят до самой земли! Он снесет тебе голову прежде, чем ты успеешь взмолиться о пощаде!

— Ну а я все-таки не склоню головы! — сказала гречиха.

— Сверни лепестки и склони голову! — сказала ей и старая ива. — Не гляди на молнию, когда она раздирает облака! Сам человек не дерзает этого: в это время можно заглянуть в самое небо Господне, но за такой

грех Господь карает человека слепотой. Что же ожидает тогда нас? Мы, бедные полевые злаки, куда ниже, ничтожнее человека!

— Ниже? — сказала гречиха. — Так вот же я загляну в небо Господне!

И она в самом деле решилась на это в своем горделивом упорстве.

Весь мир словно загорелся от молний, когда же снова прояснилось, цветы и хлеба, освеженные и омытые дождем, радостно вдыхали в себя мягкий, чистый воздух. А гречиха была вся опалена молнией и никуда больше не годилась.

Старая ива тихо шевелила ветвями по ветру; с зеленых листьев падали крупные дождевые капли — дерево будто плакало, и воробьи спросили его:

— О чем ты? Посмотри, как славно кругом, как светит солнышко, как бегут облака! А что за аромат несется от цветов и кустов! О чем же ты плачешь, старая ива?

Тогда ива рассказала им о высокомерной гордости и казни гречихи, ведь гордость всегда бывает наказана. От воробьев же услышал эту историю и я: они прощепетали мне ее как-то раз вечером, когда я просил их рассказать мне сказку.



АНГЕЛ

Каждый раз, как умирает доброе, хорошее дитя, с неба является Божий ангел, берет дитя на руки и облетает с ним, на своих больших белых крыльях, все его любимые местечки. По пути ангел с ребенком набирают целый букет разных цветов и берут их с собою на небо, где они расцветают еще пышнее, чем на земле. Бог прижимает все цветы к своему сердцу, а один цветочек, который покажется ему милее всех, целует в самое сердечко; цветок получает тогда голос и может присоединиться к хору блаженных духов.

Все это рассказывал Божий ангел умершему ребенку, неся его в своих объятиях на небо; дитя слушало ангела, как сквозь сон. Они пролетали над теми лесами, где так часто играло дитя при жизни; пролетали над зелеными садами, где росло множество чудесных цветов.

— Какие же взять нам с собою на небо? — спросил ангел.

В саду стоял прекрасный, стройный розовый куст, но чья-то злая рука надломила его, так что ветви, усыпанные большими полураспустившимися бутонами, почти совсем завяли и печально повисли.

— Бедный куст! — сказала дитя. — Возьмем его, чтобы он опять расцвел там, у Боженьки!

Ангел взял куст и так крепко поцеловал дитя, что оно слегка открыло глазки. Потом они нарвали еще много пышных цветов, но кроме них взяли и скромный златоцвет, и простенькие анютины глазки.

— Ну вот, теперь и довольно! — сказал ребенок, но ангел покачал головой и полетел с ним дальше.

Ночь была тихая, светлая; весь город спал; они пролетали над одной из самых узких улиц. На мостовой валялась солома, зола и всякий хлам: черепки, обломки алебаstra, тряпки, старые донышки от шляп — словом, все, что уже отслужило свой век или потеряло всякий вид. Накануне как раз был день переезда с квартир¹.

¹ В Копенгагене квартиры нанимаются обыкновенно на полугодовой срок, с 1 марта по 1 сентября и с 1 сентября по 1 марта; эти-то два дня в году и служат днями общего переезда с квартиры на квартиру — *Примеч. перев.*

И ангел указал на валявшийся в этом хламе разбитый цветочный горшок, из которого торчал ком земли, весь оплетенный корнями большого полевого цветка; цветок завял и никуда больше не годился, его и выбросили.

— Возьмем его с собою! — сказал ангел. — Я расскажу тебе про этот цветок, пока мы летим!

И ангел стал рассказывать.

— На этой самой узкой улице, в низком подвале, жил бедный больной мальчик. С самых ранних лет он вечно лежал в постели; когда он чувствовал себя особенно хорошо, то проходил на костылях по своей каморке раза два взад и вперед — вот и все. Иногда летом солнышко заглядывало на полчаса и в подвал; тогда мальчик садился и, держа руки против света, любовался просвечивавшею в его тонких пальцах алою кровью; такое сидение на солнышке заменяло ему прогулку. О богатом весеннем уборе лесов он знал только потому, что сын соседа приносил ему весною первую распутившуюся буковую веточку; бедняжка держал ее над головой и переносился мыслью под зеленые буки, где сияло солнышко и распевали птички. Раз сын соседа принес мальчику и полевых цветов; между ними был один с корнем; мальчик посадил его в цветочный горшок и поставил на окно близ своей кровати. Видно, легкая рука посадила цветок: он принялся, стал расти, пускать новые отростки, каждый год цвел и был для мальчика целым садом, его маленьким земным сокровищем. Мальчик поливал его, ухаживал за ним и заботился о том, чтобы его не миновал ни один луч, который только пробирался в каморку. Ребенок жил и дышал своим любимцем, и тот цвел, благоухал и хорошел для него одного. И к цветку повернулся мальчик даже в ту последнюю минуту, когда его отзывал к себе Господь Бог... Вот уже целый год, как мальчик у Бога; целый год стоял цветок, всеми забытый, на окне, завял, засох и был выброшен на улицу вместе с прочим хламом. Этот-то бедный увядший цветочек мы и взяли с собой: он доставил собою куда больше радости, чем самый пышный цветок в саду королевы.

— Откуда же ты знаешь все это? — спросило дитя.

— Знаю! — отвечал ангел. — Ведь я сам был тем бедным калекою-мальчиком! Я узнал свой цветок!

И дитя широко-широко открыло глазки, вглядываясь в прелестное, радостное лицо ангела. В ту же самую минуту они очутились на небе у Бога, где царят вечные радость и блаженство. И Бог прижал к своему сердцу умершее дитя: у него выросли крылья, как у других ангелов, и он полетел рука об руку с ними. Бог прижал к сердцу и все цветы, поцеловал же только бедный увядший полевой цветок, и тот присоединил свой голос к хору ангелов, которые окружали Бога; одни летали возле него, другие — подальше, третьи — еще дальше и так до бесконечности, но все были равно блаженны. Все они пели и славили Бога: и малые, и большие, и доброе, только что умершее дитя, и бедный полевой цветочек, выброшенный на мостовую вместе с сором и хламом.



СОЛОВЕЙ

В Китае, как ты знаешь, и сам император, и все окружающие его — китайцы. Дело было давно, но потому-то и стоит о нем послушать, пока оно не забудется совсем! В целом мире не нашлось бы дворца лучше императорского: он весь был из драгоценнейшего фарфора, зато такой хрупкий, что страшно было до него и дотронуться. В саду росли чудеснейшие цветы; к самым лучшим из них привязывались серебряные колокольчики; звон их должен был обращать на цветы внимание каждого прохожего. Ишь как тонко было придумано! Сад тянулся далеко-далеко, так далеко, что и сам садовник не знал, где он кончается. Из сада можно было попасть прямо в густой лес; в чаще его таились глубокие озера, и доходил он до самого синего моря. Корабли проплывали под нависшими над водой вершинами деревьев, а в ветвях их жил соловей, который пел так чудесно, что его заслушивался, забывая о своем неводе, даже бедный, удрученный заботами рыбак. «Господи, как хорошо!» — вырывалось, наконец, у рыбака, но потом бедняк опять принимался за свое дело и забывал соловья, на следующую же ночь снова заслушивался его и снова повторял то же самое: «Господи, как хорошо!»

Со всех концов света стекались в столицу императора путешественники; все они дивились на великолепный дворец и на сад, но, услышав соловья, говорили: «Вот это лучше всего!»

Возвращаясь домой, путешественники рассказывали обо всем виденном; ученые описывали столицу, дворец и сад императора, но не забывали упомянуть и о соловье и даже ставили его выше всего; поэты слагали в честь крылатого певца, жившего в лесу, на берегу синего моря, чудеснейшие стихи.

Книги расходились по всему свету, и вот некоторые из них дошли до самого императора. Он восседал на своем золотом кресле, читал, читал и поминутно кивал головою: ему очень приятно было читать похвалы своей столице, дворцу и саду. «Но соловей лучше всего!» — стояло в книге.

— Что такое? — сказал император. — Соловей? А я ведь и не знаю его! Как? В моем государстве и даже в моем собственном саду

живет такая удивительная птица, а я ни разу и не слышал ее! Приходится вычитать о ней из книг!

И он позвал к себе первого из своих приближенных; этот напускал на себя такую важность, что, если кто-нибудь из людей попроще осмеливался заговорить с ним или спросить его о чем-нибудь, отвечал только: «пф», а это ведь ровно ничего не означает.

— Оказывается, что у нас здесь есть замечательная птица по имени соловей. Ее считают первой достопримечательностью моего государства! — сказал император. — Почему же мне ни разу не доложили о ней?

— Я даже и не слышал о ней! — отвечал первый приближенный. — Она никогда не была представлена ко двору!

— Я желаю, чтобы она была здесь и пела предо мною сегодня же вечером! — сказал император. — Весь свет знает, что у меня есть, а сам я не знаю!

— И не слыхивал о такой птице! — повторил первый приближенный. — Но я постараюсь разыскать ее!

Легко сказать! А где ее разыщешь?

Первый приближенный императора бегал вверх и вниз по лестницам, по залам и коридорам, но никто из встречных, к кому он ни обращался с расспросами, и не слыхивал о соловье. Первый приближенный вернулся к императору и доложил, что соловья-де, верно, выдумали книжные сочинители.

— Ваше величество не должны верить всему, что пишут в книгах: все это одни выдумки, так сказать, черная магия!..

— Но ведь эта книга прислана мне самим могущественнейшим повелителем Японии, и в ней не может быть неправды! Я хочу слышать соловья! Он должен быть здесь сегодня же вечером! Я объявляю ему мое высочайшее благоволение! Если же его не будет здесь в назначенное время, я прикажу после ужина надавать всем придворным палочных ударов по животу!

— Тзинг-пе! — сказал первый приближенный и опять забежал вверх и вниз по лестницам, по коридорам и залам; с ним бегала и добрая половина придворных: никому не хотелось отведать палок. У всех на языке был один вопрос: что это за соловей, которого знал весь свет, но ни одна душа при дворе?

Наконец на кухне нашли одну бедненькую девочку, которая сказала:

— Господи! Как не знать соловья! Вот уж поет-то! Мне позволено относить по вечерам моей бедной больной матушке остатки от обеда. Живет матушка у самого моря, и вот, когда я иду назад и сажусь отдохнуть в лесу, я каждый раз слышу пение соловья! Слезы так и текут у меня из глаз, а на душе становится так радостно, словно матушка целует меня!..

— Кухарочка! — сказал первый приближенный императора. — Я определяю тебя на штатную должность при кухне и выхлопочу тебе по-

звонение посмотреть, как кушает император, если ты сведешь нас к соловью! Он приглашен сегодня вечером ко двору!

И вот все отправились в лес, где обыкновенно распевал соловей; отправились туда чуть не половина всех придворных. Шли-шли, вдруг замычала корова.

— О! — сказали молодые придворные. — Вот он! Какая, однако, сила! И это у такого маленького созданища! Но мы положительно слышали его раньше!

— Это мычит корова! — сказала девочка. — Нам еще далеко до места.

В пруду заквакали лягушки.

— Чудесно! — сказал придворный бонза. — Теперь я слышу! Точь-в-точь наши колокольчики в молельне!

— Нет, это лягушки! — сказала опять девочка. — Но теперь, я думаю, скоро услышим и его!

И вот запел соловей.

— Вот это соловей! — сказала девочка. — Слушайте, слушайте! А вот и он сам! — И она указала пальцем на маленькую серенькую птичку, сидевшую в ветвях.

— Неужели! — сказал первый приближенный императора. — Никак не воображал себе его таким! Самая простая наружность! Верно, он потерял все свои краски при виде стольких знатных особ!

— Соловушка! — громко закричала девочка. — Наш милостивый император желает послушать тебя!

— Очень рад! — ответил соловей и запел так, что просто чудо.

— Словно стеклянные колокольчики звенят! — сказал первый приближенный. — Глядите, как работает это маленькое горлышко! Удивительно, что мы ни разу не слышали его раньше! Он будет иметь огромный успех при дворе!

— Спеть ли мне императору еще? — спросил соловей: он думал, что тут был и сам император.

— Несравненный соловушка! — сказал первый приближенный императора. — На меня возложено приятное поручение пригласить вас на имеющий быть сегодня вечером придворный праздник. Не сомневаюсь, что вы очаруете его величество своим дивным пением!

— Пение мое гораздо лучше слушать в зеленом лесу! — сказал соловей. — Но я охотно отправлюсь с вами, если так угодно императору.

При дворе шла суета и приготовления к празднику. В фарфоровых стенах и в полу сияли отражения сотен тысяч золотых фонариков; в коридорах рядами были расставлены чудеснейшие цветы с колокольчиками, которые от всей этой беготни, стукотни и сквозняка звенели так, что не слышно было человеческого голоса.

Посреди огромной залы, где сидел император, возвышался золотой шест для соловья. Все придворные были в полном сборе; позволили стоять в дверях и кухарочке — теперь ведь она получила звание лейб-поварихи. Все были разодеты в пух и прах и глаз не сводили с маленькой серенькой птички, которой император милостиво кивнул головой.

И соловей запел так дивно, что у императора выступили на глазах слезы и покатились по щекам. Тогда соловей залился еще громче, еще слаще; пение его так и хватало за сердце. Император был очень доволен и сказал, что жалует соловью свою золотую туфлю на шею. Но соловей поблагодарил и отказался, говоря, что довольно награжден и без того.

— Я видел на глазах императора слезы — какой еще награды желать мне! В слезах императора дивная сила! Бог видит — я награжден с избытком!

И опять зазвучал его чудный, сладкий голос.

— Вот самое очаровательное кокетство! — сказали придворные дамы и стали набирать в рот воды, чтобы она булькала у них в горле, когда они будут с кем-нибудь разговаривать.

Этим они думали походить на соловья. Даже лакеи и горничные объявили, что очень довольны, а это ведь много значит: известно, что труднее всего угодить этим особам. Да, соловей положительно имел успех.

Его оставили при дворе, отвели ему особую комнатку, разрешили гулять на свободе два раза в день и раз ночью и приставили к нему двенадцать лакеев; каждый держал его за привязанную к его ножке шелковую ленточку. Большое удовольствие было от такой прогулки!

Весь город заговорил об удивительной птице, и, если встречались на улице двое знакомых, один сейчас же говорил: «соло», а другой подхватывал: «вей!», после чего оба вздыхали, сразу поняв друг друга.

Одиннадцать сыновей мелочных лавочников получили имена в честь соловья, но ни у одного из них не было и признака голоса.

Раз императору доставили большой пакет с надписью: «Соловей».

— Ну вот еще новая книга о нашей знаменитой птице! — сказал император.

Но то была не книга, а затейливая штучка: в ящичке лежал искусственный соловей, похожий на настоящего, но весь осыпанный бриллиантами, рубинами и сапфирами. Стоило завести птицу — и она начинала петь одну из мелодий настоящего соловья и поводить хвостиком, который отливал золотом и серебром. На шейке у птицы была ленточка с надписью: «Соловей императора Японского жалок в сравнении с соловьем императора Китайского».

— Какая прелесть! — сказали все, и явившегося с птицей посланца императора Японского сейчас же утвердили в звании чрезвычайного императорского поставщика соловьев.

— Теперь пусть-ка споют вместе, вот будет дуэт!

Но дело не пошло на лад: настоящий соловей пел по-своему, а искусственный, как заведенная шарманка.

— Это не его вина! — сказал придворный капельмейстер. — Он безукоризненно держит такт и поет совсем по моей методе.

Искусственного соловья заставили петь одного. Он имел такой же успех, как настоящий, но был куда красивее: весь так и блестел драгоценностями!

Тридцать три раза пропел он одно и то же и не устал. Окружающие охотно послушали бы его еще раз, да император нашел, что надо заставить спеть и настоящего соловья. Но куда ж он девался?

Никто и не заметил, как он вылетел в открытое окно и унесся в свой зеленый лес.

— Что же это, однако, такое? — сказал император, а придворные называли соловья неблагодарною тварью.

— Лучшая-то птица у нас все-таки осталась! — сказали они, и искусственному соловью пришлось петь то же самое в тридцать четвертый раз.

Никто, однако, не успел еще выучить мелодии наизусть: такая она была трудная. Капельмейстер расхваливал искусственную птицу и уверял, что она даже выше настоящей, не только по платью и бриллиантам, но и по внутренним своим достоинствам.

— Что касается настоящего соловья, высокий повелитель мой, и вы, милостивые господа, то никогда нельзя знать заранее, что именно споет он, у искусственного же все известно наперед! Можно даже отдать себе полный отчет в его искусстве, можно разобрать его и показать все его внутреннее устройство — плод человеческого ума, расположение и действие валиков — все-все!

— Я как раз того же мнения! — сказал каждый из присутствовавших, и капельмейстер получил разрешение показать птицу в следующее же воскресенье народу.

— Надо и народу послушать ее! — сказал император.

Народ послушал и был очень доволен, как будто напился довесела чаем, ведь это совершенно по-китайски. От восторга все в один голос восклицали: «О!», поднимали вверх указательные пальцы и кивали головами. Но бедные рыбаки, слышавшие настоящего соловья, говорили:

— Недурно и даже похоже, но все-таки не то! Чего-то недостает в его пении, а чего — мы и сами не знаем!

Настоящего соловья объявили изгнанным из пределов государства.

Искусственная птица заняла место на шелковой подушке, возле императорской постели. Кругом нее были разложены все пожалованные ей драгоценности. Величали же ее теперь императорского ночного столика первым певцом с левой стороны: император считал более важною именно ту сторону, на которой находится сердце, а сердце находится

слева даже у императора. Капельмейстер написал об искусственном соловье двадцать пять томов книг, ученых-преученых и полных самых мудреных китайских слов.

Придворные, однако, говорили, что читали и поняли все, иначе ведь их прозвали бы дураками и отколотили палками по животу.

Так прошел целый год; император, весь двор и даже весь народ знали наизусть каждую нотку искусственного соловья, но потому-то пение его им так и нравилось: они сами могли теперь подпевать птице. Уличные мальчишки пели: «Ци-ци-ци! Клюк-клюк-клюк!» Сам император напевал то же самое. Ну что за прелесть!

Но раз вечером искусственная птица только что распелась перед императором, лежавшим в постели, как вдруг внутри нее зашипело, зажужжало, колеса завертелись, и музыка смолкла.

Император вскочил и послал за своим лейб-медиком, но что же мог тот поделать! Призвали часовщика, и этот после долгих разговоров и осмотров кое-как исправил птицу, но сказал, что с ней надо обходиться крайне бережно: зубчики поистерлись, а поставить новые так, чтобы музыка шла по-прежнему, верно, было нельзя. Вот так горе! Только раз в год, да и то едва-едва, позволили заводить птицу. Но капельмейстер произнес краткую, зато полную мудреных слов речь, в которой доказывал, что птица ничуть не сделалась хуже. Ну, значит, так оно и было.

Прошло еще пять лет, и страну постигло большое горе: все так любили императора, а он был, как говорили, при смерти. Провозгласили уже нового императора, но народ толпился на улице и спрашивал первого приближенного императора о здоровье своего старого повелителя.

— Пф! — отвечал приближенный и покачивал головой.

Бледный, похолодевший лежал император на своем великолепном ложе; все придворные считали его умершим, и каждый спешил поклониться новому императору. Лакеи бегали взад и вперед, перебрасываясь новостями, а горничные проводили приятные часы в болтовне за чашкой кофе. По всем залам и коридорам были разостланы ковры, чтобы не слышно было шума шагов, и во дворце стояла мертвая тишина. Но император еще не умер, хотя и лежал на своем великолепном ложе, под бархатным балдахином с золотыми кистями, совсем недвижимый и мертвенно-бледный. Сквозь раскрытое окно глядел на императора и искусственного соловья ясный месяц.

Бедный император почти не мог вздохнуть, и ему казалось, что кто-то сидит у него на груди. Он приоткрыл глаза и увидел, что на груди у него сидела смерть. Она надела на себя корону императора, забрала в одну руку его золотую саблю, а в другую — богатое знамя. Из складок бархатного балдахина выглядывали какие-то странные головы: одни гадкие и злые, другие добрые и милые на вид. То были злые и добрые дела императора, смотревшие на него в то время, как смерть сидела у него на груди.

— Помнишь это? — шептали головы одна за другой. — Помнишь это? — и рассказывали ему так много, что на лбу у него выступал холодный пот.

— Я и не знал об этом! — говорил император. — Музыку сюда, музыку! Большие китайские барабаны! Я не хочу слышать их речей!

Но они все продолжали, а смерть, как китаец, кивала на их речи головой.

— Музыку сюда, музыку! — кричал император. — Пой хоть ты, милая, славная, золотая птичка! Я одарил тебя золотом и драгоценностями, я повесил тебе на шею свою золотую туфлю, пой же, пой!

Но птица молчала: некому было завести ее, а иначе она петь не могла. Смерть продолжала смотреть на императора своими большими, пустыми глазами. В комнате было тихо-тихо.

Вдруг за окном раздалось чудное пение. То прилетел, узнав о болезни императора, утешить и ободрить его живой соловей. Он пел, и призраки все бледнели, кровь прилиwała и отливала к сердцу императора все живее и живее; сама смерть заслушалась соловья и все повторяла: «Пой, пой еще, соловушка!»

— А ты отдашь мне за это драгоценную саблю? А дорогое знамя? А корону? — спрашивал соловей.

И смерть отдавала одну драгоценность за другую, а соловей продолжал петь. Вот он запел наконец о тихом кладбище, где цветут белые розы, благоухает бузина и свежая трава орошается слезами живых, оплакивающих усопших... Смерть вдруг охватила такая тоска по своему саду, что она свилась в белый холодный туман и вылетела в окно.

— Спасибо, спасибо тебе, милая птичка! — сказал император. — Я узнал тебя! Я изгнал тебя из моего государства, а ты отогнала от моей постели ужасные призраки, отогнала саму смерть! Чем мне вознаградить тебя?

— Ты уже вознаградил меня раз навсегда! — сказал соловей. — Я видел слезы в твоих глазах в первый же раз, как пел перед тобою: этого я не забуду никогда! Слезы — вот драгоценнейшая награда для сердца певца. Но засни теперь и просыпайся здоровым и бодрым! А я буду баюкать тебя своею песней!

И он запел опять, а император заснул здоровым, благодатным сном. Когда он проснулся, в окна уже светило солнце. Никто из его слуг еще не заглядывал к нему: все думали, что он умер, один соловей сидел у окна и пел.

— Ты должен остаться у меня навсегда! — сказал император. — Ты будешь петь, только когда сам захочешь, а искусственную птицу я разобью вдребезги!

— Не надо! — сказал соловей. — Она принесла столько пользы, сколько могла! Пусть она остается у тебя по-прежнему! Я же не могу

жить во дворце. Позволь мне только прилетать к тебе, когда захочу. Тогда я каждый вечер буду садиться у твоего окна и петь тебе: моя песня и порадует тебя, и заставит задуматься. Я буду петь тебе о счастливых и о несчастных, о добре и о зле, что таятся вокруг тебя. Маленькая певчая птичка летает повсюду, залетает и под крышу бедного рыбака и поселянина, которые живут вдали от тебя. Я люблю тебя за твое сердце больше, чем за твою корону, и все же корона окружена каким-то особым священным обаянием! Я буду прилетать и петь тебе! Но обещай мне одно!..

— Все! — сказал император и встал во всем своем царственном величии: он успел надеть на себя свое царское одеяние и прижимал к сердцу тяжелую золотую саблю.

— Об одном прошу я тебя: не говори никому, что у тебя есть маленькая птичка, которая рассказывает тебе обо всем. Так дело пойдет лучше!

И соловей улетел.

Слуги вошли поглядеть на мертвого императора и застыли на пороге, а император сказал им:

— Здравствуйте!



БЕЗОБРАЗНЫЙ УТЕНОК

Хорошо было за городом! Стояло лето, рожь уже пожелтела, овсы зеленели, сено было сметано в стога; по зеленому лугу расхаживал длинноногий аист и болтал по-египетски — он выучился этому языку от матери. За полями и лугами шли большие леса с глубокими озерами в чаще. Да, хорошо было за городом! Прямо на солнышке лежала старая усадьба, окруженная глубокими канавами с водой; от самого строения вплоть до воды рос лопух, да такой большой, что маленькие ребятишки могли стоять под самыми крупными из его листьев во весь рост. В самой чаще лопуха было так же глухо и дико, как в густом лесу, и вот там-то сидела на яйцах утка. Сидела она уже давно, и ей порядком надоело это сидение — ее мало навещали: другим уткам больше нравилось плавать по канавкам, чем сидеть в лопухе да кричать с нею.

Наконец яичные скорлупки затрещали.

— Пи! Пи! — послышалось из них, яичные желтки ожили и повысунули из скорлупок носики.

— Живо! Живо! — закричала утка, и утята заторопились, кое-как выкарабкались и начали озиаться кругом, разглядывая зеленые листья лопуха; мать не мешала им — зеленый свет полезен для глаз.

— Как мир велик! — сказали утята.

Еще бы! Теперь у них было куда больше места, чем тогда, когда они лежали в яйцах.

— А вы думаете, что тут и весь мир? — сказала мать. — Нет! Он идет далеко-далеко, туда, за сад, в поле священника, но там я отроду не бывала!.. Ну, все, что ли, вы тут? — И она встала. — Ах, нет, не все! Самое большое яйцо целехонько! Да скоро ли этому будет конец! Право, мне уж надоело.

И она уселась опять.

— Ну, как дела? — заглянула к ней старая утка.

— Да вот еще одно яйцо остается! — сказала молодая утка. — Сижу, сижу, а все толку нет! Но посмотри-ка на других! Просто прелесть! Ужасно похожи на отца! А он-то, негодный, и не навестил меня ни разу!

— Постой-ка, я взгляну на яйцо! — сказала старая утка. — Может статься, это индюшечье яйцо! Меня тоже надули раз! Ну и маялась же я, как вывела индюшат! Они страсть как боятся воды; уж я и крякала, и звала, и толкала их в воду — не идут, да и конец! Дай мне взглянуть на яйцо! Ну, так и есть! Индюшечье! Брось-ка его да ступай, учи других плавать!

— Посижу уж еще! — сказала молодая утка. — Сидела столько, что можно посидеть и еще немножко.

— Как угодно! — сказала старая утка и ушла.

Наконец затрещала скорлупка и самого большого яйца.

— Пи! Пи! — и оттуда вывалился огромный некрасивый птенец. Утка оглядела его.

— Ужасно велик! — сказала она. — И совсем не похож на остальных! Неужели это индюшонок? Ну да в воде-то он у меня побывает, хоть бы мне пришлось столкнуть его туда силой!

На другой день погода стояла чудесная, зеленый лопух весь был залит солнцем. Утка со всею своею семьей отправилась к канаве. Бултых! — и утка очутилась в воде.

— За мной! Живо! — позвала она утят, и те один за другим тоже бултыхнулись в воду.

Сначала вода покрывала их с головками, но затем они вынырнули и поплыли так, что любо. Лапки у них так и работали; некрасивый серый утенок не отставал от других.

— Какой же это индюшонок? — сказала утка. — Ишь как славно гребет лапками, как прямо держится! Нет, это мой собственный сын! Да он вовсе и не дурен, как посмотришь на него хорошенько! Ну, живо, живо, за мной! Я сейчас введу вас в общество: мы отправимся на птичий двор. Но держитесь ко мне поближе, чтобы кто-нибудь не наступил на вас, да берегитесь кошек!

Скоро добрались и до птичьего двора. Батюшки! Что тут был за шум и гам! Две семьи дрались из-за одной угриной головки, и в конце концов она досталась кошке.

— Вот как идут дела на белом свете! — сказала утка и облизнула язычком клюв: ей тоже хотелось отведать угриной головки. — Ну, ну, шевелите лапками! — сказала она утятам. — Крякните и поклонитесь вон той старой утке! Она здесь знатнее всех! Она испанской породы и потому такая жирная. Видите, у нее на лапке красный лоскуток? Как красиво! Это знак высшего отличия, какого только может удостоиться утка. Люди дают этим понять, что не желают потерять ее; по этому лоскутку ее узнают и люди, и животные. Ну, живо! Да не держите лапки вместе! Благовоспитанный утенок должен держать лапки врозь и выворачивать их наружу, как папаша с мамашей! Вот так! Кланяйтесь теперь и крякайте!

Они так и сделали, но другие утки оглядывали их и громко говорили: — Ну, вот еще целая орава! Точно нас мало было! А один-то какой безобразный! Его уж мы не потерпим!

И сейчас же одна утка подскочила и клюнула его в шею.

— Оставьте его! — сказала утка-мать. — Он вам ведь ничего не сделал!

— Положим, но он такой большой и странный! — отвечала забияка. — Ему и надо задать хорошенько!

— Славные у тебя детки! — сказала старая утка с красным лоскутком на лапке. — Все очень милы, кроме одного... Этот не удался! Хорошо бы его переделать!

— Никак нельзя, ваша милость! — ответила утка-мать. — Он некрасив, но у него доброе сердце, и плавать он не хуже, смею даже сказать, лучше других. Я думаю, что он вырастет, похорошеет или станет со временем поменьше. Он залежался в яйце, оттого и не совсем удался. — И она провела носиком по перышкам большого утенка. — Кроме того, он селезень, а ему красота не так нужна. Я думаю, что он возмужает и пробьет себе дорогу!

— Остальные утята очень-очень милы! — сказала старая утка. — Ну, будьте же как дома, а найдете угрюмую головку, можете принести ее мне.

Вот они и стали вести себя, как дома. Только бедного утенка, который вылутился позже всех и был такой безобразный, клевали, толкали и осыпали насмешками решительно все — и утки, и куры.

— Он больно велик! — говорили все, а индюк, который родился со шпорами на ногах и потому воображал себя императором, надулся и, словно корабль на всех парусах, подлетел к утенку, поглядел на него и пресердито залопотал; гребешок у него так весь и налился кровью. Бедный утенок просто не знал, что ему делать, как быть. И надо же ему было уродиться таким безобразным посмешищем для всего птичьего двора!

Так прошел первый день, затем пошло еще хуже. Все гнали бедняжку, даже братья и сестры сердито говорили ему: «Хоть бы кошка утащила тебя, несносного урода!» — а мать прибавляла: «Глаза бы мои тебя не видали!» Утки клевали его, куры щипали, а девушка, которая давала птицам корм, толкала ногою.

Не выдержал утенок, перебежал двор и — через изгородь! Маленькие птички испуганно вспорхнули из кустов.

«Они испугались меня — такой я безобразный!» — подумал утенок и пустился с закрытыми глазами дальше, пока не очутился в болоте, где жили дикие утки. Усталый и печальный он просидел тут всю ночь.

Утром утки вылетели из гнезд и увидали нового товарища.

— Ты кто такой? — спросили они, а утенок вертелся, раскланиваясь на все стороны, как умел.

— Ты пребезобразный! — сказали дикие утки. — Но нам до этого нет дела, только не вздумай породниться с нами!

Бедняжка! Где уж ему было и думать об этом! Лишь бы позволили ему посидеть тут в камышах да попить болотной водицы.

Два дня провел он в болоте, на третий явились два диких гусака. Они недавно вылупились из яиц и потому выступали с большим форсом.

— Слушай, дружище! — сказали они. — Ты такой урод, что, право, нравишься нам! Хочешь бродить с нами и быть вольной птицей? Недалеко отсюда, в другом болоте, живут премиленькие дикие гусыни-барышни. Они умеют говорить «рап, рап!» Ты такой урод, что — чего доброго — будешь иметь у них большой успех!

«Пиф! паф!» — раздалось вдруг над болотом, и оба гусака упали в камыши мертвыми: вода окрасилась кровью. «Пиф! паф!» — раздалось опять, и из камышей поднялась целая стая диких гусей. Пошла пальба. Охотники окружили болото со всех сторон; некоторые из них сидели в нависших над болотом ветвях деревьев. Голубой дым облаками окутывал деревья и стлался над водой. По болоту шлепали охотничьи собаки; камыш качался из стороны в сторону. Бедный утенок был ни жив ни мертв от страха и только хотел спрятать голову под крыло, как глядь — перед ним охотничья собака с высунутым языком и сверкающими злыми глазами. Она приблизила к утенку свою пасть, оскалила острые зубы и — шлеп, шлеп — побежала дальше.

— Слава Богу! — перевел дух утенок. — Слава Богу! Я так безобразен, что даже собаке не хочется укусить меня!

И он притаился в камышах; над головою его то и дело летали дробинки, раздавались выстрелы.

Пальба стихла только к вечеру, но утенок долго еще боялся пошевелиться. Прошло еще несколько часов, пока он осмелился встать, оглядеться и пуститься бежать дальше по полям и лугам. Дул такой сильный ветер, что утенок еле-еле мог двигаться.

К ночи он добежал до бедной избушки. Избушка так уже обветшала, что готова была упасть, да не знала, на какой бок, оттого и держалась. Ветер так и подхватывал утенка — приходилось упираться в землю хвостом!

Ветер, однако, все крепчал; что было делать утенку? К счастью, он заметил, что дверь избушки соскочила с одной петли и висит совсем криво: можно было свободно проскользнуть через эту щель в избушку. Так он и сделал.

В избушке жила старушка с котом и курицей. Кота она звала сыночком; он умел выгибать спинку, мурлыкать и даже испускать искры, если его гладили против шерсти. У курицы были маленькие, коротенькие ножки, ее и прозвали Коротконожкой; она прилежно несла яйца, и старушка любила ее, как дочку.

Утром пришельца заметили: кот начал мурлыкать, а курица хлопать.

— Что там? — спросила старушка, осмотрелась кругом и заметила утенка, но по слепоте своей приняла его за жирную утку, которая отбилась от дому.

— Вот так находка! — сказала старушка. — Теперь у меня будут утиные яйца, если только это не селезень. Ну да увидим, испытаем!

И утенка приняли на испытание, но прошло недели три, а яиц все не было. Господином в доме был кот, а госпожою курица, и оба всегда говорили: «Мы и свет!» Они считали самих себя половиной всего света, притом — лучшею его половиной. Утенку же казалось, что можно на этот счет быть и другого мнения. Курица, однако, этого не потерпела.

— Умеешь ты нести яйца? — спросила она утенка.

— Нет!

— Так и держи язык на привязи!

А кот спросил:

— Умеешь ты выгибать спинку, мурлыкать и испускать искры?

— Нет!

— Так и не суйся со своим мнением, когда говорят умные люди!

И утенок сидел в углу, нахохлившись. Вдруг вспомнились ему свежий воздух и солнышко, и ему страшно захотелось поплавать. Он не выдержал и сказал об этом курице.

— Да что с тобой?! — спросила она. — Бездельничаешь, вот тебе блажь в голову и лезет! Неси-ка яйца или мурлычь — дурь-то и пройдет!

— Ах, плавать по воде так приятно! — сказал утенок. — А что за наслаждение нырять в самую глубь с головой!

— Хорошо наслаждение! — сказала курица. — Ты совсем рехнулся! Спроси у кота — он умнее всех, кого я знаю, — нравится ли ему плавать или нырять! О себе самой я уж не говорю! Спроси, наконец, у нашей старушки госпожи: умнее ее нет никого в свете! По-твоему, и ей хочется плавать или нырять с головой?

— Вы меня не понимаете! — сказал утенок.

— Если уж мы не понимаем, так кто тебя и поймет! Что ж, ты хочешь быть умнее кота и госпожи, не говоря уже обо мне? Не дури, а благодари-ка лучше Создателя за все, что для тебя сделали! Тебя приютили, пригрели, тебя окружает такое общество, в котором ты можешь чему-нибудь научиться, но ты — пустая голова, и говорить-то с тобой не стоит! Уж поверь мне! Я желаю тебе добра, потому и браню тебя: по этому всегда узнаются истинные друзья! Старайся же нести яйца или выучись мурлыкать да пускать искры!

— Я думаю, мне лучше уйти отсюда куда глаза глядят! — сказал утенок.

— И с Богом! — отвечала курица.

И утенок ушел, плавал и нырял с головой, но все животные по-прежнему презирали его за безобразие.

Настала осень; листья на деревьях пожелтели и побурели; ветер подхватывал и кружил их по воздуху; наверху, в небе, стало так холодно, что тяжелые облака сеяли градом и снегом, а на изгороди сидел ворон и каркал от холода во все горло. Брр! Замерзнешь при одной мысли о таком холоде! Плохо приходилось бедному утенку.

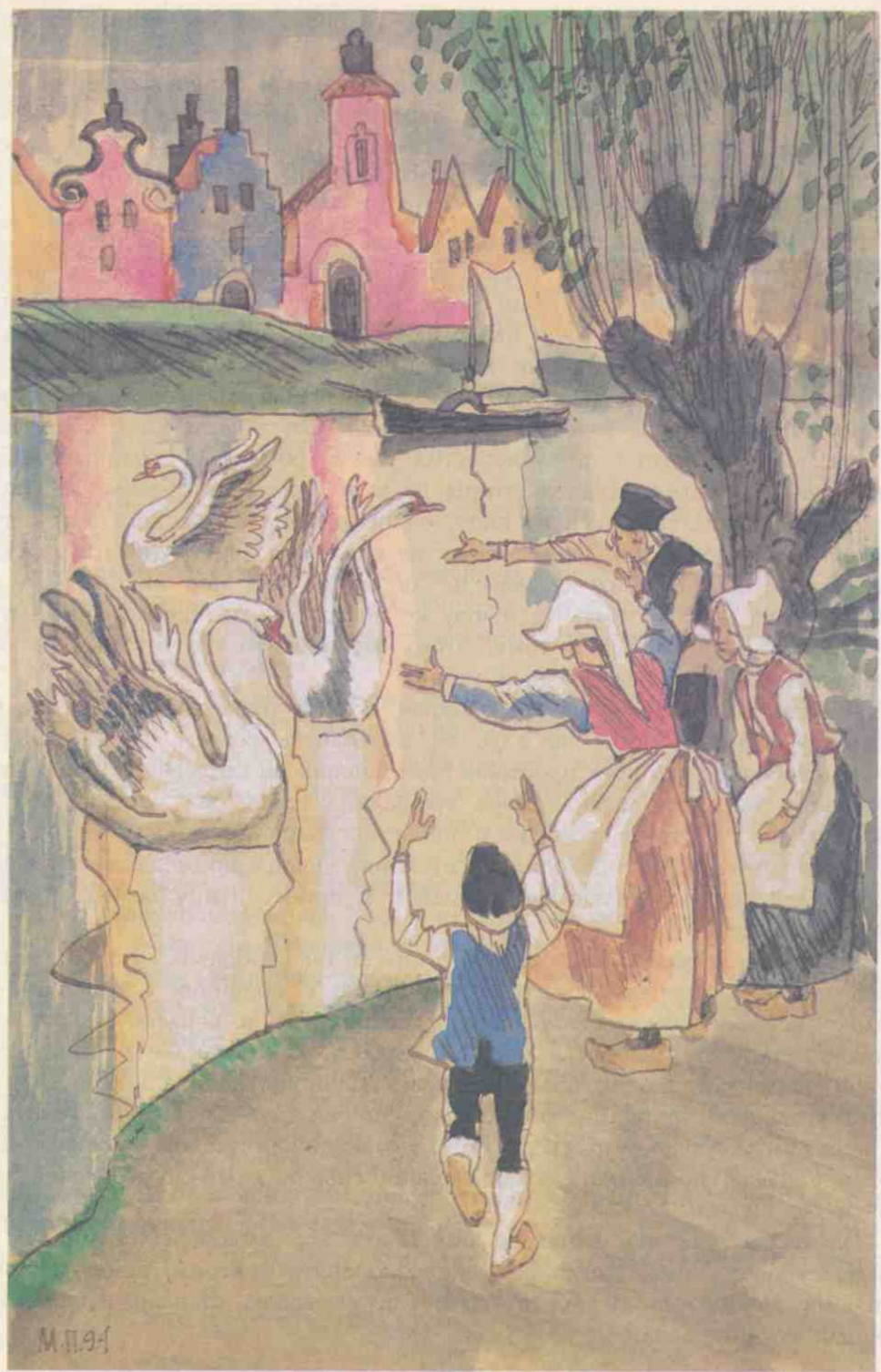
Раз вечером, когда солнышко еще так славно сияло на небе, из-за кустов поднялась целая стая чудных больших птиц; утенок сроду не видал таких красавцев: все они были белы как снег, с длинными, гибкими шеями! То были лебеди. Они испустили какой-то странный крик, взмахнули великолепными большими крыльями и полетели с холодных лугов в теплые края, за синее море. Они поднялись высоко-высоко, а бедного утенка охватило какое-то странное волнение. Он завертелся в воде, как волчок, вытянул шею и тоже испустил такой громкий и странный крик, что и сам испугался. Чудные птицы не шли у него из головы, и, когда они окончательно скрылись из виду, он нырнул на самое дно, вынырнул опять и был словно вне себя. Утенок не знал, как зовут этих птиц, куда они летели, но полюбил их, как не любил до сих пор никого. Он не завидовал их красоте: ему и в голову не могло прийти пожелать походить на них; он рад бы был и тому, чтоб хоть утки-то его от себя не отталкивали. Бедный безобразный утенок!

А зима стояла холодная-прехолодная. Утенку приходилось плавать по воде без отдыха, чтобы не дать ей замерзнуть совсем, но с каждою ночью свободное ото льда пространство становилось все меньше и меньше. Морозило так, что ледяная кора трещала. Утенок без усталости работал лапками, но под конец обессилел, приостановился и весь обмерз.

Рано утром мимо проходил крестьянин, увидал примерзшего утенка, разбил лед своим деревянным башмаком и принес птицу домой к жене. Утенка отогрели.

Но вот дети вздумали поиграть с ним, а он вообразил, что они хотят обидеть его, и шарахнулся со страха прямо в подойник с молоком — молоко все расплескалось. Женщина вскрикнула и всплеснула руками; утенок между тем влетел в кадку с маслом, а оттуда — в бочонок с мукой. Батюшки, на что он был похож! Женщина вопила и гонялась за ним с угольными щипцами, дети бегали, сшибая друг друга с ног, хохотали и визжали. Хорошо, что дверь стояла отворенной: утенок выбежал, кинулся в кусты прямо на свежавывающий снег и долго-долго лежал там почти без чувств.

Было бы чересчур печально описывать все злоключения утенка во время суровой зимы. Когда же солнышко опять пригрело землю своими теплыми лучами, он лежал в болоте, в камышах. Запели жаворонки, пришла весна-красна.



Утенок взмахнул крыльями и полетел; теперь крылья его шумели и были куда крепче прежнего. Не успел он опомниться, как уже очутился в большом саду. Яблони стояли все в цвету, душистая сирень склоняла свои длинные зеленые ветви над извилистым каналом.

Ах, как тут было хорошо, как пахло весной! Вдруг из чащи тростника выплыли три чудных белых лебедя. Они плыли так легко и плавно, точно скользили по воде. Утенок узнал красивых птиц, и его охватила какая-то странная грусть.

«Полечу-ка я к этим царственным птицам; они, наверное, убьют меня за мою дерзость, за то, что я, такой безобразный, осмелился приблизиться к ним, но пусть! Лучше быть убитым ими, чем сносить щипки уток и кур, толчки птичницы да терпеть холод и голод зимою!»

И он слетел в воду и поплыл навстречу красавцам лебедям, которые, завидя его, тоже устремились к нему.

— Убейте меня! — сказал бедняжка и опустил голову, ожидая смерти, но что же увидел он в чистой, как зеркало, воде? Свое собственное отражение, но он был уже не безобразною темно-серою птицей, а — лебедем!

Не беда появиться на свет в утином гнезде, если вылупился из лебединого яйца!

Теперь он был рад, что перенес столько горя и бедствий: он лучше мог теперь оценить свое счастье и все окружавшее его великолепие. Большие лебеди плавали вокруг него и ласкали его, глядя клювами по перышкам.

В сад прибежали маленькие дети; они стали бросать лебедям хлебные крошки и зерна, а самый маленький из них закричал:

— Новый, новый!

И все остальные подхватили:

— Да, новый, новый! — хлопали в ладоши и приплясывали от радости; потом побежали за отцом с матерью, и опять бросали в воду крошки хлеба и пирожного.

Все говорили, что новый красивее всех. Такой молоденький, прелестный!

И старые лебеди склонили перед ним головы.

А он совсем смутился и спрятал голову под крыло, сам не зная зачем. Он был чересчур счастлив, но нисколько не гордился: доброе сердце не знает гордости, помня то время, когда все его презирали и гнали. А теперь все говорят, что он прекраснейший между прекрасными птицами! Сирень склоняла к нему в воду свои душистые ветви; солнышко светило так славно... И вот крылья его зашумели, стройная шея выпрямилась, а из груди вырвался ликующий крик:

— Нет, о таком счастье я и не мечтал, когда был еще безобразным утенком!

В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь; кругом же росли подруги постарше — и ели, и сосны. Елочке ужасно хотелось поскорее вырасти; она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе, не было ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что собирали по лесу землянику и малину; набрав полные корзиночки или нанизав ягоды, словно бусы, на тонкие прутики, они присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили:

— Вот славная елочка! Хорошенькая, маленькая!

Таких речей деревце и слушать не хотело.

Прошел год, и у елочки прибавилось одно коленце, прошел еще год, прибавилось еще одно — так, по числу коленцев, и можно узнать, сколько дереву лет.

— Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья! — вздыхала елочка. — Тогда бы и я широко раскинула свои ветви, высоко подняла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг! Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, и я при ветре так же важно кивала бы головой, как другие!

И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия.

Стояла зима; земля была устлана сверкающим снежным ковром; по снегу нет-нет да пробегал заяц и иногда даже перепрыгивал через елочку — вот обида! Но прошло еще две зимы, и к третьей деревце подросло уже настолько, что зайцу приходилось обходить его кругом.

«Да, расти, расти и поскорее сделаться большим, старым деревом — что может быть лучше этого!» — думалось елочке.

Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Елочка каждый раз дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их! Потом их укладывали на дровни и увозили из леса.

Куда? Зачем?

Весною, когда прилетели ласточки и аисты, деревце спросило у них: — Не знаете ли, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их?

Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал:

— Да, пожалуй! Я встречал на море, по пути из Египта, много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они!

— Ах, поскорей бы и мне вырасти да пуститься в море! А каково это море, на что оно похоже?

— Ну, это долго рассказывать! — ответил аист и улетел.

— Радуйся своей юности! — говорили елочке солнечные лучи. — Радуйся своему здоровому росту, своей молодости и жизненным силам!

И ветер целовал дерево, роса проливалась над ним слезы, но ель ничего этого не ценила.

Незадолго до Рождества срубили несколько совсем молоденьких елок; некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так хотелось поскорее вырасти. Все срубленные деревца были прехорошенькие; их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса.

— Куда? — спросила ель. — Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли?

— Мы знаем! Мы знаем! — прочирикали воробьи. — Мы были в городе и заглядывали в окна! Мы знаем, куда их повезли! Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя! Мы заглядывали в окна и видели! Их ставят посреди теплой комнаты и украшают чудеснейшими вещами: золочеными яблоками, медовыми пряниками и тысячами свечей!

— А потом?.. — спросила ель, дрожа всеми ветвями. — А потом?.. Что было с ними потом?

— А больше мы ничего не видали! Но это было бесподобно!

— Может быть, и я пойду такую же блестящую дорогой! — радовалась ель. — Это получше, чем плавать по морю! Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения! Хоть бы поскорее пришло Рождество! Теперь и я стала такую же высокою и раскидистою, как те, что были срублены в прошлом году! Ах, если б я уже лежала на дровнях! Ах, если б я уже стояла, разубранная всеми этими прелестями, в теплой комнате! А потом что?.. Потом, верно, будет еще лучше, иначе зачем бы и наряжать меня?.. Только что именно? Ах, как я тоскую и рвусь отсюда! Просто и сама не знаю, что со мной!

— Радуйся нам! — сказали ей воздух и солнечный свет. — Радуйся своей юности и лесному приволью!

Но она и не думала радоваться, а все росла да росла. И зиму, и лето стояла она в своем зеленом уборе, и все, кто видел ее, говорили: «Вот чудесное деревце!» Подошло, наконец, и Рождество, и елочку сру-

били первую. Жгучая боль и тоска не дали ей даже и подумать о будущем счастье; грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла: она ведь знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг — елей и сосен, кустов, цветов, а может быть, даже и птичек! Как тяжело, как грустно!..

Деревце пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос:

— Чудесная елка! Таковую-то нам и нужно!

Явились двое разодетых слуг, взяли елку и внесли ее в огромную великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках; повсюду были расставлены кресла-качалки, шелковые диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками на несколько сот далеров — так, по крайней мере, говорили дети. Елку посадили в большую кадку с песком, обернули кадку зеленою материей и поставили на пестрый ковер. Как трепетала елочка! Что-то теперь будет? Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли полные сластей маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги, золоченые яблоки и орехи и закачались куклы — ни дать ни взять живые человечки; таких елка еще и не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек, а к самой верхушке елки — большую звезду из сусального золота. Ну просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие!

— Как заблестит, засияет елка вечером, когда зажгутся свечки! — сказали все.

«Ах! — подумала елка, — хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечки! А что же будет потом? Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня, другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробы? Или, может быть, я врасу в эту кадку и буду стоять тут такою нарядной и зиму и лето?»

Да, много она знала!.. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора, а это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль.

Но вот зажгли свечи. Что за блеск, что за роскошь! Елка задрожала всеми ветвями, одна из свечек подпалила зеленые иглы, и елочка предельно обожглась.

— Ай-ай! — закричали барышни и поспешно затушили огонь.

Больше елка дрожать не смела. И напугалась же она! Особенно потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял ее... Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей; можно было подумать, что они намеревались свалить дерево! За ними степенно вошли старшие. Малыши остановились как вкопанные, но лишь на минуту, а там поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки, и мало-помалу все подарки с нее были посорваны.

«Что же это они делают! — думала елка. — Что это значит?»

Свечки догорели, их потушили, а детям позволили ободрать дерево. Как они набросились на него! Только ветви трещали! Не будь елка крепко привязана верхушкой с золотой звездой к потолку, они бы повалили ее.

Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и та высматривала только, не осталось ли где в ветвях яблочка или финика.

— Сказку! Сказку! — закричали дети и подтащили к елке маленького толстенького господина.

Он уселся под деревом и сказал:

— Вот мы и в лесу! Да и елка, кстати, послушает! Но я расскажу только одну сказку! Какую хотите: про Иведе-Аведе или про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки вошел в честь и добыл себе принцессу?

— Про Иведе-Аведе! — закричали одни.

— Про Клумпе-Думпе! — кричали другие.

Поднялся крик и шум; одна елка стояла смирно и думала: «А мне разве нечего больше делать?»

Она уж сделала свое дело!

И толстенький господин рассказал про Клумпе-Думпе, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки вошел в честь и добыл себе принцессу.

Дети захлопали в ладоши и закричали: «Еще, еще!» Они хотели послушать и про Иведе-Аведе, но остались при одном Клумпе-Думпе.

Тихо, задумчиво стояла елка: лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. «Клумпе-Думпе свалился с лестницы, и все же ему досталась принцесса! Да, вот что бывает на белом свете!» — думала елка: она вполне верила всему, что сейчас слышала, — рассказывал ведь такой почтенный господин. «Да, да, кто знает! Может быть, и мне придется свалиться с лестницы, а потом и мне достанется принцесса!» И она с радостью думала о завтрашнем дне: ее опять украсят свечками, игрушками, золотом и фруктами! «Завтра уж я не задрожу!» — думала она. — Я хочу как следует насладиться своим великолепием! И завтра я опять услышу сказку про Клумпе-Думпе, а может статься, и про Иведе-Аведе». И деревце смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне.

Потуру явились слуга и горничная. «Сейчас опять начнут меня украшать!» — подумала елка, но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет.

«Что же это значит? — думалось елке. — Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» И она прислонилась к стене и все думала, думала... Времени на это было довольно: проходили дни и ночи — никто не загля-

дывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось, забыли.

«На дворе зима! — думала елка. — Земля затвердела и покрыта снегом: нельзя, значит, снова посадить меня в землю, вот и приходится постоять под крышей до весны! Как это умно придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто!.. Нет даже ни единого зайчика!.. А в лесу-то как было весело! Кругом снег, а по снегу скачут зайчики! Хорошо было... Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило! А тут как пусто!»

— Пи-пи! — пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки, за ним еще несколько. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж его ветвями.

— Ужасно холодно здесь! — сказали мышата. — А то совсем бы хорошо было! Правда, старая елка?

— Я вовсе не старая! — отвечала ель. — Есть много деревьев по-старше меня!

— Откуда ты и что ты знаешь? — спросили мышата; они были ужасно любопытны. — Расскажи нам, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока и где можно плясать по сальным свечкам? Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым!

— Нет, такого места я не знаю! — сказала ель. — Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички!

И она рассказала им о своей юности; мышата никогда не слышали ничего подобного, выслушали рассказ елки и потом сказали:

— Как же ты много видела. Как ты была счастлива!

— Счастлива? — сказала ель и задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. — Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно!

Затем она рассказала им про тот вечер, когда была разубрана пряниками и свечками.

— О! — сказали мышата. — Как же ты была счастлива, старая елка!

— Я совсем еще не стара! — возразила ель. — Я взята из леса только нынешнею зимой! Я в самой поре! Только что вошла в рост!

— Как ты чудесно рассказываешь! — сказали мышата и на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым тоже надо было послушать рассказы елки. А сама ель чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое, и ей казалось, что она пережила много хороших дней.

— Но они же вернутся! Вернутся! И Клумпе-Думпе упал с лестницы, а все-таки ему досталась принцесса! Может быть, и мне тоже достанется принцесса!

При этом дерево вспомнило хорошенькую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него, — она казалась ему настоящей принцессой.

— Кто это Клумпе-Думпе? — спросили мышата, и ель рассказала им всю сказку; она запомнила ее слово в слово. Мышата от удовольствия чуть не прыгали до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышат, но теперь и они перестали уже так восхищаться сказкою, как прежде.

— Вы только одну эту историю и знаете? — спросили крысы.

— Только! — отвечала ель. — Я слышала ее в счастливейший вечер в моей жизни; тогда-то я, впрочем, еще не сознавала этого!

— В высшей степени жалкая история! Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечки? Про кладовую?

— Нет! — ответило дерево.

— Так счастливо оставаться! — сказали крысы и ушли.

Мышата тоже разбежались, и ель вздохнула:

— А ведь славно было, когда эти резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы! Теперь и этому конец... Но уж теперь я не упущу своего, порадуюсь хорошенько, когда наконец снова выйду на белый свет!

Не так-то скоро это случилось!

Однажды утром явились люди прибрать чердак. Ящики были вытащены, а за ними и ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз.

«Ну, теперь для меня начнется новая жизнь!» — подумала елка.

Вот на нее повеяло свежим воздухом, блеснул луч солнца — ель очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на самое себя. Двор примыкал к саду; в саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивались свежие благоухающие розы, липы были покрыты цветом, ласточки летали взад и вперед и щебетали:

— Квир-вир-вит! Мой муж вернулся!

Но это не относилось к ели.

— Теперь и я заживу! — радовалась ель и расправила свои ветви. Ах, как они поблекли и пожелтели!

Дерево лежало в углу двора, на крапиве и сорной траве; на верхушке его все еще сияла золотая звезда.

На дворе весело играли те самые ребята, что прыгали и плясали вокруг разубранной елки в сочельник. Самый младший увидел дерево и сорвал с него звезду.

— Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой, старой елке! — сказал он и наступил ногами на ее ветви — ветви хрустели.

Ель посмотрела на молодую, цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на самое себя и пожелала вернуться в свой темный угол на чердак.

Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку про Клумпе-Думпе...

— Все прошло, прошло! — сказала бедное дерево. — И хоть бы я радовалась, пока было время! А теперь... все прошло, прошло!

Пришел слуга и изрубил елку в куски — вышла целая связка растопок. Как славно запылали они под большим котлом! Дерево глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждый выстрел веселым «пиф! паф!». А ель, испуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звездные зимние ночи в лесу, веселый сочельник и сказку про Клумпе-Думпе, единственную слышанную ею сказку!.. Так она вся и сгорела.

Мальчики опять играли на дворе; у младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел, канул в вечность, елке тоже пришел конец, а с нею и нашей истории. Конец, конец! Все на свете имеет свой конец!



ПАРОЧКА



Молодчик кубарь и барышня мячик лежали рядом в ящике с игрушками, и кубарь сказал соседке:

— Не пожениться ли нам, ведь мы лежим в одном ящике?

Но мячик — сафьянового происхождения и воображавший о себе не менее любой барышни — гордо промолчал.

На другой день пришел мальчик, хозяин игрушек, и выкрасил кубарь в красный с желтым цвет, а в самую серединку вбил медный гвоздик. Вот-то красиво было, когда кубарь завертелся!

— Посмотрите-ка на меня! — сказал он мячику. — Что вы скажете теперь? Не пожениться ли нам? Чем мы не пара? Вы прыгаете, а я танцую. Поискать такой славной парочки!

— Вы думаете? — сказал мячик. — Вы, должно быть, не знаете, что я веду свое происхождение от сафьяновых туфель и что внутри у меня пробка?

— А я из красного дерева, — сказал кубарь, — и меня выточил сам городской голова! У него собственный токарный станок, и он с таким удовольствием занимался мной!

— Так ли? — усомнился мячик.

— Пусть больше не коснется меня кнутик, если я лгу! — сказал кубарь.

— Вы очень красноречивы, — сказал мячик, — но я все-таки не могу. Я уж почти невеста! Стоит мне взлететь на воздух, как из гнезда высовывается стриж и все спрашивает: «Хотите? Хотите?» Мысленно я всякий раз говорю «да» — значит, дело почти слажено. Но я обещаю вам никогда вас не забывать!

— Вот еще! Очень нужно! — сказал кубарь, и они перестали говорить друг с другом.

На другой день мячик взяли. Кубарь смотрел, как он, точно птица, взвивался в воздух все выше, выше... и, наконец, совсем исчезал из глаз, потом опять падал назад и, коснувшись земли, снова взлетал кверху; потому ли, что его влекло туда, или потому, что внутри у него сидела пробка, — неизвестно. В девятый раз мячик взлетел и — поминай как звали! Мальчик искал, искал — нет нигде, да и только!

«Я знаю, где она! — вздохнул кубарь. — В стрижином гнезде, замужем за стрижом!»

И чем больше думал кубарь о мячике, тем больше влюблялся. Сказать правду, так он потому больше влюблялся, что не мог жениться на своей возлюбленной: подумать только, она предпочла ему другого!

Кубарь плясал и пел, но не переставал думать о мячике, который представлялся ему все прекраснее и прекраснее.

Так прошло много лет; любовь кубаря стала уже старой любовью.

Да и сам кубарь был немолод... Раз его взяли и вызолотили сверху донизу. То-то было великолепие! Он весь стал золотой и кружился и жужжал так, что любо! Да уж, нечего сказать! Вдруг он подпрыгнул повыше и — пропал!

Искали, искали, даже в погреб слазили — нет, нет и нет!

Куда же он попал?

В помойное ведро! Оно стояло как раз под водосточным желобом и было полно разной дряни: обгрызенных кочерыжек, щепок, сора.

— Угодил, нечего сказать! — вздохнул кубарь. — Тут вся позолота разом сойдет! И что за дрянь тут валяется?

И он покосился на длинную обгрызенную кочерыжку и еще на какую-то странную круглую вещь, вроде старого сгнившего яблока. Но это было не яблоко, а старая барышня-мячик, который застрял когда-то в водосточном желобе, пролежал там много-много лет, весь прогнил и, наконец, упал в ведро.

— Слава Богу! Наконец-то хоть кто-нибудь из нашего круга, с кем можно поговорить! — сказал мячик, посмотрев на вызолоченный кубарь. — Я, в сущности, из сафьяна и сшит девичьими ручками, а внутри у меня пробка! А кто это скажет, глядя на меня? Я чуть не вышел замуж за стрижа, да вот попал в водосточный желоб и пролежал там целых пять лет! Это не шутка! Особенно для девицы!

Кубарь молчал — он думал о своей старой возлюбленной и все больше и больше убеждался, что это она.

Пришла служанка, чтобы опорожнить ведро.

— А, вот где наш кубарь! — сказала она.

И кубарь опять попал в комнаты и в честь, а о мячике не было и помину. Сам кубарь никогда больше не заикался о своей старой любви: любовь как рукой снимет, если предмет ее пролежит пять лет в водосточном желобе, да еще встретится вам в помойном ведре! Тут его и не узнают!



СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА

Сказка в семи рассказах

Рассказ первый

ЗЕРКАЛО И ЕГО ОСКОЛКИ

Ну, начнем! Дойдя до конца нашей истории, мы будем знать больше, чем теперь. Так вот, жил-был тролль, злющий-презлющий; то был сам дьявол. Раз он был в особенно хорошем расположении духа: он смастерил такое зеркало, в котором все доброе и прекрасное уменьшалось донельзя, все же негодное и безобразное, напротив, выступало еще ярче, казалось еще хуже. Прелестнейшие ландшафты выглядели в нем вареным шпинатом, а лучшие из людей — уродами или казались стоящими кверху ногами и без животов! Лица искажались до того, что нельзя было и узнать их; случись же у кого на лице веснушка или родинка, она расплывалась во все лицо. Дьявола все это ужасно потешало. Добрая, благочестивая человеческая мысль отражалась в зеркале невообразимой гримасой, так что тролль не мог не хохотать, радуясь своей выдумке. Все ученики тролля — у него была своя школа — рассказывали о зеркале как о каком-то чуде.

— Теперь только, — говорили они, — можно увидеть весь мир и людей в их настоящем свете!

И они бегали с зеркалом повсюду; скоро не осталось ни одной страны, ни одного человека, которые бы не отразились в нем в искаженном виде. Напоследок захотелось им добраться и до неба, чтобы посмеяться над ангелами и самим Творцом. Чем выше поднимались они, тем сильнее кривлялось и корчилось зеркало от гримас; они еле-еле удерживали его в руках. Но вот они поднялись еще, и вдруг зеркало так перекосило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллионы, биллионы его осколков наделали, однако, еще больше бед, чем само зеркало. Некоторые из них были не больше песчинки, разлетелись по белу свету, попадали, случалось,

людям в глаза и так там и оставались. Человек же с таким осколком в глазу начинал видеть все наизусть или замечать в каждой вещи одни лишь дурные ее стороны, ведь каждый осколок сохранял свойство, которым отличалось самое зеркало. Некоторым людям осколки попадали прямо в сердце, и это было хуже всего: сердце превращалась в кусок льда. Были между этими осколками и большие, такие, что их можно было вставить в оконные рамы, но уж в эти окна не стоило смотреть на своих добрых друзей. Наконец, были и такие осколки, которые пошли на очки, только беда была, если люди надевали их с целью смотреть на вещи и судить о них вернее! А злой тролль хохотал до колик: так приятно щекотал его успех его выдумки. Но по свету летало еще много осколков зеркала. Послушаем же!

Рассказ второй

МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА

В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удается отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, но у них был садик побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. Родители их жили в мансардах смежных домов. Кровли домов почти сходились, а под выступами кровель шло по водосточному желобу, приходившемуся как раз под окошком каждой мансарды. Стоило, таким образом, шагнуть из какого-нибудь окошка на желоб и можно было очутиться у окна соседей.

У родителей было по большому деревянному ящику; в них росли коренья и небольшие кусты роз (в каждом по одному), осыпанные чудными цветами. Родителям пришло в голову поставить эти ящики поперек желобов — таким образом, от одного окна к другому тянулись словно две цветочные рядки. Горох спускался из ящиков зелеными гирляндами, розовые кусты заглядывали в окна и сплетались ветвями; образовалось нечто вроде триумфальных ворот из зелени и цветов. Так как ящики были очень высоки и дети твердо знали, что им нельзя карабкаться на них, то родители часто позволяли мальчику с девочкой ходить друг к другу по крыше в гости и сидеть на скамеечке под розами. И что за веселые игры устраивались у них тут!

Зимой это удовольствие прекращалось: окна зачастую покрывались ледяными узорами. Но дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замерзшим стеклам — сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый, ласковый глазок —

это смотрели каждый из своего окна мальчик и девочка: Кай и Герда. Летом они в один прыжок могли очутиться в гостях друг у друга, а зимою надо было сначала спуститься на много-много ступеней вниз, а затем подняться на столько же вверх. На дворе перепархивал снежок.

— Это роятся белые пчелки! — сказала бабушка.

— А у них тоже есть королева? — спросил мальчик; он знал, что у настоящих пчел есть такая.

— Есть! — отвечала бабушка. — Снежинки окружают ее густым роем, но она больше их всех и никогда не остается на земле — вечно носится на черном облаке. Часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки; вот оттого-то они и покрываются ледяными узорами, словно цветами!

— Видели, видели! — сказали дети и поверили, что все это сущая правда.

— А Снежная королева не может войти сюда? — спросила девочка.

— Пусть-ка попробует! — сказал мальчик. — Я посажу ее на теплую печку, вот она и растает!

Но бабушка погладила его по головке и завела разговор о другом.

Вечером, когда Кай был уже дома и почти совсем разделся, собираясь лечь спать, он вскарабкался на стул у окна и поглядел в маленький оттаявший на оконном стекле кружочек. За окном порхали снежинки; одна из них, побольше, упала на край цветочного ящика и начала расти, расти, пока, наконец, не превратилась в женщину, укутанную в тончайший белый тюль, сотканный, казалось, из миллионов снежных звездочек. Она была так прелестна, так нежна — вся из ослепительно-белого льда и все же живая! Глаза ее сверкали, как звезды, но в них не было ни теплоты, ни кротости. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Мальчуган испугался и прыгнул со стула; мимо окна промелькнуло что-то похожее на большую птицу.

На другой день был славный морозец, но затем сделалась оттепель, а там пришла и весна-красна. Солнышко светило, цветочные ящики опять были все в зелени, ласточки вили под крышей гнезда, окна растворили, и детям опять можно было сидеть в своем маленьком садике на крыше.

Розы цвели все лето восхитительно. Девочка выучила псалом, в котором тоже говорилось о розах; девочка пела его мальчику, думая при этом о своих розах, и он подпевал ей:

Уж розы в долинах цветут,
Младенец-Христос с нами тут!

Дети пели, взявшись за руки, целовали розы, смотрели на ясное солнышко и разговаривали с ним: им чудилось, что с него глядел на них сам младенец Христос. Что за чудное было лето и как хорошо было под кустами благоухающих роз, которые, казалось, должны были цвести вечно!

Кай и Герда сидели и рассматривали книжку с картинками — зверями и птицами; на больших башенных часах пробило пять.

— Ай! — вскрикнул вдруг мальчик. — Мне кольнуло прямо в сердце, и что-то попало в глаз!

Девочка обвила ручонкой его шею, он мигал глазами, но ни в одном ничего не было видно.

— Должно быть, выскочило! — сказал он.

Но в том-то и дело, что нет. В сердце и в глаз ему попали два осколка дьявольского зеркала, в котором, как мы, конечно, помним, все великое и доброе казалось ничтожным и гадким, а злое и дурное отражалось еще ярче, дурные стороны каждой вещи выступали еще резче. Бедняжка Кай! Теперь сердце его должно было превратиться в кусок льда! Боль в глазу и в сердце уже прошла, но самые осколки в них остались.

— О чем же ты плачешь? — спросил он Герду. — У! Какая ты теперь безобразная! Мне совсем не больно! Фу! — закричал он затем. — Эту розу точит червь! А та совсем кривая! Какие гадкие розы! Не лучше ящиков, в которых торчат!

И он, толкнув ящик ногою, вырвал две розы.

— Кай, что ты делаешь? — закричала девочка, а он, увидя ее испуг, вырвал еще одну и убежал от миленькой маленькой Герды в свое окно.

Приносила ли после того ему девочка книжку с картинками, он говорил, что эти картинки хороши только для грудных ребят; рассказывала ли что-нибудь бабушка, он придирался к словам. Да хоть бы одно это! А то он дошел до того, что стал передразнивать ее походку, надевать ее очки и подражать ее голосу! Выходило очень похоже и смешило людей. Скоро мальчик выучился передразнивать и всех соседей — он отлично умел выставить напоказ все их странности и недостатки, и люди говорили:

— Что за голова у этого мальчугана!

А причиной всему были осколки зеркала, что попали ему в глаз и в сердце. Потому-то он передразнивал даже миленькую маленькую Герду, которая любила его всем сердцем.

И забавы его стали теперь совсем иными, такими мудреными. Раз зимою, когда перепархивал снежок, он явился с большим зажигательным стеклом и подставил под снег полу своей синей куртки.

— Погляди в стекло, Герда! — сказал он.

Каждая снежинка казалась под стеклом куда больше, чем была на самом деле, и походила на роскошный цветок или десятиугольную звезду. Чудо что такое!

— Видишь, как искусно сделано! — сказал Кай. — Это куда интереснее настоящих цветов! И какая точность! Ни единой неправильной линии! Ах, если бы они только не таяли!

Немного спустя Кай явился в больших рукавицах, с санками за спиною, крикнул Герде в самое ухо: «Мне позволили покататься на большой площади с другими мальчиками!» — и убежал.

На площади каталось множество детей. Те, что были посмелее, привязывали свои санки к крестьянским саням и прокатывались таким образом довольно далеко. Веселье так и кипело. В самый разгар его на площади появились большие сани, выкрашенные в белый цвет. В них сидел человек, весь ушедший в белую меховую шубу и такую же шапку. Сани объехали вокруг площади два раза; Кай живо привязал к ним свои санки и покатился. Большие сани понеслись быстрее и затем свернули с площади в переулок. Сидевший в них человек обернулся и дружески кивнул Каю, точно знакомому. Кай несколько раз порывался отвязать свои санки, но человек в шубе кивал ему, и он продолжал ехать. Вот они выехали за городские ворота. Снег повалил вдруг хлопьями, стемнело так, что кругом не было видно ни зги. Мальчик поспешил отпустить веревку, которою зацепился за большие сани, но санки его точно приросли к большим саням и продолжали нестись вихрем. Кай громко закричал — никто не услышал его! Снег валил, санки мчались, ныряя в сугробах, прыгая через изгороди и канавы. Кай весь дрожал, хотел прочесть «Отче наш», но в уме у него вертелась одна таблица умножения.

Снежные хлопья все росли и обратились под конец в больших белых куриц. Вдруг они разлетелись в стороны, большие сани остановились, и сидевший в них человек встал. Это была высокая, стройная, ослепительно белая женщина — Снежная королева; и шуба, и шапка на ней были из снега.

— Славно проехались! — сказала она. — Но ты совсем замерз. Полезай ко мне в шубу!

И, посадив мальчика к себе в сани, она завернула его в свою шубу; Кай словно опустился в снежный сугроб.

— Все еще мерзнешь? — спросила она и поцеловала его в лоб.

У! Поцелуй ее был холоднее льда, пронизал его холодом насквозь и дошел до самого сердца, а оно и без того уже было наполовину ледяным. Одну минуту Каю казалось, что вот-вот он умрет, но, напротив, стало легче, он даже совсем перестал зябнуть.

— Мои санки! Не забудь моих санок! — спохватился он прежде всего о санках.

И санки были привязаны на спину одной из белых куриц, которая полетела с ними за большими санями. Снежная королева поцеловала Каю еще раз, и он позабыл и Герду, и бабушку, и всех домашних.

— Больше я не буду целовать тебя! — сказала она. — А не то зацелую до смерти!



Кай взглянул на нее — она была так хороша! Более умного, прелестного лица он не мог себе и представить. Теперь она не казалась ему ледяною, как в тот раз, когда сидела за окном и кивала ему головой; теперь она казалась ему совершенством. Он совсем не боялся ее и рассказал ей, что знает все четыре действия арифметики, да еще с дробями, знает, сколько в каждой стране квадратных миль и жителей, а она только улыбалась в ответ. И тогда ему показалось, что он и в самом деле знает мало, и он устремил взор в бесконечное воздушное пространство. В тот же миг Снежная королева взвилась с ним на темное свинцовое облако, и они понеслись. Буря выла и стонала, словно распевала старинные песни; они летели над лесами и озерами, над морями и твердой землей; под ними дули холодные ветры, выли волки, сверкал снег, летали с криком черные вороны, а над ними сиял большой ясный месяц. На него смотрел Кай всю долгую-долгую зимнюю ночь — днем он спал у ног Снежной королевы.

Рассказ третий

ЦВЕТНИК ЖЕНЩИНЫ, УМЕВШЕЙ КОЛДОВАТЬ

А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? И куда он девался? Никто не знал этого, никто не мог сообщить о нем ничего. Мальчики рассказали только, что видели, как он привязал свои санки к большим великолепным саням, которые потом свернули в переулок и выехали за городские ворота. Никто не знал, куда он девался. Много было пролито о нем слез; горько и долго плакала Герда. Наконец порешили, что он умер, утонул в реке, протекавшей за городом. Долго тянулись мрачные зимние дни.

Но вот настала весна, выглянуло солнышко.

— Кай умер и больше не вернется! — сказала Герда.

— Не верю! — отвечал солнечный свет.

— Он умер и больше не вернется! — повторила она ласточкам.

— Не верим! — ответили они.

Под конец и сама Герда перестала этому верить.

— Надену-ка я свои новые красные башмачки: Кай ни разу еще не видал их, — сказала она однажды утром, — да пойду к реке спросить про него.

Было еще очень рано; она поцеловала спящую бабушку, надела красные башмачки и побежала одна-одинешенька за город, прямо к реке.

— Правда, что ты взяла моего названного брата? Я подарю тебе свои красные башмачки, если ты отдашь мне его назад!

И девочке почудилось, что волны как-то странно кивают ей; тогда она сняла свои красные башмачки, первую свою драгоценность, и бросила их в реку. Но они упали как раз у берега, и волны сейчас же вынесли их на

сушу — река как будто не хотела брать у девочки лучшую ее драгоценность, так как не могла вернуть ей Кая. Девочка же подумала, что бросила башмачки не очень далеко, влезла в лодку, качавшуюся в тростнике, стала на самый краешек кормы и опять бросила башмаки в воду. Лодка не была привязана и оттолкнулась от берега. Девочка хотела поскорее выпрыгнуть на сушу, но, пока пробиралась с кормы на нос, лодка уже отошла от берега на целый аршин и быстро понеслась по течению.

Герда ужасно испугалась и принялась плакать и кричать, но никто, кроме воробьев, не слышал ее криков; воробьи же не могли перенести ее на сушу и только летели за ней вдоль берега да щебетали, словно желая ее утешить: «Мы здесь! Мы здесь!»

Лодку уносило все дальше; Герда сидела смирно, в одних чулках; красные башмачки ее плыли за лодкой, но не могли догнать ее.

Берега реки были очень красивы — повсюду виднелись чудеснейшие цветы, высокие раскидистые деревья, луга, на которых паслись овцы и коровы, но нигде не было видно ни души человеческой.

«Может быть, река несет меня к Каю!» — подумала Герда, повеселела, встала на ноги и долго-долго любовалась красивыми зелеными берегами. Но вот она приплыла к большому вишневному саду, в котором приютился домик с цветными стеклами в окошках и соломенной крышей. У дверей стояли два деревянных солдата и отдавали ружьями честь всем, кто проплывал мимо.

Герда закричала им: она приняла их за живых, но они, понятно, не ответили ей. Вот она подплыла к ним еще ближе, лодка подошла чуть не к самому берегу, и девочка закричала еще громче. Из домика вышла, опираясь на клюку, старая-престарая старушка в большой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами.

— Ах ты, бедная крошка! — сказала старушка. — Как это ты попала на такую большую, быструю реку да забралась так далеко?

С этими словами старушка вошла в воду, зацепила лодку своею клюкой, притянула ее к берегу и высадила Герду.

Герда была рада-радешенька, что очутилась наконец на суше, хоть и побаивалась чужой старухи.

— Ну, пойдем, да Расскажи мне, кто ты и как сюда попала? — сказала старушка.

Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла: «Гм! гм!» Но вот девочка кончила и спросила старуху, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но, верно, пройдет, так что девочке пока не о чем горевать — пусть лучше попробует вишен да полюбуется цветами, что растут в саду: они красивее нарисованных в любой книжке с картинками и все умеют рассказывать сказки! Тут старушка взяла Герду за руку, увела к себе в домик и заперла дверь на ключ.

Окна были высоко от пола и все из разноцветных — красных, голубых и желтых — стеклышек; сообразно этому и сама комната была освещена каким-то удивительно ярким, радужным светом. На столе стояла корзинка с чудесными вишнями, и Герда могла есть их сколько душе угодно; пока же она ела, старушка расчесывала ей волосы золотым гребешком. Волосы вились кудрями и окружали свеженькое круглое, словно роза, личико девочки золотым сиянием.

— Давно мне хотелось иметь такую миленькую девочку! — сказала старушка. — Вот увидишь, как ладно мы заживем с тобою!

И она продолжала расчесывать кудри девочки, и чем дольше чесала, тем больше Герда забывала своего названного братца Кая: старушка умела колдовать. Она не была злою колдуньей и колдовала только изредка, для своего удовольствия; теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. И вот она пошла в сад, дотронулась своей клюкой до всех розовых кустов, и те, как стояли в полном цвету, так все и ушли глубоко-глубоко в землю, и следа от них не осталось. Старушка боялась, что Герда, при виде роз, вспомнит о своих, а там и о Кае, да и убежит от нее.

Сделав свое дело, старушка повела Герду в цветник. У девочки глаза разбежались: тут были цветы всех родов и всех времен года. Что за красота, что за благоухание! Во всем свете не сыскать было книжки с картинками пестрее, красивее этого цветника. Герда прыгала от радости и играла среди цветов, пока солнце не село за высокими вишневыми деревьями. Тогда ее уложили в чудесную постельку с красными шелковыми перинками, набитыми голубыми фиалками; девочка заснула, и ей снились такие сны, какие видит разве королева в день своей свадьбы.

На другой день Герде опять позволили играть на солнышке. Так прошло много дней. Герда знала каждый цветочек в саду, но, как ни много их было, ей все-таки казалось, что какого-то недостает, только какого же? Раз она сидела и рассматривала соломенную шляпу старушки, расписанную цветами; самым красивым из них была как раз роза — старушка забыла ее стереть. Вот что значит рассеянность!

— Как! Тут нет роз? — сказала Герда и сейчас же побежала искать их по всему саду — нет ни одной!

Тогда девочка опустилась на землю и заплакала. Теплые слезы упали как раз на то место, где стоял прежде один из розовых кустов, и, как только они смочили землю, куст мгновенно вырос из нее, такой же свежий, цветущий, как прежде. Герда обвила его ручонками, принялась целовать розы и вспомнила о тех чудных розах, что цвели у нее дома, а вместе с тем и о Кае.

— Как же я замешкалась! — сказала девочка. — Мне ведь надо искать Кая!.. Не знаете ли вы, где он? — спросила она у роз. — Верите ли вы тому, что он умер и не вернется больше?

— Он не умер! — сказали розы. — Мы же были под землею, где все умершие, но Кая меж ними не было.

— Спасибо вам! — сказала Герда и пошла к другим цветам, заглядывала в их чашечки и спрашивала: «Не знаете ли вы, где Кай?»

Но каждый цветок грелся на солнышке и думал только о собственной своей сказке или истории; их наслушалась Герда много, но ни один из цветов не сказал ни слова о Кае.

Что же рассказала ей огненная лилия?

— Слышишь, как бьет барабан? Бум! бум! Звуки очень однообразны: бум! бум! Слушай же заунывное пение женщины! Слушай крики жрецов!.. В длинном красном одеянии стоит на костре индусская вдова. Пламя охватывает ее и тело ее умершего мужа, но она думает о нем живом — о нем, чьи взоры жгли ее сердце сильнее пламени, которое сейчас испепелит ее тело. Разве пламя сердца может погаснуть в пламени костра?

— Ничего не понимаю! — сказала Герда.

— Это моя сказка! — отвечала огненная лилия.

Что рассказал вьюнок?

— Узкая горная тропинка ведет к гордо возвышающемуся на скале старинному рыцарскому замку. Старые кирпичные стены густо увиты плющом. Листья его цепляются за балкон, а на балконе стоит прелестная девушка; она перевесилась через перила и смотрит на дорогу. Девушка свежее розы, воздушнее колеблемого ветром цветка яблони. Как шелестит ее шелковое платье! Неужели же он не придет?

— Ты говоришь про Кая? — спросила Герда.

— Я рассказываю свою сказку, свои грезы! — отвечал вьюнок.

Что рассказал крошка подснежник?

— Между деревьями качается длинная доска — это качели. На доске сидят две миленькие девочки; платьица на них белые как снег, а на шляпах развеваются длинные зеленые шелковые ленты. Братишка, постарше их, стоит позади сестер, держась за веревки сгибами локтей; в руках же у него: в одной — маленькая чашечка с мыльной водой, в другой — глиняная трубочка. Он пускает пузыри, доска качается, пузыри разлетаются по воздуху, переливаясь на солнце всеми цветами радуги. Вот один повис на конце трубочки и колышется от дуновения ветра. Черненькая собачонка, легкая, как мыльный пузырь, встает на задние лапки, а передние кладет на доску, но доска взлетает вверх, собачонка падает, тяфкает и сердится. Дети поддразнивают ее, пузыри лопаются... Качающаяся доска, разлетающаяся по воздуху пена — вот моя песенка!

— Она, может быть, и хороша, да ты говоришь все это таким печальным тоном! И опять ни слова о Кае!

Что скажут гиацинты?

— Жили-были три стройные воздушные красавицы сестрицы. На одной платье было красное, на другой — голубое, на третьей — совсем

белое. Рука об руку танцевали они при ясном лунном свете у тихого озера. То не были эльфы, но настоящие девушки. В воздухе разлился сладкий аромат, и девушки скрылись в лесу. Вот аромат стал еще сильнее, еще слаще — из чащи леса выплыли три гроба; в них лежали красавицы сестрицы, а вокруг них порхали, словно живые огоньки, светящиеся жучки. Спят ли девушки или умерли? Аромат цветов говорит, что умерли. Вечерний колокол звонит по усопшим!

— Вы навели на меня грусть! — сказала Герда. — Ваши колокольчики тоже пахнут так сильно!.. Теперь у меня из головы не идут умершие девушки! Ах, неужели и Кай умер? Но розы были под землей и говорят, что его нет там!

— Динг-данг! — зазвенели колокольчики гиацинтов. — Мы звоним не над Каем! Мы и не знаем его! Мы звоним свою собственную песенку; другой мы не знаем!

И Герда пошла к золотому одуванчику, сиявшему в блестящей зеленой траве.

— Ты, маленькое ясное солнышко! — сказала ему Герда. — Скажи, не знаешь ли ты, где мне искать моего названного брата?

Одуванчик засиял еще ярче и взглянул на девочку. Какую же песенку спел он ей? Увы! И в этой песенке ни слова не говорилось о Кае!

— Ранняя весна, на маленький дворик приветливо светит ясное Божье солнышко. Ласточки выются возле белой стены, примыкающей ко двору соседей. Из зеленой травки выглядывают первые желтенькие цветочки, сверкающие на солнышке, словно золотые. На двор вышла посидеть старушка бабушка; вот пришла из гостей ее внучка, бедная служанка, и крепко целует старушку. Поцелуй девушки дороже золота — он идет прямо от сердца. Золото на ее губах, золото в сердечке, золото и на небе в утренний час! Вот и все! — сказал одуванчик.

— Бедная моя бабушка! — вздохнула Герда. — Как она скучает обо мне, как горюет! Не меньше, чем горевала о Кае! Но я скоро вернусь и приведу его с собой. Нечего больше и спрашивать цветы: у них ничего не добьешься, они знают только свои песенки!

И она подвязала юбочку повыше, чтобы удобнее было бежать, но когда хотела перепрыгнуть через желтую лилию, та хлестнула ее по ногам. Герда остановилась, посмотрела на длинный цветок и спросила:

— Ты, может быть, знаешь что-нибудь?

И она наклонилась к нему, ожидая ответа.

Что же сказала желтая лилия?

— Я вижу себя самое! Я вижу себя самое! О, как я благоухаю!.. Высоко-высоко в маленькой каморке, под самой крышей, стоит полуодетая танцовщица. Она то балансирует на одной ножке, то опять твердо стоит на обеих и попирает ими весь свет, ведь она — обман глаз. Вот она льет из чайника воду на какой-то белый кусок материи,

который держит в руках. Это ее корсаж. Чистота — лучшая красота! Белая юбочка висит на гвозде, вбитом в стену; юбка тоже выстирана водою из чайника и высушена на крыше! Вот девушка одевается и повязывает на шею ярко-желтый платочек, еще резче оттеняющий белизну платица. Опять одна ножка взвивается в воздух! Гляди, как прямо она стоит на другой, точно цветок на своем стебельке! Я вижу самое себя, я вижу самое себя!

— Да мне мало до этого дела! — сказала Герда. — Нечего мне об этом и рассказывать!

И она побежала из сада.

Дверь была заперта лишь на задвижку; Герда дернула ржавый засов, он поддался, дверь отворилась, и девочка так босоножкой и пустилась бежать по дороге! Раза три оглядывалась она назад, но никто не гнался за нею. Наконец она устала, присела на камень и огляделась кругом: лето уже прошло, на дворе стояла поздняя осень, а в чудесном саду старушки, где вечно сияло солнышко и цвели цветы всех времен года, этого и не было заметно!

— Господи! Как же я замешкалась! Ведь уж осень на дворе! Тут не до отдыха! — сказала Герда и опять пустилась в путь.

Ах, как болели ее бедные, усталые ножки! Как холодно, сыро было в воздухе! Листья на ивах совсем пожелтели, туман оседал на них крупными каплями и стекал на землю; листья так и сыпались. Один терновник стоял весь покрытый вяжущими, терпкими ягодами. Каким серым, унылым глядел весь белый свет!

Рассказ четвертый

ПРИНЦ И ПРИНЦЕССА

Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон; он долго-долго смотрел на девочку, кивая ей головою, и наконец заговорил:

— Кар-кар! Здрравствуй!

Чище этого он выговаривать по-человечески не мог, но, видимо, желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька? Слова «одна-одинешенька» Герда поняла отлично и сразу почувствовала все их значение. Рассказав ворону всю свою жизнь, девочка спросила, не видал ли он Кая?

Ворон задумчиво покачал головою и сказал:

— Может быть, может быть!

— Как? Правда? — воскликнула девочка и чуть не задушила ворона поцелуями.

— Потише, потише! — сказал ворон. — Я думаю, что это был твой Кай! Но теперь он, верно, забыл тебя со своей принцессой!

— Разве он живет у принцессы? — спросила Герда.

— А вот послушай! — сказал ворон. — Только мне ужасно трудно говорить по-вашему! Вот если бы ты понимала по-вороньи, я рассказал бы тебе обо всем куда лучше.

— Нет, этому меня не учили! — сказала Герда. — Бабушка, та понимает! Хорошо бы и мне уметь!

— Ну ничего! — сказал ворон. — Расскажу, как сумею, хоть и плохо.

И он рассказал обо всем, что только сам знал.

— В королевстве, где мы с тобой находимся, есть принцесса, такая умница, что и сказать нельзя! Она прочла все газеты в свете и уж позабыла все, что прочла, — вот какая умница! Раз как-то сидела она на троне, — а веселья-то в этом немного, как говорят люди, — и напевала песенку: «Отчего ж бы мне не выйти замуж?» «А ведь и в самом деле!» — подумала она, и ей захотелось замуж. Но в мужья она хотела выбрать себе такого человека, который бы сумел отвечать, когда с ним заговорят, а не такого, что умел бы только важничать: это так скучно! И вот созвали барабанным боем всех придворных дам и объявили им волю принцессы. Все они были очень довольны и сказали: «Вот это нам нравится! Мы и сами недавно об этом думали!» Все это истинная правда! — прибавил ворон. — У меня при дворе есть невеста, она ручная, — от нее-то я и знаю все это.

Невестою его была ворона.

— На другой день все газеты вышли с каймой из сердец и с вензелями принцессы. В газетах было объявлено, что каждый молодой человек приятной наружности может явиться во дворец и побеседовать с принцессой; того же, кто будет держать себя вполне свободно, как дома, и окажется всех красноречивее, принцесса изберет себе в мужья! Да, да! — повторил ворон. — Все это так же верно, как то, что я сижу здесь перед тобою! Народ повалил во дворец валом, пошла давка и толкотня, но толку не вышло никакого ни в первый, ни во второй день. На улице все женихи говорили отлично, но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию, всю в серебре, а лакеев в золоте и вступить в огромные, залитые светом залы, как их брала оторопь. Подступят к трону, где сидит принцесса, да и повторяют только ее же последние слова, а ей вовсе не этого было нужно! Право, их всех точно опаивали дурманом! А выйдя за ворота, они опять обретали дар слова. От самых ворот до дверей дворца тянулся длинный-длинный хвост женихов. Я сам был там и видел! Женихам хотелось есть и пить, но из дворца им не давали даже стакана воды. Правда, кто был поумнее, запасся бутербродами, но запасливые уж не делились с соседями, думая про себя: «Пусть себе поголодают, отощат — принцесса и не возьмет их!»

— Ну, а Кай-то, Кай? — спросила Герда. — Когда же он явился? И он пришел свататься?

— Постой! Постой! Теперь мы как раз дошли и до него! На третий день явился небольшой человечек, ни в карете, ни верхом, а просто пешком, и прямо вошел во дворец. Глаза его блестели, как твои; волосы у него были длинные, но одет он был бедно.

— Это Кай! — обрадовалась Герда. — Так я нашла его! — И она захлопала в ладоши.

— За спиной у него была котомка! — продолжал ворон.

— Нет, это, верно, были его саночки! — сказала Герда. — Он ушел из дома с санками!

— Очень возможно! — сказал ворон. — Я не разглядел хорошенько. Так вот, моя невеста рассказывала мне, что, войдя в дворцовые ворота и увидав гвардию в серебре, а на лестницах лакеев в золоте, он ни капельки не смутился, кивнул головою и сказал: «Скучненько, должно быть, стоять тут на лестнице, я лучше войду в комнаты!» Залы все были залиты светом; вельможи расхаживали без сапог, разнося золотые блюда: торжественнее уж нельзя было! А его сапоги так и скрипели, но он и этим не смутился.

— Это, наверно, Кай! — воскликнула Герда. — Я знаю, что на нем были новые сапоги! Я сама слышала, как они скрипели, когда он приходил к бабушке!

— Да, они таки скрипели порядком! — продолжал ворон. — Но он смело подошел к принцессе; она сидела на жемчужине величиною с веретено, а кругом стояли придворные дамы и кавалеры со своими горничными, служанками горничных, камердинерами, слугами камердинеров и прислужником камердинерских слуг. Чем дальше кто стоял от принцессы и ближе к дверям, тем важнее, надменнее держал себя. На прислужника камердинерских слуг, стоявшего в самых дверях, нельзя было и взглянуть без страха — такой он был важный!

— Вот страх-то! — сказала Герда. — А Кай все-таки женился на принцессе?

— Не будь я вороном, я бы сам женился на ней, хоть я и помолвлен. Он вступил с принцессой в беседу и говорил так же хорошо, как я, когда говорю по-вороньи, — так, по крайней мере, сказала мне моя невеста. Держался он вообще очень свободно и мило и заявил, что пришел не свататься, а только послушать умные речи принцессы. Ну и вот, она ему понравилась, он ей тоже!

— Да, да, это Кай! — сказала Герда. — Он ведь такой умный! Он знал все четыре действия арифметики, да еще с дробями! Ах, проводи же меня во дворец!

— Легко сказать, — отвечал ворон, — да как это сделать? Постой, я поговорю с моею невестой — она что-нибудь придумает и посоветует

нам. Ты думаешь, что тебя вот так прямо и впустят во дворец? Как же, не очень-то впускают таких девочек!

— Меня впустят! — сказала Герда. — Только бы Кай услышал, что я тут, сейчас бы прибежал за мною!

— Подожди меня тут у решетки! — сказал ворон, тряхнул головой и улетел.

Вернулся он уже совсем под вечер и закаркал:

— Кар, кар! Моя невеста шлет тебе тысячу поклонов и вот этот маленький хлебец. Она стащила его в кухне — там их много, а ты, верно, голодна!.. Ну, во дворец тебе не попасть: ты ведь босая — гвардия в серебре и лакеи в золоте ни за что не пропустят тебя. Но не плачь, ты все-таки попадешь туда. Невеста моя знает, как пройти в спальню принцессы с черного хода, и знает, где достать ключ.

И вот они вошли в сад, пошли по длинным аллеям, усыпанным пожелтевшими осенними листьями, и, когда все огоньки в дворцовых окнах погасли один за другим, ворон провел девочку в маленькую полуотворенную дверцу.

О, как билось сердечко Герды от страха и радостного нетерпения! Она точно собиралась сделать что-то дурное, а ведь она только хотела узнать, не здесь ли ее Кай! Да, да, он, верно, здесь! Она так живо представляла себе его умные глаза, длинные волосы, улыбку... Как он улыбался ей, когда они, бывало, сидели рядышком под кустами роз! А как обрадуется он теперь, когда увидит ее, услышит, на какой длинный путь решилась она ради него, узнает, как горевали о нем все домашние! Ах, она была просто вне себя от страха и радости.

Но вот они и на площадке лестницы; на шкафу горела лампочка, а на полу сидела ручная ворона и осматривалась по сторонам. Герда присела и поклонилась, как учила ее бабушка.

— Мой жених рассказывал мне о вас столько хорошего, барышня! — сказала ручная ворона. — «Повесть вашей жизни», как это принято выражаться, также очень трогательна! Не угодно ли вам взять лампу, а я пойду вперед. Мы пойдем прямою дорогой — тут мы никого не встретим!

— А мне кажется, кто-то идет за нами! — сказала Герда, и в ту же минуту мимо нее с легким шумом промчались какие-то тени: лошади с развевающимися гривами и тонкими ногами, охотники, дамы и кавалеры верхом.

— Это сны! — сказала ручная ворона. — Они являются унести мысли высоких особ на охоту. Тем лучше для нас: удобнее будет рассмотреть спящих! Надеюсь, однако, что, войдя в честь, вы покажете, что у вас благодарное сердце!

— Есть о чем тут и говорить! Само собою разумеется! — сказал лесной ворон.

Тут они вошли в первую залу, всю обтянутую розовым атласом, затканным цветами. Мимо девочки опять пронеслись сны, но так быстро, что она не успела и рассмотреть всадников. Одна зала была великолепнее другой — просто оторопь брала. Наконец они дошли до спальни: потолок напоминал верхушку огромной пальмы с драгоценными хрустальными листьями; с середины его спускался толстый золотой стебель, на котором висели две кровати в виде лилий. Одна была белая, в ней спала принцесса, другая — красная, и в ней Герда надеялась найти Кая. Девочка слегка отогнула один из красных лепестков и увидала темно-русый затылок. Это Кай! Она громко назвала его по имени и поднесла лампу к самому его лицу. Сны с шумом умчались прочь; принц проснулся и повернул голову... Ах, это был не Кай!

Принц походил на него только с затылка, но был так же молод и красив. Из белой лилии выглянула принцесса и спросила, что случилось. Герда заплакала и рассказала всю свою историю, упомянув и о том, что сделали для нее вороны...

— Ах ты, бедняжка! — сказали принц и принцесса, похвалили ворон, объявили, что ничуть не гnevаются на них — только пусть они не делают этого впредь, — и захотели даже наградить их.

— Хотите быть вольными птицами? — спросила принцесса. — Или желаете занять должность придворных ворон на полном содержании из кухонных остатков?

Ворон с вороной поклонились и попросили должности при дворе — они подумали о старости — и сказали:

— Хорошо иметь верный кусок хлеба на старости лет!

Принц встал и уступил свою постель Герде; больше он пока ничего не мог для нее сделать. А она сложила ручонки и подумала: «Как добры все люди и животные!» — закрыла глазки и сладко заснула. Сны опять прилетели в спальню, но теперь они были похожи на Божьих ангелов и везли на маленьких саночках Кая, который кивал Герде головою. Увы! Все это было лишь во сне и исчезло, как только девочка проснулась.

На другой день ее одели с ног до головы в шелк и бархат и позволили ей оставаться во дворце, сколько она пожелает. Девочка могла жить да поживать тут припеваючи, но она прогостила всего несколько дней и стала просить, чтобы ей дали повозку с лошадьёю и пару башмаков, — она опять хотела пуститься разыскивать по белу свету своего названного брата.

Ей дали и башмаки, и муфту, и чудесное платье, а когда она простилась со всеми, к воротам подъехала золотая карета с сияющими, как звезды, гербами принца и принцессы; у кучера, лакеев и форейторов — ей дали и форейторов — красовались на головах маленькие золотые короны. Принц и принцесса сами усадили Герду в карету и пожелали ей счастливого пути. Лесной ворон, который уже успел жениться, провожал

девочку первые три мили и сидел в карете рядом с нею — он не мог ехать к лошадям спиной. Ручная ворона сидела на воротах и хлопала крыльями. Она не ехала провожать Герду, потому что страдала головными болями с тех пор, как получила должность при дворе и слишком много ела. Карета битком была набита сахарными крендельками, а ящик под сиденьем — фруктами и пряниками.

— Прощай! Прощай! — закричали принц и принцесса.

Герда заплакала, ворона тоже. Так проехали они первые три мили. Тут простился с девочкой и ворон. Тяжелое было расставанье! Ворон взлетел на дерево и махал черными крыльями до тех пор, пока карета, сиявшая, как солнце, не скрылась из виду.

Рассказ пятый

МАЛЕНЬКАЯ РАЗБОЙНИЦА

Вот Герда въехала в темный лес, но карета блестела, как солнце, и сразу бросилась в глаза разбойникам. Они не выдержали и налетели на нее с криками: «Золото! Золото!» — схватили лошадей под уздцы, убили маленьких жокеев, кучера и слуг и вытащили из кареты Герду.

— Ишь какая славенькая, жирненькая! Орешками откормлена! — сказала старуха разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. — Жирненькая, что твой барашек! Ну-ка, какова на вкус будет?

И она вытащила острый сверкающий нож. Вот ужас!

— Ай! — закричала она вдруг: ее укусила за ухо ее собственная дочка, которая сидела у нее за спиной и была такая необузданная и своевольная, что любо!

— Ах ты, дрянная девчонка! — закричала мать, но убить Герду не успела.

— Она будет играть со мной! — сказала маленькая разбойница. — Она отдаст мне свою муфту, свое хорошенькое платьице и будет спать со мной в моей постельке.

И девочка опять так укусила мать, что та подпрыгнула и завертелась на одном месте. Разбойники захохотали:

— Ишь как скачет со своей девчонкой!

— Я хочу сесть в карету! — закричала маленькая разбойница и настояла на своем: она была ужасно избалована и упряма.

Они уселись с Гердой в карету и помчались по пням и по кочкам в чащу леса. Маленькая разбойница была ростом с Герду, но сильнее, шире в плечах и гораздо смуглее. Глаза у нее были совсем черные, но какие-то печальные. Она обняла Герду и сказала:

— Они тебя не убьют, пока я не рассержусь на тебя! Ты, верно, принцесса?

— Нет! — отвечала девочка и рассказала, что пришлось ей испытать и как она любит Кая.

Маленькая разбойница серьезно поглядела на нее, слегка кивнула головой и сказала:

— Они тебя не убьют, даже если я рассержусь на тебя, — я лучше сама убью тебя!

И она отерла слезы Герде, а потом спрятала обе руки в ее хорошенькую, мягкую и теплую муфточку.

Вот карета остановилась; они въехали во двор разбойничьего замка. Он весь был в огромных трещинах; из них вылетали вороны и вороны; откуда-то выскочили огромные бульдоги и смотрели так свирепо, точно хотели всех съесть, но лаять не лаяли — это было запрещено.

Посреди огромной залы с полуразвалившимися, покрытыми копотью стенами и каменным полом пылал огонь; дым поднимался к потолку и сам должен был искать себе выход; над огнем кипел в огромном котле суп, а на вертелах жарились зайцы и кролики.

— Ты будешь спать вместе со мной вот тут, возле моего маленького зверинца! — сказала Герде маленькая разбойница.

Девочек накормили, напоили, и они ушли в свой угол, где была постлана солома, накрытая коврами. Повыше сидело на жердочках больше сотни голубей; все они, казалось, спали, но, когда девочки подошли, слегка зашевелились.

— Все мои! — сказала маленькая разбойница, схватила одного голубя за ноги и так тряхнула его, что тот забил крыльями. — На, поцелуй его! — крикнула она, ткнув голубя Герде прямо в лицо. — А вот тут сидят лесные плутишки! — продолжала она, указывая на двух голубей, сидевших в небольшом углублении в стене, за деревянную решетку. — Эти двое — лесные плутишки! Их надо держать взаперти, не то живо улетят! А вот и мой милый старичина бляшка! — И девочка потянула за рога привязанного к стене северного оленя в блестящем медном ошейнике. — Его тоже нужно держать на привязи, иначе удерет! Каждый вечер я щекочу его под шеей своим острым ножом — он смерть этого боится!

С этими словами маленькая разбойница вытащила из расщелины в стене длинный нож и провела им по шее оленя. Бедное животное забрыкалось, а девочка захохотала и потащила Герду к постели.

— Разве ты спишь с ножом? — спросила ее Герда, покосившись на острый нож.

— Всегда! — отвечала маленькая разбойница. — Как знать, что может случиться! Но Расскажи мне еще раз о Кая и о том, как ты пустилась странствовать по белу свету!

Герда рассказала. Лесные голуби в клетке тихо ворковали; другие голуби уже спали; маленькая разбойница обвила одною рукой шею Герды — в другой у нее был нож — и захрапела, но Герда не могла сомкнуть глаз, не зная, убьют ее или оставят в живых. Разбойники сидели вокруг огня, пели песни и пили, а старуха разбойница кувыркалась. Страшно было глядеть на это бедной девочке.

Вдруг лесные голуби проворковали:

— Курр! Курр! Мы видели Кая! Белая курица несла на спине его санки, а он сидел в санях Снежной королевы. Они летели над лесом, когда мы, птенчики, еще лежали в гнезде; онадохнула на нас, и все умерли, кроме нас двоих! Курр! Курр!

— Что вы говорите! — воскликнула Герда. — Куда же полетела Снежная королева? Знаете?

— Она полетела, наверно, в Лапландию, ведь там вечный снег и лед! Спроси у северного оленя, что стоит тут на привязи!

— Да, там вечный снег и лед: чудо как хорошо! — сказал северный олень. — Там прыгаешь себе на воле по огромным блестящим ледяным равнинам! Там раскинут летний шатер Снежной королевы, а постоянные ее чертоги у Северного полюса, на острове Шпицбергене!

— О Кай, мой милый Кай! — вздохнула Герда.

— Лежи же смирно! — сказала маленькая разбойница. — Не то я пырну тебя ножом!

Утром Герда рассказала ей, что слышала от лесных голубей. Маленькая разбойница серьезно посмотрела на Герду, кивнула головой и сказала:

— Ну, так и быть!.. А ты знаешь, где Лапландия? — спросила она затем у северного оленя.

— Кому же и знать, как не мне! — отвечал олень, и глаза его заблестели. — Там я родился и вырос, там прыгал по снежным равнинам!

— Так слушай! — сказала Герде маленькая разбойница. — Видишь, все наши ушли; дома одна мать; немного погодя она хлебнет из большой бутылки и вздремнет — тогда я кое-что сделаю для тебя!

Тут девочка вскочила с постели, обняла мать, дернула ее за бороду и сказала:

— Здравствуй, мой миленький козлик!

А мать надавала ей по носу щелчков, так что нос у девочки покраснел и посинел, но все это делалось любя.

Потом, когда старуха хлебнула из своей бутылки и захрапела, маленькая разбойница подошла к северному оленю и сказала:

— Еще долго-долго можно было бы потешаться над тобой! Уж больно ты бываешь уморительным, когда тебя щекочат острым ножом! Ну, да так и быть! Я отвяжу тебя и выпущу на волю. Ты можешь убежать в свою Лапландию, но должен за это отнести ко дворцу Снежной королевы вот эту девочку — там ее названный братец. Ты, конечно, слышал, что

она рассказывала? Она говорила довольно громко, а у тебя вечно ушки на макушке

Северный олень подпрыгнул от радости. Маленькая разбойница посадила на него Герду, крепко привязала ее ради осторожности и подсунула под нее мягкую подушечку, чтобы ей удобнее было сидеть.

— Так и быть, — сказала она затем, — возьми назад свои меховые сапожки — будет ведь холодно! А муфту уж я оставляю себе, больно она хороша! Но мерзнуть я тебе не дам: вот огромные матушкины рукавицы, они дойдут тебе до самых локтей! Сунь в них руки! Ну вот, теперь руками ты похожа на мою безобразную матушку!

Герда плакала от радости.

— Терпеть не могу, когда хнычут! — сказала маленькая разбойница. — Теперь тебе надо смотреть весело! Вот тебе еще два хлеба и окорок! Что? Небось не будешь голодать!

И то и другое было привязано к оленю. Затем маленькая разбойница отворила дверь, заманила собак в дом, перерезала своим острым ножом веревку, которою был привязан олень, и сказала ему:

— Ну, живо! Да береги, смотри, девочку.

Герда протянула маленькой разбойнице обе руки в огромных рукавицах и попрощалась с нею. Северный олень пустился во всю прыть через пни и кочки, по лесу, по болотам и степям. Волки выли, вороны каркали, а небо вдруг зафукало и выбросило столбы огня.

— Вот мое родное северное сияние! — сказал олень. — Гляди, как горит!

И он побежал дальше, не останавливаясь ни днем ни ночью. Хлебы были съедены, ветчина тоже, и вот Герда очутилась в Лапландии.

Рассказ шестой

ЛАПЛАНДКА И ФИННКА

Олень остановился у жалкой избушки; крыша спускалась до самой земли, а дверь была такая низенькая, что людям приходилось проползать в нее на четвереньках. Дома была одна старуха лапландка, жарившая при свете жировой лампы рыбу. Северный олень рассказал лапландке всю историю Герды, но сначала рассказал свою собственную — она казалась ему гораздо важнее. Герда же так окоченела от холода, что и говорить не могла.

— Ах вы, бедняги! — сказала лапландка. — Долгий же вам еще предстоит путь! Придется сделать сто миль слишком, пока доберетесь до Финляндии, где Снежная королева живет на даче и каждый вечер зажигает голубые бенгальские огни. Я напишу пару слов на сушеной

треске — бумаги у меня нет, а вы снесете ее финнке, которая живет в тех местах и лучше моего сумеет научить вас, что надо делать.

Когда Герда согрелась, поела и попила, лапландка написала пару слов на сушеной треске, велела Герде хорошенько беречь ее, потом привязала девочку к спине оленя, и тот снова помчался. Небо опять фукало и выбрасывало столбы чудесного голубого пламени. Так добежал олень с Гердой до Финляндии и постучался в дымовую трубу финнки — у нее и дверей-то не было.

Ну и жара стояла в ее жилье! Сама финнка, низенькая, грязная женщина, ходила полуголая. Живо стащила она с Герды все платье, рукавицы и сапоги, иначе девочке было бы чересчур жарко, положила оленю на голову кусок льда и затем принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Она прочла все от слова до слова три раза, пока не заучила наизусть, и потом сунула треску в суповой котел, ведь рыба еще годилась в пищу, а у финнки ничего даром не пропадало.

Тут олень рассказал сначала свою историю, а потом историю Герды. Финнка мигала своими умными глазками, но не говорила ни слова.

— Ты такая мудрая женщина! — сказал олень. — Я знаю, что ты можешь связать одной ниткой все четыре ветра; когда шкипер развяжет один, подует попутный ветер, развяжет другой — погода разыграется, а развяжет третий и четвертый — поднимется такая буря, что поломает в щепки деревья. Не изготовишь ли ты для девочки такого питья, которое бы дало ей силу двенадцати богатырей? Тогда бы она одолела Снежную королеву!

— Силу двенадцати богатырей! — сказала финнка. — Да много ли в этом толку!

С этими словами она взяла с полки большой кожаный свиток и вернула его: на нем стояли какие-то удивительные письмена; финнка принялась читать их и читала до того, что ее пот прошиб.

Олень опять принялся просить за Герду, а сама Герда смотрела на финнку такими умоляющими, полными слез глазами, что та опять заморгала, отвела оленя в сторону и, переменяя ему на голове лед, шепнула:

— Кай в самом деле у Снежной королевы, но он вполне доволен и думает, что лучше ему нигде и быть не может. Причиной же всему — осколки зеркала, что сидят у него в сердце и в глазу. Их надо удалить, иначе он никогда не будет человеком и Снежная королева сохранит над ним свою власть.

— Но не сможешь ли ты Герде как-нибудь уничтожить эту власть?

— Сильнее, чем она есть, я не могу ее и сделать. Не видишь разве, как велика ее сила? Не видишь, что ей служат и люди, и животные? Ведь она босая обошла полсвета! Не у нас занимать ей силу! Сила — в ее милом невинном детском сердечке. Если она сама не сможет проникнуть в чертоги Снежной королевы и извлечь из сердца Кая осколки, то мы и подавно ей не поможем! В двух милях отсюда начинается сад

Снежной королевы. Отнеси туда девочку, спусти у большого куста, покрытого красными ягодами, и, не мешкая, возвращайся обратно!

С этими словами финнка посадила Герду на спину оленя, и тот бросился бежать со всех ног.

— Ай, я без теплых сапог! Ай, я без рукавиц! — закричала Герда, очутившись на морозе.

Но олень не смел остановиться, пока не добежал до куста с красными ягодами; тут он спустил девочку, поцеловал ее в самые губы, и из глаз его покатились крупные блестящие слезы. Затем он стрелой пустился назад. Бедная девочка осталась одна-одинешенька на трескучем морозе, без башмаков, без рукавиц.

Она побежала вперед что было мочи; навстречу ей неся целый полк снежных хлопьев, но они не падали с неба — небо было совсем ясное, и на нем пылало северное сияние — нет, они бежали по земле прямо на Герду и, по мере приближения, становились все крупнее и крупнее. Герда вспомнила большие красивые хлопья под зажигательным стеклом, но эти были куда больше, страшнее, самых удивительных видов и форм, и все живые. Это были передовые отряды войска Снежной королевы. Одни напоминали собой больших безобразных ежей, другие — стоголовых змей, третьи — толстых медвежат с взъерошенною шерстью. Но все они одинаково сверкали белизной, все были живыми снежными хлопьями.

Герда принялась читать «Отче наш»; было так холодно, что дыхание девочки сейчас же превращалось в густой туман. Туман этот все сгущался и сгущался, но вот из него начали выделяться маленькие светлые ангелочки, которые, ступив на землю, вырастали в больших грозных ангелов со шлемами на головах и копьями и щитами в руках. Число их все прибывало, и, когда Герда окончила молитву, вокруг нее образовался уже целый легион. Ангелы приняли снежных страшилищ на копья, и те рассыпались на тысячу кусков. Герда могла теперь смело идти вперед: ангелы гладили ее руки и ноги, и ей не было уже так холодно. Наконец девочка добралась до чертогов Снежной королевы.

Посмотрим же, что было в это время с Каем. Он и не думал о Герде, а уж меньше всего о том, что она готова войти к нему.

Рассказ седьмой

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ЧЕРТОГАХ СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ И ЧТО СЛУЧИЛОСЬ ПОТОМ

Стены чертогов Снежной королевы создала метель, окна и двери были проделаны буйными ветрами. Сотни огромных, освещенных северным сиянием зал тянулись одна за другой; самая большая простиралась

на много-много миль. Как холодно, как пустынно было в этих белых, ярко сверкающих чертогах! Веселье никогда и не заглядывало сюда! Хотя бы редкий раз устроилась медвежья вечеринка, с танцами под музыку бури, в которых могли бы отличиться грацией и умением ходить на задних лапах белые медведи, или составила партия в карты, со ссорами и дракою, или, наконец, сошлись на беседу за чашкой кофе беленькие кумушки лисички — нет, никогда и ничего! Холодно, пустынно, мертво! Северное сияние вспыхивало и горело так правильно, что можно было с точностью рассчитать, в какую минуту свет усилится и в какую ослабеет. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Лед треснул на нем на тысячи кусков, на диво ровных и правильных: один, как другой. Посреди озера стоял трон Снежной королевы; на нем она восседала, когда бывала дома, говоря, что сидит на зеркале разума; по ее мнению, это было единственное и лучшее зеркало в свете.

Кай совсем посинел, почти почернел от холода, но не замечал этого: поцелуи Снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, да и само сердце его было куском льда. Кай возился с плоскими остроконечными льдинами, укладывая их на всевозможные лады. Есть такая игра — складыванье фигур из деревянных дощечек, которая называется китайскою головоломкой. Кай тоже складывал разные затейливые фигуры, но из льдин, и это называлось ледяной игрой разума. В его глазах эти фигуры были чудом искусства, а складывание их — занятием первой важности. Это происходило оттого, что в глазу у него сидел осколок волшебного зеркала! Он складывал из льдин и целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотелось: слова «вечность». Снежная королева сказала ему: «Если ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господином, и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков». Но он никак не мог его сложить.

— Теперь я полечу в теплые края! — сказала Снежная королева. — Загляну в черные котлы!

Котлами она называла кратеры огнедышащих гор — Везувия и Этны.

— Я побелю их немножко! Это хорошо после лимонов и винограда!

И она улетела, а Кай остался один в необозримой пустынной зале, смотрел на льдины и все думал, думал, так что в голове у него трещало. Он сидел на одном месте, такой бледный, неподвижный, словно неживой. Можно было подумать, что он замерз.

В это-то время в огромные ворота, проделанные буйными ветрами, входила Герда. Она прочла вечернюю молитву, и ветры улеглись, точно заснули. Она свободно вошла в огромную пустынную ледяную залу и увидела Кая. Девочка сейчас же узнала его, бросилась ему на шею, крепко обняла его и воскликнула:

— Кай, милый мой Кай! Наконец-то я нашла тебя!

Но он сидел все такой же неподвижный и холодный. Тогда Герда заплакала; горячие слезы ее упали ему на грудь, проникли в сердце,

растопили его ледяную кору и расплавили осколок. Кай взглянул на Герду, а она запела:

Уж розы в долинах цветут,
Младенец Христос с нами тут!

Кай вдруг залился слезами и плакал так долго и так сильно, что осколок вытек из глаза вместе со слезами. Тогда он узнал Герду и обрадовался.

— Герда! Милая моя Герда!.. Где же это ты была так долго? Где был я сам? — И он оглянулся вокруг. — Как здесь холодно, пустынно!

И он крепко прижался к Герде. Она смеялась и плакала от радости. Да, радость была такая, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись и составили то самое слово, которое задала сложить Каю Снежная королева; сложив его, он мог сделаться сам себе господином, да еще получить от нее в дар весь свет и пару новых коньков.

Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять зацвели розами, поцеловала его в глаза, и они заблестали, как ее; поцеловала его руки и ноги, и он опять стал бодрым и здоровым. Снежная королева могла вернуться когда угодно: его отпускная лежала тут, написанная блестящими ледяными буквами.

Кай с Гердой рука об руку вышли из пустынных ледяных чертогов; они шли и говорили о бабушке, о своих розах, и на пути их стихали буйные ветры, проглядывало солнышко. Когда же они дошли до куста с красными ягодами, там уже ждал их северный олень. Он привел с собою молодую оленью матку; вымя ее было полно молока; она напоила им Кая и Герду и поцеловала их прямо в губы. Затем Кай и Герда отправились сначала к финнке, отогрелись у нее и узнали дорогу домой, а потом — к лапландке; та сшила им новое платье, починила свои сани и поехала их провожать.

Оленья парочка тоже провожала молодых путников вплоть до самой границы Лапландии, где уже пробивалась первая зелень. Тут Кай и Герда простились с оленями и с лапландкой.

Вот перед ними и лес. Запели первые птички, деревья покрылись зелеными почками. Из леса навстречу путникам выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка в ярко-красной шапочке и с пистолетами за поясом. Герда сразу узнала и лошадь — она была когда-то впряжена в золотую карету — и девушку. Это была маленькая разбойница: ей наскучило жить дома, и она захотела побывать на севере, а если там не понравится — и в других частях света. Она тоже узнала Герду. Вот была радость!

— Ишь ты, бродяга! — сказала она Каю. — Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света!

Но Герда потрепала ее по щеке и спросила о принце и принцессе.

— Они уехали в чужие края! — отвечала молодая разбойница.

— А ворон с вороной? — спросила Герда.

— Лесной ворон умер, ручная ворона осталась вдовой, ходит с черной шерстинкой на ножке и жалуется на судьбу. Но все это пустяки, а ты вот Расскажи-ка лучше, что с тобой было и как ты нашла его.

Герда и Кай рассказали ей обо всем.

— Ну, вот и сказке конец! — сказала молодая разбойница, пожала им руки и обещала навестить их, если когда-нибудь заедет в их город. Затем она отправилась своей дорогой, а Кай и Герда своей. Они шли, и по дороге расцветали весенние цветы, зеленела травка. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного городка. Они поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому: так же тикали часы, так же двигалась часовая стрелка. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что успели за это время сделаться взрослыми людьми. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко; тут же стояли их детские стульчики. Кай с Гердой сели каждый на свой и взяли друг друга за руки. Холодное пустынное великолепие чертогов Снежной королевы было забыто ими, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнышке и громко читала Евангелие: «Если не будете, как дети, не войдете в царствие небесное!»

Кай и Герда взглянули друг на друга и тут только поняли смысл старого псалма:

Уж розы в долинах цветут,
Младенец Христос с нами тут!

Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло теплое, благодатное лето!



БУЗИННАЯ МАТУШКА

Один маленький мальчик раз простудился; где он промочил себе ноги — никто и понять не мог: погода стояла совсем сухая. Мать раздела его, уложила в постель и велела принести самовар¹, чтобы заварить бузинного чая: отличное потогонное! В это самое время в комнату вошел славный веселый старичок, живший в верхнем этаже того же дома. Он был совсем одинок — не было у него ни жены, ни деток, а он так любил детей, умел рассказывать им такие чудесные сказки и истории, что просто чудо.

— Ну вот, выпьешь свой чай, а потом, может быть, услышишь сказку! — сказала мать.

— То-то вот, если б знал какую-нибудь новенькую! — отвечал старичок, ласково кивая головой. — Но где же это наш мальчуган промочил себе ноги?

— Да вот где? — сказала мать. — Никто и понять не может!

— А сказка будет? — спросил мальчик.

— Сначала мне нужно знать, глубока ли водосточная канавка в переулке, где ваше училище? Можешь ты мне сказать это?

— Как раз мне по голенище! — отвечал мальчик. — Но это в самом глубоком месте!

— Вот отчего у нас мокрые ноги! — сказал старичок. — Теперь следовало бы рассказать тебе сказку, да ни одной новой не знаю!

— Вы сейчас же можете сочинить ее! — сказал мальчик. — Мама говорит, что вы на что ни взглянете, до чего ни дотронетесь, из всего у вас выходит сказка или история.

— Да, но такие сказки и истории никуда не годятся. Настоящие, те приходят сами! Придут и постучатся мне в лоб: «Вот я!»

— А скоро какая-нибудь постучится? — спросил мальчик.

¹ По-датски «temaskine», т.е. «чайная машина», соответствующая нашему самовару и похожая на него формой. Разница лишь в том, что у нее нет трубы, и для того, чтобы вскипятить в ней воду, под нее ставится жаровня с горящими углями. — Примеч. перев.

Мать засмеялась, засыпала в чайник бузинного чая и заварила.

— Ну, расскажите же! Расскажите какую-нибудь!

— Да вот если бы пришла сама! Но они важные, приходят, только когда им самим вздумается! Стой! — сказал он вдруг. — Вот она! Гляди на чайник!

Мальчик посмотрел: крышка чайника начала приподниматься, и из-под нее выглянули свежие беленькие цветочки бузины, затем выросли и длинные зеленые ветви. Они росли даже из носика чайника, и скоро образовался целый куст; ветви доходили до самой постели и раздвинули занавески. Как славно цвела и благоухала бузина! Из зелени ее выглядывало ласковое славное лицо старушки, одетой в какое-то удивительное платье, зеленое, как листья бузины, и все усеянное белыми цветочками. Сразу даже не разобрать было, платье ли это или просто зелень и живые цветочки бузины.

— Что это за старушка? — спросил мальчик.

— Римляне и греки звали ее Дриадой! — сказал старичок. — Но для нас это слишком мудреное имя, и в Новой слободке ей дали прозвище получше: Бузинная матушка. Смотри же на нее хорошенько да слушай, что я буду рассказывать!

Такой же точно большой, покрытый цветами куст рос в углу одного бедного дворика в Новой слободке. Под кустом сидели в послеобеденный час и грелись на солнышке старичок со старушкой: старый отставной матрос и его жена. Старички были богаты детьми, внуками и правнуками и скоро должны были отпраздновать свою золотую свадьбу, да только не помнили хорошенько дня и числа. Из зелени глядела на них Бузинная матушка, такая же славная и приветливая, как вот эта, и говорила: «Я-то знаю день вашей золотой свадьбы!» Но старики были заняты разговором — они вспоминали старину — и не слышали ее.

— Да, помнишь, — сказал старый матрос, — как мы бегали и играли с тобой детьми! Вот тут, на этом самом дворе, мы разводили себе садик! Помнишь, втыкали в землю прутики и веточки?

— Да, да! — подхватила старушка. — Помню, помню! Мы усердно поливали эти веточки; одна из них была бузинная, пустила корни, ростки и вот как разрослась! Мы, старички, можем теперь сидеть в ее тени!

— Правда! — продолжал муж. — А вон в том углу стоял чан с водою. Там мы спускали в воду мой кораблик, который я сам вырезал из дерева. Как он плавал! А скоро мне пришлось пуститься и в настоящее плавание.

— Да, но прежде еще мы ходили в школу и кое-чему научились! — перебила старушка. — Наконец, нас подтвердили. Мы оба прослезились тогда!.. А потом взялись за руки и пошли осмат-

ривать Круглую башню, взбирались на самый верх и любовались оттуда городом и морем. После же мы отправились в Фредериксберг и смотрели, как катались по каналам в своей великолепной лодке король с королевой.

— Да, и скоро мне пришлось пуститься в настоящее плавание! Много, много лет провел я вдали от родины!

— Сколько слез я пролила! Мне уж думалось, что ты умер и лежишь на дне морском! Сколько раз вставала я по ночам посмотреть, вертится ли флюгер. Флюгер-то вертелся, а ты все не приезжал! Я отлично помню, как раз в самый ливень во двор к нам приехал мусорщик. Я жила там в прислугах и вышла с мусорным ящиком да остановилась в дверях. Вот погода-то была! В это самое время пришел почтальон и подал мне письмо от тебя! Пришлось же этому письму прогуляться по белу свету! Как я схватила его!.. И сейчас же принялась читать. Я смеялась и плакала зараз... Я была так рада! В письме говорилось, то ты теперь в теплых краях, где растет кофе! Вот, должно быть, благословенная страна! Ты много еще о чем рассказывал в своем письме, и я все это словно видела перед собою. Дождь так и поливал, а я все стояла в дверях с мусорным ящиком. Вдруг кто-то обнял меня за талию...

— Да, и ты закатила ему такую звонкую пощечину, что любо!

— Ведь я же не знала, что это ты! Ты догнал свое письмо! Какой ты был бравый, красивый, да ты и теперь все такой же! Из кармана у тебя торчал желтый шелковый платок, а на голове красовалась клеенчатая шляпа. Такой щеголь! Но что за погодка стояла, и на что была похожа наша улица!

— Потом мы женились! — продолжал старый матрос. — Помнишь? А там пошли у нас детки: первый мальчуган, потом Мария, Нильс, Петр и Ганс Христиан!

— Как они все повзросли и какими стали славными людьми! Все их любят!

— Теперь уж и у их детей есть дети! — сказал старичок. — И какие крепыши наши правнучки!.. Сдается мне, что наша свадьба была как раз в эту пору.

— Как раз сегодня! — сказала Бузинная матушка и просунула голову между старичками, но те подумали, что это кивает им головой соседка.

Они сидели рука в руку и любовно смотрели друг на друга. Немного погодя пришли к ним дети и внучата. Они-то отлично знали, что сегодня день золотой свадьбы стариков, и уже поздравляли их утром, но старички успели позабыть об этом, хотя отлично помнили все, что случилось много-много лет тому назад. Бузина так и благоухала, солнышко садилось и светило на прощанье старичкам прямо в

лицо, раздумывая их щеки. Младший из внуков плясал вокруг де-душки с бабушкой и радостно кричал, что сегодня вечером у них будет пир: за ужином подадут горячий картофель! Бузинная матушка кивала головой и кричала «ура» вместе со всеми.

— Да ведь это вовсе не сказка! — сказал мальчуган, когда рассказчик остановился.

— Это ты говоришь, — отвечал старичок, — а вот спросим-ка Бузинную матушку!

— Это не сказка! — отвечала Бузинная матушка. — Но сейчас начнется и сказка! Из действительности-то и вырастают чудеснейшие сказки. Иначе бы мой благоухающий куст не вырос из чайника.

С этими словами она взяла мальчика к себе на руки; ветви бузины, покрытые цветами, вдруг сдвинулись, и мальчик со старушкой очутились словно в густой беседке, которая понеслась с ними по воздуху. Вот было хорошо! Бузинная матушка превратилась в маленькую прелестную девочку, но платице на ней осталось то же — зеленое, все усеянное белыми цветочками. На груди девочки красовался живой бузинный цветочек, а на светло-русых кудрях — целый венок из тех же цветов. Глаза у нее были большие, голубые. Ах, она была такая хорошенькая, что просто загляденье! Мальчик поцеловался с девочкой, и оба стали одного возраста, одних мыслей и чувств.

Рука об руку вышли они из беседки и очутились в саду перед домом. На зеленой лужайке стояла прислоненная к дереву тросточка отца. Для детей и тросточка была живая; они уселись на нее верхом — блестящий набалдашник стал великолепною лошадиною головой с длинною развевающеюся гривой; затем выросли четыре тонкие, крепкие ноги, и горячий конь помчал детей вокруг лужайки. Эх ты ну!

— Теперь мы поскачем далеко-далеко! — сказал мальчик. — В барскую усадьбу, где мы раз были!

И дети скакали вокруг лужайки, а девочка — мы-то знаем, что это была сама Бузинная матушка, — приговаривала:

— Ну, вот мы и за городом! Видишь крестьянские домики? Огромные хлебные печи выступают из стен, словно какие-то исполинские яйца! Над домиками раскинула свои ветви бузина. Вон бродит по двору петух! Знай себе разгребает сор и выискивает для кур червячков! Гляди, как он важно выступает!.. А вот мы и на высоком холме, у церкви! Какие славные развесистые дубы растут вокруг нее! Один из них наполовину вылез из земли с корнями!.. Вот мы у кузницы! Гляди, как ярко пылает огонь, как работают тяжелыми молотами полунагие люди! Искры сыплются дождем!.. Но дальше, дальше, в барскую усадьбу!

И все что ни называла девочка, сидевшая верхом на палке позади мальчика, мелькало перед их глазами. Мальчик видел все это, а между

тем они только кружились по лужайке. Потом они отправились в боковую аллею и стали там устраивать себе маленький садик. Девочка вынула из своего венка один бузинный цветочек и посадила его в землю; он пустил корни и ростки, и скоро вырос большой куст бузины, точь-в-точь как у старичков в Новой слободке, когда они были еще детьми. Мальчик с девочкой взялись за руки и тоже пошли гулять, но отправились не на Круглую башню и не в Фредериксбергский сад: нет, девочка крепко обняла мальчика, поднялась с ним на воздух, и они облетели всю Данию. Весна сменялась летом, лето — осенью и осень — зимою; тысячи картин отражались в глазах и запечатлевались в сердце мальчика, а девочка все приговаривала:

— Этого ты не забудешь никогда!

А бузина благоухала так сладко, так чудно! Мальчик вдыхал и аромат роз, и запах свежих буков, но бузина пахла всего сильнее: ее цветочки красовались у девочки на груди, а к ней он так часто склонялся головою.

— Как чудесно здесь весною! — говорила девочка, и они очутились в свежем зеленом буковом лесу; у их ног благоухала белая буквица, из травки выглядывали прелестные бледно-розовые анемоны. — О, если бы вечно царила весна в благоухающих датских лесах!

— Как хорошо здесь летом! — продолжала она затем, и они проносились мимо старой барской усадьбы с древним рыцарским замком; красные стены и фронтоны отражались в прудах; по ним плавали лебеди, заглядывая в темные, прохладные аллеи сада. Хлебные нивы волновались от ветра, точно море, во рвах пестрели красненькие и желтенькие полевые цветочки, по изгородям вился дикий хмель и цветущий выюнок. Вечером же на небе всплыл круглый ясный месяц, а с лугов понесся сладкий аромат свежего сена! Это не забудется никогда!

— Как чудно здесь осенью! — снова говорила девочка, и свод небесный вдруг стал вдвое выше и синее. Леса запестрели красноватыми, желтыми и еще зелеными листьями. Охотничьи собаки вырвались на волю! Целые стаи дичи с криком полетели над курганами, где лежат старые камни, обросшие ежевикой. На темно-синем море забелели паруса, а риги были битком набиты старухами, девушками и детьми: все они чистили хмель и бросали его в большие чаны. Молодежь распевала старинные песни, а старухи рассказывали сказки про троллей и домовых. Лучше не может быть нигде!

— А как хорошо здесь зимою! — говорила она затем, и все деревья покрылись инеем; ветви их превратились в белые кораллы. Снег хрустел под ногами, точно на всех были надеты новые сапоги, а с неба посыпались одна за другою падучие звездочки. В домах зажглись елки, обвешанные подарками; все люди радовались и весели-

лись. В деревнях в крестьянских домиках не умолкали скрипки, летели в воздух яблочные пышки¹. Даже беднейшие дети говорили: «Как хорошо у нас зимою!»

Да, хорошо! Девочка показывала все это мальчику, и повсюду благоухала бузина, повсюду развевался красный флаг с белым крестом², флаг, под которым плавал старый матрос из Новой слободки. И вот мальчик стал юношей, и ему тоже пришлось отправиться в дальнее плавание в теплые края, где растет кофе. На прощанье девочка дала ему цветок со своей груди, и он спрятал его в псалтырь. Часто вспоминал он на чужбине свою родину и раскрывал книгу — всегда на том самом месте, где лежал цветочек, данный ему на память! И чем больше юноша смотрел на цветок, тем свежее тот становился и сильнее пахнул, а юноше казалось, что до него доносится аромат датских лесов. В лепестках же цветка ему чудилось личико голубоглазой девочки; он как будто слышал ее шепот: «Как хорошо тут весной, летом, осенью и зимою!» И сотни картин проносились в его памяти.

Так прошло много лет; он состарился и сидел со своею старушкой женой под цветущим кустом бузины. Они сидели рука в руку и говорили о былых днях и о своей золотой свадьбе, точь-в-точь как прадед и прабабушка из Новой слободки. Голубоглазая девочка с бузинными цветочками в волосах и на груди сидела в ветвях бузины, кивала им головой и говорила: «Сегодня ваша золотая свадьба!» Потом она вынула из своего венка два цветочка, поцеловала их, и они заблестели сначала как серебряные, а потом как золотые. Когда же девочка возложила их на головы старичков, цветы превратились в короны, и муж с женой сидели под цветущим, благоухающим кустом, словно король с королевой.

И вот старик пересказал жене историю о Бузинной матушке, как сам слышал ее в детстве, и обоим казалось, что в той истории было так много похожего на историю их собственной жизни. И как раз то, что было в ней похожего, больше всего и нравилось им.

— Да, так-то! — сказала девочка, сидевшая в зелени. — Кто зовет меня Бузинной матушкой, кто Дриадой, а настоящее-то мое имя — Воспоминание. Я сижу на дереве, которое все растет и растет; я помню все и умею рассказывать обо всем! Покажи-ка, цел ли еще у тебя мой цветок!

И старик раскрыл псалтырь: бузинный цветочек лежал такой свежий, точно его сейчас только вложили туда! Воспоминание дружески кивало старичкам, а те оба сидели в золотых коронах, освещенные

¹ Зажиточные крестьяне, устраивая у себя пир, бросают в народ яблочные пышки, которые и ловятся наперебой. — *Примеч. перев.*

² Датский национальный флаг «Данеброг». — *Примеч. перев.*

пурпурным вечерним солнцем. Глаза их закрылись и, и... да тут и сказке конец!

Мальчик лежал в постели и сам не знал, видел ли он все это во сне или только слышал в сказке. Чайник стоял на столе, но из него не росло никакого куста, а старичок уже собирался уходить и скоро ушел.

— Какая прелесть! — сказал мальчик. — Мама, я побывал в теплых краях!

— Верю, верю! — сказала мать. — После двух таких чашек крепкого бузинного чаю немудрено побывать в теплых краях! — И она хорошенько укутала его, чтобы он не простудился. — Ты таки славно поспал, пока мы со старичком сидели да спорили о том, сказка это или быль!

— А где же Бузинная матушка? — спросил мальчик.

— В чайнике! — ответила мать. — И пусть себе там останется!



ШТОПАЛЬНАЯ ИГЛА



Жила-была штопальная игла; она задавала такого тону, точно была настоящей швейною иголкой.

— Смотрите, смотрите, что вы держите! — сказала она пальцам, которые вынимали ее. — Не уроните меня! Если я упаду на пол, я, пожалуй, затеряюсь: я слишком тонка!

— Будто уж! — ответили пальцы и крепко обхватили ее за талию.

— Вот видите, я иду с целой свитой! — сказала штопальная игла и потянула за собой длинную нитку, только без узелка.

Пальцы ткнули иглу прямо в кухаркину туфлю, кожа лопнула, и надо было зашить дыру.

— Фу, какая черная работа! — сказала штопальная игла. — Я не выдержу! Я сломаюсь!

И вправду сломалась.

— Что, не говорила я? — сказала она. — Я слишком тонка!

«Теперь она никуда не годится», — подумали пальцы, но им все-таки пришлось крепко держать ее: кухарка накапала на сломанный конец иглы сургуча и потом заколола ею свой шейный платок.

— Вот теперь я — брошка! — сказала штопальная игла. — Я ведь знала, что войду в честь: в ком есть толк, из того и выйдет толк.

И она засмеялась про себя — никто ведь не видал, чтобы штопальные иглы смеялись громко — и самодовольно поглядывала по сторонам, точно ехала в карете.

— Позвольте спросить, вы из золота? — обратилась она к соседке-булавке. — Вы очень милы, и у вас собственная головка... Только маловата она! Постарайтесь отрастить ее, ведь не всякому достается сургучная головка!

При этом штопальная игла так гордо выпрямилась, что вылетела из платка прямо в трубу водостока, куда кухарка в это время выливала помой.

— Отправляюсь в плаванье! — сказала штопальная игла. — Только бы мне не затеряться!

Но она затерялась.

— Я слишком тонка, я не создана для этого мира! — сказала она, сидя в уличной канавке. — Но у меня совесть чиста, а это что-нибудь да значит.

И штопальная игла вытянулась в струнку, не теряя хорошего расположения духа.

Над ней проплывала всякая всячина: щепки, соломинки, клочки газетной бумаги...

— Ишь как плывут! — говорила штопальная игла. — Они и понятия не имеют о том, что скрывается тут, под ними. Я скрываюсь, я тут сижу. Вон плывет щепка: у нее только и мыслей что о щепке — щепкой она век и останется! Вон соломинка несется... Вертится-то, вертится-то как! Не задирай так носа! Смотри, как бы не наткнуться на камень! А вон газетный обрывок плывет. Давно уж забыть успели, что и напечатано-то на нем, а он, гляди, как расплылся!.. А я сижу себе тихо-смирно. Я знаю себе цену, и этого у меня не отнимут!

Раз возле нее что-то заблестело, и штопальная игла вообразила, что это бриллиант. Это был бутылочный осколок, но он блестел, и штопальная игла заговорила с ним. Она назвала себя брошкой и спросила его:

— Вы, должно быть, бриллиант?

— Да, нечто в этом роде.

И оба думали друг про друга и про самих себя, что они необыкновенно драгоценны, и говорили между собой о невежественности и надменности света.

— Да, я жила в коробке у одной девицы! — рассказывала штопальная игла. — Девица эта была кухаркой. У нее на каждой руке было по пяти пальцев, и вы представить себе не можете, до чего доходило их чванство! А ведь и все-то их дело было — вынимать меня и обратно прятать в коробку!

— Что ж, они блестели? — спросил бутылочный осколок.

— Блестели? — отвечала штопальная игла. — Нет, блеску-то в них не было, зато высокомерия!.. Их было пять братьев, все — урожденные «пальцы»; они шли всегда в ряд, хотя были различной величины. Крайний — Толстопузый, — впрочем, выдавался из ряда: у него был всего один сгиб в спине, так что он мог кланяться только раз; зато он говорил, что если его отрубят у человека, то весь человек не годится больше для военной службы. Второй — Тычок-Лакомка — тыкал свой нос всюду: и в сладкое, и в кислое, тыкал и в небо, и в землю; он же нажимал перо при письме. Следующий — Долговязый — смотрел на всех свысока, Златоперст носил вокруг пояса золотое кольцо, и наконец, самый маленький — Петрушка-Бездельник — ничего не делал и этим чванился. Да, чванство, чванство... и вот — я вылетела в трубу!

— А теперь сидим и блестим! — сказал бутылочный осколок.

В это время воды в канаве прибыло, так что она хлынула через край и унесла с собой осколок.

— Он пошел в ход! — вздохнула штопальная игла. — А я осталась сидеть! Я слишком тонка, слишком деликатна, но я горжусь этим, и это благородная гордость!

И она сидела, вытянувшись в струнку, и много-много думала.

— Я просто готова думать, что родилась от солнечного луча, — так я тонка! Право, кажется, солнце ищет меня под водой! Ах, я так тонка, что даже отец мой не может меня найти. Не лопни тогда мой старый глазок¹, я бы, кажется, заплакала от жалости! Впрочем, нет, я бы этого не сделала: это не принято!

Раз пришли уличные мальчишки и стали копаться в канавке, выискивая старые гвозди, монетки и пр. Пачкотня была страшная, но это-то и доставляло им удовольствие!

— Ай! — закричал вдруг один из них; он укололся о штопальную иглу. — Ишь штука какая!

— Я не штука, а барышня! — заявила штопальная игла, но ее никто не расслышал. Сургуч сошел с нее, и она вся почернела, но в черном платье кажешься еще тоньше, и игла воображала, что стала еще тоньше прежнего.

— Вон плывет яичная скорлупа! — закричали мальчишки, взяли штопальную иглу и воткнули ее в скорлупу.

— Белое идет к черному! — сказала штопальная игла. — Теперь, по крайней мере, можно разглядеть меня! Только бы мне не схватить морской болезни, тогда я не выдержу: я такая хрупкая!

Но она не схватила морской болезни — выдержала.

— Против морской болезни хорошо иметь стальной желудок и притом всегда помнить, что ты — нечто повыше простого смертного! Теперь я совсем оправилась. Чем тоньше, деликатнее создан, тем больше можешь перенести!

— Крак! — сказала яичная скорлупа: ее переехала ломовая телега.

— Ух, как давит! — завопила штопальная игла. — Теперь уж я схвачу морскую болезнь! Не выдержу! Не выдержу!

Но она выдержала, хотя ее и переехала ломовая телега; она лежала на мостовой врястяжку, и — пусть себе лежит!



¹ Игольное ушко — по-датски «паалеоје», т. е. игольный глаз. — Примеч. перев.

КОЛОКОЛ

По вечерам, на закате солнца, когда вечерние облака блестели между трубами домов, точно золотые, в узких улицах большого города слышен был по временам какой-то удивительный звон, — казалось, звонили в большой церковный колокол. Звон прорывался сквозь уличный шум и грохот экипажей всего на минуту — все это ведь страшно заглушает — и люди, услышав его, говорили:

— Ну вот, звонит вечерний колокол! Значит, солнышко садится!

За городом, где домики расположены пореже и окружены садами и небольшими полями, вечернее небо смотрелось еще красивее, а колокол звучал куда громче, явственнее.

Казалось, что это звонят на колокольне церкви, схоронившейся где-то в самой глубине тихого душистого леса. Люди невольно устремляли туда свои взоры, и душой их овладевало тихое, торжественное настроение.

Время шло, и люди стали поговаривать:

— Разве в чаще леса есть церковь? А ведь звон этот так гармоничен, что следовало бы отправиться в лес послушать его вблизи!

И вот богатые люди потянулись туда в экипажах, бедные — пешком; но дороге, казалось, не было конца и, достигнув опушки леса, все делали привал в тени росших тут ив и воображали себя в настоящем лесу. Сюда же понаехали из города кондитеры и разбили здесь свои палатки; один из них повесил над входом в свою небольшой колокол; он был без язычка, но зато смазан в защиту от дождя дегтем. Вернувшись домой, люди восторгались романтичностью всей обстановки: сделать такую прогулку дескать не то что просто пойти куда-нибудь за город напиться чаю. Трое уверяли, что проходили весь лес насквозь и все продолжали слышать чудный звон, но им казалось уже, что он исходит из города. Один написал даже целую песню, в которой говорилось, что колокол звучит, как голос матери, призывающей своего милого, умного ребенка: никакая музыка не могла сравниться с этим звоном!

Обратил свое внимание на колокол и сам император и даже обещал пожаловать того, кто разузнает, откуда исходит звон, во всемирные звонари, хотя бы и оказалось, что никакого колокола не было.

Тогда масса народу стала ходить в лес ради того, чтобы добиться обещанного хлебного местечка, но лишь один из всех принес домой хоть какое-нибудь объяснение. Никто не проникал в самую чашу леса, да и он тоже, но все-таки утверждал, что звон производила большая сова, ударяясь головой о дуплистое дерево. Птица эта, как известно, считается эмблемой мудрости, но исходил ли звон из ее головы или из дупла дерева, этого он наверное сказать не мог. И вот его произвели во всемирные звонари, и он стал ежегодно писать о сове по небольшой статейке. О колоколе же знали не больше прежнего.

Был раз день конфирмации; священник сказал детям теплое слово, и они все были очень растроганы. Это был для них важный день — из детей они сразу стали взрослыми, более разумными существами, и в детской душе их должно было произойти соответствующее изменение. Погода стояла чудесная, солнечная, и молодежь отправилась прогуляться за город. Из леса доносились могучие, полные звуки неведомого колокола. Девушек и юношей охватило неудержимое желание пойти разыскать его, и вот все, кроме троих, отправились по дороге к лесу. Одна из оставшихся торопилась домой примерять бальное платье, ведь только ради этого платья и бала, для которого его сшили, она и конфирмовалась в этот именно раз, иначе ей можно было бы и не торопиться с конфирмацией! Другой, бедный юноша, должен был возвратить в назначенный час праздничную куртку и сапоги хозяйскому сыну, у которого он взял их для этого торжественного случая. Третий же просто сказал, что никуда не ходит без родителей, особенно по незнакомым местам, что он всегда был послушным сыном, останется таким же и после конфирмации и над этим нечего смеяться, — а другие все-таки смеялись.

Итак, все остальные отправились в путь. Солнце сияло, птички распевали, а молодежь вторила им. Все шли, взявшись за руки: они еще не занимали никаких должностей и все были равны, все были только детьми Божьими.

Но скоро двое самых младших устали и повернули назад; две девочки уселись на травке плести венки, а остальные, добравшись до самой опушки леса, где были раскинута палатки кондитеров, сказали:

— Ну вот и добрались до места, а колокола никакого на самом деле и нет! Одно воображение!

Но в ту же минуту из глубины леса донесся такой гармоничный, торжественный звон, что четверо-пятеро из них решились углубиться в лес. А лес был густой-прегустой — трудно было и пробираться сквозь чашу деревьев и кустов. Ноги путались в высоких стеблях дикого жасмина и анемонов, дорогу преграждали цепи цветущего вьюнка и ежевики, перекинутые с одного дерева на другое. Зато в этой чаще пел соловей, бегали солнечные зайчики. Ах, здесь было чудо как хорошо! Но не девочкам было пробираться по этой дороге, они бы разорвали тут свои

платья в клочки. На пути попадались и большие каменные глыбы, обросшие разноцветным мхом; из-под них, журча, пробивались свежие блятливые струйки источников. Повсюду слышалось их мелодичное «кляук-кляук!».

— Да не колокол ли это? — сказал один из путников, лег на землю и сталь прислушиваться. — Надо это расследовать хорошенько!

И он остался; другие пошли дальше.

Вот перед ними домик, выстроенный из древесной коры и ветвей. Высокая лесная яблоня осеняла его своей зеленью и словно собиралась высыпать ему на крышу всю свою благодать плодов. Крыша была обвита цветущим шиповником, под самым же углом ее висел маленький колокол. Не его ли это звон доносился до города? Все, кроме одного из путников, так и подумали; этот же юноша сказал, что колокол слишком мал, тонок и не может быть слышным на таком расстоянии. Кроме того, неведомый колокол имел совсем иной звук, хватавший прямо за сердце! Но юноша был королевич, и другие сказали:

— Ну, этот вечно хочет быть умнее всех!

И они предоставили ему продолжать путь одному. Он пошел и, чем дальше шел, тем сильнее проникался торжественным уединением леса. Издали слышался звон колокольчика, которому так обрадовались его товарищи, а время от времени ветер доносил до него песни и говор компании, распивавшей чай в палатке кондитера, но глубокий, полный звон большого колокола покрывал все эти звуки. Казалось, что это играет церковный орган; музыка слышалась слева, с той стороны, которая ближе к сердцу.

Вдруг в кустах послышался шорох, и перед королевичем появился юноша в деревянных башмаках и в такой тесной и короткой куртке, что рукава едва заходили ему за локти. Оба узнали друг друга: бедный юноша был тот самый, которому надо было торопиться возвратить хозяйскому сыну праздничную куртку и сапоги. Покончив с этим и надев свою собственную плохонькую куртку и деревянные башмаки, он отправился в лес один: колокол звучал так дивно, что он не мог не пойти!

— Так пойдем вместе! — сказал королевич.

Но бедный юноша был совсем смущен, дергал свои рукава и сказал, что боится не поспеть за королевичем, да и кроме того, по его мнению, колокол надо искать направо, ведь все великое и прекрасное всегда держится этой стороны.

— Ну, в таком случае дороги наши расходятся! — сказал королевич и кивнул бедному юноше, который направлялся в самую чащу леса; терновые колючки рвали его бедную одежду, царапали до крови лицо, руки и ноги. Королевич тоже не миновал нескольких добрых царапин, но его дорога все-таки освещалась солнышком, и за ним-то мы и пойдем — он был бравый малый!

— Я хочу найти и найду колокол! — говорил он. — Хоть бы мне пришлось идти на край света!

Гадкие обезьяны сидели в ветвях деревьев и скалили зубы.

— Забросаем его чем попало! — говорили они. — Забросаем его: он ведь королевич!

Но он продолжал свой путь, не останавливаясь, и углубился в самую чащу. Сколько росло тут чудных цветов! Белые чашечки лилий с ярко-красными тычинками, небесно-голубые тюльпаны, колеблемые ветром, яблоны, отягченные плодами, похожими на большие блестящие мыльные пузыри. Подумать только, как все это блестело на солнце! Попадались тут и чудесные зеленые лужайки, окруженные великолепными дубами и буками. На лужайках резвились олени и лани. Некоторые из деревьев были с трещинами, и из них росла трава и длинные, цепкие стебли выющихся растений. Были тут и тихие озера; по ним плавали, хлопая белыми крыльями, дикие лебеди. Королевич часто останавливался и прислушивался, ему казалось порою, что звон раздается из этих глубоких тихих озер. Но скоро он замечал, что ошибся: звон раздавался откуда-то из глубины леса.

Солнце стало садиться, небо казалось совсем огненным, в лесу воцарилась торжественная тишина. Королевич упал на колени, пропел вечерний псалом и сказал:

— Никогда мне не найти того, чего ищу! Вот и солнце заходит, скоро наступит темная ночь. Но мне, может быть, удастся еще раз взглянуть на красное солнышко, прежде чем оно зайдет, если я взберусь вон на те скалы — они выше самых высоких деревьев!

И, цепляясь за стебли и корни, он стал карабкаться по мокрым камням, из-под которых выползали ужи и точно собирались залаять на него гадкие жабы. Он все-таки достиг вершины раньше, чем солнце успело закатиться, и бросил взор на открывшееся перед ним пространство. Что за красота, что за великолепие! Перед ним волновалось беспредельное чудное море, а там, где море сливалось с небом, стояло, словно большой сияющий алтарь, солнце. Все сливалось, все тонуло в чудном сиянии красок. Лес и море пели; сердце королевича вторило им. Вся природа была одним обширным чудным храмом; деревья и воздушные облака — стройными колоннами, цветы и трава — богатыми коврами, само небо — куполом. Яркие блестящие краски потухали вместе с солнцем, зато вверху зажигались миллионы звезд, миллионы бриллиантовых огоньков, и королевич простер руки к небу, морю и лесу... В ту же минуту справа появился бедный юноша в куртке с короткими рукавами и в деревянных башмаках. Он шел своею дорогой, и она привела его сюда же и так же скоро. Юноши бросились друг к другу и обнялись в этом обширном храме природы и поэзии, а над ними все звучал невидимый, священный колокол, хоры блаженных духов сливались в одном ликующем «Аллилуйя!».

БАБУШКА

Бабушка такая старенькая, лицо все в морщинах, волосы белые-белые, но глаза, что твои звезды: такие светлые, красивые и ласковые! И каких только чудных историй не знает она! А платье на ней из толстой шелковой материи крупными цветами — так и шуршит! Бабушка много-много чего знает: она живет на свете давным-давно, куда дольше папы и мамы, право! У бабушки есть псалтырь — толстая книга в переплете с серебряными застежками, и она часто читает ее. Между листами книги лежит сплюснутая высохшая роза. Она совсем не такая красивая, как те розы, что стоят у бабушки в стакане с водою, а бабушка все-таки ласковее всего улыбается именно этой розе и смотрит на нее со слезами на глазах. Отчего это бабушка так смотрит на высохшую розу? Знаешь?

Всякий раз, как слезы бабушки падают на цветок, краски его вновь оживляются, он опять становится пышною розой, вся комната наполняется благоуханием, стены тают, как туман, и бабушка — в зеленом, залитом солнцем лесу! Сама бабушка уже не дряхлая старушка, а молодая прелестная девушка с золотыми локонами и розовыми кругленькими щечками, которые поспорят с самими розами. Глаза же ее... да, вот по милым, кротким глазам она все та же бабушка! Рядом с нею сидит красивый мужественный молодой человек. Он дает девушке розу, и она улыбается ему... Так бабушка ведь не улыбается? А нет, вот и улыбается! Он уехал... Проносится еще много дум, мелькает много образов; молодого человека больше нет, роза лежит в старой книге, а сама бабушка... сидит опять на своем кресле такая же старенькая и смотрит на высохшую розу.

А теперь бабушка умерла! Она сидела, как всегда, в своем кресле и рассказывала длинную-длинную чудесную историю, а потом сказала:

— Ну вот и конец! Теперь дайте мне отдохнуть: я устала и сосну немножко.

И она откинулась назад, вздохнула и заснула. Но дыхание ее становилось все тише и тише, а лицо стало таким спокойным и радостным, словно было освещено ясным солнышком! И вот сказали, что она умерла.

Бабушку завернули в белый саван и положили в черный гроб; она была так хороша даже с закрытыми глазами! Все морщины исчезли, на

устах застыла улыбка, серебряная седина внушала почтение. Нисколько и не страшно было взглянуть на мертвую, ведь это была та же милая добрая бабушка! Псалтырь положили ей под голову — так она велела; роза осталась в книге. И вот бабушку похоронили.

На могиле ее, возле самой кладбищенской ограды, посадили розовый куст. Каждый год он покрывался цветами; над ним распевал соловей, а из церкви доносились чудные звуки органа и напевы тех самых псалмов, что и в книге, на которой покоилась голова умершей. Ясный месяц обливал могилу своим кротким светом, но на могиле никогда не появлялось тени усопшей. Любый ребенок мог бы преспокойно отправиться туда ночью и сорвать розу, просунув ручонку за решетку. Мертвые знают больше нас, живых: они знают, как бы мы испугались, если б вдруг увидели их перед собою. Мертвые лучше нас и потому не являются нам. Гроб зарыт в землю, и внутри его тоже одна земля. Листы священной книги стали прахом, роза, с которой было связано столько воспоминаний, — тоже. Но над могилой цветут новые розы, над ней поет соловей, к ней несутся звуки органа, и жива еще память о старой бабушке с милым, вечно юным взором! Взор не умирает никогда! И мы когда-нибудь узрим бабушку такую же юною и прекрасною, как тогда, когда она впервые прижала к устам свежую алую розу, которая теперь истлела в могиле.



ЛЕСНОЙ ХОЛМ

Юркие ящерицы бегали по истрескавшемуся корявому стволу старого дерева; они отлично понимали друг друга, потому что все говорили по-ящеричьи.

— Нет, как шумит и гудит в лесном холме! — сказала одна ящерица. — Я из-за этой музыки вот уж две ночи кряду глаз сомкнуть не могу! Точно у меня зубы болят: тогда я тоже не сплю!

— Там что-то затевается! — сказала другая. — Холм как поднимется на своих четырех красных столбах, так и стоит, пока не запоют петухи, — верно, хотят его хорошенько проветрить. А дочери лесного царя выучились новым танцам, то и дело вертятся! Да, что-то затевается.

— Я говорила с одним моим знакомым дождевым червяком, — сказала третья, — он много ночей и дней рылся там, в холме, и подслушал кое-что. Видеть эта жалкая тварь ничего не видит, зато бродить ощупью да подслушивать — мастер. В лесном холме ожидают чужеземных гостей! Важных-преважных! Кого именно — дождевой червяк сказать не хотел, да, пожалуй, и сам не знал. Все блуждающие огоньки приглашены участвовать в факельном шествии, как это у них называется! И все золото и серебро — а этого добра у них в лесном холме довольно — полируют и выставляют на лунный свет!

— Каких же это таких гостей ждут? — толковали ящерицы. — Что там затевается? Слышите, слышите, как там шумит и гудит?

В эту самую минуту лесной холм раскрылся и оттуда, семена ножками, выскочила старая лесная девушка; у нее не было спины, но одета она была очень прилично. Это была ключница и дальняя родственница самого лесного царя, а потому носила на лбу янтарное сердце. Ножки у нее так и работали: топ! топ! — и она живо очутилась в болоте у ночного ворона¹.

¹ Привидение в виде ворона с пробитым левым крылом. Происхождение его, по народному поверью, следующее: в старину, при появлении какого-нибудь человеческого привидения, прибегали к помощи священника; тот вгонял его заклинаниями в землю и затем втыкал на том месте осиновый кол. В полночь раздавался крик: «Освободи!» Кол вынимали, и привидение навсегда оставляло местность, улетев в виде ворона. — Примеч. перев.

— Вас приглашают в лесной холм сегодня же ночью! — сказала она. — Но сначала я попросила бы вас оказать нам большую услугу — оповестить остальных приглашенных. Надо же быть чем-нибудь полезным, ведь своего хозяйства у вас нет! Мы ждем очень важных чужеземцев, троллей с большим весом, и наш лесной царь не хочет ударить лицом в грязь.

— Кого же приглашать? — спросил ночной ворон.

— На большой бал могут явиться все и каждый, даже люди, если только они ходят или говорят во сне — в общем, отличаются чем-нибудь в нашем роде. Званный обед — дело другое, тут надо выбирать да выбирать. Общество должно быть самое избранное! Я уж и то спорила с лесным царем насчет привидений: по-моему, и их нельзя допускать! Прежде всего придется, конечно, позвать морского царя с дочерьми; они не очень-то любят выходить на сушу, ну да ничего, мы посадим их на мокрый камень или еще что-нибудь придумаем — надеюсь, не откажутся! Потом надо позвать всех старых троллей первого класса, с хвостами, затем водяных и домовых, и наконец, я думаю, нельзя обойти приглашением могильную свинью, мертвую лошадь¹ и церковного карлика: они все-таки в близком родстве с нами и часто навещают нас.

— Карр! — крикнул ночной ворон и полетел приглашать.

Дочери лесного царя уже плясали на лесном холме с длинными прозрачными шарфами в руках. Шарфы были сотканы из тумана и лунного света — это очень красиво, по мнению тех, кому такие вещи нравятся. Парадная зала лесного холма была разубрана на славу: пол вымыт лунным светом, а стены натерты ведьминым салом, так что блестели при свечах не хуже лепестков тюльпана. В кухне жарились на вертелах сотни жирных лягушек, готовились ужиные шкурки с начинкой из детских пальчиков и салат из мухоморов, сырых мышинных мордочек и белены. Пиво было взято с завода самой бабы-болотницы², а искрометное селитряное вино добыто из могильных склепов — словом, все было как следует. К десерту готовились груды ржавых гвоздей и осколков церковных стекол.

Старый лесной царь велел вычистить свою золотую корону толченым грифелем; для этого нужно было добыть грифели первых учеников, а это для лесного царя очень трудно! В спальне повесили занавески и прикрепили их слюной ужа. Вот возня-то была!

— Теперь остается только покурить здесь волосом и щетиной, и — мое дело сделано, — сказала старая лесная дева.

¹ По народному датскому поверью, под каждую вновь строящуюся церковь следовало зарывать живую лошадь или свинью. Привидения этих животных, бродящие по ночам вокруг человеческих жилищ и предвещающие смерть кого-либо из живущих в них, и называются мертвой лошадью и могильной свиньей. — *Примеч. перев.*

² «Баба-болотница варит пиво», — говорят датчане при виде поднимающегося над болотами тумана. — *Примеч. перев.*

— Папаша! — заговорила самая младшая дочка. — Скажи же, наконец, кто такие эти важные гости?

— Так и быть, — отвечал лесной царь, — скажу! Две из моих дочерей должны быть наготове! Две уж непременно выйдут замуж. Старый норвежский тролль, тот, что живет в скале Доврэ, владелец множества гранитных дворцов и золотых россыпей, — они у него лучше, чем думают, — едет сюда женить двух своих сыновей. Старый тролль — настоящий норвежец, веселый и прямой! Я давно его знаю, мы даже пили с ним на «ты», когда он приезжал сюда жениться. Жена его уж умерла; она была дочь короля меловых утесов на Мэне. Ах, как мне хочется поскорее увидеть старого тролля! Сыновья-то у него, как слышно, не задались — задиры какие-то неотесанные. Ну да это, может быть, так, пустые слухи; к тому же они еще поисправятся с годами! Надеюсь, что вы сумеете вышколить их!

— А когда они будут здесь? — спросила одна из дочерей.

— Смотря по погоде и по ветру! — сказал лесной царь. — Они очень расчетливы и едут морем с оказией. Я было советовал им ехать через Швецию, но старик до сих пор еще косится на ту сторону. Он немножко отстал от века, и вот это мне не нравится!

Вдруг к ним припустились во всю прыть два сторожевых блуждающих огонька, один был попроворнее и прибежал первым.

— Едут, едут! — кричали они.

— Подайте мне мою корону и пустите меня на лунный свет! — сказал лесной царь.

Дочери высоко подняли свои шарфы и присели чуть не до земли.

Старый тролль был в короне из ледяных сосул и полированных еловых шишек, в медвежьей шубе и меховых сапогах. А сыновья его, здоровенные малые, ходили, напротив, нараспашку, с голыми шеями и без подтяжек.

— Разве это холм? — спросил младший, указывая пальцем на лесной холм. — По-нашему, по-норвежски, это — дыра!

— Вот так молодцы! — сказал старый тролль. — Дыра идет вниз, а холм вверх! Что ж вы, ослепли, что ли?

Особенно удивляло молодых, по их словам, то, что они так скоро выучились понимать здешний язык.

— Ну, ну, только не представляйтесь, пожалуйста! — сказал им отец. — Право, можно подумать, что вы малолетки!

Потом все вошли в лесной холм, где, грех пожаловаться, собралось самое избранное общество, да еще собралось так скоро, точно их всех ветром намело! Каждому был приготовлено особое удобное местечко; морские гости сидели за столом в больших чанах с водой и чувствовали себя совсем как дома. Все вели себя за столом очень прилично, кроме молодых норвежцев-троллей. Они положили ноги на стол, думая, что у них все выходит мило.

— Ноги долой! — сказал старый тролль, и они послушались, хоть и не сразу.

Своих соседок за столом они щекотали еловыми шишками — у них были полные карманы этих шишек, потом сняли с себя для удобства сапоги и дали их держать дамам. Старый тролль вел себя совсем не так: он рассказывал чудеснейшие истории о величественных норвежских скалах, о пенящихся водопадах, которые с гулом и ревом, подобным раскатам грома и звукам органа, низвергаются в пучину; рассказывал о лососях, что прыгают и борются с течением под звуки золотой арфы духа водопада; рассказывал о звездных зимних ночах, когда весело звенят упряжные бубенчики, а молодые парни бегают с горящими смоляными факелами по гладкому льду, до того прозрачному, что видно, как под ним мечутся испуганные рыбы. Да, умел-таки он рассказывать! Слушатели словно видели и слышали все сами: водопады и водяные мельницы шумели, деревенские парни и девушки пели и плясали... Тра-ла-ла! И старый тролль так расхотелся, что вдруг чмокнул старую лесную девушку, точно старый дядюшка, а они вовсе и родственниками-то не были!

Потом дочерей лесного царя заставили танцевать. Они прекрасно исполнили несколько танцев, и простых, и с притопываньем и, наконец, должны были протанцевать новый, самый мудреный, под названием «танец без танцев».

Эх ты ну! Как они пошли вытягивать ножки и вертеться! Где начало, где конец, где рука, где нога — ничего не разберешь, точно снежинки вихрем закрутило! Под конец они так закружились, что мертвую лошадь стошнило, и она принуждена была выйти из-за стола.

— Брр! — сказал старый тролль. — Вот так работа ножками! А что они умеют делать еще, кроме пляски, вытягиванья ножек и головокруженья?

— А вот сейчас узнаешь! — сказал лесной царь и вызвал самую младшую дочь; она была тонка и прозрачна, как лунный свет; это была самая нежная и изящная из всех сестер; она взяла в рот белый пруттик и — глядь-поглядь — нет ее, исчезла без следа! Вот было и все ее искусство.

Но старый тролль сказал, что такое искусство в жене ему вовсе не по вкусу, да и сыновьям его навряд ли.

Вторая умела ходить сбоку самой себя — выходило, точно у нее была своя тень, а ведь у троллей и духов ее не бывает!

Третья сестра была совсем иного склада: она обучалась варить пиво у самой бабы-болотницы и отлично умела шпиговать болотные кочки светляками.

— Из нее выйдет отличная хозяйка! — сказал старый тролль и чокнулся взглядом: он не хотел больше пить.

Четвертая вышла с золотой арфой в руках, ударила по одной струне, и все должны были поднять левую ногу: тролли и духи все левши; ударила по другой, и все должны были плясать под ее музыку.

— Опасная особа! — сказал старый тролль, а молодые тролли взяли да ушли из зала: им уж надоело все это.

— А следующая что умеет? — спросил старый тролль.

— Любить все норвежское! — сказала та. — Я выйду замуж только за норвежца.

А самая младшая сестрица шепнула в это время старому троллю на ухо:

— Это она узнала из одной норвежской песни, что при светопреставлении, когда все рушится, уцелеют будто бы одни норвежские скалы. Вот ей и хочется попасть в Норвегию — она страсть боится погибнуть.

— Эге! — сказал старый тролль. — Вот оно что! А седьмая, и последняя, что умеет?

— Перед седьмой есть еще шестая! — сказал старый лесной царь: он умел считать.

Но шестая не хотела даже показаться.

— Я умею только говорить правду в глаза! — сказала она. — Поэтому я никому не нужна, да и дела у меня по горло: я шью себе погребальный саван!

Теперь дошла очередь и до седьмой. Что же она умела? Да она умела рассказывать сказки о чем угодно и сколько угодно.

— Вот тебе мои пять пальцев! — сказал старик тролль. — Расскажи мне сказку о каждом!

И она взяла его руку и принялась рассказывать, а он смеялся до колик. Когда же она дошла до Златоперста, украшенного золотым кольцом, словно в ожидании обручения, старик сказал:

— Стой! Держи его крепче! Рука эта — твоя! На тебе я сам женюсь!

Сказочница возразила, что он еще не дослушал о Златоперсте и о Петрушке-Бездельнике!

— Зимой дослушаем! — сказал старый тролль. — Послушаем тогда и о них, и об елке, и о березке, и о трескучих морозах! Тебе предстоит отличиться, у нас там, в Норвегии, никто не умеет так рассказывать! Мы будем сидеть в горной пещере при свете сосновых лучин и пить мед из золотых рогов викингов. Речной дух подарил мне парочку таких рогов. И сам он придет к нам в гости и споет тебе все песни горных пастушек. Вот веселье-то пойдет у нас! Лососи запрыгают в струях водопада и будут биться о стены; только не попасть им к нам! Эх! Хорошо в нашей старой, славной Норвегии!.. А где же мои молодцы?

Да куда же они девались? Они бегали по полю и задували блуждающие огоньки, которые так любезно явились участвовать в факельном шествии.

— Что вы шляетесь? — сказал старый тролль. — Я вот взял вам мать, а вы можете взять за себя которую-нибудь из теток.

Но молодцы сказали, что им больше нравится пить на «ты» и говорить речи, а жениться вовсе не хочется. И они говорили речи, пили на «ты»

и потом опрокидывали кубки себе на нготь — это значило, что в них не осталось ни капли. Наконец они сняли с себя кафтаны и растянулись на столе отдыхать; они нисколько не стеснялись. А старый тролль пустился со своею молодою невестой в пляс и потом поменялся с ней сапогами — это поновее, чем меняться кольцами!

— Чу! Запел петух! — сказала старая ключница. — Пора закрыть-ся, чтобы солнце не испекло нас.

И холм закрылся.

А по стволу гнилого дерева бегали взад и вперед ящерицы и тараторили:

— Ах, как мне понравился старый норвежский тролль!

— По-моему, молодежь лучше! — сказал дождевой червяк, но ведь он был слеп, жалкая тварь!



КРАСНЫЕ БАШМАКИ



Жила-была девочка, премиленькая, прехорошенькая, но очень бедная, и летом ей приходилось ходить босиком, а зимою — в грубых деревянных башмаках, которые ужасно натирали ей ножки.

В деревне жила старушка башмачница. Вот она взяла да и сшила, как умела, из обрезков красного сукна пару башмачков. Башмаки вышли очень неуклюжие, но сшиты были с добрым намерением — башмачница подарила их бедной девочке. Девочку звали Карен.

Она получила и обновила красные башмаки как раз в день похорон своей матери. Нельзя сказать, чтобы они годились для траура, но других у девочки не было; она надела их прямо на голые ножки и пошла за убогим соломенным гробом.

В это время по деревне проезжала большая старинная карета и в ней важная старая барыня. Она увидела девочку, пожалела ее и сказала священнику:

— Послушайте, отдайте мне девочку, я позабочусь о ней.

Карен подумала, что все это вышло благодаря ее красным башмакам, но старая барыня нашла их ужасными и велела сжечь. Карен приодели и стали учить читать и шить. Все люди говорили, что она очень мила, зеркало же твердило: «Ты больше чем мила, ты прелестна».

В это время по стране путешествовала королева со своею маленькою дочерью, принцессой. Народ сбегался ко дворцу; была тут и Карен. Принцесса в белом платье стояла у окошка, чтобы дать людям посмотреть на себя. У нее не было ни шлейфа, ни короны, зато на ножках красовались чудесные красные сафьяновые башмачки; нельзя было и сравнить их с теми, что сшила для Карен башмачница. В свете не могло быть ничего лучше этих красных башмачков!

Карен подросла, и пора было ей подтвердить; ей сшили новое платье и собирались купить новые башмаки. Лучший городской башмачник снял мерку с ее маленькой ножки. Карен с барыней сидели у него в мастерской; тут же стоял большой шкаф со стеклами, за которыми красовались прелестные башмачки и лакированные сапожки. Можно было

залибоваться на них, только не старой барыне: она очень плохо видела. Между башмаками была и пара красных, точь-в-точь как те, что красовались на ножках принцессы. Ах, что за прелесть! Башмачник сказал, что они были заказаны для графской дочки, да не пришились по ноге.

— Это лакированная кожа? — спросила старая барыня. — Они блестят!

— Да, блестят! — ответила Карен.

Башмачки были примерены, оказались впору, и их купили. Но старая барыня не знала, что они красные: она бы никогда не позволила Карен идти конфирмоваться в красных башмаках, а Карен как раз так и сделала.

Все люди в церкви смотрели на ее ноги, когда она проходила на свое место. Ей же казалось, что и старые портреты умерших пасторов и пасторш в длинных черных одеяниях и плетеных круглых воротничках тоже уставились на ее красные башмаки. Сама она только о них думала, даже в то время, когда священник возложил ей на голову руки и стал говорить о святом крещении, о союзе с Богом и о том, что она становится теперь взрослой христианкой. Торжественные звуки церковного органа и мелодичное пение чистых детских голосов наполняли церковь, старый регент подтягивал детям, но Карен думала только о своих красных башмаках.

После обедни старая барыня узнала от других людей, что башмаки были красные, объяснила Карен, как это гадко и неприлично, и велела ей ходить в церковь всегда в черных башмаках, хотя бы и в старых.

В следующее воскресенье надо было идти к причастию. Карен взглянула на красные башмаки, взглянула на черные, опять на красные и — надела их.

Погода была чудная, солнечная; Карен со старой барыней прошли по тропинке через поле; было немного пыльно.

У церковных дверей стоял, опираясь на костыль, старый солдат с длинною, странною бородой: она была скорее рыжая, чем седая. Он поклонился им чуть не до земли и попросил старую барыню позволить ему смахнуть пыль с ее башмаков. Карен тоже протянула ему свою маленькую ножку.

— Ишь какие славные бальные башмачки! — сказал солдат. — Сидите крепко, когда запляшете!

И он хлопнул рукой по подошвам.

Старая барыня дала солдату скиллинг и вошла вместе с Карен в церковь.

Все люди в церкви опять глядели на ее красные башмаки, все портреты тоже. Карен преклонила колени перед алтарем, и золотая чаша приблизилась к ее устам, а она думала только о своих красных башмаках — они словно плавали перед ней в самой чаше. И Карен забыла пропеть псалом, забыла прочесть «Отче наш».

Народ стал выходить из церкви; старая барыня села в карету, Карен тоже поставила было ногу на подножку, как вдруг возле нее очутился старый солдат и сказал:

— Ишь какие славные бальные башмачки!

Карен не удержалась и сделала несколько па, а тут уж ноги ее пошли плясать сами собою, точно башмаки имели какую-то волшебную силу. Карен неслась все дальше и дальше, обогнула церковь и все не могла остановиться. Кучеру пришлось бежать за нею вдогонку, взять ее на руки и посадить в карету. Карен села, а ноги ее все продолжали приплясывать, так что доброй старой барыне досталось немало пинков. Пришлось, наконец, снять башмаки, и ноги успокоились.

Приехали домой; Карен поставила башмаки в шкаф, но не могла не любоваться на них.

Старая барыня захворала, и сказали, что она не проживет долго. За ней надо было ходить, а кого же это дело касалось ближе, чем Карен? Но в городе давался большой бал, и Карен пригласили. Она посмотрела на старую барыню, которой все равно было не жить, посмотрела на красные башмаки — разве это грех? Потом надела их — и это ведь не беда, — а потом... отправилась на бал и пошла танцевать.

Но вот она хочет повернуть вправо — ноги несут ее влево, хочет сделать круг по зале — ноги несут ее вон из залы, вниз по лестнице, на улицу и за город. Так доплясала она вплоть до темного леса.

Что-то засветилось между верхушками деревьев. Карен подумала, что это месяц, так как виднелось что-то похожее на лицо, но это было лицо старого солдата с рыжею бородой. Он кивнул ей и сказал:

— Ишь какие славные бальные башмачки!

Она испугалась, хотела сбросить с себя башмаки, но они сидели крепко — она только изорвала в клочья чулки; башмаки точно приросли к ногам, и ей пришлось плясать, плясать по полям и лугам, в дождь и в солнечную погоду, и ночь, и день. Ужаснее всего было ночью!

Вот она очутилась на кладбище, но все мертвые спокойно спали в своих могилах. У мертвых найдется дело получше, чем пляска. Она хотела присесть на одной бедной могиле, поросшей дикою рябинкой, но не тут-то было! Ни отдыха, ни покоя! Она все плясала и плясала... Вот в открытых дверях церкви стоит ангел в длинном белом одеянии; за плечами у него были большие, спускавшиеся до самой земли крылья. Лицо ангела было строго и серьезно, в руке он держал широкий блестящий меч.

— Ты будешь плясать! — сказал он. — Плясать в своих красных башмаках, пока не побледнеешь, не похолодеешь, не высохнешь, как мумия! Ты будешь плясать от ворот до ворот и стучаться в двери тех домов, где живут гордые, тщеславные дети; твой стук будет пугать их! Будешь плясать, плясать!..

— Смилуйся! — вскричала Карен.

Но она уже не слышала ответа ангела — башмаки повлекли ее в калитку за ограду кладбища, в поле, по дорогам и тропинкам.



Раз утром она пронеслась в пляске мимо знакомой двери; оттуда с пением псалмов выносили гроб, украшенный цветами. Тут она узнала, что старая барыня умерла, и ей показалось, что теперь она оставлена всеми, проклята ангелом Господним.

И она все плясала, плясала, даже темною ночью. Башмаки несли ее по камням, сквозь лесную чащу и терновые кусты, колючки которых царапали ее до крови. Так доплясала она до маленького уединенного домика, стоявшего в открытом поле. Она знала, что здесь живет палач, постучала пальцем в оконное стекло и сказала:

— Выйди ко мне! Сама я не могу войти к тебе, я пляшу!

И палач отвечал:

— Ты, верно, не знаешь, кто я? Я рублю головы дурным людям, и топор мой, как вижу, дрожит!

— Не руби мне головы! — сказала Карен. — Тогда я не успею покаяться в своем грехе. Отруби мне лучше ноги с красными башмаками.

И она исповедалась в своем грехе. Палач отрубил ей ноги с красными башмаками, и пляшущие ножки понеслись по полю и скрылись в чаще леса.

Потом палач приделал ей вместо ног деревяшки, дал костыли и выучил ее псалму, который всегда поют грешники. Карен поцеловала руку, державшую топор, и пошла по полю.

— Ну, довольно я настрадалась из-за красных башмаков! — сказала она. — Пойду теперь в церковь, пусть люди увидят меня!

И она быстро направилась к церковным дверям; вдруг перед нею заплясали ее ноги в красных башмаках; она испугалась и повернула прочь.

Целую неделю тосковала и плакала Карен горькими слезами, но вот настало воскресенье, и она сказала:

— Ну, довольно я страдала и мучилась! Право же, я не хуже многих из тех, что сидят и величаются в церкви!

И она смело пошла туда же, но дошла только до калитки, тут перед нею опять заплясали красные башмаки. Она опять испугалась, повернула обратно и от всего сердца покаялась в своем грехе.

Потом она пошла в дом священника и попросилась в услужение, обещая быть прилежной и делать все, что сможет, без всякого жалованья, из-за куска хлеба и приюта у добрых людей. Жена священника сжалилась над ней и взяла ее к себе в дом. Карен работала не покладая рук, но была очень тиха и задумчива. С каким вниманием слушала она по вечерам священника, читавшего вслух Библию! Дети очень полюбили ее, но, когда девочки заговаривали при ней о нарядах и высказывали желание быть на месте королевы, Карен печально качала головой.

В следующее воскресенье все собрались идти в церковь; ее спросили, не пойдет ли и она с ними, но она только со слезами посмотрела на свои костыли. Все отправились слушать слово Божие, а она ушла в свою

каморку. Там умещались только кровать да стул; она села и набожно стала читать псалтырь. Вдруг ветер донес до нее звуки церковного органа. Она подняла от книги свое омоченное слезами лицо и воскликнула:

— Помоги мне, Господи!

И вдруг ее всю осияло, как солнцем, перед ней очутился ангел Господен в белом одеянии, тот самый, которого она видела в ту страшную ночь у церковных дверей. Но теперь в руках он держал не острый меч, а чудесную зеленую ветвь, усеянную розами. Он коснулся ею потолка, и потолок поднялся высоко-высоко, а на том месте, до которого дотронулся ангел, заблестала золотая звезда. Затем ангел коснулся стен — они раздались, и Карен увидела церковный орган, старые портреты пасторов и пасторш и весь народ; все сидели на своих стульях и пели псалмы. Что это, преобразилась ли в церковь узкая каморка бедной девушки или сама девушка каким-то чудом перенеслась в церковь?.. Карен сидела на своем стуле рядом с домашними священника, и когда те окончили псалом и увидали ее, то ласково кивнули ей, говоря:

— Ты хорошо сделала, что тоже пришла сюда, Карен!

— По милости Божьей! — отвечала она.

Торжественные звуки органа сливались с нежными детскими голосами хора. Лучи ясного солнышка струились в окно прямо на Карен. Сердце ее так переполнилось всем этим светом, миром и радостью, что разорвалось. Душа ее полетела вместе с лучами солнца к Богу, и там никто не спросил ее о красных башмаках.



ПРЫГУНЫ

Блоха, кузнечик и гусек-скакунок¹ хотели раз посмотреть, кто из них выше прыгает, и пригласили прийти полюбоваться на такое диво весь свет и — кто там еще захочет. Да, вот так прыгуны выступили перед собранием! Настоящие прыгуны-молдцы!

— Я выдам свою дочку за того, кто прыгнет выше всех! — сказал король. — Обидно было бы таким молодцам прыгать задаром!

Сначала вышла блоха; она держала себя в высшей степени мило и раскланялась на все стороны: в жилах ее текла девичья кровь, и вообще она привыкла иметь дело с людьми, а это что-нибудь да значит!

Потом вышел кузнечик; он был, конечно, потяжеловеснее, но тоже очень приличен на вид и одет в зеленый мундир — он и родился в мундире. Кузнечик говорил, что происходит из очень древнего рода, из Египта, и поэтому в большой чести в здешних местах: его взяли прямо с поля и посадили в трехэтажный карточный домик, который был сделан из одних фигур, обращенных лицевой стороной вовнутрь; окна же и двери в нем были прорезаны в туловище червонной дамы.

— Я пою, — прибавил кузнечик, — да так, что шестнадцать здешних сверчков, которые трещат с самого рожденья и все-таки не удостоились карточного домика, послушав меня, с досады похудели больше прежнего!

И блоха и кузнечик полагали, таким образом, что достаточно зарекомендовали себя в качестве приличной партии для принцессы.

Гусек-скакунок не сказал ничего, но о нем говорили, что зато он много думает. А придворный пес, как только обнюхал его, так и сказал, что гусек-скакунок из очень хорошего семейства. Старый же придворный советник, который получил три ордена за умение молчать, уверял, что гусек-скакунок отличается пророческим даром: по его спине можно узнать, мягкая или суровая будет зима, а этого нельзя узнать даже по спине самого составителя календарей!

¹ Игрушка из грудной кости гуся. — *Примеч. перев.*

— Я пока ничего не скажу! — сказал старый король. — Но у меня свои соображения!

Теперь оставалось только прыгать.

Блоха прыгнула, да так высоко, что никто и не видал — как, и потому стали говорить, что она вовсе не прыгала, но это было нечестно. Кузнечик прыгнул вдвое ниже и угодил королю прямо в лицо, и тот сказал, что это очень гадко.

Гусек-скакунок долго стоял и думал; в конце концов подумали, что он вовсе не умеет прыгать.

— Только бы ему не сделалось дурно! — сказал придворный пес и принялся опять обнюхивать его.

Прыг! И гусек-скакунок маленьким косым прыжком очутился прямо на коленях у принцессы, которая сидела на низенькой золотой скамеечке.

Тогда король сказал:

— Выше всего допрыгнуть до моей дочери — в этом ведь вся суть; но чтобы додуматься до этого, нужно быть головой, и гусек-скакунок доказал, что он — голова. И голова с мозгами!

И гуську-скакунку досталась принцесса.

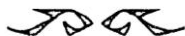
— Я все-таки выше всех прыгнула! — сказала блоха. — Но все равно, пусть остается при своем дурацком гуське с палочкой и смолой! Я прыгнула выше всех, но на этом свете надо иметь крупное тело, чтобы тебя заметили!

И блоха поступила волонтером в чужеземное войско и, говорят, нашла там смерть.

Кузнечик расположился в канавке и принялся петь о том, как идут дела на белом свете. И он тоже говорил:

— Да, прежде всего тело! Одно тело!

И он затянул песенку о своей печальной доле. Из его-то песни мы и взяли эту историю. Впрочем, она, пожалуй, и выдумана, хоть и напечатана.



ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ

Видали ли вы когда-нибудь старинный-старинный шкаф, почерневший от времени и весь изукрашенный резьбою в виде разных завитушек, цветов и листьев? Такой вот точно шкаф — наследство после прабабушки — и стоял в комнате. Он был весь покрыт резьбой — розами, тюльпанами и самыми причудливыми завитушками. Между ними высовывались маленькие оленьи головы с ветвистыми рогами, а по самой середине был вырезан целый человечек. На него невозможно было глядеть без смеха, да и сам он преуморительно скалил зубы — такую гримасу уж никак не назовешь улыбкою! У него были козлиные ноги, маленькие рожки на лбу и длинная борода. Дети звали его обер-унтер-генерал-комиссар-сержантом Козлоногом! Трудно и выговорить такое имя, и немногие устаиваются подобного титула, зато и вырезать такую фигуру стоило немало труда. Ну да все-таки вырезали! Он вечно глядел на подзеркальный столик, где стояла прелестная фарфоровая пастушка. Башмачки на ней были вызолоченные, платьице слегка приподнято и подколото алой розой, на головке красовалась золотая шляпа, а в руках пастуший посох. Ну просто прелесть! Рядом с нею стоял трубочистик, черный как уголь, но, впрочем, тоже из фарфора и сам по себе такой же чистенький и миленький, как всякая фарфоровая статуэтка: он ведь только представлял трубочиста, и мастер точно так же мог бы сделать из него принца — все равно!

Он премило держал в руках свою лестницу; личико у него было белое, а щеки розовые, как у барышни, и это было немножко неправильно: следовало бы ему быть почернее. Он стоял рядом с пастушкой: как их поставили, так они и стояли; стояли, стояли да и обручились: они были отлично парочкой — оба молодые, оба из одинакового фарфора и оба одинаково хрупки.

Тут же стояла и еще одна кукла, в три раза больше их. Это был старый китаец с кивающею головой. Он был тоже фарфоровый и называл себя дедушкой маленькой пастушки, но доказать этого, кажется, не мог. Он утверждал, что имеет над ней власть, и потому кивал головою обер-унтер-генерал-комиссар-сержанту Козлоногу, который сватался за пастушку.

— Вот так муж у тебя будет! — сказал старый китаец пастушке. — Я думаю даже, что он из красного дерева! Он сделает тебя обер-унтер-генерал-комиссар-сержантшей! И у него целый шкаф серебра, не говоря уже о том, что лежит в потаенных ящичках!

— Я не хочу в темный шкаф! — сказала пастушка. — Говорят, у него там одиннадцать фарфоровых жен!

— Так ты будешь двенадцатой! — отвечал китаец. — Ночью, как только в старом шкафу треснет, мы сыграем вашу свадьбу! Да, да, не будь я китайцем!

Тут он кивнул головой и заснул.

Пастушка плакала и смотрела на своего милого.

— Право, я попрошу тебя, — сказала она, — бежать со мной куда глаза глядят. Тут нам нельзя оставаться!

— Твои желания — мои! — ответил трубочистик. — Пойдем же скорее. Я думаю, что смогу прокормить тебя своим ремеслом!

— Только бы нам удалось спуститься со столика! — сказала она. — Я не успокоюсь, пока мы не будем далеко-далеко отсюда!

Трубочистик успокаивал ее и указывал, куда лучше ступать ножкой, на какой выступ или золоченую завитушку резных ножек стола. Лестница его тоже сослужила им немалую службу; таким образом, они благополучно спустились на пол. Но, взглянув на старый шкаф, они увидели там страшный переполох. Резные олени далеко-далеко вытянули вперед головы с рогами и мотали ими, а обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног высоко подпрыгнул и закричал старому китайцу:

— Бегут! Бегут!

Беглецы испугались немножко и поскорее шмыгнули в ящик предоконного возвышения¹.

Тут лежали три-четыре неполные колоды карт и кукольный театр; он был кое-как установлен в тесном ящике, и на сцене шло представление. Все дамы — и бубновые, и червонные, и трефовые, и пиковые — сидели в первом ряду и обмахивались своими тюльпанами. Позади них стояли валеты и старались показать, что они о двух головах — как и все карты. В пьесе изображались страдания влюбленной парочки, которую разлучали. Пастушка заплакала: это была точь-в-точь их собственная история.

— Нет, я не вынесу! — сказала она трубочисту. — Уйдем отсюда!

Но, очутившись опять на полу, они увидели, что старый китаец проснулся и весь качался из стороны в сторону: внутри него катался свиновый шарик.

¹ В Дании окна обыкновенно помещаются довольно высоко от пола, поэтому перед одним из них устраивается иногда, для любителей смотреть на уличное движение, невысокий деревянный помост, на который ставится стул. — *Примеч. перев.*

— Ай, старый китаец идет к нам! — закричала пастушка и в отчаянии упала на свои тонкие фарфоровые коленки.

— Стой, мне пришла в голову мысль! — сказал трубочист. — Видишь вон там, в углу, большую вазу с сушеными душистыми травами и цветами? Влезем в нее! Там мы будем лежать на розах и лаванде, а если китаец подойдет к нам, засыплем ему глаза солью.

— Нет, это не годится! — сказала она. — Я знаю, что старый китаец и ваза были когда-то помолвлены, а в таких случаях всегда сохраняются добрые отношения! Нет, нам остается только пуститься по белу свету куда глаза глядят!

— А хватит ли у тебя мужества идти за мною всюду? — спросил трубочист. — Подумала ли ты, как велик свет? Подумала ли о том, что нам уже нельзя будет вернуться назад?

— Да, да! — отвечала она.

Трубочист пристально посмотрел на нее и сказал:

— Моя дорога идет через дымовую трубу! Хватит ли у тебя мужества вскарабкаться со мной в печку и пробраться по коленчатым переходам трубы? Там-то уж я знаю, что мне делать! Мы заберемся так высоко, что нас не достанут. В самом же верху есть дыра, через нее можно выбраться на белый свет!

И он повел ее к печке.

— Как тут темно! — сказала она, но все-таки полезла за ним в печку и в трубу, где было темно как ночью.

— Ну вот мы и в трубе! — сказал он. — Смотри, смотри! Прямо над нами сияет чудесная звездочка!

На небе и в самом деле сияла звезда, точно указывая им дорогу. А они все лезли и лезли выше да выше! Дорога была ужасная! Но трубочист поддерживал пастушку и указывал, куда ей удобнее и лучше ставить фарфоровые ножки. Наконец они достигли края трубы и уселись на нее — они очень устали, и было от чего!

Небо, усеянное звездами, было над ними, а все домовые крыши — под ними. С этой высоты глазам их открывалось огромное пространство. Бедная пастушка никак не думала, чтобы свет был так велик. Она склонилась головкою к плечу трубочистика и заплакала; слезы катились ей на грудь и разом смыли всю позолоту с ее пояса.

— Нет, это уж слишком! — сказала она. — Я не вынесу! Свет слишком велик! Ах, если бы я опять стояла на подзеркальном столике! Я не успокоюсь, пока не вернусь туда! Я пошла за тобой куда глаза глядят, теперь проводи меня обратно, если любишь меня!

Трубочист стал ее уговаривать, напоминал ей о старом китайце и об обер-унтер-генерал-комиссар-сержанте Козлоноге, но она только рыдала и крепко целовала своего милого. Что ему оставалось делать? Пришлось уступить, хотя и не следовало.



И вот они с большим трудом спустились по трубе обратно вниз — нелегко это было! Очутившись опять в темной печке, они сначала постояли несколько минут за дверцами, желая услышать, что творится в комнате. Там было тихо, и они выглянули — ах! На полу валялся старый китаец: он свалился со стола, собираясь пуститься за ними вдогонку, и разбился на три части — спина так и отлетела прочь, а голова закатилась в угол. Обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног стоял, как всегда, на своем месте и раздумывал.

— Ах, какой ужас! — воскликнула пастушка. — Старый дедушка разбился в куски, и мы всему виною! Ах, я не переживу этого!

И она заломила свои крошечные ручки.

— Его можно починить! — сказал трубочист. — Его отлично можно починить! Только не горячись! Ему приклеют спину, а в затылок забьют хорошую заклепку — он будет совсем как новый и успеет еще наделать нам много неприятностей.

— Ты думаешь? — спросила она.

И они опять вскарабкались на столик, где стояли прежде.

— Вот куда мы ушли! — сказал трубочист. — Стоило беспокоиться!

— Только бы дедушку починили! — сказала пастушка. — Или это очень дорого обойдется?

И дедушку починили: приклеили ему спину и забили хорошую заклепку в шею — он стал как новый, только кивать головой больше не мог.

— Вы что-то загордились с тех пор, как разбились! — сказал ему обер-унтер-генерал-комиссар-сержант Козлоног. — А мне кажется, тут нечем особенно гордиться! Что же, отдадут ее за меня или нет?

Трубочист и пастушка с мольбой взглянули на старого китайца — они так боялись, что он кивнет, но он не мог, хоть и не хотел в этом признаться: не очень-то приятно рассказывать всем и каждому, что у тебя в затылке заклепка! Так фарфоровая парочка и осталась стоять рядышком. Пастушка и трубочист благословляли дедушкину заклепку и любили друг друга, пока не разбились.



ГОЛЬГЕР-ДАНСКЕ

Есть в Дании старинный замок — Кронборг; лежит он на самом берегу Зунда, и мимо него ежедневно проходят сотни кораблей: и английские, и русские, и прусские. Все они приветствуют старый замок пушечными выстрелами: бум! Из замка тоже отвечают: бум! Это пушки говорят: «Здравия желаем!» — «Спасибо!» Зимой корабли не ходят, море замерзает вплоть до самого шведского берега, и устанавливается настоящая дорога. По ней развеваются датские и шведские флаги, и шведы с датчанами тоже говорят друг другу: «Здравия желаем!» и «Спасибо!», но уже не пушечными выстрелами, а просто, дружески пожимая друг другу руки, и одни посылают на берег к другим за булками и кренделями, ведь чужая еда всегда слаще! Но лучше всего здесь все-таки старинный Кронборг. В его глубоком, мрачном подземелье, куда никто не заглядывает, сидит Гольгер-Данске. Он весь закован в железо и сталь и подпирает голову могучими руками. Длинная борода его крепко приросла к мраморной доске стола. Он спит и видит во сне все, что делается в Дании. Каждый сочельник является к нему ангел Господен и говорит, что все виденное им во сне — правда и что он еще может пока спать спокойно: Дании не угрожает никакая серьезная опасность. А настань эта грозная минута — старый Гольгер-Данске воспрянет, так что мраморная доска стола треснет, когда он потянет свою бороду. Он выйдет на волю и так ударит мечом, что гром раздастся по всему свету.

Так рассказывал старый дед своему маленькому внуку, и мальчик знал, что все это правда, ведь рассказывал сам дедушка. Старик же, рассказывая, вырезывал из дерева большую фигуру самого Гольгера-Данске. Старый дед занимался вырезыванием фигур для украшения кораблей соответственно их названиям. Теперь вот он вырезал Гольгера-Данске: герой с длинною седою бородой стоял так прямо и гордо, держа в одной руке меч, а другою опираясь на датский герб. Много еще рассказал старый дед о других замечательных мужах и женах Дании, и под конец внуку стало казаться, будто и он знает теперь не меньше самого Гольгера-Данске, который видел все это только во сне. Головка мальчика была переполнена всеми этими рассказами, и, улегшись в постель, он

крепко прижал свой подбородок к подушке, вообразив, что это у него борода, которая крепко приросла к постели.

А старый дед все еще сидел за своею работой, вырезывая последнюю часть фигуры — датский герб. Наконец работа была кончена, он взглянул на нее и стал припоминать все, что когда-то читал, слышал и сейчас сам рассказывал внуку; потом потряхнул головой, снял и протер очки, опять надел их и промолвил:

— Да, в мое время Гольгер-Данске, пожалуй, и не придет, но мальчуган, может быть, увидит его и будет биться с ним рядом, когда дело дойдет до серьезного!

Тут дедушка опять кивнул головой, не сводя глаз с фигуры: чем больше он смотрел на своего Гольгера-Данске, тем яснее видел, что работа ему очень удалась. Ему стало даже казаться, что фигура вдруг покрылась красками, броня заблестела, сердца на датском гербе стали больше и заалели, а львы с золотыми коронами на головах запрыгали.

— Да, у нас, датчан, лучший герб в мире! — сказал старик. — Львы — эмблема силы, а сердца — кротости и любви!

Он взглянул на крайнего льва, и ему вспомнился Кнуд Великий, который приковал к датскому трону великую Англию; взглянул на другого — вспомнился Вальдемар, который вновь собрал Данию и покорил вендов; взглянул на третьего — вспомнилась Маргарита, объединившая Данию, Швецию и Норвегию. И алые сердца на гербе вдруг стали еще ярче, каждое обратилось под конец в движущееся пламя, и мысль старика последовала за каждым.

Первое пламя привело его в узкую мрачную темницу, где сидела прекрасная пленница — дочь Кристиана Четвертого, Элеонора Ульфельдт¹; пламя расцвело на ее груди розой и слилось с сердцем этой лучшей, благороднейшей дочери.

— Да, это сердце из датского герба! — проговорил старик.

И его мысли понеслись за пламенем второго сердца. Оно привело его к морю. Пушки палили, корабли исчезали в облаках дыма, и пламя обвило, как орденскую лентой, грудь адмирала Витфельда, который ради спасения датского флота взорвал себя и свой корабль.

Третье пламя привело его к жалким хижинам Гренландии. Там проповедовал любовь и словом и делом миссионер Ганс Эгед; пламя превратилось в звезду на его груди, в которой билось еще одно сердце из датского герба.

¹ Любимая дочь короля Кристиана IV; была замужем за одним из первых сановников государства — Корфицем Ульфельдтом. В царствование брата Элеоноры, Фредерика III, Корфиц был обвинен в государственной измене и приговорен к смертной казни, но успел бежать за границу. За это пришлось поплатиться его невинной жене; ее заключили в темницу, где она и провела 22 года, пока не умерла ненавидевшая ее невестка, супруга короля София-Амалия. — *Примеч. перев.*

И мысли старика забежали вперед четвертого пламени — он знал, куда оно приведет. В жалкой хижине бедной крестьянки стоял Фредерик Шестой и чертил мелом на балке свое имя; пламя заколебалось на его груди, слилось с его сердцем. В крестьянской хижине его сердце стало одним из сердец датского герба. И старый дед отер глаза: он лично знал этого доброго короля Фредерика, с серебристыми седыми волосами и честными голубыми глазами, и служил ему. Старик скрестил руки и задумался, молча глядя перед собою. Тут подошла к нему невестка и сказала, что уже поздно — пора ему отдохнуть, да и ужин на столе.

— Но что за прелесть у тебя вышла, дедушка! — сказала она. — Гольгер-Данске и весь наш герб! Право, я как будто где-то видела это лицо!

— Нет, ты-то не видела! — ответил старый дед. — А вот я видел — по памяти и вырезал его. Это было, когда англичане стояли у нас на рейде, второго апреля 1801 г., и когда мы все опять почувствовали себя прежними молодцами датчанами! Я был на «Дании», в эскадре Стена Билля, и рядом со мною стоял матрос. Право, ядра словно боялись его! Он весело распевал старинные песни, без усталости заряжал орудия и стрелял. Нет, что там ни говори — это был не простой смертный! Я еще вижу перед собою его лицо, но откуда он был, куда девался потом — никто не знал. Мне часто приходило в голову, что это был сам старик Гольгер-Данске, который приплыл к нам из Кронборга и помог в час опасности. Вот я и вырезал его изображение.

Фигура бросала огромную тень на стены и даже на потолок; казалось, что за нею стоял живой Гольгер-Данске. Тень шевелилась, но это могло быть и оттого, что свеча горела не совсем ровно. Невестка поцеловала старика и повела его к большому креслу; старик сел за стол, сели и невестка с мужем — сыном старика и отцом мальчугана, который был уже в постели. Дед и за ужином говорил о датских львах и сердцах, о силе и кротости, объясняя, что есть и другая сила, кроме той, что опирается на меч. При этом он указал на полку, где лежали старые книги, между прочим все комедии Хольберга¹. Как видно, ими тут зачитывались, ведь они такие забавные, а выведенные в них лица и типы давней старины кажутся живыми и до сих пор.

— Вот он тоже умел наносить удары! — сказал дедушка. — Он старался обрубать все уродливости и угловатости людские. — Затем старик кивнул на зеркало, за которое был заткнут календарь, и сказал: — Тихо Браге² тоже владел мечом, но он употреблял его не для того, чтобы проливать кровь, а чтобы проложить верную дорогу между звезд

¹ Хольберг (1685—1754) — гениальный датский писатель, «отец датской литературы». — *Примеч. перев.*

² Знаменитый датский астроном (1546—1601). — *Примеч. перев.*

дами небесными!.. А Торвальдсен, сын такого же простого резчика, как я, Торвальдсен, которого мы видели сами, седой, широкоплечий старец, чье имя известно всему свету! Вот он владел резцом, умел рубить, а я только строгаю! Да, Гольгер-Данске является в различных видах, и слава Дании гремит по всему свету! Выпьем же за здоровье Бертеля!¹

А мальчуган в это время так ясно видел во сне старинный Кронбург, подземелье и самого Гольгера-Данске, сидящего с приросшею к столу бородою. Он спит и видит во сне все, что совершается в Дании, видит и то, что делается в бедной комнатке резчика, слышит все, что там говорится, и кивает во сне головой:

— Да, только помните обо мне, датчане! Только помните обо мне! Я явлюсь в час опасности!

А над Кронбургом сияет ясный день; ветер доносит с соседней земли звуки охотничьих рогов; мимо плывут корабли и здороваются: бум! бум! И из Кронборга отвечают: бум! бум! Но Гольгер-Данске не просыпается, как громко ни палят пушки: это ведь только «Здравия желаем!» и «Спасибо!» Не такая должна пойти пальба, чтобы разбудить его, но тогда уж он пробудится непременно — Гольгер-Данске еще силен!



¹ Имя Торвальдсена, славного датского скульптора (1770—1844). — *Примеч. перев.*

ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ

Морозило, шел снег, на улице становилось все темнее и темнее. Это было как раз в вечер под Новый год. В этот-то холод и тьму по улицам пробиралась бедная девочка с непокрытою головой и босая. Она, правда, вышла из дома в туфлях, но куда они годились! Огромные-преогромные! Последнею их носила мать девочки, и они слетели у малютки с ног, когда она перебегала через улицу, испугавшись двух мчавшихся мимо карет. Одной туфли она так и не нашла, другую же подхватил какой-то мальчишка и убежал с ней, говоря, что из нее выйдет отличная колыбель для его детей, когда они у него будут.

И вот девочка побрела дальше босая; ножонки ее совсем покраснели и посинели от холода. В стареньком передничке у нее лежало несколько пачек серных спичек; одну пачку она держала в руке. За целый день никто не купил у нее ни спички — она не выручила ни гроша. Голодная, иззябшая, шла она все дальше, дальше... Жалко было и взглянуть на бедняжку! Снежные хлопья падали на ее прекрасные, выющиеся белокурые волосы, но она и не думала об этой красоте. Во всех окнах светились огоньки, по улицам пахло жареными гусями: был канун Нового года — вот об этом она думала.

Наконец она уселась в уголке, за выступом одного дома, съежилась и поджала под себя ножки, чтобы хоть немножко согреться. Но нет, стало еще холоднее, а домой она вернуться не смела, ведь она не продала ни одной спички, не выручила ни гроша — отец прийдет ее! Да и не теплее у них дома! Только что крыша над головой, а ветер так и гуляет по всему жилью, несмотря на то что все щели и дыры тщательно заткнуты соломой и тряпками. Ручонки ее совсем ооченели. Ах! Одна крошечная спичка могла бы согреть ее! Если бы только она смела взять из пачки хоть одну, чиркнуть ею о стену и погреть пальчики! Наконец она вытащила одну. Чирк! Как она зашипела и загорелась! Пламя было такое теплое, ясное, и, когда девочка прикрыла его от ветра горсточкой, ей показалось, что перед нею горит свечка. Странная это была свечка: девочке чудилось, будто она сидит перед большою железною печкой с блестящими медными ножками и дверцами. Как славно пылал в ней

огонь, как тепло стало малютке! Она вытянула было и ножки, но... огонь погас. Печка исчезла, в руках девочки остался лишь обгорелый конец спички.

Вот она чиркнула другою; спичка загорелась, пламя ее упало прямо на стену, и стена стала вдруг прозрачною, как кисейная. Девочка увидела всю комнату, накрытый белоснежною скатертью и уставленный дорогим фарфором стол, а на нем жареного гуся, начиненного черносливом и яблоками. Что за запах шел от него! Лучше же всего было то, что гусь вдруг прыгнул со стола и, как был с вилок и ножом в спине, так и побежал вперевалку прямо к девочке. Тут спичка погасла, и перед девочкой опять стояла одна толстая холодная стена.

Она зажгла еще спичку и очутилась под великолепнейшею елкой, куда больше и наряднее, чем та, которую девочка видела в сочельник, заглянув в окошко дома одного богатого купца. Елка горела тысячами огоньков, а из зелени ветвей выглядывали на девочку пестрые картинки, какие она видывала раньше в окнах магазинов. Малютка протянула к елке обе ручки, но спичка потухла, огоньки стали подниматься все выше и выше и превратились в ясные звездочки; одна из них вдруг покатилась по небу, оставляя за собою длинный огненный след.

— Вот кто-то умирает! — сказала малютка.

Покойная бабушка, единственное любившее ее существо в мире, говорила ей: «Падает звездочка — чья-нибудь душа идет к Богу».

Девочка чиркнула об стену новою спичкой; яркий свет озарил пространство, и перед малюткой стояла вся окруженная сиянием, такая ясная, блестящая и в то же время такая кроткая и ласковая, ее бабушка.

— Бабушка! — вскричала малютка. — Возьми меня с собой! Я знаю, что ты уйдешь, как только погаснет спичка, уйдешь, как теплая печка, чудесный жареный гусь и большая, славная елка!

И она поспешно чиркнула всем остатком спичек, которые были у нее в руках, — так ей хотелось удержать бабушку. И спички вспыхнули таким ярким пламенем, что стало светлее, чем днем. Никогда еще бабушка не была такою красивою, такою величественною! Она взяла девочку на руки, и они полетели вместе в сиянии и в блеске высоко-высоко, туда, где нет ни холода, ни голода, ни страха: к Богу!


В холодный утренний час в углу за домом по-прежнему сидела девочка с розовыми щеками и улыбкой на устах, но мертвая. Она замерзла в последний вечер старого года; новогоднее солнце осветило маленький труп. Девочка сидела со спичками; одна пачка почти совсем обгорела.

— Она хотела погреться, бедняжка! — говорили люди.


Но никто и не знал, что она видела, в каком блеске вознеслась вместе с бабушкой к новогодним радостям на небо!



С КРЕПОСТНОГО ВАЛА

 сень; стоим на валу, устремив взор на волнующуюся синеву моря. Там и сям белеют паруса кораблей; вдали виднеется высокий, весь облитый лучами вечернего солнца берег Швеции. Позади нас вал круто обрывается; он обсажен великолепными раскидистыми деревьями; пожелтевшие листья кружатся по ветру и усыпают землю. У подножия вала мрачное строение, обнесенное деревянным частоколом, за которым ходит часовой. Как темно и мрачно за этим частоколом! Но еще мрачнее в самом здании, в камерах с решетчатыми окнами. Там сидят заключенные, тяжкие преступники.

Луч заходящего солнца падает на голые стены камеры. Солнце светит и на злых, и на добрых! Угрюмый, суровый заключенный злобно смотрит на этот холодный солнечный луч. Вдруг на оконную решетку садится птичка. И птичка поет для злых и для добрых! Песня ее коротка: «квит!» — вот и все! Но сама птичка еще не улетает; вот она машет крылышками, чистит перышки, топорщится и взъерошивает хохолок... Закованный в цепи преступник смотрит на нее, и злобное выражение его лица мало-помалу смягчается, какое-то новое чувство, в котором он и сам хорошенько не отдает себе отчета, наполняет его душу. Это чувство сродни солнечному лучу и аромату фиалок, которых так много растет там, на воле, весною!.. Чу! Раздались жизнерадостные, мощные звуки охотничьих рогов. Птичка улетает, солнечный луч потухает, и в камере опять темно; темно и в сердце преступника, но все же по этому сердцу скользнул солнечный луч, оно отозвалось на пение птички. Не умолкайте же, чудные звуки рогов, раздавайтесь громче! В мягком вечернем воздухе такая тишь; море недвижно, словно зеркальное.



ИЗ ОКНА БОГАДЕЛЬНИ

Против зеленого вала, огибающего весь город¹, находится большое красное здание; в окнах его виднеются цветочные горшки с бальзаминами и мускусом. Обстановка в доме самая неказистая, бедная, да и живут тут бедные люди. Это женская богадельня Вартоу.

Смотри, вот к окну подходит старая дева, обрывает у бальзамина засохшие листики и смотрит на зеленый вал, где резвятся ребятишки. О чем она думает? Прочесть ее мысли — перед вами развернется целая житейская драма.

Бедные малютки! Как они резвятся! Какие у них розовенькие щечки, славные веселые глазки, хоть нет ни чулок, ни башмаков! Они пляшут по зеленому валу на том самом месте, которое, по преданию, прежде все обваливалось, так что образовывалась яма. В эту-то яму заманили игрушками и цветами невинное дитя и засыпали ее, пока дитя забавлялось. С тех пор вал перестал обваливаться и покрылся чудесным дерном. Ребятишки не знают об этом предании, а то они, пожалуй, услышали бы плач ребенка под землей, и роса на траве показалась бы им горячими слезами. Они не знают и истории про короля Дании², который, проезжая по валу в виду подступившего неприятеля, клялся не покидать столицы и «умереть в своем гнезде». Тогда на вал сбежались все горожане — и мужчины, и женщины — и принялись лить кипяток на головы врагов, одетых в белое и потому незаметно подкрававшихся по снегу к самому валу.

Весело ребятишкам!

Резвись, девочка! Скоро придет время... счастливое время, настанет день конфирмации, и ты придешь сюда рука об руку со сверстницами. На тебе белое платье; не дешево обошлось оно твоей матери, хоть и перешито из старого! На плечах у тебя красная шаль, которая спускается чуть не до пола, зато видно, какая она большая... слишком даже большая.

¹ Прежде вал действительно шел вокруг всего Копенгагена, теперь же его почти весь срыли; на месте прежнего вала разведены сады и бульвары. — *Примеч. перев.*

² Фредерик III. — *Примеч. перев.*


Ты в восторге от своего наряда, и сердечко твое переполнено чувством благодарности к Творцу. А как хорошо тут, на валу!.. Годы идут за годами; немало приходится пережить и тяжелых, мрачных дней, но молодость берет свое, и вот у тебя уже есть жених. Ты и сама не знаешь, как это случилось! Вы встречаетесь, ходите раннею весною на вал и гуляете тут, прислушиваясь к праздничному звону колоколов. Еще нет ни одной фиалки, но в Розенбургском саду одно дерево уже покрыто зелеными почками; перед ним вы останавливаетесь... Дерево каждый год покрывается свежелою листвою, в отличие от сердца человеческого: его заволакивают облака куда больше и темнее тех, что покрывают северное небо. Бедное дитя! Брачным ложем твоего жениха становится гроб, и ты остаешься старою девою!

Теперь ты смотришь из окна богадельни на игры детей и видишь, как повторяется твоя история!

Вот какая драма разворачивается перед умственным взором старой девы, которая смотрит на зеленый вал, где сияет солнышко, а краснощекие ребятишки без чулок и башмаков резвятся и ликуют, как птички небесные.



СТАРЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ

лышали вы историю о старом уличном фонаре? Она не то чтобы уж очень была забавна, но разок все-таки ее послушать можно. Так вот, был один старый уличный фонарь; он честно нес службу в продолжение многих лет, но теперь его хотели уволить. Он знал, что сидит на столбе и освещает улицу последний вечер, и чувства его можно было сравнить с чувством старой балетной фигурантки, которая танцует на сцене в последний раз и знает, что завтра ее сдадут в архив. Фонарь с ужасом ждал завтрашнего дня — завтра он должен был явиться на смотр в ратушу и представиться «тридцати шести отцам города», которые решат, годен он еще к службе или нет. Да, завтра решится вопрос, отправят ли его светить куда-нибудь в предместье на мост, или в деревню на фабрику, или же прямо в переплавку. Из него могло выйти что угодно, но его ужасно мучила неизвестность: сохранит ли он воспоминание о том, что был некогда уличным фонарем, или нет? Впрочем, как бы там ни было, ему, во всяком случае, придется расстаться с ночным сторожем и его женою, на которых он смотрел как на родных. Оба они — и фонарь, и сторож — поступили на службу в один день. Жена сторожа была в те времена горденька: проходя мимо фонаря, она удостаивала его взглядом только по вечерам; днем — никогда. А вот в последние годы, когда они все трое — и сторож, и жена его, и сам фонарь — уже состарились, она тоже стала ухаживать за ним, чистить лампу и наливать в нее ворвань. Честные люди были эти старики: ни разу не обсчитали фонарь и на одну капельку!

Так вот, фонарь освещал улицу последний вечер, а завтра должен был отправиться в ратушу. Эти две мрачные мысли не давали ему покоя, и можно поэтому судить, как он горел. Порою у него мелькали и другие мысли: он ведь много видел, на многое пришлось ему пролить свет; в этом отношении он стоял, пожалуй, выше самих «тридцати шести отцов города», но он и не заговаривал об этом: старый фонарь не хотел оскорблять никого, а тем более свое высшее начальство. Много-много чего помнил фонарь, и время от времени пламя его как-то порывисто вспыхивало, словно в нем шевелились такие мысли: «Да и меня вспомнит

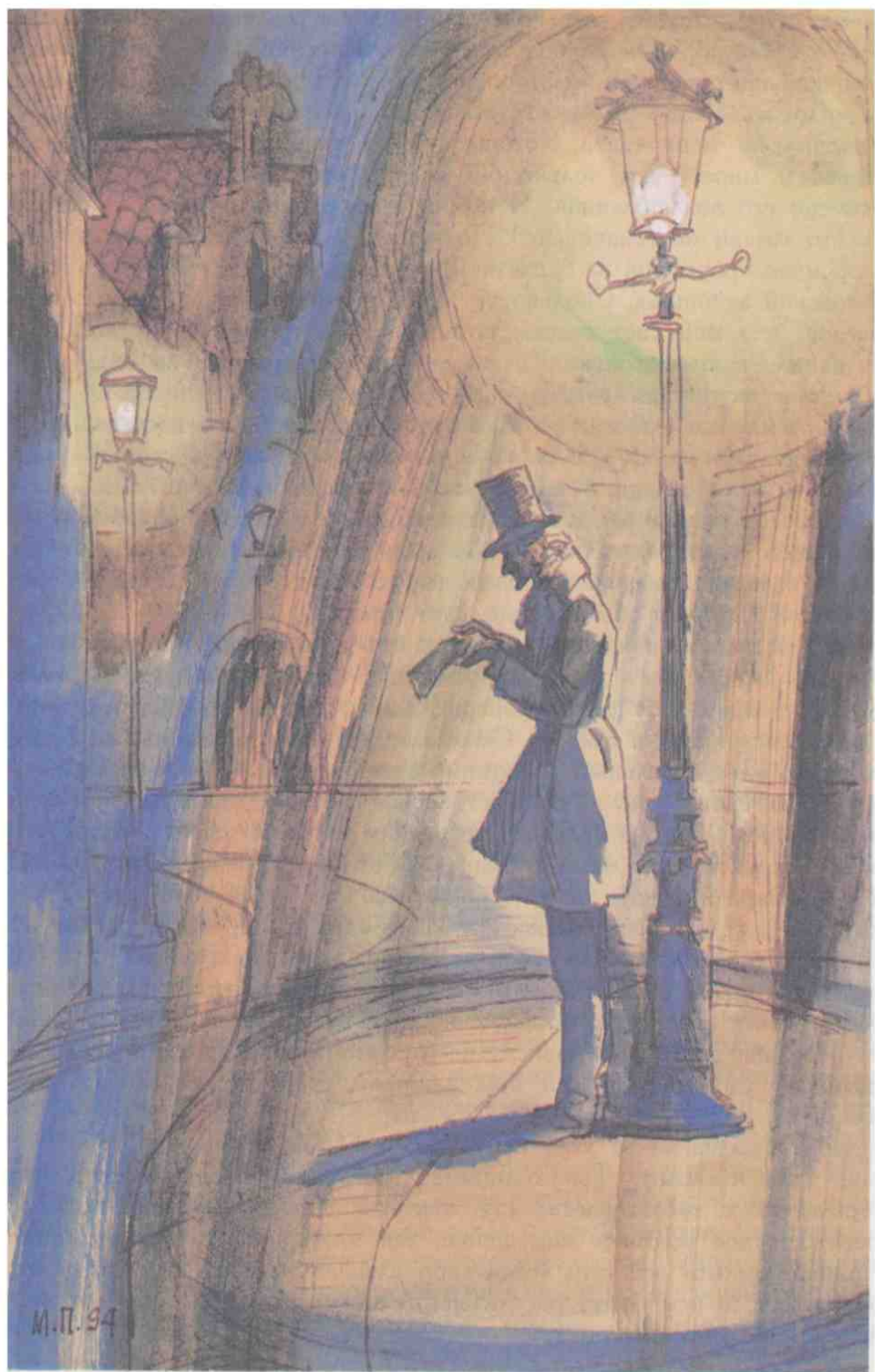
кое-кто! Вот хоть бы тот красивый молодой человек... Много уж лет прошло с тех пор! Он подошел ко мне с исписанным листочком розовой, тоненькой-претоненькой золотообрезной бумажки. Письмо было написано так мило, как видно, дамскою ручкой! Он прочел его два раза, поцеловал и поднял на меня глаза, которые так и говорили: «Я счастливейший человек в мире!» Да, только они знали, что написала в этом первом письмеце его возлюбленная. Я помню и еще одни глаза... Удивительно, как это мысли перескакивают! По нашей улице двигалась великолепная похоронная процессия; на бархатной колеснице везли в гробу тело молодой прекрасной женщины. Сколько тут было цветов и венков! Горело столько факелов, что мой свет совсем потерялся. За гробом шла масса людей, они заняли всю мостовую. Когда же факелы скрылись из виду и я мог оглядеться вокруг, я увидел еще одного человека. Он стоял у моего столба и плакал; никогда я не забуду того скорбного взгляда, который он вскинул на меня!» И много еще о чем вспоминал старый уличный фонарь в этот последний вечер. Часовой, сменяющийся с поста, все-таки знает своего преемника, может сказать ему слово-другое, фонарь же не знал своего, а то он тоже мог бы дать ему кое-какие указания насчет ненастной погоды, насчет того, как далеко заходят лучи месяца на тротуар и с какой стороны обыкновенно дует ветер.

На мостике, перекинутом через водосточную канавку, находились в это время три особы, претендовавшие заместить фонарь; они думали, что выбор преемника зависит от самого фонаря. Одною из этих особ была селедочная головка, светящаяся в темноте. Она полагала, что ее появление на фонарном столбе поведет к большой экономии ворвани. Второю была гнилушка, которая тоже светится и, по ее собственным словам, даже ярче, чем сушеная треска, к тому же она являлась последним остатком дерева, которое было когда-то красой всего леса. Третьим был иванов червячок. Откуда он взялся — фонарь и понять не мог, но червяк был тут и тоже светился, хотя гнилушка и селедочная головка клялись в один голос, что он светит только в известное время, почему его и не следовало иметь в виду.

Старый фонарь ответил, что никто из них не светится настолько ярко, чтобы занять его место, но, конечно, они этому не поверили. Узнав же, что передача должности зависит не от самого фонаря, все трое выразили живейшее удовольствие: он был слишком стар, чтобы сделать верный выбор.

В это время из-за угла подул ветер и сказал фонарю:

— Что я слышу? Ты уходишь завтра? Это последний вечер, что мы встречаемся с тобою здесь? Ну, так вот же тебе от меня подарок! Я проветрю твое мозговое помещение, так что ты не только будешь ясно и точно помнить все, что когда-либо слышал и видел сам, но и видеть воочию все, о чем будут рассказывать или читать при тебе другие. Вот как светло будет внутри тебя!



— Нет, право, это уж чересчур много! — сказал старый фонарь. — Большое спасибо! Только бы меня не переплавили!

— До этого еще долго! — отвечал ветер. — Ну, сейчас я продую твою память! Если ты получишь много таких подарков, как мой, то проведешь старость еще очень и очень приятно!

— Только бы меня не переплавили! — повторил фонарь. — Или ты и в таком случае ручаешься за мою память?

— Старый фонарь, будь же благоразумен! — сказал ветер и по-дул. — В эту минуту выглянул месяц. — А вы что дадите? — спросил его ветер.

— Ничего! — отвечал месяц. — Я ведь на ущербе, да и фонари никогда не светили за меня, а я всегда за них.

И месяц опять спрятался за тучи: он не хотел, чтобы ему надоедали. Вдруг на железный колпачок фонаря упала дождевая капля, как будто бы с крыши, но сама капля сказала, что явилась с серого облака и тоже была подарком, да, пожалуй, даже самым лучшим.

— Я проточу тебя, и ты получишь способность проржаветь, если пожелаешь, и рассыпаться прахом в одну ночь!

Фонарю это показалось плохим подарком, ветру тоже.

— Что же, никто не подарит ничего лучше? — зашумел он из всей мочи, и в ту же минуту с неба скатилась звездочка, оставив за собой длинный светящийся след.

— Это что? — вскричала селедочная головка. — Как будто звезда с неба упала? И, кажется, прямо в фонарь! Ну, если этой должности домогаются такие высокопоставленные особы, нам остается только раскланяться!

Так все трое и сделали. Старый же фонарь вдруг вспыхнул как-то особенно ярко.

— Вот это чудесный подарок! — сказал он. — Ясные звездочки, чудным светом которых я всегда так любовался, — сам я никогда не мог светить, как они, хоть это и было моим заветным желанием и стремлением. Эти чудные звездочки заметили меня, бедный старый фонарь, и послали ко мне одну из своих сестриц с подарком. Они одарили меня способностью показывать все, что я помню и вижу сам, тем, кого я люблю. А ведь всякое удовольствие только тогда и бывает истинным, полным, когда можешь им поделиться с другими!

— Весьма почтенная мысль! — сказал ветер. — Но ты не знаешь, что этот дар в тебе зависит от восковой свечки. Ты не можешь показать никому и ничего, если в тебе не будет гореть восковой свечки! Об этом-то звезды и не подумали. По их мнению, все, что светит, уж по крайней мере имеет в себе восковую свечку! Но теперь я устал, пора улечься! — прибавил ветер и улегся.

На другой день — нет, через него мы перескочим, — в следующий вечер фонарь лежал в кресле. И где? В комнате старого ночного сторожа.

Старик попросил у «тридцати шести отцов города» в награду за свою долгую, верную службу... старый фонарь. Те посмеялись над его просьбой, но фонарь отдали, и вот фонарьпреважно лежал теперь в кресле, возле теплой печки и, право, точно вырос, так что занимал собою почти все кресло. Старички уже сидели за ужином и ласково поглядывали на старый фонарь, который охотно посадили бы с собой за стол. Конечно, они жили в подвале, аршина на два под землей, и, чтобы попасть в их каморку, надо было пройти через вымощенный кирпичами коридор; зато в самой каморке было очень чисто, уютно и мило. Двери были обиты по краям полосками сукна, кровать пряталась за пологом, на окнах красовались занавески, а на подоконниках — два диковинных цветочных горшка. Их привез матрос Христиан из Ост- или Вест-Индии. Они были глиняные и изображали слонов без спины; вместо спины из земли, которою слоны были наполнены, росли: в одном — чудеснейший лукпорей, а в другом — цветущая герань; первый слон был огородом старичков, второй — садом. На стене висела большая раскрашенная картина; на ней был изображен «Венский конгресс»; тут перед старичками красовались все короли и государи зараз. Старинные часы с тяжелыми свинцовыми гирями тикали без умолку и вечно забегали вперед, но «лучше идти вперед, чем назад», говорили старички.

Они ужинали, а старый уличный фонарь лежал, как мы знаем, в кресле, возле теплой печки, и ему казалось, что весь свет перевернулся вверх дном. Но вот старый сторож взглянул на него и стал припоминать все, что они пережили вместе в дождь и в непогоду, в ясные и короткие летние ночи и в снежные метели, когда так и тянет к себе в подвальчик, — фонарь пришел в себя и увидел все это как наяву.

Да, ветер-таки славно выветрил его мозговое помещение!

Старички были такие работающие, трудолюбивые: ни один час не пропадал у них даром. По воскресеньям, после обеда, на столе появлялась какая-нибудь книжка, чаще всего описание путешествия, и старик читал вслух об Африке, об огромных лесах и диких слонах, которые бродили там. Старушка слушала, поглядывая на глиняных слонов, служивших цветочными горшками.

— Могу себе представить все это! — говорила она.

А фонарь от души желал, чтобы в него вставили восковую свечку — тогда бы старушка воочию увидала все, как и сам фонарь: и высокие деревья, перепутавшиеся густыми ветвями, голых черных людей верхом на лошадях, и целые стада слонов, мявших своими толстыми неуклюжими ногами высокий тростник и целые кусты, как тоненькие былинки.

— Что проку в моих способностях, если во мне нет восковой свечки! — вздыхал фонарь. — У моих хозяев только и есть что ворвань да сальные свечи, а этого мало.

Раз у старичков появилась целая куча восковых огарков; самые большие из них были сожжены, а маленькими старушка вошила нитки, когда шила. Восковые свечи теперь у стариков были, но им и в голову не приходило вставить хоть один огарочек в фонарь.

— Ну вот я и лежу тут со всеми моими редкими способностями! — сказал фонарь. — Внутри у меня целое богатство, а я не могу поделиться им! Ах, вы не знаете, что я могу превратить эти голые стены в роскошные обои, в густые леса — во все, что пожелаете! Да и где вам знать это!

Фонарь, впрочем, всегда лежал такой вымытый и вычищенный в углу, на самом видном месте. Люди, правда, называли его старым хламом, но старики не обращали на это внимания — они любили фонарь.

Раз, в день рождения старика, старушка подошла к фонарю, лукаво улыбнулась и сказала:

— Постой-ка, я сейчас устрою ему иллюминацию!

Фонарь задремывал от радости, думая: «Наконец-то их озарило!» Но его наполнили ворванью, а о восковой свечке не было и помину. Он горел весь вечер, но знал теперь, что самый лучший дар его останется в нем при такой жизни мертвым капиталом. И вот пригрезилось ему — с такими способностями немудрено и грезить, — будто бы старики умерли, а он попал в переплавку. Фонарю было так же страшно, как в тот раз, когда ему предстояло явиться на смотр в ратушу. Но хотя он и обладал способностью проржаветь и рассыпаться в прах, когда пожелает, он не сделал этого, а попал в плавильную печь и превратился в чудеснейший железный подсвечник в виде ангела. Ангел держал в одной руке букет, и в этот-то букет вставили восковую свечку, а сам подсвечник занял место на зеленом сукне письменного стола. Комната была очень уютна; все полки были уставлены книгами, а стены увешаны роскошными картинами. Здесь жил поэт, и все, о чем он думал и писал, развертывалось перед ним, как в панораме. Комната становилась то дремучим лесом, освещенным солнцем, то лугами, где расхаживал аист, то палубой корабля, плывущего по бурному морю...

— Ах, какие во мне способности! — сказал старый фонарь, очнувшись от грез. — Право, мне даже хочется попасть в переплавку! Впрочем, нет! Пока живы старички — не надо! Они любят меня, каков я есть! Я им заменяю ребенка. Они чистили меня, давали мне ворвани, и мне здесь живется не хуже, чем самому «конгрессу», а ведь это нечто очень важное!

И с тех пор фонарь обрел внутреннее спокойствие, да старый честный фонарь и заслуживал этого.



СОСЕДИ

Право, можно было подумать, что в пруду что-то случилось, а на самом-то деле ровно ничего! Но все утки, как те, что спокойно дремали на воде, так и те, что опрокидывались на головы хвостами вверх — они и это умеют, вдруг заспешили на берег; на влажной глине отпечатались следы их лапок, и вдали долго-долго еще слышалось их кряканье. Вода тоже взволновалась, а всего за минуту перед тем она стояла недвижно, отражая в себе, как в зеркале, каждое деревце, каждый кустик, старый крестьянский домик со слуховыми оконцами и ласточкиным гнездом и большой розовый куст в полном цвету, росший над водой у самой стены домика. Но все это стояло в воде вверх ногами, как перевернутая картина. Когда же вода взволновалась, одно набежало на другое, и вся картина пропала. На воде тихо колыхались два перышка, оброненных утками, и вдруг их словно погнало и закрутило ветром. И ветра не было, и скоро они опять спокойно улеглись на воде. Сама вода тоже мало-помалу успокоилась, и в ней опять ясно отразились домик с ласточкиным гнездом под крышей и розовый куст со всеми розами. Они были чудо как хороши, но и сами того не знали: никто не говорил им этого. Солнышко просвечивало сквозь их нежные, ароматные лепестки, и на сердечке у роз было так же хорошо, как бывает иногда в минуты тихого, счастливого раздумья у нас.

— Как хороша жизнь! — говорили розы. — Одного только хотелось бы нам еще — поцеловать теплое красное солнышко да вон те розы в воде! Они так похожи на нас! Хотелось бы, впрочем, расцеловать и тех миленьких нижних птенчиков в гнезде! Наверху, над нами, тоже сидят птенчики! Эти верхние высовывают из гнезда головки и попискивают! На них нет еще перышек, как у их отца с матерью. Да, славные у нас соседи и сверху, и внизу. Ах, как хороша жизнь!

Верхние и нижние птенчики — нижние-то являлись только отражением верхних — были воробьи; мать и отец их — тоже. Они завладели прошлогодним ласточкиным гнездом и расположились в нем как у себя дома.

— Это утиные дети плавают по воде? — спросили воробышки, увидав утиные перья.

— Уж коли спрашивать, так спрашивайте поумнее! — отвечала воробьяха-мать. — Не видите разве, что это — перья, живое платье, какое и я ношу, какое будет и у вас, только наше-то потоньше! Хорошо бы, впрочем, заполучить эти перышки в гнездо — они славню греют!.. А хотелось бы мне знать, чего испугались утки? Что-нибудь да случилось там, под водой: не меня же они испугались... хотя, положим, я сказала вам «пип» довольно громко!.. Толстоголовые розы должны были бы знать это, но они никогда ничего не знают, только глядятся на себя в пруд да пахнут. Надоели мне эти соседки!

— Послушайте-ка этих милых верхних птенчиков! — сказали розы. — Они тоже начинают пробовать голос! Они еще не умеют, но скоро выучатся щебетать! Вот-то должно быть удовольствие! Приятно иметь таких веселых соседей!

В это время к пруду подскакала галопом пара лошадей: их надо было поить. На одной из них сидел верхом деревенский парнишка; он поснимал с себя все, что было на нем надето, кроме черной широкополой шляпы. Парнишка свистел, как птица, и въехал с лошадьми в самое глубокое место пруда. Проезжая мимо розового куста, он сорвал одну розу и заткнул за ленточку своей шляпы; теперь он воображал себя страсть каким нарядным! Напоив лошадей, парнишка уехал. Остальные розы глядели вслед уехавшей и спрашивали друг друга:

— Куда это она отправилась?

Но никто не знал куда.

— Хотелось бы и мне пуститься по белу свету! — сказали розы одна другой. — Но и тут у нас тоже прекрасно! Днем греет солнышко, а ночью небо светится еще ярче! Это видно сквозь маленькие дырочки, что на нем!

Дырочками они считали звезды, ведь розы могли и не знать, что такое звезды.

— Мы оживляем весь дом! — сказала воробьяха. — Кроме того, ласточкино гнездо приносит счастье, как говорят люди; поэтому они очень рады нам! Но вот такой розовый кустике возле самого дома только осаждают на стены сырость. Надеюсь, что его уберут отсюда, тогда на его месте может вырасти хоть зерно! Розы служат ведь только для вида да для запаха, много-много для украшения шляпы! Я слыхала от моей матери, что они каждый год опадают, и тогда жена крестьянина собирает их и пересыпает солью, причем они получают уже какое-то французское имя — я не могу его выговорить, да и не нуждаюсь в этом! Потом их кладут на горящие уголья, чтобы они хорошенько пахли. Вот и все — они годны только для услаждения глаз да носа. Так-то!

Настал вечер; в теплом воздухе заплясали комары и мошки, легкие облака окрасились пурпуром, и запел соловей. Песнь его неслась к розам, и в ней говорилось, что красота — солнечный луч, оживляющий весь

мир! Но розы думали, что соловей воспевает себя самого, — и почему бы им не думать этого? Им и в голову не приходило, что песня могла относиться к ним. Они только простодушно радовались ей и думали: «А не могут ли и все воробышки стать соловьями?»

— Мы отлично понимаем, что поет эта птица! — сказали воробышки. — Только вот одно слово непонятно. Что такое «красота»?

— Так, пустое! Только для вида! — отвечала мать. — Там, в барской усадьбе, где у голубей свой дом и где их каждый день угощают горохом и зернами, — я едала с ними, и вы тоже будете: скажи мне, с кем ты водишься, и я скажу тебе, кто ты сам, — так вот, там, во дворе, есть две птицы с зелеными шеями и с хохолком на голове. Хвост у них может раскрываться, и как раскроется — ну что твое колесо, да еще весь переливается разными красками, просто глазам невтерпеж. Зовут этих птиц павлинами, и вот это-то и есть красота. Пообщипать бы их немножко, так выглядели бы не лучше нас! Ух! Я бы их заклевала, не будь только они такие огромные!

— Я их заклюю! — сказал самый маленький, совсем еще голенький воробышек.

В домике жила молодая чета — муж с женою. Они очень любили друг друга, оба были такие бодрые, работающие, и в домике у них было премило и прелюдно. Каждое воскресное утро молодая женщина набирала целый букет прекраснейших роз и ставила его в стакане с водою на большой деревянный сундук.

— Вот я и вижу, что сегодня воскресенье! — говорил муж, целовал свою миленькую женку, потом оба усаживались рядышком и, держа друг друга за руки, читали вместе утренний псалом. Солнышко светило в окошко на свежие розы в воде и на молодую чету.

— Тошно и глядеть-то на них! — сказала воробыха, заглянув из гнезда в комнату, и улетела.

То же повторилось и в следующее воскресенье (свежие розы появлялись в стакане каждое воскресное утро — розовый куст цвел все так же пышно). Воробышкам, которые уже успели опериться, тоже хотелось было полететь с матерью, но воробыха сказала им:

— Сидите дома! — И они остались сидеть.

А она летела, летела да как-то попала ножкой в силок из конских волос, который прикрепили к ветке мальчишки-птицеловы. Петля так и впилась воробыхе в ногу, словно хотела перерезать ее. Вот была боль! А страх-то! Мальчишки подскочили и грубо схватили птицу.

— Простой воробей! — сказали они, но все-таки не выпустили птицы, а понесли ее к себе во двор, угощая по носу щелчками всякий раз, как она попискивала.

На дворе у них стоял в это время старичок, который занимался выделкой мыла для бороды и для рук — в шариках и в кусках. Старичок

был такой веселый, вечно переходил с места на место, нигде не жил подолгу. Он увидел у мальчишек птицу и услышал, что они собирались выпустить ее на волю: на что им был простой воробей!

— Пойдите! — сказал он. — Мы с ней кое-что сделаем. Вот будет красота!

Услыхав это, воробиха задрожала всем телом, а старичок вынул из своего ящичка, где хранились чудеснейшие краски, целую пачку сусального золота в листочках, велел мальчишкам принести ему яйцо, смазал белком всю птицу и потом обклеил ее золотом. Воробиха стала вся золотая, но она и не думала о таком великолепии, а дрожала всем телом. Старичок между тем оторвал от красной подкладки своей старой куртки лоскуток, вырезал его зубчиками, как петуший гребешок, и приклеил птице на голову.

— Поглядим теперь, как полетит золотая птичка! — сказал старичок и выпустил воробиху, которая в ужасе понеслась прочь. Вот блеск-то был! Все птицы переполошились — и воробьи, и даже ворона, да не какой-нибудь годовалый птенец, а большая! Все они пустились вслед за воробихой, желая узнать, что это за важная птица.

— Прраво, диво! Прраво, диво! — каркала ворона.

— Подожди! Подожди! — чирикали воробьи.

Но она не хотела ждать; в ужасе летела она домой, но силы все более и более изменяли ей — она ежеминутно готова была упасть на землю, а птичья стая все росла да росла. Тут были и большие, и малые птицы; некоторые подлетали к ней вплотную, чтобы клюнуть ее.

— Ишь ты! Ишь ты! — щебетали и чирикали они.

— Ишь ты! Ишь ты! — зачирикали и птенцы, когда она подлетела к своему гнезду. — Это, верно, павлин! Ишь какой разноцветный! Глазам нестерпимо, как говорила мать. Пип! Вот она, красота!

И они все принялись клевать ее своими носиками, так что ей никак нельзя было попасть в гнездо, а от ужаса она не могла даже сказать: «Пип», не то что: «Я — ваш мать!» Остальные птицы тоже принялись клевать воробиху и повыщипали у нее все перья. Вся в крови, упала она в самую середину розового куста.

— Бедная пташка! — сказали розы. — Мы укроем тебя. Склони к нам свою головку!

Воробиха еще раз распустила крылья, потом плотно прижала их к телу и умерла у своих соседок — свежих, прекрасных роз.

— Пип! — сказали воробышки. — Куда же это девалась мамаша? Или она нарочно выкинула такую штуку? Верно, пора нам жить своим умом! Гнездо она оставила нам в наследство, но владеть им надо кому-нибудь одному! Ведь у каждого из нас будет своя семья! Кому же?

— Да уж вам здесь не место, когда я обзаведусь женой и детьми! — сказал самый младший.

— У меня побольше твоего будет и жен и детей! — сказал другой.

— А я старше вас всех! — сказала третья.

Воробышки ссорились, хлопали крылышками, клевали друг друга и — бух! — попадали из гнезда один за другим. Но и лежа на земле вразброд, они не переставали злиться, кривили головки набок и мигали глазом, обращенным кверху. У них была своя манера дуться.

Летать они кое-как уже умели, поупражнялись еще немножко и по-решили расстаться, а чтобы узнавать друг друга при встречах, уговорились шаркать три раза левою ножкой и говорить «пип!»

Младший, который завладел гнездом, постарался рассестся в нем как можно пошире; теперь он был тут полным хозяином, только недолго. Ночью из окон домика показалось пламя и охватило крышу; сухая солома вспыхнула, дом сгорел, а с ним и воробей; молодые же супруги счастливо спаслись.

Наутро взошло солнышко, вся природа смотрела такую освеженную, словно подкрепившеюся за ночь здоровым сном, но на месте домика торчали только обгорелые балки, опиравшиеся на дымовую кирпичную трубу, которая теперь была сама себе госпожою. Развалины еще сильно дымились, а розовый куст стоял все такой же свежий, цветущий; каждая веточка, каждая роза отражались в тихой воде пруда, как в зеркале.

— Ах, что за прелесть! Эти розы — и рядом обгоревшие развалины строения! — сказал какой-то прохожий. — Прелестнейшая картинка! Надо ею воспользоваться!

И он вынул из кармана книжку с чистыми белыми страницами и карандаш — это был художник. Живо набросал он карандашом дымившиеся развалины, обгорелые балки, покривившуюся трубу — она кривилась все больше и больше — и на самом первом плане цветущий розовый куст. Куст в самом деле был прекрасен, и ради него-то и срисовали всю картину.

Днем пролетали мимо два воробья, родившихся здесь.

— Где же дом-то? — сказали они. — Где гнездо? Пип! Все сгорело и наш братец вместе! Это ему за то, что он забрал себе гнездо! А розы-таки уцелели! По-прежнему выставляют свои красные щеки! Небось не горюют о несчастье соседей! Несносные! И говорить-то с ними не хочется! Да и вообще здесь стало прескверно! Одно безобразие!

И они улетели.

Раз осенью выдался чудесный солнечный денек — право, можно было подумать, что стоит лето. На дворе перед крыльцом барской усадьбы было так сухо и чисто; тут расхаживали голуби — и черные, и белые, и сизые; перья их так и блестели на солнышке; старые голубки-матушки топорщили перышки и говорили молоденьким голубкам:

— В группы! В группы!

Так было красивее и виднее.

— Кто эти серенькие крошки, что шмыгают тут между нами? — спросила старая голубка с зеленовато-красными глазками. — Серые крошки! Серые крошки!

— Это воробышки! Славные птички! А мы ведь всегда славились своею кротостью — пусть же они поклюют с нами! Они не вмешиваются в разговор и так мило шаркают ножкой.

Воробы в самом деле шаркали; каждый из них шаркнул три раза левою ножкой и сказал: «Пип!» По этому все сейчас же узнали друг друга — это были три воробья из сгоревшего дома.

— Славно тут едят! — сказали воробы.

А голуби увивались вокруг голубок, самодовольно топорщили перышки, выпячивали зобы, судили и рядили.

— Глядите, глядите вон на ту зобастую голубку! Глядите, как она глотает горрох! Ишь, все хватает самые крупные, самые лучшие горрошины! Курр! Курр! Глядите, как она выпячивает зоб! Глядите на это милое злющее животное! Курр! Курр! И глаза у них налились от злости кровью. В группы! В группы! Серые крошки! Серые крошки! Курр! Курр! — так это у них шло, идет и будет идти тысячи лет.

Воробы кушали и слушали и тоже становились было в группы, но это к ним совсем не шло. Насытившись, они ушли от голубей и стали пересуживать их между собою, потом шмыгнули под решетку прямо в сад. Дверь в комнату, выходящую в сад, была отворена, и один из воробьев вспрыгнул на порог: он плотно покушал и потому набрался храбрости.

— Пип! — сказал он. — Какой я смелый!

— Пип! — сказал другой. — Я посмелее тебя!

И он прыгнул за порог. Там никого не было, это отлично заметил третий воробышек и очутился на середине комнаты, говоря:

— Войти — так уж войти или вовсе не входить! Презабавное тут, однако, человечье гнездо! А это что здесь поставлено? Да что же это такое?

Как раз перед воробьями цвели розы, отражаясь в прозрачной воде, а рядом торчали обгорелые балки, опиравшиеся на готовую упасть дымовую трубу.

— Да что же это? Как попало все это в барскую усадьбу?

И все три воробья захотели перелететь через розы и трубу, но ударились прямо об стену. И розы, и труба были только нарисованные, а не настоящие: художник написал по сделанному им маленькому наброску целую картину.

— Пип! — сказали воробы друг другу. — Это так, пустое! Только для вида! Пип! Вот она, красота! Понимаете вы в этом хоть что-нибудь? Я — ровно ничего!

Тут в комнату вошли люди, и воробы улетели.

Шли дни и годы, голуби продолжали ворковать, чтобы не сказать ворчать, — злющие птицы! Воробьи мерзли и голодали зимой, а летом жили вволю. Все они обзавелись семьями, или поженились, или как там еще назвать это! У них были уже птенцы, и каждый птенец, разумеется, был прекраснее и умнее всех птенцов на свете. Они все разлетелись в разные стороны, а если встречались, то узнавали друг друга по троекратному шарканью левою ножкой и по звуку «пип!». Самую старшей из воробьев, родившихся в ласточкином гнезде, была воробыха; она осталась в девицах, и у нее не было ни своего гнезда, ни птенцов. Ей вздумалось отправиться в какой-нибудь большой город, и вот она полетела в Копенгаген.

Близ королевского дворца, на самом берегу канала, где стояли лодки с яблоками и глиняною посудой, увидела она большой разноцветный дом. Окна, широкие внизу, суживались кверху. Воробыха посмотрела в одно, посмотрела в другое, и ей показалось, что она заглянула в чашечки тюльпанов: все стены так и пестрели разными рисунками и завитушками, а в середине каждого тюльпана стояли белые люди — одни из мрамора, другие из гипса, но для воробыхи что мрамор, что гипс было все едино. На крыше здания стояла бронзовая колесница с бронзовыми же конями, которыми правила богиня победы. Это был музей Торвальдсена.

— Блеску-то, блеску-то! — сказала воробыха. — Это, верно, красота! Пип! Но тут что-то побольше павлина!

Она еще помнила объяснение величайшей красоты, которое слышала в детстве от матери. Затем она слетела вниз во двор. Там тоже было чудесно. На стенах были нарисованы пальмы и разные ветви, а посреди двора стоял большой цветущий розовый куст. Он склонял свои свежие ветви, усыпанные розами, к могильной плите. Воробыха подлетела к ней, увидав там еще нескольких воробьев. «Пип!» — И она три раза шаркнула левою ножкой. Этим приветствием воробыха встречала из года в год всех воробьев, но никто не понимал его — расставшиеся не встречаются ведь каждый день, и теперь она повторила его просто по привычке. Глядь, два старых воробья и один молоденький тоже шаркнули три раза левою ножкой и сказали: «Пип!»

— А, здравствуйте! Здравствуйте!

Оказалось что это были два старых воробья из ласточкиного гнезда и один молодой отпрыск семейства.

— Так вот где мы встретились! — сказали они. — Тут важное место, только нечем пожить! Вот она, красота-то! Пип!

Из боковых комнат, где стояли великолепные статуи, вышло на двор много народу; все подошли к каменной плите, под которою покоился великий мастер, изваявший все эти мраморные статуи, и долго-долго стояли возле нее молча, с задумчивым, но светлым выражением на лицах. Некоторые собирали опавшие розовые лепестки и прятали их на память.

Среди посетителей были и прибывшие издалека — из великой Англии, из Германии, из Франции. Самая красивая из дам взяла одну розу и спрятала ее у себя на груди. Видя все это, воробьи подумали, что розы царствуют здесь и что все здание построено, собственно, для них. По мнению воробьев, это было уж слишком большою честью для роз, но так как все люди ухаживали за ними, то и воробьи не захотели отстать.

— Пип! — сказали они и принялись мести пол хвостами и коситься на розы одним глазом.

Недолго они смотрели — живо признали своих старых соседок. Это были они самые. Художник, срисовавший розовый куст и обгорелые развалины дома, выпросил затем у хозяев позволение выкопать куст и подарил его строителю музея. В свете не могло быть ничего прекраснее этих роз, и строитель посадил весь куст на могиле Торвальдсена. Теперь он цвел над ней как живое изображение красоты и отдавал свои розовые душистые лепестки на память людям, являвшимся сюда из далеких стран.

— Вас определили на должность здесь, в городе? — спросили воробьи.

И розы кивнули им — они тоже узнали серых соседей и очень обрадовались встрече с ними.

— Как хороша жизнь! — сказали они. — Жить, цвести, встречаться со старыми друзьями, ежедневно видеть вокруг себя милые, радостные лица!.. Тут каждый день, точно великий праздник!

— Пип! — сказали воробьи один другому. — Да, это наши старые соседки! Мы помним их происхождение. Как же! Прямо от пруда — да сюда! Пип! Ишь в какую честь попали! Право, счастье приходит к иным во сне! И что хорошего в таких красных кляксах? Понять нельзя!.. А вон торчит увядший лепесток! Вижу! Вижу!

И каждый принялся клевать его; лепесток упал, но куст стоял все такой же свежий и зеленый; розы благоухали на солнышке над могилой Торвальдсена и склонялись к самой плите, как бы венчая его бессмертное имя.



МАЛЕНЬКИЙ ТУК

Да, так вот, жил-был маленький Тук. Звали-то его, собственно, не Туком, но так он прозвал себя сам, когда еще не умел хорошенько говорить. «Тук» должно было обозначать на его языке «Карла», и хорошо, если кто знал это! Туку приходилось нянчить свою сестренку Густаву, которая была гораздо моложе его, и в то же время учить уроки, а эти два дела никак не ладились зараз. Бедный мальчик держал сестрицу на коленях и пел ей одну песенку за другою, заглядывая в то же время в лежавший перед ним учебник географии. К завтрашнему дню задано было выучить наизусть все города в Зеландии и знать о них все, что только можно знать.

Наконец вернулась его мать, которая уходила куда-то по делу, и взяла Густаву. Тук живо к окну — да за книгу. Читал, читал чуть не до слепоты — в комнате становилось темно, а матери не на что было купить свечку.

— Вон идет старая прачка из переулка! — сказала мать, поглядев в окно. — Она и сама-то еле двигается, а тут еще приходится нести ведро с водой. Будь умником, милый Тук, выбеги да помоги старушке!

Тук сейчас же выбежал и помог, но, когда вернулся в комнату, было уже совсем темно; о свечке нечего было и толковать, пришлось ему ложиться спать. Постелью Туку служила старая деревянная скамья со спинкой и с ящиком под сиденьем. Он лег, но все не переставал думать о своем уроке: о городах Зеландии и обо всем, что рассказывал о них учитель. Следовало бы ему прочесть урок, да было уже поздно, и мальчик сунул книгу себе под подушку: он слышал, что это отличное средство для того, чтобы запомнить урок, — но особенно-то полагаться на него, конечно, нельзя.

И вот Тук лежал в постели и все думал, думал. Вдруг кто-то поцеловал его в глаза и в губы — он в это время и спал, и как будто бы не спал, — и он увидел перед собою старушку-прачку. Она ласково поглядела на него и сказала:

— Грешно было бы, если бы ты не знал завтра своего урока. Ты помог мне, теперь и я помогу тебе, Господь же не оставит тебя своею помощью никогда!

В ту же минуту страницы книжки, что лежала под головой Тука, зашелестели и стали перевертываться. Затем раздалось:

— Кок-кок-кудак!

Это была курица, да еще из города Къёге!¹

— Я курица из Къёге! — и она сказала Туку, сколько в Къёге жителей, а потом рассказала про битву, которая тут происходила, это было даже лишнее: Тук и без того знал об этом.

— Пшют, пшют, бум! — И что-то свалилось; это упал на постель деревянный попугай, служивший мишенью в обществе стрелков города Прэстё. Птица сказала мальчику, что в этом городе столько же жителей, сколько у нее в животе гвоздей, и похвалилась, что Торвальдсен был одно время ее соседом². — Бум! Я славлюсь чудеснейшим местоположением!

Но маленький Тук уже не лежал в постели, а вдруг очутился верхом на лошади и поскакал галопом. Он сидел позади разодетого рыцаря в блестящем шлеме, с развевающимся султаном. Они проехали лес и очутились в старинном городе Вордингборге. Это был большой, оживленный город; на холме гордо возвышался королевский замок; в окнах высоких башен ярко светились огни. В замке шло веселье, пение и танцы. Король Вальдемар танцевал в кругу разодетых молодых фрейлин.

Но вот настало утро, и, едва взошло солнце, город с королевским замком провалился, башни исчезли одна за другою, и под конец на холме осталась всего одна; сам городок стал маленьким, бедным; школьники, бежавшие в школу с книжками под мышками, говорили: «У нас в городе 2000 жителей!» — но неправда, и того не было.

Маленький Тук опять очутился в постели; ему казалось, что он грезит наяву: кто-то опять стоял возле него.

— Маленький Тук! Маленький Тук! — послышалось ему. Это говорил маленький морячок, как будто бы кадет, а все-таки не кадет. — Я привез тебе поклоны из Корсёра. Вот город с будущим! Оживленный город! У него свои почтовые кареты и пароходы. Когда-то его звали жалким городишком, но это мнение уже устарело. «Я лежу на море! — говорит Корсёр. — У меня есть шоссейные дороги и парк! Я произвел на свет поэта³, да еще какого забавного, а ведь не все поэты забавны! Я даже собирался послать один из своих кораблей

¹ Къёге — небольшой городок у залива того же имени. У датчан существует шутовское выражение «показать курицу из Къёге», т. е. приподнять любопытного, пожелавшего увидеть ее, от пола за уши (русское выражение «показать Москву»). — *Примеч. перев.*

² Близ Прэстё, незначительного датского городка, находится имение Стампе, в котором Торвальдсен подолгу гостил и работал во время пребывания своего на родине. — *Примеч. перев.*

³ Баггесен (1764—1826) — выдающийся датский поэт-юморист и сатирик. — *Примеч. перев.*

в кругосветное плавание!.. Я, положим, не послал, но мог бы послать. И как чудно я благоухаю, от самых городских ворот! Всюду цветут чудеснейшие розы!»

Маленький Тук взглянул на них, и в глазах у него зарябило красным и зеленым. Когда же волны красок улеглись, он увидел поросший лесом обрыв над прозрачным фиордом. Над обрывом возвышался великолепный старый собор с высокими стрельчатыми башнями и шпицами. Вниз с журчанием сбегали струи источников. Возле источника сидел старый король; седая голова его с длинными кудрями была увенчана золотою короной. Это был король Роар, по имени которого назван источник, а по источнику и близлежащий город Роскилле¹. По тропинке, ведущей к собору, шли рука об руку все короли и королевы Дании, увенчанные золотыми коронами. Орган играл, струйки источника журчали. Маленький Тук смотрел и слушал.

— Не забудь сословий! — сказал король Роар.

Вдруг все исчезло. Да куда же это все девалось? Словно перевернули страницу в книжке! Перед мальчиком стояла старушка полольщица; она пришла из города Сорё — там трава растет даже на площади. Она накинула на голову и на спину свой серый холщовый передник; передник был весь мокрый — должно быть, шел дождь.

— Да! — сказала она и рассказала ему о забавных комедиях Хольберга, о короле Вальдемаре и епископе Абсалоне², потом вдруг вся съежилась, замотала головой, точно собираясь прыгнуть, и заквакала: — Ква! Ква! Как сыро, мокро и тихо в Сорё! Ква! — Она превратилась в лягушку. — Ква! — И она опять стала женщиной. — Надо одеваться по погоде! — сказала она. — Тут сыро, сыро! Мой город похож на бутылку: войдешь в горлышко, оттуда же надо и выйти. Прежде он славился чудеснейшими рыбами, а теперь на дне «бутылки» — краснощекие юноши; они учатся тут разной премудрости: греческому, еврейскому...³ Ква!

Мальчику слышалось не то кваканье лягушек, не то шлепанье сапогами по болоту: все тот же самый звук, однообразный и скучный, под который Тук и заснул крепким сном, да и хорошо сделал.

¹ «Roskilde», т. е. «источник Роара». Город Роскилле — древняя столица Дании; в нем находится старинный собор, служащий уже в течение многих веков усыпальницей датских королей и королев. В Роскилле же происходили в прежнее время Собрания представителей сословий. — *Примеч. перев.*

² Друг и сподвижник короля Вальдемара I, основавший нынешнюю столицу Дании Копенгаген. — *Примеч. перев.*

³ В городе Сорё (недалеко от Копенгагена) находится Государственная академия — закрытое высшее учебное заведение, обязанное нынешним своим устройством и блестящим положением знаменитому Хольбергу, который пожертвовал для этой цели почти все свое состояние. — *Примеч. перев.*

Но и тут ему приснился сон — иначе что же все это было? Голубоглазая, белокурая и кудрявая сестрица его, Густава, вдруг стала взрослою прелестною девушкой, и хотя ни у нее, ни у него не было крыльев, они понеслись вместе по воздуху над Зеландией, над зелеными лесами и голубыми водами.

— Слышишь ты крик петуха, маленький Тук? Кукареку! Вот из бухты Кьёге полетели курицы! У тебя будет птичий двор, огромный-преогромный! Тебе не придется терпеть нужды! Ты, как говорится, убьешь попугая¹ и станешь богатым, счастливым человеком! Твой дом будет возвышаться, как башня короля Вальдемара, будет богато изукрашен такими же мраморными статуями, как те, что изваяны близ Прэстё. Ты понимаешь меня?! Твое имя облетит весь мир, как корабль, который хотели отправить из Корсёра, а в Роскилле («Помни сословия!» — сказал король Роар) ты будешь говорить хорошо и умно, маленький Тук! Когда же, наконец, сойдешь в могилу, будешь спать в ней тихо...

— Как в Сорё! — добавил Тук и проснулся.

Было ясное утро, он ровно ничего не помнил из своих снов, да и не нужно было — нечего загадывать вперед.

Он вскочил с постели, взялся за книгу и живо выучил свой урок. А старая прачка просунула в дверь голову, кивнула ему и сказала:

— Спасибо за вчерашнее, голубчик! Господь да исполнит лучший твой сон!

А маленький Тук и не знал, что ему снилось, зато знает это Господь Бог!



¹ «Убить попугая» — датское выражение, соответствующее русскому «убить бобра», взятому в положительном смысле. — *Примеч. перев.*

ТЕНЬ

Вот где жжет солнце — в жарких странах! Люди загорают там до того, что кожа их принимает оттенок красного дерева; в самых же жарких странах люди превращаются прямо в негров. Но мы поговорим пока только о жарких странах; сюда приехал из холодных стран один ученый. Он было думал и тут бегать по городу, как у себя на родине, да скоро отучился от этого и, как все благоразумные люди, стал сидеть весь день дома с плотно закрытыми ставнями и дверями. Можно было подумать, что весь дом спит или что никого нет дома. Узкие улицы, застроенные высокими домами, жарились на солнце с утра до вечера; просто сил никаких не было терпеть эту жару! Ученому, приехавшему из холодных стран, — он был человек умный и молодой еще, — казалось, будто он сидит в раскаленной печи. Жара сильно влияла на его здоровье: он исхудал, и даже тень его как-то вся съежилась, стала куда меньше, чем была в холодных странах; жара повлияла и на нее. Оба они — и ученый, и тень — оживали только с наступлением вечера.

И, право, любо было посмотреть на них! Как только в комнате зажигался огонь, тень растягивалась во всю стену, захватывала даже часть потолка, ведь ей надо было потянуться хорошенько, чтобы расправить члены и вновь набраться сил. Ученый выходил на балкон и тоже потягивался, чтобы порасправить члены, любовался ясным вечерним небом, в котором зажигались золотые звездочки, и чувствовал, что вновь возрождается к жизни. На всех других балконах — а в жарких странах перед каждым окном балкон — тоже виднелись люди: дышать воздухом все же необходимо даже тем, кто привык загорать до оттенка красного дерева! Оживление царило и внизу, на тротуарах улицы, и вверху, на балконах. Башмачники, портные и другой рабочий люд — все высыпали на улицу, выносили туда столы и стулья и зажигали свечи. Жизнь закипала всюду: улицы освещались тысячами огней; люди кто пел, кто разговаривал с соседом; по тротуарам двигалась масса гуляющих; по мостовой катились экипажи; тут пробирались, позванивая колокольчиками, выючные ослы; там тянулась, с пением псалмов, похоронная процессия; слышался треск хлопушек, бросаемых о мостовую уличными мальчишками;

раздавался звон колоколов... Да, жизнь так и была ключом повсюду! Тихо было лишь в одном доме, стоявшем как раз напротив того, где жил ученый. Дом не был, однако, нежилым: на балконе красовались чудесные цветы; без поливки они не могли бы цвести так пышно — кто-нибудь да поливал их, стало быть, в доме кто-нибудь жил. Выходившая на балкон дверь тоже отворялась по вечерам, но в самих комнатах было всегда темно, по крайней мере в первой. Из задних же комнат слышалась музыка. Ученый находил ее дивно-прекрасною, но ведь может статься, что ему это казалось: по его мнению, здесь, в жарких странах, все было прекрасно; одна беда — солнце!

Хозяин дома, где жил ученый, сказал, что и он не знает, кто живет в соседнем доме: там никогда не показывалось ни единой живой души; что же до музыки, то он находил ее страшно скучною.

— Словно кто сидит и долбит все одну и ту же пьесу. Дело не идет на лад, а он продолжает: дескать «добьюсь своего!» Напрасно, однако, старается — ничего не выходит!

Раз ночью ученый проснулся; дверь на балкон стояла отворенною, и ветер распахнул портьеры; ученый взглянул на противоположный дом, и ему показалось, что балкон озарен каким-то диковинным сиянием; цветы горели чудными разноцветными огнями, а между цветами стояла стройная, прелестная девушка, тоже, казалось, окруженная сиянием. Весь этот блеск и свет так и резанул широко раскрытые со сна глаза ученого. Он вскочил и тихонько подошел к двери, но девушка уже исчезла, блеск и свет тоже. Цветы больше не горели огнями, а стояли себе преспокойно, как всегда. Дверь из передней комнаты на балкон была полуотворена, и из глубины дома неслись нежные, чарующие звуки музыки, которые хоть кого могли унести в царство сладких грез и мечтаний!..

Все это было похоже на какое-то колдовство! Кто же там жил? Где, собственно, был вход в дом? Весь нижний этаж был занят магазинами — не через них же постоянно бегали жильцы!

Однажды вечером ученый сидел на своем балконе; в комнате позади него горела свечка, и вполне естественно, что тень его расположилась на стене противоположного дома; она даже поместилась на самом балконе, как раз между цветами; стоило шевельнуться ученому, шевелилась и тень — это она умеет.

— Право, моя тень — единственное видимое существо в том доме! — сказал ученый. — Ишь как славно уселась между цветами! А дверь-то ведь полуотворена; вот бы тени догадаться войти туда, высмотреть все, потом вернуться и рассказать обо всем мне! Да, следовало бы и тебе быть полезною! — сказал он шутя и затем добавил: — Ну-с, не угодно ли пойти туда? Ну? Идешь? — И он кивнул своей тени головой, тень тоже ответила кивком. — Ну и ступай! Только смотри не пропади там!

С этими словами ученый встал, тень его, сидевшая на противоположном балконе, — тоже; ученый двинулся — двинулась и тень, и если бы кто-нибудь внимательно наблюдал за ними в это время, то увидел бы, как тень скользнула в полуотворенную балконную дверь загадочного дома, когда ученый ушел с балкона в комнату и спустил за собою портьеры.

Утром ученый пошел в кондитерскую напиться кофе и почитать газеты.

— Что это значит? — сказал он, выйдя на солнце. — У меня нет тени! Так она в самом деле ушла вчера вечером и не вернулась? Довольно-таки неприятная история!

И он рассердился, не столько потому, что тень ушла, сколько потому, что вспомнил известную историю о человеке без тени, которую знали все и каждый на его родине, в холодных странах; вернись он теперь туда и расскажи свою историю, все сказали бы, что он пустился подражать другим, а он вовсе в этом не нуждался. Поэтому он решил даже не заикаться о происшествии с тенью, и умно сделал.

Вечером он опять вышел на балкон и поставил свечку позади себя, зная, что тень всегда старается загородиться от света своим господином; выманить этим маневром тень ему, однако, не удалось. Он и сядил, и выпрямлялся во весь рост — тень все не являлась. Он испустил задумчивое: «Гм-гм!» — но и это не помогло.

Досадно было, но, к счастью, в жарких странах все растет и созревает необыкновенно быстро, и вот дней через восемь ученый, выйдя на солнце, заметил, к своему величайшему удовольствию, что от ног его начала расти новая тень — должно быть, корни-то старой остались. Через три недели у него была уже довольно сносная тень, которая во время обратного путешествия ученого на родину подросла еще и под конец стала уже такую большою и длинною, что хоть убавляй.

Ученый вернулся домой и стал писать книги, в которых говорилось об истине, добре и красоте. Так шли дни и годы, прошло много лет. Раз вечером, когда он сидел у себя дома, послышался тихий стук в дверь.

— Войдите! — сказал он, но никто не входил; тогда он отворил дверь сам — перед ним стоял невероятно худошавый человек; одет он был, впрочем, очень элегантно, как знатный господин.

— С кем имею честь говорить? — спросил ученый.

— Я так и думал, — сказал элегантный господин, — что вы не узнаете меня! Я так вошел в тело, обзавелся мясом и платьем! Вы, конечно, и не предполагали встретить меня когда-нибудь таким благоденствующим. Но неужели вы все еще не узнаете свою бывшую тень? Да вы, пожалуй, думали, что я уже не вернусь больше? Мне очень повезло с тех пор, как я расстался с вами. Я во всех отношениях завоевал себе прочное положение в свете и могу откупиться от службы, когда пожелаю!

При этих словах он забренчал целою связкой дорогих часовых брелоков, а потом начал играть толстой золотою шейною цепочкой. Пальцы его так и блестили бриллиантовыми перстнями! И золото, и камни были настоящие, не поддельные!

— Я просто в себя не могу прийти от удивления! — сказал ученый. — Что это такое?

— Да, явление не совсем обыкновенное, это правда! — сказала тень. — Но вы ведь сами не принадлежите к числу обыкновенных людей, а я, как вы знаете, с детства ходил по вашим стопам. Как только вы нашли, что я достаточно созрел для того, чтобы зажить самостоятельно, я и пошел своею дорогой, добился, как видите, полного благосостояния, да вот взгрустнулось что-то по вас, захотелось повидаться с вами, пока вы еще не умерли, — ведь вы должны же умереть, — и, кстати, взглянуть еще разок на эти края. Всегда же сохраняешь любовь к своей родине!.. Я знаю, что у вас теперь новая тень; скажите, не должен ли я что-нибудь ей или вам? Только скажите слово — и я заплачу.

— Нет, так это в самом деле ты?! — вскричал ученый. — Вот диво так диво! Никогда бы я не поверил, что моя старая тень вернется ко мне, да еще человеком!

— Скажите же мне, не должен ли я вам? — спросила опять тень. — Мне не хотелось бы быть у кого-нибудь в долгу!

— Что за разговоры! — сказал ученый. — Какой там долг! Ты вполне свободен! Я несказанно рад твоему счастью! Садись же, старый дружище, и Расскажи мне, как все это вышло и что ты увидал в том доме напротив?

— Сейчас расскажу! — сказала тень и уселась. — Но с условием, что вы дадите мне слово не говорить никому здесь, в городе, — где бы вы меня ни встретили, — что я был когда-то вашей тенью! Я ведь могу вздумать жениться! Я в состоянии содержать и не одну семью!

— Будь спокоен! — сказал ученый. — Никто не будет знать, кто ты, собственно, такой! Вот моя рука! Даю тебе слово! А человек ведь — слово...¹

— Слово же тень! — докончила тень: иначе она не могла выразиться. Вообще же ученому оставалось только удивляться, как много было в ней человеческого, начиная с самого платья: черная пара из тонкого сукна, на ногах лакированные сапоги, а в руках цилиндр, который мог складываться, так что от него оставалось только донышко да поля; о брелоках, золотою цепочке и бриллиантовых перстнях мы уже говорили. Да, тень

¹ Сокращение датской поговорки «En Mand er en Mand, et Ord er et Ord», т. е. «Человек — человек, слово — слово». Тень изменяет вторую часть поговорки соответственно своему положению, вследствие чего фраза, конечно, принимает сатирический оттенок. — *Примеч. перев.*

была одета превосходно, и это-то, собственно, и придавало ей вид настоящего человека.

— Теперь я расскажу! — сказала тень и придавила ногами в лакированных сапогах рукав новой тени ученого, которая, как собачка, лежала у его ног.

Зачем она это сделала, из высокомерия ли или, может быть, в надежде приклеить ее к своим ногам, — неизвестно. Тень же, лежавшая на полу, даже не шевельнулась, вся превратившись в слух: ей очень хотелось знать, как это можно добиться свободы и сделаться самой себе госпожою.

— Знаете, кто жил в том доме? — спросила бывшая тень. — Нечто прекраснейшее в мире — сама поэзия! Я провела там три недели, а это все равно, что прожить на свете три тысячи лет и прочесть все, что сочинено и написано поэтами, — вам говорю, и это верно. Я видел и знаю все.

— Поэзия! — вскричал ученый. — Да, да! Она часто живет отшельницей в больших городах! Поэзия! Я видел ее только мельком, да и то заспанными глазами! Она стояла на балконе и сверкала, как северное сияние! Рассказывай же, рассказывай! Ты был на балконе, вошел в дверь и?..

— И попал в переднюю! — подхватила тень. — Вы ведь всегда сидели и смотрели на переднюю. Она не была освещена, и в ней стоял какой-то полумрак, но в отворенную дверь виднелась целая анфилада освещенных покоев. Меня бы тот свет уничтожил вконец, если бы я сейчас же вошел к деде, но я был благоразумен и выждал время. Так и следует поступать всегда!

— И что же ты там видел? — спросил ученый.

— Все, и я расскажу вам обо всем, но... Видите ли, я не из гордости, а... ввиду той свободы и знаний, которыми я располагаю, не говоря уже о моем положении в свете... я очень бы желал, чтобы вы обращались со мной на «вы».

— Ах, прошу извинить меня! — сказал ученый. — Это по старой привычке!.. Вы совершенно правы! И я постараюсь помнить это! Но расскажите же мне, что вы там видели.

— Все! — отвечала тень. — Я видел и знаю все!

— Что же напоминали эти внутренние покои? — спросил ученый. — Свежий ли зеленый лес? Или святой храм? Или взору вашему открылось звездное небо, видимое лишь с нагорных высот?

— Все там было! — сказала тень. — Я, однако, не входил в самые покои, а оставался в передней, в полумраке, но там мне было отлично — я видел и знаю все! Я ведь провел столько времени в передней при дворе поэзии.

— Но что же вы видели там? Величавые шествия древних богов? Борьбу героев седой старины? Игры милых детей, лепечущих о своих чудных грезах?..

— Говорю же вам, я был там, следовательно, и видел все, что только можно было видеть! Явись вы туда, вы бы не сделали человеком, а я сделался им! Я познал там мою собственную натуру, мое природное родство с поэзией. Да, в те времена, когда я был при вас, я еще и не думал ни о чем таком. Но припомните только, как я всегда удивительно вырастал на восходе и при закате солнца! При лунном же свете я был чуть ли не заметнее вас самих! Но тогда еще я не понимал своей натуры, меня озарило только в передней! Там я стал человеком, вполне созрел. Но вас уже не было в жарких странах; между тем я, в качестве человека, стеснялся уже показываться в своем прежнем виде: мне нужны были сапоги, приличное платье — словом, я нуждался во всем этом внешнем человеческом лоске, по которому признают вас человеком. И вот я нашел себе убежище... да, вам я признаюсь в этом — ведь вы не напечатаете этого, — я нашел себе убежище под юбкой торговли сластями! Женщина и не подозревала, что она скрывала! Выходил я только по вечерам, бегал при лунном свете по улицам, растягивался во всю длину на стенах — это так приятно щекочет спину! Вбегал вверх по стенам, сбегал вниз, заглядывал в окна самых верхних этажей, заглядывал и в залы, и на чердак, заглядывал и туда, куда никто не мог заглядывать, видел то, чего никто не должен был видеть! И я узнал, как, в сущности, низок свет! Право, я не хотел бы даже быть человеком, если бы только не было раз навсегда принято считать это чем-то особенным! Я подметил самые невероятные вещи у женщин, у мужчин, у родителей, даже у милых, бесподобных деток. Я видел то, — добавила тень, — чего никто не должен был, но что всем так хотелось увидеть — тайные пороки и грехи людские. Пиши я в газетах — меня бы читали! Но я писал прямо самым заинтересованным лицам и нагонял на всех и повсюду, где ни появлялся, такой страх! Все так боялись меня и так любили! Профессора признавали меня своим коллегой, портные одевали меня — платья у меня теперь вдоволь, монетки выбивали для меня монету, а женщины восхищались моею красотой! И вот я стал тем, что я есть. А теперь я прощусь с вами; вот моя карточка. Живу я на солнечной стороне и в дождливую погоду всегда дома!

С этими словами тень ушла.

— Замечательно! — сказал ученый.

Шли дни и годы; вдруг тень опять явилась к ученому.

— Ну, как дела? — спросила она.

— Увы! — отвечал ученый. — Я пишу об истине, добре и красоте, а никому до этого нет и дела. Я просто в отчаянии, меня это так огорчает!

— А вот меня нет! — сказала тень. — Поэтому я все толстею, а это-то и нужно! Да, не умеете вы жить на свете! Еще заболите, пожалуй. Вам надо попутешествовать немножко. Я как раз собираюсь летом сделать

небольшую поездку, хотите ехать со мной? Мне нужно общество в дороге, так не поедете ли вы... в качестве моей тени? Право, ваше общество доставило бы мне большое удовольствие; все издержки я, конечно, возьму на себя!

— Нет, это слишком! — отвечал ученый.

— Да ведь как взглянуть на дело! — сказала тень. — Поездка принесла бы вам большую пользу! А стоит вам согласиться быть моею тенью — и вы поедете на всем готовом!

— Это уж из рук вон! — вскричал ученый.

— Да, таков свет, — сказала тень, — таким он и останется!

И тень ушла.

Ученый чувствовал себя плохо, а горе и заботы по-прежнему преследовали его: он писал об истине, добре и красоте, а люди понимали во всем этом столько же, сколько коровы в розах. Наконец, он заболел.

— Вы неузнаваемы, вы стали просто тенью! — говорили ученому люди, и по его телу пробегала дрожь: ему кое-что думалось при этом.

— Вам следует ехать куда-нибудь на воды! — сказала тень, которая опять завернула к нему. — Ничего другого вам не остается! Я готов взять вас с собою ради старого знакомства. Я беру на себя все издержки по путешествию, а вы опишете нашу поездку и будете приятно развлекать меня в дороге. Я собираюсь на воды: моя борода не растет, как бы следовало, и это своего рода болезнь — бороду надо же иметь! Ну, будьте благоразумны, принимайте мое предложение, ведь мы же поедem как товарищи.

И они поехали. Тень стала господином, а господин — тенью. Они были неразлучны: и ехали, и беседовали, и ходили всегда вместе — то бок о бок, то тень впереди ученого, то позади — смотря по положению солнца. Но тень отлично умела держаться господином, а ученый, по доброте сердца, даже и не замечал этого. Он был вообще такой славный, сердечный человек, и раз как-то и скажи тени:

— Мы теперь товарищи, да и выросли вместе — выпьем же на «ты», это будет по-приятельски!

— В ваших словах действительно много искреннего доброжелательства! — сказала тень: господином-то теперь была, собственно, она. — И я тоже хочу быть с вами откровенным. Вы, как человек ученый, знаете, вероятно, какими странностями отличается натура человеческая! Некоторым, например, неприятно дотрагиваться до серой бумаги, другие вздрагивают всем телом, если при них провести гвоздем по стеклу. Вот такое же чувство овладевает и мною, когда вы говорите мне «ты». Я чувствую себя совсем подавленным, как бы низведенным до прежнего моего положения. Вы видите, что это просто болезненное чувство, а не гордость с моей стороны. Я не могу позволить вам говорить мне «ты», но сам охотно буду говорить вам «ты» — таким образом, ваше желание будет исполнено хоть наполовину.

И вот тень стала говорить своему прежнему господину «ты».

«Это, однако, из рук вон, — подумал ученый, — я должен обращаться с ним на «вы», а он мне «тыкает».

Но делать было нечего.

Наконец они прибыли на воды. На водах был большой съезд иностранцев. В числе приезжих находилась и одна красавица королевна, которая страдала чересчур зорким взглядом, а это ведь не шутка — хоть кого будет беспокоить!

Она сразу заметила, что вновь прибывший иностранец совсем не похож на всех других людей.

— Хотя и говорят, что он приехал сюда ради того, чтобы отрастить себе бороду, но меня-то не проведешь: я вижу, что он просто-напросто не может отбрасывать тени!

Любопытство ее было подзадорено, и она, не долго думая, подошла к незнакомцу на прогулке и вступила с ним в разговор. Будучи королевной, она без дальнейших церемоний сказала ему:

— Ваша болезнь заключается в том, что вы не можете отбрасывать от себя тени!

— Ваше королевское высочество, должно быть, уже близки к выздоровлению! — сказала тень. — Я знаю, что вы страдали слишком зорким взглядом; теперь, как видно, вы исцелились от своего недуга! У меня как раз весьма необыкновенная тень. Или вы не заметили особу, которая постоянно следует за мной? У всех других людей — обыкновенные тени, но я вообще враг всего обыкновенного, и как другие одевают своих слуг в ливреи из более тонкого сукна, чем носят сами, так и я нарядил свою тень настоящим человеком и даже приставил, как видите, к ней свою тень! Все это обходится мне, конечно, недешево, но уж я в таких случаях за расходами не стою!

«Вот как! — подумала королевна. — Так я в самом деле выздоровела? Да, эти воды лучшие в мире! Надо признаться, что воды обладают в наше время поистине удивительною силой. Но я пока не уеду — теперь здесь будет еще интереснее. Мне ужасно нравится этот иностранец. Только бы борода его не выросла, а то он уедет!»

Вечером был бал, и королевна танцевала с тенью. Королевна танцевала легко, но тень еще легче: такого танцора королевна и не встречала. Она сказала ему, из какой страны прибыла, и оказалось, что он знал эту страну и даже был там, но королевна в то время уезжала. Он заглядывал в окна повсюду, видел кое-что и потому мог отвечать королевне на все вопросы и даже делать такие намеки, от которых она пришла в полное изумление и стала считать его умнейшим человеком в свете. Знания его просто поражали ее, и она прониклась к нему глубочайшим уважением. Протанцевав с ним еще раз, она окончательно влюбилась в него, и тень это отлично заметила: королевна так и пронизывала своего кавалера гла-

зами насквозь. Протанцевав же с тенью еще раз, королевна готова была признаться ей в своей любви, но рассудок все-таки одержал верх: она подумала о своей стране, государстве и народе, которым ей приходилось управлять. «Умен-то он умен, — сказала она самой себе, — и это прекрасно; танцует он восхитительно, и это тоже хорошо, но обладает ли он основательными познаниями, что тоже очень важно! Надо его проэкзаменовать». И она опять завела с ним разговор и наставляла ему труднейших вопросов, на которые и сама не смогла бы ответить.

Тень скорчила удивленную мину.

— Так вы не можете ответить мне! — сказала королевна.

— Все это я прошел еще в детстве! — отвечала тень. — Я думаю, даже тень моя, что стоит у дверей, сумеет ответить вам.

— Ваша тень?! — удивилась королевна. — Это было бы просто поразительно!

— Я, видите ли, не утверждаю, — сказала тень, — но думаю, что она может, ведь она столько лет неразлучна со мной и кое-чего наслушалась от меня! Но, ваше королевское высочество, позвольте мне обратиться ваше внимание на одно обстоятельство. Тень моя очень гордится тем, что слывет человеком, и, если вы не желаете привести ее в дурное расположение духа, вам следует обращаться с нею, как с человеком! Иначе она, пожалуй, не будет в состоянии отвечать как следует!

— Что ж, это мне нравится! — ответила королевна и, подойдя к ученому, стоявшему у дверей, заговорила с ним о солнце, о луне, о внешних и внутренних сторонах и свойствах человеческой природы.

Ученый отвечал на все ее вопросы хорошо и умно.

«Что это должен быть за человек, — подумала королевна, — если даже тень его так умна! Для моего народа и государства будет сущим благодеянием, если я выберу его себе в супруги. Да я так и сделаю!»

И скоро они порешили между собою этот вопрос. Никто, однако, не должен был знать ничего, пока королевна не вернется домой в свое государство.

— Никто-никто, даже моя собственная тень! — настаивала тень, имевшая на то свои причины.

Наконец они прибыли в страну, которою управляла королевна, когда бывала дома.

— Послушай, дружище! — сказала тут тень ученому. — Теперь я достиг высшего счастья и могущества человеческого и хочу сделать кое-что и для тебя! Ты останешься при мне, будешь жить в моем дворце, разъезжать со мною в королевской карете и получать сто тысяч риксдалеров в год. Но за то ты должен позволить называть тебя тенью всем и каждому. Ты не должен и заикаться, что был когда-нибудь человеком! А раз в год, в солнечный день, когда я буду восседать на балконе перед всем народом, должен будешь лежать у моих ног, как и подобает тени.

Надо тебе сказать, что я женюсь на королевне; свадьба — сегодня вечером.

— Нет, это уж из рук вон! — вскричал ученый. — Не хочу я этого и не сделаю! Это значило бы обманывать всю страну и королевну! Я скажу все! Скажу, что я человек, а ты только переодетая тень — все, все!

— Никто не поверит тебе! — сказала тень. — Ну, будь же благо-разумен, не то я кликну стражу!

— Я пойду прямо к королевне! — сказал ученый.

— Ну, я-то попаду к ней прежде тебя! — сказала тень. — А ты отправишься под арест.

Так и вышло — стража повиновалась тому, за кого, как все знали, выходила замуж королевна.

— Ты дрожишь! — сказала королевна, когда тень вошла к ней. — Что-нибудь случилось? Не захворай смотри! Ведь сегодня вечером наша свадьба!

— Ах, я пережил сейчас ужаснейшую минуту! — сказала тень. — Подумай... Да много ли, в сущности, нужно мозгам какой-нибудь несчастной тени!.. Подумай, моя тень сошла с ума, вообразила себя человеком, а меня называет — подумай только — своею тенью!

— Какой ужас! — сказала королевна. — Надеюсь, ее заперли?

— Да! И я боюсь, что она никогда не придет в себя!

— Бедная тень! — вздохнула королевна. — Она очень несчастна! Было бы сущим благодеянием избавить ее от той частицы жизни, которая еще есть в ней. А как подумать хорошенько, то, по-моему, даже необходимо покончить с нею поскорее и без шума!

— Все-таки это жестоко! — сказала тень. — Она была мне верным слугой! — И тень притворно вздохнула.


— У тебя благородная душа! — сказала королевна.

Вечером весь город был иллюминирован, гремели пушечные выстрелы, солдаты отдавали честь ружьями. Вот была свадьба! И королевна с тенью вышли на балкон показаться народу, который еще раз прокричал им «ура!».

Ученый не слышал этого ликования — с ним уже покончили.



СТАРЫЙ ДОМ

а одной улице стоял старинный-старинный дом, выстроенный еще около трехсот лет тому назад, — год был вырезан на одном из оконных карнизов, по которым вилась затейливая резьба: тюльпаны и побеги хмеля; тут же было вырезано старинными буквами и с соблюдением старинной орфографии целое стихотворение. На других карнизах красовались уморительные рожи, корчившие гримасы. Верхний этаж дома образовывал над нижним большой выступ; под самую крышей шла водосточная труба, оканчивавшаяся драконовою головой. Дождевая вода должна была вытекать у дракона из пасти, но текла из живота: труба была дырявая.

Все остальные дома на улице были такие новенькие, чистенькие, с большими окнами и прямыми ровными стенами; по всему видно было, что они не желали иметь со старым домом ничего общего и даже думали: «Долго ли он будет торчать тут на позор всей улице? Из-за этого выступа нам не видно, что делается на улице по ту сторону его! А лестница-то, лестница-то! Широкая, будто во дворце, и высокая, словно ведет на колокольню! Железные перила напоминают вход в могильный склеп, а на дверях блестят большие медные бляхи! Просто неприлично!»

Против старого дома, на другой стороне улицы, стояли такие же новенькие, чистенькие домики и думали то же, что их собратья; но в одном из них сидел у окна маленький краснощекий мальчик с ясными сияющими глазками; ему старый дом и при солнечном, и при лунном свете нравился куда больше всех остальных домов. Глядя на стену старого дома с истрескавшейся и местами пообвалившейся штукатуркой, он рисовал себе самые причудливые картины прошлого, воображал всю улицу, застроенную такими же домами, с широкими лестницами, выступами и остроконечными крышами, видел перед собою солдат с алебардами и водосточные трубы в виде драконов и змиев... Да, можно-таки было заглядеться на старый дом! Жил в нем один старичок, носивший короткие панталоны до колен, кафтан с большими металлическими пуговицами и парик, про который сразу можно было сказать: вот это настоящий парик! По утрам к старику приходил старый слуга, который прибирал все в

доме и исполнял поручения старичка хозяина; остальное время дня старик оставался в доме один-одинешенек. Иногда он подходил к окну взглянуть на улицу и на соседние дома; мальчик, сидевший у окна, кивал старику головой и получал в ответ такой же дружеский кивок. Так они познакомились и подружились, хоть и ни разу не говорили друг с другом, — это ничуть им не мешало!

Раз мальчик услышал, как родители его говорили:

— Старику живется вообще недурно, но он так одинок, бедный!

В следующее же воскресенье мальчик завернул что-то в бумажку, вышел за ворота и остановил проходившего мимо слугу старика.

— Послушай! Снеси-ка это от меня старому господину! У меня два оловянных солдатика, так вот ему один! Старый господин ведь так одинок, бедный!

Слуга, видимо, обрадовался, кивнул головой и отнес солдатика в старый дом. Потом тот же слуга явился к мальчику спросить, не пожелает ли он сам навестить старого господина. Родители позволили, и мальчик отправился в гости.

Медные бляхи на перилах лестницы блестели ярче обыкновенного, точно их вычистили в ожидании гостя, а резные трубаки — на дверях были вырезаны трубаки, выглядывавшие из тюльпанов, — казалось, трубили изо всех сил, и щеки их раздувались сильнее, чем всегда. Они трубили: «Тра-та-та-та! Мальчик идет! Тра-та-та-та!» Двери отворились, и мальчик вошел в коридор. Все стены были увешаны старыми портретами рыцарей в латах и дам в шелковых платьях; рыцарские доспехи бряцали, а платья шуршали... Потом мальчик прошел лестницу, которая сначала шла высоко вверх, а потом опять вниз, и очутился на довольно-таки ветхой террасе с большими дырами и широкими щелями в полу, из которых выглядывала зеленая трава и листья. Вся терраса, весь двор и даже вся стена дома были увиты зеленью, так что терраса выглядела настоящим садом, а на самом-то деле это была только терраса! Тут стояли старинные цветочные горшки в виде голов с ослиными ушами; цветы росли в них как хотели. В одном горшке так и лезла через край гвоздика: зеленые побеги ее разбегались во все стороны, и гвоздика как будто говорила: «Ветерок ласкает меня, солнышко целует и обещает подарить мне в воскресенье еще цветочек!»

С террасы мальчика провели в комнату, обитую свиной кожей с золотым тиснением.

«Да, позолота-то сотрется,

Свиная ж кожа останется!» — говорили стены.

В той же комнате стояли разукрашенные резьбой кресла с высокими спинками.

— Садись! Садись! — приглашали они, а потом жалобно скрипели. — Ох, какой лом в костях! И мы схватили ревматизм, как старый шкаф. Ревматизм в спине! Ох!

Затем мальчик вошел в комнату с большим выступом на улицу. Тут сидел сам старичок хозяин.

— Спасибо за оловянного солдатика, дружок! — сказал он мальчику. — И спасибо, что сам зашел ко мне!

«Так, так», или, скорее, «кхак, кхак!» — закричала и заскрипела комнатная мебель. Стулья, столы и кресла просто лезли друг на друга, чтобы взглянуть на мальчика, но их было так много, что они только мешали один другому.

На стене висел портрет прелестной молодой дамы с живым веселым лицом, но причесанной и одетой по старинной моде: волосы ее были напудрены, а платье стояло колом. Она не сказала ни «так», ни «кхак», но ласково смотрела на мальчика, и он сейчас же спросил старика:

— Где ты ее достал?

— В лавке старьевщика! — отвечал тот. — Там много таких портретов, но никому до них нет и дела: никто не знает, с кого они писаны, — все эти лица давным-давно умерли и похоронены. Вот и этой дамы нет на свете лет пятьдесят, но я знал ее в старину.

Под картиной висел за стеклом букетик сушеных цветов; им, верно, тоже было лет под пятьдесят — такие они были старые! Маятник больших старинных часов качался взад и вперед, стрелка, двигалась и все в комнате старело с каждою минутой, само того не замечая.

— У нас дома говорят, что ты ужасно одинок! — сказал мальчик.

— О! Меня постоянно навещают воспоминания прошлого... Они приводят с собой столько знакомых лиц и образов!.. А теперь вот и ты навестил меня! Нет, мне хорошо!

И старичок снял с полки книгу с картинками. Тут были целые процессии, диких кареты, которых теперь уж не увидишь, солдаты, похожие на трефовых валетов, городские ремесленники с развевающимися знаменами. У портных на знаменах красовались ножницы, поддерживаемые двумя львами, у сапожников же — не сапоги, а орел о двух головах: сапожники ведь делают все парные вещи. Да, вот так картинки были!

Старичок хозяин пошел в другую комнату за вареньем, яблоками и орехами. Нет, в старом доме, право, было прелесть как хорошо!

— А мне просто невмочь оставаться здесь! — сказал оловянный солдатик, стоявший на сундуке. — Тут так пусто и печально. Нет, кто привык к семейной жизни, тому здесь не житье. Сил моих больше нет! День тянется здесь без конца, а вечер и того дольше! Тут не услышишь ни приятных бесед по душе, какие вели, бывало, между собою твои папаша с мамашей, ни веселой возни ребятишек, как у вас! Старый хозяин так одинок! Ты думаешь, его кто-нибудь целует? Глядит на него кто-нибудь ласково? Бывает у него елка? Получает он подарки? Ничего! Вот разве гроб он получит!.. Нет, право, я не выдержу такого житья!

— Ну, ну, полно! — сказал мальчик. — По-моему, здесь чудесно, ведь сюда заглядывают воспоминания и приводят с собою столько знакомых лиц!

— Что-то не видал их, да они мне и незнакомы! — отвечал оловянный солдатик. — Нет, мне просто не под силу оставаться здесь!

— А надо! — сказал мальчик.

В эту минуту в комнату вошел с веселою улыбкой на лице старичок, и чего-чего он только не принес! И варенья, и яблок, и орехов! Мальчик перестал и думать об оловянном солдатике.

Веселый и довольный вернулся он домой. Дни шли за днями; в старый дом по-прежнему посылались, а оттуда получались поклоны, и вот мальчик опять отправился туда в гости.

Резные трубачи опять затрубили: «Тра-та-та! Мальчик пришел! Тра-та-та!» Рыцари и дамы на портретах бряцали доспехами и шуршали шелковыми платьями, свиная кожа говорила, а старые кресла скрипели и кряхтели от ревматизма в спине: «Ох!» Словом, все было как и в первый раз, — в старом доме часы и дни шли один, как другой, без всякой перемены.

— Нет, я не выдержу! — сказал оловянный солдатик. — Я уж плакал оловом! Тут слишком печально! Пусть лучше пошлют меня на войну, отрубят там руку или ногу! Все-таки хоть перемена будет! Сил моих больше нет!.. Теперь и я знаю, что это за воспоминания, которые приводят с собою знакомых лиц! Меня они тоже посетили, и поверь, им не обрадуешься! По крайней мере ненадолго. Под конец я готов был прыгнуть с сундука!.. Я видел тебя и всех твоих!.. Вы все стояли передо мною как живые!.. Это было утром в воскресенье... Все вы, ребятишки, стояли в столовой, такие серьезные, набожно сложив руки, и пели утренний псалом... Папа и мама стояли тут же. Вдруг дверь отворилась, и вошла незваная двухгодовалая сестренка ваша Мари. А ей стоит только услышать музыку или пение — все равно какое — сейчас начинает плясать. Вот она и принялась приплясывать, но никак не могла попасть в такт — вы пели так протяжно... Она поднимала то одну ножку, то другую и вытягивала шейку, но дело не ладилось. Никто из вас даже не улыбнулся, хоть и трудно было удержаться. Я таки и не удержался, засмеялся про себя да и слетел со стола! На лбу у меня вскочила большая шишка — она и теперь еще не прошла, — и поделом мне было!.. Много и еще чего вспоминается мне... Все, что я видел, слышал и пережил в вашей семье, так и всплывает у меня перед глазами! Вот каковы они, эти воспоминания, и вот что они приводят с собой!.. Скажи, вы и теперь еще поете по утрам? Расскажи мне что-нибудь про малютку Мари! А товарищ мой, оловянный солдатик, как поживает? Вот счастливец!.. Нет-нет, я просто не выдержу!..

— Ты подарен! — сказал мальчик. — И должен оставаться тут! Разве ты не понимаешь этого?



Старичок хозяин явился с ящиком, в котором было много разных диковинок: какие-то шкатулочки, флакончики и колоды старинных карт; таких больших, расписанных золотом, теперь уж не увидишь! Старичок отпер для гостя и большие ящики старинного бюро и даже клавикорды, на крышке которых был нарисован ландшафт. Инструмент издавал под рукой хозяина тихие дребезжащие звуки, а сам старичок напевал при этом какую-то заунывную песенку.

— Эту песню певала когда-то она! — сказал он, кивая на портрет, купленный у старьевщика, и глаза его заблестели.

— Я хочу на войну! Хочу на войну! — завопил вдруг оловянный солдатик и бросился с сундука.

Куда же он девался? Искал его и сам старичок хозяин, искал и мальчик — нет нигде, да и только.

— Ну, я найду его после! — сказал старичок, но так и не нашел. Пол весь был в щелях, солдатик упал в одну из них и лежал там, как в открытой могиле.

Вечером мальчик вернулся домой. Время шло; наступила зима; окна замерзли, и мальчику приходилось дышать на них, чтобы оттаяло хоть маленькое отверстие, в которое бы можно было взглянуть на улицу. Снег запорошил все завитушки, надпись на карнизах старого дома и завалил лестницу — дом стоял, словно нежилой. Да так оно и было: старичок, хозяин его, умер.

Вечером к старому дому подъехала колесница, на нее поставили гроб и повезли старичка за город в семейный склеп. Никто не шел за гробом — все друзья старика давным-давно умерли. Мальчик послал вслед гробу воздушный поцелуй.

Несколько дней спустя в старом доме назначен был аукцион. Мальчик видел из окошка, как уносили старинные портреты рыцарей и дам, цветочные горшки с длинными ушами, старые стулья и шкафы. Одно пошло сюда, другое туда; портрет дамы, купленный в лавке старьевщика, вернулся туда же, да так там и остался, ведь никто не знал этой дамы, никому и не нужен был ее портрет.

Весною приступили к слому старого дома — этот жалкий сарай давно уже мозолил всем глаза, — и с улицы можно было заглянуть в комнаты с обоями из свиной кожи, висевшей клочьями; зелень на террасе разрослась еще пышнее и густо обвивала упавшие балки. Наконец место очистили совсем.

«Вот и отлично!» — сказали соседние дома.

Вместо старого дома на улице появился новый, с большими окнами и белыми ровными стенами. Перед ним, то есть, собственно, на том самом месте, где стоял прежде старый дом, разбили садик, и виноградные лозы потянулись оттуда к стене соседнего дома. Садик был обнесен железною решеткой, и вела в него железная же калитка. Все это выглядело так

нарядно, что прохожие останавливались и глядели сквозь решетку. Виноградные лозы были усеяны десятками воробьев, которые чирикали наперебой, но не о старом доме: они не могли его помнить; с тех пор прошло столько лет, что мальчик успел сделаться мужчиною. Из него вышел дельный человек на радость своим родителям. Он только что женился и переехал со своею молодою женой как раз в этот новый дом с садом. Оба они были в саду; муж смотрел, как жена сажала в клумбу какой-то приглянувшийся ей полевой цветок. Вдруг молодая женщина вскрикнула:

— Ай! Что это?

Она укололась — из мягкой рыхлой земли торчало что-то острое. Это был — да, подумайте! — оловянный солдатик, тот самый, что пропал у старика, валялся в мусоре и, наконец, много-много лет пролежал в земле.

Молодая женщина обтерла солдатика сначала зеленым листком, а затем своим тонким носовым платком. Как чудесно пахло от него духами! Оловянный солдатик словно очнулся от обморока.

— Дай-ка мне посмотреть! — сказал молодой человек, засмеялся и покачал головой. — Ну это, конечно, не тот самый, но он напоминает мне одну историю из моего детства!

И он рассказал жене о старом доме, о хозяине его и об оловянном солдатике, которого послал бедному одинокому старичку. Словом, он рассказал все, как было в действительности, и молодая женщина даже прослезилась, слушая его.

— А может быть, это тот самый оловянный солдатик! — сказала она. — Я спрячу его на память. Но ты непременно покажи мне могилу старика!

— Я и сам не знаю, где она! — отвечал он. — Да и никто не знает! Все его друзья умерли раньше его, никому не было и дела до его могилы, я же в те времена был еще совсем маленьким мальчуганом.

— Как ужасно быть таким одиноким! — сказала она.

— Ужасно быть одиноким! — сказал оловянный солдатик. — Но какое счастье сознавать, что тебя не забыли!

— Счастье! — повторил чей-то голос возле, но никто не расслышал его, кроме оловянного солдатика.

Оказалось, что это говорил лоскуток свиной кожи, которою когда-то были обиты комнаты старого дома. Позолота с него вся сошла, и он был похож, скорее, на грязный комок земли, но у него был свой взгляд, и он высказал его:

Да, позолота-то сотрется,
Свиная ж кожа остается!

Оловянный солдатик, однако, с этим не согласился.



КАПЛЯ ВОДЫ

Вы, конечно, видали увеличительное стекло — круглое, выпуклое, через которое все вещи кажутся во сто раз больше, чем они на самом деле? Если через него поглядеть на каплю воды, взятой где-нибудь из пруда, то увидишь целые тысячи диковинных зверьков, которых вообще никогда не видно в воде, хотя они там и есть. Смотришь на каплю такой воды, а перед тобой ни дать ни взять целая тарелка живых креветок, которые прыгают, копошатся, хлопчут, откусывают друг у друга то переднюю ножку, то заднюю, то тут уголок, то там кончик, радуются и веселятся по-своему!

Жил-был один старик, которого все звали Копуном-Хлопотуном — такое уж у него было имя. Он вечно копался и хлопотал над всякою вещью, желая извлечь из нее все, что только вообще можно, а нельзя было достигнуть этого простым путем — прибегал к колдовству.

Вот сидит он раз да смотрит через увеличительное стекло на каплю воды, взятой прямо из лужи. Батюшки мои, как эти зверьки копошились и хлопотали тут! Их были тысячи, и все они прыгали, скакали, кусались, щипались и пожирали друг друга.

— Но ведь это отвратительно! — вскричал старый Копун-Хлопотун. — Нельзя ли их как-нибудь умиротворить, ввести у них порядок, чтобы всякий знал свое место и свои права?

Думал, думал старик, а все ничего придумать не мог. Пришлось прибегнуть к колдовству.

— Надо их окрасить, чтобы они больше бросались в глаза! — сказал он и чуть капнул на них какою-то жидкостью вроде красного вина, но это было не вино, а ведьмина кровь самого первого сорта. Все диковинные зверьки вдруг приняли красноватый оттенок, и каплю воды можно было теперь принять за целый город, кишевший голыми индейцами-дикарями.

— Что у тебя тут? — спросил старика другой колдун без имени — этим-то он как раз и отличался.

— А вот угадай! — отозвался Копун-Хлопотун. — Угадаешь — я подарю тебе эту штуку. Но угадать не так-то легко, если не знаешь, в чем дело!

Колдун без имени поглядел в увеличительное стекло. Право, перед ним был целый город, кишевший людьми, но все они бежали нагишом! Ужас что такое! А еще ужаснее было то, что они немилосердно толкались, щипались, кусались и рвали друг друга в клочья! Кто был внизу — непременно выбивался наверх, кто был наверху — попадал вниз.

— Гляди, гляди! Вон у того нога длиннее моей! Долой ее! А вот у этого крошечная шишка за ухом, крошечная, невинная шишка, но ему от нее больно, так пусть будет еще больнее!

И они кусали беднягу, рвали на части и пожирали за то, что у него была крошечная шишка. Смотрят, кто-нибудь сидит себе смирно, как красная девица, никого не трогает, лишь бы и его не трогали, так нет — давай его тормозить, таскать, теревить, пока от него не останется и следа!

— Ужасно забавно! — сказал колдун без имени.

— Ну а что это такое, по-твоему? Можешь угадать? — спросил Копун-Хлопотун.

— Тут и угадывать нечего! Сразу видно! — отвечал тот. — Это Копенгаген или другой какой-нибудь большой город, ведь они все похожи один на другой!.. Один из больших городов!

— Капля воды из лужи! — промолвил Копун-Хлопотун.



СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ

Самый большой лист у нас, конечно, лист лопуха: наденешь его на животик — точно передник, а положишь в дождик на головку — зонтик! Такой большущий этот лопух! И он никогда не растет в одиночку, а всегда уж где один, там и много, — такая роскошь! И вся эта роскошь — кушанье для улиток! А самих улиток, белых, больших, кушали в старину важные господа; из улиток готовилось фрикассе, и господа, кушая его, приговаривали: «Ах, как вкусно!» Они и вправду воображали себе, что это ужасно вкусно. Так вот, эти большие белые улитки ели лопух, потому и стали сеять лопух.

Была одна старая барская усадьба, где уж давно не ели улиток, и они все повымерли. А лопух не вымер; он себе все рос да рос — его ничем нельзя было заглушить; все аллеи, все грядки заросли лопухом, так что и сад стал не сад, а лопушиный лес; никто бы и не догадался, что тут был прежде сад, если бы кое-где не торчали еще то яблонька, то сливовое деревце. Вот в этом-то лопушином лесу и жила последняя пара старых-престарых улиток.

Они и сами не знали, сколько им лет, но отлично помнили, что прежде их было много, что они очень старинной иностранной породы и что весь этот лес был насажен, собственно, для них и их родичей. Старые улитки ни разу не выходили из своего леса, но знали, что где-то есть что-то, называющееся барскою усадьбой; там улиток варят до тех пор, пока они не почернеют, а потом кладут на серебряное блюдо. Что было дальше, они не знали. Не знали они тоже и даже представить себе не могли, что значит свариться и лежать на серебряном блюде; знали только, что это было чудесно и, главное, аристократично! И ни майский жук, ни жаба, ни дождевой червяк — никто из тех, кого они спрашивали, ничего не мог сказать об этом: никому еще не приходилось быть сваренным и лежать на серебряном блюде!

Что же касается самих себя, то улитки отлично знали, что они первые в свете, что весь лес растет только для них, а усадьба существует лишь для того, чтобы они могли свариться и лежать на серебряном блюде.

Жили улитки тихо, мирно и очень счастливо. Детей у них не было, и они взяли на воспитание улитку из простых. Приемыш их ни за что не хотел расти: он был обыкновенной, простой породы, но старикам, особенно улитке-мамаше, все казалось, что он заметно увеличивается, и она просила улитку-папашу, если он не видит этого так, ощупать раковину малютки! Папаша щупал и соглашался с мамашей.

Раз шел сильный дождь.

— Ишь как барабанит по лопуху! — сказал улитка-папаша.

— Так и льет! — сказала улитка-мамаша. — Вон как потекло вниз по стебелькам! Увидишь, как здесь будет сыро! Как я рада, что у нас и у сына нашего такие прочные домики! Нет, что ни говори, а нам дано больше, чем кому другому в свете! Сейчас видно, что мы первые в мире! У нас с самого рождения есть уже свои дома, для нас насажен целый лопушиный лес! А хотелось бы знать, как далеко он тянется и что там за ним?

— Ничего! — сказал улитка-папаша. — Уж лучше, чем у нас тут, и быть нигде не может; я, по крайней мере, лучшего не ищу.

— А мне, — сказала улитка-мамаша, — хотелось бы попасть в усадьбу, свариться и лежать на серебряном блюде. Этого удостаивались все наши предки, и уж поверь, в этом есть что-нибудь особенное!

— Усадьба, пожалуй, давно разрушилась, — сказал улитка-папаша, — или вся заросла лопухом, так что людям и не выбраться оттуда. Да и к чему так спешить? А ты вот вечно спешишь, и сынок наш туда же за тобой. Ведь он уж третий день все ползет вверх по стебельку; просто голова кружится, как поглядишь!

— Ну, не ворчи на него! — сказала улитка-мамаша. — Он ползет осторожно. Он, наверно, утешит нас на старости лет, а ведь нам, старикам, больше и жить не для чего. Только подумал ли ты, откуда нам взять ему жену? Что, по-твоему, там дальше, в лопухе, не найдется кого-нибудь из нашего рода?

— Черные улитки без домов есть, конечно, — сказал улитка-папаша, — но это же простонародье! Да и много они о себе думают! Можно, впрочем, поручить это дело муравьям: они вечно шныряют взад да вперед, точно за делом, и уж, верно, знают, где надо искать жену для нашего сына.

— Знаем, знаем одну красавицу из красавиц! — сказали муравьи. — Только навряд ли она подойдет вам, ведь она — королева!

— Это не беда! — сказали старики. — А есть ли у нее дом?

— Даже дворец! — сказали муравьи. — Чудеснейший муравейник с семьями ходов!

— Благодарим покорно! — сказала улитка-мамаша. — Сыну нашему не с чего лезть в муравейник! Если у вас нет на примете никого получше, то мы поручим дело комарам: они летают и в дождь, и в солнышко и знают лопушиный лес вдоль и поперек.

— У нас есть невеста для вашего сына! — сказали комары. — Шагах в ста отсюда, на кустике крыжовника сидит, в своем домике одна маленькая улитка. Она живет одна-одинешенька и как раз в таком возрасте, что может выйти замуж. Всего в ста шагах отсюда!

— Так пусть она явится к нему! — сказали старики. — У него целый лопушиный лес, а у нее всего-навсего один кустик!

За улиткой-невестой послали. Она отправилась в путь и благополучно добралась до лопухов на восьмой день путешествия. Вот что значит чистота породы!

Отпраздновали свадьбу. Шесть червяков-светляков светили из всех сил; вообще же свадьба была очень тихая: старики не любили шума. Зато улитка-мамаша сказала чудеснейшую речь. Папаша не мог — он был так растроган! И вот старики отдали молодым во владение весь лопушиный лес, сказав при этом, как они и всю жизнь свою говорили, что лучше этого леса нет ничего на свете и что если молодые будут честно и благородно жить и плодиться, то когда-нибудь им или их детям доведется попасть в усадьбу: там их сварят дочерна и положат на серебряное блюдо!

Затем старики вползли в свои домики и больше уж не показывались — они заснули.

А молодые улитки стали царствовать в лесу и оставили после себя большое потомство. Попасть же в усадьбу и лежать на серебряном блюде им так и не удалось! Поэтому они решили, что усадьба совсем разрушилась, а все люди на свете повымерли. Никто им не противоречил, — значит, так оно и было. И вот дождь барабанил по лопуху, чтобы позабавить улиток, а солнце сияло, чтобы зеленел их лопух, и они были счастливы, счастливы! И вся их семья была счастлива — так-то!



МАТЬ

Мать сидела у колыбели своего ребенка; как она горевала, как боялась, что он умрет! Личико его совсем побледнело, глазки были закрыты, дышал он так слабо, а по временам тяжело-тяжело переводил дух, точно вздыхал...

И сердце матери сжималось еще больнее при взгляде на маленькое создание.

Вдруг в дверь постучали, и вошел бедный старик, закутанный во что-то вроде лошадиной попоны, ведь попона греет, а ему того и надо было: стояла холодная зима, на дворе все было покрыто снегом и льдом, а ветер так и резал лицо.

Видя, что старик дрожит от холода, а дитя задремало на минуту, мать отошла от колыбели, чтобы налить для гостя кружку пива и поставить его погреться в печку. Старик же в это время подсел к колыбели и стал покачивать ребенка. Мать опустила на стул рядом, взглянула на больного ребенка, прислушалась к его тяжелому дыханию и взяла его за ручку.

— Ведь я не лишусь его, не правда ли? — сказала она. — Господь не отнимет его у меня!

Старик — это была сама Смерть — как-то странно кивнул головою; кивок этот мог означать и «да», и «нет». Мать опустила голову, и слезы потекли по ее щекам... Скоро голова ее отяжелела — бедная не смыкала глаз вот уже три дня и три ночи... Она забылась сном, но всего лишь на минуту; тут она опять встрепенулась и задрожала от холода.

— Что это?! — воскликнула она, озираясь вокруг: старик исчез, а с ним и дитя — старик унес его.

В углу глухо шипели старые часы; тяжелая свинцовая гиря дошла до пола... Бум! И часы остановились.

Бедная мать выбежала из дома, громко призывая своего ребенка.

На снегу сидела женщина в длинном черном одеянии и сказала матери:

— Смерть посетила твой дом, и я видела, как она скрылась с твоим малюткой. Она носится быстрее ветра и никогда не возвращается, что раз взяла!

— Скажи мне только, какую дорогой она пошла! — сказала мать. — Только укажи мне путь, и я найду ее!

— Я знаю, куда она пошла, но не скажу, пока ты не споешь мне всех песенок, которые певала своему малютке! — сказала женщина в черном. — Я очень люблю их. Я уже слышала их не раз — я ведь Ночь — и видела, как ты плакала, напевая их!..

— Я спою тебе их все-все! — отвечала мать. — Но не задерживай меня теперь — мне надо догнать Смерть, найти моего ребенка!

Ночь молчала, и мать, ломая руки и заливаясь слезами, запела. Много было спето песен — еще больше пролито слез. И вот Ночь промолвила:

— Ступай направо, прямо в темный сосновый бор; туда направилась Смерть с твоим ребенком.

Дойдя до перекрестка в глубине бора, мать остановилась. Куда идти теперь? У самого перекрестка стоял голый терновый куст, без листьев, без цветов, ведь была холодная зима, и он почти весь обледенел.

— Не проходила ли тут Смерть с моим ребенком?

— Проходила! — сказал терновый куст. — Но я не скажу, куда она пошла, пока ты не отогреешь меня на своей груди, у своего сердца. Я мерзну и скоро весь обледенею.

И она крепко прижала его к своей груди. Острые шипы глубоко вонзились ей в тело, и на груди ее выступили крупные капли крови... Зато терновый куст зазеленел и весь покрылся цветами, несмотря на холод зимней ночи: так тепло у сердца скорбящей матери! И терновый куст указал ей дорогу.

Она привела мать к большому озеру; нигде не было видно ни корабля, ни лодки. Озеро было слегка затянуто льдом; лед этот не сдержал бы ее и в то же время не позволял ей пуститься через озеро вброд, да и глубоко было! А ей все-таки надо было переправиться через него, если она хотела найти своего ребенка. И вот мать приникла к озеру, чтобы выпить его все до дна; это невозможно для человека, но несчастная мать верила в чудо.

— Нет, из этого толку не будет! — сказало озеро. — Давай-ка лучше сговоримся! Я собираю жемчужины, а таких ясных и чистых, как твои глаза, я еще не видывало. Если ты согласишься выплакать их в меня, я перенесу тебя на тот берег, к большой теплице, где Смерть растит свои цветы и деревья: каждое растение — человеческая жизнь!

— О, чего я ни отдам, чтобы только найти моего ребенка! — сказала плачущая мать, залилась слезами еще сильнее, и вот глаза ее упали на дно озера и превратились в две драгоценные жемчужины. Озеро же подхватило мать, и она одним взмахом, как на качелях, перенеслась на другой берег, где стоял огромный диковинный дом. И не разобрать было — гора ли это, обросшая кустарником и вся изрытая пещерами, или здание; бедная мать, впрочем, и вовсе не видела его — она выплакала свои глаза.

— Где же мне найти Смерть, похитившую моего ребенка? — проговорила она.

— Она еще не возвращалась! — отвечала старая садовница, при-
сматривавшая за теплицей Смерти. — Но как ты нашла сюда дорогу,
кто помог тебе?

— Господь Бог! — отвечала мать. — Он сжалился надо мною,
сжался же и ты! Скажи, где мне искать моего ребенка?

— Да я ведь не знаю его! — сказала женщина. — А ты — слепая!
Сегодня в ночь завяло много цветов и деревьев, и Смерть скоро придет
пересаживать их. Ты ведь знаешь, что у каждого человека есть свое
дерево жизни или свой цветок, смотря по тому, каков он сам. С виду
они совсем обыкновенные растения, но в каждом бьется сердце. Детское
сердечко тоже бьется; обойди же все растения — может быть, ты и
узнаешь сердце своего ребенка. А теперь что ж ты мне дашь, если я
скажу тебе, как поступить дальше?

— Мне нечего дать тебе! — отвечала несчастная мать. — Но я
готова пойти для тебя на край света!

— Ну, там мне нечего искать! — сказала женщина. — А ты вот
отдай-ка мне свои длинные черные волосы. Ты сама знаешь, как они
хороши, а я люблю хорошие волосы. Я дам тебе в обмен свои седые —
это все же лучше, чем ничего!

— Только-то? — сказала мать. — Да я с радостью отдам тебе свои
волосы!

И она отдала старухе свои прекрасные черные волосы, получив в
обмен седые.

Потом она вошла в огромную теплицу Смерти, где росли впере-
мешку цветы и деревья: здесь цвели под стеклянными колпаками неж-
ные гиацинты, там росли большие, пышные пионы, тут — водяные
растения, одни свежие и здоровые, другие полузачахшие, обвитые во-
дяными змеями, стиснутые клешнями черных раков. Были здесь и
великолепные пальмы, и дубы, и платаны; росли и петрушка, и души-
стый тмин. У каждого дерева, у каждого цветка было свое имя;
каждый цветок, каждое деревце было человеческою жизнью, а сами-то
люди были разбросаны по всему свету: кто жил в Китае, кто в
Гренландии, кто где. Попадались тут и большие деревья, росшие в
маленьких горшках; им было страшно тесно, и горшки чуть-чуть не
лопались; зато было много и маленьких, жалких цветочков, росших в
черноземе и обложенных мхом; за ними, как видно, заботливо ухажи-
вали, лелеяли их. Несчастная мать наклонялась ко всякому, даже са-
мому маленькому цветочку, прислушиваясь к биению его сердечка, и
между миллионами узнала сердце своего ребенка!

— Вот он! — сказала она, протягивая руку к маленькому голубому
крокусу, который печально свесил головку.

— Не трогай цветка! — сказала старуха. — Но стань возле него и, когда Смерть придет, — я жду ее с минуты на минуту, — не давай ей высадить его, пригрози вырвать какие-нибудь другие цветы. Этого она испугается, ведь она отвечает за них перед Богом — ни один цветок не должен быть вырван без его воли.

Вдруг пахнуло ледящим холодом, и слепая мать догадалась, что явилась Смерть.

— Как ты нашла сюда дорогу? — спросила Смерть. — Как ты могла опередить меня?

— Я — мать! — отвечала та.

И Смерть протянула было свою длинную руку к маленькому нежному цветочку, но мать быстро защитила его руками, стараясь не помять при этом ни единого лепестка. Тогда Смертьдохнула на ее руки; дыхание Смерти было холоднее северного ветра, и руки матери бессильно опустились.

— Не тебе тягаться со мною! — промолвила Смерть.

— Но Бог сильнее тебя! — сказала мать.

— Я ведь только исполняю его волю! — отвечала Смерть. — Я — его садовник, беру его цветы и деревья и пересаживаю их в великий райский сад, в неведомую страну, но как они там растут, что делается в том саду — я не смею сказать тебе!

— Отдай мне моего ребенка! — взмолилась мать, заливаясь слезами, а потом вдруг захватила руками два великолепных цветка и закричала: — Я повырву все твои цветы — я в отчаянии!

— Не трогай их! — сказала Смерть. — Ты говоришь, что ты несчастна, а сама хочешь сделать несчастною другую мать!..

— Другую мать! — повторила бедная женщина и сейчас же выпустила из рук цветы.

— Вот тебе твои глаза! — сказала Смерть. — Я выловила их из озера; они так ярко блестели там, но я и не знала, что это твои. Возьми их — они стали яснее прежнего — и взгляни вот сюда, в этот глубокий колодезь! Я назову имена тех цветков, что ты хотела вырвать, и ты увидишь все их будущее, всю их земную жизнь. Посмотри же, что ты хотела уничтожить!

И мать взглянула в колодезь: отрадно было видеть, каким благодеянием была для мира жизнь одного, сколько счастья и радости разливал он вокруг себя! Взглянула она и на жизнь другого — одно горе, нужда, отчаяние и бедствия!

— Обе доли — Божья воля! — сказала Смерть.

— Который же из двух — цветок несчастья и который — счастья? — спросила мать.

— Этого я не скажу! — отвечала Смерть. — Но знай, что в судьбе одного из них ты видела судьбу своего собственного ребенка, все его будущее!

У матери вырвался крик ужаса.

— Какая же судьба ожидала моего ребенка? Скажи мне! Спаси невинного! Спаси мое дитя от всех этих бедствий. Возьми его лучше! Унеси в царство Божие! Забудь мои слезы, мои мольбы — все, что я говорила и делала!

— Я не пойму тебя! — сказала Смерть. — Хочешь ты, чтобы я отдала тебе твое дитя или унесла его в неведомую страну?

Мать заломила руки, упала на колени и взмолилась Творцу:

— Не внимли мне, когда я прошу о чем-либо, несогласном с твоею всеблагою волей! Не внимли мне! Не внимли мне!

И она поникла головою...

А Смерть понесла ее ребенка в неведомую страну.



ВОРОТНИЧОК



ил-был щеголь; у него только и было за душой что сапожная подножка, гребенка да еще чудеснейший щегольский воротничок. Вот о воротничке-то и пойдет речь.

Воротничок уже довольно пожил на свете и наконец стал подумывать о женитьбе. Случилось ему раз попасть в стирку вместе с чулочною подвязкой.

— Ах! — сказал воротничок. — Что за грация, что за нежность и мило-видность! Никогда не видал ничего подобного! Позвольте узнать ваше имя?

— Ах, нет, нет! — отвечала подвязка.

— А где вы, собственно, изволите пребывать?

Но подвязка была очень застенчива, вопрос показался ей нескромным, и она молчала.

— Вы, вероятно, повязка? — продолжал воротничок. — Вроде пояса, потайного пояса, так сказать? Да, да, я вижу, что вы служите и для красоты, и для пользы.

— Пожалуйста, не заводите со мной разговоров! — сказала подвязка. — Я, кажется, не подала вам никакого повода!

— Ваша красота — достаточный повод! — сказал воротничок.

— Ах, сделайте одолжение, держитесь подальше! — вскричала подвязка. — Вы на вид настоящий мужчина!

— Как же, я ведь щеголь! — сказал воротничок. — У меня есть сапожная подножка и гребенка!

И совсем неправда. Эти вещи принадлежали не ему, а его господину; воротничок же только хвастался.

— Подальше, подальше! — сказала подвязка. — Я не привыкла к такому обращению!

— Недотрога! — сказал воротничок.

Тут его взяли, накрахмалили, высушили на солнце и положили на гладильную доску.

Появился горячий утюг.

— Сударыня! — сказал воротничок утюжной плитке. — Преле-стная вдовушка! Я пылаю! Со мной происходит какое-то превраще-

ние! Я сгораю! Вы прожигаете меня насквозь! Ух!.. Вашу руку и сердце!

— Ах ты, рвань! — сказала уютная плитка и гордо проехала по воротничку. Она воображала себя локомотивом, который тащит за собой по рельсам вагоны.

Воротничок немножко пообтрепался по краям, и явились ножницы подравнять их.

— О! — воскликнул воротничок. — Вы, должно быть, первая танцовщица? Вы так чудесно вытягиваете ножки! Ничего подобного не видел! Кто из людей может сравниться с вами? Вы бесподобны!

— Знаем! — сказали ножницы.

— Вы достойны быть графией! — продолжал воротничок. — Я владею только барином-щеголем, сапожною подножкой и гребенкой... Ах, будь у меня графство...

— Он сватается? — вскричали ножницы и, осердясь, с размаху так резнули воротничок, что совершенно искалечили его.

Пришлось его бросить.

— Остается присвататься к гребенке! — сказал воротничок. — Удивительно, как сохранились ваши зубки, барышня!.. А вы никогда не думали о замужестве?

— Как же! — сказала гребенка. — Я уже невеста! Выхожу за сапожную подножку!

— Невеста! — воскликнул воротничок.

Теперь ему не за кого было свататься, и он стал презирать всякое сватовство.

Время шло, и воротничок попал наконец с прочим тряпьем на писчебумажную фабрику. Тут было настоящее тряпичное царство: тонкие тряпки держались, как и подобает, особо, грубые — тоже особо. У каждой нашлось о чем порассказать, у воротничка, конечно, больше всех: он был страшный хвостун.

— У меня было пропасть невест! — тараторил он. — Так и бегали за мной. Еще бы! Подкрахмаленный, я выглядел таким франтом! У меня даже были собственные сапожная подножка и гребенка, хотя я никогда и не пользовался ими. Посмотрели бы вы на меня, когда я лежал, бывало, на боку! Никогда не забыть мне моей первой невесты — повязки! Она была такая тонкая, нежная, мягкая! Она бросилась из-за меня в лохань! Была тоже одна вдовушка; она дошла просто до белого каления!.. Но я оставил ее чернеть с горя сколько угодно! Еще была первая танцовщица; это она ранила меня — видите? Бедовая была! Моя собственная гребенка тоже любила меня до того, что порастеряла все свои зубы! Вообще немало у меня было разных приключений!.. Но больше всего жаль мне подвязку, то бишь — повязку, которая бросилась из-за меня в лохань. Да, много у меня кое-чего на совести!.. Пора, пора мне стать белой бумагой!

Желание его сбылось: все тряпье стало белою бумагой, а воротничок — как раз вот этим самым листом, на котором напечатана его история, — так он был наказан за свое хвастовство. И нам тоже не мешает быть осторожнее: как знать? Может быть, и нам придется в конце концов попасть в тряпье да стать белою бумагой, на которой напечатают нашу собственную историю, и вот — пойдешь разносить по белу свету всю подноготную о самом себе!



Лен цвел чудесными голубенькими цветочками, мягкими и нежными, как крылья мотыльков, а пожалуй, и того нежнее! Солнышко светило на лен, тучки поливали его дождичком, и это ему было так же полезно и приятно, как ребенку купанье и поцелуй матери: детишки расцветают оттого еще пуще; так и лен.

— Все говорят, что я уродился на славу! — сказал лен. — Говорят, что я еще вытянусь в длину, и потом из меня выйдет отличный кусок холста! Ах, какой я счастливый! Право, я счастливее всех! Мне так хорошо, и я пригожусь на что-нибудь! Солнышко меня веселит и оживляет, дождичек питает и освежает! Ах, я так счастлив, так счастлив! Я счастливее всех!

— Да, да, да! — сказали колья изгороди. — Ты еще не знаешь света, а мы так вот знаем, — видишь, какие мы сучковатые!

И они жалобно заскрипели:

Оглянуться не успеешь,
Как уж песенке конец!

— Вовсе не конец! — сказал лен. — И завтра опять будет греть солнышко, опять пойдет освежающий дождик! Я чувствую, что расту и цвету! Я счастливее всех на свете!

Но вот раз явились люди, схватили лен за макушку и вырвали с корнем. Больно было! Потом его положили в воду, словно собирались утопить, а после того держали над огнем, будто хотели изжарить. Ужас что такое!

— Не вечно же жить в свое удовольствие! — сказал лен. — Приходится и испытать кое-что. Зато поумнеешь!

Но льну приходилось уж очень плохо. Чего-чего только с ним ни делали: и мяли, и тискали, и трепали, и чесали — да просто и названий всему не подберешь! Наконец он очутился на прялке. Жжж! Тут уж поневоле все мысли вразброд пошли!

«Я ведь так долго был несказанно счастлив! — думал он во время этих мучений. — Что ж, надо быть благодарным и за то хорошее, что выпало нам на долю! Да, надо, надо!.. Ох!»

И он повторял то же самое, даже попав на ткацкий станок. Но вот наконец из него вышел великолепный большой кусок холста. Весь лен до последнего стебелька пошел на этот кусок.

— Но ведь это же бесподобно! Вот уж не думал, не гадал-то! Как мне, однако, везет! А колья-то все твердили: «Оглянуться не успеешь, как уж песенке конец!» Много они смыслили, нечего сказать! Песенке вовсе не конец! Она только теперь и начинается. Вот счастье-то! Да если мне и пришлось пострадать немножко, то зато теперь из меня и вышло кое-что. Нет, я счастливее всех на свете! Какой я теперь крепкий, мягкий, белый и длинный! Это небось получше, чем просто расти или даже цвести в поле! Там никто за мною не ухаживал, воду я только и видал что в дождик, а теперь ко мне приставили прислугу, всякое утро меня переворачивают на другой бок, всякий вечер поливают из лейки! Сама пасторша держала надо мною речь и сказала, что во всем околотке не найдется лучшего куска! Ну, можно ли быть счастливее меня!

Холст взяли в дом, и он попал под ножницы. Ну и досталось же ему! Его и резали, и кроили, и кололи иглами — да, да! Нельзя сказать, чтобы это было приятно! Зато из холста вышло двенадцать пар... таких принадлежностей туалета, которых не принято называть в обществе, но в которых все нуждаются. Целых двенадцать пар вышло!

— Так вот когда только из меня вышло кое-что! Вот каково было мое назначение! Да ведь это же просто благодать! Теперь и я приношу пользу миру, а в этом вся и суть, в этом-то вся и радость жизни! Нас двенадцать пар, но все же мы одно целое, мы — дюжина! Вот так счастье!

Прошли годы, и белье износилось.

— Всему на свете бывает конец! — сказала оно. — Я бы и радо было послужить еще, но невозможное — невозможно!

И вот белье разорвали на тряпки. Они было уж думали, что им совсем пришел конец — так их принялись рубить, мять, варить, тискать... ан глядь — они превратились в тонкую белую бумагу!

— Нет, вот сюрприз, так сюрприз! — сказала бумага. — Теперь я тоньше прежнего, и на мне можно писать! Вот так счастье!

И на ней написали чудеснейшие рассказы. Слушая их, люди становились добрее и умнее — так хорошо и умно они были написаны.

— Ну, этого мне и во сне не снилось, когда я цвела в поле голубенькими цветочками! И могла ли я в то время думать, что мне выпадет на долю счастье распространять между людьми радость и знание! Я все еще не могу прийти в себя от счастья! Самой себе не верю! Но ведь это так! Господь Бог знает, что сама я тут ни при чем, я старалась только по мере слабых сил своих недаром занимать место! И вот он ведет меня от одной радости и почести к другой! Всякий раз, как я подумаю: «Ну, вот и песенке конец», тут-то как раз и начинается для

меня новая, еще высшая, лучшая жизнь! Теперь я думаю отправиться в путь-дорогу, обойти весь свет, чтобы все люди могли прочесть написанное на мне! Так ведь и должно быть! Прежде у меня были голубенькие цветочки, теперь каждый цветочек расцвел прекраснейшею мыслью! Счастливей меня нет никого на свете!

Но бумага не отправилась в путешествие, а попала в типографию, и все, что на ней было написано, перепечатали в книгу, да не в одну, а в сотни, тысячи книг. Они могли принести пользу и доставить удовольствие бесконечно большому числу людей, нежели одна та бумага, на которой были написаны рассказы: бегая по белу свету, она бы истрепалась на полпути.

— Да, конечно, так дело-то будет вернее! — подумала исписанная бумага. — Этого мне и в голову не приходило! Я останусь дома отдыхать, и меня будут почитать, как старую бабушку. На мне ведь все написано, слова стекали с пера прямо на меня! Я останусь, а книги будут бегать по белу свету! Вот это дело! Нет, как я счастлива, как я счастлива!

Тут все отдельные листы бумаги собрали, связали вместе и положили на полку.

— Ну, можно теперь и почить на лаврах! — сказала бумага. — Не мешает тоже собраться с мыслями и сосредоточиться! Теперь только я поняла как следует, что во мне есть! А познать себя самое — большой шаг вперед. Но что же будет со мной потом? Одно я знаю — что непременно двинусь вперед! Все на свете постоянно идет вперед!

В один прекрасный день бумагу взяли да и сунули под плиту: решили сжечь, так как ее нельзя было продать в мелочную лавочку на обертку масла и сахара.

Дети обступили плиту: им хотелось посмотреть, как бумага вспыхнет и как потом по золе начнут перебегать и потухать одна за другою шаловливые, блестящие искорки! Точь-в-точь ребятишки бегут домой из школы! После всех выходит учитель — это последняя искра. Но иногда думают, что он уже вышел, — ан нет! Он выходит еще долго-долго спустя после самого последнего школьника!

И вот огонь охватил бумагу. Как она вспыхнула!

— Уф! — сказала она и в ту же минуту превратилась в столб пламени, которое взвилось в воздух так высоко, как никогда не мог поднять своих голубеньких цветочных головок лен, и сияло таким ослепительным блеском, каким никогда не сиял белый холст. Написанные на бумаге буквы в одно мгновение раскалились докрасна, и все слова и мысли обратились в пламя!

— Теперь я взовьюсь прямо к солнцу! — сказала пламя, словно тысячами голосов зараз, и взвилось в трубу.

А в воздухе запорхали крошечные незримые существа, легче, воздушнее пламени, из которого родились. Их было столько же, сколько

когда-то было цветочков на льне. Когда пламя погасло, они еще раз проплясали по черной золе, оставляя на ней блестящие следы в виде золотых искорок. Ребятишки выбегали из школы, за ними вышел и учитель; любо было поглядеть на них! И дети запели над мертвою золой:

Оглянуться не успеешь,
Как уж песенке конец!

Но незримые крошечные существа говорили:

— Песенка никогда не кончается, вот что самое чудесное! Мы знаем это, и потому мы счастливее всех!

Но дети не расслышали ни одного слова, а если б и расслышали, не поняли бы. Да и не надо! Не все же знать детям!



ПТИЦА ФЕНИКС

В райском саду, под древом познания, цвел розовый куст; в первой же распутившейся на нем розе родилась птица; перья ее отливали чудными красками, полет ее был сиянием, пение — дивной гармонией.

Но когда Ева вкусила от древа познания и когда ее вместе с Адамом изгнали из рая, от пламенного меча херувима упала в гнездо одна искра. Гнездо вспыхнуло, и птица сгорела, но из раскаленного яйца вылетела новая, единственная, всегда единственная в мире, — птица Феникс. Мифы говорят, что она свивает себе гнездо в Аравии и каждые сто лет сама сжигает себя в гнезде, но из раскаленного яйца вылетает новый Феникс, опять единственный в мире.

Быстрая, как луч света, блистая чудною окраской перьев, чаруя своим дивным пением, летает вокруг нас дивная птица.

Мать сидит у колыбели ребенка, а птица витает над его изголовьем, и от веяния ее крыльев вокруг головки ребенка образуется сияние. Залетает птица и в скромную хижину труженика, и луч солнца озаряет хижину, фиалки, стоящие на жалком деревянном сундуке, начинают благоухать еще сильнее.

Птица Феникс не вечно остается в Аравии. Она парит вместе с северным сиянием и над ледяными равнинами Лапландии, порхает между желтыми цветами, питомцами короткого лета, и в Гренландии. В глубине Фалунских рудников и в угольных шахтах Англии вьется она напудренной молью над молитвенником в руках благочестивого рабочего; в цветке лотоса плавает по священным водам Ганга, и глаза молодой индусской девушки загораются при виде ее огнем восторга.

Птица Феникс! Разве ты не знаешь ее, этой райской птицы, священного лебедя песнопений? На колеснице Фесписа¹ сидела она болтливым вороном, хлопая черными крыльями; по струнам арфы исландского скальда²

¹ Феспис (жил в Аттике около 550 г. до Р. Х.), согласно преданиям, был «отцом классической трагедии» и разъезжал по стране во главе странствующей труппы актеров; сценой им служила их же повозка. — *Примеч. перев.*

² Древнесеверный певец. — *Примеч. перев.*

звонко ударяла красным клювом лебедя; на плечо Шекспира опускалась вороном Одина и шептала ему на ухо: «Тебя ждет бессмертие»; в праздник певцов порхала в рыцарской зале Вартбурга.

Птица Феникс! Разве ты не знаешь ее? Это она пропела тебе Марсельезу, и ты целовал перо, выпавшее из ее крыла; она являлась тебе в небесном сиянии, а ты, может быть, отворачивался от нее к воробьям с крыльями, раззолоченными сусальным золотом!..

Райская птица, каждое столетие погибающая в пламени и вновь возрождающаяся из пепла, твои золотые изображения висят в роскошных чертогах богачей, сама же ты часто блуждаешь бесприютная, одинокая!.. Птица Феникс, обитающая в Аравии, — только миф!

В райском саду родилась ты под древом познания, в первой распустившейся розе, и Творец отметил тебя своим поцелуем и дал тебе настоящее имя — поэзия.



Все яблони в саду покрылись бутонами — цветочкам хотелось опередить зеленые листья. По двору разгуливали утята; на солнышке потягивалась и нежилась кошка, облизывая свою собственную лапку. Хлеба в полях стояли превосходные; птички пели и щебетали без умолку, словно в день великого праздника. В сущности, оно так и было — день-то был воскресный. Слышался благовест, и люди, разодетые по-праздничному, с веселыми, довольными лицами, шли в церковь. Да, право, и вся природа вокруг как будто сияла! Денек выдался такой теплый, благодатный, что так и хотелось воскликнуть: «Велика милость Божья к нам, людям!»

Но с церковной кафедры раздавались не такие речи: пастор громко и сурово доказывал слушателям, что все люди — безбожники, что Бог накажет их, ввергнет по смерти в геенну огненную, где огонь неугасающий и червь неумирающий. Вечно будут они мучиться там, без конца, без отдыха! Просто ужас брал, слушая его! Он говорил так уверенно, так подробно описывал преисподнюю, эту смрадную яму, куда стекаются нечистоты со всего мира и где грешники задыхаются в серном удушливом воздухе, погружаясь, среди вечного безмолвия, в бездонную трясиину все глубже и глубже!.. Да, страшно было даже слушать, тем более что пастор говорил с таким искренним убеждением; все бывшие в церкви просто трепетали от ужаса.

А за церковными дверями так весело распевали птички, так славно сияло солнышко, и каждый цветочек как будто говорил: «Велика милость Божья к нам всем!» Все это было так непохоже на то, о чем говорил пастор.

Вечером, перед тем как ложиться спать, пастор заметил, что жена его сидит в каком-то грустном раздумье.

— Что с тобой? — спросил он ее.

— Что со мной? — проговорила она. — Да вот я все не могу хорошенько разобраться в своих мыслях. Не могу взять в толк того, что ты говорил сегодня утром... Неужели и в самом деле на свете так много безбожников и все они будут гореть в огне вечно?.. Подумать только, так долго — вечно! Нет, я только слабая, грешная душа, как и все, но

если и у меня не хватило бы духа осудить на вечные муки даже самого злейшего грешника, то как же может решиться на это Господь Бог?! Он ведь бесконечно милосерден и знает, что грех бывает и вольный, и невольный! Нет, что ты там ни говори, а я не пойму этого никогда!

Настала осень; вся листва с деревьев пооблетела; серьезный, суровый пастор сидел у постели умирающей. Благодетельная, верующая душа отходила в другой мир. Это была жена пастора. И вот очи ее смежил вечный сон.

— Если кого ждет за гробом вечный покой и милость Божия, так это тебя! — промолвил пастор, сложил умершей руки и прочел над ней молитву.

Ее схоронили; две крупные слезы скатились по щекам сурового пастора. В пасторском доме стало тихо, пусто — закатилось его ясное солнышко, умерла его хозяйка.

Ночью над головою пастора пронеслась вдруг холодная струя ветра. Он открыл глаза. Комната была словно залита лунным светом, хотя ночь была нелунная. Свет этот разливала стоявшая у постели прозрачная фигура. Пастор увидал перед собою тень своей покойной жены. Она устремилась на него скорбный взгляд и как будто хотела сказать что-то.

Пастор слегка приподнялся, простер руки к призраку и сказал:

— Неужели и ты не обрела вечного покоя? И ты страдаешь? Ты, добродетельнейшая, благочестивейшая душа?

Тень утвердительно кивнула головой и прижала руку к сердцу.

— И от меня зависит доставить тебе этот покой?

— Да! — донеслось до него.

— Каким образом?

— Дай мне волос, один-единственный волос с головы того грешника, который будет осужден на вечные муки, ввергнут Богом в геенну огненную.

— Так мне легко будет освободить тебя, чистая, благочестивая душа! — сказал он.

— Следуй же за мною! — сказала тень. — Нам разрешено лететь с тобой всюду, куда бы ни повлекли тебя твои мысли! Незримые ни для кого, заглянем мы в самые тайники человеческих душ, и ты твердо рукой должен указать мне осужденного на вечные муки. Он должен быть найден прежде, чем пропоет петух.

И вот они мгновенно, словно перенесенные одним движением мысли, очутились в большом городе. На стенах домов начертаны были огненными буквами названия смертных грехов: высокомерие, скупость, пьянство, сластолюбие... Словом, тут сияла вся семицветная радуга грехов.

— Так я и думал, так и знал! Вот где обитают обреченные вечно гореть в огне преисподней! — сказал пастор.

Они остановились перед великолепно освещенным подъездом. Широкие лестницы, устланные коврами, уставленные цветами, вели в покои,

где гремела бальная музыка. У подъезда стоял швейцар, разодетый в шелк и бархат, с большою серебряною булавой в руках.

— Наш бал поспорит с королевским! — сказал он, оборачиваясь к уличной толпе, а вся его фигура так и говорила: «Весь этот жалкий сброд, что глазеет в двери, мразь в сравнении со мною!»

— Высокомерие! — сказала тень усопшей. — Заметил ты его?

— Его! — повторил пастор. — Да ведь он просто глупец, шут! Кто же осудит его на вечную муку?

— Шут! — пронеслось эхом по всему жилищу высокомерия; все обитатели его были таковы!

Пастор и призрак понеслись дальше и очутились в жалкой каморке с голыми стенами. Тут обитала скупость. Исхудалый, дрожащий от холода, голодный и изнывающий от жажды старик цеплялся всею душой, всеми помыслами за свое золото. Они видели, как он, словно в лихорадке, вскакивал с жалкого ложа и вынимал из стены кирпич — за ним лежало в старом чулке его золото, потом оцупывал дрожащими влажными пальцами свой изношенный кафтан, в котором тоже были зашиты золотые монеты.

— Он болен! Это — жалкий безумец, не знающий ни покоя, ни сна! — сказал пастор.

Они поспешно унеслись прочь и очутились в тюрьме у нар, на которых спали вповалку преступники. Вдруг один из них испустил ужасный крик, вскочил со сна, как дикий зверь, и принялся толкать своими костлявыми локтями спящего рядом соседа. Тот повернулся и проговорил спросонья:

— Замолчи, скот, и спи! И это каждую ночь!..

— Каждую ночь! — повторил первый. — Он каждую ночь и приходит ко мне, воеет и душит меня... Сгоряча я много делал злого, таким уж я уродился! Оттого я опять и угодил сюда! Но коли я грешил, так теперь и несу наказание! В одном только я не повинился еще. Когда меня в последний раз выпустили отсюда на волю и я проходил мимо двора моего хозяина, сердце во мне вдруг так вот и закипело... Я чиркнул о стенку спичкою, огонек слегка лизнул соломенную крышу, и все вспыхнуло разом. Пошла тут кутерьма не хуже, чем была у меня в душе!.. Я помогал спасать скот и имущество. Не сгорело ни одной живой души, кроме стаи голубей, которые влетели прямо в огонь, да цепного пса. О нем-то я и не вспомнил. Слышно было, как он выл в пламени... Вой этот и до сих пор отдается у меня в ушах, как только я начну засыпать, а засну — пес сам тут как тут, большущий, лохматый!.. Он наваливается на меня, воеет, давит меня, душит... Да ты слушай, что я тебе рассказываю! Успеешь выспаться! Небось храпишь всю ночь, а я не могу забыться и на четверть часа!

И глаза безумца налились кровью, он бросился на соседа и стал бить его по лицу кулаками.

— Злой Мас опять взбесился! — слышались голоса, и другие преступники бросились на него, повалили, перегнули так, что голова его очутилась между ногами, и крепко-накрепко связали его. Кровь готова была брызнуть у него из глаз и изо всех пор кожи.

— Вы убьете несчастного! — вскричал пастор и протянул руку на защиту грешника, который так жестоко страдал еще при жизни, но обстановка вдруг опять изменилась.

И вот они пролетали через богатые дворцы, через бедные хижины; сладострастие, зависть — все смертные грехи проходили перед ними. Ангел возмездия громко перечислял грехи людей и затем все, что могло послужить в их оправдание. Немногое можно было сказать в защиту людей, но Бог читает в сердцах, видит все смягчающие обстоятельства, знает, что грех бывает вольный и невольный, да и велика милость его, Всемилосердного, Всеблагого! И рука пастора дрожала, он не смел протянуть ее, чтобы сорвать волос с головы грешника. Слезы ручьем полились из его глаз, слезы милости и любви, которые могут залить даже огонь преисподней.

Запел петух.

— Милосердный Боже! Даруй же ты ей тот покой, которого не в силах был доставить я!

— Я уже обрела его! — сказала тень. — Меня привели к тебе твои жестокие слова, мрачное недоверие к Богу и к его творению! Познай же душу людей! Узнай, что даже в самых злых грешниках жива Божья искра! Она теплится в их душе, и ее благодатное пламя сильнее огня преисподней!..

Тут пастор почувствовал на своих губах крепкий поцелуй; было совсем светло; ясное солнышко светило в окошки; жена его, живая, ласковая и любящая, разбудила его от сна, ниспосланного ему самим Богом.



НЕМАЯ КНИГА

У проселочной дороги, в лесу, стоит одинокий крестьянский дом. Проходим прямо во двор; солнышко так и сияет, все окошки отворены, жизнь кипит кругом, но в беседке из цветущей сирени стоит открытый гроб. В нем лежит покойник; его будут хоронить сегодня утром, а пока поставили в беседку. Никто не стоит возле гроба, никто не скорбит об умершем, никто не плачет над ним. На лицо его наброшен белый покров, а голова покоится на большой толстой книге; листы ее из простой серой бумаги; между ними скрыты и забыты засушенные цветы. Книга эта — целый гербарий, собранный по разным местам, и должна быть зарыта вместе с умершим: так он велел; с каждым цветком связана была целая глава из его жизни.

— Кто он? — спросили мы.

И нам ответили:

— Старый студент из Упсалы! Когда-то он был способным малым, изучал древние языки, пел и даже писал стихи, как рассказывают. Но потом с ним что-то приключилось, и он стал топить свои мысли и душу в водке; в ней же потонуло и его здоровье, и вот он поселился здесь, в деревне; кто-то платил за его помещение и стол. Он был кроток и набожен, как дитя, но иногда на него находили минуты мрачного отчаяния; тогда с ним трудно было справиться, и он убегал в лес, как гонимый зверь. Стоило, однако, залучить его домой да подsunуть ему книгу с высушенными растениями, и он сидит, бывало, по целым дням, рассматривая то тот, то другой цветок. Иной раз по его щекам бежали при этом крупные слезы. Бог знает о чем он думал в такие минуты! И вот он просил положить эту книгу ему в гроб; теперь она лежит у него под головой. Сейчас гроб забьют, и бедняга успокоится в могиле навеки!

Мы приподняли покров. Миром и спокойствием веяло от лица покойного; солнечный луч озарял его чело; стрелой влетела в беседку ласточка, быстро повернулась на лету над головой покойника, прощебетала что-то и скрылась.

Какое-то странное чувство, знакомое, вероятно, всем, овладевает душой, когда начнешь перечитывать старые письма, относящиеся к дням нашей юности. Перед взором словно всплывает целая жизнь со всеми ее надеждами и печалью. Сколько из тех людей, с которыми мы когда-то жили душа в душу, умерло с тех пор для нас! Правда, они живы и до сих пор, но мы столько лет уже не вспоминали о них! А ведь когда-то мы думали, что вечно будем делить с ними и горе, и радость.

Вот засушенный дубовый листок. Невольно приходит на ум друг, товарищ школьных лет, друг на всю жизнь! Он сам воткнул этот листок в фуражку студента, сорвав его в зеленом лесу, где был заключен товарищеский союз на всю жизнь! Где же этот друг теперь?.. Листок был спрятан, друг забыт! А вот веточка какого-то чужеземного тепличного растения, слишком нежного, чтобы расти в садах севера. Сухие листики как будто еще сохранили свой аромат! Она дала ему эту веточку... она — цветок, взлелеянный в дворянской теплице! Вот белая кувшинка; он сам сорвал и оросил горькими слезами этот цветок — дитя тихих стоячих вод. Вот крапива! О чем говорят ее листья? О чем думал он сам, срывая и пряча ее? Вот лесной ландыш; вот веточка козьей жимолости из цветочного горшка, стоявшего на окне постоянного двора, а вот голые, острые травяные стебли!

Душистые, усыпанные цветами ветви сирени склоняются к челу усопшего; снова пролетает ласточка: «Кви-вит, кви-вит!..» Приходят люди с молотком и гвоздями; покойник скрывается под крышкой навеки; голова его покоится на *ней* книге. Скрыто — забыто!



«ЕСТЬ ЖЕ РАЗНИЦА!»

Стоял май месяц; в воздухе было еще довольно холодно, но все в природе — и кусты, и деревья, и поля, и луга — говорило уже о наступлении весны. Луга пестрели цветами; распускались цветы и на живой изгороди, а возле как раз красовалось наглядное изображение самой весны — маленькая яблонька вся в цвету. Особенно хороша была на ней одна веточка, молоденькая, свеженькая, вся осыпанная нежными полураспустившимися розовыми бутонами. Она сама знала, как она хороша — сознание красоты было у нее в соку. Ветка поэтому ничуть не удивилась, когда проезжавшая по дороге коляска остановилась прямо перед яблонькой и молодая графиня сказала, что прелестнее этой веточки трудно и сыскать, что она — живое воплощение юной красавицы весны. Веточку отломали, графиня взяла ее своими нежными пальчиками и бережно повезла домой, защищая от солнца шелковым зонтиком. Приехали в замок, веточку понесли по высоким, роскошно убранным покоем. На открытых окнах развевались белые занавеси, в блестящих, прозрачных вазах стояли букеты чудесных цветов. В одну из ваз, словно вылепленную из свежевыпавшего снега, поставили и ветку яблони, окружив ее свежими светло-зелеными буковыми ветвями. Прелесть как красиво было! Ветка возгордилась, и что же? Это было ведь в порядке вещей!

Через комнату проходило много разного народа; каждый посетитель смел высказать свое мнение лишь в такой мере, в какой за ним самим признавали известное значение. И вот некоторые не говорили совсем ничего, некоторые же чересчур много; ветка смекнула, что и между людьми, как между растениями, есть разница.

«Одни служат для красоты, другие только для пользы, а без третьих и вовсе можно обойтись», — думала ветка.

Ее поставили как раз против открытого окна, откуда ей были видны весь сад и поле, так что она вдоволь могла наглядеться на разные цветы и растения и размышлять о разнице между ними: там было много всяких — и роскошных, и простых, даже слишком простых.

— Бедные отверженные растения! — сказала ветка. — Большая, в самом деле, разница между нами! Какими несчастными должны они себя

чувствовать, если только они вообще способны чувствовать, как я и мне подобные! Да, большая между нами разница! Но так и должно быть, иначе все были бы равны!

И ветка смотрела на полевые растения с каким-то состраданием; особенно жалким казался ей один сорт цветов, которыми кишмя кишели все поля и даже канавы. Никто не собирал их в букеты — они были слишком просты, обыкновенны; их можно было найти даже между камнями мостовой, они пробивались отовсюду, как самая последняя сорная трава. И имя-то у них было прегадкое: чертовы подойники¹.

— Бедное, презренное растение! — сказала ветка. — Ты не виновато, что принадлежишь к такому сорту и что у тебя такое гадкое имя! Но и между растениями, как между людьми, должна быть разница!

— Разница! — сказал солнечный луч и поцеловал цветущую ветку, но поцеловал и желтые чертовы подойники, росшие в поле; другие братья его — солнечные лучи — тоже целовали бедные цветочки наравне с самыми пышными.

Ветка яблони никогда не задумывалась о бесконечной любви Господа ко всему живому на земле, никогда не думала о том, сколько красоты и добра может быть скрыто в каждом Божьем создании, скрыто, но не забыто. Ничего такого ей и в голову не приходило, и что же? Собственно говоря, это было в порядке вещей!

Солнечный луч, луч света, понимал дело лучше.

— Как же ты близорука, слепа! — сказал он веточке. — Какое это отверженное растение ты так жалеешь?

— Чертовы подойники! — сказала ветка. — Никогда из них не делают букетов, их топчут ногами — слишком уж их много! Семена же их летают над дорогой, как стриженная шерсть, и пристают к платью прохожих. Сорная трава, и больше ничего! Но кому-нибудь надо быть и сорною травой! Ах, я так благодарна судьбе, что я не из их числа!

На поле появилась целая толпа детей. Самого младшего крошку принесли на руках и посадили на травку посреди желтых цветов. Малышка весело смеялся, шалил, колотил по траве ножками, валялся, рвал желтые цветы и даже целовал их в простоте невинной детской души. Дети постарше обрывали цветы прочь, а пустые внутри стебельки сгибали и вкладывали один конец в другой, потом делали из таких отдельных колец длинные цепочки и цепи и украшали ими шею, плечи, талию, грудь и голову. То-то было великолеpie! Самые же старшие из детей осторожно срывали уже отцветшие растения, увенчанные перистыми коронками, подносили эти воздушные шерстяные цветочки — своего рода чудо приро-

¹ Датское название одуванчиков. Прозваны они так за молочную жидкость, которой наполнены их стебли. — *Примеч. перев.*

ды — ко рту и старались сдуть разом весь пушок. «Кому это удастся, тот получит новое платье еще до Нового года» — так сказала бабушка.

Презренный цветок оказывался в данном случае настоящим пророком.

— Видишь? — спросил солнечный луч. — Видишь его красоту, его великое значение?

— Да, для детей! — отвечала ветка.

Припелась на поле и старушка бабушка и стала выкапывать кривым обломком ножа корни желтых цветов. Некоторые из корней она собиралась употребить на кофе, другие — продать в аптеку на лекарство.

— Красота все же куда выше! — сказала ветка. — Только избранные войдут в царство прекрасного! Есть же разница и между растениями, как между людьми!

Солнечный луч заговорил о бесконечной любви Божьей ко всякому земному созданию: все, что только одарено жизнью, имеет свою часть во всем — и во времени, и в вечности!

— Да, по-вашему! — сказала ветка.

В комнату вошли люди; между ними была и молодая графиня, поставившая ветку в прозрачную, красивую вазу, через которую просвечивало солнышко. Графиня несла в руках цветок, обернутый крупными зелеными листьями; цветок лежал в них, как в футляре, защищенный от малейшего дуновения ветра. И несла его графиня в высшей степени бережно, как не несла даже нежную ветку яблони. Осторожно отогнула она зеленые листья, и из-за них выглянула воздушная, перистая семенная корона презренного желтого цветка. Его-то графиня так осторожно сорвала и так бережно несла, чтобы ветер не сдул ни единого из тончайших перышек его пушистого шарика. Она донесла его целым и невредимым и не могла налюбоваться красотой, прозрачностью, всем своеобразным построением этого чудо-цветка, вся прелесть которого — до первого дуновения ветра.

— Посмотрите же, что за чудо создал Господь Бог! — сказала графиня. — Я срисую его вместе с веткой яблони. Все любят ее, но милостью Творца и этот беденький цветочек наделен не меньшею красотой. Как ни различны они оба, все же оба — дети одного царства прекрасного!

И солнечный луч поцеловал бедный цветочек, а потом поцеловал цветущую ветку, и лепестки ее как будто слегка покраснели.



СТАРАЯ МОГИЛЬНАЯ ПЛИТА

Все домашние одного почтенного горожанина, имевшего в маленьком провинциальном городке собственный дом, собрались вечером в кружок и вели приятную беседу. Дело было как раз в ту пору года, когда, по поговорке, *вечера выпячиваются*, но погода стояла еще мягкая и теплая. В комнате горела лампа, длинные оконные занавеси спускались до самого пола, закрывая собою стоявшие на окнах цветы. На дворе ярко сиял месяц, но разговор шел не о нем, а о большом старом камне, что лежал во дворе у самого кухонного порога; на него опрокидывала прислуга вычищенную медную посуду, чтобы она пообсохла на солнышке, на нем любили играть и ребяташки, по-настоящему же камень был старою могильною плитой.

— Я думаю, — сказал хозяин дома, — что она со старого монастырского кладбища. Когда монастырь упразднили, все пошло в продажу — и кафедры, и доски с эпитафиями, и могильные плиты. Покойный отец мой купил много таких плит; их разбивали в мелкие куски и мостили ими улицу, а эта вот уцелела, да так и осталась лежать на дворе.

— Ведь сразу видно, что это могильная плита! — сказал старший из детей. — На ней еще можно разглядеть песочные часы и часть фигуры ангела; зато надпись почти совсем стерлась, и можно разобрать только имя Пребен, затем большую букву С, а пониже имя Марта, да и то лишь после дождя или после того, как плиту хорошенько вымоют.

— Ах, Господи! Так это плита с могилы Пребена Сване и его жены! — сказал один старичок, который по годам мог быть дедушкой всех присутствовавших в комнате. — Да, они чуть ли не последними были погребены на старом монастырском кладбище. Славные, почтенные были старички! Я помню их еще с детских лет. Все в городе знали и любили их; они были у нас тут старейшею супружескою четой — королем с королевой. Говорили, будто у них сундуки ломятся от золота, а они одевались всегда так просто, в платье из самой грубой материи, и только белье на них всегда отличалось ослепительною белизной. Славную парочкой были старички Пребен и Марта! Любо было посмотреть

на них, когда они, бывало, сидят под тенью старой липы на скамеечке; стоявшей на площадке высокой каменной лестницы их дома, и так ласково, приветливо кивают всем прохожим! Они делали много добра, и делали его с толком и по-христиански: кормили и одевали десятки честных бедняков.

Первою умерла жена. Я так живо помню этот день! Я был тогда еще мальчуганом, и мы с отцом зашли к старому Пребену как раз в самый день ее смерти. Старик был в такой горе, плакал, как ребенок. Тело умершей лежало в спальне, рядом с той комнатой, где мы сидели. Кроме нас с отцом пришли еще двое-трое соседей, и старик стал говорить нам о том, как пусто, одиноко будет теперь в доме, — она ведь была душою его, — как счастливо жили они с нею столько лет, а потом перешел к воспоминаниям о том времени, когда они только что познакомились и полюбили друг друга... Я, как сказано, был тогда еще очень мал, но все же слушал с большим вниманием, смешанным с каким-то удивлением. И немудрено: старик с таким жаром рассказывал о блаженных днях помолвки, о красоте своей невесты, о том, к каким невинным хитростям он прибегал, чтобы встретить ее, и лицо его оживлялось все больше и больше, щеки зарумянились! Затем он стал рассказывать о свадьбе, и глаза его заблестали еще ярче. Он словно опять переживал счастливейшие годы своей жизни... А подруга-то его уже лежала в это время в соседней комнате мертвая, и сам он был дряхлым-дряхлым стариком!..

Да, так-то оно бывает на свете! Вот и я в те времена был мальчуганом, а теперь — такой же старик, каким помню Пребена Сване! Время идет, и все на свете понемножку изменяется!.. Я так живо помню день похорон старушки! Пребен шел за гробом. Еще года за два до того старички заказали себе могильную плиту; на ней были уже вырезаны и надпись, и имена, недоставало только года смерти. Вечером, в тот же день, плиту свезли на кладбище и положили на могилу старушки. Через год плиту приподняли — старик Пребен лег рядом с женою.

После них не осталось никаких богатств, о которых болтали люди. То же, что осталось, отошло к какой-то дальней родне, про которую тут ничего и не знали. Домик старичков, со скамеечкой на площадке лестницы, под тенью липы, был снесен по распоряжению магистрата — больно уж он был ветхим. Позже, когда пришел в ветхость и старый монастырь, кладбище упразднили, и могильная плита Пребена и Марты пошла в продажу вместе со всем остальным. Ну и случилось вот ей уцелеть! Теперь на ней играют дети, а прислуга сушит кухонную посуду! Новая же улица идет как раз над местом вечного успокоения старого Пребена и его супруги. И никто больше и не вспомнит их!..

Тут старик рассказчик грустно покачал головой.

— Забыты! Все на свете предается забвению! — добавил он.



Разговор перешел на другое, но самый младший мальчик, с большими серьезными глазами, вскарабкался на стул, откинул занавеси и стал смотреть на двор, где лежала вся облитая ясным лунным светом большая каменная плита. Прежде она казалась ему простым гладким камнем, теперь же стала для него как бы страницей, вырванною из старой хроники. Старый камень хранил в себе все, что слышал сейчас мальчик о Пребене и Марте. И мальчуган смотрел на него, смотрел на ясный, светлый месяц, на чистый прозрачный воздух, и ему казалось, что с месяца смотрит на землю лик самого Творца.

— Забыты! Все на свете предается забвению! — раздалось в комнате, и в ту же минуту незримый ангел поцеловал ребенка в грудь и в лоб и тихо прошептал: «Сохрани в душе зароненные туда семена. Храни их, пока они не созреют. Знай, дитя, что благодаря тебе стертая надпись старой могильной плиты вновь засияет перед грядущими поколениями золотыми буквами! Старые супруги опять побредут рука об руку по улице, опять будут сидеть на скамеечке под тенью липы, такие же бодрые, свежие, с румянцем на щеках, и ласково кивать головою и бедному, и богатому. Пройдут годы, и зароненные в твою душу семена взойдут поэтическим творением. *Доброе и прекрасное* не предается забвению, но вечно живет в преданиях и песнях!»



ПРЕКРАСНЕЙШАЯ РОЗА МИРА

В саду могущественной королевы были собраны цветы всех времен года, всех частей света; особенно же много было роз, любимых цветов королевы, роз всех родов и видов — от дикого шиповника с зелеными, душистыми листьями до прекраснейших роз Прованса. Они вились по стенам дворца, обвивали колонны и окна, пробивались в коридоры и тянулись к самым потолкам дворцовых покоев. Что за дивное разнообразие запахов, форм и красок было в саду королевы!

Но в самом дворце царили печаль и горе. Королева лежала на смертном одре; врачи объявили, что час ее кончины близок.

— Единственное средство спасти королеву, — сказал мудрейший из врачей, — принести ей прекраснейшую розу мира, эмблему высшей, чистейшей любви. Королева не умрет, если узрит эту розу прежде, нежели сомкнет глаза навеки.

И вот стар и млад потянулись к одру королевы с самыми прекраснейшими розами, какие только цвели в стране, но между ними не было той розы! Та роза цвела в саду любви! Но какая же именно была эмблемой высшей, чистейшей любви?

И скальды пели о прекраснейшей розе мира, но каждый воспевал свою. Тогда кликнули клич по всей стране, воззвали ко всем сердцам, будущимся любовью, обратились ко всем сословиям, всем возрастам!

— Никто еще не назвал настоящей розы! — сказал мудрец. — Никто не указал, где она цветет во всей своей красе. Не из гроба Ромео и Джульетты, не из могилы Вальборги¹ выросла она, — хотя розы с их могил вечно будут благоухать в преданиях и песнях, — не из окровавленных копий Винкельрида, не из священной крови, брызнувшей из груди героя, умершего за отечество, — хотя и нет смерти слаще этой, нет розы краснее пролитой за отечество крови! И не ей посвящает свою

¹ Героиня трагедии Эленшлегера «Аксель и Вальборга», сюжет которой заимствован из старинной народной песни о несчастной любви Акселя и Вальборги. — *Примеч. перев.*

молодую жизнь человек, проводящий, годы за годами, целые дни и долгие бессонные ночи, ухаживая за магической розой науки!

— Я знаю, где цветет та роза! — сказала счастливая мать, явившаяся к одру королевы с крошечным ребенком на руках. — Я знаю, где надо искать прекраснейшую розу мира — эмблему высшей, чистейшей любви. Она цветет на румяных щеках моего милого крошки, когда он, подкрепившись сном, открывает веселые глазки и любовно улыбается мне!

— Прекрасна эта роза, но есть еще прекраснее! — сказал мудрец.

— Да, куда прекраснее! — сказала одна из женщин. — Я видела ее. Священнее этой розы нет на свете, но она была бледна, как лепестки чайной розы. Я видела ее на щеках королевы; она сняла свою королевскую корону и ходила всю долгую, томительную ночь, баюкая свое больное дитя, плача над ним, целуя его и молясь за него, как только может молиться мать в часы смертельного страха за дорогого ребенка!

— Священна белая роза скорби, велико могущество ее, но все же это не та роза!

— Я видел ее, прекраснейшую розу мира, видел перед алтарем Господним! — сказал благочестивый старик епископ. — Она сияла, как светлый лик ангела. Молодые девушки шли к причастию, возобновить обет, данный при крещении, и на их свежих щеках цвели алые и белые розы. И вот перед алтарем стояла одна молодая девушка; всю душою, полною небесной чистоты и любви, возносилась она к Богу. Вот она — чистейшая, высшая любовь!

— Благословенна такая любовь, но все же никто не называл еще прекраснейшей розы мира! — сказал мудрец.

Вдруг в комнату вошел маленький сынок королевы; в глазах его стояли слезы, щеки были влажны; он нес в руках большую раскрытую книгу в бархатном переплете с серебряными застежками.

— Мама! — сказал ребенок. — Послушай, что я сейчас прочел!

И дитя присело у постели больной и прочло из книги о том, кто добровольно умер на кресте ради спасения всех людей, даже ради не родившихся еще поколений!

— Нет выше этой любви!

И щеки королевы окрасились румянцем, глаза широко раскрылись: она увидела, что из листов книги выросла вдруг прекраснейшая роза мира, живое подобие той, что выросла из крови Христа, пролитой на кресте!

— Я вижу ее! — сказала она. — И вовеки не умрет тот, кто узрел перед собою эту розу, прекраснейшую розу мира!



ИСТОРИЯ ГОДА

Дело было в конце января; бушевала страшная метель; снежные вихри носились по улицам и переулкам; снег залеплял окна домов, валился с крыш целыми комьями, а ветер так и подгонял прохожих. Они бежали, летели стремглав, пока не попадали друг другу в объятия и не останавливались на минуту, крепко держась один за другого. Экипажи и лошади были точно напудрены; лакеи стояли на запятках спиной к экипажам и к ветру, а пешеходы старались держаться за ветром под прикрытием карет, двигавшихся по глубокому снегу шагом. Когда же наконец метель утихла и вдоль тротуаров прочистили узенькие дорожки, прохожие беспрестанно сталкивались и останавливались друг перед другом в выжидательных позах: никому не хотелось первому шагнуть в снежный сугроб, уступая дорогу другому. Но вот, словно по безмолвному внутреннему соглашению, каждый жертвовал одною ногой, опуская ее в снег.

К вечеру погода совсем стихла; небо стало таким ясным, чистым, точно его вымели, и казалось даже как-то выше и прозрачнее, а звездочки, словно вычищенные заново, сияли и искрились голубоватыми огоньками. Мороз так и трещал, и к утру верхний слой снега настолько окреп, что воробьи прыгали по нему, не проваливаясь. Они шмыгали из сугроба в сугроб, прыгали и по прочищенным тропинкам, но ни тут, ни там не попадалось ничего съедобного. Воробышки порядком иззябли.

— Пип! — говорили они между собою. — И это Новый год?! Да он хуже старого! Не стоило и менять! Нет, мы недовольны — и не без причины!

— А люди-то, люди-то что шуму наделали, встречая Новый год! — сказал маленький иззябший воробышек. — И стреляли, и глиняные горшки о двери разбивали, ну, словом, себя не помнили от радости — и все оттого, что старому году пришел конец! Я было тоже радовался, думал, что вот теперь наступит тепло — не тут-то было! Морозит еще пуще прежнего! Люди, видно, сбились с толку и перепутали времена года!

— И впрямь! — подхватил третий, старый воробей с седым хохлом. — У них ведь имеется такая штука — собственного их изобре-

ния — календарь, как они зовут ее, и вот они воображают, что все на свете должно идти по этому календарю! Как бы не так! Вот придет Весна, тогда и наступит Новый год, а никак не раньше, так уж раз навсегда заведено в природе, и я придерживаюсь этого счисления.

— А когда же придет Весна? — спросили другие воробьи.

— Она придет, когда прилетит первый аист. Но он не особенно-то аккуратен, и трудно рассчитать заранее, когда именно он прилетит! Впрочем, уж если вообще разузнавать об этом, то не здесь, в городе, — тут никто ничего не знает толком, — а в деревне! Полетим-ка туда дожидаться Весны! Туда она все-таки скорее придет!

— Все это прекрасно! — сказала воробиха, которая давно вертелась тут же и чирикала, не говоря настоящего слова. — Одно вот только: здесь, в городе, я уже имею некоторые удобства, а найду ли я их в деревне — не знаю! Тут есть одна человечья семья; ей пришла разумная мысль — прибить к стене три-четыре пустых горшка из-под цветов. Верхними краями они плотно прилегают к стене, дно же обращено наружу, и в нем есть маленькое отверстие, через которое я свободно влетаю и вылетаю. Там-то мы с мужем и устроили себе гнездо, оттуда повылетели и все наши птенчики. Понятное дело, люди устроили все это для собственного удовольствия, чтобы полюбоваться нами; иначе бы они и пальцем не шевельнули! Они бросают нам хлебные крошки тоже ради своего удовольствия — ну а нам-то все-таки корм! Таким образом, мы здесь до некоторой степени обеспечены, и я думаю, что мы с мужем останемся здесь! Мы тоже очень недовольны, но все-таки останемся.

— А мы полетим в деревню — поглядеть, не идет ли Весна! — сказали другие и улетели.

В деревне стояла настоящая зима, и было, пожалуй, еще холоднее, чем в городе. Резкий ветер носился над снежными полями. Крестьянин в больших теплых рукавицах ехал на санях, похлопывая руки одна о другую, чтобы выколотить из них мороз; кнут лежал у него на коленях, но исхудалые лошади бежали рысью; пар так и валил от них. Снег хрустел под полозьями, а воробьи прыгали по санным колеям и мерзли.

— Пип! Когда же придет Весна? Зима тянется что-то уж больно долго!

— Больно долго! — слышалось с высокого холма, занесенного снегом, и эхом прокатилось по полям. Может статься, это было только эхо, а может быть, и голос диковинного старика, сидевшего на холме на куче снега. Старик был бел как лунь, с белыми волосами и бородою, и одет во что-то вроде белого крестьянского тулупа. На бледном лице его так и горели большие светлые глаза.

— Что это за старик? — спросили воробьи.

— Я знаю его! — сказал старый ворон, сидевший на плетне; он снисходительно сознавал, что «все мы — мелкие пташки перед Творцом»,

и потому благосклонно взялся разъяснить воробьям их недоумение. — Я знаю, кто он. Это — Зима, старый прошлогодний повелитель. Он вовсе не умер еще, как говорит календарь, и назначен регентом до появления молодого принца, Весны. Да, Зима еще правит у нас царством! У! Что, дрогнете небось, малыши?

— Ну не говорил ли я, — сказал самый маленький воробышек, — что календарь — пустая человечья выдумка! Он совсем не приноровлен к природе. Да и разве у людей есть какое-нибудь чутье? Уж предоставили бы они распределять времена года нам: мы потоньше, почувствительнее их созданы!

Прошла неделя, другая. Лес уже почернел, лед на озере стал походить на застывший свинец, облака... нет, какие там облака? — сплошной туман окутал всю землю. Большие черные вороны летали стаями, но молча; все в природе словно погрузилось в тяжелый сон. Но вот по озеру скользнул солнечный луч, и лед заблестел, как расплавленное олово. Снежный покров на полях и холмах уже потерял свой блеск, но белая фигура старика Зимы сидела еще на прежнем месте, устремив взор к югу. Он и не замечал, что снежная пелена словно все уходила в землю, что там и сям проглянули клочки зеленого дерна, на которых толклись кучи воробьев.

— Кви-вит! Кви-вит! Уж не Весна ли?

— Весна! — прокатилось эхом над полями и лугами, пробежало по темно-бурым лесам, где стволы старых деревьев оделись уже свежим, зеленым мхом. И вот с юга показалась первая пара аистов. У каждого на спине сидело по прелестному ребенку: у одного — мальчик, у другого — девочка. Ступив на землю, дети поцеловали ее и пошли рука об руку, а по следам их расцветали прямо из-под снега белые цветочки. Дети подошли к старику Зиме и прильнули к его груди. В то же мгновение все трое, а с ними и вся местность, исчезли в облаке густого, влажного тумана. Немного погодя подул ветер и разом разогнал туман; просияло солнышко — Зима исчезла, и на троне природы сидели прелестные дети Весны.

— Вот это так Новый год! — сказали воробьи. — Теперь, надо полагать, нас вознаградят за все зимние невзгоды!

Куда ни оборачивались дети, всюду кусты и деревья покрывались зелеными почками, трава росла все выше и выше, хлеба зеленели ярче. Девочка так и сыпала на землю цветами; у нее в переднике было такое изобилие цветов, что, как она ни торопилась разбрасывать их, передник все был полнехонек. В порыве резвости девочка брызнула на яблони и персиковые деревья настоящим цветочным дождем, и деревца стояли в полном цвету, даже не успев еще как следует одеться зеленью.

Девочка захлопала в ладоши, хлопал и мальчик, и вот откуда ни возмись налетели с пеньем и щебетаньем стаи птичек: «Весна пришла!»

Любо было посмотреть кругом! То из одной, то из другой избушки выползали за порог старые бабушки поразмять на солнышке свои косточки и полюбоваться на желтые цветочки, золотившие луг, точь-в-точь как и в дни далекой юности старушек. Да, мир вновь помолодел, и они говорили: «Что за благодатный денек сегодня!»

Но лес все еще смотрелся буро-зеленым: на деревьях не было еще листьев, а одни почки; зато на лесных полянах благоухал уже молоденький дикий ясмин, цвели фиалки, анемоны и скороспелки. Все былинки налились живительным соком; по земле раскинулся пышный зеленый травяной ковер, и на нем сидела молодая парочка, держась за руки. Дети Весны пели, улыбались и все росли да росли.

Теплый дождичек накрапывал на них с неба, но они и не замечали его: дождевые капли смешивались со слезами радости жениха и невесты. Юная парочка поцеловалась, и в ту же минуту лес оделся зеленью. Встало солнышко — все деревья стояли в роскошном лиственном уборе.

Рука об руку двинулись жених с невестой под этот свежий густой навес, где зелень отливала, благодаря игре света и теней, тысячами различных тонов. Девственно-чистая, нежная листва распространяла живительный аромат, звонко и жизнерадостно журчали ручейки и речки, пробираясь между бархатисто-зеленою осокой и пестрыми камушками. «Так было, есть и будет во веки веков!» — говорила вся природа. Чу! Раздалось протяжное кукование кукушки, зазвенела песня жаворонка! Весна была в полном разгаре; только ивы все еще не снимали со своих цветочков пуховых рукавичек; такие уж они осторожные — просто скучно!

Дни шли за днями, недели за неделями, землю так и обдавало теплом; волны горячего воздуха проникали в хлебные колосья, и они стали желтеть. Белый лотос севера раскинул по зеркальной глади лесных озер свои широкие зеленые листья, и рыбки прятались под их тенью. На солнечной стороне леса, за ветром, возле облитой солнцем стены крестьянского домика, где пышно расцветали под жгучими ласками солнечных лучей роскошные розы и росли вишневые деревья, осыпанные сочными черными горячими ягодами, сидела прекрасная жена Лета, которую мы видели сначала девочкой, а потом невестой. Она смотрела на темные облака, громоздившиеся друг над друга высокими черно-синими угрюмыми горами; они надвигались с трех сторон и, наконец, нависли над лесом, как окаменелое, опрокинутое вверх дном море. В лесу все затихло, словно по мановению волшебного жезла; прилегли ветерки, замолкли птички, вся природа замерла в торжественном ожидании, а по дороге и по тропинкам неслись сломя голову люди в телегах, верхом и пешком — все спешили укрыться от грозы. Вдруг блеснул ослепительный луч света, словно солнце на миг прорвало тучи, затем вновь воцарилась тьма, и прокатился глухой раскат грома. Вода хлынула с неба потоками. Тьма и свет, тишина и громовые оаскаты сменяли друг друга. По молодому тростнику с корич-

невными султанами на головках так и ходили от ветра волны за волнами; ветви деревьев совсем скрывались за частою дождевою сеткою; свет и тьма, тишина и громовые удары чередовались ежеминутно. Трава и колосья лежали пластом; казалось, они уже никогда не в силах будут подняться. Но вот ливень перешел в крупные, редкие капли, выглянуло солнышко, и на былинках и листьях засверкали крупные перлы; запели птички, заплескались в воде рыбки, заплясали комары. На камне, что высовывался у самого берега из соленой морской пены, сидело и грелось на солнышке Лето, могучий, крепкий, мускулистый муж. С кудрей его стекали целые потоки воды, и он смотрел таким освеженным, словно помолодевшим после холодного купанья. Помолодела, освежилась и вся природа, растительность развернулась с небывалою пышностью, силой и красотой! Стояло лето, теплое, благодатное лето!

От густо взошедшего на поле клевера струился сладкий живительный аромат. Над кругом из камней, посреди которого лежал древний жертвенный камень, носились с жужжанием пчелы. Жертвенный камень, омытый дождем, ярко блестел на солнце; цепкие побеги ежевики одели его густою бахромой. К нему подлетела царица пчел со своим роем; они возложили на жертвенник плоды от трудов своих — воск и мед. Никто не видал жертвоприношения, кроме самого Лета и его полной жизненных сил подруги; для них-то и были уготованы жертвенные дары природы.

Вечернее небо сияло золотом; никакой церковный купол не мог сравниться с ним; от самой вечерней и вплоть до утренней зари сиял месяц. На дворе стояло лето.

И дни шли за днями, недели за неделями. На полях засверкали блестящие косы и серпы, ветви яблонь согнулись под тяжестью красных и золотистых плодов. Душистый хмель висел крупными кистями. В тени орешника, осыпанного орехами, сидевшими в зеленых гнездышках, отдыхали муж с женою — Лето со своею серьезною, задумчивою подругою.

— Что за роскошь! — сказала она. — Что за благодать, куда ни поглядишь! Как хорошо, как уютно на земле, и все-таки — сама не знаю почему — я жажду... покоя, отдыха... Других слов подобрать не могу! А люди уж снова вспахивают поля! Они вечно стремятся добыть себе больше и больше!.. Вон аисты ходят по бороздам вслед за плугом... Это они принесли нас сюда! Помнишь, как мы прибыли сюда, на север, детьми?.. Мы принесли с собою цветы, солнечный свет и зеленую листву! А теперь... ветер почти всю ее оборвал, деревья побурели, потемнели и стали похожи на деревья юга; только нет на них золотых плодов, какие растут там!

— Тебе хочется видеть золотые плоды? — сказала Лето. — Любуйся!

Он махнул рукою — и леса запестрели красноватыми и золотистыми листьями. Вот было великолепие! На кустах шиповника засияли огнен-

но-красные плоды, ветви бузины покрылись крупными темно-красными ягодами, спелые дикие каштаны сами выпадали из темно-зеленых гнезд, а в лесу вторично зацвели фиалки.

Но царица года становилась все молчаливее и бледнее.

— Повеяло холодом! — говорила она. — По ночам встают сырые туманы. Я тоскую по нашей родине!

И она смотрела вслед улетающим на юг аистам и протягивала к ним руки. Потом она заглянула в их опустевшие гнезда; в одном вырос стройный василек; в другом — желтое репное семя, словно гнезда только для того и были свиты, чтобы служить им оградой! Залетели туда и воробьи.

— Пип! А куда же девались хозяева? Ишь, подуло на них ветерком — они и прочь сейчас! Скатертью дорога!

Листья на деревьях все желтели и желтели, начался листопад, зашумели осенние ветры — настала поздняя осень. Царица года лежала на земле, усыпанной пожелтевшими листьями; кроткий взор ее был устремлен на сияющие звезды небесные; рядом с нею стоял ее муж. Вдруг поднялся вихрь и закрутил сухие листья столбом. Когда вихрь утих, царицы года уже не было; в холодном воздухе кружилась только бабочка, последняя в этом году.

Землю окутали густые туманы, подули холодные ветры, потянулись долгие, темные ночи. Царь года стоял с убеленною сединою головой, но сам он не знал, что поседел, — он думал, что кудри его только запушило снегом! Зеленые поля покрылись тонкою снежною пеленой.

И вот колокола возвестили наступление сочельника.

— Рождественский звон! — сказал царь года. — Скоро родится новая царственная чета, а я обрету покой, унесусь вслед за нею на сияющие звезды!

В свежем зеленом сосновом лесу, занесенном снегом, появился рождественский ангел и освятил молодые деревца, предназначенные служить символом праздника.

— Радость в жилищах людей и в зеленом лесу! — сказал престарелый царь года; в несколько недель он превратился в белого как лунь старика. — Приближается час моего отдыха! Корона и скипетр переходят к юной чете.

— И все же власть пока в твоих руках! — сказал ангел. — Власть, но не покой! Укрой снежным покровом молодые ростки! Перенеси терпеливо торжественное провозглашение нового повелителя, хотя власть еще и в твоих руках! Терпеливо перенеси забвение, хотя ты и жив еще! Час твоего успокоения придет, когда настанет весна!

— Когда же настанет весна? — спросила Зима.

— Когда прилетят с юга аисты!

И вот седоволосая, седебородая, обледеневшая, старая, согбенная, но все еще сильная и могущественная, как снежные бури и метели, сидела

Зима на высоком холме, на куче снега, и не сводила глаз с юга, как прошлогодняя Зима. Лед трещал, снег скрипел, конькобежцы стрелой скользили по блестящему льду озер, вороны и вороны чернели на белом фоне; не было ни малейшего ветерка. Среди этой тишины Зима сжала кулаки, и толстый лед сковал все проливы.

Из города опять прилетели воробьи и спросили:

— Что это за старик там?

На плетне опять сидел тот же ворон или сын его — все едино — и отвечал им:

— Это Зима! Прошлогодний повелитель! Он не умер еще, как говорит календарь, а состоит регентом до прихода молодого принца — Весны!

— Когда же придет Весна? — спросили воробьи. — Может быть, у нас настанут лучшие времена, как переменится начальство! Старое никуда не годится!

А Зима задумчиво кивала голому черному лесу, где так ясно, отчетливо вырисовывались каждая веточка, каждый кустик. И землю окутали облака холодных туманов; природа погрузилась в зимнюю спячку. Повелитель года грезил о днях своей юности и возмужалости, и к утру все леса оделись сверкающею бахромой из инея — это был летний сон Зимы; вошло солнышко, и бахрома осыпалась.

— Когда же придет Весна? — опять спросили воробьи.

— Весна! — раздалось эхом со снежного холма.

И вот солнышко стало пригревать все теплее и теплее, снег стаял, птички защебетали: «Весна идет!»

Высоко-высоко по поднебесью неся первый аист, за ним другой; у каждого на спине сидело по прелестному ребенку. Дети ступили на поля, поцеловали землю, поцеловали и безмолвного старика — Зиму, и он исчез в тумане.

История года кончена.

— Все это прекрасно и совершенно верно, — заметили воробьи, — но не по календарю, а потому никуда не годится!



В ДЕНЬ КОНЧИНЫ

Самый торжественный, великий день в жизни человека — день его кончины, священный день великого перерождения. А думали ли вы когда-нибудь серьезно, как следует, об этом важнейшем, неминуемом, последнем дне нашей жизни?

Жил на земле строго верующий человек, «борец за букву закона», как его называли, ревностный слуга сурового Бога. И вот Смерть приблизилась к его одру; он узрел перед собою строгие небесные черты ангела Смерти.

— Час твой настал, следуй за мною! — сказал ангел, коснулся холодною, как лед, рукою ног человека — ноги окоченели; затем коснулся его чела и, наконец, сердца — оно перестало биться, и душа умершего последовала за ангелом Смерти.

Но в те несколько секунд, что протекли, пока смертный холод поднимался от ног к сердцу умирающего, перед взором его, словно огромные волны морские, пронеслось все пережитое и пережитое им во время земной его жизни. Так измеряет человек одним взглядом бездонную головокружительную глубину, обнимает одним молниеносным движением мысли неизмеримый, бесконечный путь, охватывает одним взглядом всю совокупность бесчисленных звездных миров, светил и планет, разбросанных в мировом пространстве.

В такие минуты грешника объемлет непобедимый трепет, ему не на что опереться, он как будто падает стремглав в какую-то бесконечную пустоту. Праведник же спокойно, как дитя, предает дух свой в руки Божии со словами: «Да будет воля твоя!»

Но этот умирающий не обладал душою ребенка; он чувствовал себя мужем. Он и не трепетал, как жалкий грешник, сознавая, что был истинно верующим, крепко держал все заветы, строго выполнял все религиозные обряды; а между тем сколько людей — как он знал — шли широкою дорогой греха, которая ведет прямо в ад! И он сам бы готов был истребить огнем и мечом здесь, на земле, их тела, как были и будут истреблены там их души. Его же путь лежал прямо к небесам; небесное милосердие должно было раскрыть перед ним райские врата, как это обещано всем верующим.

И душа последовала за ангелом Смерти, кинув последний прощальный взор на ложе, где под белым саваном покоилась ее брэнная оболочка, чуждое ей теперь олицетворение ее прежнего «я».

И вот они то летели, то шли не то по какому-то обширному покою, не то по лесу, где природа являлась, однако, подстриженной, подтянутой, подвязанной, искусственной, как в старинных французских садах. Тут давался маскарад.

— Вот тебе жизнь человеческая! — сказал ангел Смерти.

Все фигуры были более или менее замаскированы, так что не те из них, собственно, были благороднейшими или могущественнейшими, которые драпировались в бархат и золото, и не те низшими и ничтожнейшими, которые были одеты в рубища бедняков. Диковинный был маскарад, что и говорить! А всего диковиннее было старание каждого скрыть от других что-то под складками своего платья и в то же время распахнуть платье другого, чтобы открыть то, что прятал он! При удаче из-под платья всегда выставлялась голова какого-нибудь зверя: у того — гримасницы-обезьяны, у этого — гадкого козла, скользкой змеи или полузаснувшей рыбы!

Одним словом, из-под платья каждого человека выглядывал тот зверь, которого он носил в душе. И зверь этот прыгал, метался и порывался вырваться на волю, а человек старался плотно прикрыть его платьем, но другие люди срывали с него платье и кричали:

— Вот он каков, вот она какова, глядите, люди добрые!

Каждый стремился обнажить больное место ближнего.

— Какой же зверь сидел во мне? — спросила странница-душа, и ангел Смерти указал ей на горделивую фигуру впереди них; голова ее была окружена радужным ореолом, но у самого сердца виднелись ноги павлина; радужный ореол был не что иное, как хвост его!

Дальше на пути они увидали в ветвях деревьев безобразных птиц; они кричали человеческими голосами: «Странница, помнишь ли ты нас?» То были все дурные земные мысли и дела души; и вот теперь они кричали ей: «Помнишь ли ты нас?»

И душу объял трепет — она узнала по голосу все свои дурные мысли и дела, которые теперь свидетельствовали против нее.

— Плоть человеческая немощна, природа греховна! — сказала душа. — Но дурные мысли мои не переходили в дела, и мир не видел злых плодов!

И она заторопилась изо всех сил, стараясь скорее уйти от этих гадких черных птиц, но они так и кружились над ней и кричали все громче и громче, словно желая раславить ее на весь мир. Душа неслась, как гонимая лань, но чуть не на каждом шагу спотыкалась об острые камни и ранила себе ноги до крови.

— Откуда берутся тут эти острые камни? Вся земля усыпана ими, точно сухими листьями!

— А это — твои неосторожные, необдуманые слова, вырывавшиеся у тебя при жизни! Они уязвляли сердца твоих близких куда глубже, сильнее, чем теперь ранят эти камни твои ноги.

— Этого мне и в голову не приходило! — сказала душа.

— Не судите и не судимы будете! — прозвучало в воздухе.

— Все мы грешны! — сказала душа и вновь понеслась по воздуху. — Я строго держался закона и Евангелия, делал все, что должно. Я не таков, как другие!

И вот они очутились у врат рая. Стоявший тут на страже ангел спросил:

— Кто ты? Скажи мне, какой ты веры, и свидетельствуй о ней делами своими!

— Я строго выполнял все заповеди Божии! Я смирялся перед очами света, ненавидел и преследовал зло и злых, что идут широким путем к вечному осуждению, и готов преследовать их огнем и мечом и теперь, насколько это будет в моей власти.

— Так ты из последователей Магомета? — спросил ангел.

— Я? Никогда!

— «Взявшиеся за меч — от меча и погибнут», — говорит Сын Божий; ты не его веры. Может быть, ты сын Израиля, повторяющий за Моисеем: «Око за око, зуб за зуб?» Ты сын Израиля и суровый Бог твой есть только Бог отцов твоих?

— Я христианин!

— Не узнаю тебя ни по вере, ни по делам твоим! Христос проповедовал прощение, любовь и милосердие!

— Милосердие! — прозвучало в бесконечном мировом пространстве, врата рая распахнулись, и душа устремилась в небесные чертоги.

Но оттуда струился такой ослепительный, всепроникающий свет, что душа отступила, как перед внезапно блеснувшим в воздухе мечом. Понеслись дивные, нежные, за душу хватающие звуки... Описать их не в силах никакой человеческий язык, и душа вся затрепетала, голова ее стала клониться все ниже и ниже, колени подгибались! Небесный свет озарил ее, и она почувствовала, сознала то, чего раньше никогда не чувствовала, не сознавала, — всю тяжесть своих грехов: высокомерия и жестокосердия. Она вся просветлела и воскликнула:

— Все, что я сделала доброго, сделала я не сама по себе, а потому, что не могла иначе, зло же... исходило от меня самой!

И душа почувствовала, что вся бледнеет под лучами небесного света, бессильно пала на колени и как-то вся съежилась, ушла, спряталась в самое себя. Она чувствовала себя такою подавленной, ничтожною, недостойною войти в царство небесное, а при мысли о строгом правосудии Божиим не смела даже воззвать к его милосердию.

И было ей явлено милосердие там, где она не ждала его.

Божье царство занимает бесконечное пространство, но любовь Божья наполняет его все с несказанною полнотою!

— Священна, блаженна и любима будь ты вовеки, душа человеческая! — прозвучало в воздухе.

И все мы, все задрожим в день нашей земной кончины перед блеском и великолепием небесным, низко опустим голову, смиренно преклоним колени, но вновь воздвигнутые любовью и милосердием Божиим, пойдем путями новыми и, становясь все лучше, чище и светлее, совершенствуясь все больше и больше, приблизимся наконец к небесному чертогу, и Он сам введет нас в светлую обитель вечного блаженства!



ИСТИННАЯ ПРАВДА

Ужасное происшествие! — сказала курица, проживавшая совсем на другом конце города, а не там, где случилось происшествие. — Ужасное происшествие в курятнике! Я просто не смею теперь ночевать одна! Хорошо, что нас много на насесте!

И она принялась рассказывать, да так, что у всех кур перышки повставали дыбом, а у петуха съежился гребешок. Да, да, истинная правда!

Но мы начнем с начала, а оно произошло в курятнике на другом конце города.

Солнце садилось, и все куры уже были на насесте. Одна из них, белая коротконожка, курица во всех отношениях исправная и почтенная, усевшись поудобнее, стала перед сном чиститься и расправлять носиком перышки. И вот одно перышко вылетело и упало на пол.

— Ишь как полетело! — сказала курица. — Право, чем больше я чищусь, тем делаюсь красивее!

Это было сказано так, в шутку: курица вообще была веселого нрава, но это ничуть не мешало ей быть, как уже сказано, весьма и весьма почтенною курицей. С тем она и заснула.

В курятнике было темно. Куры все сидели рядом, и та, что сидела бок о бок с нашей курицей, не спала еще; она не то чтобы нарочно подслушивала слова соседки, а так, слушала себе краем уха — так ведь и следует, если хочешь жить в мире с ближними! И вот она не утерпела и шепнула другой своей соседке:

— Слышала? Я не желаю называть имен, но тут есть курица, которая готова выщипать себе все перья, чтобы только быть покрасивее. Будь я петухом, я бы презирала ее!

Как раз над курами сидела в гнезде сова с мужем и детками; у сов уши острые, и они не упустили ни одного слова соседки. Все они при этом усиленно вращали зрачками, а совиha махала крыльями, точно опахалами.

— Т-с! Не слушайте, детки! Впрочем, вы, конечно, уж слышали? Я тоже. Ах! Просто уши вянут! Одна из кур до того забылась, что принялась выщипывать себе перья прямо на глазах у петуха!

— Prenez garde aux enfants!¹ — сказал сова-отец. — Детям вовсе некстати слушать подобные вещи!

— Надо будет все-таки рассказать об этом нашей соседке-сове: она такая милая особа!

И совиха полетела к соседке.

— У-гу, у-гу! — загукали потом обе совы прямо над соседней голубятней. — Вы слышали? Вы слышали? У-гу! Одна курица выщипала себе все перья из-за петуха! Она замерзнет, замерзнет до смерти! Если уж не замерзла! У-гу!

— Кур-кур! Где, где? — ворковали голуби.

— На соседнем дворе! Это почти на моих глазах было! Просто неприлично и говорить об этом, но это истинная правда!

— Верим, верим! — сказали голуби и заворковали сидящим внизу курам:

— Кур-кур! Одна курица, говорят, даже две, выщипали себе все перья, чтобы отличиться перед петухом! Рискованная затея! Можно ведь простудиться и умереть, да они уж и умерли!

— Ку-ку-реку! — запел петух, взлетая на забор. — Проснитесь! — У него самого глаза еще совсем слипались от сна, а он уж кричал: — Три курицы погибли от несчастной любви к петуху! Они выщипали себе все перья! Такая гадкая история! Не хочу молчать о ней! Пусть разнесется по всему свету!

— Пусть, пусть! — запищали летучие мыши, закудахтали куры, закричали петухи. — Пусть, пусть!

И история разнеслась — из двора во двор, из курятника в курятник и дошла наконец до того места, откуда пошла.

— Пять куриц, — рассказывалось тут, — выщипали себе все перья, чтобы показать, кто из них больше исхудал от любви к петуху! Потом они заклевали друг друга насмерть, на позор и посрамление всему своему роду и в убыток своим хозяевам!

Курица, которая выронила одно перышко, конечно, не узнала своей собственной истории и, как курица во всех отношениях почтенная, сказала:

— Я презираю этих кур! Но таких ведь много! О подобных вещах нельзя, однако, молчать! И я со своей стороны сделаю все, чтобы история эта попала в газеты! Пусть разнесется по всему свету: эти куры и весь их род стоят того!

И в газетах действительно напечатали всю историю, и это истинная правда: «Одному маленькому перышку куда как нетрудно превратиться в целых пять кур!»

¹ Осторожнее, здесь дети! (фр.)

ЛЕБЕДИНОЕ ГНЕЗДО



Между Балтийским и Северным морями со времен седой древности лежит лебединое гнездо; зовут его *Данией*; в нем родились и рождаются лебеди с бессмертными именами.

Давно-давно вылетела оттуда целая стая лебедей, перелетела через Альпы и спустилась в зеленые долины багословенного юга; звали их *лангобардами*.

Другая стая, в блестящем оперении, с ясными и честными глазами, улетела в Византию. Там лебеди уселись вокруг трона императора и распростерли на защиту его свои широкие белые крылья, словно щиты. Лебедей тех звали *варягами*.

С берегов Франции раздался крик ужаса: с огнем под крылами неслись с севера кровожадные лебеди, и народ молился: «Боже, храни нас от диких *норманнов*».

На зеленом дерне, покрывающем открытый берег Англии, стоял датский лебедь, увенчанный тремя коронами, протягивая над страной свой золотой скипетр¹.

Язычники на берегах Померании преклонились перед датскими лебедями, явившимися к ним с знаменем креста² и с поднятыми мечами.

«Все это было во времена седой древности!» — скажешь, пожалуй, ты.

И ближайшие к нам времена видели вылетающих из гнезда могучих лебедей.

Вот дивный свет разлился в воздухе и озарил все части света — лебедь прорезал своими могучими крылами нависший над землею туман, и звездное небо явилось глазам людей во всей своей красе, стало к ним словно ближе. Лебедь этот был *Тихо Браге*.

¹ Король Дании Кнуд Великий (умер в 1035 г.) объединил три северных государства: Данию, Швецию и Норвегию и присоединил к своим владениям Англию. — *Примеч. перев.*

² Датский флаг «Данеброг» — красный крест на белом поле. — *Примеч. перев.*

«Да и это было давно! — говоришь ты. — А в наши дни?»

И в наши дни вылетают из гнезда могучие лебеди. Один скользнул крылами по струнам золотой арфы, и струны зазвенели на весь север, скалы Норвегии как будто выпрямились и заблестели, освещенные солнцем седой древности, зашумели сосны и ели, и северные боги, герои и благородные жены ясно выступили на темном фоне дремучих лесов¹.

Другой лебедь ударил крылами по мраморной глыбе; она раскололась, и заключенные в камне образы вечной красоты вышли на свет Божий. Люди всех стран света подняли головы, чтобы узреть эти дивные образы!²

А третий лебедь дал крылья мысли, выпрял провод, который перекинули из страны в страну по всей земле, и теперь слова бегут по нему и облетают землю с быстротою молнии³.

Господь возлюбил старое лебединое гнездо между Балтийским и Северным морями. Пусть-ка попробуют хищные птицы налететь и разорить его! «Не бывать этому!»⁴ Даже неоперившиеся еще птенцы усядутся по краям гнезда и — как мы уже видели не раз — грудью встретят врага, станут изо всех сил защищаться клювами и когтями!

И долго еще будут вылетать из гнезда лебеди на диво всему миру! Века пройдут прежде, чем воистину можно будет сказать: «Вот последний лебедь, вот последняя песнь, раздавшаяся из лебединого гнезда!»



¹ Здесь говорится об Эленшлегере (1779 — 1850), знаменитом датском поэте, воскресившем предания старины в своих дивных поэтических творениях. — *Примеч. перев.*

² Торвальдсен. — *Примеч. перев.*

³ Эрстед — датский ученый, прославивший свое имя открытием электромагнитной силы. — *Примеч. перев.*

⁴ Слова короля Фредерика VII. — *Примеч. перев.*

ВЕСЕЛЫЙ НРАВ

Отец оставил мне лучшее наследство — свой веселый нрав. А кто был мой отец? Ну, это к делу не относится! Довольно сказать, что он был живой весельчак, кругл и толст — словом, и душа и тело его были в разладе с его должностью. Да какую же он занимал должность, какое положение в обществе? Э, в том-то и дело, напиши или напечатай я это в самом начале, многие, пожалуй, отложили бы книжку в сторону: дескать это не по нашей части! И, однако, мой отец не был ни палачом, ни заплочных дел мастером; напротив, по своей должности он часто занимал место во главе почетнейших лиц города! Место это было его по праву, и вот ему приходилось быть впереди всех — даже впереди епископа и самих принцев крови: он восседал на козлах погребальной колесницы!

Ну, теперь все сказано! Я могу только прибавить, что, глядя на моего отца, восседающего на колеснице смерти, укутанного в длинный широкий черный плащ, в обшитой черными каймами треуголке на голове, глядя на его веселое круглое, как солнце, смеющееся лицо, никому и в голову не шли скорбные мысли о смерти и похоронах. Лицо моего отца так и говорило: «Пустяки, все обойдется лучше, чем думают!»

Так вот от него-то я и унаследовал свой веселый нрав и привычку посещать кладбище — это очень приятная прогулка, если только принимаешь ее в хорошем расположении духа. Кроме того, я тоже выписываю «Листок объявлений», как и мой покойный отец.

Я уже не очень молод, у меня нет ни жены, ни детей, ни библиотеки, но, как сказано, я выписываю «Листок объявлений» — и будет с меня! По-моему, это самая лучшая газета; то же говорил и покойный отец. «Листок» приносит свою пользу: дает все нужные человеку сведения; из него узнаешь, кто проповедует с церковных кафедр, и кто — со страниц новых книг, где можно найти себе помещение, прислугу и где приобрести одежду, пищу, где открывается распродажа и где будут похороны; тут же познакомишься с положением благотворительности и с невинными стишками, узнаешь, кто желает вступить в законный брак, кто назначает или отвергает свидания! Тут вообще все так просто и естественно! И, по-

моему, можно счастливо прожить весь свой век до самой смерти, довольствуясь одним «Листком объявлений», а к тому времени так разбогатеешь бумагою, что можно будет устроить себе из нее мягкую подстилку в гроб, если не любишь лежать на стружках!

Да, «Листок объявлений» и кладбище — вот два моих любимейших места духовных и физических экскурсий, два самых благодатных средства поддержания веселого нрава.

В редакцию «Листка» каждый может отправиться сам, без провожатого, но на кладбище пусть идет со мною! Пойдемте-ка туда в ясный солнечный день, когда деревья уже все покрыты зеленью, и погуляем между могилами! Каждая могила — своего рода закрытая книга; она лежит корешком кверху, так что всякий может прочесть ее заглавие, говорящее о ее содержании и в то же время ничего не говорящее! У меня же имеются более обстоятельные сведения, которые отчасти перешли ко мне от отца, отчасти собраны мною лично. Надо вам знать, что я веду особую могильную книгу, и мне от нее столько же пользы, сколько удовольствия. В нее занесены все эти могилы, да и еще кое-какие!

Ну вот мы и на кладбище.

Вот тут за выкрашенною белою краскою оградой, где рос когда-то розовый куст (теперь его нет больше, и только плющ с соседней могилы пробирается сюда, желая хоть немножко скрасить и чужую могилу), покоится глубоко несчастный человек, хотя при жизни-то он, как говорят, и пользовался полным благополучием, имел все, что нужно, и даже кое-что лишнее. Вся беда его была в том, что он уж слишком близко принимал к сердцу весь свет, главным же образом искусство. Сидит, бывало, вечером в театре; тут-то бы ему и наслаждаться от всей души, так нет, куда! То зачем машинист пустил слишком сильный лунный свет, то зачем холщовое небо повисло впереди кулис, а не позади, то, наконец, зачем пальмы выросли на Амагере¹, кактусы в Тироле, а буки в горах Норвегии?! Как будто это не все равно! И кому нужно думать об этом? Ведь тут идет представление, ну и будь доволен тем, что дают! А то, бывало, ему вдруг покажется, что публика хлопает слишком уж усердно или, наоборот, слишком скуп. «Вот сырые-то дрова, — сейчас же заметит он, — никак не загораются сегодня!» И он оборачивается посмотреть, что за публика собралась сегодня; видит, что люди смеются совсем невпопад, и начинает злиться еще пуще. Так он вечно злился, вечно страдал и был несчастнейшим человеком в мире. Теперь он успокоился в могиле.

А вот здесь погребен счастливец, то есть очень знатный господин высокого происхождения — в этом-то и было все его счастье, иначе бы из него никогда ничего не вышло! Да, просто приятно подумать, как

¹ Остров — предместье Копенгагена. — *Примеч. перев.*



премудро устроено все на белом свете! Платье он носил расшитое золотом и спереди и сзади, и употреблялся только для парада, как дорогая, вышитая жемчугом полоска, прикрывающая прочный шнурок звонка; за ним тоже скрывался прочный шнурок — помощник его, который, собственно, и нес службу, да продолжает нести ее и теперь за другую вышитую полоску. Премудро устроено все на белом свете! Как же тут впасть в меланхолию!

Здесь схоронен... да, печальная это история! Здесь схоронен человек, который шестьдесят семь лет все придумывал красное словцо, только для того и жил; когда же наконец ему действительно удалось придумать такое словцо, не пережил своего счастья, умер от радости! Так его словцо и пропало задаром, никто и не услышал его! Могу себе представить, как мучает оно его даже в могиле! Как же! Подумайте только, вдруг словцо-то было такого рода, что его следовало пустить в ход именно за завтраком, а покойник, как и все мертвецы, имеет, по общему поверью, право выходить из могилы лишь в полночь! Куда ж ему деваться со своим словцом?! Скажи он его не вовремя — оно ведь не произведет никакого впечатления, никого и не рассмешит даже! Так бедняку и приходится схорониться вместе со своим словцом в могиле. Да, печальная история!

Тут погребена одна скупая-прескупая дама. При жизни она вставала по ночам и мяукала, чтобы соседи подумали, будто она держит кошку, — вот какая была скупая!

Здесь покоится одна барышня из хорошего семейства; она вечно доставляла обществу удовольствие своим пением и пела обыкновенно: «*Mi tapas la voce*». Правдивее этого она ничего не сказала во всю свою жизнь!

А вот здесь схоронена девица иного рода. Известно, что, когда канарейка, обитающая в сердце, начинает свистать вовсю, разум затыкает себе уши, и вот душа-девица очутилась в положении, присвоенном одним замужним! История печальная, но весьма обыкновенная. Пусть, однако, покоится с миром, не будем тревожить мертвых!

Тут лежит вдова; на устах у нее щебетали малиновки, а в сердце завывала сова. Она ежедневно отправлялась на добычу, выслеживая недостатки знакомых, как в старину выслеживал, бывало, «Друг полиции»¹ неисправных домовладельцев, перед домами которых не было установленных мостиков через водосточные канавки.

А вот семейная могила. Между членами этой семьи царило такое трогательное единодушие, что если даже весь свет и газета их говорили так, а маленький сынишка приходил из школы и говорил: «А я слышал иначе», то он один и был прав, ведь он был членом семьи. Да случись

¹ Газета, некогда выходившая в Копенгагене. — Примеч. перев.

даже, что дворовый их петух запел бы свое утреннее «кукареку» в полночь — значит, и было утро, что там ни говори все ночные сторожа и все городские часы вместе!

Великий Гете заканчивает историю своего Фауста словами: «Продолжение может последовать»; то же могу я сказать и о нашей прогулке по кладбищу. Я часто прихожу сюда. И случись, что кто-либо из моих друзей или недругов уж очень досадит мне, я иду сюда, выбираю местечко под зеленым дерном и отвожу его *ему* или *ей*, то есть тому, кого хочу похоронить, а затем и в самом деле хороню их. Вот они и лежат тут мертвые, бессильные, пока не встанут вновь обновленными и лучшими людьми. Я записываю всю их жизнь и деяния — как я их вижу и понимаю — в мою «могильную книжку». Вот как следовало бы поступать и всем: не сердиться, когда кто-нибудь насолит им, а сейчас же хоронить обидчиков, но ни за что не изменять своему веселому нраву да «Листку объявлений»: в нем пишет сама публика, хоть иногда ее рукою и водят при этом другие!

Итак, когда придет время, что и повесть моей жизни переплетут в могилу, пусть на ней напишут:

«Веселый нрав».

Вот она, повесть моей жизни!



СЕРДЕЧНОЕ ГОРЕ



Рассказ этот состоит, собственно, из двух частей: первую можно бы, пожалуй, и пропустить, да она дает кое-какие предварительные сведения, а они небесполезны.

Мы гостили у знакомых в имении. Случилось раз, что наши хозяева уехали куда-то на день, и как раз в этот самый день из ближайшего городка приехала пожилая вдова с мопсом. Она объявила, что желает продать нашему хозяину несколько акций своего кожевенного завода. Бумаги были у нее с собой, и мы посоветовали ей оставить их в конверте с надписью: «Его превосходительству генерал-провиант-комиссару и пр.».

Она внимательно выслушала нас, взяла в руки перо, задумалась и попросила повторить титул еще раз, только помедленнее. Мы исполнили ее просьбу, и она начала писать, но, дойдя до «генерал-пров...», остановилась, глубоко вздохнула и сказала:

— Ах, я ведь только женщина!

Своего мопса она спустила на пол, и он сидел и ворчал. Еще бы! Его взяли прокатиться ради его же удовольствия и здоровья и вдруг спускают на пол?! Сплюснутый нос и жирная спина — вот его внешние приметы.

— Он не кусается! — сказала его хозяйка. — У него и зубов-то нет. Он все равно что член семьи, преданный и злющий... Но это все оттого, что его много дразнят: внуки мои играют в свадьбу и хотят, чтобы он был шафером, а это тяжелейше для бедного созданья!

Тут она передала нам свои бумаги и взяла мопса на руки.

Вот первая часть, без которой можно бы обойтись.

Мопс умер — вот вторая.

Это случилось через неделю. Мы уже переехали в город и остановились на постоялом дворе. Окна наши выходили во двор, который разделялся забором на две части; в одной были развешаны шкуры и кожи, сырые и выделанные; тут же находились и разные снаряды для кожевенного дела. Эта часть принадлежала вдове.

Мопс умер утром и был зарыт здесь же, на дворе. Внуки вдовы, то есть вдовы кожевника, а не мопса, — мопс не был женат, — на-

сыпали над могилкой холмик, и вышла прелесть что за могилка: славно, должно быть, было лежать в ней.

Холмик обложили черепками, посыпали песком, а посредине воткнули пивную бутылку горлышком вверх, но это было сделано без всякой задней мысли.

Дети поплясали вокруг могилки, а потом старший мальчик, практичный семилетний юноша, предложил устроить выставку мопсинькиной могилки для всех соседних детей. За вход можно было брать по пуговке от штанишек: это найдется у каждого мальчика; мальчики же могут заплатить и за девочек.

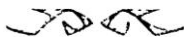
Предложение было принято единогласно.

И вот все соседние ребятишки пришли на выставку и заплатили по пуговке; многим мальчикам пришлось в этот день щеголять об одной подтяжке, зато они видели мопсинькину могилку, а это чего-нибудь да стоило!

Но за забором, у самой калитки, стояла маленькая оборванная девочка, прехорошенькая, кудрявая, с такими ясными голубыми глазками, что просто загляденье! Она не говорила ни слова и не плакала; только каждый раз, как калитка отворялась, она жадно вытягивала шейку и старалась заглянуть дальше, как можно дальше во двор. У нее не было пуговицы, и потому она печально стояла на улице, пока другие дети входили и уходили. Наконец перебывали все и ушли. Тогда девочка присела на землю, закрыла глаза своими загорелыми ручонками и горько-горько заплакала. Только она одна не видала мопсинькиной могилки! Не видала!.. Вот было горе так горе — великое, сердечное горе, каким бывает горе взрослого.

Нам все это было видно сверху, а когда смотришь на свои ли, на чужие ли горести сверху, то они кажутся только забавными.

Вот и весь сказ. Кто не понял, пусть купит у вдовы акций кожевенного завода.



ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО



ому минуло уж больше ста лет.

За лесом, у большого озера, лежала старая барская усадьба; кругом шли глубокие рвы с водой, поросшие осокой и тростником. Возле мостика, перекинутого через ров перед главными воротами, росла старая ива, склонявшаяся ветвями к тростнику.

С дороги слышались звуки рогов и лошадиный топот, и маленькая пастушка поторопилась отогнать своих гусей с мостика в сторону. Охотники скакали во весь опор, и самой девочке пришлось поскорее прыгнуть с мостика на большой камень возле рва — не то бы ей несдобровать! Она была совсем еще ребенок, такая тоненькая и худенькая, с милым, добрым выражением лица и честными, ясными глазками. Но барину-то что за дело? На уме у него были одни грубые шутки, и вот, проносясь мимо девочки, он повернул хлыст рукояткой вперед и ткнул им пастушку прямо в грудь. Девочка потеряла равновесие и чуть не упала назад.

— Всяк знай свое место! Твое — в грязи! — прокричал барин и захохотал.

Как же! Ему ведь удалось сострить! За ним захохотали и остальные; затем все общество с криком и гиканьем понеслось по мостику; собаки так и заливались. Вот уж подлинно, что «богатая птица шумно бьет крылами!»

Богат ли был барин — это еще вопрос.

Бедная пастушка, падая, ухватилась за ветку ивы и, держась за нее, повисла над тиной. Когда же господа и собаки скрылись за воротами усадьбы, она попробовала было опять вскарабкаться на мостик, но ветка вдруг обломилась у самого ствола, и девочка упала в тростник. Хорошо, что ее в ту же минуту схватила чья-то сильная рука. По полю проходил коробейник; он видел все и поспешил девочке на помощь.

— Всяк знай свое место! — пошутил он, передразнивая барина, и вытащил девочку на сушу. Отломанную ветку он тоже попробовал поставить на «свое место», но не всегда поговорка оправдывается! Пришлось воткнуть ветку прямо в рыхлую землю. — Расти, как сможешь, и пусть из тебя выйдет хорошая дудка для этих бар!

При этом он от души пожелал, чтобы на ней сыграли когда-нибудь для барина и всей его свиты хороший шпицрутенмарш¹. Затем коробейник направился в усадьбу, но не в парадную залу, — куда такой мелкой сошке лезть в залы, — а в людскую. Слуги обступили его и стали рассматривать товары, а наверху, в зале, шел пир горой. Гости вздумали петь и подняли страшный рев и крик: лучше этого они петь не умели! Хохот, крики и собачий вой стоном стояли в воздухе; вино и старое пиво пенилось в стаканах и кружках. Любимые собаки тоже участвовали в трапезе, и то тот, то другой из молодых баричей целовал которую-нибудь прямо в морду, предварительно обтерев ее длинными обвислыми ушами собаки. Коробейника тоже призывали в залу, но только ради потехи. Вино бросилось им в головы, а рассудок, конечно, вон! Они налили коробейнику пива в чулок: выпьешь, мол, и из чулка, торопись только! То-то хитро придумали! Было над чем зубоскалить! Целые стада, крестьяне и деревни ставились на карту и проигрывались.

— Всяк знай свое место! — сказал коробейник, выбравшись из «Содома и Гоморры», как он называл усадьбу. — Мое место — путь-дорога, а в усадьбе мне совсем не по себе!

Маленькая пастушка ласково кивнула ему на прощанье из-за плетня. Дни шли за днями, недели за неделями; сломанная ветка, посаженная коробейником у самого рва, не только не засохла и не пожелтела, но даже пустила свежие побеги; пастушка глядела на нее да радовалась: теперь у нее завелось как будто свое собственное дерево.

Да, ветка-то все росла и зеленела, а вот в господской усадьбе дела шли все хуже и хуже: кутежи и карты до добра не доводят.

Не прошло и шести лет, как барин пошел с сумою, а усадьбу купил богатый коробейник — тот самый, над которым баре потешались, наливая ему пива в чулок. Честность и трудолюбие хоть кого поставят на ноги, и вот коробейник сделался хозяином усадьбы, но с того же часа карты были изгнаны из нее навсегда.

— Это плохие таблички! — говорил хозяин. — Выдумал их сам черт: увидал Библию, да и давай подражать на свой лад!

Новый хозяин усадьбы женился, и на ком же? На бывшей пастушке! Она всегда отличалась добронравием, благочестием и добротой, а как нарядилась в новые платья, так стала ни дать ни взять красавицей барышней! Как же, однако, все это случилось? Ну, об этом долго рассказывать, а в наш недосужий век, известно, все торопятся! Случилось так, ну и все, а дальше-то вот пойдет самое важное.

Славно жилось в старой усадьбе: хозяйка сама вела все домашнее хозяйство, а хозяин заправлял всеми делами; благосостояние их все рос-

¹ По-датски, собственно, «Spidsrods-Marsch», т. е. марш, который играли во время экзекуции шпицрутенами. — *Примеч. перев.*

ло — недаром говорится, что деньга родит деньгу. Старый дом подновили, выкрасили, рвы очистили, всюду насадили плодовых деревьев, и усадьба смотрелась настоящею игрушкой. Пол в комнатах так и блестел; в большой зале собирались зимними вечерами все служанки и пряли, с самою хозяйкой во главе, шерсть и лен; по воскресным же вечерам юстиц-советник читал им из Библии. Да, да, бывший корабейник стал юстиц-советником — правда, только на старости лет, но и то хорошо! Были у них и дети; дети подрастали, и все получали хорошее воспитание и образование, хотя и не все отличались одинаковыми способностями, — так бывает и во всех семьях.

Ветка же стала славным деревом; оно росло на свободе, его не подстригали, не подвязывали.

— Это наше родовое дерево! — говорили старики и внушали всем детям, даже тем, которые не отличались особенными способностями, чтить и уважать его.

И вот с тех пор прошло сто лет.

Дело было уже в наше время. Озеро стало болотом, а старой усадьбы и вовсе как не бывало; виднелись только какие-то канавки с грязною водой да с камнями по краям — остатки прежних глубоких рвов. Зато старое родовое дерево красовалось по-прежнему. Вот что значит дать дереву расти на свободе! Правда, оно треснуло от самых корней до вершины, слегка покривилось от бурь, но стояло все еще крепко; из всех трещин и щелей, куда ветер занес разные семена, росли травы и цветы. Особенно густо росли они повыше, там, где листовая шапка дерева как бы раздвигалась. Тут образовался точно висячий садик: из середины дупла росли малина, мокричник и даже небольшая стройная рябинка. Старая ива отражалась в черной воде канавки, когда ветер отгонял зеленую плесень к другому краю. Неподалеку от дерева вилась тропинка, уходившая в хлебное поле.

У самого же леса, на холме, откуда открывался чудный вид на окрестность, стоял новый роскошный барский дом. Окна были зеркальные, такие чистые и прозрачные, что стекол словно и не было вовсе. Широкий подъезд выглядел настоящею беседкой из роз и широколиственных растений. Лужайка перед домом зеленела так ярко, точно каждую былинку охорашивали и утром, и вечером. Залы увешаны были дорогими картинами, уставлены крытыми бархатом и шелком мягкими стульями и диванами, которые чуть только не катались на колесиках сами. Тут же стояли столы с мраморными досками, заваленные альбомами в сафьяновых переплетах и с золотыми обрезами... Да, богатые, видно, тут жили люди! И богатые, и знатные — тут жило семейство барона.

И все в доме было подобрано одно к одному. «Всяк знай свое место» или «всему свое место», — говорили владельцы, и вот картины, висевшие когда-то в старой усадьбе на почетном месте, были вынесены в коридор, что вел в людскую. Все они считались старым хламом, в особенности же два старинных портрета. На одном был изображен мужчина в красном кафтане и в парике, на другом — дама с напудренными, высоко взбитыми волосами, с розою в руках. Оба были окружены венками из ветвей ивы, и оба в дырах. Маленькие барончики стреляли в портреты стариков из луков, как в мишень. А старики-то эти были сам юстиц-советник и советница, родоначальники баронской семьи.

— Ну, они вовсе не из нашего рода! — сказал один из барончиков. — Он был коробейником, а она паса гусей! Это совсем не то, что *рара* и *татап*.

Портреты, как сказано, считались хламом, а так как «всему свое место», то прабабушку и прадедушку отправили в коридор.

Домашним учителем в семье был сын пастора. Раз как-то он отправился на прогулку с маленькими барончиками и их старшею сестрой, которая только недавно конфирмовалась. Они шли по тропинке мимо старой ивы; молодая баронесса составляла букет из полевых цветов. «Всему свое место» соблюдалось и тут, и в результате вышел прекрасный букет. В то же время она внимательно прислушивалась к рассказам пасторского сына, а он рассказывал о чудесных силах природы, о великих исторических деятелях, о героях и героинях. Баронесса была здоровою, богато одаренною натурой, с благородною душой и сердцем, способным понять и оценить всякое Божье создание.

Возле старой ивы они остановились: младшему барончику захотелось дудочку; ему не раз вырезали их из ветвей других ив, и пасторский сын отломил одну ветку.

— Ах, не надо! — сказала молодая баронесса, но дело было уже сделано. — Ведь это же наше знаменитое родовое дерево! Я так люблю его, хоть надо мною и смеются дома! Об этом дереве рассказывают...

И она рассказала все, что мы уже знаем о старой усадьбе и о первой встрече пастушки и коробейника, родоначальников знатного баронского рода и самой молодой баронессы.

— Славные, честные старички не гнались за дворянством! — сказала она. — У них была поговорка: «всяк знай свое место», а им казалось, что они не будут на своем, если купят себе дворянство деньгами. Сын же их, мой дедушка, сделался бароном. Говорят, он был такой ученый и в большой чести у принцев и принцесс: его постоянно приглашали на все придворные празднества. Его у нас дома особенно любят, я же, сама не знаю почему, больше симпатизирую двум старичкам. Могу себе представить их уютную патриархальную жизнь: хозяйка сидит и прядет вместе со своими служанками, а старик хозяин читает вслух Библию!

— Да, славные, достойные были люди! — сказал пасторский сын.

Завязался разговор о дворянстве и о мещанстве, и, слушая пасторского сына, право, можно было подумать, что сам он не из мещан.

— Большое счастье принадлежать к славному роду — тогда самая кровь твоя как бы прищипоривает тебя, подгоняет делать одно хорошее. Большое счастье носить благородное родовое имя — это входной билет в лучшие семьи! Дворянство означает благородство крови; это чеканка на золотой монете, означающая ее достоинство. Но теперь в моде, и ей следуют даже многие поэты, считать все дворянское дурным и глупым, а в людях низших классов открывать тем большие достоинства, чем ниже их место в обществе. Я другого мнения и нахожу такую точку зрения ложною. У людей высших сословий можно подметить много поразительно прекрасных черт характера. Мать моя рассказывала мне об одной, и я сам могу привести их много. Мать была раз в гостях в одном знатном доме — бабушка моя, если не ошибаюсь, выкормила госпожу этого дома. Мать стояла в комнате, разговаривая со старым высокородным господином, и вдруг он увидал, что по двору ковыляет на костылях бедная старуха, которая приходила к нему по воскресеньям за милостыней. «Бедняга! — сказал он. — Ей так трудно взбираться сюда!» И прежде чем мать моя успела оглянуться, он был уже за дверями и спустился с лестницы. Семидесятилетний старик генерал сам спустился во двор, чтобы избавить бедную женщину от труда подниматься за милостыней! Это только мелкая черта, но она, как «лепта вдовицы», шла прямо от сердца, из глубины человеческой души, и вот на нее-то должен бы указать поэт, в наше-то время и следовало бы воспеть ее! Это принесло бы пользу, умиротворило и смягчило бы сердца! Если же какое-нибудь подобие человека считает себя вправе — только потому что на нем, как на кровной арабской лошади, имеется тавро — становиться на дыбы и ржать на улице, а входя в гостиную после мещанина, говорить: «Здесь пахнет человеком с улицы!» — то приходится признаться, что в лице его дворянство пришло к разложению, стало лишь маской, вроде той, что употреблял Феспис¹. Над такую фигуру остается только посмеяться, хлестнуть ее хорошенько бичом сатиры!

Вот какую речь держал пасторский сын; длинновата она была, да зато он успел в это время вырезать дудку.

В баронском доме собралось большое общество: наехали гости из окрестностей и из столицы; было тут и много дам — и одетых со вкусом, и без вкуса. Большая зала была полна народа. Священники из окрестных приходов сбились в кучу в один угол. Можно было подумать, что люди собрались сюда на похороны, а на самом-то деле — на праздник, только гости еще не разошлись как следует.

¹ Феспис и вся его труппа вымазывали себе лицо гущей. — *Примеч. перев.*

Предполагалось устроить большой концерт, и маленький барончик тоже вышел со своею дудкой, но ни он, ни даже сам *рара* не сумели извлечь из нее ни звука — значит, она никуда не годилась!

Начались музыка и пение того рода, что больше всего нравится самим исполнителям. Вообще же все было очень мило.

— А вы ведь тоже виртуоз! — сказал один кавалер, папенькин и маменькин сынок. — Вы играете на дудке и даже сами вырезали ее. Вот это высший сорт гения! Помилуйте! Я вполне следую за веком, ведь так и должно! Не правда ли, вы доставите нам высокое наслаждение своею игрой?

И он протянул пасторскому сыну дудку, вырезанную из ветви старой ивы, и громко провозгласил, что домашний учитель сыграет соло на дудке.

Разумеется, над учителем только хотели посмеяться, и молодой человек отнекивался, как мог, хотя и умел играть. Но все ужасно пристали к нему, и он приставил дудку ко рту.

Вот так дудка была! Она издала звук протяжный и резкий, точно свисток паровоза, даже еще резче; он раздался по всему двору, саду и лесу, прокатился эхом на много миль кругом, а вслед за ним пронесся бурный вихрь. Вихрь свистел: «Всяк знай свое место!» И вот *рара*, словно на крыльях ветра, перелетел двор и угодил прямо в пастуший шалаш, пастух же перелетел — не в залу, там ему было не место, — но в людскую, в круг разодетых лакеев, щеголявших в шелковых чулках.

Гордых лакеев чуть не хватил паралич от такой неожиданности. Как? Такое ничтожество и смеет садиться за стол рядом с ними!

Молодая баронесса между тем была перенесена вихрем за стол на почетное место, которого она была вполне достойна, а пасторский сын очутился возле нее, и вот они сидели рядом, словно жених с невестой! Старый граф, принадлежавший к одной из древнейших фамилий, не был смещен со своего почетного места — дудка была справедлива, да так и следует. Остроумный же кавалер, маменькин и папенькин сынок, полетел кверху ногами в курятник, да и не он один.

За целую милю слышен был этот звук, и вихрь успел-таки наделать бед. Один богатый глава торгового дома, ехавший на четверке лошадей, тоже был подхвачен вихрем, вылетел из экипажа и не мог потом попасть даже на запятки, а два богатых крестьянина, из тех, что переросли свои хлебные поля на наших глазах, угодили прямо в тину. Да, преопасная была дудка! Хорошо, что она дала трещину при первом же звуке, и ее спрятали в карман: «всему свое место».


На другой день о происшествии не было и помину, оттого и создалась поговорка: «Спрятать дудку в карман»¹. Все опять пришло в порядок,

¹ Т. е. «прикусить язык». — Примеч. перев.

только два старых портрета — коробейника и пастушки — висели уже в парадной зале: вихрь перенес их туда, а один из настоящих знатоков искусства сказал, что они написаны рукой великого мастера — вот их и оставили там и даже подновили. А то прежде и не знали, что они чего-нибудь стоят, — где ж было знать это! Таким образом, они все-таки попали на почетное место: «всему свое место»! Так оно в конце концов всегда и бывает — вечность длинна, куда длиннее этой истории!



ДОМОВОЙ МЕЛОЧНОГО ТОРГОВЦА

 ил-был заправский студент — ютился он на чердаке и ровно ничего не имел за душой; и жил-был заправский мелочной торговец — этот занимал целый нижний этаж, да и весь дом принадлежал ему. У него-то и прижился домовый. Еще бы! Тут он каждый сочельник угощался кашей с маслом; у мелочного торговца хватало средств на такое угощение! Итак, домовый жил да жил в лавке, и это очень поучительно.

Раз вечером из задних дверей появился студент; ему понадобилось купить свечку и сыру; послать ему было некого, он и пришел в лавку сам. Получив от него плату за покупки, лавочник и лавочница пожелали ему «доброго вечера», а лавочница-то была из таких женщин, что могли сказать и побольше, чем «добрый вечер»: она отличалась даром красноречия. Студент кивнул им в ответ, продолжая читать то, что было напечатано на бумаге, в которую завернули ему сыр. Бумага оказалась листом, вырванным из какой-то старой книги поэтического содержания.

— У меня этого добра еще много! — сказал лавочник. — Книжка досталась мне от одной старухи за горсточку кофейных зерен. Хотите дать восемь скиллингов, так берите все остальные листы.

— Спасибо! — сказал студент. — Дайте мне их вместо сыра! Я могу обойтись и одним хлебом с маслом! Грех был бы, если бы всю книгу изорвали в клочки! Вы — отличный человек, практический человек, но в поэзии смыслите не больше этой бочки!

Он выразился довольно невежливо, особенно по отношению к бочке, но лавочник рассмеялся, и студент тоже: он, так сказать, пошутил только. Зато домовый обиделся: как смели сказать такую вещь самому домовладельцу, продавцу лучшего масла!

Наступила ночь, лавку заперли, и все, кроме студента, улеглись спать.

Домовой вошел в спальню и взял язычок хозяйки, ведь он ей не нужен был, пока она спала. Стоило домовому прикрепить этот язычок к какому-нибудь предмету в лавке тот сейчас получал дар слова и мог высказать все свои мысли и чувства не хуже самой лавочницы. И хорошо,

что язычок мог служить лишь одному предмету заразу, а то они просто бы оглушили друг друга.

Домовой прикрепил язычок к бочке, в которую сваливались старые газеты, и спросил ее:

— Вы в самом деле не знаете, что такое поэзия?

— Знаю! — отвечала она. — Это обыкновенно печатается в подвальных столбцах газеты и потом отрезается. Полагаю, что во мне этого добра побольше, чем у студента, а я ведь только ничтожная бочка в сравнении с самим лавочником.

Потом домовой прикрепил язычок к кофейной мельнице — то-то она замолела! Затем — к кадочке из-под масла и, наконец, к выручке. Все оказались одного мнения, а с мнением большинства приходится уж считаться!

— Постой же ты, студентик! — сказал домовой и тихонько поднялся по черной лестнице на чердак, где жил студент. В каморке было светло; домовой приложился глазком к замочной скважине и увидел, что студент сидит и читает рваную книгу; но какой свет разливался от нее! Один яркий луч, исходящий из книги, образовывал как бы ствол великолепного дерева, которое упиралось вершиной в самый потолок и широко раскинуло свои ветви над головой студента. Листья его были один свежее другого, каждый цветок — прелестною девичьей головкой с жгучими черными или с ясными голубыми глазами, а каждый плод — яркою звездой. И что за дивные пение и музыка звучали в каморке!

Нет, крошка домовой не только никогда не видел и не слышал ничего такого на самом деле, но и представить себе не мог! Он так и замер на цыпочках у дверей и все глядел, глядел, пока свет не потух. Студент уже потушил лампу и улегся в постель, а домовой все стоял на том же месте: дивная мелодия все еще звучала в комнате, убаюкивая студента.

— Вот так чудеса! — сказал домовой. — Не ожидал! Право, я думаю переселиться к студенту! — Подумав хорошенько, он, однако, вздохнул: — У студента нет каши!

И он спустился — да, спустился опять вниз к лавочнику. И хорошо сделал: бочка чуть было не истрепала весь язычок хозяйки, высказывая, как следует смотреть на содержимое ее с одной стороны, и уже собиралась было повернуться, чтобы выяснить дело и с другой. Домовой снес язычок обратно хозяйке, но с тех пор вся лавка — от выручки до растопок — была одного мнения с бочкой и стала относиться к ней с таким уважением, так уверовала в ее богатое содержание, что, слушая, как лавочник читал что-нибудь в вечернем «Вестнике» о театре или об искусстве, твердо верила, что и это все взято из бочки.

Но крошка домовой уже не сидел, как бывало прежде, спокойно на своем месте, прислушиваясь ко всей этой премудрости: едва только в каморке у студента показывался свет, домового неудержимо влекло туда, словно лучи этого света были якорными канатами, а сам он — якорем.

Он глядел в замочную скважину, и его охватывало такое же чувство, какое испытываем мы при виде величавой картины взволнованного моря в час, когда над ним пролетает ангел бури. И домовый не мог удержаться от слез; он и сам не знал, почему плачет: слезы лились сами собою, а самому ему было и сладко, и больно. Вот бы посидеть вместе со студентом под самым деревом! Но чему не бывать, тому и не бывать — домовый рад был и замочной скважине. И он простаивал целые часы в холодном коридоре, даже когда наступила осень. Из слухового окна дуло, стоял страшный холод, но крошка домовый не чувствовал ничего, пока свет не гас и чудное пение не замирало окончательно. У! Как он дрожал потом и торопился пробраться в свой уютный и теплый уголок в лавке. Зато когда дело доходило до рождественской каши с маслом, то на первом плане был уж лавочник.

Но как-то ночью домовый проснулся от страшного грохота: в ставни барабанили с улицы кулаками, ночной сторож давал свистки; где-то загорелось, и вся улица была как в огне. Где же был пожар — в самом ли доме или у соседей? Вот ужас! Лавочница так растерялась, что выхватила из ушей свои золотые сережки и сунула их в карман, чтобы хоть что-нибудь спасти; лавочник кинулся к своим процентным бумагам, а служанка — к своей шелковой мантилье — франтиха была! — словом, каждый старался спасти что получше. И вот крошка домовый в два прыжка очутился на верху чердачной лестницы и шмыгнул в каморку студента, который преспокойно смотрел на пожар в открытое окно: горело у соседей. Крошка домовый схватил со стола дивную книгу, сунул ее в свой красный колпачок и прижал его обеими руками к груди: лучшее сокровище дома было спасено! Потом он взобрался на самую крышу, на верхушку трубы, и сидел там, освещенный ярким заревом пожара, крепко держа обеими руками красный колпачок с сокровищем. Теперь он знал, чему, собственно, принадлежит всем сердцем! Но когда пожар затушили и домовый пришел в себя, он сказал:

— Да, я разделюсь между обоими! Нельзя же мне совсем оставить лавочника: а каша-то?

И он рассудил совершенно по-человечески! И мы все тоже держимся лавочника — ради каши!



ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ ЛЕТ

Да, через тысячу лет обитатели Нового Света прилетят в нашу старую Европу на крыльях пара — по воздуху! Они явятся сюда осматривать памятники и развалины, как мы теперь осматриваем остатки бывшего величия южной Азии.

Они прилетят в Европу через тысячу лет! Темза, Дунай, Рейн будут течь по-прежнему; Монблан все так же гордо будет поднимать свою снежную вершину, северное сияние — освещать полярные страны, но поколения за поколениями уже превратятся в прах, длинный ряд минутных знаменитостей будет забыт, как забыты имена тех, что почивают в кургане, на котором благодушный мельник, собственник его, поставил себе скамеечку, чтобы сидеть тут и любоваться ровно волнующеюся нивой.

— В Европу! — воскликнут юные поколения американцев. — В страну наших отцов, в страну чудных воспоминаний, в Европу!

Воздушный корабль прибывает; он переполнен пассажирами и мчится куда быстрее парохода. Электромагнитная проволока, протянутая под морем, уже передала, как велико число пассажиров воздушного поезда. Вот показалась и Европа, берега Ирландии, но пассажиры еще спят: они велели разбудить себя только над самой Англией. Тут они спустятся на землю и очутятся в стране Шекспира, как зовут ее сыны муз, или в стране машин и политики, как зовут ее другие.

Целый день стоит здесь поезд — вот сколько времени может недосужее поколение уделить великой Англии и Шотландии!

Дальше путь идет по подводному туннелю; ведет он во Францию, страну Карла Великого и Наполеона. Вспоминается имя Мольера, ученые заводят разговор о классической и романтической школах седой древности, восхваляют героев, поэтов и людей науки, которых еще не знает наше время, но которые должны народиться в европейском кратере — Париже.

Из Франции воздушный корабль несется в страну, откуда вышел Колумб, где родился Кортес, где слагал звучными стихами свои драмы

Кальдерон. В ее цветущих долинах еще живут черноокие красавицы, а в старинных песнях живет имя Сиды, упоминается Альгамбра.

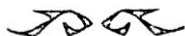
Перелетают море, и вот путешественники в Италии, где лежал когда-то древний «вечный город» Рим. Он исчез с лица земли, Кампанья превратилась в пустыню, от собора Петра осталась одна полуразрушенная стена; ее показывают всем путешественникам, но подлинность ее подлежит сомнению.

Дальше — в Грецию, чтобы проспать ночь в роскошном отеле на вершине Олимпа; тогда дело сделано: были дескать и там! Поезд направляется к берегам Босфора, чтобы остановиться на несколько часов у того места, где некогда лежала Византия. Бедные рыбаки закидывают свои сети у тех берегов, где, по преданию, расстились во времена турецкого владычества гаремные сады.

Пролетают над развалинами больших городов по берегам Дуная — городов этих наше время еще не видало. То тут, то там спускается воздушный поезд, останавливаясь на местах, богатых воспоминаниями, которые еще породит время.

Вот внизу Германия, некогда сплошь опутанная густою сетью железных дорог и каналов, — страна, где проповедовал Лютер, пел Гете, держал композиторский скипетр Моцарт. И другие великие имена сияют в науке и искусстве, имена, которых мы еще не знаем. Один день посвящается обозрению Германии, один — странам севера: родине Эрстеда, родине Линнея и Норвегии, стране древних героев и юных норвежцев; Исландию захватывают на обратном пути. Гейзер не кипит более, Гекла потухла, но могучий скалистый остров возвышается из пены морских волн, как вечный памятник саг.

— В Европе есть на что посмотреть! — говорят юные американцы. — И мы осмотрели все в одну неделю. Это вполне возможно, как уже доказал и великий наш путешественник — называют имя современника — в своем знаменитом сочинении *«Вокруг Европы в восемь дней»*.



ПОД ИВОЮ

Окрестности Къёге довольно голы; положим, город лежит на самом берегу моря, а это уж само по себе красиво, но все же окрестности могли бы быть покрасивее. А то куда ни обернешься — плоское, ровное пространство, до леса нескоро и доберешься. Освоившись хорошенько с местностью, можно, впрочем, и тут напасть на такие красивые местечки, что потом будешь скучать о них даже в самом восхитительном уголке земного шара. Вот, например, на самой окраине города сбегали вниз к быстрой речке два простеньких, бедненьких садика, и летом здесь было прелесть как хорошо! Особенно для двух ребятишек: Кнуда и Иоганны, которые день-деньской играли тут; они были соседями и пролезали друг к другу сквозь кусты крыжовника, разделявшего их садики. В одном из садиков росла бузина, в другом — старая ива. Под ивою-то дети особенно и любили играть — им позволяли, хотя дерево и стояло почти у самой речки, так что они легко могли упасть в воду. Ну да Господь Бог сам охраняет «малых сих», а не то было бы плохо! Впрочем, дети были очень осторожны, а мальчик, так тот просто боялся воды; другие ребятишки весело плещутся себе, бывало, в заливе, бегают по воде, шалят, а его и не заманить туда. За то Кнуду и приходилось сносить немало насмешек; но вот Иоганне раз приснилось, что она плыла по заливу в лодке, и Кнуд преспокойно пошел к ней навстречу прямо по воде, а вода-то сначала была ему по шею, потом же покрыла его с головой! Полно с тех пор Кнуду терпеть насмешки! Назовут его трусом, а он сейчас и указывает на сон Иоганны: вон я какой храбрый! Очень он гордился своею храбростью, но от воды все-таки держался подальше.

Бедняки — родители ребятишек были соседями, виделись друг с другом ежедневно, а Кнуд и Иоганна целыми днями играли вместе в садиках и на дороге, обсаженной по обеим сторонам вдоль канав ивами. Красотой эти ивы не отличались, верхушки их были обломаны, да они и стояли-то тут не для красоты, а для пользы. Старая ива в саду была куда красивее, и под нею ребятишки провели немало веселых часов.

В Къёге есть большая площадь, и во время ярмарки на ней выстраивались целые улицы из палаток, в которых торговали лентами, сапогами

и разною разностью. Во время ярмарки всегда бывала давка и суматоха и почти всегда шел дождик; во влажном воздухе так и пахло крестьянскими кафтанами и — что куда приятнее — медовыми коврижками. Целая лавка битком бывала набита коврижками! Славно! А что еще лучше — хозяин лавочки останавливался у родителей Кнуда, и мальчику, конечно, перепадало всякий раз по коврижке, которую он сейчас же делил с Иоганной. Важнее же всего было то, что продавец коврижек умел рассказывать чудесные истории почти обо всякой вещи, даже о своих коврижках. Однажды вечером он рассказал детям историю, которая произвела на них такое сильное впечатление, что они не могли забыть ее никогда. Не мешает, пожалуй, и нам послушать ее, тем более что она очень коротка.

— На прилавке лежало две коврижки, — рассказывал торговец. — Одна изображала кавалера в шляпе, другая — девицу, без шляпы, но с полоской сусального золота на голове. Лицо у них было только на одной стороне, которою они лежали кверху. С этой-то лицевой стороны на них и надо было смотреть, а отнюдь не с оборотной, и так следует смотреть на всех людей вообще. У кавалера в левом боку торчала горькая миндалинка — это было его сердце, девица же была чистою медовою коврижкой. Лежали они на прилавке как образцы, лежали долго, ну и полюбили друг друга, но ни тот, ни другая ни гу-гу об этом, а так нельзя, если хочешь, чтобы любовь привела к чему-нибудь!

«Он — мужчина и должен заговорить первый!» — думала девица, хотя и была бы довольна одним сознанием, что любовь ее встречает взаимность. — Кавалер же, как и все мужчины, питал довольно кровожадные замыслы. Он мечтал, что он — живой уличный мальчишка, в кармане у него четыре скиллинга, и вот он покупает девицу и — съедает ее!..

Так они лежали на прилавке дни за днями, недели за неделями и сохли; мысли девицы становились все нежнее и женственнее. «Я довольна и тем, что лежу рядом с ним!» — думала она и вдруг треснула пополам. «Знай она, что я люблю ее, она, пожалуй, еще продержалась бы!» — подумал он.

— Вот вам и вся история, а вот и сами коврижки! — добавил торговец сластями. — Они замечательны историей своей жизни и своею немой любовью, которая никогда ни к чему не ведет! Ну, возьмите их себе!

И он дал Иоганне уцелевшего кавалера, а Кнуду треснувшую девицу. Рассказ, однако, так подействовал на детей, что они не могли решиться съесть парочку.

На другой день они отправились с коврижками на кладбище; церковные стены были густо обвиты и летом, и зимою чудеснейшим плющом, словно зеленый ковер был повешен! Дети положили коврижки на травку, на самое солнышко, и рассказали толпе ребятишек историю немой любви,

которая никуда не годится, то есть любовь, а не история. История-то была прелестна, все согласились с этим и поглядели на медовую парочку, но... куда же девалась девица? Ее съел под шумок один из больших мальчиков — вот какой злой! Дети поплакали о девице, а потом — верно, из жалости к бедному одинокому кавалеру — съели и его, но самой истории не забыли.

Кнуд и Иоганна были неразлучны, играли то под бузиною, то под ивою, и девочка распевала своим серебристым, звонким, как колокольчик, голосом прелестные песенки. У Кнуда голоса не было никакого, зато он твердо помнил слова песен — все-таки хоть что-нибудь! Горожане останавливались и заслушивались Иоганну; особенно же восхищалась ее голосом жена торговца металлическими изделиями.

— Соловьиное горлышко у этой малютки! — говорила она.

Да, славные то были денечки, но не вечно было им длиться!.. Соседям пришлось расстаться: мать Иоганны умерла, отец собирался жениться в Копенгагене на другой и, кстати, рассчитывал пристроиться там посыльным при одном учреждении — должность, как говорили, была очень доходная. Соседи расстались со слезами; особенно плакали дети, но старики обещали писать друг другу по крайней мере раз в год. Кнуда отдали в ученье к сапожнику — полно такому большому мальчику слоняться без дела! А потом его и конфирмовали.

Как хотелось ему в этот торжественный день отправиться в Копенгаген повидать Иоганну! Но, конечно, он не отправился ни в этот день, ни потом, хотя Копенгаген и лежит всего в пяти милях от Кьёге, и в ясную, тихую погоду через залив видны были столичные башни. В день же конфирмации Кнуд ясно видел даже золотой купол собора Богоматери.

Ах, как он скучал по Иоганне! А вспоминала ли о нем она?

Да! К Рождеству родители Кнуда получили письмо от ее отца. В нем говорилось, что в Копенгагене им повезло и что славный голосок Иоганны сулит ей большое счастье. Она уже была принята в театр, где поют, и даже зарабатывала кое-что. Из заработка своего она и посылала дорогим соседям на рождественские удовольствия целый риксдалер! Пусть в Кьёге выпьют за ее здоровье! В письме была и собственноручная приписка Иоганны: «Дружеский привет Кнуду!»

Все плакали от радости. У Кнуда только и дум было, что об Иоганне, а теперь выходило, что и она о нем думает! И вот чем ближе подходил срок его ученья, тем яснее ему становилось, что он любит Иоганну — значит, она должна стать его женою! При этой мысли все лицо его озарялось улыбкой, и он еще бойчее продергивал дратву, в то время как нога натягивала ремень. Он проколол себе шилом палец и даже не заметил! Уж он-то не будет молчать, как те коврижки, — их история научила его кое-чему.



И вот он — подмастерье. Теперь — котомку на спину и — марш в первый раз в жизни в Копенгаген! У него уже был там на примете один мастер. Вот Иоганна-то удивится и обрадуется ему! Ей уже теперь семнадцать лет, а ему девятнадцать.

Кнуд хотел было тут же, в Къёге, запастись золотым колечком для нее, да потом сообразил, что в Копенгагене можно купить получше. Простившись со стариками родителями, он бодро зашагал по дороге; пора стояла осенняя: дождь, непогода, листья с деревьев так и сыпались. Усталый, промокший до костей, добрался наконец Кнуд до столицы и до нового хозяина.

В первое же воскресенье он собрался навестить отца Иоганны, надел новое платье и — в первый раз в жизни — новую шляпу, купленную еще в Къёге; она очень шла к нему; до сих же пор он ходил всегда в фуражке. Вот Кнуд отыскал дом и поднялся вверх по лестнице. Сколько тут было ступенек! Просто голова кружилась при одной мысли о том, что люди могут жить так, почти что на головах друг у друга.

Зато в самом помещении было уютно, и отец Иоганны встретил Кнуда очень ласково. Для хозяйки дома Кнуд был совершенно посторонним человеком, но и она подала ему руку и угостила чашкой кофе.

— Вот Иоганна-то обрадуется тебе! — сказал отец. — Ишь ты каким молодцом стал! Ну, сейчас увидишь ее! Да, вот так девушка! Она нас так радует и, Бог даст, порадует еще больше! У нее своя комната, она платит нам за нее!

И папаша очень вежливо, словно чужой, постучался в дверь дочки. Они вошли. Батюшки! Какая прелесть! Такой комнаты не нашлось бы во всем Къёге! У самой королевы вряд ли могло быть лучше! Тут был и ковер, и длинные занавеси до самого пола, бархатный стул, цветы, картины и большое зеркало, в которое можно было с разбега ткнуться лбом, приняв его за дверь. Все это сразу бросилось в глаза Кнуду, но видел он все-таки одну Иоганну. Она стала совсем взрослою девушкой, но вовсе не такою, какою воображал ее себе он, — куда лучше! Во всем Къёге не сыскать было такой девушки. Какая она была нарядная, изящная! Но как странно взглянула она на Кнуда — точно на чужого. Зато в следующую же минуту она так и бросилась к нему, словно хотела расцеловать. Поцеловать-то она не поцеловала, но готова была. Да, очень она обрадовалась другу детства! Слезы выступили у нее на глазах, а уж сколько вопросов она назадала ему: и о здоровье родителей его, и о бузине, и об иве, которых она звала, бывало, «матушкой» и «батюшкой», точно деревья были людьми. Впрочем, смотрели же Кнуд с Иоганной когда-то и на коврижки как на людей. Иоганна вспомнила и о них, о их немой любви, о том, как они лежали рядом на прилавке и как девица треснула пополам. Тут Иоганна весело рассмеялась, а Кнуд весь вспыхнул, и сердце его так и застучало. Нет, она совсем не переменилась, не

заважничала! И он отлично заметил, что это она заставила родителей попросить его остаться у них на целый вечер. Иоганна разливала чай и сама подала Кнуду чашку, а потом принесла книгу и прочла им из нее кое-что вслух. И Кнуду показалось, что она прочитала как раз историю его собственной любви — так подходило каждое слово к его мыслям. Затем она спела простенькую песенку, которая, однако, превратилась в ее устах в настоящую поэму; казалось, в ней вылилась вся душа Иоганны. Разумеется, она любила Кнуда! Слезы текли по его щекам, он не мог справиться с собою, не мог даже выговорить слова. Самому ему казалось, что он выглядит таким глупым, но она пожала ему руку и сказала:

— У тебя доброе сердце, Кнуд! Оставайся таким всегда!

Что это был за чудный вечер! И мыслимо ли было заснуть после того? Кнуд так и не спал всю ночь. На прощанье отец Иоганны сказал:

— Ну, не забывай же нас! Не пропусти всю зиму, не заглянув к нам!

Значит, ему можно было опять прийти к ним в воскресенье; так он и решил сделать. Но каждый вечер по окончании работ — а работали они еще долго и при огне — Кнуд отправлялся бродить по городу, заходил в улицу, где жила Иоганна, и смотрел на ее окно. В нем почти всегда виднелся свет, а раз он увидал на занавеске тень ее профиля! Вот-то был чудный вечер! Жена его хозяина, правда, не очень была довольна такими вечерними прогулками, как она выражалась, покачивая головой, но сам хозяин только посмеивался:

— Э, пусть себе! Человек он молодой!

«В воскресенье мы опять увидимся, — размышлял Кнуд, — и я скажу ей, что она не выходит у меня из головы и потому должна быть моею женой. Правда, я еще бедный подмастерье, но могу сделаться и мастером, по крайней мере «вольным мастером»; я буду работать, стараться!.. Да, да, я скажу ей все! Из «немой любви» ничего не выйдет! Я уж знаю это из истории о коврижках».

Воскресенье настало, и Кнуд явился к родителям Иоганны, но как неудачно! Все трое собирались куда-то — так и пришлось ему сказать; Иоганна же пожала ему руку и спросила:

— А ты был в театре? Надо побывать! Я пою в среду, и, если ты свободен вечером, я пришлю тебе билет. Отец знает, где живет твой хозяин.

Как это было мило с ее стороны! В среду Кнуд получил запечатанный конверт, без всякого письма, но с билетом. Вечером Кнуд в первый раз в жизни отправился в театр. Кого же он увидал там? Иоганну! И как она была прелестна, обворожительна! Правда, она выходила замуж за какого-то чужого господина, но ведь это же было только так, представление. Кнуд отлично знал это, иначе разве она прислала бы ему билет на такое зрелище? Народ хлопал в ладоши и кричал, и Кнуд тоже закричал «ура!».

Сам король улыбнулся Иоганне, как будто и он обрадовался ей. Каким маленьким, ничтожным показался теперь самому себе Кнуд! Но он так горячо любил ее, она его тоже, а первое слово ведь за мужчиной — так думали даже коврижки. О, в той истории было много поучительного!

Как только настало воскресенье, Кнуд пошел к Иоганне; он был в таком настроении духа, словно шел причащаться. Иоганна была дома одна и сама отворила ему дверь — случай был самый удобный.

— Как хорошо, что ты пришел! — сказала она ему. — Я чуть было не послала за тобой отца. Но у меня было предчувствие, что ты придешь сегодня вечером. Дело в том, что я уезжаю в пятницу во Францию. Это необходимо, если я хочу стать настоящей певицей.

Комната завертелась перед глазами Кнуда, сердце его готово было выпрыгнуть из груди, и, хотя он и не пролил ни одной слезинки, видно было, как он огорчен. Иоганна заметила все и чуть не расплакалась сама.

— Верная, честная ты душа! — сказала она.

И тут уж язык у Кнуда развязался, и он сказал ей все, сказал, что горячо любит ее и что она должна выйти за него замуж. И вдруг он увидел, что Иоганна побледнела. Она выпустила его руку и сказала ему печальным, серьезным тоном:

— Не делай ни себя, ни меня несчастными, Кнуд! Я всегда буду для тебя верною, любящею сестрою, но... не больше! — И она провела своею мягкою ручкой по его горячему лбу. — Бог дает нам силы перенести многое, если только мы сами хотим того!

В эту минуту в комнату вошла ее мачеха.

— Кнуд просто сам не свой от того, что я уезжаю! — сказала она. — Ну, будь же мужчиной! — И она потрепала его по плечу, как будто между ними только и разговору было, что об ее отъезде. — Дитя! — прибавила она. — Ну, будь же паинькой, как прежде под ивою, когда мы оба были маленькими!

Но Кнуду казалось, будто от света отвалился целый край, а собственные мысли его стали оторванными нитями, которые ветер треплет туда и сюда. Он остался сидеть, хоть и не знал, просили ли его оставаться. Хозяева были с ним, впрочем, очень милы и приветливы, Иоганна опять угощала его чаем и пела, хоть и не по-прежнему, но все же очень хорошо, так что сердце Кнуда просто разрывалось на части. И вот они расстались. Кнуд не протянул ей руки, но она сама схватила его руку и сказала:

— Дай же на прощанье своей сестре руку, мой милый товарищ детства! — И она улыбнулась ему сквозь слезы и шепнула: — Мой брат! Нашла чем утешить его! Так они и расстались.

Иоганна отплыла во Францию, а Кнуд по-прежнему бродил по вечерам по грязным улицам города. Другие подмастерья спрашивали его,

чего это он все философствует, и звали его пойти с ними повеселиться, ведь и в нем небось кипела молодая кровь.

И они пошли вместе в увеселительное заведение. Там было много красивых девушек, но ни одной такой, как Йоганна. И тут-то как раз, где он думал забыть ее, она не выходила у него из головы, стояла перед ним как живая. «Бог дает нам силы перенести многое, если только мы сами хотим того!» — сказала она ему, и душою его овладело серьезное, торжественное настроение, он даже сложил руки, как на молитве, а в зале визжали скрипки, кружились пары... И он весь затрепетал: в такое место ему не следовало бы водить Йоганну — она всегда ведь была с ним, в его сердце! И он ушел, пустился бежать по улицам к тому дому, где она жила. В окнах было темно, кругом тоже темно, пусто, безотрадно... И никому не было дела до Кнуда; люди шли своею дорогою, а он своею.

Настала зима, реки замерзли, природа словно готовилась к смерти.

Но с наступлением весны и открытием навигации Кнуда охватило вдруг тоскливое желание уйти отсюда... бежать куда глаза глядят — только не во Францию.

И вот он вскинул котомку на спину и пошел бродить по Германии, переходя из одного города в другой, не зная ни отдыха, ни покоя. Только в старинном прекрасном городке Нюрнберге тоска его как будто затихла немного, и он мог остановиться.

Нюрнберг — диковинный городок, словно вырезанный из какой-нибудь старинной иллюстрированной хроники. Улицы идут, куда и как хотят сами, дома не любят держаться в ряд, повсюду выступы, какие-то башенки, завитушки, из-под сводов выглядывают статуи, а с высоты диковинных крыш сбегают на улицы водосточные желоба в виде драконов или собак с длинными туловищами.

Кнуд стоял с котомкою за плечами на Нюрнбергской площади и смотрел на старый фонтан, на его библейские и исторические фигуры, орошаемые брызгами воды. К фонтану подошла зачерпнуть воды красивая девушка; она дала Кнуду напиться и подарила розу — в руках у нее был целый букет роз. Кнуд счел это добрым предзнаменованием и решил остаться в городе.

Из церкви доносились до него могучие звуки органа; что-то знакомое, родное слышалось в них — как будто они неслись из Кьёгской церкви. И он зашел в величественный собор. Солнышко светило сквозь расписные стекла окон, играло на стройных, высоких колоннах, и душой Кнуда овладело тихое, благоговейное настроение.

Скоро он нашел себе хорошего хозяина, стал работать и учиться языку.

Рвы, окружавшие город в старину, давно были обращены жителями в маленькие огороды, но высокие каменные крепостные стены с башнями

возвышались еще по-прежнему. Канатный мастер вил свои канаты в старой бревенчатой галерее, тянувшейся вдоль одной из стен. Из всех щелей и дыр галереи росла бузина; она свешивала свои ветви к маленьким низеньким домикам, ютившимся внизу, а в одном-то из них как раз и жил хозяин Кнуда. Ветви бузины лезли прямо в окошко его каморки, помещавшейся под самую крышей.

Кнуд прожил тут лето и зиму, но, когда пришла весна, здесь стало невыносимо: бузина зацвела, и аромат ее так напоминал Кнуду его родину и сад в Кьёге, что он не выдержал и перебрался от своего хозяина к другому, жившему ближе к центру города: тут уж бузины не было.

Новый хозяин жил возле старого каменного моста, перекинутого через бурливую речку, словно ущемленную между двумя рядами домов; прямо против дома стояла вечно шумящая водяная мельница. У всех домов были балконы, но такие старые и ветхие, что дома, казалось, только и ждали удобной минуты стряхнуть их с себя в воду. Тут, правда, не росло ни единого кустика бузины, на окнах не виднелось даже цветочных горшков с какой-нибудь зеленью, зато перед самыми окнами стояла большая старая ива! Она словно цеплялась за дом, чтобы не свалиться в реку, и свешивалась к воде своими гибкими ветвями — точь-в-точь как ива в саду в Кьёге.

Кнуд убежал от «матушки» и наткнулся на «батюшку!» Дерево это, особенно лунными вечерами, казалось Кнуду таким родным, таким знакомым, что он чувствовал себя «кровным датчанином при лунном свете»¹.

Но дело-то было вовсе не в лунном свете, а в старой иве.

И тут Кнуду стало невтерпёж, а почему? Спросите иву, спросите цветущую бузину! Кнуд распростился с хозяином и с Нюрнбергом и пошел дальше.

Ни с кем не говорил он об Иоганне, глубоко в сердце схоронил он свое горе; история же о двух коврижках приобрела теперь для него особенно глубокое значение. Теперь он понял, почему у кавалера сидела в груди горькая миндалина: у него самого вся душа была отравлена горечью; Иоганна же, всегда такая ласковая, приветливая, была чисто медовою коврижкой!.. И ему стало не по себе; должно быть, ремень котомки слишком давил ему грудь — трудно было перевести дух. Он ослабил ремень, но толку не вышло: окружающий его мир давно уже как-то сузился для него, как бы убавился на целую половину, и эту-то половину Кнуд носил в себе — вот оно что! Вот отчего ему было так тяжело.

Только при виде высоких гор он почувствовал, что на сердце у него стало как будто полегче, границы света опять как будто расширились, а

¹ Слова из популярного датского водевиля, соч. г-жи И. Гейберг. — *Примеч. перев.*

с ними и его кругозор; мысли невольно обратились к окружающему, и на глазах выступили слезы. Альпы показались ему сложенными крыльями земли. Что, если бы она развернула, распустила эти огромные крылья, испещренные чудными рисунками: темными лесами, бурливыми водопадами, облаками и снежными массами! «В день страшного суда так и будет! Земля развернет свои широкие крылья, полетит к Богу и лопнет, как мыльный пузырь, в лучах его света! Ах, если бы это было сегодня!» — вздыхал Кнуд.

Тихо брел он по стране, казавшейся ему цветущим фруктовым садом. С деревянных балкончиков кивали ему головками девушки-кружевницы; вершины гор горели от лучей вечернего солнца как жар. Он взглянул на зеленые озера, окруженные темными деревьями, и вспомнился ему берег Къёгского залива... Но в душе его уже не было прежней смертной тоски, она сменилась тихой грустью.

Там, где Рейн одною бесконечною волною стремится вперед, обрывается со скалы и, разбиваясь о камни, выбрасывает в воздух белоснежные облачные массы, как будто тут была колыбель облаков, где радуга порхает над водою, словно выходящая по ветру лента, — Кнуду вспомнилась водяная мельница в Къёге, где вода тоже кипела и разбивалась в облачную пену под колесами.

Он охотно остался бы в тихом прирейнском городке, но здесь так много было ив и бузины! И он отправился дальше, за высокие величественные горы, проходил по туннелям и по горным тропинкам, лепившимся возле отвесных, как стены, гор, словно ласточкины гнезда. В глубине пропастей шумели водопады, облака ползли под его ногами, а он все шел да шел под теплыми лучами солнца, по чертополоху, альпийским розам и снегам, дальше и дальше, и вот наконец прощай, север! Кнуд спустился в долину и очутился в тени каштанов, дорога лежала мимо виноградников и маисовых полей. Горы встали стеною между ним и всеми воспоминаниями; так оно и следовало.

Вот Кнуд и в большом великолепном городе Милане нашел немецкого мастера и стал у него работать. Хозяева его оказались славными, честными и трудолюбивыми людьми; они от души полюбили тихого, кроткого и набожного юношу, который мало говорил, но много работал. И у него самого на душе стало как будто полегче; казалось, Бог наконец сжалился над ним и снял с его души тяжелое бремя.

Первым удовольствием стало для Кнуда взбираться на самый верх величественного мраморного собора, словно изваянного со всеми своими остроконечными башнями, шпицами, высокими сводами и лепными украшениями из снегов его родины. Из каждого уголка, выступа, из-под каждой арки улыбались ему белые мраморные статуи. Он взбирался на самую вершину: над головою его расстиралось голубое небо, под ногами — город, а кругом вширь и вдаль раскинулась Ломбардская долина,

ограниченная к северу высокими горами, вечно покрытыми снегом. Он вспоминал при этом Кьёгскую церковь, ее красные увитые плющом стены, но воспоминание это не будило в нем тоски по родине. Нет, пусть его схоронят тут, за горами!

Целый год прожил он в Милане; прошло уже три года с тех пор, как он покинул родину. И однажды хозяин повел его на представление — не в цирк, смотреть наездников, а в оперу. Что это был за театр, какая зала! Стоило посмотреть! Во всех семи ярусах — шелковые занавеси, и от самого пола до потолка — просто голова кружится, как поглядишь! — сидят разряженные дамы с букетами в руках, словно на бал собрались. Мужчины тоже в полном параде; многие в серебре и золоте. Светло было в зале, как на ярком солнышке, и вдруг загремела чудесная музыка. Да, тут было куда лучше, чем в Копенгагенском театре, но там зато была Иоганна, а тут... Что это, колдовство? Занавес поднялся и на сцене тоже стояла Иоганна, вся в шелку и золоте, с золотой короной на голове! Она запела, как могут петь разве только ангелы небесные, и выступила вперед... Она улыбалась так, как могла улыбаться одна Иоганна, она смотрела прямо на Кнуда!..

Бедняга схватил своего хозяина за руку и вскричал:

«Иоганна!» Но крик его был заглушен музыкой; хозяин же кивнул в ответ головою и сказал: «Да, ее зовут Иоганной!» И он показал на печатный листок — там стояло ее полное имя.

Да, это был не сон! И весь народ ликовал: ей бросали цветы и венки, и, стояло ей уйти, ее опять звали назад; она уходила и выходила, уходила и опять выходила.

На улице карету ее окружила толпа, выпрягла лошадей и повезла ее. Кнуд был впереди всех, веселее всех, и, когда они добрались наконец до великолепно освещенного дома, где жила Иоганна, Кнуд встал перед самыми дверцами кареты. Дверцы отворились, и она вышла. Свет падал ей прямо в лицо; она улыбалась и ласково благодарила всех; она была растрогана... Кнуд не сводил с нее глаз, она тоже посмотрела на него, но не узнала. Господин со звездой на груди подал ей руку: это был ее жених — толковали в народе.

Кнуд пришел домой, и — котомку на плечи! Он хотел, он должен был вернуться на родину, к бузине, к иве... ах, *под иву!*

Хозяева просили его остаться, но все уговоры были напрасны. Они говорили ему, что дело идет к зиме, что все горные проходы уже занесены снегом. Нужды нет, он мог идти за медленно двигающеюся почтовою каретой, ведь для нее-то уж расчистят дорогу!

И он побрел с котомкой за спиной, опираясь на свою палку, взбирался на горы, опять спускался; силы его уже начали слабеть, а он все еще не видел перед собою ни города, ни жилья; шел он все на север, над головой его загорались звезды, ноги его подкашивались, голова кружи-

лась... В глубине долины тоже загорались звездочки, словно и под ногами у него расстиралось небо. Кнуду нездоровилось. Звездочки внизу все прибывали и прибывали, становились все светлее, двигались туда и сюда. Это блестели в одном маленьком городке огоньки в окнах домов, и, когда Кнуд сообразил, в чем дело, он собрал последние силы и кое-как доплелся до постоянного двора.

Целые сутки пробыл он тут; все тело его просило отдыха. Сделалась оттепель, в долине стояла страшная слякоть и грязь, но на другое утро явился шарманщик, заиграл датскую песню, и Кнуд сейчас же отправился в путь. Много дней шел он, не останавливаясь, торопясь изо всех сил, как будто дело шло о том, чтобы застать в живых домашних. Ни с кем не говорил он о своей тоске, никто не мог и подозревать о его глубочайшем сердечном горе; да и что за дело людям до такого горя — оно не интересно; нет до него дела даже друзьям; у Кнуда, впрочем, и не было друзей. Чужой всем, пробирался он по чужой земле на родину, на север. В единственном полученном им больше года тому назад из дому письме говорилось: «Ты не настоящий датчанин, как мы все: мы ужасно привязаны к своей родине, а тебя все тянет в чужие страны!» Да, родители могли так писать — они ведь знали его.

Смеркалось; Кнуд шел по большой дороге; в воздухе уже становилось холоднее, а сама почва — ровнее, больше встречалось лугов и полей. У дороги стояла большая ива, и вся окрестность была такою родною, чисто датскою! Кнуд сел под иву; он очень устал, голова его упала на грудь, глаза закрылись, но он ясно чувствовал, что ива ласково склонилась к нему ветвями. Дерево было похоже на могучего, сильного старца... на самого «батюшку!» «Батюшка» нагнулся к Кнуду, взял его в объятия, как усталого сына, и понес домой, в Данию, на открытый морской берег, в садик, где он играл еще ребенком... Да, это был сам «батюшка» из Къёге, он пошел искать сына по белу свету, нашел его и принес в садик возле речки! Тут же стояла и Иоганна, разодетая, с короной на голове, какую Кнуд видел ее в последний раз. И она встретила его радостным: «Добро пожаловать!»

Тут же, возле, стояли две чудные фигуры, и все же они походили теперь на людей куда больше, чем во времена детства Кнуда, — и они тоже изменились. То были две коврижки: кавалер и девица; они стояли к Кнуду лицевою стороною и были на вид хоть куда.

— Спасибо тебе! — сказали они. — Ты развязал нам язык! Ты объяснил нам, что нужно свободно высказывать свои мысли, а иначе не будет никакого толку! Ну вот теперь и вышел толк: мы — жених и невеста!

И они пошли рука об руку по улицам Къёге и даже с оборотной стороны были ничего себе, вполне приличны! Они направились прямо в церковь; Кнуд с Иоганной за ними, тоже рука об руку. Церковь ничуть



не переменилась, чудесный плющ все так же вился по красным стенам. Главные двери были отворены настежь; слышались звуки органа. Коврижки вошли в церковь и вдруг отступили в сторону. «Господа вперед!» — сказали они, и Кнуд с Иоганной очутились впереди. Оба преклонили колени, и Иоганна склонилась головкой к лицу Кнуда. Из глаз ее текли холодные, ледяные слезы — это растаял от горячей любви Кнуда лед ее сердца. Слезы ее упали на его пылающие щеки, и — он проснулся и увидал, что сидит под старою ивой, в чужой стороне, в холодный зимний вечер, один-одинешенек... Ледяной град так и колот ему лицо.

— Я пережил сейчас блаженнейшие минуты в моей жизни! — сказал он. — И то во сне! Боже, дай же мне опять заснуть! — И он закрыл глаза, заснул, сладко задремал.

Утром пошел снег, совсем занес его ноги, а он все спал. Сельчане шли в церковь и увидали на дороге мертвого подмастерья: он замерз под ивою.



ПЯТЬ ИЗ ОДНОГО СТРУЧКА

В стручке сидело пять горошин; сами они были зеленые, стручок тоже, ну они и думали, что и весь мир — зеленый; так и должно было быть! Стручок рос, росли и горошины; они принаравливались к помещению и сидели все в ряд. Солнышко освещало и пригревало стручок, дождик поливал его, и он делался все чище, прозрачнее; горошинам было хорошо, уютно, светло днем и темно ночью — как и следует. Они все росли да росли и все больше и больше думали, сидя в стручке: что-нибудь да надо же было делать!

— Век, что ли, сидеть нам тут? — говорили они. — Как бы нам не зачерстветь от такого сидения!.. А сдается нам, есть что-то и за нашим стручком! Уж такое у нас предчувствие!

Прошло несколько недель; горошины пожелтели, стручок тоже.

— Весь мир желтеет! — сказали они, и кто ж бы им помешал говорить так.

Вдруг они почувствовали сильный толчок — стручок был сорван человеческою рукой и сунут в карман к другим стручкам.

— Ну вот, теперь скоро нас выпустят на волю! — сказали горошины и стали ждать.

— А хотелось бы мне знать, кто из нас пойдет дальше всех! — сказала самая маленькая. — Впрочем, скоро увидим!

— Будь что будет! — сказала самая большая.

«Хрусть!» — стручок лопнул, и все пять горошин выкатились на Божий свет. Они лежали на детской ладони; маленький мальчик разглядывал их и говорил, что они как раз пригодятся ему для стрельбы из бузиновой трубочки. И вот одна горошина живо очутилась в трубочке, мальчик дунул, и она вылетела.

— Лечу, лечу, куда хочу! Лови, кто может! — закричала она, и след ее простыл.

— А я полечу прямо на солнце; вот настоящий-то стручок! Как раз по мне! — сказала другая.

Простыл и ее след.

— А мы куда придем, там и заснем! — сказали две следующие. — Но мы таки до чего-нибудь докатимся! — Они и правда прокатились по полу, прежде чем попасть в бузинную трубочку, но все-таки попали в нее. — Мы дальше всех пойдем!

— Будь что будет! — сказала последняя, взлетела кверху, попала на старую деревянную крышу и закатилась в щель, как раз под окошечком чердачной каморки. В щели был мох и рыхлая земля; мох спрятал горошину; так она и осталась лежать там скрытая, но не забытая Господом Богом.

— Будь что будет! — говорила она.

А в каморке-то жила бедная женщина. Она ходила на поденную работу: чистила печи, пилила дрова — словом, исполняла всякую тяжелую работу; сил у нее было довольно, охоты работать тоже не занимать, но из нужды она все-таки не выбивалась! Дома оставалась у нее ее единственная дочка-подросток. Она была такая худенькая, тщедушная; целый год уж лежала в постели ни в живых, ни в мертвых.

— Она уйдет к сестренке! — говорила мать. — У меня ведь их две было. Тяжеленько было мне кормить двоих; ну вот Господь Бог и поделил со мною заботу, взял одну к себе! Другую-то мне хотелось бы сохранить, да он, видно, не хочет разлучать сестер! И она уйдет к сестренке!

Но больная девочка все жила; терпеливо, смиренно лежала она день-деньской в постели, пока мать была на работе.

Дело было весною, рано утром, перед самым уходом матери на работу. Солнышко светило через маленькое окошечко прямо на пол, и больная девочка посмотрела в нижнее оконное стекло.

— Что это там зеленеет за окном? Так и колышется от ветра!

Мать подошла к окну и приотворила его.

— Ишь ты! — сказала она. — Да это горошинка пустила ростки! И как она попала сюда в щель? Ну вот, у тебя теперь будет свой садик!

Придвинув кровать больной поближе к окну, чтобы девочка могла любоваться зеленым ростком, мать ушла на работу.

— Мама, я думаю, что поправлюсь! — сказала девочка вечером. — Солнышко сегодня так пригрело меня. Горошинка, видишь, как славно растет на солнышке? Я тоже поправлюсь и выйду на солнышко.

— Дай-то Бог! — сказала мать, но не верила, что это сбудется.

Однако она подперла зеленый росток, подбодривший девочку, небольшою палочкой, чтобы он не сломился от ветра; потом взяла тоненькую веревочку и один конец ее прикрепила к крыше, а другой привязала к верхнему краю оконной рамы. За эту веревочку побеги горошины могли цепляться, когда станут подрастать. Так и вышло: побеги заметно росли и ползли вверх по веревочке.

— Ах, да она готовит цветы! — сказала женщина однажды утром и с этой минуты тоже стала надеяться и верить, что больная дочка ее поправится.

Ей припомнилось, что девочка в последнее время говорила как будто живее, по утрам сама приподнималась в постели и долго сидела, любуясь своим гороховым садиком с одною горошинкой; а как блестили при этом ее глазки! Через неделю больная в первый раз встала с постели на целый час. Как рада она была посидеть на солнышке! Окошко было отворено, а за окном покачивался вполне распутившийся бело-розовый цветочек. Девочка высунулась в окошко и нежно поцеловала тонкие лепестки. День этот был для нее настоящим праздником.

— Господь Бог сам посадил и взрастил цветочек, чтобы ободрить и порадовать тебя, милое дитяtko, да и меня тоже! — сказала счастливая мать и улыбнулась цветочку, как ангелу небесному, посланцу Божьему.

Ну а другие-то горошины? Та, что летела, куда хотела, — лови дескать кто может, — попала в водосточный желоб, а оттуда в голубиный зоб и лежала там, как Иона во чреве кита. Две ленивицы пошли так же далеко — их тоже проглотили голуби. Что ж, все-таки они принесли существенную пользу! А четвертая, что собиралась забраться на солнце, упала в канавку и лежала себе да бухла в заплесневелой воде.

— Как я славно раздобрела! — говорила горошина. — Право, я скоро лопну, а уж дальше этого, я думаю, не пойти ни одной горошине. Я самая замечательная из всех пяти!

Канавка была с нею вполне согласна.

А у окна, выходящего на крышу, стояла девочка, с блестящими глазами, румяная и здоровая; она сложила руки и благодарила Бога за гороховый цветочек.

— А я все-таки стою за мою горошину! — сказала канавка.



ОТПРЫСК РАЙСКОГО РАСТЕНИЯ

Высоко-высоко в светлом, прозрачном воздушном пространстве, летел ангел с цветком из райского сада. Ангел крепко поцеловал цветок, и от него оторвался крошечный лепесток и упал на землю. Упал он на рыхлую влажную лесную почву и сейчас же пустил корни. Скоро между лесными растениями появилось новое.

— Что это за чудной росток? — говорили те, и никто из них — даже чертополох и крапива — не хотел знаться с ним.

— Это какое-то садовое растение! — говорили они и поднимали его на смех.

Но оно все росло да росло, пышно раскидывая побеги во все стороны.

— Куда ты лезешь? — говорил высокий чертополох, весь усеянный колючками. — Ишь ты, распыжился! У нас так не водится! Мы тебе не подпорки!

Пришла зима, растение покрылось снегом, но от самого растения исходил такой блеск, что блестел и снег, словно освещенный снизу солнечными лучами. Весною растение зацвело — прелестнее его не было во всем лесу!

И вот явился раз профессор ботаники — так он и по бумагам значился. Он осмотрел растение, даже попробовал, каково оно на вкус. Нет, положительно оно не было известно в ботанике, и профессор так и не мог отнести его ни к какому классу.

— Это какая-нибудь разновидность! — сказал он. — Я не знаю его, оно не внесено в таблицы.

— Не внесено в таблицы! — подхватили чертополох и крапива.

Большие деревья, росшие кругом, слышали сказанное и тоже видели, что растение было не из их породы, но не проронили ни одного слова — ни дурного, ни хорошего. Да оно и вернее — промолчать, если не отличаешься умом.

Через лес проходила одна бедная невинная девушка.

Сердце ее было чисто, ум возвышен верою; все ее достояние заключалось в старой Библии, но со страниц ее говорил с девушкой сам Господь: «Станут обижать тебя, вспомни историю об Иосифе; ему тоже

хотели сделать зло, но Бог повернул злое на доброе. Если же будут преследовать тебя, глумиться над тобою, вспомни о Нем, невиннейшем, чистейшем Агнце, над Которым надругались, Которого пригвоздили ко кресту, и Который все-таки молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают!»

Девушка остановилась перед чудесным растением; зеленые листья его дышали таким сладким, живительным ароматом, цветы блестели на солнце радужными переливами, а из чашечек их лилась дивная мелодия, словно в каждой был неисчерпаемый колодезь чарующих созвучий. С благоговением смотрела девушка на дивное растение Божие, потом наклонилась, чтобы поближе рассмотреть цветы, поглубже вдохнуть в себя их аромат, — и душа ее просветлела, на сердце стало так легко! Как ей хотелось сорвать хоть один цветочек, но она не посмела, ведь он так скоро завял бы у нее. И она взяла себе лишь один зеленый листик, принесла его домой и положила в Библию. Там он и лежал — все такой же свежий, благоухающий, неувядаемый.

Да, он лежал в Библии, а сама Библия лежала под головою молодой девушки в гробу: несколько недель спустя девушка умерла. На лице ее застыло выражение торжественной, благоговейной серьезности, какое только и могло отпечататься на брэнной земной оболочке души, в то время как сама душа стояла перед престолом Всевышнего.

А чудесное растение по-прежнему благоухало в лесу; скоро оно разрослось в целое дерево; перелетные птицы слетались к нему стаями и низко преклонялись перед ним, в особенности ласточка и аист.

— Иностранные кривляки! — сказали чертополох и крапива. — У нас это не принято! Такое ломанье нам не к лицу!

И черные лесные улитки плевали на дерево.

Наконец пришел в лес свинопас надергать чертополоху и других растений, которые он сжигал, чтобы добыть себе золы, и выдернул в том числе со всеми корнями и чудесное растение. Оно тоже попало в его вязанку!

— Пригодится и оно! — сказал свинопас, и дело было сделано.

Между тем король той страны давно уже страдал глубокою меланхолией. Он прилежно работал — толку не было; ему читали самые ученые, мудреные книги, читали и самые легкие, веселые — тоже. Тогда явился посол от одного из первейших мудрецов в свете; к нему обращались за советом, и он отвечал через посланного, что есть одно верное средство облегчить и даже совсем исцелить больного: «В собственном государстве короля находится в лесу растение небесного происхождения, такого-то и такого-то вида — ошибиться нельзя». Тут следовало подробное описание растения, по которому его нетрудно было узнать. «Оно зеленеет и зиму и лето; пусть берут от него каждый вечер по свежему листочку и кладут на лоб короля — тогда мысли его прояснятся, и чудный сон подкрепит его к следующему дню!»

Яснее изложить дело было нельзя, и вот все доктора, с профессором ботаники во главе, отправились в лес. Но... куда же девалось растение?

— Должно быть, попало ко мне в вязанку, — сказал свинопас, — и давным-давно стало золою. Мне и невдомек было, что оно может понадобиться!

— Невдомек! — сказали все. — О, невежество, невежество, нет тебе границ!

Свинопас должен был намотать эти слова себе на ус; свинопас, и никто больше, думали остальные. Не нашлось даже ни единого листика небесного растения: уцелел только один, да и тот лежал в гробу, и никто не знал того.

Сам король пришел в лес на то место, где росло небесное растение.

— Вот где оно росло! — меланхолично сказал он. — Священное место!

И место огородили вызолоченною решеткою и приставили сюда стражу — часовые ходили и день и ночь.

Профессор ботаники написал целое исследование о небесном растении, и его за это озолотили, к большому его удовольствию. Позолота очень шла к нему и ко всему его семейству, и вот это-то и есть самое радостное во всей истории: от небесного растения не осталось ведь и следа, и король по-прежнему ходил, повесив голову.

— Ну да он и прежде был таким! — сказала стража.



«ПРОПАЩАЯ»

Городской голова стоял у открытого окна; на нем была крахмальная рубашка, в манишке красовалась дорогая булавка, брит он был удивительно — сам всегда брился. На этот раз он, впрочем, как-то порезался, и царапинка была заклеена клочком газетной бумаги.

— Эй ты, малый! — закричал он.

«Малый» был не кто иной, как прачкин сынишка; он проходил мимо, но тут остановился и почтительно снял фуражку с переломленным козырьком — тем удобнее было совать ее в карман. Одет мальчуган был бедно, но чисто; на все дыры были аккуратно наложены заплатки; обут он был в тяжелые деревянные башмаки и стоял перед городским головою навтыжку, словно перед самим королем.

— Ты славный мальчик! — сказал городской голова. — Почтительный мальчик! Мать твоя, верно, полощет белье на речке, а ты тащишь ей кое-что? Вишь, торчит из кармана! Скверная привычка у твоей матери! Сколько у тебя там?

— Полкосушки, — ответил мальчик тихо, испуганно.

— Да утром ты отнес ей столько же? — продолжал городской голова.

— Нет, это вчера! — сказал мальчуган.

— Две полкосушки — вот уж и целая! Пропашая она женщина! Просто беда с этим народом! Скажи своей матери, что стыдно ей! Да гляди, сам не сделайся пьяницей! Впрочем, что и говорить: конечно, сделаешься! Бедный ребенок... Ну, ступай!

Мальчик пошел; фуражка так и осталась у него в руках, и ветер развеивал его длинные белокурые волосы. Вот он прошел улицу, свернул в переулок и дошел до реки. Мать его стояла в воде и колотила вальком разложенное на деревянной скамье мокрое тяжелое белье. Течение было сильное — мельничные шлюзы были открыты. Простыню, которую женщина полоскала, так и рвало у нее из рук, скамья тоже грозила опрокинуться, и прачка просто из сил выбивалась.

— Я чуть-чуть не уплыла сама! — сказала она. — Хорошо, что ты пришел, надо мне подкрепиться маленько. Вода холодная-прехолодная, а я вот уже шесть часов стою тут! Принес ты что-нибудь?

Мальчик вытащил бутылочку; мать приложила ее ко рту и хлебнула.

— Как славно! Сразу согреешься, точно поешь чего-нибудь горяченького, а стоит-то куда дешевле! Хлебни и ты, мальчуган! Ишь ты какой бледный! Холодно тебе в легоньком платишке! Осень ведь на дворе! У! Вода прехолодная! Только бы мне не захворать! Да нет! Дай-ка мне еще глотнуть, глотни и сам, только чуть-чуть! Тебе не надо привыкать к этому, бедняжка мой!

И она обошла мостки, на которых стоял мальчуган, и вышла на сушу. Вода бежала с рогожки, которою она обвязалась вокруг пояса, текла с подола юбки.

— Я работаю изо всех сил, кровь чуть не брызжет у меня из-под ногтей!.. Да пусть, только бы удалось вывести в люди тебя, мой голубчик!

В это время к ним подошла бедно одетая старуха; она прихрамывала на одну ногу, и один глаз у нее был прикрыт большим локоном, отчего изъясн был еще заметнее. Старуха была дружна с прачкой, а звали ее соседи хромою Марен с локоном.

— Бедняжка, вот как приходится тебе работать! Стоишь по колено в холодной воде! Как тут не глотнуть разок-другой, чтобы согреться! А люди-то считают каждый твой глоток!

И она пересказала прачке слова городского головы. Марен слышала, что он говорил мальчику, и очень рассердилась на него — можно ли говорить так с ребенком о его же собственной матери да считать всякий ее глоток, когда сам задаешь званый обед, где вино будет литься рекою, и вино-то дорогое, крепкое! Небось сами пьют — не считают, и все-таки они не пьяницы, люди достойные, а ты вот «пропащая»!

— Так он и сказал тебе, сынок? — спросила прачка, и губы ее задрожали. — Мать твоя — пропащая! Что ж, может быть, он и прав! Но не следовало бы говорить этого ребенку!.. Да, не впервой терпеть мне от этого семейства!

— Правда, вы ведь служили еще у родителей головы! Давненько это было, много пудов соли съедено с тех пор, немудрено, что и пить хочется! — И Марен рассмеялась. — Сегодня у городского головы назначен званый обед; хотели было отменить, да уж поздно было, все было готово. Я от дворника все это узнала. С час тому назад пришло письмо, что младший брат головы умер в Копенгагене.

— Умер! — проговорила прачка и побледнела как смерть.

— Что с вами? — спросила Марен. — Неужто вы так близко принимаете это к сердцу? Ах да, ведь вы знавали его!

— Так он умер!.. Лучше, добрее его не было человека в свете! Не много у Господа Бога таких, как он! — И слезы потекли по ее щекам. —

О Господи, голова так и кружится! Это от того, что я выпила всю бутылку! Не следовало бы!.. Мне так дурно!

И она схватилась за забор.

— Ох, да вы совсем больны, матушка! — сказала Марен. — Ну, ну, придите же в себя!.. Нет, вам и взаправду плохо! Сведу-ка я вас лучше домой!

— А белье-то!

— Ну, я возьмусь за него!.. Держитесь за меня! Мальчуган пусть покараулит тут, пока я вернусь и дополощу. Сущая безделица осталась!

Ноги у прачки подкашивались.

— Я слишком долго стояла в холодной воде! И с самого утра у меня не было во рту ни крошки! Лихорадка так и бьет! Господи Иисусе! Хоть бы до дому-то добраться! Бедный мой мальчик!

И она заплакала.

Мальчик тоже заплакал и остался у реки один-одинешенек стеречь белье. Женщины продвигались вперед шаг за шагом, прачка едва тащилась, прошли переулок, улицу, но перед домом городского головы больная вдруг свалилась на мостовую. Вокруг нее собралась толпа. Хромая Марен побежала во двор за помощью. Голова со своими гостями смотрел из окна.

— Это прачка! — сказал он. — Хлебнула лишнее! Пропадающая женщина! Жаль только славного мальчугана, сынишку ее! А мать-то пропащая!

Прачку привели в себя, отнесли домой в ее жалкую каморку и уложили в постель. Марен приготовила для больной питье — теплое пиво с маслом и с сахаром: лучшее средство, какое она только знала, а потом отправилась дополаскивать белье. Выполоскала она его очень плохо, зато от доброго сердца; собственно говоря, она только повытаскала мокрое белье на берег и уложила в корзину.

Вечером Марен опять сидела возле прачки. Кухарка городского головы дала ей для больной славный кусок ветчины и немножко жареного картофеля; все это пошло самой Марен и мальчику, а больная наслаждалась одним запахом. «Он такой питательный!» — говорила она.

Мальчик улегся спать на ту же самую постель, на которой лежала и мать; он лег у нее в ногах, поперек кровати, и укрылся старым половиком, собранным из голубых и красных лоскутков.

Прачке стало немножко полегче: горячее пиво подкрепило ее, а запах теплого кушанья так подбодрил.

— Спасибо тебе, добрая душа! — сказала она Марен. — Когда мальчик уснет, я расскажу тебе все! Да он уж и спит, кажется! Взгляни, какой он славный, хорошенький с закрытыми глазками! Он и не знает, каково приходится его бедной матери, да, Бог даст, и никогда не узнает!.. Я служила у советника и советницы, родителей головы, и вот случись, что

самый младший из сыновей приехал на побывку домой: студент он был. Я в ту пору была еще молоденькою, шустрою, но честною девушкой — вот как перед Богом говорю! И студент-то был такой веселый, славный, а уж честнее, благороднее его не нашлось бы человека во всем свете. Он был хозяйский сын, а я простая служанка, но мы все-таки полюбили друг друга... честно и благородно! Поцеловаться разок-другой ведь не грех, если любишь друг друга всем сердцем. Он во всем признался матери — он так уважал и почитал ее, чуть не молился на нее! И она-то была такая умная, ласковая, добрая. Он уехал, но перед отъездом надел мне на палец золотое кольцо. Как уехал он, меня и призывает сама госпожа и начинает говорить со мною так серьезно и вместе с тем так ласково, как ангел небесный. Она объяснила мне, какое между мною и им расстояние по уму и образованию: «Теперь он глядит лишь на твое личико, но красота ведь пройдет, а ты не так воспитана, не так образована, как он. Не ровня вы — вот в чем вся беда! Я уважаю бедных, и в царствии небесном они, может быть, займут первые места, но тут-то, на земле, нельзя заезжать в чужую колею, если хочешь ехать вперед: и экипаж сломается, и вы оба вывалитесь! Я знаю, что за тебя сватался один честный, хороший работник, Эрик-перчаточник. Он бездетный вдовец, человек дельный и не бедный — подумай же хорошенько!» Каждое ее слово резало меня как ножом, но она говорила правду, вот это-то и мучило меня! Я поцеловала у нее руку и заплакала... Еще горше плакала я в своей каморке, лежа на постели... Один Бог знает, что за ночь я провела, как я страдала и боролась с собой! Утром — это было в воскресенье — я отправилась к причастию в надежде, что Бог просветит мой ум. И вот он, точно, послал мне свое знамение: иду из церкви, а навстречу мне Эрик. Тут уж я перестала и колебаться — и впрямь мы были парой, хоть он и был человеком зажиточным. Вот я и подошла к нему, взяла его за руку и сказала: «Ты все еще любишь меня по-прежнему?» «Люблю и буду любить вечно!» — отвечал он. «А хочешь ли ты взять за себя девушку, которая уважает тебя, но не любит, хотя, может быть, и полюбит со временем?» «Полюбит непременно!» — сказал он, и мы подали друг другу руки. Я вернулась домой к госпоже. Золотое кольцо, что дал мне студент, я носила на груди, — я не смела надевать его на палец днем и надевала только по вечерам, когда ложилась спать. Я поцеловала кольцо так крепко, что кровь брызнула у меня из губ, потом отдала его госпоже и сказала, что на следующей неделе в церкви будет оглашение: я выхожу за Эрика. Госпожа обняла меня и поцеловала... Она вот не говорила, что я «пропащая». Но, может статься, я в те времена и правда была лучше, хоть и не испытала еще столько горя! Сыграли свадьбу, и первый год дела у нас шли отлично: мы держали подмастерья и мальчика, да ты, Марен, служила у нас...

— И какою славною хозяйюшкой были вы! — сказала Марен. — Оба вы с мужем были такие добрые! Век не забуду!..

— Да, ты жила у нас в хорошие годы! Детей у нас тогда еще не было... Студента я больше не видала... Ах, нет, видала раз, но он-то меня не видел! Он приезжал на похороны матери. Я видала его у ее могилы. Какой он был бледный, печальный! Понятно — горевал по матери. Когда же умер его отец, он был в чужих краях и не приезжал, да и после не бывал ни разу. Он так и не женился!.. Кажется, он сделался адвокатом. Обо мне он и не вспоминал и, если бы даже увидел меня, не узнал бы — такую я стала безобразною. Да так оно и лучше.

Потом она стала рассказывать про тяжелые дни, когда одна беда валилась на них за другою. У них было пятьсот талеров, а на их улице продавался дом за двести; выгодно было купить его да сломать и построить на том же месте новый. Вот они и купили. Каменщики и плотники сделали смету, и вышло, что постройка будет стоить тысячу двадцать риксдалеров. Эрик имел кредит, и ему ссудили эту сумму из Копенгагена, но шкипер, который вез ее, погиб в море, а с ним и деньги.

— Тогда-то вот и родился мой милый сынок! А отец впал в тяжелую долгую болезнь: девять месяцев пришлось мне одевать и раздевать его, как малого ребенка. Все пошло у нас прахом — задолжали мы кругом, все прожили; наконец, умер и муж. Я из сил выбивалась, чтобы прокормиться с ребенком: мыла лестницы, стирала белье, и грубое, и тонкое, но нужда одолевала нас все больше и больше... Так, видно, Богу угодно!.. Но когда-нибудь он сжалится надо мною, освободит меня и призовет мальчугана!

И она уснула.

Утром она чувствовала себя бодрее и решила, что может идти на работу. Но едва она ступила в холодную воду, с ней сделался озноб, и силы оставили ее. Судорожно взмахнула она рукой; сделала шаг вперед и упала. Голова попала на сухое место, на землю, а ноги остались в воде; деревянные башмаки ее с соломенною подстилкой поплыли по течению. Тут ее и нашла Марен, которая принесла ей кофе.

А от городского головы пришли в это время сказать прачке, чтобы она сейчас же шла к нему: ему надо было что-то сообщить ей. Поздно! Послали было за цирюльником, чтобы пустить ей кровь, но прачка уже умерла.

— Опилась! — сказал голова.

А в письме, принесшем известие о смерти младшего брата, было сообщено и о его завещании. Оказалось, что он отказал вдове перчаточника, служившей когда-то его родителям, 600 риксдалеров. Деньги эти могли быть выданы сразу или понемножку — как найдут лучшим — ей и ее сыну.

— Значит, у нее были кое-какие дела с братцем! — сказал голова. — Хорошо, что ее нет больше в живых! Теперь мальчик получит все, и я постараюсь отдать его в хорошие руки, чтобы из него вышел дельный работник.

И Господь Бог благословил это решение.

Голова призвал к себе мальчика и обещал заботиться о нем, а мать дескать отлично сделала, что умерла: пропащая была!

Прачку похоронили на кладбище для бедных. Марен посадила на могиле розовый куст; мальчик стоял тут же.

— Мамочка моя! — сказал он и заплакал. — Правда ли, что она была пропащая?

— Неправда! — сказала старуха и взглянула на небо. — Я таки успела узнать ее, особенно за последнюю ночь! Хорошая она была женщина! И Господь Бог скажет то же самое, когда примет ее в царство небесное! А люди пусть себе называют ее пропащею!



ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕМЧУЖИНА

То был богатый, счастливый дом! Все в доме — и господа, и слуги, и друзья дома — радовались и веселились: в семье родился наследник — сын. И мать, и дитя были здоровы.

Лампа, висевшая в уютной спальне, была задернута с одной стороны занавеской; тяжелые, дорогие шелковые гардины плотно закрывали окна; пол был устлан толстым, мягким, как мох, ковром; все располагало к сладкой дремоте, ко сну, к отдыху. Немудрено, что сиделка заснула, да и пусть себе — все обстояло благополучно. Гений домашнего очага стоял у изголовья кровати; головку ребенка, прильнувшего к груди матери, словно окружал венчик из ярких звезд — каждая была жемчужиной счастья. Все добрые феи принесли новорожденному свои дары: в венце блестили жемчужины здоровья, счастья, любви — словом, всех благ земных, каких только может пожелать себе человек.

— Все дано ему! — сказал гений.

— Нет! — раздался близ него чей-то голос. То говорил ангел-хранитель ребенка. — Одна фея еще не принесла своего дара, но принесет его со временем, хотя, может быть, и не скоро. В венце недостает последней жемчужины!

— Недостает! Этого не должно быть! Если же это так, нам надо отыскать могущественную фею, пойти к ней сейчас же!

— Она явится в свое время и принесет свою жемчужину, которая должна замкнуть венец!

— Где же обитает эта фея? Где ее жилище? Скажи мне, и я пойду за жемчужиной!

— Хорошо! — сказал ангел-хранитель ребенка. — Я сам провожу тебя к ней, все равно, где бы ни пришлось нам искать ее! У нее нет постоянного жилища! Она появляется и в королевском дворце, и в жалкой крестьянской хижине! Она не обойдет ни одного человека, каждому принесет свой дар — будь то целый мир или пустяк! И к этому ребенку она придет в свое время! Но, по-твоему, выжидание не всегда впрок, хорошо, поспешим же отправиться за жемчужиной, последнюю жемчужиной, которой недостает в этом великолепном венце!

И они рука об руку полетели туда, где пребывала в тот час фея.

Они очутились в большом доме, но в коридорах было темно, в комнатах пусто и необыкновенно тихо; длинный ряд окон стоял отворенным, чтобы впустить в комнаты свежего воздуха; длинные белые занавеси были спущены и колыхались от ветра.

Посреди комнаты стоял открытый гроб; в нем покоилась женщина цветущих лет. Покойница вся была усыпана розами; виднелись лишь тонкие сложенные на груди руки да лицо, хранившее светлое и в то же время серьезное, торжественное выражение.

У гроба стояли муж покойной и дети. Самого младшего отец держал на руках; они подошли проститься с умершею. Муж поцеловал ее пожелтевшую, сухую, как увядший лист, руку, которая еще недавно была такою сильною, крепкою, с такою любовью вела хозяйство и дом. Горькие слезы капали на пол, но никто не проронил ни слова. В этом молчании был целый мир скорби. Молча, подавляя рыдания, вышли все из комнаты.

В комнате горела свеча; пламя ее колебалось от ветра и вспыхивало длинными красными языками. Вошли чужие люди, закрыли гроб и стали забивать крышку гвоздями. Гулко раздались удары молотка в каждом уголке дома, ударяя по сердцам, обливавшимся кровью.

— Куда ты привел меня? — спросил гений домашнего очага. — Тут нет феи, чей дар, жемчужина, принадлежала бы к лучшим благам жизни!

— Она тут! — сказал ангел-хранитель и указал на фигуру, сидевшую в углу. На том самом месте, где сиживала, бывало, при жизни мать семейства, окруженная цветами и картинами, откуда она, как благодетельная фея домашнего очага, ласково улыбалась мужу, детям и друзьям, откуда она, ясное солнышко, душа всего дома, разливала вокруг свет и радость, — там сидела теперь чужая женщина в длинном одеянии. То была Скорбь; теперь она была госпожой в доме, она заняла место умершей. По щеке ее скатилась жгучая слеза и превратилась в жемчужину, отливавшую всеми цветами радуги. Ангел-хранитель подхватил ее, и она засияла яркою семицветною звездой.

— Вот она, жемчужина скорби, последняя жемчужина, без которой не полон венец земных благ! Она еще ярче оттеняет блеск и красоту других. Видишь в ней сияние радуги — моста, соединяющего землю с небом? Теряя близкое, дорогое лицо здесь, на земле, мы приобретаем друга на небе, по которому будем тосковать. И в тихие звездные ночи мы невольно обращаем взор к небу, к звездам, где ждет нас иная, совершенная, жизнь. Взгляни на жемчужину скорби: в ней скрыты крылья Психеи, которые уносят нас из этого мира!



ДВЕ ДЕВИЦЫ

Видали вы когда-нибудь «девицу», то есть то, что известно под именем «девицы»¹ у мостильщиков: инструмент для утрамбовывания мостовой? «Девница» вся деревянная, шире книзу, охвачена в подоле железными обручами, кверху же суживается, и сквозь талию у нее продета палка — концы ее изображают руки «девицы».

На одном дворе, при складе строительных материалов, и стояли две такие «девицы» вместе с лопатами, саженьями и тачками. Разговор шел о том, что «девиц», по слухам, теперь будут звать не «девицами», а «штемпелями» — это новое название самое-де верное и подходящее для того инструмента, который мы исстари привыкли звать девицей.

У нас, как известно, водятся так называемые эмансипированные женщины; к ним принадлежат содержательницы пансионов, повивальные бабки, танцовщицы, что стоят по долгу службы на одной ноге, модистки и сиделки. К этому-то ряду «эмансипированных» примыкали и две «девицы». Они числились «девицами» министерства путей сообщения и ни за что в свете не хотели поступиться своим добрым старым именем, позволив назвать себя штемпелями.

— Девница — имя человеческое! — говорили они. — А штемпель — вещь! И мы не позволим называть себя вещью — это прямая брань!

— Мой жених, пожалуй, еще откажется от меня! — сказала младшая, помолвленная с копром — большой машиной, что вбивает сваи и таким образом служит хоть и для более грубой, но однородной работы с «девицей». — Он готов жениться на мне как на девице, а пожелает ли он взять за себя штемпель — еще вопрос. Нет, я не согласна менять имя!

— А я скорее дам себе обрубить обе руки! — сказала старшая.

Тачка же была другого мнения, а тачка ведь не кто-нибудь! Она считала себя целою четвертью кареты — одно-то колесо у нее же было.

— А я позволю себе заметить вам, что название «девица» довольно вульгарно и уж во всяком случае далеко не так изысканно, как «штем-

¹ По-русски «баба», или «трамбовка», по-датски же «Jomfru» (девица), или «Stempel» (штемпель). — *Примеч. перев.*

пель». Ведь штемпель — та же печать. Назвавшись штемпелями, вы примкнете к разряду государственных печатей! Разве это не почетно? Вспомните, что без государственной печати недействителен ни один закон. Нет, на вашем месте я бы отказалась от имени «девица».

— Никогда! Я уж слишком стара для этого! — сказала старшая.

— Видно, вы еще незнакомы с так называемою европейскою необходимостью! — сказала почтенная старая сажень. — Приходится иногда сократить себя, подчиниться требованиям времени и обстоятельствам. Если уж велено девицам зваться штемпелями, так и зовитесь! Нельзя все мерить на свой аршин!

— Нет, уж коль на то пошло, пусть лучше зовут меня барышней, — сказала младшая. — Барышня все же немножко похожа на девицу.

— Ну, а я лучше дам изрубить себя в щепки! — сказала старая «девица».

Тут они отправились на работу; их повезли на тачке; обращались с ними, как видите, довольно-таки деликатно, но звали их уже штемпелями!

— Дев..! — сказали они, ударившись о мостовую. — Дев..! — И чуть было не выговорили всего слова «девица», да прикусили языки на половине: не стоит дескать вступать в пререкания. Но между собою они продолжали называть себя девицами и восхвалять доброе старое время, когда каждую вещь называли своим именем: коли ты девица, так и звали тебя девицей! Девицами обе они и остались: копер, эта машинища, и в самом деле отказался от младшей, не захотел жениться на штемпеле!



НА КРАЮ МОРЯ

К Северному полюсу было послано несколько кораблей отыскать крайнюю точку земли, на которую может ступить нога человеческая. Уже больше года плыли корабли среди туманов и льдов, преодолевая страшные затруднения. Но вот наступила зима, солнце скрылось, и настала долгая-долгая полярная ночь. Все видимое пространство сплошь покрылось льдом, и корабли были словно закованы во льдах. Вся земля была занесена снегом; из него-то и понаделали себе моряки невысоких ульеобразных жилищ. Некоторые из них были большие, величиной с наши древние могильные курганы, другие поменьше, так что вмещали не больше двух — четырех человек. Стояла ночь, но довольно светлая. Северное сияние разбрасывало целые снопы красных и голубых искр. Вечный величественный фейерверк! Снег так и сверкал, и ночь походила, скорее, на вспыхивающий рассвет. Когда северное сияние горело особенно ярко, к морякам являлись туземцы в диковинных одеждах из тюленьих и оленьих шкур, вывороченных мехом наружу; приезжали они на салазках, сбитых из льдин, и привозили груды мехов. Моряки делали себе из них одеяла и постели и, зарывшись в них, отлично спали под своими снежными кровлями, не чувствуя холода. А на воле в это время трещал такой мороз, о котором мы здесь и понятия не имеем, даже в самые суровые зимы. У нас в то время стояла еще осень, и моряки вспоминали среди полярной природы теплое родное солнышко и ярко-желтую осеннюю листву.

Часы показывали поздний час вечера, время было ложиться спать. В одном из снежных жилищ двое матросов и улеглись уже. Младший из них привез с собою из родного дома лучшее его сокровище — Библию, которую подарила ему на прощанье бабушка, и ночью книга всегда лежала у юноши в изголовье. С детства знал он каждое слово в ней, каждый день прочитывал из нее страницу-другую и не раз, лежа, как теперь, в постели, вспоминал утешительные слова Священного писания: *«Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя»*. Утешенный и подкрепленный верою, он закрыл глаза, заснул и увидел сон — откровение Божие. Тело

покойлось, душа же бодрствовала и жила усиленную жизнью. Ему чудилось, что вокруг него раздаются звуки знакомых, любимых песен, чувствовал над собою какое-то теплое, мягкое веяние, видел вверху какой-то белый свет, словно струившийся сквозь крышу. Он поднял голову — белое сияние исходило не из стен или потолка, но лилось от больших крыл ангела. Матрос взглянул на его кроткий светлый лик. Ангел поднялся из страниц Библии, словно из чашечки лилии, распростер руки, и стены хижины растаяли, как легкий туман. Взору матроса открылись зеленые поля и холмы, темно-коричневые леса, чудно освещенные осенним солнышком. Гнезда аистов уж опустели, но на диких яблонях еще висели яблоки, хотя листья и опали. Ярко-красные плоды шиповника горели на солнышке, как жар; в маленькой зеленой клетке над окном крестьянской избушки насвистывал свою песенку скворец. Матрос узнал свой дом, свой родной дом! Скворец свистел заученную песенку, а бабушка давала ему свежего мокричника, как, бывало, делывал ее внук. Молоденькая хорошенькая дочка кузнеца брала из колодца воду и поклонилась бабушке, а бабушка поманила ее к себе письмом. Оно пришло сегодня утром из холодных стран, с Дальнего севера, где находился ее внук, — под покровом десницы Господней. Женщины плакали и смеялись, читая письмо, а он, осененный крылами ангела, видел и слышал все из своей снежной хижины в минуту духовного просветления, смеялся и плакал вместе с ними! Были прочитаны из его письма и слова Священного писания: *«Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там удержит меня десница Твоя»*. Дивный псалом прозвучал в воздухе, и ангел накрыл спящего своим крылом, словно мягким покрывалом: видение исчезло, в снежном домике стало темно, но Библия по-прежнему лежала под головою матроса, вера и надежда жили в его сердце. И Бог был с ним, и родину он носил с собою — всюду, даже «на краю моря».



СВИНЬЯ-КОПИЛКА

Ну и игрушек было в детской! А высоко на шкафу стояла копилка — глиняная свинья. В спине у нее, конечно, была щель, и ее еще чуть-чуть расширили ножом, чтобы проходили и серебряные монеты, покрупнее. Таких в свинье лежало целых две, не считая мелких, — она была набита битком и даже не брякала больше, а уж дальше этого ни одной свинье с деньгами идти некуда! Стояла она на шкафу и смотрела на все окружающее сверху вниз, ведь ей ничего не стоило купить все это: брюшко у нее было тугое, ну а такое сознание удовлетворит хоть кого.

Все окружающие и имели это в виду, хоть и не говорили о том, — у них было о чем поговорить и без того. Ящик комода стоял полуоткрытым, и оттуда высунулась большая кукла. Она была уже немолода и с подклеенною шеей. Поглядев по сторонам, она сказала:

— Будем играть в людей — и то ведь хорошо!

Поднялась возня, зашевелились даже картины на стенах, показывая, что и у них есть оборотная сторона, хотя вовсе не имели при этом в виду вступать с кем-либо в спор.

Была полночь; в окна светил месяц, предлагая всем даровое освещение. Участвовать в игре были приглашены все, даже детская коляска, хотя она и принадлежала к более громоздкому, низшему сорту игрушек.

— Всяк хорош по-своему! — говорила она. — Не всем же быть благородными, надо кому-нибудь и дело делать, как говорится!

Свинья с деньгами одна только получила письменное приглашение: она стояла так высоко, что устное могло и не дойти до нее, думали игрушки. Она и теперь не ответила, что придет, да и не пришла! Нет, уж если ей быть в компании, то пусть устроят так, чтобы она видела все со своего места. Так и сделали.

Кукольный театр поставили прямо перед ней — вся сцена была как на ладони. Начать хотели комедией, а потом имелось в виду общее угощение чаем и остроумная игра словами. С этого, впрочем, и началось. Лошадь-качалка заговорила о тренировке и о чистоте породы, детская коляска — о железных дорогах и силе пара — все это было по их части, так кому же было и говорить об этом, как не им? Комнатные

часы держались политики — тики-тики! Они знали, когда надо «ловить момент», но отставали, как говорили о них злые языки. Камышовая тросточка гордилась своим железным башмачком и серебряным колпачком: она была обита и сверху, и снизу. На диване лежали две вышитые подушки, премиленькие и преглупенькие. И вот началось представление.

Все сидели и смотрели; зрителей пригласили щелкать, хлопать и грехотать в знак одобрения. Но хлыстик сейчас же заявил, что «щелкает» не старухам, а только непросватанным барышням.

— А я так хлопаю всем! — сказал пистон.

«Где-нибудь да надо стоять!» — думала плевальница.

У каждого были свои мысли!

Комедия не стоила медного гроша, но сыграна была блестяще. Все исполнители показывались публике только раскрашенной стороною; с оборотной на них не следовало и смотреть. Все играли отлично и совсем не на сцене: нитки были слишком длинные, зато исполнители и выдавались тем больше. Склеенная кукла так расчувствовалась, что совсем расклеилась, а свинья с деньгами ощутила в брюшке такое благодущие, что решила сделать что-нибудь для одного из актеров, например упомянуть его в своем завещании как достойного быть погребенным вместе с нею, когда придет время.

Все были в таком восторге, что отказались даже от чая и прямо перешли к игре словами, — это и называлось играть в людей, и отнюдь не в насмешку. Они ведь только играли, причем каждый думал лишь о самом себе да о том, что подумает о нем свинья с деньгами. А свинья совсем задумалась о своем завещании и погребении: «Когда придет время...» Увы! Оно приходит всегда раньше, чем ожидают, — бац! Свинья свалилась со шкафа и разбилась вдребезги — монетки так и запрыгали по полу. Маленькие вертелись волчками, крупные солидно катились вперед. Особенно долго катилась одна: ей очень хотелось людей посмотреть и себя показать. Ну и отправилась гулять по белу свету; отправились и все остальные, а черепки свиньи бросили в помойное ведро. Но на шкафу на другой же день красовалась новая, такая же. У нее в желудке было еще пусто, и она тоже не брякала — значит, была похожа на старую. Для начала и этого было довольно; довольно и нам, кончим!



ИБ И ХРИСТИНОЧКА

Иеподалеку от реки Гуден по Силькеборгскому лесу проходит горный кряж, вроде большого вала. У подножия его стоял, да и теперь стоит, крестьянский домик. Почва тут скудная; песок так и просвечивает сквозь редкую рожь и ячмень. Тому минуло уже много лет. Хозяева домика вели маленькое полевое хозяйство, держали трех овец, свинью да двух волов — словом, кормились кое-как: что есть — хорошо, а нет — и не спрашивай! Могли бы они держать и парочку лошадей, да говорили, как и другие тамошние крестьяне:

— Лошадь сама себя съедает: коли дает что, так и берет столько же!

Иеппе-Иенс летом работал в поле, а зимою прилежно резал деревянные башмаки. Держал он и помощника, парня; тот умел выделывать такие башмаки, что они и крепки были, и легки, и фасонисты. Кроме башмаков они резали ложки и зашибали-таки денежки, так что Иеппе-Иенса с хозяйкой нельзя было назвать бедняками. Единственный их сынишка, семилетний Иб, глядя на отца, тоже резал какие-то щепочки, конечно, резал себе при этом пальцы, но, наконец, вырезал-таки из двух обрубков что-то вроде маленьких деревянных башмачков. «В подарок Христиночке», — сказал он. Христиночка, дочка барочника, была такая хорошенькая, нежная, словно барышня; будь у нее и платья под стать ей самой, никто бы не поверил, что она родилась в бедной хижине, крытой вереском, в степи Сейс. Отец ее был вдов и занимался сплавкой дров из леса на Силькеборгские угриные тони, а иной раз и дальше, в Рандерс. Ему не на кого было оставлять шестилетнюю Христиночку дома, и она почти всегда разъезжала с отцом взад и вперед по реке. Если же тому приходилось плыть в Рандерс, девочка оставалась у Иеппе-Иенса.

Иб и Христиночка были большими друзьями и в играх, и за столом. Они копались и рылись в поле, карабкались и ходили повсюду, а раз решились даже одни влезть на кряж — и марш в лес: там они нашли гнездо кулика и в нем яички. Вот было событие!

Иб сроду еще не бывал в степи, не случалось ему и проплывать из реки Гуден в озера; вот барочник и пригласил раз мальчика прокатиться с ними и еще накануне взял его к себе домой.

Ранним утром барка отплыла; на самом верху сложенных в поленницы дров восседали ребяташки, уплетая хлеб и малину. Барочник и помощник его отталкивались шестами, течение помогало им, и барка летела стрелою по реке и озерам. Часто казалось, что выход из озера закрыт глухою стеной деревьев и тростника, но подплывали ближе и проход находился, хотя старые деревья и нависали над водою сплошною сенью, а дубы старались преградить дорогу, простирая вперед обнаженные от коры ветви, — великаны дерева словно нарочно засучили рукава, чтобы показать свои голые жилистые руки! Старые ольхи, отмытые течением от берега, крепко цеплялись корнями за дно и казались маленькими лесными островками. По воде плавали кувшинки... Славное было путешествие! Наконец добрались и до тоней, где из шлюзов шумно бежала вода. Было на что посмотреть тут и Христиночке, и Ибу!

В те времена здесь еще не было ни фабрики, ни города, а стоял только старый дом, в котором жили рыбаки, и народу на тонях держали немного. Местность оживлялась только шумом воды да криками диких уток. Доставив дрова на место, отец Христины купил большую связку угрей и битого поросенка; припасы уложили в корзинку и поставили на корме барки. Назад пришлось плыть против течения, но ветер был попутный, они поставили паруса, и барка задвигалась, словно ее везла пара добрых коней.

Доплыв до того места в лесу, откуда помощнику барочника было рукой подать до дому, мужчины сошли на берег, а детям велели сидеть смирно. Да, так они и усидели! Надо же было заглянуть в корзинку, где лежали угри и поросенок, вытащить поросенка и поддержать его в руках. Держать, конечно, хотелось и тому, и другому, и вот поросенок очутился в воде и поплыл по течению. Ужас что такое!

Иб спрыгнул на берег и пустился удирать, но едва пробежал несколько шагов, как к нему присоединилась и Христина.

— И я с тобою! — закричала она, и дети живо очутились в кустах, откуда уже не видно было ни барки, ни реки. Пробежав еще немножко, Христиночка упала и заплакала. Иб поднял ее.

— Ну, пойдем вместе! — сказал он ей. — Дом-то ведь вон там! То-то, что не там. Шли, шли они по сухим листьям и ветвям, которые так и хрустели под их ножонками, и вдруг раздался громкий крик, как будто звали кого-то. Дети остановились и прислушались. Тут закричал орел — какой неприятный крик! Детишки струхнули было, да увидали как раз перед собою невероятное множество чудеснейшей голубицы. Как тут устоять? И оба взапуски принялись рвать да есть горстями, вымазали себе все руки, губы и щеки! Опять послышался оклик.

— А достанется нам за поросенка! — сказала Христина.

— Пойдем лучше домой, к нам! — сказал Иб. — Это ведь здесь же, в лесу!

И они пошли, вышли на проезжую дорогу, но она не вела домой. Стемнело, жутко стало детям. В лесу стояла странная тишина; лишь изредка раздавался резкий, неприятный крик филина или другой какой-то незнакомой детям птицы... Наконец дети застряли в кустах и расплакались. Наплакавшись, они растянулись на сухих листьях и уснули.

Солнышко было уже высоко, когда они проснулись. Дрожь пробрала их от утренней свежести, но на холме между деревьями просвечивало солнышко; надо было взобраться туда, решил Иб — там они согреются, и оттуда же можно будет увидеть дом его родителей. Увы! Дети находились совсем в другом конце леса, и до дому было далеко! Кое-как вскарабкались они на холм и очутились над обрывом; внизу сверкало прозрачное, светлое озеро. Рыбки так и толклись на поверхности, блестя на солнце чешуей. Такого зрелища дети и не ожидали. Вдобавок края обрыва все поросли орешником, усыпанным орехами, в некоторых гнездышках сидело даже по семи! Дети рвали, щелкали орехи и ели нежные ядрышки, которые уже начали поспевать. Вдруг — вот страх-то! — из кустов вышла высокая старуха с коричневым лицом и черными как смоль волосами; белки ее глаз сверкали, как у негра; за спиной у нее был узел, в руках — суковатая палка. Это была цыганка. Дети не сразу разобрали, что она им говорила, а она вытащила из кармана три ореха и сказала, что это волшебные орехи: в каждом спрятаны чудеснейшие вещи!

Иб поглядел на нее; она смотрела так ласково; он собрался с духом и попросил у нее орехи. Она отдала и нарвала себе полный карман свежих.

Иб и Христиночка таращились на волшебные орехи.

— Что ж, в нем карета и лошади? — спросил Иб, указывая на один.

— Да еще золотая, и лошади тоже золотые! — ответила старуха.

— Дай его мне! — сказала Христиночка.

Иб отдал, и старуха завязала орех в шейный платочек девочки.

— А в этом есть такой хорошенький платочек, как у Христины? — спросил Иб.

— Целых десять! — ответила старуха — Да еще чудесные платья, чулочки и шляпа!

— Так дай мне и этот! — сказала Христина.

Иб отдал ей и другой, и у него остался лишь один, маленький, черненький.

— Этот оставь себе! — сказала Христина. — Он тоже хороший.

— А что в нем? — спросил Иб.

— То, что для тебя будет лучше всего! — сказала цыганка.

И Иб крепко зажал орех в руке. Цыганка пообещала детям вывести их на дорогу, и они пошли, но совсем не туда, куда надо. Из этого, однако, вовсе не следовало, что цыганка хотела украсть детей.

Наконец дети наткнулись на лесничего Крэна. Он знал Иба и привел детей домой, где все были в страшном переполохе. Детей простили, хоть они заслуживали хороших розог: во-первых, за то, что упустили в воду поросенка, а во-вторых, за то, что убежали.

Христина вернулась домой в степь, а Иб остался в лесном домике. Первым его делом в тот же вечер было вытащить из кармана свой орешек. Он прищепил его дверью, и орех раскололся, но в нем не оказалось даже зернышка — одна черная пыль, земляца, вроде нюхательного табаку. Орех-то был со свищом, как говорится.

— Так я и думал! — сказал себе Иб. — Как могло бы «то, что для меня лучше всего», уместиться в таком крошечном орешке? И Христина не получит из своих ни платьев, ни золотой кареты!

Пришла зима, пришел и Новый год.

Прошло несколько лет. Иб начал готовиться к конфирмации и ходить к священнику, а тот жил далеко. Раз зашел к ним барочник и рассказал родителям Иба, что Христиночка поступает в услужение — пора ей зарабатывать свой хлеб. И ей везет: она поступает к хорошим, богатым людям — подумайте, к самим хозяевам постоянного двора в Гернинге! Сначала она просто будет помогать хозяйке, а потом, как привыкнет к делу и конфирмуется, они оставят ее у себя совсем.

И вот Иб распрощался с Христиной, а их давно уже прозвали женихом и невестой. Христиночка показала Ибу на прощанье те два орешка, что он когда-то дал ей в лесу, и сказала, что бережет в своем сундучке и деревянные башмачки, которые он вырезал для нее еще мальчиком. С тем они расстались.

Иба конфирмовали, но он остался жить дома с матерью, прилежно резал зимою деревянные башмаки, а летом работал в поле; у матери не было другого помощника — отец Иба умер.

Лишь изредка, через почтальона да через рыбаков, получал он известия о Христине. Ей жилось у хозяев отлично, и после конфирмации она прислала отцу письмо с поклонами Ибу и его матери. В письме говорилось также о чудесном платье и полдюжине сорочек, что подарили ей хозяева. Вести были, значит, хорошие.

Следующею весной, в один прекрасный день, в дверь домика Иба постучали, и явился барочник с Христиной. Она приехала навестить отца — выдался случай доехать с кем-то до Тэма и обратно. Она была прехорошенькая, совсем барышня на вид, и одета очень хорошо; платье сидело на ней ловко и очень шло к ней — словом, она была в полном параде, а Иб встретил ее в старом будничном платье и от смущения не знал, что сказать. Он только взял ее за руку, крепко пожал, видимо, очень обрадовался, но язык у него как-то не ворочался. Зато Христиночка щебетала без умолку — мастерица была поговорить! И, здороваясь, она поцеловала Иба прямо в губы!

— Разве ты не узнаешь меня? — спрашивала она его.

А он, даже когда они остались вдвоем, сказал только:

— Право, ты словно важная дама, Христина, а я такой растрепал!

А как часто я вспоминал тебя... и доброе старое время!

И они пошли рука об руку на крыж, любовались оттуда рекою и степью, поросшею вереском, но Иб все не говорил ни слова, и только когда пришло время расставаться, ему стало ясно, что Христина должна стать его женой, ведь их еще в детстве звали женихом и невестою, и ему даже показалось, что они уже обручены, хотя ни один из них никогда и не обмолвился ни о чем таком ни словом.

Всего несколько часов еще оставалось им провести вместе: Христине надо было торопиться в Тэм, откуда она на следующее утро должна была выехать обратно домой. Отец с Ибом проводили ее до Тэма; ночь была такая светлая, лунная. Когда они дошли до места, Иб стал прощаться с Христиною и долго-долго не мог выпустить ее руки. Глаза его так и блестели, и он, наконец, заговорил. Немного он сказал, но каждое слово шло прямо от сердца:

— Если ты еще не очень привыкла к богатой жизни, если думаешь, что могла бы поселиться у нас с матерью и выйти за меня замуж, то... мы могли бы когда-нибудь пожениться!.. Но, конечно, надо обождать немного!

— Конечно, конечно! — сказала Христина и крепко пожала ему руку, а он поцеловал ее в губы. — Я верю тебе, Иб! — продолжала она. — И думаю, что люблю тебя сама, но все же надо подумать!

С тем они и расстались. Иб сказал ее отцу, что они с Христиною почти сговорились, а тот ответил, что давно ожидал этого. Они вернулись вместе к Ибу, и барочник переночевал у него, но о помолвке больше не было сказано ни слова.

Прошел год. Иб и Христина обменялись двумя письмами. «Верный (верная) до гроба» — подписывались они оба. Но раз к Ибу зашел барочник передать ему от Христины поклон и... да, тут слова как будто застряли у него в горле... В конце концов дело, однако, выяснилось. Христине жилось очень хорошо, она была такою красавицей, все ее любили и уважали, а старший сын хозяев, приезжавший навестить родителей, — он занимал в Копенгагене большое место в какой-то конторе, — полюбил ее. Ей он тоже понравился, родители, казалось, были не прочь, но Христину, видно, очень беспокоило то, что Иб так много думает о ней... «И вот она хочет отказаться от своего счастья», — закончил барочник.

Иб не проронил сначала ни словечка, только весь побелел как полотно, затем тряхнул головою и сказал:

— Христина не должна отказываться от своего счастья!

— Так напиши ей пару слов! — сказал отец Христины.

Иб и написал, но не сразу: мысли что-то не выливались у него на бумагу, как ему хотелось, и он перечеркивал и рвал письмо за письмом в клочки. Но к утру письмо все-таки было написано. Вот оно:

«Я читал твое письмо к отцу и вижу, что тебе хорошо и будет еще лучше. Посоветуйся с своим сердцем, Христина, подумай хорошенько о том, что ожидает тебя, если выйдешь за меня. Достатков больших у меня ведь нет. Не думай поэтому обо мне и каково мне, а думай только о своем счастье! Я тебя не связывал никаким словом, а если ты и дала мне его мысленно, то я возвращаю тебе его. Да пошлет тебе Бог всякого счастья, Христиночка! Господь же утешит и меня!

Вечно преданный друг твой
Иб».

Письмо было отправлено, и Христина получила его.

Около Мартинова дня в ближней церкви огласили помолвку Христины; в одной из церквей в Копенгагене, где жил жених, — тоже. И скоро Христина с хозяйкой отправились в столицу — жених не мог надолго бросать свое дело. Христина должна была, по уговору, встретиться со своим отцом в местечке Фундер: оно лежало как раз на пути, да и старику было до него недалеко. Тут отец с дочерью свиделись и расстались. Барочник зашел после того к Ибу сообщить ему о свидании с дочерью; Иб выслушал его, но не проронил в ответ ни словечка. Он стал таким задумчивым — по словам его матери. Да, он много о чем думал, между прочим, и о тех трех орехах, что дала ему в детстве цыганка. Два из них он отдал Христине; то были волшебные орехи: в одном была золотая карета и лошади, в другом — чудеснейшие платья. Вот и сбылось все. Вся эта роскошь и ждет ее теперь в Копенгагене! Да, для нее все вышло как по писаному, а Иб нашел в своем орешке только черную пыль, землю. «То, что для тебя будет лучше всего», — сказала ему цыганка; да, так оно и есть: теперь он понимал смысл ее слов — в черной земле, в могиле, ему и будет лучше всего!

Прошло еще несколько лет; как долго тянулись они для Иба! Старика — хозяева постоянного двора — умерли один за другим, и все богатство (много тысяч риксдалеров) досталось сыну. Теперь Христина могла обзавестись даже золотой каретой, а не только чудесными платьями.

Потом целых два года о Христине не было ни слуху ни духу; наконец отец получил от нее письмо, но не радостные оно принесло вести. Бедняжка Христина! Ни она, ни муж ее не умели беречь денег, и богатство их как пришло, так и ушло; оно не пошло им впрок — они сами того не хотели.

Вереск в поле цвел и отцветал, много раз заносило снегом и степь, и горный кряж, и уютный домик Иба. Раз весною Иб шел по полю за плугом; вдруг плуг врезался во что-то твердое — кремень, как ему показалось, и из земли высунулась как будто большая черная стружка. Но когда Иб взял ее в руки, он увидал, что это не дерево, а металл,

блестевший в том месте, где его резнуло плугом. Это было старинное, тяжелое и большое золотое кольцо героической эпохи. На том месте, где теперь расстиралось вспаханное поле, возвышался когда-то древний могильный курган. И вот пахарь нашел сокровище. Иб показал кольцо священнику; тот объяснил ему, какое оно дорогое, и Иб пошел к местному судье; судья дал знать о драгоценной находке в Копенгаген и посоветовал Ибу лично представить ее куда следует.

— Лучше этого земля не могла дать тебе ничего! — прибавил судья. «Вот оно! — подумал Иб... — Так все-таки земля дала мне то, что для меня лучше всего! Значит, цыганка была права!»

Иб отправился из Орхуса морем в Копенгаген. Для него это было чуть не кругосветным плаванием — до сих пор он плавал лишь по своей речке Гуден. И вот он добрался до Копенгагена. Ему выплатили полную стоимость находки, большую сумму: целых шестьсот риксдалеров. Несколько дней бродил степняк Иб по чужому огромному городу и однажды вечером, как раз накануне отъезда обратно в Орхус, заблудился, перешел какой-то мост и, вместо того чтобы идти к Западным воротам, попал в Христианову гавань. Он, впрочем, и теперь шел на запад, да только не туда, куда надо. На улице не было ни души. Вдруг из одного убогого домика вышла маленькая девочка. Иб попросил ее указать ему дорогу; она испуганно остановилась, поглядела на него, и он увидел, что она горько плачет. Иб сейчас же спросил — о чем; девочка что-то ответила, но он не разобрал. В это время они очутились у фонаря, и свет упал девочке прямо в лицо. Иб глазам не поверил: перед ним стояла живая Христиночка, какою он помнил ее в дни ее детства!

Иб вошел вслед за малюткой в бедный дом, поднялся по узкой, скользкой лестнице на вышку, в маленькую каморку под самой крышей. На него пахло тяжелым удушливым воздухом; в каморке было совсем темно и тихо; только в углу слышались чьи-то тяжелые вздохи. Иб чиркнул спичкою. На жалкой постели лежала мать ребенка.

— Не могу ли я помочь вам? — спросил Иб. — Малютка зазвала меня, но я приезжий и никого здесь не знаю. Скажите же, нет ли тут каких-нибудь соседей, которых бы можно было позвать к вам на помощь?

И он приподнял голову больной.

Это была Христина из степи Сейс. Много лет при Ибе не упоминалось даже ее имени — это бы потревожило его, тем более что слухи о ней доходили самые неутешительные. Молва правду говорила, что большое наследство совсем вскружило голову мужу Христины: он отказался от места, поехал за границу, прожил там полгода; вернулся обратно и стал прожигать денежки. Все больше и больше наклонялась телега и, наконец, опрокинулась вверх дном! Веселые друзья-собутельники заговорили, что этого и нужно было ожидать, — разве можно вести такую сумасшедшую жизнь? И вот однажды утром его вытащили из дворцового канала мертвым!



Дни Христины тоже были сочтены; младший ребенок ее, рожденный в нищете, уже умер, и сама она собиралась последовать за ним... Умирающая, всеми забытая, лежала она в такой жалкой каморке, какою могла еще, пожалуй, довольствоваться в дни юности, в степи Сейс, но не теперь, после того как успела привыкнуть к роскоши и богатству. И вот случилось, что старшая ее дочка, тоже Христиночка, терпевшая холод и голод вместе с матерью, встретила Иба!

— Я боюсь, что умру, оставляю мою бедную крошку круглою сиротой! — простонала больная. — Куда она денется?

Больше она говорить не могла.

Иб опять зажег спичку, нашел огарок свечи, зажег его и осветил жалкую каморку.

Потом он взглянул на ребенка и вспомнил Христиночку — подругу детских лет... Да, ради той Христиночки он должен взять на себя заботы об этой чужой для него девочке! Умирающая взглянула на него, глаза ее широко раскрылись... Узнала ли она его? Неизвестно — он не слышал от нее больше ни единого слова.

Мы опять в лесу, у реки Гуден, близ степи Сейс. Осень; небо серо, вереск оголился, западные ветры так и рвут с деревьев пожелтевшие листья, швыряют их в реку, разметывают по степи, где по-прежнему стоит домик, крытый вереском, но живут в нем уже чужие люди. А у подножия горного кряжа, в защите от ветра, за высокими деревьями, стоит старый домик, выбеленный и выкрашенный заново. Весело пылает огонек в печке, а сама комнатка озаряется солнечным сиянием: оно льется из двух детских глазок; из розового смеющегося ротика раздается щебетанье жаворонка; весело, оживленно в комнате: тут живет Христиночка. Она сидит у Иба на коленях. Иб для нее и отец, и мать — настоящих же своих родителей она забыла, как давний сон. Иб теперь человек зажиточный и живет с Христиночкой припеваючи. А мать девочки покойся на кладбище для бедных в Копенгагене.

У Иба водятся в сундуке деньжонки. Он достал их себе из земли — говорят про него. У Иба есть теперь и Христиночка!



ИВАНУШКА-ДУРАЧОК

Была старая усадьба, а у старика — владельца — ее было два сына, да таких умных, что и вполтину было бы хорошо. Они собирались посвататься к королевне; это было можно — она сама объявила, что выберет себе в мужа человека, который лучше всех сумеет постоять за себя в разговоре.

Оба брата готовились к испытанию целую неделю — больше времени у них не было, да и того было довольно: предварительные знания у них имелись, а это важнее всего. Один знал наизусть весь латинский словарь и местную газету за три года одинаково хорошо и с начала, и с конца. Другой основательно изучил все цеховые правила и все, что должен знать цеховой старшина, — значит, ему ничего не стоило рассуждать и о государственных делах, думал он. Кроме того, он умел вышивать подтяжки — вот какой был искусник!

— Уж я-то добуду королевскую дочь! — говорили и тот, и другой.

И вот отец дал каждому по прекрасной лошади: тому, что знал наизусть словарь и газеты, — вороную, а тому, что обладал цеховым умом и вышивал подтяжки, — белую. Затем братья смазали себе уголки рта рыбьим жиром, чтобы они быстрее и легче двигались, и собрались в путь. Все слуги высыпали на двор поглядеть, как баричи сядут на лошадей. Вдруг является третий брат — всего-то их было трое, да третьего никто и не считал: далеко ему было до своих ученых братьев, и звали его попросту Иванушкой-дурачком.

— Куда это вы так разрядились! — спросил он.

— Едем ко двору «выговорить» себе королеву! Ты не слыхал разве, о чем барабанили по всей стране?

И ему рассказали, в чем дело.

— Эге! Так и я с вами! — сказал Иванушка-дурачок.

Но братья только засмеялись и уехали.

— Отец, дай мне лошадь! — закричал Иванушка. — Меня страсть забрала охота жениться! Возьмет королева меня — ладно, а не возьмет — я сам ее возьму!

— Пустомеля! — сказал отец. — Не дам я тебе лошади. Ты и говорить-то не умеешь! Вот братья твои, те — молодцы!

— Коли не даешь лошади, я возьму козла! Он мой собственный и отлично довезет меня! — И Иванушка уселся на козла верхом, всади́л ему в бока пятки и пустился вдоль по дороге. Эх ты ну, как понесся! — Знай наших! — закричал он и запел во все горло.

А братья ехали себе потихоньку, молча: им надо было хорошенько обдумать все красные слова, которые они собирались подпустить в разговоре с королевной, — тут ведь надо было держать ухо востро.

— Го-го! — закричал Иванушка. — Вот и я! Гляньте-ка, что я нашел на дороге!

И он показал дохлую ворону.

— Дурак! — сказали те. — Куда ты ее тащишь?

— В подарок королевне!

— Вот, вот! — сказали они, расхохотались и уехали вперед.

— Го-го! Вот и я! Гляньте-ка, что я еще нашел! Такие штуки не каждый день валяются на дороге!

Братья опять обернулись посмотреть.

— Дурак! — сказали они. — Ведь это старый деревянный башмак, да еще без верхней половинки! И это тоже подаришь королевне?

— И это ей! — ответил Иванушка.

Братья засмеялись и уехали от него вперед.

— Го-го! Вот и я! — опять закричал Иванушка-дурачок. — Нет, чем дальше, тем хуже! Го-го!

— Ну-ка, что ты там еще нашел? — спросили братья.

— Ах, просто и сказать нельзя! Вот обрадуется-то королевна!

— Тьфу! — сказали братья. — Да ведь это грязь из канавы!

— И еще какая! — ответил Иванушка. — Первейший сорт, в руках не удержишь — так и течет.

И он набил себе грязью полный карман.

А братья пустились от него вскачь и опередили его на целый час. У городских ворот они запаслись, как и все женихи, очередными билетами и стали в ряд. В каждом ряду было по шести человек, и ставили их так близко друг к другу, что им шевельнуться было нельзя. И хорошо, что так, не то они распорол бы друг другу спины за то только, что один стоял впереди другого.

Все население страны собралось около дворца. Многие заглядывали в самые окна — любопытно было посмотреть, как королевна принимает женихов. Женихи входили в залу один за другим и, как кто войдет, так язык у него сейчас и отнимется.

— Не годится! — говорила королевна. — Вон его!



Вошел старший брат, тот, что знал наизусть весь словарь. Но, постояв в рядах, он позабыл решительно все, а тут еще полы скрипят, потолок зеркальный, так что видишь самого себя кверху ногами, у каждого окна по три писца да еще один старшина, и все записывают каждое слово разговора, чтобы тиснуть сейчас же в газету да продавать на углу по два скиллинга, — просто ужас! К тому же печку так натопили, что она раскалилась докрасна.

— Какая жара здесь! — сказал жених.

— Да, папаше сегодня вздумалось жарить петушков! — сказала королевна.

Жених и рот разинул — такой речи он не ожидал и не нашелся что ответить, а ответить-то ему хотелось как-нибудь позабавнее.

— Не годится! — сказала королевна. — Вон его!

Пришлось ему убратся восвояси. За ним явился к королевне другой брат.

— Ужасно жарко здесь! — начал он.

— Да, мы поджариваем сегодня петушков! — ответила королевна.

— Как, что, ка?.. — пробормотал он, и все писцы написали: «Как, что, ка?..»

— Не годится! — сказала королевна. — Вон его!

Тут явился Иванушка-дурачок. Он въехал на козле прямо в залу.

— Вот так жарится! — сказал он.

— Да, я поджариваю петушков! — ответила королевна.

— Чудесно! — сказал Иванушка. — Так и мне можно будет за-жарить мою ворону?

— Можно! — сказала королевна. — А у вас есть в чем жарить? У меня нет ни кастрюли, ни сковороды!

— У меня найдется! — сказал Иванушка. — Вот посудинка, да еще с ручкой!

И он вытащил из кармана сломанный деревянный башмак и положил в него ворону.

— Да это целый обед! — сказала королевна. — Но где ж нам взять подливки?

— А у меня в кармане! — ответил Иванушка! — У меня ее столько, что девать некуда, хоть бросай!

И он зачерпнул из кармана горсть грязи.

— Вот это я люблю! — сказала королевна. — Ты скор на ответы, за словом в карман не лазишь, тебя я и возьму в мужья! Но знаешь ли ты, что каждое наше слово записывается и завтра попадет в газеты? Видишь, у каждого окна стоят три писца да еще один старшина? А старшина-то хуже всех — ничего не понимает!

Это все она наговорила, чтобы испугать его. А писцы зархохотали и посадили на пол кляксы.

— Ишь какие господа! — сказал Иванушка-дурачок. — Вот я сейчас угощу его!

И он, недолго думая, выворотил карман и залепил старшине все лицо грязью.

— Вот это ловко! — сказала королева. — Я бы этого не сумела сделать, но теперь выучусь!

Так и стал Иванушка-дурачок королем, женился, надел корону и сел на трон. Мы узнали все это из газеты старшины, а на нее не след полагаться.



ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ СЛАВЫ

В старой сказке говорится: «Тернист был путь славы для егеря Брюде; он хоть и достиг славы и почестей, но лишь после многих мытарств и бедствий». Многие из нас, конечно, слышали эту сказку в детстве, может быть, читали ее уже взрослыми и думали о своем никем не замеченном тернистом пути и о многих мытарствах. Сказка и действительность очень схожи; но в сказке счастливая развязка наступает здесь же, на земле, тогда как в действительности человек может рассчитывать на нее чаще всего лишь *там*, в жизни вечной и бесконечной.

Всемирная история — волшебный фонарь, показывающий нам на темном фоне жизни светлые образы благодетелей человечества, мучеников ума, пробиравшихся по тернистому пути славы.

На этом фоне отражаются картины всех времен, всех стран, каждая — лишь на мгновение, но это мгновение охватывает всю земную жизнь человека с ее борьбой и победами. Взглянем же хоть на некоторых из длинного, бесконечного ряда мучеников, которому и не будет конца, пока держится мир.

Перед нами переполненный зрителями амфитеатр; «Облака» Аристофана отравляют толпу ядом остроумного издевательства. Со сцены осмеивают — и с нравственной, и с физической стороны — замечательнейшего мужа Афин, спасшего народ от тридцати тиранов, спасшего в пылу битвы Алкивиада и Ксенофонта, осмеивают *Сократа*, воспарившего духом выше богов древности. Сам он тоже в числе зрителей. И вот он встает со своего места и выпрямляется во весь рост — пусть видят хохочущие афиняне, похожа ли на него карикатура. Твердо, несокрушимо стоит он, возвышаясь надо всеми.

Сочная, зеленая, ядовитая цикута! Тебе служить эмблемою Афин, а не оливковой ветви!

Семь городов спорили о чести считаться родиной *Гомера* — после его смерти. А при жизни? Он проходил эти города, распевая свои песни ради куска хлеба; волосы его седали при мысли о завтрашнем дне! Он, могучий провидец, был слеп и одинок! Острый терн рвал в клочья плащ царя поэтов.

А песни его живут и поныне, и в них одних живут древние боги и герои.

Картина за картиною выступает на темном фоне; в одной отражается восток, в другой — запад, в одной — седая древность, в другой — недавнее прошлое; но, несмотря на все различие их по времени и месту, все они изображают одно — тернистый путь славы, на котором терн зацветает лишь к тому времени, когда нужно украсить цветами могилу.

В тени пальм движутся верблюды, нагруженные индиго и другими драгоценными товарами; они посланы владельцем страны в дар тому, чьи песни — радость народа, слава страны, тому, кого зависть и клевета изгнали из родной страны. Караван приближается к маленькому городку, где певец нашел убежище; из города выносят навстречу каравану бедный гроб. Хоронят как раз того, кого ищет караван: *Фирдоуси*. Тернистый путь славы пройден им до конца!

На мраморной лестнице дворца в столице Португалии сидит негр с грубыми чертами лица, с толстыми губами и черными жесткими волосами и просит милостыню. Это — верный раб *Камоэнса*; без него и без тех грошей, что бросают ему прохожие, господин его, «певец *Лузиады*», умер бы с голода.

Теперь над могилою *Камоэнса* — великолепный памятник.

Еще картина.

За железною решеткой виднеется человек: лицо бледно, длинная борода всклокочена. «Я сделал величайшее открытие! — кричит он, — а меня больше двадцати лет держат в заключении!»

Кто он? «Безумец! — говорит сторож. — Чего ведь не взбредет на ум человеку. Он воображает, что можно двигаться вперед силою пара!» Это *Саломон де Ко*, открывший силу пара, но не сумевший растолковать неясно брезжившей в его уме идеи могущественному *Ришелье*. Несчастный провел весь остаток жизни в сумасшедшем доме.

Вот *Колумб*! Над ним глумились когда-то даже уличные мальчишки — он ведь хотел открыть *Новый Свет*! Он и открыл его! И звон колоколов встречает торжественный въезд его, но колокола зависти скоро заглушают этот звон, и вот того, кто открыл *Новый Свет*, как бы поднял золотой *Американский* материк со дна моря и подарил его своему королю, — награждают железными цепями! Он велит положить их с собою в гроб, как знаменательное выражение благодарности света и современников.

Картина сменяет картину; никогда не пустеет тернистый путь славы!

Вот в глубоком мраке сидит тот, кто измерил лунные горы, кто как бы пронизал мировое пространство своим острым духовным взором, уловил могучим умом «сокровенное» природы, понял, что земля движется под ним, — *Галилей*. Слепой, глухой старец как бы пригвожден к месту колючками терна — так терзает его отречение. Теперь он не в силах

даже поднять ногу, которою когда-то, в минуту душевной боли, при виде попираемой истины топнул о землю и вскричал: «А все-таки она движется!»

Вот стоит женщина, дитя душою, исполненная божественного восторга и веры; знамя несет она перед воинствующей ратью и дарует своему отечеству победу и спасение. Раздаются крики ликования, и зажигается костер: Жанну Д'Арк, колдунью, сжигают. А следующие поколения забрасывают белую лилию грязью: Вольтер, сатир остроумия, воспекает «La pucelle».

Вот в Виборге датское дворянство сжигает законы короля. Они горят ярким пламенем, освещая эпоху и самого законодателя, отбрасывая сияние вовнутрь мрачной темницы, где он сидит седой, согбенный, проводя пальцем борозду вокруг каменного стола. Это он — некогда повелитель трех северных государств, любимец народа, друг крестьян и граждан — *Христиан Второй*. Суровая была в нем душа, да и в суровое время жил он. Враги писали его историю. Но мы, вспоминая его кровавые деяния, припомним и двадцать семь лет его заключения.

От берегов Дании отплывает корабль; прислонясь к высокой мачте, стоит человек и бросает прощальный взгляд на остров Вэн. Это *Тихо Браге*. Он вознес имя Дании к звездам и вознагражден за то обидами и огорчениями. Теперь он отплывает в чужую землю, говоря: «Небо есть везде, чего же мне больше?» Он отплывает из родной земли, наш знаменитейший муж; в чужой земле ждут его почести и свобода.

«Ах свобода... свобода — хотя бы от невыносимых страданий тела!» — долетает до нас стон из глубины времен. Это что за картина? *Гриффенфельд*¹, датский Прометей, прикованный к скалистому острову Мункгольму!

Мы в Америке, у одной из больших рек; по берегам толпится народ; сейчас должен поплыть корабль против течения и ветра, преодолевая сопротивление стихий. *Роберт Фултон* верит в возможность этого. Корабль трогается, и вдруг — стоп! Толпа хохочет, свищет, в том числе и отец самого Фултона. «И поделом тебе, гордец, безумец. Под замок сумасброда!» Но вот маленький гвоздик, остановивший на минуту движение машины, ломается, колеса вертятся, лопасти преодолевают сопротивление волн, и корабль плывет! Паровой челн превращает часы в минуты, проплывая расстояния между землями с неведомою доселе быстротой.

Род человеческий! Понятно ли тебе блаженство такой минуты — высокого просветления духа, сознания им своей миссии, минуты, когда все истязания, претерпенные на тернистом пути славы, становятся целебным

¹ Знаменитый государственный деятель (1635—1699), провел в заключении 22 года. — Примеч. перев.

бальзамом, дающим здоровье, силу и ясность, когда дисгармония становится гармонией, и люди видят откровение Божье, данное одному, а через него ставшее достоянием всех?

Тернистый путь славы опоясывает землю сияющею лентой; блаженны избранные, идущие по нему, без заслуг поставленные на этот мост, созданный Великим Зодчим, чтобы соединить землю с небом.

На мощных крылах несется дух истории через тьму времен и показывает нам, чтобы ободрить, утешить нас, пробудить в нас кротость, сияющие на черном фоне тернистого пути славы яркие картины. Путь этот не завершается, как в сказке, блеском и радостью здесь же, на земле, но ведет туда, в жизнь вечную и бесконечную.



ЕВРЕЙКА

В школе для бедных, между другими детьми, сидела девочка-еврейка, добрая, развитая и самая прилежная из всех. Но в одном из уроков она не могла принимать участия — в Законе Божием: школа была христианская.

Ей позволили в это время учить урок по географии или решать задачи, но она скоро справлялась и с уроком, и с задачами, и книжка только так лежала перед нею раскрытою — она в нее и не заглядывала, прислушиваясь к словам учителя. Скоро тот заметил, что она следит за уроком, пожалуй, внимательнее всех остальных.

— Учи свой урок! — сказал он ей кротко и серьезно, но она продолжала смотреть на него своими черными лучистыми глазами; он задал ей несколько вопросов, и оказалось, что она поняла и усвоила из его уроков больше, чем кто-либо из других детей. Она слушала, понимала и слагала все в сердце своем.

Отец ее, честный бедняк, отдавая дочь в школу, поставил условием, чтобы ее не учили догматам христианской веры; но отсылать ее в эти часы из класса было неудобно — это могло возбудить в других детях различные мысли и соображения, — и она оставалась. Теперь же учитель понял, что так дело оставить нельзя.

Он отправился к ее отцу и заявил, что тот должен или взять свою дочь из школы, или позволить ей принять христианство.

— Я не могу равнодушно видеть ее горящего взора, в котором так и светится вся ее душа, жаждущая света истины Христовой! — добавил учитель.

Отец заплакал:

— Сам я малосведущ в законе отцов моих, но мать ее была истинною дочерью Израиля, крепко держала свою веру и взяла с меня на смертном одре слово — никогда не позволять нашей дочери креститься. Я должен сдержать свое обещание: оно для меня священно, как обет, данный Богу.

И девочку взяли из христианской школы.

Прошло много лет. В одном из маленьких городков в Ютландии служила в семействе небогатого горожанина бедная девушка-еврейка. Это

была Сара. Волосы ее были черны, как эбеновое дерево, темные глаза сияли огнем, как у дочерей Востока. Но выражение их ничуть не изменилось со времени ее детства, когда она еще сидела на школьной скамейке и внимала словам учителя.

По воскресеньям в церкви звучал орган и раздавалось пение псалмов; торжественные звуки доносились через улицу и до соседнего дома, где прилежно и неутомимо занималась своим делом еврейка. Заповедь «Помни день субботний, чтобы святить его!» — была для нее законом, но суббота была у христиан рабочим днем, и девушка могла праздновать ее лишь в сердце своем, а этого ей казалось мало. Но что значат для Бога дни и часы? Мысль эта пробудилась в ее душе, и девушка стала праздновать субботу в христианское воскресенье. И когда звуки органа и пение псалмов доносились до ее угла в кухне, даже и это место проникалось святою тишиною храма. Сара читала в это время Ветхий Завет, сокровище и собственность ее народа; только его она и могла читать: слова ее отца, сказанные учителю, обещание, данное им ее умирающей матери, глубоко залегли в душу Сары: она не должна принимать христианства, не должна отречься от веры отцов своих, и Новый Завет должен оставаться для нее закрытою книгой! Но она уже так много знала из него, знания эти хранились в душе ее вместе с воспоминаниями детства.

Раз вечером она сидела в углу комнаты и слушала, как хозяин читал вслух. Она могла слушать — читали не Евангелие, а старую хронику. Из нее прочитано было об одном венгерском рыцаре, попавшем в плен к турецкому паше. Турок велел впрячь христианина вместе с волами в плуг, погонять кнутом, словом, надругался над ним и терзал его всячески! Жена рыцаря продала все свои драгоценности, заложила замок и земли, друзья его также сложились, и наконец составила нужная сумма — паша требовал за рыцаря невероятно огромный выкуп. Деньги были доставлены, и рыцарь освободился из тяжелого рабства. Больной, страждущий, прибыл он домой. Но скоро опять кликнули клич против врагов христианства, и рыцарь забыл всякий покой и отдых, велел оседлать своего боевого коня. Щеки его опять окрасились румянцем, силы вернулись, и он помчался разить врагов. И вот тот самый паша, что держал его в плену, запрягал в плуг, мучил и терзал, стал теперь его пленником. Пашу отвели в темницу, но не прошло и часа, как к нему явился сам рыцарь и спросил его:

— Как ты думаешь, что ожидает тебя?

— Возмездие! — отвечал турок.

— Да, но возмездие христианское! — сказал рыцарь. — Закон Христа запрещает воздавать за зло злом, велит прощать врагам нашим и любить ближнего! Бог есть любовь! Ступай с миром в дом свой и будь добр и милостив к страждущим!

Пленник залился слезами:

— Мог ли я ожидать этого? Напротив, я знал, что меня ожидают муки и терзания, и принял яд. Он скоро убьет меня, я умру, спасения нет! Но не дай мне умереть, не познав учения, которое вмещает в себе такую любовь и милосердие! Оно велико и божественно! Дай мне умереть христианином!

И мольба его была исполнена.

Вот какую историческую легенду прочел хозяин; все слушали внимательно, но живее, пламеннее всех внимала чтению сидевшая в углу служанка Сара, еврейка. Крупные слезы сверкали в ее блестящих черных как уголь глазах. Она сохранила ту же детскую душу, которая так жадно стремилась когда-то познать учение Евангелия. Слезы текли по ее лицу.

«Не позволяй нашей дочери стать христианкой!» — были последние слова ее матери на смертном одре, и она хранила их в сердце своем вместе со словами заповеди Божией: «Чти отца твоего и мать твою!»

«Меня ведь и не крестили! — говорила она себе. — Все зовут меня еврейкою! Еще в воскресенье соседние мальчишки дразнили меня, когда я остановилась у открытой церковной двери и заглянула туда, где горели свечи и пел народ. Но со времени детства и до сих пор христианство неодолимо влечет меня к себе; оно, словно солнечный свет, проникает в мое сердце, даже когда я нарочно закрываю глаза. Но я не огорчу тебя в могиле, матушка. Я не изменю обету, который дал тебе отец! Я не стану читать христианской Библии: у меня есть свое прибежище — Бог отцов моих!»

Прошли еще годы.

Хозяин Сары умер, хозяйка впала в бедность, служанку надо было отпустить, но Сара не ушла. Она стала поддержкой вдовы в нужде, работала с утра до поздней ночи и кормила ее трудами рук своих. У вдовы не было никого из близких родственников, кто бы помогал ей, а она между тем слабела день ото дня и по целым месяцам лежала в постели. Кроткая, благочестивая Сара была для нее в это время истым благословением Божиим — она бодрствовала по ночам и ухаживала за больной.

— Вон там Библия! — сказала однажды больная. — Почитай мне немножко! Вечер такой длинный, и я так нуждаюсь в утешении словом Божиим.

Сара покорно склонила голову, взяла христианскую Библию, раскрыла и стала читать больной. На глаза девушки часто набегали слезы, но они становились от того еще яснее, а на душе у нее делалось все светлее. «Мать, дочь твоя не примет крещения, не будет причислена к христианам — ты так потребовала, и я исполню твой завет. Мы останемся одной веры, эта связь не будет мною нарушена здесь, на земле, но там нас ждет высшее единение в Боге! Он спасает нас от смерти. Он по-

сецает землю, и если делает ее жаждущею, то и обогащает ее сторицею! Я понимаю это, хотя и сама не знаю, как дошла до того!.. Это все он разъяснил мне — Христос!»

И она вся задрожала, называя его святое имя; огненное крещение пронизало ее душу молнией, и слабое тело не вынесло: без чувств упала девушка возле больной, за которою ухаживала день и ночь.

— Бедная Сара! — сказали люди. — Она переутомила себя работой и бодрствованием!

Ее отвезли в больницу для бедных, там она и умерла; ее схоронили, но не на христианском кладбище — там было не место еврейке, а за оградой, у самой стены.

Но Божье солнышко, что светило на могилы христиан, ласкало и могилу еврейки; пение псалмов, раздававшееся над их могилами, доносилось и до ее могилы. Да, и до нее доносились слова: «И воскреснем все во Христе, Боге нашем, сказавшем ученикам своим: «Иоанн крестил вас водою, я же буду крестить Духом Святым».



БУТЫЛОЧНОЕ ГОРЛЫШКО

В узком кривом переулке, в ряду других жалких домишек, стоял один — узенький, высокий, наполовину каменный, наполовину деревянный, готовый расползтись со всех концов. Жили в нем бедные люди; особенно бедная, убогая обстановка была в каморке, ютившейся под самую крышей. За окном каморки висела старая клетка, в которой не было настоящего стаканчика с водой; вместо него служило бутылочное горлышко, заткнутое пробкой и опрокинутое вниз закупоренным концом. У открытого окна стояла старая девушка и угощала коноплянку свежим мокричником, а птичка весело перепрыгивала с жердочки на жердочку и заливалась песенкой.

«Тебе хорошо петь! — сказала бутылочное горлышко, конечно, не так, как мы говорим: бутылочное горлышко не может говорить — оно только подумало, сказала это про себя, как иногда мысленно говорят сами с собою люди. — Да, тебе хорошо петь! У тебя небось все кости целы! А вот попробовала бы ты лишиться, как я, всего туловища, остаться с одной шеей да ртом, к тому же заткнутым пробкой, небось не запела бы! Впрочем, и то хорошо, что хоть кто-нибудь может веселиться! Мне не с чего веселиться и петь, да я и не могу нынче петь! А в былые времена — когда я была еще целою бутылкою — и я певала, если по мне водили мокрою пробкой. Меня даже звали когда-то жаворонком, большим жаворонком! Я бывала и в лесу! Как же, меня брали с собой в день помолвки скорняковой дочки. Да, я помню все так живо, как будто дело было вчера! Много я пережила, как подумаю, прошла через огонь и воду, побывала и под землею, и в поднебесье, не то что другие! А теперь я опять парю в воздухе и греюсь на солнышке! Мою историю стоит послушать! Но я не рассказываю ее вслух, да и не могу».

И горлышко рассказало ее самому себе, вернее, продумало ее про себя; история и в самом деле была довольно замечательная; а коноплянка в это время знай себе распевала в клетке, внизу по улице шли и ехали люди, каждый думал свое или совсем ни о чем не думал, зато думало бутылочное горлышко!

Оно вспоминало огненную печь на стеклянном заводе, где в бутылку вдунули жизнь, помнило, как горяча была молодая бутылка, как она

смотрела в бурлящую плавильную печь — место своего рождения, чувствуя пламенное желание броситься туда обратно. Но мало-помалу она остыла и вполне примирилась со своим новым положением. Она стояла в ряду других братьев и сестер. Их был тут целый полк! Все они вышли из одной печки, но некоторые были предназначены для шампанского, другие для пива, а это разница! Впоследствии случается, конечно, что и пивная бутылка наполняется драгоценным *Lacrymae Cristi*, а шампанская — ваксою, но все же природное назначение каждой сразу выдается ее фасоном — благородная останется благородной даже с ваксой внутри!

Все бутылки были упакованы; наша бутылка тоже, тогда она и не предполагала еще, что кончит в виде бутылочного горлышка, в должности стаканчика для птички, — должности, впрочем, довольно почтенной: лучше быть хоть чем-нибудь, нежели ничем! Белый свет бутылка увидела только в ренсковом погребе; там ее и других ее товарок распаковали и выполоскали — вот странное было ощущение! Бутылка лежала пустая, без пробки и ощущала в желудке какую-то пустоту, ей как будто чего-то не доставало, а чего — она и сама не знала. Но вот в нее налили чудесного вина, закупорили и запечатали сургучом, а сбоку наклеили ярлычок: «Первый сорт». Бутылка как будто получила первый диплом на экзамене; но вино и в самом деле было хорошее, бутылка тоже. В молодости всякий более или менее поэт, вот и в нашей бутылке что-то так и играло и пело о таких вещах, о которых сама она и понятия не имела: о зеленых, освещенных солнцем горах с виноградниками по склонам, о веселых девушках и парнях, что с песнями собирают виноград, целуются и хохочут... Да, жизнь так хороша! Вот что бродило и пело в бутылке, как в душе молодых поэтов: они тоже зачастую сами не знают, о чем поют.

Однажды утром бутылку купили — в погреб явился мальчик от скорняка и потребовал бутылку вина самого первого сорта. Бутылка очутилась в корзине рядом с окороком, сыром и колбасой, чудеснейшим маслом и булками. Дочка скорняка сама укладывала все в корзинку. Девушка была молоденькая, хорошенькая; черные глазки ее так и смеялись, на губах играла улыбка, такая же выразительная, как и глазки. Ручки у нее были тонкие, мягкие, белые-пребелые, но грудь и шейка еще белее. Сразу было видно, что она одна из самых красивых девушек в городе, и — представьте — еще не была просватана!

Вся семья отправлялась в лес; корзинку с припасами девушка везла на коленях; бутылочное горлышко высовывалось из-под белой скатерти, которою была накрыта корзина. Красная сургучная головка бутылки глядела прямо на девушку и на молодого штурмана, сына их соседа-живописца, товарища детских игр красотики, сидевшего рядом с нею. Он только что блестяще сдал свой экзамен, а на следующий день уже должен был отплыть на корабле в чужие страны. Об этом много толковали во время

сборов в лес, и в эти минуты во взоре и в выражении личика хорошенькой дочки скорняка не замечалось особенной радости.

Молодые люди пошли бродить по лесу. О чем они беседовали? Да вот этого бутылка не слыхала, ведь она оставалась в корзине и успела даже соскучиться, стоя там. Но, наконец, ее вытащили, и она сразу увидела, что дела успели за это время принять самый веселый оборот: глаза у всех так и смеялись, дочка скорняка улыбалась, но говорила как-то меньше прежнего, щечки же ее так и цвели розами.

Отец взял бутылку с вином и штопор... А странное ощущение испытываешь, когда тебя откупоривают в первый раз! Бутылка никогда уже не могла забыть той торжественной минуты, когда пробку из нее точно вышибло, и у нее вырвался глубокий вздох облегчения, а вино забулькало в стаканы: клю-клю-клюд!

— За здоровье жениха и невесты! — сказал отец, и все опорожнили свои стаканы до дна, а молодой штурман поцеловал красотку невесту.

— Дай Бог вам счастья! — прибавили старики.

Молодой моряк еще раз наполнил стаканы и воскликнул:

— За мое возвращение домой и нашу свадьбу — ровно через год! — И когда стаканы были осушены, он схватил бутылку и подбросил ее высоко-высоко в воздух. — Ты была свидетельницей прекраснейших минут моей жизни, так не служи же больше никому!

Дочке скорняка и в голову тогда не приходило, что она опять когда-нибудь увидит ту же бутылку высоко-высоко в воздухе, а пришлось-таки.

Бутылка упала в густой тростник, росший по берегам маленького лесного озера. Бутылочное горлышко живо еще помнило, как она лежала там и размышляла: «Я угостила их вином, а они угощают меня теперь болотной водой, но, конечно, от доброго сердца!» Бутылке уже не было видно ни жениха, ни невесты, ни счастливых старичков, но она еще долго слышала их веселое ликование и пение. Потом явились два крестьянских мальчугана, заглянули в тростник, увидели бутылку и взяли ее — теперь она была пристроена.

Жили мальчуганы в маленьком домике в лесу; вчера старший брат их, матрос, приходил к ним прощаться; он уезжал в дальнее плавание; и вот мать возилась теперь, укладывая в его сундук то то, то другое, нужное ему в дорогу; вечером отец сам хотел отнести сундук в город, чтобы еще раз проститься с сыном и передать ему благословение матери. В сундук была уложена и маленькая бутылочка с настойкой. Вдруг явились мальчики с большой бутылкой, куда лучше и прочнее маленькой. В нее настойки могло войти гораздо больше, а настойка-то была очень хорошая и даже целебная — полезная для желудка. Итак, бутылку наполнили уже не красным вином, а горькою настойкой, но и это хорошо — для желудка. В сундук вместо маленькой была уложена большая бутылка,

и последняя, таким образом, отправилась в плавание вместе с Петером Иенсеном, а он служил на одном корабле с молодым штурманом. Но молодой человек не увидел бутылки, да если бы и увидел — не узнал бы: ему бы и в голову не пришло, что это та самая, из которой они пили в лесу за его помолвку и счастливое возвращение домой.

Правда, в бутылке больше не было вина, но кое-что не хуже, и Петер Иенсен частенько вынимал свою «аптеку», как величали бутылку его товарищи, и наливал им лекарства, которое так хорошо действовало на желудок. И лекарство сохраняло свое целебное свойство вплоть до последней своей капли. Веселое то было времечко! Бутылка даже пела, когда по ней водили пробкой, и за это ее прозвали «большим жаворонком» или «жаворонком Петера Иенсена».

Прошло много времени; бутылка давно стояла в углу пустою; вдруг стряслась беда. Случилось ли несчастье еще на пути в чужие края или уже на обратном пути — бутылка не знала: она ни разу не сходила на берег. Разразилась буря; огромные черные волны бросали корабль, как мячик, мачта сломалась, в корабле образовалась пробоина и течь, помпы перестали действовать. Тьма стояла непроглядная, корабль накренился и начал погружаться в воду. В эти-то последние минуты молодой штурман успел набросать на клочке бумаги несколько слов: «Господи, помилуй! Мы погибаем!» Потом он написал имя своей невесты, свое и название корабля, свернул бумажку в трубочку, сунул в первую попавшуюся пустую бутылку, крепко заткнул ее пробкой и бросил в бушующие волны. Он и не знал, что это та самая бутылка, из которой он наливал в стаканы доброе вино в счастливый день своей помолвки. Теперь она, качаясь, поплыла по волнам, унося его прощальный предсмертный привет.

Корабль пошел ко дну, весь экипаж тоже, а бутылка понеслась по морю, как птица; она несла сердечный привет жениха невесте! Солнышко вставало и садилось, напоминая бутылке раскаленную печь, в которой она родилась и в которую ей так хотелось тогда кинуться обратно. Испытала она и штиль, и новые бури, но не разбилась о скалы, не угодила в пасть акуле. Больше года носилась она по волнам туда и сюда; правда, она была в это время сама себе госпожой, но и это ведь может надоесть.

Исписанный клочок бумаги, последнее «прости» жениха невесте, принес бы с собою одно горе, попади он в руки той, кому был адресован. Но где же были те беленькие ручки, что расстилали белую скатерть на свежей травке, в зеленом лесу, в счастливый день обручения? Где была дочка скорняка? И где была родина бутылки? К какой стране она теперь приближалась? Ничего этого она не знала. Она носилась и носилась по волнам, так что под конец даже соскучилась. Носиться по волнам было вовсе не ее дело, и все-таки она носилась, пока наконец не приплыла к берегу чужой земли. Она не понимала ни слова из того, что говорилось вокруг нее: говорили на каком-то чужом, незнакомом ей языке, а не на

том, к которому она привыкла на родине; не понимать же языка, на котором говорят вокруг, — большая потеря!

Бутылку поймали, осмотрели, увидели и вынули записку, вертели ее и так, и сяк, но разобрать не разобрали, хоть и поняли, что бутылка была брошена с погибающего корабля и что обо всем этом говорится в записке. Но что именно? Да вот в том-то вся и штука! Записку сунули обратно в бутылку, а бутылку поставили в большой шкаф, что стоял в большой горнице большого дома.

Всякий раз, как в доме появлялся новый гость, записку вынимали, показывали, вертели и разглядывали, так что буквы, написанные карандашом, мало-помалу стирались и под конец совсем стерлись — никто бы и не сказал теперь, что на этом клочке было когда-то что-либо написано. Бутылка же простояла в шкафу еще с год, потом попала на чердак, где вся покрылась пылью и паутиною. Стоя там, она вспоминала лучшие дни, когда из нее наливали красное вино в зеленом лесу, когда она качалась на морских волнах, нося в себе тайну — письмо, «последнее прости».

На чердаке она простояла целых двадцать лет; простояла бы и дольше, да дом вздумали перестраивать. Крышу сняли, увидели бутылку и заговорили что-то, но она по-прежнему не понимала ни слова: языку не выучишься, стоя на чердаке, стой там хоть двадцать лет! «Вот если бы я оставалась внизу, в комнате, — справедливо рассуждала бутылка, — я бы наверное выучилась!»

Бутылку вымыли и выполоскали — она в этом очень нуждалась. И вот она вся прояснилась, просветлела, словно помолодела вновь; зато записку, которую она носила в себе, выплеснули из нее вместе с водой.

Бутылку наполнили какими-то незнакомыми ей семенами; заткнули пробкой и так старательно упаковали, что ей не стало видно даже света Божьего, не то что солнца или месяца. «А ведь надо же что-нибудь видеть, когда путешествуешь», — думала бутылка, но так-таки ничего и не увидела. Главное дело было, однако, сделано — она отправилась в путь и прибыла куда следовало. Тут ее распаковали.

— Вот уж постарались-то они там, за границей! Ишь как упаковали, и все-таки она, пожалуй, треснула! — услышала бутылка; но оказалось, что она не треснула.

Бутылка понимала каждое слово: говорили на том же языке, который она слышала, выйдя из плавильной печи, слышала и у виноторговца, и в лесу, и на корабле — словом, на единственном, настоящем, понятном и хорошем, родном языке! Она опять очутилась дома, на родине! От радости она чуть было не выпрыгнула из рук и едва обратила внимание на то, что ее откупорили, опорожнили, а потом поставили в подвал, где и позабыли. Но дома хорошо и в подвале. Ей и в голову не приходило считать, сколько времени она тут простояла, а долго-таки пришлось! Но

вот опять пришли люди и взяли все находившиеся в подвале бутылки, в том числе и нашу.

Сад был великолепно разукрашен; над дорожками перекидывались гирлянды из разноцветных шкаликов, бумажные фонари светились, словно прозрачные тюльпаны. Вечер был чудный, погода ясная и тихая. На небе сияли звездочки и молодая луна; виден был, впрочем, не только золотой серповидный краешек ее, но и весь серо-голубой круг — виден, конечно, только тому, у кого были хорошие глаза.

В боковых аллеях тоже горела иллюминация, хоть и не такая блестящая, как в главных, но вполне достаточная, чтобы люди не спотыкались впотьмах. Здесь, между кустами, были расставлены бутылки с воткнутыми в них зажженными свечами; здесь-то находилась и наша бутылка, которой суждено было в конце концов служить стаканчиком для птички. Бутылка была в восторге; она опять очутилась среди зелени, опять вокруг нее шло веселье, раздавались пение и музыка, смех и говор толпы, особенно густой там, где качались гирлянды разноцветных шкаликов и отливали яркими красками бумажные фонари. Сама бутылка, правда, стояла в боковой аллее, но тут-то и можно было помечтать; она держала свечу — служила и для красоты, и для пользы, а в этом-то вся и суть. В такие минуты забудешь даже двадцать лет, проведенных на чердаке, — чего же лучше!

Мимо бутылки прошла под руку парочка, ну точь-в-точь как та парочка в лесу — штурман с дочкой скорняка; бутылка вдруг словно перенеслась в прошлое. В саду гуляли приглашенные гости, гуляли и посторонние, которым позволено было полюбоваться гостями и красивым зрелищем; в числе их находилась и старая девушка, круглая сирота, но не без друзей. Думала она о том же, о чем и бутылка: ей тоже вспоминался зеленый лес и молодая парочка, которая была так близка ее сердцу, ведь она сама участвовала в той веселой прогулке, сама была тою счастливою невестой! Она провела тогда в лесу счастливейшие часы своей жизни, а их не забудешь, даже став старою девою! Но она не узнала бутылки, да и бутылка не узнала ее. Так случается на свете сплошь да рядом: старые знакомые встречаются и расходятся, не узнав друг друга, до новой встречи.

И бутылку ждала новая встреча со старою знакомою, ведь они находились теперь в одном и том же городе.

Из сада бутылка попала к виноторговцу, опять была наполнена вином и продана воздухоплавателю, который в следующее воскресенье должен был подняться на воздушном шаре. Собралось множество публики, играла полковая музыка; шли большие приготовления. Бутылка видела все это из корзины, где она лежала рядом с живым кроликом. Бедняжка кролик был совсем расстроен: он знал, что его спустят вниз с высоты на парашюте! Бутылка же и не знала, куда они полетят — вверх или вниз;

она видела только, что шар надувался все больше и больше, потом приподнялся с земли и стал порываться ввысь, но веревки все еще крепко держали его. Наконец их обрезали, и шар взвился в воздух вместе с воздухоплавателем, корзиною, бутылкою и кроликом. Музыка гремела, а народ кричал: «Ура!»

«А как-то странно лететь по воздуху! — подумала бутылка. — Вот новый способ плавания! Тут, по крайней мере, не наткнешься на камень!»

Многотысячная толпа смотрела на шар; смотрела из своего открытого окна и старая девушка; за окном висела клетка с коноплинкой, обходившейся еще, вместо стаканчика, чайною чашкой. На подоконнике стояло миртовое деревце; старая девушка отодвинула его в сторону, чтобы не уронить, высунулась из окна и ясно различила на высоте шар и воздухоплавателя, который спустил на парашюте кролика, потом выпил из бутылки за здоровье жителей и швырнул ее кверху. Девушке и в голову не пришло, что это та самая бутылка, которую подбросил высоко в воздух ее жених в зеленом лесу в счастливейший день ее жизни!

У бутылки же и времени не было ни о чем подумать — она так неожиданно очутилась на зените своего жизненного пути. Башни и крыши домов лежали где-то там, внизу, люди казались такими крохотными!..

И вот она стала падать вниз, да куда быстрее, чем кролик; она кувыркалась и плясала в воздухе, чувствовала себя такою молодою, такою жизнерадостною, вино в ней так и играло, но недолго — вылилось. Вот так полет был! Солнечные лучи отражались на ее стеклянных стенках, все люди смотрели только на нее: шар уже скрылся; скоро скрылась из глаз зрителей и бутылка. Она упала на крышу и разбилась. Осколки, однако, еще не сразу успокоились — прыгали и скакали по крыше, пока не очутились на дворе и не разбились о камни в еще более мелкие кусочки. Уцелело одно горлышко; его словно отрезало алмазом!

— Вот славный стаканчик для птицы! — сказал погребщик, но у самого у него не было ни птицы, ни клетки, а обзаводиться ими только потому, что попало ему бутылочное горлышко, годное для стаканчика, было бы уж чересчур! А вот старой девушке, что жила на вышке, оно могло пригодиться, и бутылочное горлышко попало к ней; его заткнули пробкой, перевернули верхним концом вниз — такие перемены часто случаются на свете, налили в него свежей воды и подвесили к клетке, в которой так и заливалась коноплинка.

— Да, тебе хорошо петь! — сказала бутылочное горлышко, а оно было замечательное — летало на воздушном шаре.

Остальные обстоятельства его жизни не были известны никому. Теперь оно служило стаканчиком для птицы, качалось в воздухе вместе с клеткой, до него доносились с улицы грохот экипажей и говор толпы, из каморки же — голос старой девушки. К ней пришла в гости ее

старая приятельница-ровесница, и разговор шел не о бутылочном горлышке, но о миртовом деревце, что стояло на окне.

— Право, тебе незачем тратить двух риксдалеров на свадебный венок для дочки! — говорила старая девушка. — Возьми мою мирту! Видишь, какая чудесная, вся в цветах! Она выросла из отводка той мирты, что ты подарила мне на другой день после моей помолвки. Я собиралась свить из нее венок ко дню своей свадьбы, но этого дня я так и не дождалась! Закрылись те очи, что должны были светить мне на радость и счастье всю жизнь! На дне морском спит мой милый жених!.. Мирта состарилась, а я еще больше! Когда же она начала засыхать, я взяла от нее последнюю свежую веточку и посадила ее в землю. Вот как она разрослась и попадет-таки на свадьбу — мы сошьем из ее ветвей свадебный венок для твоей дочки!

На глаза старой девушки навернулись слезы: она стала вспоминать друга юных лет, помолвку в лесу, тост за их здоровье, подумала о первом поцелуе... но не упомянула о нем, ведь она была уже старою девою! О многом вспоминала и думала она, только не о том, что за окном, так близко от нее, находится еще одно воспоминание того времени — горлышко той самой бутылки, из которой с таким шумом вышибло пробку, когда пили за здоровье обрученных. Да и само горлышко не узнало старой знакомой, оно и не слушало, что она рассказывала, — отчасти, да и вообще потому, что думало только о самом себе.



КАМЕНЬ МУДРЕЦОВ

Ты ведь знаешь сказание о Гольгере-Данске? Мы не собираемся пересказывать его, а просто спрашиваем, помнишь ли ты, что Гольгер-Данске покорил великую Индию до восточного края света, до самого «солнечного дерева», как рассказывает Христиан Педерсен¹. Ты ведь знаешь, кто был Христиан Педерсен? А и не знаешь — не беда! Гольгер-Данске вручил власть над страной священнику Ионе. Знаешь ты что-нибудь о священнике Ионе? А и не знаешь — тоже не беда! Он не играет в нашем рассказе никакой роли. Мы расскажем тебе о солнечном дереве, растущем «в Индии, на восточном краю света», как толковали во время оно люди: — они не учились географии, как мы с тобою, но и это ведь не беда!

Солнечное дерево было чудо что за дерево, какого и мы не видывали, и ты никогда не увидишь. Густолиственная вершина его бросала тень на несколько миль кругом; дерево было, в сущности, настоящим лесом, каждая отдельная маленькая ветвь — целым деревом; тут были и пальмы, и буки, и платаны, и пихты; словом, всевозможные породы деревьев, какие только существуют на белом свете, росли в виде побегов на больших ветвях. Большие же ветви, извилистые и суковатые, являлись настоящими долинами и холмами, устланными мягким, как бархат, зеленым ковром, усыпанным цветами. Каждая ветвь напоминала висящий в воздухе цветущий луг или чудеснейший сад. Солнышко вечно ласкало дерево своими благодатными лучами — недаром же оно звалось солнечным деревом. К нему слетались птицы со всех концов света: из дальних девственных лесов Америки, из розовых садов Дамаска, даже из лесных пустынь Африки, где львы и слоны мнят себя полновластными хозяевами. Прилетали сюда и полярные птицы, и — само собою — аисты с ласточками. Но не одни птицы обитали на дереве: олень, белка, антилопы и другие быстроногие, прекрасные животные тоже чувствовали себя здесь как дома. И немудрено: густая, кудрявая вершина дерева была огромным,

¹ Имя выдающегося датского ученого (умер в 1554 г.), издавшего «Kong Olger Danskis Kronike», Malmö, 1534. — *Примеч. перев.*

благоухающим садом. Посреди же этого сада, там, где раскинулись зеленые склоны самых больших ветвей, возвышался хрустальный замок; из окон его открывался вид на все четыре стороны света.

Каждая башня замка напоминала лилию, по стебельку которой можно было подняться на самый верх — в стебельке была внутренняя лестница, понимаешь? — и ступить на края отогнутых лепестков, изображавших балконы; в самой же чашечке находилась чудеснейшая блестящая зала, но потолком здесь служило голубое небо, озаренное солнцем или усыянное звездами. Хорошо было, хоть и на другой лад, и в нижних залах замка: на стенах отражался весь мир, все, что происходило на земле, — и газет не надо было; кстати, их в замке и не получалось. Все можно было увидеть и узнать из этих живых картин, лишь бы хватило времени да охоты, но невозможное — невозможно даже для первого мудреца в свете, а в замке как раз и жил такой мудрец. Имя его трудно и произнести; тебе ни за что не выговорить, да и не велика беда. Он знал все, что только может знать или узнать человек на земле, был посвящен во все открытия прошлого, настоящего и будущего; но дальше этого его знания не простирались — всему есть границы! Сам мудрый царь Соломон был лишь вполовину так умен, как он, а царь Соломон был очень умен: он повелевал силами природы и могучими духами; сама смерть обязана была каждое утро присылать ему список людей, которых собиралась похитить днем. И все-таки царь Соломон должен был умереть — вот эта-то мысль и не давала покоя мудрецу, могущественному владельцу замка на солнечном дереве. И он, как ни возвышался своею мудростью над всеми людьми, должен был когда-нибудь умереть, и дети его — тоже. Все они должны были увянуть, опасть и превратиться в прах, как древесные листья; он знал это, он видел, как осыпались и превращались в прах поколения людские. На месте опавших листьев вырастали на дереве новые, те же, что опали, никогда не возрождались вновь, а превращались в прах, переходили в другие растительные части; но что же происходило после смерти с людьми? Что такое сама смерть? Тело превращается в прах, а душа? Чем является душа в теле и чем она становится потом? Что ее ждет? «Жизнь вечная» — утешает нас религия, но как же свершается переход в эту жизнь? Где живет душа и как? «На небе, — говорят благочестивые люди. — И мы пойдем туда же!»

— Туда! — повторял мудрец, глядя вверх на голубое небо, на солнце и на звезды! Туда!

Но, бросив с круглого шара земли испытующий взор в пространство, он нашел, что и верх и низ тут безразличны — все зависит от того, с какой точки земного шара смотреть в пространство! А поднявшись на высочайшие горы, он увидал, что самое воздушное пространство, которое кажется нам с земной плоскости таким голубым, прозрачным, это «ясное небо», как мы его называем, есть, в сущности, сплошной густой мрак, тяжело облегающий землю; увидал, что солнце — огромный раскаленный

шар, без лучей, а наша земля — шарик, окутанный оранжевым туманом. Да, телесный взор человека везде встречает границы, и за них не в силах проникнуть даже духовный взор его. Как же ничтожны наши знания, если и мудрейший из людей знал о том, что для нас важнее всего, так мало!

В потайной комнате замка хранилось величайшее земное сокровище — книга Истины. И мудрец читал из нее страницу за страницей. Эту книгу может читать каждый человек, но лишь отрывками: в иных местах буквы так прыгают перед глазами, что нельзя разобрать не единого слова, а в иных они до того бледны, что глаз видит лишь чистую неисписанную страницу. Чем мудрее человек, тем больше он может прочесть из этой книги, и наш мудрец прочел ее почти всю.

Он умел собирать свет звезд, свет солнца, вызывать скрытый свет сокровенных сил природы и свет ума, и благодаря такому яркому освещению становились видимыми даже самые бледные буквы. Но в конце книги, в главе «Жизнь после смерти», и он не мог прочесть ничего, кроме самого заглавия. Это сильно огорчало мудреца. Неужели ему так и не удастся найти здесь, на земле, такого сильного источника света, который осветил бы содержание этих последних страниц книги Истины?

Мудрец, как и царь Соломон, понимал язык животных, умел вслушиваться в речи зверей и пение птиц, но толку от этого было мало. Он умел извлекать из растений и металлов целебные силы, которые могли изгонять болезни, даже отгонять смерть, но победить ее совсем не могли. Во всей природе, во всем, что было ему доступно, искал он света, который бы мог озарить для него будущую жизнь, но не находил, и последние страницы книги Истины оставались для него белыми страницами. Христианское учение, правда, предлагало ему утешение, обещая вечную жизнь за гробом, но про эту-то жизнь ему и хотелось прочесть в своей книге, а там его глаза видели лишь белую страницу.

У мудреца было пятеро детей: четверо сыновей, которым он дал такое воспитание и обучение, какое только может дать своим детям мудрейший из отцов, и дочь-красавица, кроткая, умная, но слепая. Она, впрочем, казалось, и не ощущала этого недостатка: отец и братья заменяли ей глаза, а необыкновенная душевная чуткость — непосредственные зрительные ощущения.

Сыновья никогда не уходили далеко от дома, никогда не переступали черты, за которую уже не падала тень от ветвей солнечного дерева; сестра их и подавно. Хорошо жилось детям в родительском доме, под сенью чудесного, благоухающего солнечного дерева. Как и все дети, они очень любили слушать рассказы, и отец рассказывал им много, чего другие дети и не поняли бы, но эти были так умны, как у нас бывают разве только умудренные долгою жизнью старцы. Отец объяснял им живые картины, отражавшиеся на стенах замка, объяснял ход земных событий и деяния людей, и сыновья часто выражали желание побывать

в свете, чтобы самим окунуться в водоворот жизни, но отец говорил им, что в свете живется трудно и горько, что действительность не совсем-то такова, какую они ее себе представляют отсюда, из своего чудесного детского мирка. Он говорил детям о добре, истине и красоте, говорил, что из них-то, под тяжким давлением света, образуется драгоценный камень, светлее бриллианта самой чистейшей воды; блеск его угоден Богу и затмевает собою решительно все; этот-то камень, собственно, и есть то, что называют камнем мудрецов. Затем он сказал им, что, как можно прийти до уверенности в существовании Творца, изучая сотворенное, так можно прийти и до уверенности в существовании упомянутого камня, изучая людей. Большого о камне он рассказать им не мог — большего он и сам не знал. Другим детям трудно было бы понять все это, но дети мудреца поняли, а впоследствии поймут, может быть, и другие.

Выслушав отца, они начали расспрашивать его об истине, добре и красоте подробнее, и он рассказал им все, что знал сам. Между прочим, он сказал им, что Бог, создав человека из земли, подарил ему пять огненных сердечных поцелуев, и с каждым поцелуем человек получал одно из своих пяти чувств, как мы их называем. Ими-то мы и познаем красоту, истину и добро, ими истина, добро и красота оцениваются, защищаются и поощряются; каждое из этих пяти чувств подразделяется на внешнее и внутреннее, духовное; одно из них — корень, другое — верхушка, одно — тело, другое — душа.

Дети много думали о словах отца; камень мудрецов не выходил у них из головы ни днем ни ночью. Наконец, старшему приснился чудный сон, но — вот диво! — то же самое приснилось и второму, и третьему, и четвертому! Каждому брату снилось, что он отправляется странствовать по белу свету и находит камень мудрецов, который горит у него во лбу ярким пламенем в то время, как он мчится по бархатным лугам и отцовскому саду на своем быстром, как ветер, коне обратно в отчий дом. И драгоценный камень отбросил на страницы книги Истины такой небесный свет, что стали видны и письма в главе «Жизнь после смерти». Сестре же не снилось ничего такого; ей и в голову не приходило пуститься странствовать по свету — весь свет заключался для нее в отцовском доме.

— Я отправлюсь в путь! — сказал старший. — Пора мне узнать, что творится на белом свете, и самому окунуться в море житейское. Я стремлюсь только к добру и истине, а благодаря им я обрету и красоту! Многое изменится в мире, когда я возьмусь за дело!

Да, замыслы-то у него были отважные и великие, как и у всех нас, пока мы сидим у себя в углу, за печкой, не испытав еще ни дождя, ни непогоды, не изранив себе ног терниями, растущими на пути жизни!

У каждого брата все пять чувств — и внешние, и внутренние — были развиты превосходно, но одно все-таки играло преобладающую роль.

У старшего брата таким чувством являлось зрение. Оно-то и должно было сослужить ему главную службу. Он, по его словам, проникал взором во все времена, во все деяния людские, даже в недра земли, где скрываются сокровища, и в сердца людей, словно люди были из прозрачного стекла! Иначе говоря, он видел побольше, чем можем видеть мы, глядя на вспыхивающее румянцем или бледнеющее лицо и всматриваясь в смеющиеся или плачущие глаза. Олень и антилопа проводили старшего брата до западной границы, а там он увидел диких лебедей, летевших к северо-западу, и последовал за ними. Скоро он очутился далеко-далеко от родины, от «восточного края света».

Вот глаза-то у него разбежались! Было-таки на что посмотреть тут! А видеть что-нибудь в действительности совсем иное, нежели на картинках, хоть бы и на хороших, — те, что были у него дома, в отцовском замке, были необыкновенно хороши. В первую минуту он чуть не ослеп от удивления при виде всего того хлама, что выдавался людьми за прекрасное; но, видно, глаза ему еще могли пригодиться, — конечно, не для того же они были ему даны! — и он не ослеп.

Придя в себя, он решил основательно и добросовестно приступить к изучению истины, добра и красоты; но что же, собственно, было истиною, добром и красотой? Он увидел, что люди зачастую венчают цветами вместо красоты уродство, истинного добра не замечают, награждают посредственностью рукоплесканиями, а не свистками, смотрят на имя, а не на достоинство, на платье, а не на самого человека, на должность, а не на призвание. Да и чего от них требовать?

«Да, надо мне хорошенько взяться за дело!» — подумал он и взялся.

Но пока он доискивался истины, явился дьявол, отец лжи и сам ложь. Он бы с удовольствием выцарапал провидцу оба глаза, но это был бы уж слишком резкий прием: дьявол обыкновенно приступает к делу более тонко. Он оставил провидца отыскивать истину да разглядывать добро, но, пока тот разглядывал, вдунул ему сучок сперва в один глаз, а затем и в другой, ну а это не послужит в пользу никакому зрению, даже самому острому! Потом дьявол принялся раздувать сучки в бревна, и тогда — прощай зрение! Провидец очутился на торжище жизни слепым и не хотел довериться никому. Теперь он стал иного мнения о свете, отчаялся во всем и во всех, даже в самом себе, а раз человек дошел до такого отчаяния — он пропал.

— Пропал! — запели дикие лебеди, улетаая на восток.

— Пропал! — защебетали ласточки, тоже направлявшиеся к востоку, к солнечному дереву.

Недобрые вести дошли до дому.

— Провидцу, как видно, не повезло! — сказал второй брат. — Авось мне, с моим чутким слухом, посчастливится больше!

У него из всех чувств особенно изощрен был слух: он слышал, как растет трава, — вот до чего дошел!

Сердечно распрощавшись с семьей, отправился применить к делу свои богатые дарования, осуществить свои добрые намерения и второй брат. Ласточки провожали его далеко-далеко, а лебеди указывали путь. Наконец он очутился среди людской толпы.

Вот уж правда говорится, что «хорошенького — понемножку». Слух у него был ведь до того богат, что он слышал, как растет трава, различал биение человеческого сердца в минуты радости от биения его в минуты горя, слышал вообще каждое биение всех сердец, так что свет представился ему огромною мастерскою часовщика, где тикают и бьют часы всех сортов, и маленькие, и большие. Сил не было вынести эту стукотню! А он все-таки слушал в оба уха, пока мог, но, наконец, совсем обезумел от людского шума и гама. Еще бы! Чего стоили одни уличные шестидесятилетние мальчишки — годы тут ведь ни при чем, — горланившие во всю мочь! Ну, да это-то еще было только смешно, но потом на смену простому крику и гаму являлась сплетня и, шипя, ползла по всем домам, улицам, переулкам и дальше по большой дороге. Наконец, громогласно раздавалась ложь и верховодила всем, а шутовские бубенчики звенели, как будто были церковными колоколами. Нет, это было уж слишком! Он заткнул себе уши пальцами, но все продолжал слышать фальшивое пение и злые речи. Языки людские не знали удержу, мололи всякий вздор; болтали без умолку о выеденном яйце, так что добрые отношения между людьми трескали по всем швам. Шум и гам, трескотня и стукотня, и внутри и снаружи — ужас! Ничьих сил не хватило бы вынести все это! Просто с ума можно было сойти. И второй брат запускал пальцы в уши все глубже и глубже, пока наконец не прорвал барабанной перепонки. Теперь уж он стал глух ко всему, даже к добру, истине и красоте. Он присмирел, стал подозрительным, не доверял никому, под конец — даже себе самому, а это большое несчастье. Не ему было отыскать и принести домой драгоценный камень! Он и махнул на свою задачу рукой, махнул рукой на всех и все, даже на самого себя, а уж хуже этого нет ничего. Птицы, летевшие на восток, принесли о том весть на родину его, в замок солнечного дерева, но письма от него никакого не пришло, да и почта-то в те времена еще не ходила.

— Теперь я попытаю счастья! — сказал третий брат! — У меня есть нюх!

Не особенно-то изящно он выражался, но таков уж он был, таким надо его и принимать. Он отличался веселым нравом и был поэтом, настоящим поэтом. Он мог спеть все, чего не мог высказать. О многом он догадывался куда раньше, чем другие.

— Уж такой у меня нюх! — говорил он, и правда, обоняние было у него развито в высшей степени; это чувство играло, по его мнению,

весьма важную роль в царстве прекрасного. «Одному приятен аромат яблони, другому аромат конюшни! — говорил он. — Каждая область ароматов в царстве прекрасного имеет свою публику. Одни люди чувствуют себя как дома в кабачке, дыша воздухом, пропитанным копотью и чадом сальных свеч, запахом сивухи и табачным дымом, другие предпочитают одуряющий аромат жасмина или улащают себя крепким гвоздичным маслом, а это хоть кого прошибет! Третьи, наконец, ищут свежего морского ветерка, свежего воздуха, взбираются на вершины гор и смотрят оттуда вниз на мелочную людскую сутолоку!»

Да, вот как рассуждал он. Казалось, он имел уже случай пожить в свете между людьми и узнать их, а на самом-то деле эти познания были результатом его внутренней мудрости — он был поэтом. Господь одарил его поэтическим чутьем при самом рождении.

И вот он простился с родными и, выйдя за черту отцовских владений, сел на быстроногого страуса, который мчится куда быстрее коня, а потом, увидав стаю диких лебедей, пересел на спину к самому сильному — он любил перемену. Перелетев море, он очутился в чужой стране, где росли огромные леса, сверкали глубокие озера, возвышались высокие горы и роскошные города. И куда он ни являлся, всюду словно восходило солнышко, каждый кустик, каждый цветочек начинали благоухать сильнее, почуяв приближение друга, защитника, который оценит и поймет аромат их. Даже зачахший, всеми забытый розовый куст расправил ветви, развернул листики, и на нем распустилась чудеснейшая роза. Всякому она бросалась в глаза, даже черная скользкая лесная улитка и та заметила ее красоту.

— Я хочу отметить этот цветок! — сказала улитка. — Ну вот, теперь я плюнула на него — большего я уж не могу сделать.

— Вот что бывает на этом свете с прекрасным! — сказал поэт, сложил о том песню и пропел ее, как умел, но никто даже и не прислушался.

Тогда он дал барабанщику два скиллинга и павлинье перо и велел ему переложить песню для барабана да пробарабанить ее по всему городу, по всем улицам и переулкам. Тогда люди услышали песню и объявили, что поняли ее, — в ней дескать замечательно глубокий смысл! Теперь поэт мог продолжать слагать и петь свои песни. Он пел об истине, добре и красоте, и его слушали и в кабачках, где чадили сальные свечи, и на свежем воздухе в поле, в лесу, и в открытом море. Казалось, что этому брату повезло больше, чем первым двум, но дьявол этого не потерпел, живо явился и начал воскурять перед ним фимиам самый крепкий и благовонный, какой только может изготавливать из всех существующих на свете сам дьявол. А уж он мастер добывать такой удушливый фимиам, от которого закружится голова у любого ангела, не то что у бедного поэта. Дьявол знает, чем пронять человека! Поэта он пронял фимиамом —

бедняк совсем утонул в волнах его, забыл свою миссию и родину — все, даже себя самого, все поглотил дым фимиама!

Все птички, услышав о том, затосковали и умолкли на целых три дня, а черная лесная улитка почернела пуще прежнего — не от горя, а от зависти.

— Ведь это мне, — сказала она, — следовало бы воскурять фимиам, я ведь дала ему идею первой знаменитой песни, которую переложили на барабан! Я плюнула на розу и могу даже представить свидетелей!

А домой, на родину, не дошло даже и весточки о судьбе поэта: птички горевали и не раскрывали рта целых три дня, и скорбь их оказалась такой сильной, что к концу трехдневного срока ее они даже забыли, о чем горевали! Вот как!

— Ну, теперь пора и мне отправиться в путь! — сказал четвертый брат.

Он тоже был веселого нрава, как и предыдущий, притом он не был поэтом, значит, ничто и не мешало ему сохранять свой веселый нрав. Оба эти брата были душой и весельем всей семьи; теперь из нее уходило и последнее веселье! Зрение и слух вообще считаются у людей главными чувствами; на их развитие обращается особенное внимание, три же остальных чувства считаются менее существенными. Не так думал младший брат; у него особенно развит был вкус — в самом широком смысле этого слова. А вкус и в самом деле играет большую роль: он руководит выбором всего, что поглощается и ртом, и умом. И младший брат не только перепробовал все, что вообще подается на сковородах, в горшках, в бутылках и других сосудах, — это была грубая, физическая, сторона дела, говорил он, — но и на каждого человека смотрел как на горшок, в котором что-нибудь варится, на каждую страну — как на огромную кухню, и это являлось уже тонкою, духовною, стороной его миссии. На эту-то сторону он теперь и собирался приналечь.

— Может быть, мне и посчастливится больше братьев! — сказал он. — Итак, я отправлюсь в путь, но какой же способ передвижения избрать мне? Что, воздушные шары изобретены? — спросил он отца: тот ведь знал о всех изобретениях и открытиях прошедшего, настоящего и будущего.

Оказалось, что воздушные шары еще не были изобретены, так же, как пароходы и паровозы.

— Ну, так я отправлюсь на воздушном шаре! — решил он. — Отец-то ведь знает, как они снаряжаются и управляются, и научит меня! Людям эти шары еще неизвестны и, увидя мои, они примут его за воздушное явление! Я же, воспользовавшись им, сожгу его — отец должен снабдить меня несколькими штучками грядущего изобретения, так называемыми химическими спичками.

Все это он получил и полетел. Птицы провожали его дальше, нежели старших братьев: им любопытно было поглядеть, что выйдет из его полета. К этим птицам приставали по пути все новые и новые: птицы очень любопытны, а шар показался им новою диковинною птицей. И у младшего брата составила такая птичья свита, что хоть убавляй! Птичья стая неслась черною тучей, точно египетская саранча; даже света дневного из-за нее не было видно. Наконец шар залетел далеко-далеко.

— У меня хороший друг и помощник — восточный ветер! — сказал младший брат.

— То есть два — восточный и западный! — сказали оба ветра. — Мы попеременно направляли твой шар, а то как бы ты попал на северо-запад!

Но он и не слышал, что они ему говорили, да и не все ли равно! Птицы больше не сопровождали его: когда их собралось уж очень много, две-три из них соскучились лететь.

— Нет, эту вещь слишком раздули! — объявили они. — И он, пожалуй, еще Бог весть что вообразит о себе! Да и незачем лететь за ним! Все это пустое! Просто неловко даже!

И они отстали; за ними и все другие. Все нашли, что это — пустое.

А шар спустился в одном из самых больших городов, и воздухоплаватель очутился на высочайшей точке — на башенном шпиге. Шар опять поднялся в воздух, хоть этого и не следовало; куда он улетел — сказать трудно, да и не все ли равно, раз он не был еще изобретен?

Итак, младший брат восседал на башенном шпиге, но птицы уже не слетались к нему: и он им надоел, и они ему. Все дымовые трубы в городе дымили и благоухали.

— Это все алтари, воздвигнутые тебе! — сказал ветер: он хотел сказать гостю что-нибудь приятное.

А тот сидел себе преважно и посматривал вниз на улицы и прохожих. Один шел и чванился своим кошельком; другой — ключами на задних фалдах, хоть ему и нечего было отпирать ими; третий — своим кафтаном, а его уж ела моль; четвертый — своим телом, а его уж точил червяк!..

— Суeta сует! Да, пора мне сойти вниз, помешать в котле жизни да отведать, каково на вкус его содержимое! — сказал он. — Но я еще посижу тут немножко: ветер так чудесно щекочет мне спину; очень приятно! Я посижу здесь, пока ветер дует с той стороны. Надо же мне отдохнуть немножко. Хорошо подольше понежиться утром в постели, когда предстоит трудный день, говорят ленивцы, а леньость — мать пороков, но ведь наша семья не заражена никакими пороками, говорю я, и то же скажет о своей семье любой прохожий! Я посижу тут, только пока ветер дует с той стороны: он мне по вкусу!

И он остался сидеть, но сидел-то он на флюгере шпица, и тот все вертелся с ним, а он думал, что дует все тот же ветер; он продолжал сидеть и мог сидеть так без конца!

А в Индийской стране, в замке на солнечном дереве, стало так пусто и тихо, когда братья разошлись один за другим.

— Им не повезло! — говорил отец. — Никогда не принесут они домой сверкающего драгоценного камня, никогда я не обрету его! Они ушли, погибли!..

И он склонялся над книгой Истины, впиваясь взглядом в страницу, на которой хотел прочесть о жизни после смерти, но по-прежнему ничего не видел на ней.

Слепая дочь была его утешением и отрадой; она так искренне была к нему привязана, так любила его и, ради его счастья, горячо желала, чтобы драгоценный камень был найден и принесен домой. Но о братьях она очень горевала: где они и что с ними? Как ей хотелось увидеть их хоть во сне, но, удивительно, даже во сне она не могла с ними свидеться! Но однажды ночью ей приснилось, что она слышит их голоса; они зовут ее, они кричат ей из пучины житейского моря, и она пускается в путь, уходит далеко-далеко и в то же время все-таки как будто не выходит из отцовского дома. Братьев она так и не встречает, но в руке чувствует какое-то пламя, которое, однако, не жжет ее... В руке у нее сверкающий драгоценный камень, и она приносит его отцу! В первую минуту по пробуждении ей показалось, что она все еще держит камень в руке, но оказалось, что рука ее крепко сжимала прялку. В долгие бессонные ночи она непрерывно пряла, и на веретене была намотана нить тоньше той, что прядет паук; человеческим глазом нельзя было и разглядеть ее. Но девушка смачивала нить своими слезами, и нить становилась крепче якорного каната.

Слепая встала; она решила — сон должен был сбыться. Была ночь, отец ее спал, она поцеловала его руку, прикрепила конец нити к отцовскому дому: иначе как бы она, бедная слепая, нашла дорогу домой? За эту нить она должна была крепко держаться — ей она доверялась, а не самой себе, не другим людям. Потом она сорвала с солнечного дерева четыре листочка: она хотела, в случае если сама не встретит братьев, пустить эти листья по ветру, чтобы тот отнес по одному каждому брату вместо письма, поклона от нее.

Что-то будет с бедняжкой слепой, как станет она пробираться по белу свету? Но она ведь держалась за невидимую путеводную нить и, кроме того, над всеми пятью чувствами преобладала у нее внутренняя душевная чуткость, благодаря чему она как бы видела кончиками пальцев, слышала сердцем.

И вот она отправилась бродить по белу свету. Море житейское шумело и гудело вокруг нее, но где только ни проходила она — всюду на небе

сияло солнышко, ласкавшее ее своими теплыми лучами, всюду из черных облаков исходила сияющая радуга, всюду девушка слышала пение птичек, вдыхала аромат апельсиновых и яблоневых садов; аромат был так силен, что ей казалось даже, будто она вкушает сами плоды. До слуха ее доносились нежные ласкающие звуки, дивное пение, но доносились также завыванье и дикие крики; мысли и чувства людские вступали между собою в борьбу, и в глубине ее сердца сталкивались отзвуки двух мелодий: задушевной сердечной мелодии и мелодии рассудка. Один людской хор пел:

Земная жизнь — борьба и слезы,
Сплошная тьма, просвета нет!

Другой:

Нет, люди рвут и счастья розы,
Их взор ласкает солнца свет!

Опять доносилась горькая жалоба:

Мир жив лишь злом, враждой, гоненьем,
Брат губит брата, сын — отца!

В ответ звучало:

Любовью, благостью, прощеньем
Людей исполнены сердца!

Потом слышалось:

Мир тонет в мраке лжи, притворства,
Вся жизнь лишь суета сует!

Но вот раздавалось:

Но с тьмой и ложью в ратоборство
Вступают Истина и Свет!

Тут хор дико грянул:

Махни рукой на все и смейся,
Людей и мир весь презирай!

Но в сердце слепой девушки звучало:

На Бога и себя надейся,
Ему судьбу свою веряй!

И стоило девушке появиться в кругу мужчин и женщин, старых и молодых, души всех загорались светом истины, добра и красоты; повсюду, где она ни появлялась — в мастерской ли художника, в богатом ли, празднично убранном покое, на фабрике ли среди жужжащих машин, — всюду словно восходило солнышко, звучали невидимые струны, ниспадала на изнывающие от жажды листья живительная роса.

Но дьявол не мог с этим примириться, а он ведь умнее целых десятков тысяч умных людей вместе взятых и додумался-таки, чем помочь горю. Он отправился в болото, взял пузырей гнилой воды, велел прозвучать

над ними семикратному эху лжи, чтобы они окрепли, потом истолок в порошок всевозможные оплаченные похвальные оды и лживые надгробные речи, какие только мог достать, сварил порошок вместе с пузырями в слезах, пролитых завистью, сыпал полученную смесь румянцем, соскобленным с увядшей щеки старой девы, и создал из всего этого девушку по образу и подобию богатой благодатью слепой. Люди стали звать создание дьявола Кротким ангелом душевной чуткости, и все пошло теперь как по маслу: дьявол одолел — свет не знал, которая из двух была настоящей, да и где ему было знать это!

«На Бога и себя надейся,
Ему судьбу свою верь!» —

раздавалось между тем в сердце слепой, но просветленной твердою верой девушки. Четыре зеленых листка солнечного дерева она отдала ветру, чтобы тот отнес их, вместо письма, поклона, ее братьям, и твердо верила, что ветер доставит листья по назначению. Так же твердо верила она и в то, что драгоценный камень, затмевающий блеском все земное великолепие, будет ею найден. С чела человечества должен он сиять дивным блеском, озаряя и дом ее отца.

— Дом моего отца! — повторила она. — Да, на земле обретается этот камень, и я принесу домой не одну уверенность в его существовании; я уже ощущаю его пламя; оно пышет все сильнее и сильнее в моей зажатой руке! Я подхватывала каждое крошечное зерно истины, носившейся по ветру, и крепко берегла его; я давала ему пропитаться ароматом всего прекрасного, чего немало на земле — даже для слепой. Я ловила каждое биение человеческого сердца во имя добра и вкладывала их в зернышки истины. Я несу домой одни песчинки, но все они в совокупности и составят драгоценный камень, который я искала: у меня их полная горсть!

И она протянула руку отцу — она была уже дома; с быстротою мысли очутилась она там, ведь она не выпускала из рук невидимой путеводной нити, связывавшей ее с отцовским домом.

Злые духи налетели на солнечное дерево с грохотом урагана, с шумом и свистом ворвались в открытые ворота и в потайную комнату.

— Вихрь развеет песчинки! — вскричал отец, хватая ее разжатую руку.

— Нет! — с твердою уверенностью возразила она. — Их нельзя развеять. Я чувствую, как от них струится луч света, согревающий мою душу!

И отец увидел, что сверкающие песчинки бросали яркий луч на белую страницу книги Истины — на ту страницу, где он искал доказательств жизни вечной. Он взглянул на страницу — на ней ослепительным блеском сияли четыре буквы, составлявшие одно-единственное слово: «Вера».

В ту же минуту рядом с отцом очутились и четверо его сыновей. Зеленый листок, брошенный ветром на грудь каждому, пробудил в них

тоску по родине, и они вернулись вместе с перелетными птицами, оленями, антилопами и другими лесными обитателями. Животные тоже хотели принять участие в радости, и почему же нет, раз они способны были радоваться?

И вот как солнечный луч, пробравшийся в пыльную комнату через узенькую щелочку в двери, образует косой столб сияющей пыли, так и тут, но куда легче, воздушней и ярче — сама радуга померкла бы перед этим зрелищем — подымался от сияющего слова «Вера» светозарный столб песчинок истины. Каждая песчинка соединяла в себе свет истины, блеск красоты и сияние добра, отчего столб и светился ярче огненного столба-путеводителя Моисея и народа израильского в пустыне, — это был мост Надежды, перекидывавшийся от Веры к всеобъемлющей, бесконечной Любви.



СУП ИЗ КОЛБАСНОЙ ПАЛОЧКИ

I. СУП ИЗ КОЛБАСНОЙ ПАЛОЧКИ

Ну и обед был вчера! — рассказывала старая мышь другой, не участвовавшей в пире. — Я сидела двадцать первой от самого мышиного царя — место довольно почетное! Блюда, скажу я вам, были подобраны прекрасно! Затхлый хлеб, жирная кожа от окорока, сальные свечи и колбаса, а потом то же самое с начала — как будто два раза пообедали! Настроение за обедом было самое оживленное, болтали всякий вздор, совсем как в семейном кружке! Съедено было все до крошки; одни колбасные палочки остались. О них-то и зашла речь, то есть собственно, о супе из колбасной палочки. Кто не слышал о нем, но кто едал его, не говоря уже о том, кто умел его готовить?! Был предложен прелестный тост за изобретателя супа: сказали, что он заслуживает быть попечителем бедных! Остроумно, не правда ли? А старый мышиный царь встал и объявил, что сделает царицей ту из молодых мышек, которая сварит ему из колбасной палочки самый вкусный суп. На подготовку и размышление дается целый год!

— Недурно! — заметила собеседница. — Ну а как же варят этот суп?

— Да то-то вот и есть! Об этом-то и спрашивают наперебой все мышки — и молодые, и старые. Каждой хочется стать царицей, а вот побеспокоить себя, походить по белу свету да поучиться стряпать этот суп ни одной не хочется, а надо! Да, не всякой-то по плечу оставить семью и насиженный уголок! На чужой стороне небось не все по сырным коркам придется ходить, не все свиное сало нюхать, нет, придется и поголодать, а пожалуй, и угодить в когти кошке!

Вот эти-то мысли и удерживали молодых мышек от странствования по белу свету. Вызвались пуститься в поиски за знанием только четыре молодые, юркие, но бедные мышки. Каждой предстояло отправиться в

одну из четырех сторон света, а там уж все зависело от счастья! Каждая запаслась в дорогу, вместо дорожного посоха, колбасною палочкой — для памятованья о цели путешествия.

Первого мая они отправились в путь и первого же мая ровно через год вернулись, но только три, четвертая не явилась и не дала о себе знать, а день явки настал.

— Увы! К лучшим нашим удовольствиям всегда примешивается капля горечи! — произнес мышиный царь, но все-таки отдал приказ созвать всех мышей — и ближних, и дальних.

Все должны были собраться в кухне. Три мышки-странницы стояли в ряд, отдельно от прочих; на месте же отсутствующей четвертой водрузили колбасную палочку, обвитую черным крепом. Никто не должен был высказывать своего мнения, пока не выскажутся все три мышки, а мышиный царь не объявит, что должно быть сказано дальше.

Так вот послушаем!

II. ЧТО ВЫНЕСЛА ИЗ СВОЕГО СТРАНСТВОВАНИЯ ПЕРВАЯ МЫШКА

— Пускаясь в свет, — начала мышка, — я, как и многие мои ровесницы, воображала, что успела уже проглотить всю житейскую премудрость; как бы не так! Много воды утечет, пока оно будет так на деле! Я решилась отправиться морем и села на корабль, отплывавший на север. Мне случалось слышать, что корабельный повар должен уметь обойтись малым; да как не обойтись, когда под рукой целые свиные туши, полные бочки солонины и затхлои муки! Что и говорить, стол на корабле прекрасный, но нечего и думать о том, чтобы научиться там варить суп из колбасной палочки! Много ночей и дней плыли мы; и качало нас, и обдавало солеными брызгами — всего было! Когда же мы наконец прибыли куда следовало, я оставила корабль; оказалось, что мы были далеко-далеко от родины, на севере.

А странно, в самом деле: покидаешь свой дом, свой насиженный уголок, плывешь на корабле, где у тебя тоже образуется своего рода уголок, и глядь — очутилась за сотни миль от родины на чужой стороне! Там были дремучие сосновые и березовые леса; как сильно пахли эти деревья! Но я не охотница до такого запаха! А лесные и полевые травы испускали такой пряный аромат, что я расчихалась и сейчас же подумала о колбасе. Были тут и большие лесные озера; вблизи вода в них казалась такою прозрачною, светлою, а издали — черною, как чернила. По озерам плавали белые лебеди. Сначала я приняла было их за пену — так неподвижно они лежали на воде, но потом увидела, что они летают и

ходят, и узнала их. Они ведь из породы гусей — сразу видно по их походке. Вообще от родни не следует отпираться! И я тоже держалась своей родни — лесных и полевых мышей, но они оказались ужасными невеждами, особенно по части угощения, а ведь для чего же я и пустилась в далекий путь?! Сама мысль о том, что можно сварить суп из колбасной палочки, до того их поразила, что сразу же облетела весь лес. Что же касается осуществления ее, то его сочли прямо невозможным. Да, и не думала я, и не гадала, что именно там, да еще в ту же ночь, меня посвятят в тайну изготовления супа!

Была как раз середина лета, оттого-то в лесу так сильно и пахло, растения испускали такой пряный аромат, озера были такими прозрачными и вместе с тем такими темными, а на них неподвижно лежали белые лебеди. На опушке леса, где стояли три-четыре домика, возвышался шест вышиною с мачту; верхушка его была украшена венком и лентами. Это был «майский шест». Девушки и парни плясали вокруг него и пели взапуски со скрипками. Солнышко закатилось, взошла луна, а веселье все продолжалось. Я в нем участия не принимала: куда уж нашей сестре соваться в танцы! Я сидела себе на мягком мху, крепко держа в лапках свою колбасную палочку. Одно местечко в лесу было просто залито лунным светом; там стояло дерево, обросшее таким мягким, нежным мхом, как... да, смею сказать, как шкурка самого мышиноного царя, но цвета он был зеленого — просто благодать для глаз! И вдруг откуда ни возьмись под деревом появился целый полк прелестнейших малюток ростом мне по колено! Вообще они были похожи на людей, но куда лучше сложены. Они называли себя эльфами; платья на них были из цветочных лепестков, с отделкой из крылышек мух и комаров, — очень недурно! Видно было, что они ищут чего-то, но чего? Вдруг несколько крошек подошли ко мне, и один, по-видимому самый знатный из них, указал на мою колбасную палочку и сказал:

— Вот какую нам нужно! Она заострена на конце, как раз подходит!

И чем дольше он смотрел на нее, тем больше восхищался.

— Одолжить — одолжу, но чур — назад попрошу! — сказала я.

— Назад, назад! — сказали все в один голос, взялись за палочку (я ее выпустила из лапок), вприпрыжку добежали с нею до освещенного луной местечка и водрузили ее там в травке.

Им тоже хотелось устроить свой «майский шест», и моя палочка подошла им как раз — точно по заказу была сделана! Затем они принялись убирать ее. И преобразилась же моя палочка!

Маленькие паучки опутали ее золотыми нитями, прозрачным флером и развевающимися знаменами; они были так нежны, так воздушны, что колыхались от малейшего дуновения ветерка, и так сверкали при свете луны, что просто глазам было больно! А эльфы еще взяли разноцветной пыли с крыльев бабочек, посыпали ею эти блестящие ткани, и они вмиг загорелись

радушными огнями, словно усыпанные бриллиантами! Я просто не узнавала своей колбасной палочки; другого такого «майского шеста», в какой превратилась она, наверно, не нашлось бы в целом свете! Вот тут-то я и увидала настоящее великосветское общество эльфов; все они были без платьев — изящнее наряда и быть не могло. Меня пригласили полюбоваться на праздник, но издали: я была для них слишком велика ростом.

Ну и пошло у них веселье! Сначала как будто зазвенели тысячи стеклянных колокольчиков, потом мне показалось, что запели лебеди, потом как будто закуковали кукушки, защелкали дрозды, а под конец стало казаться, что поет весь лес! Детские голоса, звон колокольчиков и пение птиц — все сливалось в чудеснейшую мелодию, а инструментом был один «майский шест» эльфов! Моя колбасная палочка задала целый концерт! Никогда я не думала, чтобы из нее можно было извлечь столько, но все, видно, зависит от того, в чьи руки попадет вещь! Я даже расстрогалась и заплакала от удовольствия.

Ночь была слишком коротка! Но там в это время года они длиннее не бывают. На заре подул ветерок, зарябил поверхность лесного озера и развеял по воздуху тонкие, воздушные знамена и флер. Качающихся киосков из паутины, висячих мостов и балюстрад, — или как они там называются, — что перекидывались с листка на листок, тоже как не бывало! Шестеро эльфов принесли мне мою колбасную палочку и спросили, нет ли у меня какого-нибудь желания, которое бы они могли исполнить. Я попросила их сказать мне, как готовят суп из колбасной палочки.

— Как мы готовим его? — переспросил самый знатный и засмеялся. — Да ты ведь только что видела это! Ты, пожалуй, едва узнала свою колбасную палочку!

— Вы не так поняли меня! — ответила я и рассказала начистоту, зачем пустилась странствовать по белу свету и чего ожидали от моего странствования у нас, на родине. — Какая польза, — добавила я, — нашему царю и всему нашему славному мышиному царству от того, что я видела все это великолеpie? Ведь не могу же я тряхнуть своею колбасною палочкой и сказать: «Вот вам палочка, а вот и суп!» А это бы годилось хоть на десерт — после очень сытного обеда!

Тогда эльф опустил свой мизинчик в чашечку голубой фиалки и сказал мне:

— Смотри! Я проведу пальцем по твоему дорожному посоху, и, когда ты вернешься домой, во дворец мышиному царю, дотронься кончиком палочки до теплой груди царя — из палочки посыплются фиалки, хотя бы это было среди суровой зимы! Теперь у тебя будет с чем явиться домой! В придачу же...

Но мышка не договорила, что дали ей в придачу, дотронулась до груди царя своею палочкою, и в самом деле — из нее дождем посыпались чудеснейшие фиалки. Благоухали они так сильно, что мышиный царь

велел мышам, стоявшим поближе к печке, немедленно сунуть хвосты в огонь и покурить ими в кухне, а то сил не было выносить благоухание фиалок: этого сорта духов он не любил.

— Ну а что же эльфы дали в придачу? — спросил он потом.

— А это, видите ли, так называемый эффект! — Она подняла колбасную палочку вверх, и цветы перестали сыпаться; в руках у мышки была опять голая палочка. Мышка взмахнула ею, как капельмейстер своим жезлом перед началом увертюры. — Фиалки услаждают зрение, обоняние и осязание! — сказала она. — Но нужно еще удовлетворить слух и вкус!

И вот она замахала палочкой — в ту же минуту загрела музыка, не такая, как в лесу на празднике эльфов, но какая слышится в кухнях. Вот так потеха пошла! Тут как будто и ветер свистел в трубах, и котлы с горшками кипели и бурлили напропалую, и лопаточка для углей барабанила по медному котлу! Вдруг все смолкло. Послышалось тихое пение чайного котла... И не разобрать было, начинается ли он только свою арию или уже кончает. Но вот закипел маленький горшочек, за ним большой, и пошли каждый кипеть по-своему, не обращая внимания друг на друга: ни дать ни взять пустые горшки! А мышка махала своею палочкой все скорее и скорее: горшки пенились, пузырились, кипели через край, ветер выл, трубы свистели... Жж! Все так перетрусили, что и сама мышка уронила палочку.

— Ну, этот суп не скоро переваришь! — сказал мышиный царь. — А десерта не будет?

— Нет, это все! — отвечала мышка, приседая.

— Все? Ну так послушаем, что скажет нам следующая! — решил мышиный царь.

III. ЧТО СУМЕЛА РАССКАЗАТЬ ВТОРАЯ МЫШКА

— Я родилась в дворцовой библиотеке! — начала вторая мышь. — Ни мне, ни моим родным никогда не выпадало на долю счастья попасть в столовую, не говоря уже о кладовой. Я и в кухне-то всего во второй раз в жизни — первый раз я была здесь, когда откланивалась перед отъездом. Да, мы таки частенько голодали в библиотеке, но зато поглощали массу знаний. И вот до нас дошел слух о царской награде, обещанной за приготовление супа из колбасной палочки. Тогда-то моя бабушка и вытащила на свет Божий одну рукопись; сама бабушка не умела читать, но слышала, как эту рукопись читали вслух. В ней, между прочим, говорилось, что «поэт способен сварить суп из колбасной палочки». Бабушка спросила меня — не поэт ли я? Я отвечала, что в чем другом, а уж в этом-то я неповинна. Тогда бабушка сказала: «Так ступай и постарайся сделаться поэтом!» «А что нужно для этого?» — спросила я. Додуматься до этого самой было для меня не легче, чем сварить суп!

Но бабушка моя слыхивала и об этом и сказала, что поэту прежде всего нужны три вещи: ум, фантазия и чувство! «Ступай и добудь их, а раз ты станешь поэтом, нетрудно будет справиться и с колбасною палочкой!» — прибавила бабушка.

Ну вот я и пустилась на запад, чтобы сделаться поэтом.

Я знала, что ум, вообще, — главное, фантазия же и чувство не в таком почете. Поэтому я решилась пуститься прежде всего в поиски ума. Только где его искать? «Ступай к муравью и поучись у него мудрости!» — сказал великий царь Соломон — это я узнала еще в библиотеке — и я шла, не останавливаясь, пока не наткнулась на муравейник. Тут-то я и наострила уши, чтобы набраться ума.

Очень почтенный народ, эти муравьи! Они — воплощение ума! Вся их жизнь — верно решенная арифметическая задача. «Работать и класть яйца, — говорят они, — значит жить настоящим и заботиться о будущем». Так они и поступают. Делятся они на два класса: на благородных и рабочих. Чин же у них всего один, чин первого класса; представительницей его является одна царица их, и только ее мнение считается непогрешимым: она, как оказывалось, проглотила всю мудрость на свете! Мне это было очень важно узнать. Она говорила так много и так умно, что, по-моему, выходило просто глупо. Она говорила, что их куча выше всего на свете, но рядом с кучей росло дерево куда выше! Этого нельзя было даже отрицать, и потому об этом вовсе умалчивалось. Но раз вечером один муравей заблудился на том дереве и вполз по стволу его хоть и не до самой вершины, но все же выше, чем вползал раньше кто-либо из его муравейника. Повернув назад и добравшись наконец до дому, он поспешил рассказать, что есть кое-что и повыше их муравейника! Но муравьи нашли, что он оскорбляет своим рассказом все общество, надели на него намордник и присудили к продолжительному одиночному заключению. Вскоре случилось побывать на том же дереве другому муравью; он сделал то же самое открытие и начал докладывать о нем обществу, но более рассудительно и туманно, чем первый. Этот муравей был всеми уважаем, принадлежал к числу благородных — ему и поверили, а когда он умер, даже поставили ему памятник из яичной скорлупы — все из уважения к науке. Видела я тоже, — продолжала мышка, — что муравьи постоянно носят со своими яичками на спине. Случилось одному из них потерять свое. Батюшки, как хлопотал он, чтобы как-нибудь опять взвалить его на спину! Но дело все не ладилось; тогда явились на помощь двое других и с таким жаром принялись помогать товарищу, что чуть было сами не потеряли своих яичек; но тут они сразу оставили всякое попечение: своя шкурка ближе к телу! И царица их объявила, что в данном случае было выказано и сердце, и ум. «А эти две вещи ставят нас, муравьев, во главе всех разумных творений! Но ум все-таки должен преобладать, и я умнее всех!» Тут

она приподнялась на задние лапки и сразу бросилась мне в глаза; ошибки быть не могло — я и проглотила ее. Сказано: «ступай к муравью и поучись у него мудрости», а я запаслась теперь самою царицей муравьев!

Потом я подошла поближе к упомянутому высокому дереву. Эго был старый могучий развесистый дуб. Я знала, что в ветвях каждого дерева живет одно существо, женщина — «дриада», как ее зовут. Она рождается и умирает вместе с деревом. Я слышала об этом еще в библиотеке. И вот передо мною стояло дерево, а в ветвях его сидела дриада. Она вскрикнула от испуга, увидав меня так близко, — она, как и все женщины, очень боялась мышей, да у нее и были на то причины: я могла перегрызть ствол дуба, так что жизнь ее, так сказать, висела на волоске! Но я заговорила с ней ласково, приветливо, и она ободрилась, даже взяла меня на руки, а узнав, почему я отправилась странствовать по белу свету, обещала доставить мне случай — может быть, даже в этот самый вечер — обрести одно из двух искомых сокровищ: фантазию. Она рассказала мне, что гений Фантазии — ее добрый друг, что он прекрасен, как сам бог Любви, и часто отдыхает в тени ее дерева, убаюкиваемый шелестом листьев, — они шумят в эти минуты сильнее обыкновенного. Он зовет ее своею дриадой, рассказывала она, а дерево — своим любимым деревом. Сучковатый, могучий красавец дуб пришелся ему по душе: корни дуба так глубоко и крепко сидят в земле, а ствол и вершина возносятся высоко-высоко к небу и знакомы и с снежной вьюгой, и с резкими ветрами, и с ясным солнечным светом. Потом дриада прибавила: «Птицы гнездятся в ветвях моего дерева и поют нам о чужих странах, а на единственной засохшей ветви свил себе гнездо аист — это и красит дерево, и дает случай узнать кое-что о стране пирамид! Все это как нельзя больше по душе гению Фантазии, но ему и этого всего мало, и он заставляет меня рассказывать ему о жизни в лесу с того времени, как я была еще крошкой, а дуб таким маленьким ростком, что его могла заглушить крапива. Я должна рассказывать ему всю нашу жизнь вплоть до настоящего времени, когда мы с дубом достигли полного расцвета и красоты. Присядь же тут под диким яминником и карауль: как только гений Фантазии придет, я улучу минутку, вытащу у него из крыла одно перышко и дам тебе. А уж больше этого не получить ни одному поэту! Так хватит и с тебя!»

И гений Фантазии явился, перышко было вытащено, и я схватила его, — продолжала мышка. — Я подержала его в воде, пока оно не размякло, и все-таки трудновато было с ним сладить! Ну, да я сладила, все изгрызла! Да, нелегко догрызться до звания поэта! Переварить-то сколько приходится! Теперь во мне были и ум, и фантазия, и они-то мне и подсказали, что третью вещь я найду в библиотеке. Один великий человек сказал и даже написал, что есть такие романы, которые только для того и существуют, чтобы освобождать людей от лишних слез, иными словами, являются чем-то вроде губок для вбирания в себя чувств. Я даже помнила

пару таких книг; они всегда особенно возбуждали мой аппетит: такие они были истрепанные, засаленные; должно быть, они впитали в себя целое море чувств!

Я вернулась домой, в библиотеку, и живо проглотила почти целый роман, то есть более существенную часть, мякоть, а корки, переплет, оставила. Когда я переварила этот роман и еще один, я уже почувствовала, как внутри меня что-то зашевелилось, когда же поела еще немножко из третьего — стала поэтом. Я сказала это самой себе и повторила другим. У меня болела и голова, и все внутренности и не знаю уж, что только во мне не болело! Тут я стала придумывать, какие истории можно было бы привести в связи с колбасною палочкой, и в мыслях у меня так и заскакали разные палочки: муравьиная царица, как видно, была необыкновенно умна! Я вспомнила и о человеке, которому стоило взять в рот белую палочку, чтобы сделаться невидимкой, и многие другие истории, пословицы и поговорки, в которых упоминается о палочках. Все мои мысли повисли на этих палочках! И о каждой можно сочинить стихи, если ты поэт, а я — поэт, я добилась этого звания собственными зубами! Так вот, я ежедневно могу угощать вас палочкой — историей. Вот каков мой суп!

— Посмотрим, что скажет нам третья? — проговорил мышиный царь.

— Пи-пи! — послышался вдруг писк за дверью, и в кухню стрелой влетела четвертая мышка, которая считалась погибшею. Она опрокинула палочку с флером и объявила, что бежала день и ночь, ехала по железной дороге с товарным поездом — случай такой выдался — и все-таки чуть-чуть не опоздала. Она протолкалась вперед; вид у нее был довольно растрепанный; палочку свою она потеряла, но язык — нет, и в ту же минуту принялась им работать, словно ее только и ждали, ее и готовились слушать, а до всего остального никому в свете не было и дела. Она спешила высказаться. Явилась она так неожиданно, что никто не успел и рта разинуть, и с мыслями собраться, а она уж говорила.

Послушаем!

IV. ЧТО СУМЕЛА РАССКАЗАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ МЫШКА, ГОВОРЯВШАЯ РАНЬШЕ ТРЕТЬЕЙ

— Я прямо направилась в самый большой город, — тараторила она. — Имени его не упомяну, я вообще плохо запоминаю имена. Приехала я по железной дороге, а с вокзала меня, вместе с конфискованными товарами, отвезли в ратушу. Там я подбежала к тюремщику. Он рассказывал о своих заключенных, особенно об одном, который сидел за свои необдуманные слова. Об этих словах и толковали, и совещались, и читали, и писали!.. «А и все-то дело — суп

из колбасной палочки! Но как бы бедняге не поплатиться за него головой!» — прибавил тюремщик. Конечно, я заинтересовалась этим заключенным, улучила минутку да и прошмыгнула к нему: как ни запирай двери, всегда останется мышинная лазейка. Какой он был бледный, бородатый! Большие глаза так и горели. Лампа чадила, но стены уж привыкли к этому и больше не чернели. Заключенный чертил на них разные рисунки и стихи — белым на черном; я их, впрочем, не читала. Скучно ему, я думаю, было, и я явилась желанною гостьей. Он стал приманивать меня хлебными крошками, принялся насвистывать и ласково уговаривать меня — он так рад был мне! Я почувствовала к нему доверие, и мы скоро стали друзьями. Он делился со мной хлебом и водою, давал мне сыру и колбасы — словом, жилось мне привольно, но, главным образом, признаюсь, привязало меня к нему хорошее обращение. Он позволял мне бегать по своей ладони, по руке, забираться в рукав, цепляться за бороду и звал меня своим маленьким другом. И я его полюбила — это, кажется, всегда бывает взаимно. Я забыла даже цель своего путешествия, а колбасную палочку свою оставила в щели в полу; там она и посейчас! Я и не желала никуда уходить оттуда: уйди я, у бедняги не осталось бы никого на свете, а это уж больно мало! Я и осталась, но он-то не остался! Как печально он говорил со мною перед разлукою! Дал мне двойную порцию хлеба и сырной корки, послал мне воздушный поцелуй, ушел... и больше не вернулся! Я не знаю его истории. «Суп из колбасной палочки», — говорил сторож, я и отправилась к нему. Но не следовало бы мне доверяться ему! Он, правда, взял меня на руки, но потом засадил в клетку, в колесо! Один ужас! Бежишь, бежишь, а все ни с места, только смеются над тобою!

Но у тюремщика была внучка, прелестная крошка с золотыми кудрями, веселыми глазками и смеющимся ротиком. «Бедная мышка! — сказала она, заглянув в мою гадкую клетку, открыла дверцу — я прыг на подоконник, а оттуда на крышу. «Опять на воле! Опять на воле!» — только это и вертелось у меня в голове, а цель путешествия вылетела.

Темно было; дело шло к ночи, я и заночевала в старой башне. Тут жили сторож и сова. Я решила не доверяться ни тому, ни другой — особенно ей! Она похожа на кошку и очень ошибается, полагая, что мышей следует есть! Но всем свойственно ошибаться, ошиблась и я: сова оказалась почтенною, в высшей степени образованною старушкой. Она знала побольше самого сторожа, столько же, сколько я! Совята привязывались к каждому слову, к каждой вещи, заводили споры и разговоры. «Полно вам стряпать суп из колбасной палочки!» — говорила им мать — строже этого она уж выразиться не могла: она была такою любящею мамашей. Я почувствовала к ней доверие и пискнула из щели, где сидела. Доверие это ее тронуло, и она пообещала мне свое покровительство: ни

один зверь не смел теперь меня съесть — это сова брала на себя — зимою, когда корма будут плохие.

Умница она была большая! Она доказала мне, что сторож не мог завывать без помощи рога, который всегда висел у него через плечо. «А он-то чванится, воображает себя совою в башне! Высоко залетает, да низко садится! Суп из колбасной палочки и больше ничего!» — добавила сова.

Я сейчас же попросила у нее рецепт этого супа, и вот что она сказала мне:

— Суп из колбасной палочки — только поговорка людская, ее понимают на разные лады, и всякий думает, что он-то как раз понимает ее вернее всех. В сущности же, суп из колбасной палочки — один пуф.

«Пуф!» — сказала я. Я была поражена. Истина не всегда бывает приятной, но все-таки она выше всего! То же сказала и старуха сова. Я обдумала дело и поняла, что, если я принесу домой самое высшее, я принесу побольше, чем суп из колбасной палочки. И я заспешила изо всех сил, чтобы успеть вовремя принести домой самое высшее и лучшее — истину. Мыши — народ просвещенный, мышиный царь стоит во главе его и способен сделать меня царицей во имя истины!

— Твоя истина — ложь! — сказала третья мышь, которой еще не дали говорить. — Я могу сварить суп из колбасной палочки и сварю!

V. КАК БЫЛ СВАРЕН СУП

— Я не рыскала по белу свету! — продолжала третья мышь. — Я оставалась дома, оно и вернее. Нечего ездить за границу — всему не хуже можно выучиться и здесь! Я осталась, и то, что я знаю теперь, я узнала не от сверхъестественных существ, не выгрызла из книг, не выпытала от сов — нет, я дошла до всего собственным умом. Прикажите поставить котел на плиту!.. Теперь налейте воды! Полнее, до самых краев!.. Разведите огонь!.. Пусть вода закипит ключом!.. Теперь палочку в воду! А затем не угодно ли мышиному царю опустить в кипяток свой хвост и помешивать им суп! Чем дольше будет царь мешать суп, тем крепче выйдет навар. Затрат никаких, приправ тоже, только — мешать и мешать!

— Нельзя ли мешать кому-нибудь другому? — спросил мышиный царь.

— Нет! — ответила мышь. — Вся сила в хвосте мышиного царя! Вода закипела, мышиный царь примостился поближе — не безопасно-таки было! — и вытянул хвост, словно собирался снять им устой со сливок и потом облизать его, как это часто делают в молочных

ловкие мышки. Но едва он сунул хвост в горячий пар — подпрыгнул и соскочил на пол.

— Разумеется, ты будешь моею царицей! — вскричал он. — Суп же погодим варить до нашей золотой свадьбы — бедным, по крайней мере, будет чего ожидать, чему радоваться, да еще как долго!

И вот сыграли свадьбу. Но некоторые из мышей, вернувшись домой, сказали:

— Какой же это суп из колбасной палочки? Это, скорее, суп из мышиного хвоста!

Кое-что из рассказанного они одобряли, но в общем все могло, по их мнению, быть иначе!

— Я бы рассказала это вот так-то и так-то! — рассуждала каждая. Это была уж критика, а критика всегда бывает так умна — задним числом.

История эта обошла весь свет; мнения о ней разделились, но сама она уцелела, а это самое главное и в больших, и в малых вещах, даже в супе из колбасной палочки; не надо только ожидать за него благодарности!



НОЧНОЙ КОЛПАК СТАРОГО ХОЛОСТЯКА

В Копенгагене есть улица с забавным названием Хюсхенстрэде. Почему она так называется и что означает это название? Слывет оно немецким, но, право, немцы тут ни при чем. Следовало бы выговаривать «Häuschen», а выговаривают «Хюсхен»; «Häuschenstrade» же значит: «Улица маленьких домиков». В ней и правда ютились домишки, вроде деревянных ярмарочных балаганчиков, разве чуть побольше да с окошками. Но стекол в окнах не было; их заменяли роговые пластинки или бычьи пузыри: в то время стекло еще было так дорого, что не всем по карману было вставлять его в окна. Давно это было, так давно, что даже прадедушкин прадед, рассказывая о тех временах, называл их старыми временами. Не одно столетие прошло с тех пор.

В Копенгагене вели в те времена торговлю богатые купцы из Бремена и Любека, разумеется, не сами, а через своих приказчиков. Последние-то и занимали эти деревянные лачуги на улице Маленьких домиков; в нижнем этаже каждого домика находилась лавочка, где шла торговля пивом и пряностями. Немецкое пиво в те времена славилось, и сколько сортов его было! И бремер-прусское, и эмское, и брауншвейгское. Из пряностей же бойко торговали шафраном, анисом, имбирем, а бойчее всего — перцем. Перец являлся главным предметом торговли, оттого и немецких приказчиков прозвали в Дании перечными молодцами. Хозяева брали с них обязательство не жениться на чужбине, они и не женились, доживали до старости холостяками. Некому было о них позаботиться, обшить, обмыть — самим приходилось им хлопотать по хозяйству, самим тушить огонь в очагах — тем, у кого он разводился. Многие, как сказано, доживали так до глубокой старости; у них заводились свои вкусы, свои привычки, и старые холостяки кое-как коротали свой век. С тех пор-то и вошло в обычай величать пожилых и неженатых мужчин перечными молодцами¹.

Все это нужно знать, чтобы понять рассказ.

¹ По-датски «старый холостяк» — «Pebersvend», т. е. перечный молодец. — Примеч. перев.

Над холостяком все подсмеиваются — пусть дескать нахлобучит свой ночной колпак да заваливается на боковую. О холостяках даже песенку сложили:

Пили, пили дрова,
Ты, старый холостяк!
Седая голова,
Твой друг — ночной колпак!

Да, вот что поют о них! Смеются и над холостяком, и над его колпаком, потому что мало знают и о том, и о другом. Ах, никто не пожелай себе этого ночного колпака! Почему так? А вот послушай!

В те времена на улице Маленьких домиков не было мостовой, и люди попадали из колдобины в колдобину, словно на изрытой проезжей дороге. А что за теснота там была! Домишки лепились один к другому, и между двумя противоположными рядами их оставался такой узенький проход, что летом с одного домика на другой перекидывали парусину; надо всей улицей образовывался навес, под которым так славно пахло перцем, шафраном и имбирем. За прилавком мало попадалось молодых приказчиков — больше все старики. Но не подумай, что все они носили парики или ночные колпаки, короткие кожаные панталоны до колен и куртки или кафтаны, застегнутые на все пуговицы. Нет, так одевался прадедушкин прадед, в таком костюме он и на портрете написан. Перечным молодцам же не по карману было заказывать свои портреты, а стоило бы списать портрет хоть с одного из почтенных стариков в то время, как он стоял за прилавком или шел в праздник к обедне! Наряд их состоял из широкополой с высокой тульей шляпы (приказчики помоложе часто украшали свои шляпы перышками), шерстяной рубашки, прикрытой отложным полотняным воротничком, куртки, застегнутой наглухо, плаща и панталон, всунутых в широконосые башмаки, — чулок они не носили. За поясом у каждого был заткнут нож, ложка и еще большой нож для защиты — в те времена случалась и в этом нужда. Так одевался по праздничным дням и старый Антон, один из старейших обитателей улицы Маленьких домиков, только вместо шляпы он носил шапку с длинными наушниками, а под ней — вязаный колпак, настоящий ночной колпак. Старик так привык к колпаку, что не мог обойтись без него ни днем ни ночью, и у него так и было заведено два колпака для смены. Вот с Антона-то и стоило бы списать портрет: худ он был, как щепка, вокруг рта и глаз ежились сотни морщинок, пальцы были длинные, костлявые, над глазами нависли густые седые брови, над левым же торчал целый пучок длинных волос, который если и не красил Антона, то служил характерною приметой. Люди считали Антона бременцем, но в Бремене жил только его хозяин, сам же он был из Тюрингии, из города Айзенаха, что близ Вартбурга. Но о родине своей Антон не любил особенно распространяться, зато много думал о ней.

Старые приказчики не часто виделись друг с другом — каждый больше держался в своем уголке. Запирались лавочки рано, и домишки сразу

погружались во мрак; лишь из крошечного рогового окошечка чердачной каморки, ютившейся под самую крышей, чуть светился огонек; старичок — обитатель каморки чаще всего сидел в это время на своей постели с немецким молитвенником в руках и напевал вечерний псалом или же далеко за полночь хлопотал по хозяйству, прибирая то одно, то другое. Несладко-то жилось ему: чужой всем, на чужбине — что уж за житье! Никому до него нет дела, разве станет кому поперек дороги!

Улица в глухую, темную, ненастную ночь смотрелась такой пустынной, мрачной; на всю улицу приходился один фонарь, да и тот висел в самом конце ее, перед нарисованным на стене образом Божьей Матери. Слышался лишь плеск воды, сбегавшей по деревянной обшивке набережной, другой конец улицы выходил на канал. Таким вечерам и конца не бывает, если не займешься чем-нибудь. А чем заняться старому холостяку? Развертывать и заворачивать товары, свертывать «фунтики», чистить весы не приходится каждый день — надо, значит, заняться чем-нибудь другим. Старый Антон и находил себе занятия — сам чинил свое платье, сам ставил заплатки на сапоги. Улегшись же наконец в постель в своем неизменном колпаке, он обыкновенно нахлобучивал его пониже, но вслед за тем опять приподнимал его, чтобы посмотреть, хорошо ли погашена свечка, ощупывал ее на столике и прижимал фитиль двумя пальцами, потом ложился опять, повертывался на другой бок и опять надвигал колпак на брови. Но часто в эту самую минуту ему приходила мысль: а прогорели ли все уголья в грелке, оставленной внизу, в лавочке, потухла ли зола? Довольно ведь одной искорки — и не миновать беды! И он вставал с постели, осторожно слезал с крутой лесенки — лестницей ее и назвать было нельзя — и, добравшись до грелки, убеждался, что в ней не тлелось ни уголька. Теперь можно было вернуться обратно в свою каморку, но часто еще на полдороге его брало сомнение: заперты ли на крюк двери и ставни? И он снова ковылял на своих тонких ногах вниз. Дрожь прохватывала его, зубы так и стучали, когда он опять добирался до постели: известно, что дрожь тогда-то и принимается хорошенько трепать человека, когда видит, что тот спасся от нее в теплую постель. Антон повыше натягивал на себя пуховик¹, нахлобучивал колпак на глаза, и мысли его наконец отрывались от дневных хлопот и забот, но не на радость ему! На смену тревогам и заботам настоящего являлись воспоминания прошлого и развешивали перед ним на стене свои узорчатые ковры. Но в них часто попадают острые булавки — уколют так, что невольно закричишь от боли, а если воткнутся тебе в живое тело поглубже — даже слезы прошибут! Падая на пуховик или на пол, эти чистые, прозрачные, как жемчужины, слезы звенят, словно лопаются наболевшие сердечные струны. Слезы скоро испаряются, но вспыхивают перед тем ярким пламенем и успевают осветить картину прошлого,

¹ В Дании и до сих пор, особенно среди сельского населения, принято спать зимой под тонкими перинами вместо одеял. — *Примеч. перев.*

одну из тех, что никогда не изглаживаются из памяти. Антон отирал эти слезы ночным колпаком, и слеза, и картина стирались, но источник их, разумеется, оставался — источником было ведь сердце старика. Картины жизни являлись ему не в том порядке, в каком они следовали друг за другом в действительности; чаще всего рисовались самые печальные, мрачные, но являлись и светлые, радостные; эти-то и наводили на него самую сильную грусть, сгущая тени настоящего.

«Хороши датские буковые леса!» — говорят у нас, но для Антона буковые леса в окрестностях Вартбурга были куда лучше! Мощнее, почтеннее датских казались ему родные немецкие дубы, росшие вокруг гордого рыцарского замка, где вьющиеся растения обвивали каменистые скалы; слаще благоухали для него родные цветущие яблони, нежели датские! Он все еще как будто вдыхал их аромат!.. Слеза скатилась, зазвенела и вспыхнула, ярко осветив двух играющих детей: мальчика и девочку. У мальчика были красные щеки, светлые кудри и честные голубые глаза; он был сыном богатого торговца, звали его Антоном... Да, это он сам! У девочки же были черные глаза и черные волосы, умный и смелый взгляд; это была дочка городского головы, Молли. Дети играли яблоком; трясли его и прислушивались, как гремят в нем зернышки. Потом они разрезали яблоко, и каждому досталась половинка. Зернышки они тоже поделили и съели все, кроме одного. Его надо было закопать в землю — так придумала девочка.

— Вот увидишь потом, что из него выйдет! Ты и не ожидаешь — что! Целая яблоня, только не сейчас!

И дети принялись хлопотать с зернышком, достали цветочный горшок с землей, мальчик проткнул в земле пальцем ямку, девочка положила туда зернышко, и оба старательно закопали его.

— Только смотри не вздумай завтра вытаскивать зернышко, чтобы поглядеть, пустило ли оно ростки! — сказала Молли Антону. — Этого нельзя! Я вот так сделала со своими цветочками всего два раза — я хотела поглядеть, растут ли они, тогда я еще не понимала, что этого нельзя, — и цветочки погибли!

Цветочный горшок остался у Антона, и мальчик каждый день подходил к нему поглядеть, не выросло ли чего-нибудь, но, кроме черной земли, в горшке ничего не было. Наконец настала весна, солнышко стало пригревать теплее, и из земли выглянули два крошечных зеленых листочка.

— Это я с Молли! — сказал Антон. — Вот чудесно-то!

Скоро появился и третий листочек — а это кто же? Потом еще и еще! День за днем, неделя за неделей, и из зернышка выросло целое деревце. Все это осветила одна слезинка; вот ее стерли, и все исчезло. Но источник слез был неиссякаем — источником было ведь сердце старого Антона.

Близ Айзенаха проходит гряда каменистых возвышенностей; круглая вершина одной из них совершенно оголена — ни деревца, ни кустика, ни травки; зовут ее горой Венеры: по преданию, здесь жила Венера,

древняя языческая богиня; но немцы переименовали ее в госпожу Голле, которую знает в Айзенахе каждый ребенок. Она заманила к себе благородного рыцаря Тангейзера, миннезингера из Вартбурга.

Молли и Антон часто подходили к горе, и раз девочка сказала:

— Ну-ка, постучи и крикни: «Госпожа Голле, госпожа Голле! Отвори Тангейзеру!»

Антон не посмел, а Молли посмела, но громко и ясно она сказала только: «Госпожа Голле, госпожа Голле», остальное же пробормотала так невнятно, что, по мнению Антона, ничего, собственно, и не сказала. Смелая была эта Молли! Такая смелая, что одна из всей толпы сверстниц целовала Антона, хотя хотелось всем, — именно потому, что он не хотел и отбивался от поцелуев руками и ногами.

— Я смею его поцеловать! — говорила Молли гордо и обвиняла шею Антона рукой.

Это было ее торжеством, Антон же покорялся ей, вовсе не думая о том, что делает. Ах, какая она была хорошенькая, какая смелая!

Госпожа Голле, что жила в горе, тоже, говорят, была хороша собою, но ее красота была соблазнительной красотой зла. Высшею красотой считалась, напротив, красота святой Елисаветы, покровительницы страны, благочестивой Тюрингской герцогини, добрые дела которой живут в легендах и сказаниях, освящающих здешние места. В часовне висел ее образ, а перед ним — серебряная лампада. Но святой Елисавета несколько не была похожа на Молли.

А яблонька, которую посадили дети, росла да росла, так что, наконец, пришлось пересадить ее в сад, под открытое небо, где ее кропило росой, пригревало солнышком, и она окрепла настолько, что могла выдержать и зиму. Весной же, словно от радости, что пережила суровую зиму, она зацвела и осенью принесла два яблочка: одно для Молли и одно для Антона — меньше уж никак нельзя было.

Деревце торопилось расти, Молли не отставала; она напоминала своею свежестью цветков яблони, но недолго Антону пришлось любоваться на этот цветок. Все проходит, все изменяется! Отец Молли оставил родину и уехал с Молли далеко-далеко. В наше время торжества пара понадобилось бы всего несколько часов, тогда же надо было ехать больше суток, чтобы добраться до того города, куда они уехали. Он находился восточнее Айзенаха, совсем в другом конце страны; это был город Веймар.

Молли плакала, и Антон плакал — все эти слезы соединились теперь в одну, отливавшую яркими радужными красками: Молли ведь сказала Антону, что любит его больше всех прелестей жизни в Веймаре!

Прошел год, два, три. За это время от Молли пришло два письма; одно привез с собой торговый комиссионер, другое — какой-то проезжий. Дорога была длинная, трудная, извивавшаяся мимо разных городов и местечек.

Всякий раз, как Антон с Молли слушали легенду о Тристане и Изольде, ему почему-то казалось, что говорят про него и Молли, хотя имя

Тристан означало «рожденный для скорби», а это совсем не подходило к Антону. Ему же не придется, как Тристану, вздыхать: «Она забыла меня!» Изольда, впрочем, и не забывала друга сердца, и, когда оба умерли и были похоронены по разные стороны церкви, на могилах их выросли две липы и сплелись ветвями над церковною крышей. История эта казалась Антону такою поэтической и такою печальною... Но в его отношениях с Молли не могло быть ничего печального, и он принимался насвистывать песенку миннезингера Вальтера фон дер Фогельвейде:

Ах, под липой, в степи!..

Особенно дивно звучали следующие строфы:

Раздается из леса душистого:

«Тиндарадай!» —

Трель певца — соловья голосистого!

Песня эта вечно вертелась у него на языке; он напевал и насвистывал ее и в ту ясную лунную ночь, когда неся на коне в Веймар навестить Молли; он хотел явиться неожиданным гостем — так и вышло.

Приняли его ласково; вино запенилось в бокалах; он встретил здесь веселое, знатное общество, нашел уютную комнатку и мягкую постель, и все же — не того ожидал он, не о том мечтал! Он сам не понимал себя, не понимал других, но мы-то поймем, в чем было дело! Можно быть хорошо принятым в доме, в семействе и все-таки чувствовать себя чужим; разговоры ведешь, как в почтовой карете, знакомишься, как в почтовой карете, стесняешься, желаешь или сам уйти, или как-нибудь спровадить своего доброго соседа! Нечто подобное испытал и Антон.

— Я честная девушка! — сказала ему Молли. — И сама хочу сказать тебе все. Многое изменилось с той поры, как мы были детьми. Перемены эти и внешние, и внутренние. Привычка и желание ничего не могут поделаться с сердцем! Антон! Уезжая отсюда далеко-далеко, я не желала бы расстаться с тобою, как с недругом! Верь мне, я расположена к тебе, но любить тебя так, как, я знаю теперь, можно любить другого человека, я тебя никогда не любила! Примиришь с этим!.. Прощай Антон!

И Антон отвечал: «Прощай!» Ни одной слезинки не выступило у него на глазах, но он понял, что перестал быть другом Молли. И раскаленные и замерзшие пластинки железа одинаково сдирают кожу с губ, если станешь целоваться с ними, Антон же одинаково крепко целовался и с любовью, и с ненавистью!

Не прошло и суток, как Антон был уже дома. Зато он и загнал лошадь.

— Пусть! — сказал он. — Я сам загнан и хотел бы загнать, уничтожить все, что напоминает мне о ней — госпоже Голле, госпоже Голле, госпоже Венере, проклятой язычнице!.. Яблоню я вырву с корнем, изломаю в куски! Не цвести ей больше, не приносить плодов!

Но не дерево было сломлено, а сам Антон: жестокая лихорадка уложила его в постель. Что же могло поставить его на ноги? Подоспело

лекарство, самое горчайшее из всех, которое встряхивает больное тело и изнывающую душу, — удар судьбы: отец Антона разорился. Тяжелые дни, дни испытания стучались в дверь, беда уже вломилась в нее, хлынула в когда-то богатый дом волною. Отец Антона обеднел, горе и заботы надломили его здоровье, и у Антона нашлись занятия, кроме любовной хандры да злобы на Молли. Теперь он должен был заменить в доме и хозяина, и хозяйку, распоряжаться всем, привести в порядок все. Потом пришлось покинуть родину, идти на чужую сторону зарабатывать кусок хлеба. Отправился он в Бремен, немало изведаль нужды и горя, а это либо закаляет душу, либо расслабляет ее — иной раз даже чересчур. Как, однако, не соответствовали свет и люди сложившемуся у него в пору детства представлению о них! «А песни миннезингеров, что они такое? — рассуждал он теперь. — Звук пустой!» Но иногда в его душе опять звучала сладкая мелодия, и он смягчался.

— Бог все устраивает к лучшему! — говорил он себе. — И хорошо сделал он, что не дал Молли привязаться ко мне сердечно. К чему бы это привело теперь, когда счастье отвернулось от меня? Она оттолкнула меня раньше, чем могла знать или предполагать о моем разорении. Бог оказал мне милость! Все было к лучшему! Он устраивает все премудро! Она не была виновата ни в чем, а я-то возненавидел ее!

Годы шли. Отец Антона умер; чужие люди поселились в родном доме. Антону пришлось все-таки увидеть его еще раз. Хозяин послал его по торговым делам, и ему случилось проезжать через свой родной город Айзенах. Старый замок Вартбург стоял на скале по-прежнему; по-прежнему окружали его каменные «монахи» и «монахини» и мощные дубы; все было, как во времена его детства. Гора Венеры по-прежнему блестела на солнце своею серою голою вершиной. Как охотно постучался бы в нее Антон и сказал: «Госпожа Голле, госпожа Голле! Отвори мне, укрой меня в недрах родной земли!»

Грешная это была мысль, и он осенил себя крестом; тут в кустах запела птичка, и Антону вспомнилась старая песня:

Раздается из леса душистого:

«Тиндарадай!» —

Трель певца — соловья голосистого!

Сколько воспоминаний пробудилось в его душе при виде города, где протекло его детство; слезы застилали его глаза. Отцовский дом стоял все на том же месте, но часть сада была уничтожена, отошла под проезжую дорогу, и яблоня, которой он так и не вырвал, очутилась вне сада, по ту сторону дороги. Но солнышко по-прежнему пригревало ее, роса кропила, и ветви ее гнулись под обилием плодов к самой земле.

— Растет себе! — сказал Антон. — Что ей делается!

Но одна из самых больших ветвей яблони была надломлена чьею-то шальной рукой, ведь дерево стояло у проезжей дороги!

«Обрывают ее цветы, не говоря даже спасибо, крадут плоды и ломают ветви! Да, и про дерево можно сказать то же, что говорится иногда про человека: «Не пели над его колыбелью, что ему придется когда-нибудь стоять вот так!» Заря его жизни занялась так ярко, красиво, а что дала ему судьба? Садовому дереву пришлось расти возле канавы, в открытом поле, у проезжей дороги! Стоит оно тут одинокое, забытое, незащищенное. Все его теребят, ломают! Оно еще не вянет от этого, но с годами цветов на нем будет все меньше, плодов не будет вовсе, а потом и дереву конец.

Вот что думал Антон под деревом; те же мысли часто бродили у него в голове в долгие бессонные ночи, которых немало провел он в своей одинокой каморке, в деревянной лачуге, на чужой стороне, на улице Маленьких домиков в Копенгагене, куда послал его богатый бременский купец, хозяин его, взяв с него сначала слово никогда не жениться.

— Жениться! Хэ, хэ! — рассмеялся он странным, глухим смехом.

Зима установилась в этот год рано; мороз так и трещал; на дворе разыгралась такая вьюга, что все, кто только мог, держались у себя в теплом углу. Оттого соседи Антона и не заметили, что лавочка старика не отпирается вот уже два дня: кто бы высунул нос в такую погоду, если только можно было оставаться дома?

Дни стояли серые, мрачные, и в жилище Антона с маленьким подслеповатым оконцем долгая ночь сменялась лишь тоскливыми сумерками. Старый Антон два дня не вставал с постели — силы его оставили. Непогода давала себя знать ломотой во всем теле. Одиноким, беспомощным, оставленным всеми, лежал старый холостяк в кровати и едва мог даже дотянуться до кружки с водой, которую поставил у изголовья. Но вот в кружке не осталось больше ни капли. Уложила Антона в постель не лихорадка, не другая болезнь, а старость. Для Антона как бы наступила долгая-долгая ночь. Маленький паучок, которого Антон не мог видеть, весело и прилежно пряд над ним свою паутинку, словно спеша приготовить новый, свежий траурный креп к тому времени, когда старик закроет глаза.

Антон одолевала тяжелая дремота. Слез у него не было, боли он тоже не чувствовал, о Молли и не вспоминал. Ему казалось, что мир с его шумом и жизнью был уже не для него, — он остался как-то в стороне: никому не было до него дела. Вдруг ему показалось, что он голоден и хочет пить... Да, правда, он ощущал и голод, и жажду. Но никто не приходил утолить их, никто и не придет. И он вспомнил о других голодающих, и о святой Елисавете, покровительнице его родины и детства, благородной герцогине Тюрингской, которая сама заходила в жалкие лачуги и приносила страждущим надежду и облегчение. Благочестивые дела ее сияли в его памяти: он вспомнил, как она являлась к страдальцам со словами утешения, омывала их раны, приносила голодным пищу, хотя ее суровый муж и гневался на нее за это. Антон вспомнил и легенду о святой Елисавете. Однажды она отправилась, по обыкновению, с корзиной, наполненной съестными при-

пасами, как вдруг ей преградил дорогу муж, следивший за каждым ее шагом, и спросил, что у нее в корзине. Святая в испуге отвечала: «Розы из сада». Муж сорвал салфетку и — чудо совершилось для благочестивой женщины: вино и хлеб превратились в розы!

Святая Елисавета не выходила из головы Антона: как живая стояла она перед его усталым взором, возле его кровати, в жалкой каморке, в чужой земле. Он обнажил голову, взглянул в ее кроткие глаза — и все вокруг него вдруг засияло, каморка наполнилась розами... Как они благоухали! К их аромату примешивался запах цветов яблони... Антон очутился под яблоней, осенявшей его своими ветвями. Она выросла из семечка, которое посадили когда-то в землю Антон с Молли.

Дерево роняло свои благоухающие листья на пылающий лоб Антона, и они освежали его, на его запекшиеся губы, и ему казалось, что он вкушает хлеб и вино, на его грудь, и ему вдруг стало так легко, так захотелось забыться сладким сном.

— Теперь я засну! — прошептал он. — Сон подкрепляет! Завтра я опять буду здоров, опять встану! Как хорошо, как хорошо! Я вижу, как великолепно расцвела яблоня, выросшая из зернышка любви.

И он заснул.

На другой день — это был уже третий день, как лавка Антона не отпиралась, — вьюга утихла, и соседи хватились старика. Его нашли мертвым в постели; в руках он крепко сжимал свой старый ночной колпак. Но его не положили с Антоном в гроб: в запасе был еще один, чистый, ненадеванный.

Куда же девались теперь все слезы Антона? Куда девались эти жемчужины? Они остались в его ночном колпаке, ведь их нельзя было отмыть никаким мылом, они так и остались в колпаке скрытыми и забытыми. Мысли и думы тоже остались в колпаке старого холостяка. Не пожелай его себе! Лоб твой разгорячится, пульс забьется ускоренно, и тебе приснятся сны, похожие на действительность. Это пришлось испытать первому же, кто надел колпак, а случилось это спустя целых пятьдесят лет! Надел его сам городской голова, человек женатый, отец одиннадцати детей, живший в свое удовольствие, и ему сейчас же приснились во сне несчастная любовь, банкротство и борьба из-за куска хлеба!

— Фу, как этот колпак греет! — сказал он, срывая его с себя, и из колпака выкатилась жемчужинка, потом другая; как они зазвенели и заблестели! — Это ревматизм! — решил голова. — И в ушах звенит, и из глаз искры сыплются!

А это были слезы, пролитые пятьдесят лет тому назад стариком Антоном из Айзенаха.

И кому ни попадал этот колпак на голову, тому сейчас снились подобные же сны; он как будто сам переживал историю Антона. Выходила целая сказка, да и не одна. Но пусть рассказывают их другие, а мы одну уж рассказали и кончим ее словами: «Никто не пожелай себе колпака старого холостяка!»

СОДЕРЖАНИЕ

К читателям	5
ОГНИВО	7
НИКОЛАЙ И НИКОЛКА	14
ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ	23
ИДОЧКИНЫ ЦВЕТЫ	24
ЛИЗОК С ВЕРШОК	30
НЕХОРОШИЙ МАЛЬЧИК	39
ДОРОЖНЫЙ ТОВАРИЩ	42
РУСАЛОЧКА	57
НОВЫЙ НАРЯД КОРОЛЯ	75
КАЛОШИ СЧАСТЬЯ	80
РОМАШКА	101
СТОЙКИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК	104
ДИКИЕ ЛЕБЕДИ	109
РАЙСКИЙ САД	122
СУНДУК-САМОЛЕТ	133
АИСТЫ	138
БРОНЗОВЫЙ КАБАН	142
ПОБРАТИМЫ	152
РОЗА С МОГИЛЫ ГОМЕРА	160
ОЛЕ ЗАКРОЙ ГЛАЗКИ	162
ЭЛЬФ	171
СВИНОПАС	175
ГРЕЧИХА	180
АНГЕЛ	182
СОЛОВЕЙ	184
БЕЗОБРАЗНЫЙ УТЕНОК	192
ЕЛЬ	200
ПАРОЧКА	207
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА	209
БУЗИННАЯ МАТУШКА	234
ШТОПАЛЬНАЯ ИГЛА	241
КОЛОКОЛ	244
БАБУШКА	248
ЛЕСНОЙ ХОЛМ	250
КРАСНЫЕ БАШМАКИ	256
ПРЫГУНЫ	262
ПАСТУШКА И ТРУБОЧИСТ	264
ГОЛЬГЕР-ДАНСКЕ	269
ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ	273
С КРЕПОСТНОГО ВАЛА	275

ИЗ ОКНА БОГАДЕЛЬНИ	276
СТАРЫЙ УЛИЧНЫЙ ФОНАРЬ	278
СОСЕДИ	284
МАЛЕНЬКИЙ ТУК	292
ТЕНЬ	296
СТАРЫЙ ДОМ	306
КАПЛЯ ВОДЫ	313
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ	315
МАТЬ	318
ВОРОТНИЧОК	323
ЛЕН	326
ПТИЦА ФЕНИКС	330
СОН	332
НЕМАЯ КНИГА	336
«ЕСТЬ ЖЕ РАЗНИЦА!»	338
СТАРАЯ МОГИЛЬНАЯ ПЛИТА	341
ПРЕКРАСНЕЙШАЯ РОЗА МИРА	345
ИСТОРИЯ ГОДА	347
В ДЕНЬ КОНЧИНЫ	354
ИСТИННАЯ ПРАВДА	358
ЛЕБЕДИНОЕ ГНЕЗДО	360
ВЕСЕЛЫЙ НРАВ	362
СЕРДЕЧНОЕ ГОРЕ	367
ВСЕМУ СВОЕ МЕСТО	369
ДОВОЙ МЕЛОЧНОГО ТОРГОВЦА	376
ЧЕРЕЗ ТЫСЯЧУ ЛЕТ	379
ПОД ИВОЮ	381
ПЯТЬ ИЗ ОДНОГО СТРУЧКА	395
ОТПРЫСК РАЙСКОГО РАСТЕНИЯ	398
«ПРОПАЩАЯ»	401
ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕМЧУЖИНА	407
ДВЕ ДЕВИЦЫ	409
НА КРАЮ МОРЕ	411
СВИНЬЯ-КОПИЛКА	413
ИБ И ХРИСТИНОЧКА	415
ИВАНУШКА-ДУРАЧОК	424
ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ СЛАВЫ	429
ЕВРЕЙКА	433
БУТЫЛОЧНОЕ ГОРЛЫШКО	437
КАМЕНЬ МУДРЕЦОВ	445
СУП ИЗ КОЛБАСНОЙ ПАЛОЧКИ	458
НОЧНОЙ КОЛПАК СТАРОГО ХОЛОСТЯКА	469

Ганс -Христиан
АНДЕРСЕН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ 1

Редактор
С. Кондратов

Художественный редактор
И. Сайко

Технический редактор
Г. Шитоева

Корректоры
В. Антонова, М. Александрова,
В. Рейбекель

ЛР № 030129 от 02.10.91 г. Подписано в печать 29.12.94. Формат 70 X 100 1/16. Бумага
офсетная. Печать офсетная. Усл. печ. л. 39,16. Уч.-изд. л. 32,19. Тираж 15 000 экз. Заказ 810

Издательский центр «ТЕРРА». 109280, Москва, Автозаводская, 10, а/я 73.

Оригинал-макет и диапозитивы подготовлены ТОО «Макет». 141700, Московская обл.,
г. Долгопрудный, ул. Первомайская, 21.

Отпечатано с готовых диапозитивов на Можайском полиграфкомбинате Комитета Российской
Федерации по печати. 143200, Можайск, ул. Мира, 93.

